

Дон-Аминадо

ША



М *а*ленькая

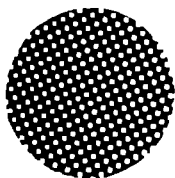
Н

ЖИЗНЬ

Дон-Аминадо

---

# НАША маленькая ЖИЗНЬ



СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ПАМФЛЕТ

ПРОЗА

ВОСПОМИНАНИЯ



МОСКВА  
♦TERRA♦ — ♦TERRA♦  
1994

ББК 84Р  
Д67

Составитель  
*Валентин Иванович КОРОВИН*

Художник И. САЙКО

**Д67** **Дон-Аминадо**  
Наша маленькая жизнь: Стихотворения. Политический  
памфлет. Проза. Воспоминания / Сост., вступ. ст., коммент.  
В. И. Коровина.— М.: ТЕРРА, 1994.— 768 с.

ISBN 5-85255-413-8

В книгу включены избранные произведения Дон-Аминадо (псевдоним Аминада Петровича Шполянского, 1888—1957) — замечательного сатирика и лирического поэта России и русского зарубежья, превосходного рассказчика и мемуариста.

Д 4702010000—060 Без объявл.  
А30(03)—94

ББК 84Р

ISBN 5-85255-413-8

© Издательский центр «ТЕРРА», 1994

## «НАИБОЛЕЕ ДАРОВИТЫЙ ПОЭТ» ЭМИГРАЦИИ

Современному так называемому широкому читателю псевдоним Дон-Аминадо не говорит почти ничего или говорит очень мало. Стихи, рассказы и фельетоны Дон-Аминадо на его родине не издавались, если не считать случайных публикаций в журналах «За рубежом» (1934), «Вопросы литературы», «Октябрь» (1988), «Подъем», в альманахе «Поэзия» (1989) и в некоторых газетах (например «Советская культура» (1980), статья И. Зильберштейна «Культурные ценности возвращаются»). Мимолетных упоминаний поэт удостоен лишь в заметках Л. Никулина «За струнной изгородью лиры. Обзор белой поэзии» (1932), К. Зелинского «Рубаки на Сене. Поэзия белой эмиграции» (1933), «Писатели на отдыхе» (1935) и в книге Л. Евстигнеевой «Журнал «Сатирикон» и поэты-сатириконцы» (1968). Несколько страниц посвящено ему в другой книге того же автора «Русская сатирическая литература начала XX века» (1977). В последние годы выпущены «Поезд на третьем пути» и сборник избранных произведений под заглавием «Парадоксы жизни», а псевдоним Дон-Аминадо стал мелькать в мемуарах эмигрантов, перепечатываемых у нас, но и это не прибавило поэту известности. Даже подлинное имя его воспроизводится неодинаково: то Арнольд Петрович<sup>1</sup> (*Тэффи*. Ностальгия. Л.: Художественная литература, 1989), то Амидав Петрович (названный уже альманах «Поэзия»).

Между тем высокую честь таланту Дон-Аминадо отдавали М. Горький, И. Бунин, М. Цветаева, Г. Иванов, Ф. Шаляпин, М. Алданов, Г. Адамович, А. Вертинский, З. Гиппиус. С ним сотрудничали Саша Черный, Аркадий Аверченко, Надежда Тэффи, Алексей Толстой, Александр Куприн. Дон-Аминадо был своим человеком в кругу художников и музыкантов, и на его вечерах можно было видеть и Сергея Лифаря с артистами балета, и знаменитых драматических актрис, и выдающихся певцов и певиц, и Никиту Ба-

<sup>1</sup> С тем же именем он фигурирует в книге Глеба Струве «Русская литература в изгнании». Paris: Утца-Press. 1984. С. 404.



лива с прославленной «Летучей мышью», и многих французских писателей. Словом, Дон-Аминадо был известен всему русскому, да и не только русскому, Парижу, всей Франции, всей эмиграции на Юге и Севере, на Западе и Востоке. Уже одно это обязывает нас уважительно, с должной степенью законного почтения и совестливой памятью отнестись к личности и к творчеству Дон-Аминадо, литератора, отдавшего русской словесности более сорока лет неустанного и неумолимого труда.

Дон-Аминадо — псевдоним Аминада Петровича (Аминодава Пейсаховича) Шполянского (1888—1957), поэта, фельетониста, рассказчика, журналиста<sup>1</sup>. Свои произведения в разные годы он подписывал псевдонимами: Аминадо, Гидальго, К. Страшноватенко, Кривой Джимми, Д. Аминадо. Но основным и постоянным был для него один — Дон-Аминадо.

Аминад Петрович Шполянский родился на юге России, в небольшом провинциальном городе Елизаветград Херсонской губернии. Получив среднее образование, он поступил сначала на юридический факультет Новороссийского университета в Одессе, а затем перевелся в Киев, где стал студентом университета Св. Владимира.

О разнообразии общественных, литературных и художественных интересов в студенческие и последующие годы Дон-Аминадо подробно рассказал в своих воспоминаниях «Поезд на третьем пути». Юношу волновали и международные события (англо-бурская война, русско-японская кампания), и русские дела (Государственная дума, громкие политические процессы после убийств Сипягина, Плеве, великого князя Сергея Александровича). Он читал много и жадно: Л. Толстого, А. Чехова, Фенимора Купера, Майн Рида, Э. Габорио, Г. Мачтета, М. Твена, А. Пушкина, А. Шеллера-Михайлова, Г. Данилевского, М. Лермонтова, Алексея Толстого и И. Лажечникова. Еще в провинции ему удалось побывать на спектаклях, где ставились пьесы Островского, Найденова, Метерлинка, Гауптмана и ныне совсем забытых драматургов. Имена модных актеров и блиставших красноречием адвокатов были ему хорошо знакомы. С тех юношеских пор Дон-Аминадо полюбил театр, причем не только серьезные жанры, но и такие легкомысленные, как водевиль, шутовую миниатюру, «капустник». В молодости он усердно посещал художественные выставки, знаменитый цирк Труцци — словом, старался впитать в себя впечатления жизни. Но при этом он хорошо знал настоящую цену каждому художественному явлению, понимал, что Художественный театр, Шаляпин, Бунин или Чехов «всерьез, и надолго, а может быть, навсегда». Это-то чувство, помогавшее ему различать ценности вечные и, при всей их привлекательности, преходящие, заставило впоследствии Дон-Аминадо, тогда еще безвестного и «рядового свидетеля истории», проявить большую энергию, чтобы оказаться «в

<sup>1</sup> Приношу благодарность за биографические сведения о писателе сотрудникам словаря «Русские писатели».

толпе яснополянских паломников» и проводить в последний путь Льва Николаевича Толстого.

Журналистская жилка, помогавшая Дон-Аминадо, словно вездесущему репортеру, выискивать в жизни, в газетных и иных сообщениях общеинтересные факты и случаи, с юношеских лет сочеталась у него с точным и трезвым пониманием превосходства одних явлений над другими. С одной стороны, ненасытность жизнью, стремление знать обо всем, а с другой — тщательная и строгая избирательность.

В университете, помимо специальных знаний, он овладел несколькими языками — древнегреческим, латынью, французским, немецким, писал и читал по-английски и по-итальянски. Судя по стихам и фельетонам Дон-Аминадо, можно сказать, что родным для него наряду с русским был и украинский язык: несколько стихотворений написано по-украински. Впоследствии он выпустил книгу афоризмов «Pointes de feu» («Светящиеся точки») и сборник юмористических рассказов «Le rire dans le steppe» («Смех в степи», совместно с Морисом Декобра).

После завершения университетского курса Дон-Аминадо стал помощником присяжного поверенного в Москве и одновременно постоянным сотрудником газеты «Раннее утро». Кроме того, он помещал злободневные фельетоны и обозрения в «Одесских новостях», «Нови», «Утре России», «Руси», «Женском деле», «Будильнике», «Красном смехе», подписывая их псевдонимами или не подписывая вовсе. Тогда же у Дон-Аминадо завязываются прочные отношения с лучшим юмористическим журналом века — «Сатириконом». Необычное имя — Аминад, звучащее несколько экзотически, на иностранный манер, вероятно, и послужило поводом избрать «испанский» псевдоним. Тогдашняя литературная среда также сыграла тут не последнюю роль. В мире сатириков и юмористов литературная игра была в ходу: многие подбирали себе имена, настраивающие читателя на веселый лад. Были и всевозможные «доны», но псевдоним «Дон-Аминадо» выглядел среди них как-то естественно, потому что лишь небольшая переделка настоящего имени превращала юного поэта Аминада Шполянского в иронического, насмешливого гранда-певца. В том, что именно «испанский» колорит и привлек поэта, не приходится сомневаться: Дон-Аминадо придумал и другой псевдоним — «Гидальго». Возможно, необычное имя было навеяно образом — одновременно и печальным, и смешным — странствующего рыцаря Дон-Кихота. Так или иначе псевдоним пришелся кстати и сросся со стихами поэта, иногда юмористическими и пародийными, иногда грустно-сентиментальными...

В то время, когда Дон-Аминадо обратился со своими стихами в «Сатирикон», журнал переживал глубокий кризис. Вскоре он прекратил существование на 16-м номере в 1914 году, как раз на том, где была напечатана эпиграмма Дон-Аминадо «Собрату по перу». Его место занял «Новый Сатирикон». Здесь Дон-Аминадо познакомился со всеми ведущими авторами — А. Аверченко, Н. Тэффи, Сашей

Черным, В. Горянским, П. Потемкиным, Н. Агнивцевым, талантливым художником Ре-Ми (Н. В. Ремизовым-Васильевым), а на страницах журнала появлялись его пародии и миниатюры.

Одновременно Дон-Аминадо не оставляет и газеты, где печатает военные и сатирические стихи. Уже во время войны в «неуважительных виршах», кстати, вполне в духе «Нового Сатирикона», Дон-Аминадо высмеял Г. Распутина, представив его наглым и вороватым мужиком, которого царица и дворцовая знать сдуру приняли за новоявленного «Мессию».

Разразившаяся первая мировая война вызывает у Дон-Аминадо противоречивые чувства: с одной стороны, он настроен патриотически и желает победы русскому оружию, а с другой — не может смириться с жестокостью и ужасом, со страданиями и гибелью тысяч людей, которые она несет не только России, но и другим странам, в том числе Германии. В 1914 году Дон-Аминадо был мобилизован и отправлен солдатом на фронт. Многие стихотворения, написанные им о войне, хранят следы живых впечатлений, но в целом суровая жизнь воспринята через призму книжных представлений: военная атрибутика метафорична (стрелы, мечи, лук), а возникающие образы большей частью превращены в устойчивые и отвлеченные символы. Попытки дать сатирические портреты немцев тоже кончаются неудачей: аморальность лейтенанта, воюющего с безоружными людьми («Как пишется история...») — насмерть перепуганными бабами, грудными детьми и неподвижными стариками, — описана риторично и декларативно. Сатире Дон-Аминадо явно не хватает энергии и злости. И все же в стихотворениях, вошедших в две книги «Песни войны» (первое издание — 1914, второе под тем же названием — 1915), ощутимы усилия выразить трагический смысл войны. Нисколько не подвергая сомнению ни необходимости личного участия, ни неизбежных жертв, поэт скорбит по обреченным на смерть своим соплеменникам и солдатам дружественных армий. Перед его глазами проходят раненый воин в серой шинели с потемневшим на ней бурым кровавым пятном, невинно убитый ребенок, мать, потерявшая единственного сына. Он видит реку, покрасневшую от крови, затравленного страхом немца-пленника, посланного воевать «по воле чужой Чьей-то злой и разнузданной силы», и его не перестают, несмотря на патриотизм, мучить непостижимые и роковые загадки бытия. Он задумывается о причинах людской злобы, ненависти, о смысле, ради которого принесены в угоду державным амбициям загубленные человеческие жизни и судьбы. Итог этих раздумий печален и безнадежен. В сущности, он просто неизвестен. В стихотворении «Кто прав!» Дон-Аминадо предлагает читателю обдумать притчу о споре мудреца и поэта. Один из них настаивал на том, что тайну мира составляют жизнь и труд, а другой — жизнь и песня. Однако их прения были насильственно прерваны:

...Но в этот миг пришедший воин  
Отсек им головы мечом.

Остановливаясь перед загадкой бытия и не видя разумного объяснения ни войне, ни крови, ни жертвам, Дон-Аминадо с каким-то внезапным удивлением обнаруживает, что его прежняя, довоенная, жизнь была эгоистически ущербной и во многом ненастоящей. Он как бы впервые открывает для себя щедрую на добро русскую душу, исполненную любви и прощения. Простые солдаты и сестры милосердия, от которых он раньше был очень далек, теперь предстали ему братьями и сестрами, а убитый ребенок — «своим», кровным, родным. В веселой танцовщице, еще только «вчера плясавшей в утеху сытым господам» и служившей предметом их «изысканных забав», сегодня он уже «тщетно» ищет гитану. Нынче она открылась его духовному взору «нежданной сестрой».

Эти гуманные и горячие чувства, навеянные жизненными впечатлениями и порожденные серьезными раздумьями, к сожалению, лишь изредка проскальзывали в сборнике, затерянные среди множества холодных книжных мотивов и настроений, и потому «Песни войны» не принесли успеха поэту, хотя и выдержали два издания.

Дон-Аминадо еще продолжал в журнале «Красный смех» и на других печатных страницах смеяться над кайзером и негодовать по поводу немцев, но и ему уже было ясно, что война истощила Россию и не встретила сочувствия в истерзанном народе. Несмотря на патриотические призывы, солдаты рвались из окопов домой. Страна бредила свободой, недовольство самодержавием росло, и наконец все это разрешилось Февральской революцией. Дон-Аминадо — яростный радикал-республиканец. Он восторженно встречает «весну семнадцатого года». Свобода опьяняла, и это чувство победы над старым режимом прозвучало в ликующих стихах политического памфлета «Весна семнадцатого года», имевшего, кстати, шумный успех, по дошедшим отголоскам, на сцене. Дон-Аминадо разделял этот восторг со всеми авторами «Нового Сатирикона», который бурно приветствовал революционный Февраль. На обложке «Нового Сатирикона» красовался девиз: «Да здравствует республика!» А незадолго до февраля 1917 года в журнале появилось стихотворение П. Потемкина, сопровождавшее рисунок О. Шалермана, изображавший четыре отрубленные головы. Как разъяснил впоследствии А. Аверченко в фельетоне «О бывшей цензуре», головы эти принадлежали Абдул-Гамиду, Мануэлю Португальскому, персидскому шаху и Николаю II, то есть тем же самым венценосным монархам, над которыми смеялся и Дон-Аминадо в своем политическом памфлете и которые остались не у дел, сброшенные с тронов восставшими народами. Но Дон-Аминадо вскрывает не только расточительство монархов, их нежные забавы, безволие и неспособность понять ход истории. В отдельных сценах он рисует полный произвол внизу, где торжествует жандармский пристав, и преступное равнодушие наверху, среди ближайших советников царя, пораженных язвами интриг, самообольщения и существующих в какой-то искусственной пустоте, вдали от тревог и катаклизмов истории, от

совершающихся грозных событий. С этими сатирически окрашенными эпизодами по контрасту соседствуют, с одной стороны, патетически-героические картины победно шествующей Весны, а с другой — юмористические зарисовки новой, комиссарской, власти, исполненной молодого задора, веселья, нечиновной деловитости. Сочувствие Дон-Аминадо целиком отдано новым людям, сменившим затхлую и тупую казенщину старого режима.

Однако за Февралем пришел Октябрь, и Дон-Аминадо, как почти все новосатириконцы, его не принял. Если Февраль символизировал демократическую республику, то Октябрь, по его мнению, — царство хаоса, грабежа, насилия, поруганных и растоптанных светлых надежд и мечтаний. И это предопределило всю дальнейшую жизненную и творческую судьбу поэта.

О том, где был и что делал Дон-Аминадо после Октября, нам почти ничего не известно. Журнал «Новый Сатирикон» весной 1918 года был закрыт, газеты то открывались, то запрещались, редакторов уже сажали, но тогда еще иногда выпускали. Дон-Аминадо, как и многие другие журналисты, газетчики, фельетонисты и поэты-сатирики, оказался не у дел. Но самое главное — над ним нависла угроза ареста. «Приходили, спрашивали, интересовались», — цитировал он слова швейцара Алексея в книге «Поезд на третьем пути». И Дон-Аминадо сделал вывод: «Выбора нет». Он отправился в московский комиссариат по иностранным делам, к В. М. Фриче, просить заграничный паспорт, который был ему выдан.

«Заграница» в ту пору (июль 1918 года) начиналась после Орши. Ненадолго Дон-Аминадо обосновался в Киеве и начал сотрудничать в газетах. В «Киевской мысли», в октябре 1918 года, он печатает очерк «Доктор Пауль Рорбах», с достаточной долей иронии изображая своего собеседника, который внушает немецкому правительству мысль о разьединении Украины с Россией и превращении ее в протекторат Германии.

Однако и в Киеве беспокойно: вот-вот городом овладеет Петлюра, а его архангелы «стесняться не будут». Пришлось бежать в Одессу. Там снова служба в газетах, которых было много и которые пока еще выходили. Но, вероятно, Дон-Аминадо уже тогда понял, что белая армия, несмотря на иностранную помощь, долго продержаться не сможет. За несколько месяцев до окончательного поражения белых, в январе 1920 года, он вместе с художником Ре-Ми, его семьей, а также с группой «русских ученых и писателей» взошел на борт обгоревшего французского парохода «Дюмон Д'Юрвиль». Так началось его вынужденное изгнание.

Именно так и можно, и нужно назвать «исход» Дон-Аминадо из России. Поэта никто не выдворял, не высылал из страны, никто не предписывал ему покинуть родину. Он уехал сам. Но его прощание с Россией не было и вполне добровольным. Октябрьская революция стала в его глазах попранием всех общечеловеческих норм права и нравственности, разгулом оголтелых разбойников и грабителей, полным и безжалостным уничтожением свободы и достоинства лич-

ности. Принципы, которыми руководствовалась новая власть, оказались ему чужды, отвратительны и оскорбляли его как человека. Его мечты о демократической республике были растоптаны. И в свете таких взглядов свой отъезд он осознал изгнанием, вынужденной эмиграцией, ибо ему, Дон-Аминадо, не нашлось места в поруганной и несчастной, сбившейся с пути России.

Он отчетливо понимал, что его — поэта — в конце концов заставят замолчать. А какой-либо компромисс исключал:

Не уступить. Не сдаться. Не стерпеть.  
Свободным жить. Свободным умереть.  
Ценой изгнания все оплатить сполна.  
И в поздний час понять, уразуметь:  
Цена изгнания есть страшная цена.

Дон-Аминадо оставлял родину навсегда. На пароходе, по воспоминаниям Л. Е. Белозерской-Булгаковой, он старался внешне держаться бодро: «Небольшой, упитанный, средних лет человек с округлыми движениями и миловидным лицом, напоминающим мордочку фокстерьера, поэт Дон-Аминадо (Аминад Петрович Шполянский) вел себя так, будто валюта у него водилась в изобилии и превратности судьбы его не касались и не пугали»<sup>1</sup>. Однако под напускной беспечностью таились беспокойство, тревога и безнадежность. Позже, в рассказе «Что же нам все-таки делать?!», Дон-Аминадо вспомнит о первой ночи на Босфоре: «В небесах, как полагается, торжественно и чудно.

Издевается, гримасничает, кажет рога молодой месяц. В темной, маслянистой воде дрожат первые минареты.

И на всю палубу кричит женщина-врач: «Ах, как это красиво!»  
Надо бы ее вышвырнуть за борт, но ни у кого нет времени».

Восторг поклонницы прекрасной природы и впрямь не очень-то гармонировал со смыслом происходящего и выглядел неуместным. Грядущая неизвестность пресекала всякие надежды на скорое возвращение, хотя, может быть, у некоторых эмигрантов и теплились иллюзии, что власть большевиков скоро кончится и они триумфально вернуться в Россию. Но вряд ли это касалось Дон-Аминадо. Он-то был уверен, что расстанется с отечеством навечно.

Короткая остановка в Константинополе, пароход на Марсель, а затем по железной дороге в Париж — конечный пункт изгнания, ставший постоянным пристанищем поэта.

Здесь, в Париже, русская колония размещалась в Латинском квартале, где уже успели создать себе уютный быт дореволюционные эмигранты, и по другую сторону Сены, на окраине Парижа, в местечке Пасси, за Булонским лесом. Там разместились первая пореволюционная эмиграция. В основном сюда, в меблированные и в немеблированные квартиры и комнаты, прибывали русские эмигранты из

<sup>1</sup> *Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. М.: Художественная литература, 1989. С. 5.*

России и других стран в течение примерно двух последующих лет. В дальнейшем эмиграция пополнялась не массовым исходом, а индивидуально.

Состав русской эмиграции был пестр: тут собрались под крышей Парижа все сословия и все классы бывшей Российской империи, сторонники всех политических партий. Но отдаться политической деятельности могли лишь те, у кого имелись достаточные средства. Сначала следовало обеспечить себя и свою семью заработком. Донские казаки и крестьяне из бывших солдат сели на землю. Впоследствии Дон-Аминадо написал шутовское стихотворение «Овощи», имея в виду эмигрантские огороды, круглый год снабжавшие русский Париж свежими овощами. Среди «партийных» и «беспартийных» овощей, питавших русскую колонию, он выделил огурец:

Если ж просто эмигранта  
Вам угодно, наконец,  
То его вполне достойно  
Представляет огурец...  
На случайных огородах  
Десять лет уже подряд  
Он растет, а свеж и зелен,  
Словно десять лет назад!  
И, купив его для скудной,  
Незатейливой еды,  
Гордо шествует по рынку  
Человек, дитя среды.

Но землепашцев и огородников было немного. Другие эмигранты пошли на заводы «Рено», «Ситроен», в шахты, в горячие и вредные цехи. Военные, оставшиеся не у дел, в большинстве своем стали таксистами, а их жены — швеями или парикмахершами. В стихах Дон-Аминадо очень часто упоминаются бывшие колонели, полковники, зарабатывающие на жизнь извозом. Но оставалась еще большая группа эмигрантов, которой было очень трудно приспособиться к условиям новой и чужой для них страны. Это главным образом так называемая средняя интеллигенция — врачи, адвокаты, учителя. Практиковать им не разрешалось по французским законам, и они могли рассчитывать лишь на полулегальную практику среди русского населения. Впрочем, учителям, например, и негде было применить свои знания, потому что эмигранты отдавали детей во французские лицеи. Наконец, среди русских эмигрантов находилось и много таких людей, которые просто ни к чему не были способны и у которых не было ни образования, ни каких-либо особенных дарований. Эти люди жили несбыточными иллюзиями, неосуществимыми порывами — то мечтали основать собственное дело, то пускались в различные махинации и аферы, заканчивающиеся, как правило, полным крахом.

Положение русской интеллигенции — философов, историков, художников, артистов, писателей — было более или менее сносным. Во-первых, между ними и французским населением не существовало

языкового барьера. Во-вторых, русская эмиграция сразу же после прибытия создала несколько журналов («Русская книга», позднее — «Новая Русская книга», «Грядущая Россия», «Современные записки», «Русская мысль», «Воля России»). К ним впоследствии прибавились «Благонамеренный», «Версты», «Сполохи», «Жар-Птица», «Звено», трехмесячник «Окно», «Новый корабль», «Путь», «Числа», «Встречи», «Утверждения», «Новый град», «Круг», «Русские записки» (позднее возник «Новый журнал» и другие издания) и газеты (самыми популярными были «Последние новости» и «Возрождение», соперничавшие между собой). В распоряжении русских эмигрантов имелись и собственные издательства. В эмиграции вышло несколько альманахов, антологий, сборников. С начала 1920-х годов появились литературные и иные объединения. Однако материальное положение русской высококвалифицированной интеллигенции сильно разнилось. Многие ученые так или иначе продолжали научную деятельность в университетах. Художники, певцы, музыканты и некоторые театральные коллективы (например, огромным успехом пользовались у французского зрителя выступления в Мулен-Руж «Летучей мыши» Н. Ф. Балиева) могли, как справедливо писал Глеб Струве, «непосредственно обращаться к публике той страны, где они жили»<sup>1</sup>. В художественную жизнь мира сразу вошел Шаляпин, в художественную жизнь Франции — Ларионов и Гончарова, Ланской, Яковлев, Терешкович и другие художники. Рахманинов, Стравинский, Кнусевичкий «пользовались и престижем и доходами»<sup>2</sup>, которые, конечно, нельзя даже сравнить с заработками Бунина, Шмелева, Мережковских, Зайцева, Ремизова, Тэффи и других писателей.

Среди художественной интеллигенции писатели, особенно молодые, оказались в наименее выгодном положении. Одну из причин Глеб Струве усматривает в том, что орудием писателей был русский язык, закрывавший прямой доступ к иностранной публике. Русский книжный рынок «все больше и больше сжимался». Не случайно выход искали в переводах, не дававших солидного дохода, за исключением редких случаев (М. А. Алданов и М. А. Осоргин). Даже Бунину переводы приносили немного. Другой опять-таки частный случай — писательство на двух языках (В. В. Набоков). Дон-Аминадо также выпустил две книги — сборник рассказов и афоризмы — на французском языке. Одной из причин материальной непрочности авторов можно назвать неустойчивость журнально-издательской базы. Только очень немногим издательствам и журналам удавалось сохраниться на долгое время. Многие из начинаний продержались год, а то и меньше. Так, Дон-Аминадо в качестве редактора однажды вместе с А. Толстым стали издавать детский журнал «Зеленая палочка». Вскоре, однако, журнал закрылся из-за отсутствия средств. Такая же

<sup>1</sup> Струве Г. Русская литература в изгнании. Paris: Умса-Press. 1984. С. 238.

<sup>2</sup> Там же.



судьба постигла «третий» «Сатирикон», издателем которого был М. Г. Корнфельд, тот самый, под чьим крылом обосновался первый. Словом, журналы, издательства и газеты внезапно возникали и столь же внезапно умирали, и потому связывать с ними надежды на гонорар или кредиты не было никакой возможности. Писатель каждодневно рисковал вознаграждением и, следовательно, даже теми весьма скудными средствами, на которые рассчитывали он и его семья.

Была, однако, и еще одна немаловажная причина очень скромного достатка большей части писателей. Как-то В. Сирин (В. Набоков) не без горькой пронизательности заметил: «В России талант не спасает; в эмиграции спасает только талант». Бездарностям на чужбине делать нечего. Конечно, и русскими эмигрантами было написано немало посредственных произведений, но, как правило, имена их авторов быстро погружались в Лету. Оттого, может быть, столь высок в целом интеллектуально-художественный уровень русской эмигрантской литературы. Но даровитость и талант предполагают в эмиграции не одну лишь творческую способность, а — железную дисциплину, твердость, жесткую организацию всей жизни, включая домашнюю, бытовую. Талант в эмиграции — это писать каждый день и не исписаться, творить и не иссякать. На родине писатель может жить за счет переизданий, спокойно и даже неторопливо обдумывая новое произведение, — здесь есть обширный книжный рынок. В эмиграции слово «талант», кроме способности к художественному творчеству, срывается с непосредственно творящей силой, с актом делания, деятельности, постоянной и жестокой самоэксплуатацией этой способности. Вспомним, например, буквально прикованную к письменному столу Цветаеву, казалось, не устававших В. Ходасевича и Г. Адамовича, много публиковавших Мережковских. Все это самым прямым образом относится и к Бунину, и к Шмелеву, и к Алданову, и к Г. Иванову, и к другим. Лишь в этом случае писатель мог рассчитывать на безбедную жизнь литературным трудом. Многие талантливые люди не выдерживали такого душевного и творческого напряжения и влачили «полуголодное богемное существование».

Дон-Аминадо с первых дней эмиграции постиг этот суровый закон и начал сотрудничать в газете «Последние новости», помещая чуть ли не в каждом номере стихотворный или прозаический фельетон. Он нашел издание, давшее ему кусок хлеба, но это наложило на него обязанность писать каждый день, не зная ни творческой, ни физической усталости. По этому поводу Дон-Аминадо как-то сказал: «Ежедневное творчество — это не только бессознательный процесс, но и гонорар тоже». С 1920 по 1940 год, кроме трехгодичного перерыва, имя Дон-Аминадо не сходит со страниц газеты. Конечно, писать в таком бешеном ритме нельзя без ощутимых художественных потерь. Но удивляет не то, что отдельные стихотворения и рассказы были неудачны, а то, что их на редкость мало. Высокий художественный уровень, при всех очевидных и даже неизбежных изъянах,

всегда сохранялся, а большинство произведений были по-настоящему блестящи, остроумны, веселы, лирически нежны, общественно и человечески зорки. Газета не могла допустить посредственного материала на своих страницах, а сам Дон-Аминадо слишком дорожил своей репутацией. Это был тот счастливый случай, когда газета и даровитый сотрудник нашли друг друга. И если Дон-Аминадо обязан своим материальным положением и славой не только таланту, но и «Последним новостям», то и «Последние новости» не менее обязаны ему популярностью и успехом.

По этому поводу Д. Святополк-Мирский в «Заметках об эмигрантской литературе» писал: «...самый главный из прославившихся уже в эмиграции писателей, самый любимый, истинный властитель дум зарубежной Руси — Дон-Аминадо. Благодаря Дон-Аминадо мы можем сказать про Париж: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет», пахнет Крещатиком и Ланжероновской, так как живы здесь *Последние Новости*, достойный наследник *Киевской Мысли* и *Южного Края*. Конечно, Дон-Аминадо ближе, социологически и политически, к Алданову, чем к генералу Краснову, но он стоит выше партийных и классовых перегородок и объединяет все зарубежье на одной, всем приемлемой платформе всеобщего и равного обывательства. Благодаря ему, несмотря на значительное преобладание в эмиграции монархистов над республиканцами, *Последние Новости* читаются неизмеримо больше, чем *Возрождение*, которое вместо Дон-Аминадо преподносит глубокомысленную проблематику Мережковского и Муратова»<sup>1</sup>.

При изнуряющей, в течение 20 лет творческой работы, одного таланта, сколь бы большим он ни был, явно недостаточно. Тут нужен еще и особый характер. Близко знавший Дон-Аминадо Л. Зуров вспоминал: «Сила воли, привычка побеждать, завоевывать, уверенность в себе и как бы дерзкий вызов всем и всему, — да, он действовал так, словно перед ним не могло быть препятствий. Жизнь он знал необыкновенно — внутри у него была сталь — он был человеком не только волевым, но и внутренне сосредоточенным. Он любил подлинное творчество и был строгим судьей. В глубине души он был человеком добрым, но при всей доброте требовательным и строгим. В жизни был целомудренным и мужественным. Меня поражало его внутреннее чутье, а главное — сила воли и чувство собственного достоинства, а человек он был властный и не любил расхлябанности, болтливости, недомолвок и полуслов»<sup>2</sup>.

Дон-Аминадо сразу же почувствовал, что рассчитывать можно только на себя, не надеясь ни на благотворительность, ни на невероятно счастливый случай.

Жизнь поставила перед Дон-Аминадо грозный вопрос выживания, но не нищенского и полуголодного, а достойного, приличе-

<sup>1</sup> Евразия. 1929. 5 января. № 7. С. 6.

<sup>2</sup> Зуров Л. Дон-Аминадо // Новый журнал. 1968. Кн. 90. С. 116—117.

ствующего человеку с умом и дарованием. Дон-Аминадо ответил на него ежедневным литературным трудом, наложив на себя узду железной дисциплины. В ту пору он был молод, горяч, честолюбив, в расцвете сил и таланта. Он не мечтал о роскоши и каких-либо излишествах. Ему нужен был скромный и прочный достаток. К тому же к нему вскоре приехала мать, а затем появилась семья — жена, Надежда Михайловна, дочь Лена, и заботы о содержании семейства многократно возросли.

«Семья для Аминадо Петровича была святилищем,— вспоминал Л. Зуров.— Для нее он работал, не щадя сил. По ветхозаветному семья была для него святая святых — он любил ее, оберегал ее от бурь житейских, а в воспитание дочери вложил всю свою душу и, отказывая себе и Надежде Михайловне во многом, все сделал для того, чтобы у Леночки было радостное и счастливое детство»<sup>1</sup>.

По своему месту в эмиграции Дон-Аминадо, с одной стороны, принадлежал к культурной элите и был знаком со всеми знаменитостями тогдашнего русского Парижа. С другой стороны, он, как и почти все писатели, не исключая самых известных, по уровню жизни был близок к эмигрантам, не имевшим ни земель, ни денег, ни драгоценностей, ни пушнины, ни предприятий или банков. В этом отношении Дон-Аминадо почти не отличался от тех же шоферов и парикмахерш, от всех обыкновенных русских людей, которые добывали пропитание службой и которые подчас с ужасом думали о том, как оплатить налоги, квартиру, лицей для детей, откуда выкроить деньги на одежду, летний отдых, где взять средства, чтобы принять гостей,— нельзя же сидеть, как сычи, взаперти и стонать в одиночестве — и при этом не ударить лицом в грязь. Так в эмиграции для облегчения быта, для встречи праздников, для поддержания знакомств возникают вечера в складчину, приглашения «на чай». И неизвестно при этом, рады ли хозяйева гостям или звали их понарошке, надеясь на отказ, и только соблюдают приличия, покорно дожидаясь, когда гости покинут бедное жилище. Можно представить себе, сколько унижений испытывали и хозяйева, и приглашенные, какие слухи и пересуды ходили в эмигрантской среде и какой стыд испытывали одни, стараясь сгладить впечатление от убогого быта, и другие, видевшие наспех заштопанные прорехи, которые, конечно же, нельзя было скрыть, но которых, чтобы не обидеть своих же друзей и знакомых, чувство такта и воспитание требовали не замечать. И у самих гостей дом содержался не лучше. Не обходилось ни без злорадства и отчаяния, ни без желания пустить пыль в глаза и разоблачения этого желания, ни без взаимного недовольства, переходившего в ссоры. Но при всем том эмиграция выдержала житейские невзгоды, хотя случаев самоубийства среди эмигрантов на почве голода, нищеты и безысходности было предостаточно. Газеты чуть ли не ежедневно печатали сообщения об убийствах и самоубийствах. То

<sup>1</sup> Зуров Л. Дон-Аминадо // Новый журнал. 1968. Кн. 90. С. 117.

какой-нибудь бывший полковник покончит счеты с жизнью, то шофер убьет свою возлюбленную из-за того, что она уходит к богатому сопернику, то, напротив, жена расчленит труп мужа, не дававшего развода, а она уже подыскала более обеспеченного партнера... Об одной из таких жизненных ситуаций, далеко не всегда кончавшихся трагическим и кровавым итогом, Дон-Аминадо выразился афористически обобщенно:

«Жорж, прощай. Ушла к Володе!..  
Ключ и паспорт на комод».

Ирина Одоевцева, запомнив, отозвалась: «Целый эмигрантский роман в двух строчках»<sup>1</sup>.

Все эти стороны эмигрантского быта Дон-Аминадо знал не понаслышке. Его окружали люди, с трудом сводившие концы с концами, стесненные в средствах, нелегко привыкавшие к горькому быту, не питавшие надежд на улучшение своей участи в доступное им обозримое время или потерявшие их. В изгнании Дон-Аминадо оказывался в гуще этих «маленьких людей», для которых политика и некие «высшие интересы» отодвинулись на второй план. Их заслонили, а отчасти и заместили обычные нужды, хлопоты и заботы о еде, об одежде, о жилье. В Дон-Аминадо жил «маленький человек», и поэт разделял его тревоги и волнения. Подсмеиваясь над ним, осуждая, иронизируя и даже издеваясь, он бесконечно любил своего героя, потому что в конечном итоге слабости у них были общие. Изживая в себе иллюзии, потешаясь над воздушными замками, преследуя несбыточные мечты, Дон-Аминадо избавлялся от них и изгонял из своей души все ветхое, ненужное, наносное, порожденное превратными и преходящими представлениями.

Вот почему без преувеличения можно сказать, что как большой лирический, сатирический и юмористический поэт Дон-Аминадо состоялся именно в эмиграции в тот звездный и одновременно горчайший для него час, когда его героем стал «маленький человек», изгнанник из родной страны, осевший на чужбине, чьи душевные страдания и житейские неурядицы в лучших стихотворениях поднялись до высокого чувства вселенской мировой скорби. И читатель Дон-Аминадо кожей ощутил это поистине человеческое отношение к себе. Прощая поэту насмешку, издевку, резкость, покорно принимая сатиру, он благодарно помнил и понимал, что его не унижают, не топчут, не злобствуют над его недостатками и промахами, а любят и желают добра, проникаясь его жизнью и согревая ее теплом общегуманистических ценностей.

Дон-Аминадо стал певцом, по его выражению, «нашей маленькой жизни», внешне неприметной, бытовой, обыденной, но со всех сторон продуваемой ветрами истории. Впрочем, и сама эта «маленькая жизнь» — следствие исторического катаклизма, гроз и бурь, охвативших Россию, Европу, весь мир. Потому и «маленький чело-

<sup>1</sup> *Одоевцева И.* На берегах Сены. М.: Художественная литература, 1989. С. 96.

век» в творчестве Дон-Аминадо — частица, подхваченная ветром истории, вырванная из привычной среды и против воли пересаженная в незнакомую почву. Русский эмигрант оказался жертвой роковой игры стихийных сил, «мирового пожара», и на его судьбе лежали опаляющие и незаживающие ожоги. «Наша маленькая жизнь» в стихотворениях Дон-Аминадо вписана в историю, причем не только в сегодняшнюю, а и во всемирную. Отсюда постоянные отсылки Дон-Аминадо к античности, средневековью, ко времени Великой Французской революции, к эпохам и странам, далеким от России, но вновь и вновь возбуждающим память и соотносимых с живой и жгучей современностью. Как бы ни был погружен русский эмигрант в повседневный быт, Дон-Аминадо всегда укреплял в нем мысль о причастности к истории и тем самым вырывал из обыденности и возносил в сферу духовных потребностей, которые вмещали уже не столько ближайшие политические или социальные интересы, сколько неотменимые общечеловеческие права и нравственные ценности. Идя по этой дороге, Дон-Аминадо вступил в спор со многими деятелями, внушавшими русским эмигрантам ложные, своекорыстные и, по существу своему, тупиковые идеи.

Эмигрантская среда в политическом отношении включала множество разнообразных партий, «союзов», объединений — от монархистов, фашистов до так называемых «евразийцев» и «возвращенцев». Газета «Последние новости» была основана в 1920 году бывшим присяжным поверенным М. Л. Гольдштейном и какого-то особого направления при нем не имела и не примыкала ни к одной из многочисленных партий и групп. Дон-Аминадо начал печататься в газете с первых дней ее выхода в свет. Но в марте 1921 года она перешла в руки известного историка и общественного деятеля Павла Николаевича Милюкова. С появлением Милюкова в качестве редактора стихотворения и проза Дон-Аминадо не публиковались в течение трех лет, с весны 1921 года вплоть до 1925 года, когда наконец они обрели статус неизбежной принадлежности «Последних новостей». Причиной вынужденного перерыва, возможно, послужило стихотворение «Писаная торба», вошедшее затем в сборник «Дым без отечества». «Помню,— писал в мемуарах Дон-Аминадо,— как на заре этих уже далеких дней влетело мне по первое число за несколько невинных строк в стихотворном послании «Писаная торба». В нем П. Н. Милюков усмотрел отступление «от генеральной линии», и автору пришлось надолго умолкнуть. А миссия «Последних новостей» заключалась в отстаивании парламентской демократической республики европейского типа (П. Н. Милюков возглавлял Республиканско-демократическое объединение и пользовался поддержкой Торгово-промышленного и Финансового союза), то есть была органом левых сил русской эмиграции. Однако «левизна» газеты не простиралась настолько, чтобы содействовать возвращению эмигрантов в Россию или союзу и контактам с большевистской властью. Основные установки газеты заключались в сплочении республиканско-демократических сил и в отпоре всяким «правым» тече-

ниям, которые связывали будущее России с реставрацией монархии, и любым «левым» — от утопических «евразийских», мессианских, анархических и «возвращенческих». Вне эмиграции постоянным противником «Последних новостей» была Советская Россия, а внутри эмиграции наиболее последовательным и серьезным оппонентом стала газета с правым уклоном «Возрождение», основанная в 1925 году и связанная с Российским общевоинским союзом, с участниками «белого движения» и его заграничным руководством. Между газетами сразу же возникла полемика и «переписка из двух углов» П. Н. Милюкова с П. Б. Струве (его на посту редактора сменил Ю. Ф. Семенов). В распрях газет доставалось и публицистам «Возрождения», и сотрудникам «Последних новостей», в частности Дон-Аминадо.

Направление «Последних новостей» вполне разделялось Дон-Аминадо. В молодости он был ярким республиканцем-фрондером, приветствовал Февраль и восторженно писал о вольности. Октябрьскую революцию не принял и считал ее разгромом демократии, завоеванной в феврале 1917 года, иначе говоря, узурпацией законной власти и удушением прав и свобод человека. Приверженность республиканским идеям он сохранил и в эмиграции. В стихотворении «Республиканские восторги» Дон-Аминадо пропел гимн республике и ее гражданам:

Как не стать республиканцем  
В чудном городе Париже,  
Где по шучьему вельню  
Снятся сладостные сны?

Вольность, основанная на законе, состоятельность мнений, права граждан, обеспечивающие свободу слова, — все это привлекает Дон-Аминадо в республике и ее институтах. Прочность демократии зиждется на частной собственности, и Дон-Аминадо славит мадам Дюпен, мадам Дюран и мадам Дюкэн, содержательниц пансионеров. Они знают, чего хотят, и не доверяют ни революционным переворотам, ни призывам к лучшей жизни, не поддаются сентиментальности и умилению, а трезво и скептически относятся ко всяким безудержно расточаемым посулам, «к утопии блаженных островов, созданных для человеческого счастья». Главное для них — труд и деньги как мера этого труда. И «пока в Париже существуют хозяйки пансионеров, французы могут спать спокойно: республика вне опасности!».

Впоследствии Дон-Аминадо откликнется и на революцию в Испании, на отречение короля Альфонса XIII, на диктатуру Муссолини, на фашизм в Германии. Он высмеет заигрывание с фашистами В. В. Шульгина и других русских эмигрантов. Дон-Аминадо всегда стоит на стороне демократии и против ее гонителей и врагов. Но он точно и строго отличает переворот необходимый и благотворный от игрушечных революций южноамериканского или азиатского пошиба. С такой точки зрения Дон-Аминадо — решительный противник любой диктатуры, какое бы обличье она ни принимала. Для него

в своих крайностях сходятся далеко не тождественные военные режимы в Латинской Америке, диктаторские системы в Европе (большевизм в России и фашизм в Италии, в Испании и в Германии), деспотии в Азии, монархии в Африке, ибо в конечном итоге они, во-первых, противоположны парламентской республиканской демократии, а во-вторых, держатся на силе штыков и порождают насилие:

В смысле дали мировой  
Власть идей непобедима:  
От Дахау до Нарыма  
Пересадки никакой.

В этом свете Дон-Аминадо оценивает и результаты Октябрьской революции, деятельность ее вождей, начиная с Ленина и кончая каким-нибудь второстепенным функционером советского режима. Поэт не упускает случая всласть поиздеваться над тем, что созданная система самоистребления оказалась направленной не только на народ — над чем он, естественно, не смеется, а о чем скорбит, — но и на самое себя и своих учредителей и вождей. Ему нисколько не жаль сосланного Троцкого, терпящих политическое крушение Бухарина, Рыкова, Каменева или Зиновьева. Для него все они циничные и погрязшие в зверствах недоумки, повинные в гибели миллионов людей, разорившие страну ради химер и в конечном счете преследовавшие своекорыстные цели. На сатире Дон-Аминадо, адресованной Сталину, Калинин, Ворошилову, Буденному, Кагановичу, Микояну, Чичерину, Литвинову, Коллонтай, Бубнову и многим другим «вождям», нет отблеска трагедии. Дон-Аминадо не может воспринять их всерьез и увидеть в них настоящих политических деятелей, хотя бы и враждебных. У него нет к ним ненависти, которой они просто недостойны. Подлинная злоба предполагает известное равенство между врагами, как подлинная любовь — между друзьями. У Дон-Аминадо всегда сохраняется намеренно подчеркнутая снижающая дистанция: «вожди» и поэт существуют не в одном, а в совершенно разных, никогда не пересекающихся измерениях. Там, в Советской России, с его точки зрения, царствуют фантомы, там — мир фантазмагии, превратных понятий и отношений, который обыкновенному человеку представляется совершенно лишенным смысла. Этот мир прежде всего смешон своей ложью и перевернутой логикой, создавшей стереотипы поведения, словесные штампы, праздничные ритуалы. По той же извращенной логике там казнят и милуют, издают указы и постановления, произносят речи и созывают собрания, производят в великие и тут же сажают в тюрьмы. Конечно, жить внутри этого мира страшно, но с более отдаленного расстояния, с более высокой точки обзора он открывается преимущественно своими нелепыми сторонами. В стихотворении «Только не сжата...» Дон-Аминадо вскрывает ложь, к которой вынуждена прибегать пропаганда, лицемерно бьющая в фанфары и захлебывающаяся от «успехов» в дежурных восторгах:

Все хорошо на далекой отчизне.  
Мирно проходит строительство жизни.  
«Только не сжата полоска одна.  
Грустную думу наводит она».

Партия, молвил Бухарин сердито,  
Это скала, и скала из гранита!  
Это, сказал он, и грозен, и вещь,  
Первая в мире подобная вещь!

Только... Раковскому шею свернули,  
Только... Сосновский сидит в Барнауле,  
Только... Сапронова выслали с ним,  
Только... Смилга изучает Нарым,  
Только... Как мокрые веники в бане,  
Троцкий и Радек гниют в Туркестане,  
Словом: гранит, монолит, целина!  
«Только не сжата полоска одна».

Землю крестьянскую трактором взроем!  
Площадь посева удвоим! Утроим!  
Все разверстаем! Запишем! Учтем!  
Хлебом завалим! Задавим! Зажмем!

Только опять не везет Микояну,  
Только опять по разверстке, по плану,  
В очередь, в хвост растянулась страна...  
«Только не сжата полоска одна».

В другом стихотворении («Без заглавия») вновь та же кричащая  
разница между словами и делами:

И смех, и веселье, и радость в политике!  
Советская власть от большой самокритики  
Опять расстреляла, казнила, повесила...  
И все очень просто, и все очень весело!

Огромные красные полотнища раскинулись на праздничных пло-  
щадях,

Но не ради штанов батрацких,  
И вовсе не для рубах!

А высшего смысла ради,—  
Чтоб искрой, огнем знамен  
На Москве и на Ленинграде  
Объялся бы небосклон.

Чтоб на Лондон, Париж, на Вену,  
Горело, адело, жгло.  
Чтоб именно Чемберлену  
Переносицу обожгло.

Эти пустые амбиции, по мысли Дон-Аминадо, лежат как в природе власти, так и в характерах ее «вождей». Вот, например, Троцкий — философ-оратор, поверженный позер, мнивший себя военным гением:



И всех современников так ослепить,  
И, вызвав восторги в потомках,  
Таким фонарем, лампионом светить,  
В грядущих на смену потемках,

Чтоб каждый почувствовал, сколь он велик  
И горд в окружающем стане!  
Чтоб каждый действительно сущий язык  
Прилип к воспаленной гортани...

Все «вожди» — и кровавый Сталин, и опереточный — с усиками — Буденный, и бездарный Ворошилов, и вышколенный Калинин, и «брюнет мирового масштаба» Микоян — убоги и пошлы в своих притязаниях на мудрость, величие и какое-либо значение. Под стать им и «заединщики» менее известные. В этом фантастическом, уродливом и искаженном мире даже взлеты и падения поистине необъяснимы:

Окруженный стеною китайской  
Отвлеченный и узкий педант,  
Этой жизни, действительно, райской,  
Ты не можешь понять, эмигрант!

Словно сделан самим Антокольским,  
И, лишенный любви Люцифер,  
Ты шагаешь по камешкам скользким,  
Ты не создан для музыки сфер.

Посмотри! Занимаются зори  
И встает над счастливой землей  
Никому не известный Деборин,  
Академик, марксист и герой.

Но вот философа Деборина упрекают в меньшевизме и идеализме, развертывая целую дискуссию в то время, когда у народа нет самого необходимого:

И молчит в величайшем позоре,  
И дрожит, как осиновый лист,  
Никому не известный Деборин,  
Академик, герой и марксист.

А в огне этих грозных сияний,  
Не сравнимых с сиянием звезд,  
В исторической жажде тарани,  
Вырастает и тянется хвост,

И счастливые дети республик  
Получают, как счастья залог,  
И сушеную воблу, и бублик,  
И сапожную мазь для сапог.

Вполне естественно, что в народе заглушается здравый смысл, что сознание его планомерно затуманивается, что в людях будят низменные инстинкты и поощряют вредные привычки:

Недаром несется век,  
Мчится, мычит ретиво...

Пей, порядочный человек,  
Член коллектива!

К горлышку припадай  
Государству на прибыль!  
Пей и не рассуждай,  
Рассуждение — гибель...

Грешен человек и слаб —  
И человек, и товарищ.  
Но дайте ему масштаб  
Мировых пожарищ,

Нарисуйте ему план —  
Окончательный, меткий,  
Да откройте ему кран  
От бочки, от пятилетки...

Эмигрантская критика отмечала, что «насмешка Дон-Аминадо не зла». «Хотя он, — писал М. Цетлин (Амари), — называет свою книгу («Накинув плащ». — В. К.) «книгою сатиры», в ней нет сатирического бича, сатирического негодования. Может быть, поэтому сравнительно менее удаются ему стихи о Советской России. Без негодования, добродушно смеется он над «матросской сволочью не просто, а под Блока», над Дюгамелевскими восторгами, перед тем как

Вместо былой и расплывчатой мистики  
Возникает всеобщий и пышный Пильняк,

над каким-нибудь новым московским тотализатором, где крестьянин, торжествуя,

Играет в ординаре и двойном.

Он не негодует, а просто вскрывает ту ложь, которую хотят нам «заморочить голову»<sup>1</sup>.

Недостаток энергии отрицания побуждает Дон-Аминадо подчас грубо браниться, и это уменьшает язвительность его иронии. Иногда же трагическое он превращает в смешное, как бы забывая, что даже при весьма планомерной порче ум народа не помутился и не иссяк.

Дон-Аминадо прочел в газете «Известия»: «Крестьяне просят разъяснить, подлежит ли домашняя свинья коллективизации?» Ясно, что доведенные до отчаяния крестьяне протестуют против всеобъемлющего обобществления домашних животных, а власть сбивает их с толку. Но вместо трагической ситуации Дон-Аминадо рисует юмористическую сценку, в которой сами крестьяне нарочито оглулены:

Как поступить с последнею свиньей?  
Считать ее наследницею барства,  
Которая подгачивает строй  
Единственного в мире государства?

<sup>1</sup> Современные записки. Париж, 1928. Т. XXXVIII. С. 538.

С презрением хавронью заколов,  
Предать ее копчению, а копать,  
Без пафоса, без пошлости, без слов,  
Вот именно, не рассуждая, слопать?

Иль, подавив естественный порыв  
И низменное чувство аппетита,  
Отдать свинью в ближайший коллектив  
Как некий взнос для общего корыта?

Между тем в реальной жизни все обстояло иначе, и от крестьян несколько не зависело, сдавать им свинью или оставить в своем хозяйстве. Дон-Аминадо вдали от действительных условий не распознал в запросе крестьян жгучей боли и не увидел в их конфликте с властями глубочайшей трагедии. Бич его сатиры настиг не тех, кому его надлежало предназначить.

Справедливости ради нужно признать, что такие случаи в поэзии Дон-Аминадо очень редки. Как правило, он остро чувствовал фальшь и умел извлекать наружу зло, прикрываемое невинностью или даже соображениями «высшего» порядка. В полной мере и в особенности это относится к эмиграции, к ее быту, к образу ее мыслей, изменчивым настроениям.

Главным героем стихотворений и прозы Дон-Аминадо стал вырванный из родной почвы и пересаженный на чужую средний русский интеллигент либеральной закваски, по воле истории превратившийся в «маленького человека». Он чувствовал себя в мировом круговороте ничтожной «песчинкой бытия». Но сознание «малости» — благоприобретенное, пришедшее в изгнании. К нему надо было привыкать, а привычка давалась с трудом, болезненно, мучительно. В этом, пожалуй, основное отличие героя Дон-Аминадо от «маленького человека» в русской литературе XIX века. Кроме того, незаметной «единицей» он очутился вследствие исторической катастрофы. «Маленький человек» в классической русской литературе опутан условиями быта, обстоятельствами, системой социально-имущественных отношений, прочно «вписан» в них, но непосредственно не связан с историей и политикой. У героя Дон-Аминадо все иначе: история и политика — прямые причины его нового состояния. И как бы он ни отгораживался от истории и политики, жизнь ежеминутно напоминала ему о том, что он оказался жертвой революционного взрыва, исторического катаклизма. Поэтому быт для него пропитан насквозь политикой. Наконец, ему еще предстоит «вписаться» в быт, власть которого он успел с ужасом ощутить. В русской литературе XIX века перелом в душе «маленького человека» связан преимущественно с любовью или с каким-нибудь обыкновенным, но в глазах героя неожиданным событием, выбивающим его из круга обычной жизни. Эмигрант у Дон-Аминадо еще только превращается в «маленького человека». В России он таким себя не чувствовал, там его общественный статус был иным. Здесь, в эмиграции, он еще не вполне осознал свое новое и более скромное место в чужом доме и не примирился с ним. Первоначально изгнание казалось ему времен-

ным, и эмигрант сохранял иллюзии, мечтая о возвращении в Россию, надеялся восстановить былое благополучие, улучшить свое положение каким-либо чудесным образом. Эту веру в скорую встречу с родиной поддерживали в эмигрантах многочисленные организации, убеждавшие в том, что большевики не продержатся долго, что советская власть рухнет и все вернется в прежнюю колею. С течением времени иллюзии таяли, растворялись в тумане, и настала пора выбора: возвращаться в Россию или устраивать жизнь на чужбине, и если оставаться, то как добывать средства к существованию и чем заниматься.

В этих условиях русским эмигрантом владели две неотрывные друг от друга мысли — о России и об изгнании.

Революционный шквал Октября застал эмигрантов врасплох, и они долго не могли понять, что же в конце концов произошло и почему история сыграла с ними злую шутку. В этом свете они сначала воспринимали революцию как злую карусель, как извечный водоворот бытия, в центр которого попали. К ним, «застигнутым ночью» и закруженным роковым вихрем, пришло ощущение полной безысходности. Герой Дон-Аминадо чувствует себя «гостем случайным» не только в Париже, но и во всем подлунном царстве. Он лишен всякой опоры, никому не нужен, и ему все немило:

Куда мне идти? И куда я пойду?  
Анелька... Деревня... Россия...  
Как много гвоздик в Тюильрийском саду!  
И все они тоже чужие.

Изгнание означало для эмигранта не только потерю родины — возникало чувство, что и родины-то вообще больше нет. От нее остался один лишь дым. Характерно в этом смысле название первого сборника Дон-Аминадо, выпущенного в Париже, — «Дым без отечества». Так что и возвращаться, в сущности, некуда. Участь России — участь общая для всех стран, и ее не избежит приютившая эмигрантов Франция:

И я, приехавший из северной страны,  
Зачеркнутой на европейской карте,  
Я созерцаю вас в убийственном азарте,  
Но знаю, что и вы обречены.

Чтоб разметать дразнящую красоту,  
Чтоб растоптать великолепный грех,  
Вас соберет Святая Справедливость,  
Которая уравнивает всех.  
И вас сожгут в какой-нибудь Вандее,  
Сровняв бугор с сентябрьскою землей,  
И облекут намыленные ипеи  
Общедоступною веревочной петлей.

С течением времени Дон-Аминадо внесет поправки в свое пророчество, да и теперь в нем пробуждается доверие к республиканскому порядку, надежда на перемены в далеком будущем, на то, что ветер

возвратится на круги своя. Но сознание выброшенности из истории, обреченность на забвение и медленную смерть придают первым стихотворениям, написанным в эмиграции, мрачный колорит и желчную интонацию: эмиграция обречена

Лежать в стороне от широкой дороги  
Огромной, гниющей и косною тушей.

«Не мы творим историю веков» — таков вывод Дон-Аминадо. Эти настроения были свойственны значительной части эмиграции. Тут поэт спорит с теми фанатиками, кто истерически ненавидел Советскую Россию. И хотя Дон-Аминадо не был склонен к прощению большевиков и к примирению с ними, хотя его приводили в гнев воспоминания о терроре и доходившие из России сведения о расстрелах и ссылках, он не разделял идеи наиболее воинствующих групп эмиграции о том, что Россия существует только в изгнании. «Мы — не эмиграция, а Россия, выехавшая за границу», — иронизировал Дон-Аминадо. Поэт принимал тяжкую и безрадостную истину как данность. Трезвость оценки краха и иллюзий интеллигенции лучше и мужественнее, чем успокоительная и сладостная мечтательность.

К чести Дон-Аминадо, вскоре он отказался смотреть на революцию как на роковое таинство, не поддающееся постижению разумом. Идея круговорота, исторического движения («Да совершится все, что неизбежно...»), пусть даже не имеющего смысла и безысходного, пусть даже представшего цепью бедствий и страданий, тем не менее отчетливо проступила уже в первом эмигрантском сборнике и окрепла в последующих, не заключая в себе, понятно, какого-либо оправдания революции. Парадокс, однако, заключался в том, что неизбежность переворота как бы сознательно подготовила та самая эмигрантская интеллигенция, которая революцией была отвергнута и выброшена вон. Накливав грозу, она оказалась неуместной в новом строе, ненужной, лишней, враждебной ему и изгнанной. Получается, что либеральная интеллигенция — и в этом трагическая и смешная стороны одновременно — сама себя высекла, как гоголевская героиня. Именно она прожужжала все уши народу, которого, кстати, толком не знала и не понимала, о необходимости революции, о лучшей жизни, о царстве счастья. И главная вина лежит на русском интеллигенте. «История русской революции, — ядовито обобщал Дон-Аминадо, — это сказание о граде Китеже, переделанное в рассказ об Острове Сахалине». Остров Сахалин тут упомянут не случайно: эпиграфом к ряду стихотворений станут слова Чехова «Через двести — триста лет жизнь будет невыразимо прекрасной». Так явлен городу и миру один адрес сатиры Дон-Аминадо — интеллигент-либерал, уносившийся в романтическом порыве к звездам, но стремительно грянувший с красноречивых высот на землю, в эмигрантское изгнание. «Одно в этом мире, — иронически писал Дон-Аминадо в открывшем сборник «Дым без отечества» рассуждении «О птицах», — для меня несомненно:

Буревестники. Чайки. Соколы и вороны. Петухи, поющие перед зарей. Несуществующие, самым бесстыдным образом выдуманные альбатросы. Реющие, непременно реющие, кречеты. Умирующие лебеди. Злые коршуны и сизые голуби. И, наконец, раненые горные орлы: царственные, гордые и непримиримые».

Наступила пора переоценки прежних идеалов и ценностей. Теперь Дон-Аминадо, не отделяющий себя от высмеиваемых либеральных интеллигентов, — а революцию он пережил страстно и не раз писал о былом вольнолюбии, — издевался и над собой:

Был мужик, а мы — о грации.  
Был навоз, а мы — в тимпан!  
Так от мелодекламации  
Погибают даже нации,  
Как бурьян.

Глубокий, сумрачный скептицизм пронизывает лирическую сатиру поэта:

Ах, как было все равно  
Сердцу — в царствии потемок!  
Пили красное вино  
И искали Незнакомок.

Возносились в облака.  
Пережевывали стили.  
Да про душу мужика  
Столько слов наворотили...

Из стихотворения в стихотворение повторяется этот горько-обличительный, с трагическим надрывом мотив:

Мы всюду искали святую Каабу.  
Мы все уверяли вполне откровенно  
Навзрыд голосившую тульскую бабу,  
Что ейный кормилец — защитник Лувэна.

История России — это история прегрешений русской либеральной интеллигенции, звавшей народ в какую-то неизвестную «манящую даль»:

За синюю птицей, за спящей царевной!  
Воистину, был этот путь многотруден.  
То русский мужик умирает под Плевной,  
То к черту в болото увяжется Рудин.

А как умилялись Венерой Милосской!  
Шалели и мтели от всех мемуаров.  
И три поколенья плохой папироской  
Дымили у бедной стены Коммунаров.

Дон-Аминадо стал непримиримым критиком романтического позерства, интеллигентских чаяний и безудержного красноречия. Он возложил вину на всю интеллигенцию, не отделяя себя от нее. И по-

тому лирика и сатира Дон-Аминадо приобретали чрезвычайно личный, исповедальный и покаянный тон.

Настроения, выраженные в поэзии Дон-Аминадо, разделяла лучшая и, пожалуй, наиболее серьезная и глубокая часть эмигрантской интеллигенции. Известный философ С. Л. Франк выступил с лекцией, идею которой затем развил в работе «Крушение кумиров». Он говорил о том, что «отцы и дети» приобрели суровый опыт, пройдя через увлечение, а потом крах идеалов, всех прежних кумиров, которым поклонялся русский интеллигент XIX века. Теперь он смотрит на предшествующую историю глазами разочарованного скептика, и в этом свете перед ним предстают и революция, и культура, и политика.

Вся пестрая и разноречивая в своей массе русская интеллигенция, с точки зрения Дон-Аминадо, пожинает плоды вековых усилий — изгнание и связанный с ним кризис прежних духовных ценностей:

Ну, итак, господа отрицатели,  
Элегантные умники, скептики,  
Извергатели снов, прорицатели,  
Радикалы с прохвостинкой, критики.

Псалмопевцы грядущей республики,  
Забияки, танцоры на кладбище,  
И любимцы почтеннейшей публики,  
Что ж, теперь вы довольны, не правда ли?!

Разве вы не твердили, что истина  
Воссияет, как солнце горячее,  
Над холодными тундрами Севера,  
Если в тундрах созвать предпарламенты?!

Ах, вы все гениально предвидели,  
Расторопные чижик-пыжик,  
Талейраны из города Винницы,  
Постояльцы и вечные дачники!

Торжествуйте же вы, предсказатели,  
Игрцы на затейливых дудочках,  
Всероссийская голь перекатная  
Без души и без роду, без племени.

Упрек в прошлых грехах, идейное распутье, однако, лишь одна сторона сатиры Дон-Аминадо. Теперь, когда интеллигенция превратилась во «всероссийскую голь перекатную», когда она потеряла отечество, когда ее крах обнажился во всем его безобразии, она снова пытается выдумывать столь же скороспелые рецепты спасения России и возрождения страны. Эта вторая сторона эмигрантских притязаний, исходящих от различных групп — монархистов, сторонников интервенции, бесчисленных проповедников русского мессианства, воинствующих генералов, приват-доцентов, «которые с Республикой — на ты», декадентов, — встречается у Дон-Аминадо решительный отпор. Тем, кто уже осрамился по части предсказаний и мечтаний, нельзя доверять. Они не приведут эмиграцию к желаемой цели, потому что и цель им неизвестна («И кто поручкою, что верен идеал?

Что станет человечеству привольно?! Где мера сущего?!»), и способы несостоятельны, и красноречие фальшиво. Все потуги напрасны, потому что ничего, кроме пустой болтовни и безответственной мечтательности, в призывах к судорожной деятельности нет и не может быть. Между тем интеллигенция разных оттенков обманывает себя и всю эмиграцию, сея вредные надежды на возрождение и спасение Руси. Разоблачение лжи, с которой интеллигенция шла в революцию, сочетается в поэзии Дон-Аминадо с критикой новой лжи, будто эмигрантская интеллигенция способна переделать послеоктябрьскую советскую действительность.

Более того, Дон-Аминадо не верил не только в белое движение, в интервенцию, но и в саморазложение большевизма, не надеялся — в отличие от Н. Бердяева и П. Милюкова — на его быстрое внутреннее преодоление. П. Милюков, например, по словам А. Вертинского, «неутомимо читал лекции о каких-то «сдвигах», «термидоре» и «неизбежном поправении» большевиков, обещая скорое возвращение домой...»<sup>1</sup>. По мнению Дон-Аминадо, речь могла идти лишь об отдаленном будущем, о чем он и писал в стихотворении «Мыс Доброй Надежды».

Дон-Аминадо даже допускал, что «Россию завоюет генерал», что новые властители «На площади воздвигнут эшафот» и начнут «мстить за многолетие позора», что Россию «окончательно успокоят». Но и тогда, думая о тех, кто будет жить через сотни лет, Дон-Аминадо сомневается:

Проснутся ли в пленительном саду  
Среди святых и нестерпимых светов,  
Чтоб дни и ночи в сладостном бреду  
Твердить чеканные гекзаметры поэтов,  
И чувствовать биение сердец,  
Которые не ведают печали,  
И повторять: «О, брат мой. Наконец!  
Недаром наши предки пострадали!»

Он откровенно признается: «Я напрягаю слух, но этих слов в веках не различаю». Увлечься новым прельщающим обманом можно «на десять лет», но от этого обман не обернется правдой. А истина такова, что эмиграция обречена на умирание, вырождение, и ей надо думать о том, как выжить и как достойно испить горькую чашу до дна. Она же пребывает в суете прожектерства и пустопорожных мечтаний:

Живем. Скрипим. И медленно седем.  
Плетемся переулками Passy.  
И скоро совершенно обалдеем  
От способов спасения Руси.

Дон-Аминадо открывал эмиграции глаза на ее действительное положение и разоблачал ложь, которой ее морочили и которой она

<sup>1</sup> Вертинский А. Дорогой длинною. М.: Правда, 1990. С. 203.



тешила сама себя. Судьба эмиграции представлялась ему несчастной и безысходной:

Жили. Были. Ели. Пили.  
Воду в ступе толокли.  
Вкруг да около ходили,  
Мимо главного прошли.

В том же духе, иронизируя над неоправданным оптимизмом эмигрантских деятелей, Дон-Аминадо переосмыслил известное стихотворение Игоря Северянина:

Надо взять и откинуть, и отбросить желанья,  
И понять неизбежность и событий, и лет.  
Ибо именно горьки ананасы изгнанья,  
Когда есть ананасы, а шампанского нет.

Что ж из этой поэзы, господа, вытекает?  
Ананас уже выжат, а идея проста:  
Из шампанского в лужу — это в жизни бывает,  
А из лужи обратно — парадокс и мечта!..

Вот эта беспощадность Дон-Аминадо, а подчас и жестокость, с какими он смеялся над прошлой утопией и новыми грезами интеллигенции, соединялись в его творчестве с разоблачением всякого рода деятелей эмиграции, которые наживали капитал на заведомо несбыточных мечтаниях. Но Дон-Аминадо шел еще дальше: он увидел, что эмигрантские «вожди» не только застилают глаза патриотически настроенному и несчастному человеку, мешая ему освободиться от романтических идеалов и осознать суровую реальность, но и преследуют сугубо эгоистические интересы. «Никто, — писал Андрей Седых, — так не умел изображать почтенных общественных деятелей, устраивающих свои собственные юбилеи, бестолковые собрания с прениями сторон и благотворительные вечера с домашним буфетом и танцами, как Дон-Аминадо»<sup>1</sup>.

Поэт саркастически описывал претендующих на руководство эмиграцией дворян, кичившихся белой костью и голубой кровью, но не в меньшей степени и всех других эмигрантских трибунов, которые сошлись в схватке за душу растерянного интеллигента. В рассказе «№ 4711» описан очень «современный» спор о прахе Тутанхамона. Его ведут многочисленные эмигрантские партии «пассивных анархистов, разъединенных казаков, социалистов, монархистов, легитимистов, сторонников зарубежного съезда, сторонников зарубежного разъезда, представителей пошехоновской старины, возвращенцев, непримиримых, примиренцев, либеральных консерваторов, консервативных либералов, евразийцев среднего толка, евразийцев ниже среднего толка, евразийцев просто (так наз. бестолковых), — и все это, не считая 17 союзов пожилых молодежи, русских бойскаутов, фашистов, кобылистов, подбонапартистов и подписчиков Марины Цветаевой плюс».

<sup>1</sup> Мосты. 1961. № 7. С. 352.

Решительность, с какой Дон-Аминадо политически и человечески «просвещал» эмигрантскую интеллигенцию и эмигрантского обывателя, избавляя от ложных и вредных иллюзий, встретила глубокое и сочувственное понимание культурной среды русской колонии.

Марина Цветаева писала Дон-Аминадо: «...Вы каждой своей строкой взрываете эмиграцию!.. Вы ее самый жестокий (ибо бескорыстный — и добродушный) судья.

Вся Ваша поэзия — самосуд эмиграции над самой собой»<sup>1</sup>.

Дон-Аминадо затронул «общие струны», он потешался над общими «пороками» и «болезнями» русской эмиграции. Однако он не был бы большим поэтом, если бы только подверг уничтожающему смеху прежние и новые кумиры эмигрантов. В 1934 году журнал «За рубежом» поместил заметку о Дон-Аминадо и подборку его стихотворений. Дон-Аминадо в своих воспоминаниях писал, что отзыв о нем принадлежал М. Горькому. Так или иначе (М. Горький однажды упомянул Дон-Аминадо, назвав его «развеселым негодяем»; по словам М. Горького, Дон-Аминадо — «неглупый, зоркий и даже способный чувствовать свое и окружающих негодяйство — негодность для жизни»<sup>2</sup>) характеристика журнала выдержана в традициях того времени: «Дон-Аминадо является одним из наиболее даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого барда отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства»<sup>3</sup>. Вторая фраза этого высказывания неточна. Были и безысходность и отчаяние, но было и другое.

Эмиграция столкнулась с тем неоспоримым фактом, что она обречена жить в изгнании и что ее судьба оторвалась от судьбы России.

О, Россия! О, гранит,  
Распылившийся в изгнании!

Ты была и будешь вновь.  
Только мы уже не будем.

Большинство эмигрантов были согласны с М. Алдановым, писавшим: «...многие из нас, несмотря на всю тяжесть, все моральные и материальные невзгоды эмиграции, не сожалеют и, вероятно, так до конца и не будут сожалеть, что уехали из большевистской России. Эмиграция — большое зло, но рабство — зло еще гораздо худшее»<sup>4</sup>. И перед русскими в Париже встали вопросы: как научиться жить без родины, но с родиной в душе и какую пользу могла бы принести эмиграция несчастной и истерзанной отчизне.

«Русская эмиграция, — писал впоследствии Г. Адамович, — в лице наиболее чутких и творчески-ответственных, можно бы даже сказать

<sup>1</sup> Новый мир. 1969. № 4. С. 212—213.

<sup>2</sup> Архив А. М. Горького. М.: Наука, 1965. Т. 10. Кн. 2. С. 239.

<sup>3</sup> За рубежом. 1934. 25 февраля. № 6 (39). С. 10.

<sup>4</sup> Современные записки. 1936. № 11. С. 402.

совестливых, своих представителей оказалась одушевлена двойственным стремлением, вносившим разлад в ее духовное состояние: с одной стороны, смотреть в будущее, каково бы оно ни было, быть обращенным к будущему, чтобы по мере сил принять в его устроении участие, с другой стороны, помнить о прошлом, не возвеличивая его без разбора, но и не клевета на него, твердо хранить из его достояния то, что сохранения достойно. Кроме того: с одной стороны, оставаться подлинно русскими, быть подлинно верными России, нас создавшей и воспитавшей, с другой стороны, отбрасывать доводы и соображения сусально-патриотические, не изменять самим себе на том основании, что этого будто бы ждет и даже требует от нас наша обновленная родина»<sup>1</sup>. Зреющая эмигрантская мысль начинает постепенно выходить из тупика. С. Л. Франк убеждает эмигрантов искать спасения не в идеалах, не в политике, а в спасении себя и своих ближних. Эмиграция научается понимать, что простые слова «жизнь» и «свобода» выше и значительнее всех ее политических идеалов, амбиций, притязаний. И что жить ненавистью нельзя. Ненависть и злоба порождают только еще большую ненависть и еще большую злобу, перерастая в угрюмое брюзжание и сопровождаясь всеми известными грехами тусклого и скучного бытия. Жить надо добром. «Люди думают, — обращался к эмиграции один из ее духовных пастырей Г. Федотов, — что они живут любовью к России, а на деле оказывается — ненавистью к большевикам. Но ненависть к злу, даже самая оправданная, не рождает добра. Чаще всего из отрицания зла родится новое зло»<sup>2</sup>. И он побуждал эмиграцию возделывать почву культуры.

Под влиянием этих идей эмиграция духовно изменилась, во всяком случае воздействие было значительным и благотворным по своим результатам. В Париже уже тогда русская колония устраивала литературные, философские, исторические диспуты, литературно-художественные вечера и праздники. Публичные лекции читались выдающимися учеными и знаменитыми писателями и критиками. Была задумана и отчасти выполнена большая культурная программа издания биографий великих русских людей. В журналах публиковались замечательные произведения, популярные статьи и научные исследования. Издавались сочинения классиков. Проза, да и поэзия процветали. Дон-Аминадо принял в культурной жизни эмиграции самое непосредственное и живое участие. Несколько раз в году он устраивал собственные вечера, на которые приглашался цвет русской юмористики, французские авторы, известные ансамбли, театральные коллективы, балет, непременно «Летучая мышь». Объявления о вечерах Дон-Аминадо то и дело попадают в газете «Последние новости» тех лет. Но, кроме собственных вечеров, Дон-Аминадо организовывал и другие: он часто приглашался в качестве распорядителя праздников или выпускающего. Л. Зуров вспоминал: «На пи-

<sup>1</sup> *Адамович Г.* Вклад русской эмиграции в мировую культуру. Париж, 1961. С. 7.

<sup>2</sup> *Современные записки.* 1935, № 8. С. 438.

сательском балу в Лютеции энергия Аминада Петровича была особенно сосредоточенна. Он ведал артистической программой, был окружен помощниками и распорядителями, выпускал известных всей России певцов и артисток, представлял их с эстрады толпившейся в зале разгоряченной танцами публике, и казалось неиссякаемым его остроумие.

Залы Лютеции сияют огнями. Я помню, как Аминад Петрович встречал цыганский прибывший из дорогого ресторана хор и целовался со старыми цыганками; когда веселый и говорливый табор старух, гитаристов и молодых цыганок в цветных платьях с монистами вступил вместе с ним в широко освещенный и блестящий зал; я помню, как он встречал прибывших из оперы закутанных в шубки и платки молоденьких балерин со свежими от зимнего холода лицами, а потом после нетерпеливых кликов из горячего зала — Дон-Аминадо! Дон-Аминадо! Просим, просим! Стихи! — выступал и сам, бледный, с темными, горячими глазами, принимая все вызовы и с вскинутой головой переходя в веселое наступление»<sup>1</sup>.

Жизнь продолжалась. Конечно, она не состояла из одних театральных праздников, но включала культуру как одно из основных составляемых. Повседневню же эмигрант был связан с бытом. Вот эта «маленькая жизнь», незаметная, казалось бы, для постороннего глаза и довольно замкнутая, где эмигрант оставался наедине или в окружении семьи, друзей, знакомых, и привлекла Дон-Аминадо. И тут часто русский человек был беспомощен, растерян и заброшен. Ему и здесь, в быту, мешали иллюзии и строительство воздушных замков: то вдруг откроет «дело», которое вконец его разорит, то помешается ему, что внезапно получит с неба упавшее наследство, то убедит себя, что непременно найдет кем-то оброненный миллион... В стихотворении «Черноземные порывы» Дон-Аминадо добродушно посмеивался над желаниями Ивана Ильича, который желал сесть на землю, уехать куда-нибудь в Канаду, а «через час», отбросив и забыв свои мечты, уже стучал на пишущей машинке.

Таких безвольных, нерешительных людей поэт встречал на каждом шагу. Одним словом, эмигрант долго не мог привыкнуть к своему новому состоянию. Если политические иллюзии эмигрантской интеллигенции, в особенности «знати», вызывали в творчестве Дон-Аминадо резкий отпор, то мечты о лучшем устройстве быта — шадящий и сочувствующий смех. Дон-Аминадо проникался жалостью к выпавшему из истории «маленькому человеку», который, как лермонтовский листок, «оторвался от ветки родимой» и не находил места в кроне чужого дерева. Самоощущение поэта, конечно, близко и родственно рядовому эмигранту. Но тождества между героем стихотворений и автором нет.

Дон-Аминадо сразу же принял новую судьбу, тогда как герой поэта не мог и не желал с ней смириться. «Мелкая единица» — таков

<sup>1</sup> Новый журнал. Нью-Йорк, 1969. Кн. 90. С. 116.

теперешний статус эмигранта. Бедность, скромность желаний, тихая жизнь, нехитрые и редкие радости, домашний мир — отныне удел большинства русских людей на чужбине. И Дон-Аминадо как бы призывает эмигранта покориться этой участи. В «Стихах о бедности» он обращается к возлюбленной:

Не упорствуй, мой маленький друг,  
И не гневайся гневом султанши.  
Мы с тобой не поедem на юг.  
Мы не будем купаться в Ла-Манше.

Я тебя также нежно люблю,  
Все капризы готов исполнять я.  
Но, увы, я тебе не куплю  
Кружевного брюссельского платья.

Приемля жизнь, какова она есть, не требуя невозможного, эмигрант, говорил Дон-Аминадо, избавляет себя от самоистязания, мучительства, от суеты и пошлости. В противном случае его ждут разочарования, постоянные удары судьбы, и он погрязнет в ненависти, зависти, сплетнях и склоках. Нет никакой нужды казнить себя за бедность и негодовать на житейские невзгоды. Герои Дон-Аминадо рвутся в облака, пыжятся, стремясь превзойти своих соседей по части быта, и тем самым погружаются в суету, которая не приносит им счастья, а делает из них мелких, сварливых людей с плохими характеристиками.

Между тем лучше признать себя «песчинкой бытия» и наслаждаться доступными радостями жизни, чем превратить домашний быт в ад. И Дон-Аминадо убеждает своих читателей, что жизнь сама по себе прекрасна и самоценна. Постепенно в его лирике усиливаются бодрые интонации, а сатира уступает место незлобивому юмору. Во всяком случае, по сравнению с первым сборником «Дым без отечества» в последующих — «Накинув плащ», «Нескучный сад», «В те баснословные года» — «лирическая сатира» преобладает над сарказмом.

Оценка судьбы эмиграции по-прежнему не меняется и остается суровой. Но сама эмигрантская жизнь уже не кажется пустой и безысходной. Прелести бытия нельзя отменить, а берeditь раны, ждать смерти или кончать самоубийством — не выход. В стихотворении «Колыбельная», перепевая на свой лад печальные строки Саши Черного, Дон-Аминадо обращается к эмигрантскому мальчику:

Спи, Данилка. Спи, мой чиж.  
Вот и мы с тобой в Париж,  
Что б ни думали о нас,  
Прикатили в добрый час.

«В добрый час» — это уже не ирония, не проклятие. У Дон-Аминадо нашлись новые слова, полные бодрости и мужества:

Значит, нечего тужить.  
Будем ждать и будем жить.

И пусть конечный удел двух «песчинок бытия» грустен и безрадостен, он не отменяет чувство жизни, а обостряет его. Природа, робкая и нежная влюбленность, цвета и запахи, шумное многолюдье, энергия молодости, дерзость ума и поступка — все побуждает к наслаждению бытием:

На каштанах белый пух.  
Зорче глаз и тоньше слух.

Если только пожелать,  
Можно многое понять.  
И понять, и претерпеть.  
Если только захотеть.

Есть такой блаженный час,  
Когда видишь в первый раз,  
Изумленно и любя,  
И другого, и себя.

Так рождается у Дон-Аминадо тема жизни, ее наслаждений, ее неисчерпаемости:

Не надо ангелов, ни неба, ни алмазов,  
Мы жить хотим сегодня, и сейчас!

Все чаще звучат веселые призывы:

Человек, не вешай нос  
Ни на квинту, ни иначе:  
Не склоняй ни роз, ни слез,  
А уж грез и наипаче.

В свете этих мотивов меняется жесткое, непримиримое, желчное отношение к прошлому эмигрантской интеллигенции и к ее настоящему. Интонации стихотворений Дон-Аминадо заметно смягчены. И хотя молодость напрасно загублена, и грусть не покидает поэта, теперь она уже просматривается в свете общечеловеческих ценностей, а не с точки зрения исторического опыта эмиграции. Так, политические иллюзии молодости осуждаются уже не столько из-за того, что привели эмиграцию к изгнанию, сколько вследствие несовместимости их с законами жизни. В стихотворении «Биография» некий «убийственно-скромный и честный И милейшей души человек» добровольно наложил запрет на прелести жизни. Но после смерти оказалось, что провел он «свой век на земле», «как дурак». Эмиграция не должна уподобляться прежней интеллигенции, которая подменила истинные наслаждения выдуманными и ложными:

Девушек не любили,  
Находили, что развратно.  
До изнеможения ходили  
В народ и обратно.

Обретая новую меру общечеловеческих ценностей и разжигая в эмиграции волю к жизни, Дон-Аминадо не идеализировал слабости и грехи, но и не изничтожал душевные порывы убийственным смехом. Например, юношеские годы видятся ему не одним лишь при-

зрачным и оторванным от грешной земли бытием, а закономерной и по-своему счастливой порой:

Привет вам, годы вольнодумства,  
Пора пленительных затей,  
Венецианские безумства  
Прошедшей юности моей,  
Где каждый миг был, как подарок,  
И весел, шумен, бестолков,  
И ослепителен, и ярк  
Был полдень майских пикников!

В светлой дымке печали предстают теперь и русские города, и запахи снега, и катанье на салазках и коньках, и уездная сирень, и провинция, и знакомые станции, и традиционные праздники вроде Татьянинного дня. В памяти поэта и его героев постоянно всплывает далекая и бережно хранимая в душе Россия. Кажется, они готовы вскочить в голубой поезд, чтобы вернуться на землю молодости, и мысленно торят путь через Германию, Польшу к украинским местечкам, к русским полям и пригородам Москвы. Но, с нежностью вспоминая о России, Дон-Аминадо всюду сдерживает себя. Его трогательное чувство не становится слащаво-сентиментальным, поправляемое иронией, юмором и улыбкой. В стихотворении «Без заглавия» поэт смеется и над теми, кто забыл прошлое, и над теми, кто это прошлое идеализирует:

Если только их послушать,  
То Россия от рожденья  
Источала ароматы,  
Фимиамы и кажденья,

И что не было в помине  
Ни удушья, ни зловонья  
Даже в узких переулках,  
В закоулках Пошехонья...

Память о России у героя Дон-Аминадо строга — она отбирает отдельные детали: снег, его запах, платьице в горошину, сирень, домик с зеленой крышей, но за перечислением слов всегда встает общая картина или цельное настроение. Поэт тоскует о России, хочет туда вернуться, забыть все катастрофы, но, сознавая невозможность, постоянно воскрешает в сознании своем и читателя русские обороты, русские стихи, русские понятия. Многие стихотворения начинаются с известных строк, которым придается новый, чаще всего иронический, хотя и не теряющий глубины и серьезности смысл.

Вызывая в душе читателей образ России, Дон-Аминадо, с одной стороны, как бы сберегал для них прошлое, которое всех воспитало и взрастило, а с другой — скорбел вместе с ними о том, что оно кануло безвозвратно. Эти два противоречивых лирических потока, соединяясь, напоминали о прежнем «уют» и создавали хоть какую-то точку опоры, на которой держался эмигрант. Памяти о прошлом у него нельзя было отпять. «...Тоска об «уют»», писал Г. Адамович

в рецензии на книгу Дон-Аминадо «Накинув плащ», — в русской душе есть сейчас кончик той линии, на другом конце которой сияют и последняя гармония, и торжество мировой справедливости, и прочие прекрасные вещи»<sup>1</sup>. Люди ухватились за этот «обрывочек», и Дон-Аминадо не прошел мимо него, а «постарался дать голос этому чувству...»<sup>2</sup>. Оно было способно поддержать людей больше, чем брезжущий где-то впереди свет. Дон-Аминадо даже шел дальше: он утверждал, что для эмиграции нет будущего (русские дети, замечал он, превращаются во французов и мешают русские слова с французскими), что всякие надежды на лучшее призрачны, но вопреки обстоятельствам надо жить полнокровно и достойно. Он взывал к мужеству своего далеко не героического и не творческого соплеменника, а, напротив, по замечанию Г. Адамовича, «щепки одного и того же срубленного леса», «частицы» слабой, смятой, удивленной, утомленной, скучающей. Дон-Аминадо не возводил эту «частицу» на пьедестал, а подтрунивал над ней. И все же он побуждал встать выше невзгод, выше лишений, выше какого-либо расчета на успех.

М. Цветаева писала, что у Дон-Аминадо «не хватило любви — к высшим ценностям; ненависти — к низшим»<sup>3</sup>, как у чеховского героя. Это так, если иметь в виду поэтическое дарование Дон-Аминадо и его возможности. Но если судить об осуществленном таланте, то поэт сознательно выбрал героя, которого не мог предельно ненавидеть и не мог беспредельно любить. Дон-Аминадо слишком хорошо знал своих персонажей, он желал им после всех катастроф тихой, спокойной и благополучной жизни и жалел, что они никак не обретут ее, а ведут тусклое и скучное существование, не живя, а доживая оставшиеся дни. Он не обижал их громогласным смехом, но подмечал в их поведении и разговорах мелочность, обывательские привычки, смятение и растерянность — все то, что свидетельствовало об упадке вкуса к настоящей жизни и уступке обстоятельствам. В стихах и в прозе Дон-Аминадо создал образ эмигрантского мальчика Коли Сыроежкина, не искушенного в житейских уловках и хитростях и потому невольно своими вопросами выдающего тайные намерения родителей. Например: почему, когда гости уходят, мама говорит — слава Богу? Из объяснений родителей о том, кто такие Петрарка и Лаура, Коля делает вывод, что папа — не Петрарка, а мама — не Лаура.

С годами Дон-Аминадо, особенно в сборниках «Накинув плащ», «Нескучный сад» и «В те баснословные года», становился все более лиричным. Негодующая сатира первой эмигрантской книги «Дым без отечества» и прозаической «Наша маленькая жизнь» постепенно сменялась добродушным юмором. Это вызвало даже разногласия во мнениях критиков и мемуаристов: кто же он на самом деле — сатирик, лирический поэт или юморист. Но спора тут нет: у Дон-Аминадо встречаются стихотворения и фельетоны любой тонально-

<sup>1</sup> Последние новости. 1928. 25 октября. С. 3.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Новый мир. 1969. № 4. С. 212.



сти. Дон-Аминадо более всего любит игровой юмор, когда, «накинув плащ» иронии, он создает дистанцию между собой и своими героями, не теряя, однако, близости с ними. Легкая импровизация, «высокая проба», «высокое качество его стиха»<sup>1</sup>, «способность к стихосложению удивительная»<sup>2</sup>, «четкость ритма, хороший звон порой неожиданных рифм», «их живость и подлинное остроумие»<sup>3</sup> — все это сделало Дон-Аминадо любимцем читателей. Очевидцы свидетельствуют, что день большинства эмигрантов начинался с чтения стихов Дон-Аминадо. Правда, находились и такие, кто считал его «способным, бойким, остроумным фельетонистом и изящным поэтом малых форм»<sup>4</sup>, но отказывал его произведениям в художественном значении. Большинство же выдающихся эмигрантских писателей высоко ценили талант Дон-Аминадо. И при этом все — и И. Бунин, и М. Цветаева, и Г. Адамович, и З. Гиппиус, и менее известные у нас Андрей Седых, Леонид Зуров — признавали, что Дон-Аминадо был «задуман» как-то не так. По мнению М. Цветаевой, Дон-Аминадо пренебрег своей истинной поэтической сущностью; Г. Адамович писал о том, что поэт слишком «разбрасывается», и это верно; Андрей Седых утверждал, будто Дон-Аминадо «хотел быть только поэтом, писать об уездной сирени и соловьях, о золотых локонах Тани, о легкой зимней пороше», а стал сатириком; Зинаида Гиппиус настаивала: Дон-Аминадо «не вмещается в то, что сейчас делает». «В жизни, — писал Л. Зуров, — он был талантливее своих фельетонов». И едва ли не все гадали, откуда идут истоки лирического юмора Дон-Аминадо. Одни вели его поэтическую родословную от Козьмы Пруткова, другие — от французского поэта Рауля Понсона («способен по любому поводу разбрасывать стихи»), а Зинаида Гиппиус категорически заявляла: «...его сущность... мало проявляется в его писаниях», потому что Дон-Аминадо в его истинности — «поэт некрасовского типа».

Очевидно, у Дон-Аминадо можно обнаружить и то, и другое, и третье. Русская поэтическая традиция ему родная. Близость к Козьме Пруткову он печатно объявил, назвав раздел афоризмов «Новый Козьма Прутков», а французских поэтов блестяще знал. За укрепление, как сказали бы сейчас, дружеских культурных связей русской эмиграции с Францией он был в 1934 году награжден орденом Почетного легиона.

В то время, в начале и середине 1930-х годов, Дон-Аминадо находился в зените своей славы. Встретивший его в Париже Л. Зуров оставил выразительный портрет поэта:

«А был Аминад Петрович тогда молодой, полный решительной, веселой и бодрой уверенности. Небольшого роста, с прижатыми

<sup>1</sup> Последние новости. 1928. 25 октября. С. 3. (Рец. Г. Адамовича.)

<sup>2</sup> Современные записки. 1935. Т. 8. С. 473. (Рец. Антона Крайнего — Зинаиды Гиппиус.)

<sup>3</sup> Современные записки. 1928. Т. 37. С. 538. (Рец. М. Цетлина.)

<sup>4</sup> *Белозерская-Булгакова Л. Е.* Воспоминания. М.: Художественная литература, 1989. С. 36.

ноздрями, жадно вбиравшими воздух, с горячими, все замечающими глазами. Хорошо очерченный лоб, бледное лицо и необыкновенная в движениях и словах свобода, словно вызывающая на поединок. Умный, находчивый, при всей легкости настороженный. Меткость слов, сильный и весело-властный голос, а главное — темные, сумрачные глаза, красивые глаза мага или колдуна.

Все современники пишут о блестящем, искрометном остроумии Дон-Аминадо, который был неистощим на неожиданные афоризмы и парадоксы. Человеческая значительность Дон-Аминадо запомнилась всем.

К сожалению, почти ничего не известно о том, как пережил Дон-Аминадо вторую мировую войну. Он ненавидел фашизм и открыто издевался над ним. Современники запомнили Дон-Аминадо на похоронах И. А. Бунина, с которым был очень дружен. Через шесть лет после победы союзников Дон-Аминадо выпустил в свет последнюю поэтическую книгу «В те баснословные года». До нас дошли сведения, что «после войны Аминадо Петровичу пришлось работать в учреждениях, не имеющих ничего общего с литературой и журналистикой». В то время он уже не писал стихов, а занимался книгой воспоминаний «Поезд на третьем пути». Она вышла в Нью-Йорке в 1954 году (кстати, Дон-Аминадо был в этом городе, но он ему не понравился).

В последние годы, вспоминал Андрей Седых, Дон-Аминадо жил под Парижем, в городке Иер, и называл себя «иеромонах». Он уже был тяжело болен и в 1957 году скончался.

Однажды в стихотворении 1931 года «Без заглавия» («Я устал от весеннего гула...») Дон-Аминадо с досадой сказал о себе: «Проклятой эпохи обломок». Страстная, горячая натура, человек сильных привязанностей и сильных отталкиваний, обладавший гипнотической властью над людьми, Дон-Аминадо был современником Блока, Бунина, Цветаевой, Ахматовой. По его сердцу прошла линия разрыва, разделившая русскую культуру. Следствием его стала почти полная неизвестность на родине произведений даровитого поэта, в которых трагедия русских людей в эмиграции предстала в зорком и своеобразном освещении. Возвращая часть наследия Дон-Аминадо отечеству, повторим слова Г. Адамовича: «Если его книгам суждено «пройти веков завистливую даль», в них уцелеют не только блестящие и остроумные стихи, но настоящий «обломок эпохи».

А у другого современника Дон-Аминадо сомнений не было:

«Меня не раз спрашивали, что я думаю о таланте этого писателя, то есть, кто такой этот писатель: просто ли очень талантливый фельетонист или же больше,— известная художественная величина в современной русской литературе.

Мне кажется, что уже самая наличность этого вопроса предрешает ответ: спрашивающие чувствуют, что имеют дело не просто с популярным и блестящим газетным, злободневным работником,

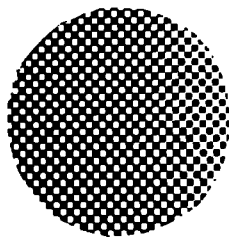
а с одним из самых выдающихся русских юмористов, строки которого дают художественное наслаждение.

И вот я с удовольствием пользуюсь случаем сказать, что это чувство совершенно справедливо.

Дон-Аминадо гораздо больше своей популярности (особенно в стихах), и уже давно пора дать подобающее место его большому таланту,— художественному, а не только газетному, злободневному. *Ив. Бунин*».

**В. И. КОРОВИН**

**СТИХО  
ТВО  
РЕНИЯ**





*Стихотворения,  
вошедшие  
в сборники*

ИЗ СБОРНИКА  
«ПЕСНИ ВОЙНЫ»

ТАЛИСМАН

Гремят торжественные клики,  
Молчанью мудрому уча.  
Я имя нежной Вероники  
На стали вырезал меча.

Иди! — сказали — и подьемлю  
И опускаю острие —  
За эту горестную землю,  
За сердце детское твое!

И знаю: враг себя, наверно,  
Как я, мечом опоясал.  
И чье-то имя суеверно  
На светлой стали написал.

Настанет час! Мы кровью свежей  
Поля немые обагрим!..  
И, может быть, одни и те же  
Слова со вздохом повторим!

Сквозь мглу последнего тумана  
Блеснут в расширенных очах  
Два изменивших талисмана  
На верных жребию мечях!

1914

ТУДА!

Грохочут в ночи и летят поезда —  
И рельсы охвачены дрожью.  
А в небе далекая светит звезда  
Над ветром взволнованной рожью.

И черный бросает во тьму паровоз  
Свой свист и глухой и протяжный.  
Горящие искры взметнувшихся роз  
Росой поглощаются влажной.

Все дальше, и мимо немых деревень,  
Минуя родные пригорки, —  
Туда, где вдали занимается день  
Неведомый, жуткий и зоркий!

Здесь высятся грудой живые тела —  
Сплетенные братские руки.  
И ловит пугливая, чуткая мгла  
Их сонного шепота звуки.

И теплые вздохи родимой земли  
Дарит им проснувшийся клевер.  
В сердца нам отвагу, отвагу всели,  
Наш грустный, задумчивый Север!

Солдатик! Товарищ! Ты видишь? Смотри  
На узкую солнца полоску!  
За эти деревни! За трепет зари!  
За эту немую березку!

Медвяные запахи спеющей ржи  
Ты вспомнишь, почувствуя порох!  
Свой остро отточенный меч обнажи  
С мечтой о далеких просторах!

Вбери же, впитай в эту мощную грудь  
Все тени, все запахи ночи!  
Быть может, тяжелый и длинный твой путь  
Покажется легче, короче!..

И в час, когда крепко вонзятся клинки,  
Горячей обрызганы кровью,  
Ты вспомнишь поля и на них васильки —  
И вспыхнешь великой любовью!

...Грохочут в ночи и летят поезда —  
И рельсы охвачены дрожью,  
И в небе далекая светит звезда  
Над ветром взволнованной рождью!..

1914

**В ЭТИ ДНИ...**

Играй нам, веселый шарманщик!  
В домах этих радости нет...  
Баюкай, бродячий обманщик,  
За несколько звонких монет!

Ты видишь — мы стали добрее:  
Как много летит серебра!  
Мы чувствуем раны острее  
И лечим их ложью добра!

От горестей стали мы старше!  
Нас крепким вином напои,  
Играй нам веселые марши  
И грустные вальсы твои!

Гляди — из раскрывшихся окон  
Один за другим, чередой,  
Мелькает девический локон,  
А рядом печально-седой...

Всем хочется ложью минутной  
Купить своим душам покой.  
Играй же, шарманщик беспутный,  
Играй же, забавный такой!

Ты — вольный, не связанный цепью  
Из маленьких звеньев любви!  
Ты звал свою родину степью,  
А мы... Вот монета! Лови!

Тревожные мысли! Не жальте!  
Вернутся, вернутся они!  
Как много монет на асфальте  
Звенит в эти грустные дни!..



Звенит суеверная плата  
За счастье в далеком краю!  
За мужа, за сына, за брата,  
Быть может, погибших в бою!..

...Играй нам, веселый шарманщик!  
В домах наших радости нет...  
Баюкай, бродячий обманщик,  
За несколько звонких монет!..

1914

### ОДНА ИЗ МНОГИХ

Еще вчера она плясала  
В утеху сытым господам  
И взгляды жуткие бросала  
По очарованным рядам.

Звенели кольца и запястья,  
Но каждый чувствовал и знал,  
Что это только призрак счастья  
Обманный танец танцевал!

Потом танцовщицу ласкали  
Холеной, опытной рукой  
И каждый в пенистом бокале  
Искал свой призрачный покой.

Еще вина! Еще веселья!  
В душе скребет когтистый зверь.  
Пусть дальше, дальше час похмелья!  
Пусть завтра, завтра! Не теперь!..

Вина! Огней! Цыганских песен!  
И самых пламенных отрав!  
Просторный зал сегодня тесен  
Для их изысканных забав!..

И вдруг!.. Оттуда, из предместий,  
Из переулков и углов,  
Вползли неслыханные вести  
И гул тревожных голосов...

И в ней, невесте пред амвоном,—  
Гитану тщетно я искал...

И прозвенел печальным звоном  
На землю брошенный бокал.  
.....

Не тамбурин — другие звуки  
В далеком поле будят кровь...  
Благословляю эти руки  
И материнскую любовь!..

Она склоняется тревожно.  
Невольно катится слеза.  
И закрывает осторожно  
Чужие — близкие глаза...

Еще вчера!.. Под звон запястья  
Ты танцевала мне вчера!..  
Плясунья, жаждавшая счастья,  
Моя неожиданная сестра!..

1914

ТАК НАДО!..

До свиданья, мой нежно любимый,  
До свиданья, мой светлый жених!  
Собери эти слезы и вымой  
Раны в жарких слезинках моих!

Сразу скрылось солнце за тучу,  
Сразу спряталось счастье от нас.  
Не сердись на меня, что я мучу  
И тебя, и себя в этот час!

Это сердце всегда было радо  
Твоему покоряться уму.  
Ты печально промолвил: «Так надо!»  
Я не смела спросить: «Почему?»

Обовью эти мощные плечи!  
Не отдам эти кудри врагу!  
Ты уходишь? Так надо?.. Я свечи  
Пред старинной иконой зажгу!

Буду жарко молиться, чтоб злую  
Отвратила погибель гроза,

А потом горячо поцелую  
Дорогие, родные глаза!

О, печальные девушки, верьте:  
Не отнимет любимых судьба!  
Разве веет дыхание Смерти  
Вкруг высокого, чистого лба?

Загremели призывные трубы,  
Словно стаи проснувшихся птиц.  
И горячие девичьи губы  
У любимых трепещут ресниц.

А колес надоедливый ропот  
Заглушает свистком паровоз.  
Торопливый, стремительный шепот  
Оборвался и замер средь слез.

...Еле слышна вдали канонада.  
Груда мертвых и раненых тел.  
Зоркий ястреб, кружась, пролетел  
И на труп опустился...— Так надо!..

И изогнутый клюв свой как раз  
Он вонзает в закрытые веки  
Этих скорбных, уснувших навеки —  
Бесконечно целованных глаз!..

1914

## ИГРА

Вы уходите, милый? Так надо?  
Слиться с ними? Стать частью? Зерном?  
Вам — с тоской близорукого взгляда,  
Напоенного терпким вином?

А маркиза в робронах и в пудре?  
Что же будет, подумайте, с ней?  
Вы так тщательно светлые кудри  
Рисовали, мне помнится, ей!

Эти нервные, тонкие пальцы —  
Для чего они там, на войне?  
Вам, как девице, — пряжу да пяльцы,  
В освещенном закаты окне!..

Темный сад... Упали на грядки  
Лепестки отцветающих роз.  
И, как странно, вы помните? Сладкий  
Вдруг прилив неожиданных слез!

Впрочем, это понятно, понятно:  
Были чисты и молоды все!  
И потом... эти белые пятна  
Наших девушек в лунной росе!..

Наконец, ваши книги, эстампы  
И коллекции старых гравюр!  
Ровный свет металлической лампы  
И зеленый ее абажур...

О, я знаю: так надо! Но, милый...  
Отчего вместо скорби у вас  
Блещут новой и действенной силой  
Два огня удивительных глаз?

Вы такой углубленный и нежный...  
А война — это ставка на кровь!  
Так откуда же взгляд ваш мятежный?  
Отчего так изогнута бровь?

И, я помню, вы тихо сказали,  
Расставаясь со мной поутру:  
— Я художник! и тишь ли, гроза ли,  
Я люблю только блеск и игру!

...Может быть... Может быть... И, не зная,  
Что сказать, вашу руку я сжал —  
И была та рука ледяная.  
Свет неверный на небе дрожал...

В церкви тихо и скорбно пропели.  
Рдел закат, как тогда, как вчера.  
Бедный друг! Милый друг! Неужели  
Это — всей вашей бури игра?!

1914

## ПРЕДЧУВСТВИЕ

Мягкими хлопьями падает  
Первый нетающий снег.  
Сердце больное не радуется  
Санок отчетливый бег.

Легкие, нежные венчики  
Белых мистических роз...  
Смехом встречают бубенчики,  
Смехом встречают мороз.

Ты, как седая пророчица,  
Снова приходишь, зима!  
Сердцу болезненно хочется  
Выведать тайну ума.

Ты не поможешь, суровая,  
Только следы заметишь!  
Сердце опутает новая,  
Новая сладкая ложь.

С призраком веры таинственным  
Нищих душой обручи!  
Разве не мы об единственном  
Плачем неслышно в ночи?..

Медленно небо бесстрастное  
Розы роняет земле.  
Вижу чело я прекрасное:  
Алый веночек на челе!..

Вижу родное, любимое  
В пламенных розах лицо.  
Туже и туже незримое  
Темных предчувствий кольцо.

Нет! Не солжешь, не опутаешь  
Сказкою зимнего дня.  
Тщетно, пророчица, кутаешь  
В светлые ризы меня!

Слышите,— стонут бубенчики  
Имя родимое вслух!..  
Легкие, нежные венчики —  
Легкий, нетающий пух.

Белые розы склоняются  
Там, где могильная тьма...  
Веснами зимы сменяются—  
Вечная в сердце зима!..

1914—1915

## НЕВЕСТА 4

### I

Где-то тихо стонут скрипки.  
Вальс воздушно-голубой.  
Я дарю тебе улыбки,  
Потому что я с тобой!

А в цветные окна зала  
Смотрит светлая весна.  
Для тебя — она сказала —  
Радость утреннего сна!

Повязала белым шарфом  
Темно-русую косу.  
Приказала нежным арфам  
Целый день звенеть в лесу!

Снежным цветом померанца  
Осыпает дальний путь,  
Как легко в полете танца  
Бьется сердце, дышит грудь!..

Ты сжимаешь стан мой гибкий.  
В небе — звезд весенних дрожь.  
И звенят и стонут скрипки  
Про чарующую ложь!..

### II

Как звучат печально трубы.  
Почерневший лес в бреду.  
Я твои немые губы  
Поцелую и уйду.

Ветер бешено срывает  
Листья желтых тополей.

Никогда никто не знает  
Час гибели своей!..

Приказала осень елкам  
Панихиду петь в лесу.  
Повязала черным шелком  
Темно-русую косу.

Луч последнего румянца  
Пронизал немую твердь.  
В вихре бешеного танца  
По полям несется смерть!..

Сердце — в муке бесконечной,  
В небе звездочки скорбят.  
О какой-то правде вечной  
Трубы звонкие трубят!..

1914—1915

## ЧАСЫ

Как верный товарищ — со мною часы,  
Со мною — часы золотые.

Кладу на неверные жизни веса  
Свой жребий *впервые*, впервые!

Любовно и нежно часы берегу —  
Старинный подарок от деда.

Когда я бросаюсь навстречу врагу,  
Часы отбивают: победа!

На крышке чеканные есть вензеля  
И ангел из бледной эмали.

И тикают часики: наша земля  
Томится в слезах и печали!..

Не правда ли, сладко всегда сознавать,  
Что в них есть родного частицы:

Изба у опушки, любимая мать  
И чьи-то густые ресницы!..

Когда я в росе на поляне лежу  
И голову давит котомка,—

Часы золотые в тиши завожу,  
И часики тикают громко.

С поблекшею астрою шепчется мак,  
И бледно луны покрывало.

А часики милые: так, мол, и так:  
Все было и все миновало!..

Но будет, ведь будет! Мы молоды все!  
Домой возвратимся — поверьте!

И с астрами шепчутся маки в росе  
О счастье, о жизни, о смерти...

Вот стрелка большая дошла до пяти,  
И брезжит заря на востоке.

Вставайте, товарищи! Скоро идти!  
Все вместе — и все одиноки!..

У каждого тяжкая дума лежит,  
Так хочется радости жадно!

А часики тикают. Время бежит.  
О, время бежит беспощадно!

...Вдали голубой показался дымок.  
За выстрелом — мига короче —

С поблекнувшей астры упал лепесток  
На кровью залитые очи!..

Зловеще судьба наклонила весы —  
И замерло сердце в надежде!

Рукой коченевшей сжимал он часы,  
А маятник тикал, как прежде!..

1914—1915



## ФРАНЦИИ

В эти дни, когда клики: «Осанна!»  
Заглушаются криком: «Распни!»,  
Позабывтый рассказ Мопассана  
Воскрешают невольно они.

Как далеко умел он провидеть,  
Как обид не хотел он забыть!  
Как он страстно умел ненавидеть,  
Как безумно и нежно любить!

Горечь скорби душа сберегала,  
Сладость мести таила она!  
Страстным бунтом восставшего Галла  
Эта жуткая книга полна!

И тому, кто тревожную совесть  
Не распродал по сходной цене,  
Пусть напомним печальная повесть  
О жестокой минувшей войне!

...И, как ныне, лихие драгуны,  
Совершали набеги — тогда!  
Как теперь полудикие гунны,  
Обращали во прах города!

Вот один во враждующем стане —  
Престарелый печальный аббат:  
Лента крови на черной сутане,  
Но священник трезвонит в набат!

Вам прекрасные девушки в Лилле,  
Содрогаясь, расскажут о том,  
Как их наглые швабы любили,  
Как бросали солдатам потом!

И рубцы, и кровавые шрамы  
Вам расскажут о муках людей,  
Защищавших священные храмы,  
Где кормили враги лошадей!

Не осталось у Франции милой  
Бледных лилий, не смятых ногой, —  
И рыдает поэт над могилой,  
Над могилой ее дорогой!

Но души просветленной — «Осанна!»  
Заглушить бесноватых: «Распни!»  
...Слаще яда строка Мопассана  
Для любви в эти жуткие дни!..

1914

## ПЕТРОГРАД

Возник на топких берегах  
Наперекор природе грозной.  
Назначен путь ему в веках —  
Сверкать, как свет сверкает звездный!

И вместе с ним пришла пора  
Давно желанного рассвета  
Железной волею Петра,  
Мечтой венчанного поэта.

Сказал: «Да будет!» — и гранит  
Затеplил блеск дотолe скрытый.  
Руда певучая звенит —  
Меж камней клад поет открытый.

И город-призрак, город-сон  
Растет на севере пустынном,  
Как будто в сказке вознесен  
Он мановением единым.

Как взмахом верного весла,  
Порой смиряется стихия,  
Так с новым городом росла  
И крепла новая Россия!

И там, где прежде тишина  
И ночь глубокая царила, —  
Полоска узкая одна  
Леса и степи озарила.

Благословенная Судьба  
Победный путь нам предвещала  
И в повелителя раба  
Других народов обращала.

Так было свыше суждено —  
И мы живем еще мечтами,

Что станет прежнее окно  
Отныне светлыми вратами!

Здесь двух веков немая грань  
Проведена чертой упорной.  
Подхвачен снова клич: восстань!  
Страною, жребию покорной!

На дерзкий вызов свой ответ  
Даст вновь гранитная громада —  
И вновь блеснет России свет  
С высот родного Петрограда!

1914

### РЕЙМСКИЙ СОБОР

Еще одна сожженная страница,  
Где мир занес немые письмена!..  
Из книги прошлого исторгнута она.

Легенд и снов пылает и дымится —  
Легенд и снов живая вереница,  
Каймою траурной навек окаймлена.

Старинный Реймс — зияющая рана!..  
Шампанских лоз чудесная земля  
Венчала здесь на царство короля.

Простая девушка — легенда Орлеана, —  
В лучах любви явившаяся Жанна,  
Чтоб славой вновь покрыть свои поля!

Не сил игрой, не знаком совпадения  
Отмечен был ее победный путь.  
Но в душу Франции она пришла вдохнуть

Живую мощь по воле Провиденья —  
Сама Весна, как символ возрождения,  
Весну полям растоптаным вернуть!

И мир хранил в своей душе, как чудо,  
Как высшую от века благодать,  
Воскресшей Франции ту девственную мать,

Простую девушку, пришедшую оттуда,  
Где бедной ржи снопов желтела гряда,  
Чтоб лентой их цветной перевязать.

Мы свято чтим душою благодарной  
Ее души величественный взлет,  
Который нам расскажет водомет

Над полной снов муаровою Марной:  
Кто слышал бред седой и легендарный,—  
Лишь тот Любовь великую поймет!

Прекрасный Реймс! Быть может, *для немногих*  
Собор твой был источником утех  
У ног Мадонн задумчивых и строгих,

Где мог аббат простить печальный грех,  
Где окрылить надеждой новой мог их...  
Но сказкой чудною собор твой был для всех!

...И он горит, как драгоценный свиток  
Легенд и снов, начертанных Судьбой.  
Восходит к небесам не ладан голубой...

Вином причастия свинцовый стал напиток!..  
Горит собор в огне позорных пыток  
Под хохот варвара, идущего на бой!..

1914—1915

## АНГЛИЯ

Царица гордая бушующих морей.  
Легенда старая суровых капитанов!  
Страна загадочных и сумрачных туманов,

В лесах из мачт и прихотливых рей—  
Ты блещешь красными огнями фонарей  
В пути бесчисленных гигантских караванов!

Соленых волн рассыпчатая пыль  
Сверкает брызгами над всеми парусами.  
Им бури грозные родными голосами

Всегда рассказывают пламенную быль  
Про то, каких пространств касался острый киль,  
Какими небеса смеялись небесами!..

Есть тайна вещая в безмолвных морях  
Для тех, чья родина — раскинутые степи.  
Гремят всегда их якорные цепи,

Всегда огонь — в далеких маяках,  
Тугой канат — в натруженных руках  
И что-то детское, задорное в их кепи!

На их гербе — к прыжку готовый лев  
Грозит дерзнувшему безумца окровавить:  
Не даст легко он женщин обесславить —

Британских девушек с осанкой королев!  
Кто испытал величественный гнев,—  
Попытку дерзкую спешит скорей оставить!

...В машинном грохоте дымятся города.  
Щетина труб венчает кровли зданий —  
Эмблемой черною испытанных созданий,

Плодов упорного и мощного труда.  
Веков истории проходит череда  
В простых словах пленительных преданий.

...Как верный щит — британская скала  
Стоит в плену бушующего моря,  
И, с бурей волн рокочущею споря,

В глубоких гаванях звонят колокола:  
Пусть знают путники, что затаила мгла  
В пучине вод — пучину зла и горя!..

Пускай теперь осмелится пират  
Направить бриг на грозные утесы.  
Назад!.. — колокола немолчно говорят.  
Вперед!.. — поет волна, — вперед, мои матросы!

1915

## КТО ПРАВ?

У них был спор о тайне мира.  
Один — мудрец. Другой — поэт.  
Судьбой дана поэту лира.  
Другому — опыт долгих лет.

И, убеленный сединами,  
Мудрец смиренно изрекал:  
— Не создан мир великий нами,  
Но я в нем истину искал!

Я в книгу тайную природы  
Свой погружал пытливый ум.  
Бежали дни, тянулись годы  
В плену величественных дум.

Весенней бабочки строенье,  
Волны рокошущий прилив  
Рождали новое сомненье,  
Исканьем душу окрылив!

И понял я, что тайна мира,  
Во всем сокрытая, — одна,  
Она в безгранности эфира  
И в малой капельке видна.

К земле ли взор опустишь тленной,  
Измеришь мысленно ли высь, —  
Один указан путь вселенной,  
Один закон: живи! трудись!

— О, нет! — восторженный и праздный,  
Ему отвечивал поэт, —  
Не сможет труд твой безобразный  
Пленить прекрасный этот свет!

Послушай мерные напевы  
В прибрежном шуме тростника,  
Взгляни в глаза прекрасной девы,  
На краску крыльев мотылька!

Послушай море в час прибоя,  
Как шепчут пенные струи!  
Внимай, как небо голубое  
Безумно славят соловьи!

И кто сильнее и чудесней  
Певца пред смолкшею толпой?!  
Весь мир живет одною песней!  
Живи, поэт! Живи и пой!

— Поэт! не нами мир устроен!..  
— Старик! Но тайна, тайна в чем?..  
...Но в этот миг пришедший воин  
Отсек им головы мечом!..

1915

## ГЕРМАНИИ

Сквозь лак асфальтовой культуры  
Прорвался дремлющий дикарь.  
Что фрак взамен звериной шкуры?  
В нем — зверь неистовый, как встарь!

Кричал он долго миру — Гений!  
«Германский гений — дань веков!» —  
Неслись из всех сооружений  
Псалмы пронзительных гудков:

Не я ль огнем своих заводов  
Копчу и плавлю небеса?  
Не мне ль восторженных народов  
Поют о славе голоса?

Глядите! Тонкой паутиной  
Повисли цепкие мосты!..  
Во мне, во мне залог единый  
Все побеждающей мечты!

Летят мои аэропланы,  
И гордо реет цеппелин!  
Что пред тобой другие страны,  
Вселенной правящий Берлин?!

И все, что волей человека  
Создать доселе суждено, —  
Во мне от века и до века  
Самой судьбой заключено!

.....

Пропев пред целою вселенной,  
Тевтон блестящий вынул меч,  
Чтоб объявить Европу пленной  
И рабству «Гению» обречь!..

Вперед! на женщин безоружных!  
На города, где нет солдат!  
Напор полков лихих и дружных  
Не будет женщинами смят!

Вперед! Вперед! Пусть плачут бабы,  
Больные хнычут старики!  
Стрелять, воинственные швабы!  
Рубить, блестящие полки!

.....

Сквозь лак асфальтовой культуры  
Прорвался дремлющий дикарь!  
Что фрак взамен звериной шкуры?  
В нем зверь беснуется, как встарь!..

1914—1915

ИЗ СБОРНИКА

«ДЫМ БЕЗ ОТЕЧЕСТВА»

У ВРАТ ЦАРСТВА

Все опростали. И все опростили.  
Взяли из жизни и нежность, и звон.  
Бросили наземь. Топтали и били.  
Пили. Растлили. И выгнали вон...

Долго плясала деревня хмельная.  
Жгла и ходила смотреть на огонь.  
И надрывалась от края до края  
Хрипя, злая, шальная гармонь.

Город был тоже по-новому весел.  
Стекла дырявил и мрамор дробил.  
Ночью в предместьях своих куролесил,  
Братьев готовил для братских могил.

Жили, как свиньи. Дрожали, как мыши.  
Грызлись, как злые, голодные псы.



Строили башню, все выше и выше,  
Непревзойденной и строгой красы.

Были рабами. И будут рабами.  
Сами воздвигнут. И сами сожгут.  
Господи Боже, свершишь ли над нами  
Страшный, последний, обещанный Суд?!

1920

## КОНСТАНТИНОПОЛЬ

Мне говорили: все промчится.  
И все течет. И все вода.  
Но город — сон, который снится,  
Приснился миру навсегда.

Лаванда, амбра, запах пудры,  
Чадра, и феска, и чалма.  
Страна, где подданные мудры,  
Где сводят женщины с ума.  
Где от зари и до полночи  
Перед душистым наргиле,  
На ткань ковра уставя очи,  
Сидят народы на земле  
И славят мудрого Аллаха,  
Иль, совершив святой намаз,  
О бранной славе падишаха  
Ведут медлительный рассказ.  
Где любят нежно и жестоко  
И непременно в нишах бань.  
Пока не будет глас Пророка:  
Селим, довольно. Перестань.

О, бред проезжих беллетристов,  
Которым сам Токатлиан,  
Хозяин баров, друг артистов,  
Носил и кофий и кальян!

Он фимиам курил Фареру,  
Сулил бессмертие Лоти,  
И Клод Фарер, теряя меру,  
Сбивал читателей с пути.

А было просто... Что окурок,  
Под сточной брошенный трубой,

Едва дымился бедный турок,  
Уже раздавленный судьбой.

И турка бедного призвали,  
И он пред судьями предстал  
И золотым пером в Версале  
Взмахнул и что-то подписал.

Покончив с расой беспокойной  
И заглушив гортанный гул,  
Толпою жадной и нестройной  
Европа ринулась в Стамбул.

Менялы, гиды, шарлатаны,  
Парижских улиц мать и дочь,  
Французской службы капитаны,  
Британцы, мрачные, как ночь.

Кроаты в лентах, сербы в бантах,  
Какой-то сир, какой-то сэр,  
Поляки в адских аксельбантах  
И итальянский берсальер,

Малайцы, негры и ацтеки,  
Ковбой, идущий напролом,  
Темно-оливковые греки,  
Армяне с собственным послом!

И кучка русских с бывшим флагом  
И незатейливым Освагом...

Таков был пестрый караван,  
Пришедший в лоно мусульман.

В земле ворочались предки,  
А над землей был стон и звон.  
И сорок две контрразведки  
Венчали новый Вавилон.

Консервы, горы шоколада,  
Монбланы безопасных бритв,  
И крик ослов...— и вот награда  
За годы сумасшедших битв!

А ночь придет,— поют девицы,  
Гудит тимпан, дымит кальян.  
И в километре от столицы  
Хозары режут христиан.

Дрожит в воде, в воде Босфора  
Резной и четкий минарет.  
И мулдин поет, что скоро  
Придет, вернется Магомет.

Но, сын растерзанной России,  
Не верю я, Аллах, прости,  
Ни Магомету, ни Мессии,  
Ни Клод Фареру, ни Лоти...

1920

### СВЕРШИТЕЛИ

Расточали каждый час.  
Жили скверно и убого.  
И никто, никто из нас  
Никогда не верил в Бога.

Ах, как было все равно  
Сердцу — в царствии потемок!  
Пили красное вино  
И искали Незнакомок.

Возносились в облака.  
Пережевывали стили.  
Да про душу мужика  
Столько слов наворотили,

Что теперь еще саднит  
При одном воспоминанье.  
О, Россия! О, гранит,  
Распылившийся в изнанье!

Ты была и будешь вновь.  
Только мы уже не будем.  
Про свою к тебе любовь  
Мы чужим расскажем людям.

И, прияв пожатье плеч,  
Как ответ и как расплату,  
При неверном блеске свеч  
Отойдем к Иосафату.

И потомкам в глубь веков  
Предадим свой жребий русский:

Прах ненужных дневников  
И Гарнье — словарь французский.

1920

**ВСЕЛЕНСКИЕ ХЛОПОТЫ**

Мы всюду искали святую Каабу.  
Мы все уверяли вполне откровенно  
Навзрыд голосившую тульскую бабу,  
Что ейный кормилец — защитник Лувэна.

Британия?! — Бог мой, дорогу Гладстонам!  
Италия?! — Ясно! Спасем Капитолий!  
А сами уж керенки мяли со стоном,  
Да лузгали семечки волей-неволей.

За синюю птицей, за спящей царевной!  
Воистину, был этот путь многотруден.  
То русский мужик умирает под Плевной,  
То к черту в болото увяжется Рудин.

А как умилялись Венерой Милосской!  
Шалели и млели от всех мемуаров.  
И три поколенья плохой папироской  
Дымили у бедной стены Коммунаров.

И все для того, чтоб в конечном итоге,  
Прослав сумасшедшей, святой и кликушей,  
Лежать в стороне от широкой дороги  
Огромной, гниющей и косною тушей.

1920

**ЭДЕМ**

Made in Russia

Расстреливают щедро и жестоко.  
Казнят за ять. И воспевают труд.  
Интеллигенция разучивает Блока  
И пишет на машинках Ундервуд.

Все силятся получше и покраше  
Господние дары размалевать.  
Послал бы я их к чертовой мамаше!  
Да совестно... хоть чертова, а мать.

1920

## ЧЕСТНОСТЬ С СОБОЙ

Через двести — триста лет жизнь будет невы-  
разимо прекрасной.

Чехов

Россию завоюет генерал.  
Стремительный, отчаянный и строгий.  
Воскреснет золотой империал.  
Начнут чинить железные дороги.  
На площади воздвигнут эшафот,  
Чтоб мстить за многолетие позора.  
Потом произойдет переворот  
По поводу какого-нибудь вздора.  
Потом... придет конногвардейский полк:  
Чтоб окончательно Россию успокоить.  
И станет население, как шелк.  
Начнет пахать, ходить во храм и строить.  
Набросятся на хлеб и на букварь.  
Озолотят грядущее сияньем.  
Какая-нибудь новая бездарь  
Займется всенародным покаяньем.  
Эстетов расплодится, как собак.  
Все станут жаждать наслаждений жизни.  
В газетах будет полный кавардак  
И ежедневная похлебка об отчизне.  
Ну, хорошо. Пройдут десятки лет.  
И Смерть придет и тихо скажет: баста.  
Но те, кого еще на свете нет,  
Кто будет жить — так, лет через полтораста,  
Проснутся ли в пленительном саду  
Среди святых и нестерпимых светов,  
Чтоб дни и ночи в сладостном бреду.  
Твердить чеканные гексаметры поэтов  
И чувствовать биения сердец,  
Которые не ведают печали.  
И повторять: «О, брат мой. Наконец!  
Недаром наши предки пострадали!»  
Н-да-с. Как сказать... Я напрягаю слух,  
Но этих слов в веках не различаю.  
А вот что из меня начнет расти лопух:  
Я — знаю.  
И кто порукою, что верен идеал?  
Что станет человечеству привольно?!  
Где мера сущего?! — Грядите, генерал!..  
На десять лет! И мне, и вам — довольно!

1920

Дипломат, сочиняющий хартии,  
Секретарь политической партии,  
Полномочный министр Эстонии,  
Представитель великой Ливонии,  
Президент мексиканской республики,  
И актер без театра и публики,  
Петербургская барыня с дочками,  
Эмигрант с нездоровыми почками,  
И директор трамвая бельгийского,  
Все... хотя бы возрожденья русского!  
И поэтому нужно доказывать,  
Распоясаться, плакать, рассказывать  
Об единственной в мире возлюбленной,  
Распростертой, распятой, загубленной,  
Прокаженной и смрадной уродине,  
О своей незадачливой родине,  
Где теперь, в эти ночи пустынные,  
Пахнут горечью травы полынные,  
И цветут, и томятся, и маются,  
По сырой по земле расстилаются.

1920

### ПИСАНАЯ ТОРБА

Я не могу желать от генералов,  
Чтоб каждый раз, в пороховом дыму,  
Они республиканских идеалов  
Являли прелести. Кому? и почему?!

Когда на смерть уходит полк казацкий,  
Могу ль хотеть, чтоб каждый, на коне,  
Припоминал, что думал Златовратский  
О пользе просвещения в стране.

Есть критики: им нужно до зарезу,  
Я говорю об этом, не смеясь,  
Чтоб даже лошадь ржала марсельезу,  
В кавалерийскую атаку уносясь.

Да совершится все, что неизбежно:  
Не мы творим историю веков.  
Но как возвышенно, как пламенно, как нежно —  
Молюсь я о чуме для дураков!

1920

## ЛЮБИТЕЛИ БЕСКРОВНОЙ И СВЯТОЙ

Я не боюсь восставшего народа.  
Он отомстит за годы слепоты  
И за твои бубенчики, Свобода,  
Рогатиною вспорет животы.

Он будет прав, как темная лавина,  
Которая несется с высоты.  
И в пламени последнего овина  
Погибнут книги, люди и скоты.

Я не боюсь, что все Наполеоны  
Зальют свинцом разинутые рты.  
Что вылезут из нор хамелеоны  
И хищные, хрустящие кроты.

Так быть должно. И так уже бывало.  
Гроза сметет опавшие листья.  
И будет день. И будет все сначала.  
И новый сад. И новые цветы.

Но я боюсь, что два приват-доцента,  
Которые с Республикой — на ты,  
И полтора печальных декадента,  
И Клара Львовна, девушка мечты,

Они начнут юлить и извиваться  
И, вдруг поджав унылые хвосты,  
Попробуют ворчать и добиваться  
Прощения... во имя *Красоты!*

Их шепот будет беден и нескладен.  
Но он внесет ненужность суеты  
В торжественность безмолвных перекладин  
Под небом величавой пустоты.

1920

## ПОСЛЕ ВСЕГО

Ну, итак, господа отрицатели,  
Элегантные циники, скептики,  
Извергатели слов, прорицатели,  
Радикалы с прохвостинкой, критики,

Псалмопевцы грядущей республики,  
Забияки, танцоры на кладбище  
И любимцы почтеннейшей публики,  
Что ж, теперь вы довольны, не правда ли?!

Разве вы не твердили, что истина  
Воссияет, как солнце горячее,  
Над холодными тундрами Севера,  
Если в тундрах созвать предпарламенты?!

Ах, вы все гениально предвидели,  
Расторопные чижики-пыжики,  
Талейраны из города Винницы,  
Постояльцы и вечные дачники!

Торжествуйте же, вы, предсказатели,  
Игрцы на затейливых дудочках,  
Всероссийская голь перекатная  
Без души и без роду, без племени.

Только тише ходите по улицам,  
Не болтайте в трамваях, в кондитерских,  
Притворяйтесь бразильцами, чехами,  
Но — ни слова о том, что вы русские!..

Ибо третьего дня иль четвертого  
Мы имели хоть призрак отечества.  
И за смутную тень полуострова  
Нас терпели консьержи с консьержками.  
А сегодня...

О, Господи праведный!  
Об одном я молю Тебя, Господи!  
Сделай так, чтоб не слышал я жалобы  
Недержателей речи рифмованной,

Ибо горше, чем тупость противников,  
Вопиющая пошлость соратников!  
Ибо несть от друзей избавления,  
Аще несть Твоего повеления.

1920—1921



## БИБЛЕЙСКИЙ СЛУЧАЙ

Уже эпох был ясен перелом.  
Опутанная, скованная злом,  
Кружилась сумасшедшая планета.  
И уж не раз разгневанный вулкан  
Грозил разъять Великий океан  
Зловещего, опалового цвета.

Уже земля качалась на Весах.  
И возникали в бледных небесах  
Последние кровавые закаты.  
А ночью упали с высоты,  
Похожие на редкие цветы,  
Горящие сапфиры и агаты.

И слышен был на целый материк  
Граничивший с истерикою крик  
Великого безумца Эдисона.  
Но мир теней на зов не отвечал.  
И серп луны несчастье предвещал.  
И в том году не выбрали Вильсона.

Еще — не мог Всевышний претерпеть,  
Что стали размножаться и наглеть  
Какие-то республики латгальцев.  
И бысть отмщен многоголовый грех.  
И хрустнул мир, как маленький орех,  
Раздавленный усилиями пальцев.

И злой осел, загадивший Восток,  
На Арарат копыт не уволок  
И пал под глас Демьяновой свирели.  
И в ту же ночь погибли пошляки,  
Писавшие негодные стишки  
О родине, которой не имели.

1920—1921

## ПРО БЕЛОГО БЫЧКА

Мы будем каяться пятнадцать лет подряд.  
С остервенением. С упорным сладострастьем.  
Мы разведем такой чернильный яд  
И будем лстыть с таким подобострастьем  
Державному Хозяину Земли,  
Как говорит крылатое реченье,  
Что нас самих, распластанных в пыли,  
Стошнит и даже вырвет в заключение.  
Мы станем чистить, строить и тесать.  
И сыпать рожь в прохладный зев амбаров.  
Славянской вязью вывески писать  
И вождедель кипятих самоваров.  
Мы будем ненавидеть Кременчуг  
За то, что в нем не собиралось вече.  
Нам станет чужд и неприятен юг  
За южные неправильности речи.  
Зато какой-нибудь Валдай или Торжок  
Внушат немалые восторги драматургам.  
И умилиет нас каждый пирожок  
В Клину, между Москвой и Петербургом.  
Так протекут и так пройдут года:  
Корявый зуб поддерживает пломба.  
Наступит мир. И только иногда  
Взорвется освежающая бомба.  
Потом опять увязнет ноготок.  
И станет скучен самовар московский.  
И лихача, ватрушку и Восток  
Нежданно выберит Димитрий Мережковский.  
Потом... О, Господи, Ты только вездесущ  
И волен надо всем преображеньем!  
Но, чую, вновь от беловежских пуц  
Пойдет начало с прежним продолженьем.  
И вокруг оси опишет новый круг  
История, бездарная, как бублик.  
И вновь на линии Вапнярка — Кременчуг  
Возникнет до семнадцати республик.  
И чье-то право обрести в борьбе  
Конгресс Труда попробует в Одессе.  
Тогда, о, Господи, возьми меня к Себе,  
Чтоб мне не быть на трудовом конгрессе!

1920

**«ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕТЕР...»**

Возвращается ветер на круги своя.  
Не шумят возмущенные воды.  
Повторяется все, дорогая моя,  
Повинуясь законам природы.

Расцветает сирень, чтоб осыпать свой цвет.  
Гибнет плод, красотой отягченный.  
И любимой поэт посвящает сонет,  
Уже трижды другим посвященный.

Все есть отблеск и свет. Все есть отзвук и звук.  
И, внимая речам якобинца,  
Я предчувствую, как его собственный внук  
Возжелает наследного принца.

Ибо все на земле, дорогая моя,  
Происходит, как сказано в песне:  
Возвращается ветер на круги своя,  
Возвращается, дьявол! хоть тресни.

1920

**ВСЕ ТЕЧЕТ**

Трижды прав Гераклит древнегреческий:  
Все течет. Даже вздор человеческий,

Даже золото скипетров царственных,  
Даже мудрость мужей государственных,

Даже желчь, что толкает повеситься —  
При сиянии бледного месяца...

1920

**ПАРИЖ**

1

Горячий бред о том, что было.  
И ураган прошедших лет.  
И чья-то бедная могила.

И чей-то милый силуэт.  
И край, при мысли о котором  
Стыдом, печалью и позором  
Переполняется душа.  
И ты, которая устало  
В мехах московских утопала,  
Красою строгою дыша.  
И дом, и скрип зеленой ставни.  
И блеск оконного стекла.  
И сон, и давний, и недавний.  
И жизнь, которая текла.  
И нежность всех воспоминаний,  
И мудрость радости земной.  
И все, что было ранней-ранней  
Неповторимую весной.  
И то, чем жизнь была согрета  
И от чего теперь пуста,  
Я все сложил у парапета  
Резного Сенского моста.

2

Не ты ли сердце отогрешь  
И, обольстив, не оттолкнешь?!  
Ты легким дымом голубеешь  
И ты живешь и не живешь.  
Ты утончаешь все движенья,  
Облагораживаешь быль.  
И вечно ищешь достиженья,  
Чтоб расточить его, как пыль.  
Созревший, сочный и осенний,  
Прикосновений ждущий плод,  
Ты самый юный и весенний.  
Как твой поэт, как твой народ.  
Латинский город, где кираса  
Не уступает канотье.  
Где стансы Жана Мореаса  
Возникли в сумерках Готье.  
Где под часовенкой старинной  
Дряхлеет сердце короля.  
Где сумасшедшею лавиной  
Через Елисейские поля  
В Булонский лес, зеленый ворот,  
Стесненный пряжкой Этуаль,  
Летит, несется, скачет город,—  
Одна певучая спираль.

И я с тобою, гость случайный,  
 Бегу, чтоб только превозмочь  
 Мою окутанную тайной  
 И неизвестностию ночь.  
 Чтоб размотать на конус пиний  
 Тоскливых дум веретено,  
 Чтоб выпить этот вечер синий,  
 Как пьют блаженное вино.  
 Благословить моря и сушу  
 И дом чужой, и отчий дом,  
 И расточить больную душу  
 В прозрачном воздухе твоём.

1920

1920

Стекло и медь. В мерцании витрин  
 Поют шелка, которым нет названья.  
 В них собраны сокрытые желанья  
 И все цвета. Пустой аквамарин.  
 Рубин, огонь нетленного пыланья,  
 И синий цвет, любимый цвет Орканья.  
 И розовый, как цвет Бургундских вин.

Оранжевый, как светлый мараскин.  
 Зеленый, как блаженная Кампанья.  
 И пепельный, как серебро седин.  
 И черный цвет, печальный цвет незнанья.

О, галстуки, поющие без слов,  
 Роняющие пламенные вздохи!

Все суета, весь тлен моей эпохи,  
 И свист гранат ее, и шум ее балов,  
 И все, что создано, и расплылось в крохи,  
 Поет без слов и расточает вздохи.

И я, приехавший из северной страны,  
 Зачеркнутой на европейской карте,  
 Я созерцаю вас в убийственном азарте,  
 Но знаю, что и вы обречены!

Чтоб растоптать дразнящую красоту  
 И покарать великолепный грех,

Вас соберет святая Справедливость,  
Которая уравнивает всех.

И вас сожгут в какой-нибудь Вандее,  
Сровняв бугор с сентябрьскою землей.  
И облекут намыленные шеи  
Общедоступною веревочной петлей.

<1921>

### КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Спи, мой мальчик,  
спи, мой чиж.  
*Саша Черный*

Спи, Данилка. Спи, мой чиж.  
Вот и мы с тобой в Париж,  
Чтоб не думали о нас,  
Прикатили в добрый час.

Тут мы можем жить и ждать,  
Не бояться, не дрожать.  
Здесь — и добрая Sainte Vierge,  
И консьержка и консьерж,  
И жандарм с большим хвостом,  
И республика притом.

Это, братец, не Москва,  
Где на улицах трава.  
Здесь асфальт, а в нем газон,  
И на все есть свой резон.

Вишь, как в самое нутро  
Ловко всажено метро,  
Мчится, лязгает, грызет,  
И бастует — и везет.

Значит, нечего тужить.  
Будем ждать и будем жить.  
Только чем?! Ну что ж, мой чиж,  
Ведь на то он и Париж,  
Город-светоч, город-свет.  
Есть тут русский комитет.  
А при нем бюро труда.  
Мы пойдем с тобой туда  
И заявим: «Я и чиж  
Переехали в Париж.

Он и я желаем есть.  
Что у вас в Париже есть?!»

Ну, запишут, как и что.  
Я продам свое пальто  
И куплю тебе банан,  
Саблю, хлыст и барабан.  
День пройдет. И два. И пять.  
Будем жить и будем ждать.

Будем жаловаться вслух,  
Что сильнее плоть, чем дух,  
Что до Бога высоко,  
Что Россия далеко,  
Что Данилка и что я—  
Две песчинки бытия  
И что скоро где-нибудь  
Нас положат отдохнуть  
Не на час, а навсегда,  
И за счет бюро труда.  
«Здесь лежат отец и чиж»,  
И напишут: «Знай, Париж!  
Неразлучные друзья,  
Две песчинки бытия,  
Две пылинки, две слезы,  
Две дождинки злой грозы,  
Прошумевшей над землей,  
Тоже бедной, тоже злой».

1920

## НЕПОБЕДИМОЕ

Сижу в золотом Тюильрийском саду  
И с грустью вздыхаю о многом.  
О том, что нельзя мне играть в чехарду  
Пред этим безнравственным богом.

О том, что истлел знаменитый артист,  
А бог неподвижен, как прежде.  
О том, что косится на фиговый лист  
Старушка в напрасной надежде.

О том, что и я, и monsieur Клемансо  
Порукою связаны прочной.  
Он грузно вращает судьбы колесо.  
А я—свой хребет позвоночный.

О том, что и надо же так угодить,  
Чтоб... трижды роняя по вздоху,  
Позволить себя бесконтрольно родить  
В такую шальную эпоху!..

Куда мне идти? И куда я пойду?  
Анелька... Деревня... Россия...  
Как много гвоздик в Тюильрийском саду!  
И все они тоже чужие.

<1921>

### ЗАСТИГНУТЫЕ НОЧЬЮ

Я поздно встал. И на дороге  
Застигнут ночью Рима был.

*Тютчев*

Живем. Скрипим. И медленно седеем.  
Плетемся переулками Passy.  
И скоро совершенно обалдеем  
От способов спасения Руси.  
Вокруг шумит Париж неугомонный,  
Творящий, созидающий, живой.  
И с башни, кружевной и вознесенной,  
Следит за умирающей Москвой.

Он вспоминает молодость шальную,  
Веселую работу гильотин  
И жизнь свою, не эту, а иную,  
Которую прославил Ламартин.

О, зрелость достигается веками!  
История есть мельница богов.  
Они неторопливыми руками  
Берут из драгоценных закровов,  
Покорствуя величественной воле,  
Раскиданные зернышки Руси,  
Мы очередь получим в перемолё,  
Дотоле обретаясь в Passy.

И некто не родившийся родится.  
Серебряными шпорами звеня,  
Он сядет на коня и насладится—  
Покорностью народа и коня.



Проскачут адъютанты и курьеры.  
И лихо заиграют трубачи.  
Румяные такие кавалеры.  
Веселые такие усачи.

Досадно будет сложенным в могиле,  
Ах, скучно будет зернышкам Руси...  
Зачем же мы на диспуты ходили  
И чахли в переулочках Passy.

1921

## ПАНТЕОН

1

Здесь погребен monseigneur Израильсон.  
Он покупал по случаю брильянты  
И твердо веровал, что президент Вильсон  
Окажется решительней Антанты.  
Но падал франк. Летела марка вниз.  
Вода Виши не помогла желудку.  
И умер он, умученный от виз,  
Любя Россию вопреки рассудку.

2

Молодой человек. Из хорошей семьи.  
Основатель Бюро переводов.  
Умер честно. Один. Без хорошей семьи.  
На глазах европейских народов.

3

Вся жизнь его прошла в мечтах.  
Он шибко жил и умер быстро.  
Покойся мирно, бедный прах  
Дальневосточного министра!..

4

Здесь погребен веселый щелкопер.  
Почти поэт, но не поэт, конечно.  
Среди планет беспечный метеор,  
Чей легкий свет проходит быстротечно.  
Он роз и слез почти не рифмовал.

Но, со слезой вздыхая о России,  
Стихию он всегда предпочитал  
Соблазну полнозвучия Мессии.  
Он мог бы и бессмертие стяжать.  
Но на ходу напишешь разве книжку?!  
А он бежал. И он устал бежать.  
И добежал до кладбища вприпрыжку.

< 1921 >

## РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ВОСТОРГИ

Как не стать республиканцем  
В чудном городе Париже,  
Где, по щучьему веленью,  
Снятся сладостные сны?  
Как не стать республиканцем,  
Если только стать поближе  
К молодому поколению  
Этой ветреной страны?!

Как легко и вольно дышат  
Эти дети и не дети,  
Расточающие в Вечность  
И начала и концы.  
Если в небе только слышат,  
То в божественном совете  
Им присудят Бесконечность  
И Бессмертия венцы.  
Там, где немец углубляет,  
Англичанин хмурит брови,  
Закипает итальянец  
И кичится славянин,  
Там сверкает и играет  
Каждой каплей галльской крови  
С юных дней республиканец,  
С колыбели гражданин!

Пусть брызжат социалисты,  
Пусть ужасно недоволен  
Всех земных конфедераций  
Генеральный секретарь.  
Пусть во гневе роялисты  
С монастырских колоколен  
Предвещают гибель наций,  
Эта жалкая бездарь!

Ибо толща и консьержи,  
И хозяйки пансионов,  
Мелких лавочников форум,  
Каждый зяблик и кулик,  
Фамм-де-шамбры, демивьержи  
И десятки миллионов,  
Все кричат согласным хором:  
Vive, хоть тресни, République!

И, взглянув на дело шире,  
Разве маленькая сошка  
Всей истории моменты  
Сотворила не сама?!  
Где еще в подлунном мире  
Из вагонного окошка  
Вылетают президенты  
В полосатых пижамах?!

Где еще легко и нежно,  
Как слабительное средство,  
О преемственности власти  
Мудрый действует закон?!  
Где так просто и небрежно  
Драгоценное наследство,  
То, которое отчасти  
Создавал Наполеон,

Пококетничав с минутку  
Перед публикой плебейской,  
Принимает крепкий дядя,  
Сделав дамам реверанс,  
И идет, роняя шутку,  
Во дворец свой Елисейский,  
И толпа, с восторгом глядя,  
Возглашает: «Vive la France!»

И опять автомобили  
Сотрясают мостовые,  
И на улице мальчишки  
Издают веселый свист.  
Никого не застрелили.  
Все по-прежнему живые.  
И на Эйфелевой вышке  
Господин телеграфист

Точно, ясно и бесстрастно  
Сообщает неуклонно  
В Конго, в Чили и в Уэльсы,

И во всякий пункт земной,  
Что на свете все прекрасно  
И что ныне из вагона,  
Если выпадет на рельсы,  
То не прежний, а другой...

В жизни каждый миг чудесен,  
Если жить не среди хмурых,  
А меж тех, кто легким танцем  
Исчерпал себя вполне!  
Как не спеть веселых песен,  
Дробь не выбить на тамбуре,  
Как не стать республиканцем  
В этой ветреной стране!..

1920

**О, MADELON!**

Везет же знаменитому Гамбетте!  
Кашена не положат в Пантеон.  
Да здравствует неравенство на свете.  
О, Madelon!

Представьте, что на мраморные урны  
Всем гражданам давали бы талон  
И номер на бессмертие дежурный...  
О, Madelon!

Какая это жуткая потеха  
Долбить, что был умней Наполеон  
Всего древообделочного цеха.  
О, Madelon!

Благословенны пахари на пашне.  
Но разве те, чье имя легион,  
Построят чудо Эйфелевой башни?  
О, Madelon!

Дай всем вкусить оливы аркадийской,  
Но все ль вкусят и аркадийский сон,  
О, ветреница в шапочке фригийской,  
О, Madelon!

1920

## СТИХИ О БЕДНОСТИ

Не упорствуй, мой маленький друг.  
И не гневайся гневом султанши.  
Мы с тобой не поедem на юг.  
Мы не будем купаться в Ла-Манше.

Я тебя так же нежно люблю,  
Все капризы готов исполнять я.  
Но, увы, я тебе не куплю  
Кружевного брюссельского платья.

Потому что...— богата ли мышь,  
Убежавшая чудом с пожара?!  
Что же ты, моя мышка, молчишь?  
Или, бедный, тебе я не пара?

Не грусти. Это только — пока.  
Перешей свое платье с каймою,  
То, в котором, светла и легка,  
По Тверской ты гуляла весною.

Заскучаешь, возьми автобус  
И до самой Мадлэн прокатаю!  
Я ведь твой избалованный вкус,  
Слава Богу, немножечко знаю...

Разве кончена жизнь уже?  
Разве наша надежда напрасна?!  
Почитай господина Мюрже,  
Ты увидишь, что жизнь прекрасна.

А сознание, что в нашей судьбе  
Есть какая-то мудрость страдания?!  
Разве это не лестно тебе?  
Разве мало такого сознания?..

Жить, постигнув, что все — Ничего!  
Видеть мир, превращенный в обломки!..  
Понимаешь ли ты, до чего  
Нам завидовать будут потомки?!

Не сердись же, мой маленький друг.  
Не казни меня гневом султанши.  
Мы с тобой не поедem на юг.  
Мы не будем купаться в Ла-Манше.

## РЕЗОЛЮЦИЯ

Хорошо бы в море бросить  
Всех, кто что-то проповедует.  
Зачесать умело проседь,  
Зачесать ее как следует.  
Предоставить спор невежде,  
Не вступая с ним в дискуссию.  
И ухаживать, как прежде,  
За какой-нибудь Марусею.

Не ходить встречать Мессию  
И его не рекламировать.  
Со слезою про Россию  
Ничего не декламировать.  
Не скулить о власти твердой  
С жалким видом меланхолика.  
Вообще, не шляться с мордой  
Освежеванного кролика.

Но, избрав потверже сушу,  
Все суметь, что юность ведает.  
И взбодрить и плоть, и душу,  
И взбодрить их так, как следует.  
Предоставить спор невежде,  
Не вести ни с кем дискуссию.  
И... ухаживать, как прежде,  
За какой-нибудь Марусею!

1920

## ЧЕРНОЗЕМНЫЕ ПОРЫВЫ

Я в мире все, покорствуя, приемлю.  
Чтоб самый мир осмыслить и постичь.  
Иван Ильич желает сесть на землю.  
Я говорю: садись, Иван Ильич!

По всем его движениям и позам  
Я понимаю, это — крик души.  
Он говорит: хочу дышать навозом!  
Я говорю: действительно, дыши!

Он говорит: я заведу корову.  
Я говорю: конечно, заводи!  
И, веря ободряющему слову,  
Он чувствует стеснение в груди.

Так высказаться мученику надо.  
Так нужен этот дружеский жилет.  
Он говорит: представь себе! Канада!  
Мохнатый плащ! Ботфорты! Пистолет!

Я жизнь дам иному поколенью,  
Я населю величественный край!..  
С участием к сердечному волненью  
Я говорю: конечно, населяй!

А через час, беспомощней сардинки,  
Которая не может ничего,  
Он вновь стучит на пишущей машинке  
И курит так, что страшно за него!

1921

### РОМАН С БРЕТОНКОЙ

Хорошо у моря, летом,  
Быть влюбленным, быть поэтом,  
Быть преступно молодым,  
Жить в избушке у бретонца,  
Подыматься раньше солнца,  
Когда в небе — синий дым,  
Когда спит на бедном ложе  
Та, что в мире всех дороже,  
И прекрасней, и милей.  
Натянуть суровый парус  
И рассечь воды стеклярус  
Легкой лодкою своей.  
Выбрать место. Сеть закинуть.  
Долго ждать. Тянуть — и вынуть,  
Словно жребий золотой,  
Океанский, настоящий  
Пестрых рыб улов, блестящий  
Многоцветной чешуей!  
А потом, при блеске солнца,  
Плыть назад, к избе бретонца,  
И живую скумбрию,  
Что по-рыбьи пляшет в лодке,  
На шипящей сковородке  
Поднести, как жизнь свою,  
Той, что в мире всех дороже,  
Той, которая... О, Боже!  
Пусто ложе! Где ж она?!  
Где бретонка?! Бог иль дьявол!

Неужель, пока я плавал,  
Здесь возился сатана?!  
Жалкий, красный, как редиска,  
Я гляжу, лежит записка  
На французском языке:  
«Рыбаки мне надоели,  
Неужели, в самом деле,  
Счастье только в рыбаке?!  
Я ищу, мой друг минутный,  
Страсти боле сухопутной.  
Все вы просто пескари.  
Если ж вы меня любили,  
То зачем вы уходили  
До рассвета, до зари?!»  
Вот ушла — и не вернется.  
Где бретонка, там и рвется! —  
Уязвленно думал я,  
Проклиная мир и лодку,  
Ненавидя сковородку,  
Где шипела скумбрия.

1920

### ТРУЖЕНИКИ МОРЯ

«Уж небо осенью дышало»,  
Уже украли покрывало  
С террасы казино.  
И ветер, в злости беспечальной,  
На крыше флаг национальный  
Уже сорвал давно.  
Тромбон, артист с душой и вкусом,  
Бродил с большим и страшным флюсом  
На правой стороне.  
Уже не ждали ветра с юга  
И ненавидели друг друга,  
И жили в полусне.  
Рыжеволосая актриса  
Избила туплею Париса,  
И он ходил, как тень.  
Вино, что день, то было жиже.  
И все мечтали о Париже,  
Когда кончался день.  
Но, общей связаны порукой,  
Все говорили с тайной скукой,  
Участвуя в игре:  
Ах, все зависит от циклона.



Пройдет циклон, разгар сезона  
Наступит в сентябре.  
А море бешено кидалось,  
Лизало берег, возвращалось,  
Чтоб закипеть опять,  
Купальню смыть назло французу,  
И на песок швырнуть медузу  
И на песке распясть.  
И ночью снилась небылица,  
Далекий вальс и чьи-то лица,  
И нежность чьих-то глаз,  
И ненаписанные стансы,  
И трижды взятые авансы  
Под стансы и рассказ.  
И море снилось, но другое,  
Далекое и голубое,  
И милый Коктебель.  
Курьерский поезд петербургский.  
Горячий борщ, конечно, в Курске,  
И северная ель.  
Скорей, скорей! Уж Тула — справа.  
Вот старый Серпухов. Застава.  
Мгновенье... и — Москва.  
— Пожа-пожалте, прокатаю!—  
И вдруг я смутно различаю  
Не русские слова.  
И, слышу, снова бьет Париса  
Рыжеволосая актриса,  
Должно быть, за циклон,  
Который в море хороводит.  
Madame! Не бейте! Все проходит,  
И все пройдет. Как сон.

1920

## СЕМНАДЦАТОЕ СЕНТЯБРЯ

Правда, странно? Что за дата?  
Что случилось там когда-то,  
Далеко от здешних мест?  
Каратыгина рожденье?  
В Борках поезда крушенье?  
Или просто манифест?!.  
Нет, не то и не другое,  
И не третье, а — иное.  
Ну же! Вспомните скорей!  
Неужели вы забыли?

Неужели не любили  
Вы на родине своей?!  
Неужели в ваших венах  
Песню песней сокровенных  
Никогда не пела кровь?  
Неужели даже прежде  
И не к Вере, ни к Надежде  
Не швырнула вас Любовь?!  
Но уж к Софье?! К вашей тетке,  
Чьи смешные папильотки  
На чело роняли тень, —  
В старый домик на Плющихе,  
Где и сны, и вздохи тихи,  
Вы явились в этот день?!  
О, конечно, вы любили.  
Вы любили, но забыли  
Сочетания имен,  
Запах роз, и рук, и платья,  
Ибо все, и без изъятья,  
Исчезает в тьме времен.  
Пел рояль. Играли в фанты.  
В зеркалах мелькали банты.  
И цвела весна в глазах.  
Но с пустыни ветер грянул.  
Вешний цвет в полях увянул,  
Обратился в бедный прах.  
Не бросайте ж в ночь изгнания  
Добрых дней воспоминанья,  
Ибо все, что мы храним,  
Только тени восхождений,  
Только отблеск сновидений,  
Смутный дым и легкий дым.

<1921>

### СМИРЕНИЕ

От земли струится пар.  
Над землей плывет угар  
Легкий, дымный, голубой.  
Надо мной и над тобой.

На каштанах белый пух.  
Зорче глаз и тоньше слух.  
Если только пожелать,  
Можно многое понять.  
И понять и претерпеть,  
Если только захотеть.

Есть такой блаженный час,  
Когда видишь в первый раз,  
Изумленно и любя,  
И другого и себя.

Нет свершения вовне.  
Я — в других. И все — во мне.  
А над всем и над тобой  
Легкий, пьяный, голубой,  
Золотой весенний пар,  
Дым, и нежность, и угар.

1921

ИЗ СБОРНИКА

### «НАКИНУВ ПЛАЩ»

#### НАКИНУВ ПЛАЩ

Накинув плащ особого покроя —  
Классических и сладостных годов,  
Чудесный плащ любовника, героя,  
Веселого хозяина пиров,  
Капризный плащ беспечного бродяги,  
Охрипшего от страстных серенад,  
Скорей, друзья... Струєю дивной влаги  
Воспламеним и отуманим взгляд!  
Хоть раз в году участники Пролога,  
Освободившись от кручины злой,  
Войдем, как все, и станем у порога,  
«Накинув плащ, с гитарой под полой!»

И пусть дрожат натянутые струны,  
Звенит хрусталь и пенится вино,  
Вообразим, что мы, как прежде, юны,  
Что нам, как прежде, многое дано!  
Ах, разве не великая задача  
Такою брагой душу опить,  
Чтоб — все равно!.. то радуясь, то плача,  
Могла она две жизни пережить!..

Так складывать ли звонкие рапиры,  
Разменивать по мелочи булат,  
Когда, быть может, лучшие турниры  
Еще нам только завтра предстоят?!  
Пора давно уныние отбросить,  
Сомнение, как падаль, отшвырнуть,

И зачесать непрошенную просесть,  
И выпрямить надломленную грудь,  
Принять опять классическую позу  
И петь... во мраке ночи ледяной!—  
И соловья, и девушку, и розу,  
«Накинув плащ, с гитарой под полой...»

1928

## ГОРОДСКИЕ ФОНТАНЫ

Когда бы не боялся я прослыть  
Бездельником, лентяем и поэтом,  
Мечтателем, которого всегда  
Презрительной улыбкой награждают,  
Я утром бы исправно уходил,  
Как ходят клерки в скучную контору,  
В гранитный мир парижских площадей,  
Чтоб слушать шум блистательных  
фонтанов!

В огромных и нарядных городах,  
Где все имеет смысл и назначенье,  
Нет более напрасной красоты,  
Чем этих вод безумное течение...  
Когда режут недобрые гудки,  
И каждый миг из мрака подземелья  
Измученная, черная толпа,  
Заране обреченная на муки,  
С тревогой неизбежною в глазах,  
Торопится, друг друга обгоняя,  
И, задыхаясь, мчится и спешит,  
Чтоб тусклый день еще у жизни вырвать...  
Одни фонтаны светлою струей  
Холодный блеск беспечно расточают,  
И падает на каменное дно  
Оформленная прихотью стихия.

Она взлетает, бешеная, вверх,  
Но каплей каждую к земле влечется,  
Чтоб, вновь себя на брызги расточив,  
Подняться вновь для нового безумья.

И если долго вслушиваться в шум,  
То ясно в нем улавливаешь дактиль,  
Скользкий ямб, послушливый хорей  
И медленную женскую цезуру...

Один фонтан на площади Конкорд  
Швыряет в небо столько сочетаний,  
И столько строф, и строф чередований,  
Что все стихи Овидиевых книг,  
Корнеля стансы и романы Гейне  
Собой бассейн наполнить не могли б...  
Когда бы в них была вода, конечно!

1927

### БРОДЯГА

О, синьор в цилиндре строгом,  
В рединготе и с пластроном,  
С пестрой ленточкой в петлице  
За заслуги перед троном!..

Вы сердиты. Вы дугою  
Изогнули ваши брови,  
Даже держите свой зонтик  
Вы как будто наготове.

Да, вы правы. Я зевака.  
И стою я, рот разинув,  
Пред витринами нарядных,  
Освещенных магазинов.

И могу смотреть часами,  
Как в плену своем хрустальном  
Улыбается, сияет  
Эта кукла в платье бальном...

Иль прильнув к зеркальным стеклам  
Ресторана или бара,  
И глядеть, как честным людям  
Подают во льду омара,

Удивительные фрукты,  
Замороженные вина,  
От которых радость в сердце  
Может вспыхнуть беспричинно!

А еще люблю я очень  
Слушать музыку шарманки  
И встречаться с грустным взором  
Бесприютной обезьянки...

Вообще, синьор, немало  
Есть вещей на белом свете,  
Вызывающих восторги  
И в зеваче, и в поэте.

И напрасно вы замкнулись  
В вашем строгом рединготе,  
И от улицы, от встречи  
Ничего уже не ждете!

Вот, была ж у вас... со мною...  
Хоть на миг одна дорога.  
А ведь встреча с человеком  
Это, право, очень много.

Если ж вам и это чуждо,  
Значит, дух ваш полон мрака,  
Значит, вы не... теплый парень,  
Не поэт и не зевача!

1927

#### ГОРОДА И ГОДЫ

Старый Лондон пахнет ромом,  
Жестью, дымом и туманом.  
Но и этот запах может  
Стать единственно желанным.

Ослепительный Неаполь,  
Весь пронизанный закатом,  
Пахнет муляжами и слизью,  
Тухлой рыбой и канатом.

Город Гамбург пахнет снедью,  
Лесом, бочками и жиром,  
И гнетущим, вездесущим,  
Знаменитым добрым сыром.

А Севилья пахнет кожей,  
Кипарисом и вервеной,  
И прекрасной чайной розой,  
Несравнимой, несравненной.

Вечных запахов Парижа  
Только два. Они все те же:

Запах жареных каштанов  
И фиалок запах свежий.

Есть чем вспомнить в поздний вечер,  
Когда мало жить осталось,  
То, чем в жизни этой брэнной  
Сердце жадно надышалось!..

Но один есть в мире запах  
И одна есть в мире нега:  
Это русский зимний полдень,  
Это русский запах снега.

Лишь его не может вспомнить  
Сердце, помнящее много.  
И уже толпятся тени  
У последнего порога.

1927

#### СЕНТЯБРЬСКИЕ РОЗЫ

Осенние дни еще тихо  
И робко толпятся в преддверье.  
Сентябрьские розы пылают  
Пыланьем последнего дня.  
Латинские сумерки сини,  
Легки и воздушны, и кратки.  
И снова блаженное лето  
Отходит, как юность твоя.

Когда человек вспоминает  
О том, что давно миновало,  
То знай, это старость в преддверье,  
Дыханье в груди затая,  
Старается тихо подкрасться  
И, время по вздохам считая,  
Войти, как входила когда-то  
Упрямая юность твоя...

Войдет и осмотрит рапиры,  
Которые быстро ржавеют,  
И сядет, оправив старинной,  
Шуршащей оборки края.  
Скользнет снисходительным взглядом  
По толстым и пыльным тетрадам,

Где спят миллионы терзаний,  
Прошедших, как юность твоя.

Но ветер с неслыханной силой  
Ударит в железные ставни,  
И вспыхнут каминные угли,  
Как розы осеннего дня...  
И сердце впервые постигнет  
Покорности жуткую сладость,  
Но только иную, чем знала,  
Чем ведала юность твоя.

<1928>

### ВЕТЕР С ПУСТЫНИ

Уже стихов Екклезиаста  
Я познавал сладчайший яд.  
Уже оглядывался часто  
И я, не мудрствуя, назад.

И, наливаясь, тяжелели  
Давно отсчитанные дни.  
И ровным пламенем горели  
Мои вечерние огни.

И так, улыбкой многознанья,  
Я встретил зарево очей,  
И стан, не ведавший касанья,  
И легкость милого дыханья,  
И взгляд открытый и ничей.

Но ты прошла, смеясь над блеском  
Моих расширенных зрачков.  
Трескал камин привычным треском.  
А стук веселых каблучков

Звучал, как громы золотые,  
Как злые ямбы Бомарше,  
В моей смирившейся впервые  
И вновь взволнованной душе.

Ах знаю, знаю: все бывало!  
Но, многознанью вопреки,  
Над синей жилкой так устало,  
Так нежно вьются завитки...



Пусть ветер, веющий с пустыни,  
Каминной тешится золой.  
Мы посмеемся, я над ветром,  
А глупый ветер надо мной.

1926

### УЛИЧНЫЙ ПЕВЕЦ

Люблю весенние кануны,  
Когда вдали от бедных сел  
Уже настраивает струны  
Мифологический Эол.

Когда во двор, колодезь узкий,  
Приходит уличный певец  
И благородно, по-французски!  
Поет о нежности сердец,

О Маргаритах, о Сюзаннах,  
О взорах нежно-голубых  
И о каких-то дивных странах,  
Где нет печалей никаких.

И на асфальт сырой и грязный  
Летят звенящие гроши...—  
То благодарность за соблазны,  
За обольщения души.

1927

### ВООБРАЖАЕМОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

В окне у Кука и сына  
Есть пароходная модель.  
Маршруты сказочных недель,  
Марсель, Сицилия, Мессина...  
Слова, в которых бродит хмель,  
И слышен запах апельсина  
И запах душистых лепестков,  
Мимозы, розы и граната!  
В них очертанья облаков,  
Уже приснившихся когда-то,  
Венецианского заката  
Незабываемый покров,  
И имя женское Беата,  
И легкость итальянских слов...

Войти и бросить грудю денег,  
И грубо буркнуть: «Мистер Кук!  
Я человек и неврастеник  
От котелка до самых брюк.

Прошу вас, дайте мне плацкарту,  
Мне все равно, куда-нибудь...  
Благоволите сами в карту  
Своим британским пальцем ткнуть!

Мне важно плыть и видеть море,  
Куриль сигару и плевать».  
...И с равнодушием во взоре  
Начнет мой Кук соображать.

Сообразит. Поставит штемпель.  
И, заглушая лязг и стон,  
Пойдут качаться в мерном темпе  
Семнадцать тысяч триста тонн.

1927

## СТАРАЯ АНГЛИЯ

Веселое пламя, шипенье полен.  
Надежные, крепкие рамы.  
Темнея от времени, смотрят со стен  
Какие-то гордые дамы.

В поблекших, тугих и тяжелых шелках,  
В улыбке лица воскового,  
И в этих надменных, седых париках  
Есть нежность, уже обращенная в прах,  
Суровая нежность былого.

Но весело, ярко пылает камин,  
А чайник поет и клокочет,  
Клокочет, как будто он в доме один  
И делает все, что захочет.

А черный, огромный и бархатный кот,  
С пленительным именем Томми,  
Считает, что именно он это тот,  
Кто главным является в доме.

И думает, шурясь от блеска огня  
На ярко начищенной меди:

«Хотел бы я видеть, как вместо меня  
Тебя бы погладила леди!..»

И Томми, пожалуй, действительно прав.  
Недаром же чайник имеет  
Такой сумасшедший и бешеный нрав,  
Что леди и думать не смеет

Своею божественно-дивной рукой  
Коснуться до крышки горячей...  
И, явно утешенный мыслью такой,  
Опять погружается Томми в покой,  
Глубокий, ленивый, кошачий.

За окнами стужи, туманы, снега.  
А здесь, как на старой гравюре,  
Хрусталь, и цветы, и олени рога,  
И важные кресла, и блеск очага,  
И лампы огонь в абажуре.

Я знаю, и это, и это пройдет,  
Развеется в мире безбрежном.  
И чайник кипящий, и медленный кот...  
И женщина с профилем нежным.

И в том, что считается счастьем земным,  
Убавится чьим-то дыханьем,  
И самая память исчезнет, как дым,  
И только холодным, надменным, чужим  
Останется в раме блистаньем.

Но все же, покуда мы в мире пройдем,  
Свой плащ беззаботно накинув,  
Пускай у нас будет наш маленький дом  
И доброе пламя каминов,

Пусть глупую песенку чайник поет  
И паром клубится: встречай-ка!..  
И встретит нас Томми, пленительный кот,  
И наша и Томми хозяйка.

1927

### **СЕНТИМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ**

Шуми, моя осень, заветными шумами,  
Холодные слезы на землю пролей,

И глухо отсчитывай капельки малые  
Над бедной, над временной кровлей моей.

Шуми на просторах морей неизведанных,  
На милых, приснившихся мне островах.  
Ладьей пролетела короткая молодость,  
Веселой ладьей на тугих парусах.

А самое нежно и жадно желанное  
Мелькнуло, как дымная даль островов.  
Как слово, которое не было сказано  
Меж праха ненужных и сказанных слов.

На книгах блестит позолота тиснения,  
Живая струится от них тишина...  
Довольно веселия, музыки, пения,  
Лукавого смеха, хмельного вина!

Все было. Все будет. И только Желанного  
Не будет никем никому не дано.  
Шуми, моя осень, осенними шумами,  
Стучи в освещенное лампой окно.

Ты видишь, покорно, смирясь и не жалуясь,  
О прежнем, прошедшем, почти не скорбя,  
Стою на пороге и жду, и с улыбкою,  
Как добрый хозяин встречаю тебя.

Садись и давай вспоминать, перелистывать  
Знакомую повесть, главу за главой.  
Ты только меня ни о чем не спрашивай,  
А слушай и молча кивай головой.

И будет не слышно за всхлипами, всплесками,  
За быстрыми шумами брызг дождевых  
Ни шелеста этих страниц упоительных,  
Ни слез запоздалых, упавших на них.

1927

#### МАДРИГАЛ

Не надо ангелов, ни неба, ни алмазов.  
Я жить хочу сегодня, и сейчас!  
Заветный шепот просьбы и отказов  
И синий блеск неповторимых глаз,  
Ах, сколь они милее всех алмазов

И ангелов, невидимых сейчас!..  
Пусть ветер иной другие губы студит  
И треплет легкую и синюю вуаль.  
Нам все равно. Пусть будет то, что будет.  
Нам все равно. Нам прошлого не жаль.  
Сегодня день, которого не будет.  
И только о сегодняшнем печаль.

Люблю я ваше смутное дыханье,  
Усталость легкую от прошумевших лет,  
Разлет бровей и молний полыханье  
Из синих глаз, которых краше нет!

Их блеск живой, веселый и слепящий,  
Последнее пристанище мое.  
И славлю день, прелестный, преходящий,  
И краткое, земное бытие.

Вы из комедии бессмертного Шекспира,  
Иль нет, не так... Из свадьбы Бомарше!  
Ваш синий взор пронзает, как рапира,  
Но только он дает покой душе.

Куда же бег сегодня нам направить,  
Какую ныне посетить страну?..  
Начну молить, вы станете лукавить.  
Лукавить станете, я вновь молить начну...  
Но пусть. Он ветреного шепота отказов  
Не меркнет блеск неповторимых глаз.  
Не надо ангелов, ни неба, ни алмазов,  
Мы жить хотим сегодня, и сейчас!

1927

#### В ТЕАТРЕ

Есть блаженное слово — провинция...  
Кто не видел из русских актрис  
Этот трепет, тоску, замирание  
Во блистательном мраке кулис!..

Темный зал, как пучина огромная,  
Только зыбкие рампы огни.  
Пой, взлетай, о, душа многострунная,  
Оборвись, как струна, но звени!..  
Облети эти ярусы темные,  
В них простые томятся сердца.

Вознеси, погрузи их в безумие  
И кружи, и кружи без конца!..

Дай испытать им отравы сладчайшие,  
И, когда обессилевши, ниц  
Упадешь на подмостки неверные  
Хрупкой тяжестью раненых птиц,

Дрогнет зал ослепительной бурей  
И отдаст и восторг, и любовь  
За твою небылицу чудесную,  
За твою бутафорскую кровь!..

< 1928 >

### ГРОЗА

Он шумит, июньский ливень,  
Теплый дождь живого лета,  
Словно капли — это ямбы  
Из любимого поэта!..  
Распахнуть окно и слушать  
Этот сказ их многостопный,  
Пить и выпить эту влагу,  
Этот дух гелиотропный,  
И вобрать в себя цветенье,  
Этот сладкий запах липы,  
Это летнее томленье,  
Эту радость, эти всхлипы,  
Этой жадности и жажды  
Утоление земное,  
Это небо после ливня  
Снова ярко-голубое;  
Наглядеться, надышаться,  
Чтоб и в смертный час разлуки  
Улыбаться, вспоминая  
Эти запахи и звуки!..  
Вот промчался, отшумел он,  
Отблистал над целым миром,  
Словно царь, что, насладившись,  
Отпустил рабыню с миром,  
Подарив ей на прощанье  
Это солнце золотое,  
Это небо после ливня  
Совершенно голубое!  
И покорная рабыня  
После бурных ласк владыки

Разметалась на ложе  
Из душистой повилики,  
И цветы гелиотропа  
Наклонились к изголовью,  
А кругом пылают розы,  
Отягченные любовью...

И невольно в каждом сердце  
Что-то вздрагивает сразу,  
Сладкой мукой наполняет  
До предела, до отказа,  
И оно безмерно бьется,  
Ибо знает суеверно,  
Что над ним еще прольется  
Страшный, грозный и безмерный,  
Тоже бурный, летний ливень  
С громом, молнией, с грозой,  
И с очищенною ливнем  
Дивной далью голубою!

< 1928 >

#### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Я люблю осенний дождь,  
Когда он стучит по крыше,  
Барабанит мне в окно  
И звенит в оконной нише.  
И стекает на асфальт,  
А оттуда прямо в Сену,  
Словом, я люблю, когда...  
Это дождь по Андерсену!

Если вспомнить хорошо  
Сказку юности туманной,  
То у каждого ведь был  
Свой солдатик оловянный.  
Тот, который на заказ  
Был раскрашенным на славу,  
Тот, который как-то раз  
Из окна упал в канаву.

Я не знаю, может быть,  
Это все такая малость —  
Старый, добрый Андерсен,  
Наше детство, наша жалость,  
Этот милый переплет

С пожелтевшими краями,  
Из которого весь мир  
Открывался перед нами,  
Этот дивный сладкий бред  
И порыв, еще неясный,  
И солдатик без ноги,  
Оловянный, но прекрасный!

Я не знаю, может быть,  
Для сегодняшних, для новых,  
Научившихся любить  
Эту поступь дней суровых,  
Для которых каждый миг  
Только миг преодолений,  
Для обветренных в боях,  
В дымном порохе сражений,  
Правда, может быть, для них  
Чуждо все, во что когда-то  
Раз уверовали мы  
И доныне верим свято!

Пусть... Поделим этот мир,  
Нашим чувствам сообразно.  
Слава Богу, что любить  
Так умеют люди разное.  
Я люблю и не горжусь  
Кур, намокших под забором.  
Потому что я мирюсь  
С их куриным кругозором.

Я люблю, когда земля  
Пахнет влагой дождевою.  
Дождь стучит в мое окно,  
Круг от лампы надо мною.  
Сядешь. Вспомнишь обо всем.  
Дни побед. И дни падений.  
Нет! Люблю осенний дождь,  
Уж за то, что он осенний.

1926

## ПРОЛОГ

Привет вам, годы вольнодумства,  
Пора пленительных затей,  
Венецианские безумства  
Прошедшей юности моей,



Где каждый миг был, как подарок,  
И весел, шумен, бестолков,  
И ослепителен, и ярок  
Был полдень майских пикников.

И только вздох цезур лукавый  
Был тем законом красоты,  
Которым нам давалось право  
Быть с мирозданием на ты!

1927

### ЖИЛИ-БЫЛИ

Если б вдруг назад отбросить  
Этих лет смятенный ряд,  
Зачесать умело просесть,  
Оживить унылый взгляд,  
Горе — горечь, горечь — бремя,  
Все — веревочкой завить,  
Если б можно было время  
На скаку остановить,  
Чтоб до боли закусило  
Злое время удила,  
Чтоб воскликнуть с прежней силой —  
Эх была, да не была!  
Да раскрыть поутру ставни,  
Да увидеть под окном  
То, что стало стародавней  
Былью, сказочкою, сном...  
Этот снег, что так синее,  
Как нигде и никогда,  
От которого пьянеет  
Сердце раз и навсегда.  
Синий снег, который режет,  
Колет, жжет и холодит,  
Этот снег, который нежит,  
Нежит, душу молодит,  
Эту легкость, эту тонкость,  
Несказанность этих нег,  
Хрупкость эту, эту звонкость,  
Эту ломкость, этот снег!  
Если б нам, да в переулки,  
В переулки, в тупички,  
Где когда-то жили-были,  
Жили-были дурачки,

Только жили, только были,  
Что хотели, не смогли,  
Говорили, что любили,  
А сберечь, не сберегли...

1927

### УЕЗДНАЯ ВЕСНА

Пасха. Платьце в горошину,  
Легкость. Дымность. Кисея.  
Допотопная провинция.  
Клены. Тополи. Скамья.

Брюки серые со штрипками.  
Шею сдавливают кант.  
А в глазах мелькает розовый  
Колыхающийся бант.

Ах, пускай уж были сказаны  
Эти старые слова.  
Каждый год наружу новая  
Пробивается трава.

Каждый год из неба синего  
Нестерпимый льется свет.  
Каждый год душе загадывать,  
Слышать сладостный ответ.

Для чего же в мире тополи,  
Гул морей и говор птиц,  
Блеск очей, всегда единственных,  
Из-под ласковых ресниц?

Для чего земля чудесная  
Расцветает каждый год,  
Наполняя сердце нежностью,  
Наливая соком плод?

Для того, чтоб в милом городе,  
На классической скамье,  
Целый мир предстал в пленительной,  
В этой белой кисее,

В легком платьце в горошину,  
В кленах, в зелени, в дыму,  
В том, что снилось сердцу каждому,  
Моему и твоему!

1927

## АРБАТСКИЕ ГОЛУБИ

Если бы я, как старик со старухой,  
Жил у самого синего моря,  
Я бы тоже, наверно, дождался  
Разговора с волшебною рыбкой.  
Я сказал бы ей: «Как тебя?.. Рыбка!  
Дай-ка выясним честно и прямо,  
Что мы можем хорошего сделать,  
Так сказать, для начала знакомства?  
Столбового дворянского званья  
От тебя я иметь не желаю,  
Потому что, по совести молвить,  
Никакого не вижу в нем толку.  
Что касается почестей царских,  
То на них я не лыщусь совершенно:  
Хорошо это пишется в сказке,  
Только худо читается в жизни.  
Не влекут мою душу хоромы,  
Терема да резные палаты.  
Это все я, голубушка, видел  
И... постигнул непрочность постройки.  
Не того, государыня-рыбка,  
От щедрот твоих жду, а другого:  
Восемь лет я сижу у корыта,  
Какое корыто разбито.  
Восемь лет я у берега моря  
Нахожусь в ожиданье погоды...  
А хотел бы я жить в переулке,  
Возле самой Собачьей площадки,  
Где арбатские голуби летом  
Меж собою по-русски воркуют.  
Очень много душа забывает  
Из того, что когда-то любила.  
А вот видишь, каких-то голубок,  
Сизых пташек простых — не забыла.  
Ты меня не поймешь, потому что  
Как-никак, а ты все-таки рыба,  
И, конечно, на удочку эту  
Уж тебя никогда не поймаешь.  
Но, коль правда, что ты расторопна,  
А не просто селедка морская,  
Так не можешь ли сделать ты чудо,  
Сотворить это дивное диво?!  
А об нас, государыня-рыбка,  
Не тужи, когда в море утонешь.  
Мы, хотя старики и старухи,  
А назад побежим... Не догонишь!»

## СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ

Синий вечер, белый снег.  
Ровен, ловок, легок бег.  
Вейтесь, вейтесь в нашу честь,  
Все снежинки, сколько есть.

Каждый локон Тани — мой.  
Каждый локон — золотой.  
Каждый вьется завитком  
Над беспомощным виском...  
Таня, Таня!

Дайте ж мне такую власть,  
Чтоб мгновение заковать,  
Легкий бег остановить,  
Круг навеки очертить,  
Чтоб на синем на снегу,  
В заколдованном кругу,  
На серебряных коньках,  
С бедной муфточкой в руках,  
В быстром вальсе наклонясь,  
Смехом радостным смеясь,  
Вся алая от стыда,  
Ты могла бы навсегда,  
В легкой, зимней пороше,  
Вечно жить в моей душе.  
Таня, Таня!

1927

## ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

Ты помнишь снег, и запах снежный,  
И блеск, и отблеск снеговой,  
И стон, и крик, и скок мятежный  
Над безмятежною Москвой,  
И неба синие шинели,  
И звезды пуговиц на них,  
И как пленительно звенели  
Разливы песен молодых,  
И ночью тихой, ночью сонной  
То смех, то шепот заглушенный,  
И снег, о! снег на Малой Бронной,  
На перекрестке двух Козих?!..

В кругу содвинутых бутылок  
Наш глупый спор, российский спор,  
Его поток и милый вздор,  
Фуражки, сбитой на затылок,  
Академический задор,  
И тостов грозные раскаты,  
И клятвы мщенья за грехи,  
И все латинские цитаты,  
И сумасшедшие стихи!

Потом приказ — будите спящих!  
Зажечь костры!.. И, меж костров,  
Ты помнишь старых, настоящих,  
Твоих седых профессоров,  
Которых слушали вначале,  
Ты помнишь, как мы их качали,  
Как ватный вырвали рукав  
Из шубы доктора всех прав!..  
Как хохотал старик Ключевский,  
Как влез на конный монумент  
Максим Максимыч Ковалевский,  
Уже толстяк, еще доцент...

Потом, ты помнишь, кони-птицы  
Летят в Ходыньские поля,  
Танцуют небо и земля,  
И чьи-то длинные ресницы,  
Моей касаясь щеки,  
Дрожат, воздушны и легки.  
Снежинки тают, мчатся, вьются,  
Снежинок много, ты одна,  
А песни плачут и смеются,  
А песни льются, льются, льются,  
И с неба, кажется, сорвутся  
Сейчас и звезды, и луна!..

...Промчалось все. А парк Петровский  
Сегодня тот же, что вчера.  
Хрустит, как прежде, снег московский  
У Патриаршего пруда.  
И только старость из тумана  
За нами крадется, как тать.  
Ну, ничего, моя Татьяна...—  
Коли не жить, так вспоминать.

1926

## ПРИЗНАНИЕ

На минувшеезираю  
Я почти с благоговеньем.  
Я завидую невольно  
Предыдущим поколениям.

Было все когда-то легче,  
Было все когда-то проще,  
Три кита на свете были:  
Русь, исправники и тещи.

У купца, у Пастухова,  
Что у Каменного моста,  
Все, что в мире совершалось,  
Объяснялось очень просто.

Шею шарфом обмотавши,  
Алкоголик и безбожник,  
В наводивших страх галошах  
Приходил к нему художник,

И за три рубля в неделю,  
С возмущеньем непритворным,  
Всю уездную управу  
Пригвождал к столбам позорным.

«О, доколе, Катилина...» —  
Воскликнул он без варьяций,  
Осуждая непорядки  
Городских ассенизаций.

А потом, надев намордник,  
Тещу, женщину сырую,  
Рисовал в ужасном виде,  
Вообще, как таковую.

Ах, я знаю, все проходит,  
Все есть глени быстротечность.  
Отошла и наша теща  
В пожирающую Вечность.

Но когда я меж консержек  
Заблудившись безнадежно,  
Вспоминаю то, что было  
И что стало невозможно,

У меня вот к этой теще,  
К сатирическому устью,  
Прямо, знаете ли, нежность,  
Перемешанная с грустью!..

1926

### МОНОЛОГ

Милостивые государи,  
Блеск и цвет поколенья.  
Признаемся честно  
В порыве откровенья!

Зажглась наша молодость  
Свечой яркого воска,  
А пропала наша молодость,  
Погибла, как папироска...

В Европе и в Америке  
Танцевали и пели  
Так, что стекла дрожали,  
Так, что стекла звенели,

А мы спорили о Боге,  
Надрывали глотки.  
Попадали в итоге  
За железные решетки.

От всех семи повешенных  
Берегли веревки.  
Радовались, что Шаляпин  
Ходит в поддевке.

Девушек не любили,  
Находили, что развратно.  
До изнеможения ходили  
В народ и обратно.

Потом... то, чего не было,  
Стало тем, что бывает.  
Кто любит воспоминания,  
Пусть вспоминает.

Развеялся во все стороны  
Наш прах неизбывно.  
Не клюют его даже вороны,  
Потому что им противно.

1926

## ПРИЗЫВ К БОДРОСТИ

Человек, не вешай нос  
Ни на квинту, ни иначе.  
Не склоняй ни роз, ни слез,  
А уж грез и наипаче.

В плащ не кутайся, зловец:  
И прохладно, и не модно,  
Только бодрость — это вещь,  
Все другое производно.

И не так уж тесен мир,  
Чтобы в нем не поместиться.  
А затем... ведь ты ж не сыр,  
Чтоб слезой своей гордиться.

Сколько тягостных колец  
Вкруг затягивалось уже.  
Так уж худо, что конец!  
А глядишь назавтра... хуже.

Это значит, что вчера  
За сугроб ты принял кочки,  
Это значит, что игра  
Не дошла еще до точки.

Если ж так, то выше нос.  
«Еще Польша не сгинела».  
Жил да был такой Панглосс,  
Понимавший это дело.

И когда его Вольтер  
Посадил однажды на кол,  
Он, классический пример,  
Сел и даже не заплакал.

И подействовала так  
Эта твердость на Вольтера,  
Что сказал он: «Слезь, дурак,  
Ты не годен для примера!..»



Я гляжу на вас, Нанета,  
 И испытываю гордость.  
 Я все думаю: откуда  
 Эта сдержанная твердость?  
 Эти милое проворство,  
 И рассчитанность движений,  
 И решительность поступков,  
 Не терпящих возражений?  
 Если б в старом Петербурге  
 Мне сказали, что Нанета,  
 Эта хрупкая сильфида,  
 Эта выдумка поэта,  
 У которой как перчатки  
 Настроения менялись,  
 И у ног которой сразу  
 Все поклонники стрелялись,  
 Если б мне тогда сказали,  
 Что, цветок оранжерейный,  
 Эта самая Нанета  
 Этой ручкою лилейной  
 Будет шить, и мыть, и стряпать,  
 И стучать на ундервуде,  
 Я бы только улыбнулся,  
 Ибо что я смыслю в чуде?!.

Между тем, моя Нанета,  
 Это чудо совершилось.  
 Правда, многое на свете  
 С той поры переменилось.  
 Но из всех чудес, которым  
 Овладеть дано душою,  
 Это вы, моя Нанета,  
 Чудо самое большое!  
 Это вы крестом болгарским  
 Шьете шаль американке  
 И приносите, сияя,  
 Ваши собственные франки.  
 Это вы, нарасив губки,  
 Отправляетесь на рынок,  
 Поражая взор торговок  
 Лаком лаковых ботинок.  
 Это вы, царя на кухне,  
 Словно Нектар олимпийский,  
 Льете щедрою рукою  
 Дивный борщ малороссийский.

Это вы при свете лампы,  
Словно жрица в тайном действе,  
Ловко штопаете дырки,  
Неизбежные в семействе.  
Жанна д'Арк была святая,  
Вы не Жанна. Вы Нанета.  
Но простая ваша жертва  
Будет некогда воспета.  
Потому что в эти годы  
Отреченья и изгнанья  
Сердцу дороги и милы  
Только тихие сиянья.  
Потому что и Нанетой  
Я зову вас тем смелее,  
Что Нанета — это песня,  
А от песни — веселее!

1926

### ЭЛЕГИЯ

Помнишь ты или не помнишь  
Этот день и этот час,  
Как сиял нам луч заката,  
Как он медлил и погас?  
Ничего не предвещало,  
Что готовится гроза.  
Я подсчитывал расходы,  
Ты же — красила глаза.  
А потом ты говорила,  
Милым голосом звеня,  
Что напрасно нету дяди  
У тебя иль у меня.  
Если б дядя этот самый  
Жил в Америке, то он  
Уж давно бы там скончался  
И оставил миллион...  
Я не стал с тобою спорить  
И доказывать опять,  
Что могла бы быть и тетя,  
Тысяч так на двадцать пять.  
Я ведь знаю, ты сказала б,  
Что, когда живешь в мечтах,  
То бессмысленно, конечно,  
Говорить о мелочах.

1926

## ПРОСТЫЕ СЛОВА

Хорошо построить дом  
На просторе, на поляне.  
Возле дома сад с прудом.  
А в пруду карась в сметане.  
Да в саду чтоб рос левкой,  
Лиловел пожар сирени.  
А в душе чтоб был покой.  
Да-с. Не боле и не мене!

Утро. Вишни. Белый пух.  
Встать. Полить цветы из лейки.  
Да чтоб мимо шел пастух  
И играл бы на жалейке.  
На террасе круглый стол  
Серебром блестит кофейным.  
Кресло. В кресле слабый пол  
В чем-то этаким кисейном...  
Сядешь. Крякнешь. Пьешь и ешь.  
Прямо мнишь себя младенцем.  
Лишь порой лениво плешь  
Оттираешь полотенцем.  
Ну, потом... ползешь в гамак.  
Тишина. И дух сосновый.  
А читаешь, как-никак,  
Приключенья Казановы.

Как прочтешь одну главу,  
Да начнешь моргать ресницей,  
Книжка падает в траву...  
Ветерок шуршит страницей.  
Где-то муха прожужжит,  
Прогремит вдали телега.  
В доме люстра задрожит.  
Тишина. Блаженство. Нега.  
Встанешь. Бешено зевнешь,  
Чуть не вывихнувши челюсть.  
Квасу, черти!.. Ну... и пьешь,  
Ледяной. С изюмом. Прелесть!..

В общем, дети, несмотря  
На неравенство земное,  
Хорошо, когда заря  
Нежит небо голубое,  
Когда с вишен белый пух  
Расстиляется над садом,  
Когда вечером пастух

Возвращается со стадом.  
Когда есть просторный дом,  
Белый, с крышею зеленой,  
А при доме сад с прудом,  
В нем карась определенный,  
На террасе белый стол,  
На столе прибор кофейный,  
В мягком кресле слабый пол,  
А на поле дым кисейный!..

1927

### БАБЬЕ ЛЕТО

Нет даже слова такого  
В толстых чужих словарях.  
Август. Ущерб. Увяданье.  
Милый, единственный прах.

Русское лето в России.  
Запахи пыльной травы.  
Небо какой-то старинной,  
Темной, густой синевы.

Утро. Пастушья жалейка.  
Поздний и горький волчец.  
Эх, если б узкоколейка  
Шла из Парижа в Елец...

1926

### ТОСТ

Одного Нового года нам мало,  
Эх, где наша не пропадала,  
Один раз вплавь, другой раз вброд,  
Встретим еще один Новый год.

Пей, как говорится,  
Мелкая земская единица,  
Сивка и Россинант,  
Рядовой эмигрант!

Пей за мировую бесконечность,  
За мгновение, и за Вечность,

За красоту, и за момент,  
И за третий элемент.

Пей за свободу слова,  
За народ, давший Толстого,  
За чувство мировой тоски  
И за эти самые огоньки.

Пей за нашу профессию,  
За приват и за доцентуру,  
Пей за адвокатуру,  
Пей за литературу,  
Даже за температуру,  
Но, главное ж, пей...

Пей за все яркое, за все огневое,  
За искусство как таковое,  
За выси гор и за ширь долин,  
За Мечникова лактобациллин.

Пей за друга читателя,  
Пей за друга издателя,  
Пей за друга писателя,  
И даже за переписателя,  
Но, главное, пей...

Пей за нашу альма-матер,  
За вулкан и за кратер,  
За подробность, за суть,  
За исторический путь,

За луч света в царстве мрака,  
За излечение рака,  
За молнию и грозу,  
За Сидора и за козу,

За творчество и за муки.  
И за мучеников науки,  
За исстрадавшиеся низы,  
И за Сидора без козы,

И за прекрасную Францию,  
Последнюю нашу станцию,  
Где по два раза в год  
Встречаем мы Новый год,

Но твердо и неуклонно,  
На Онуфрия и на Антона,  
С танцами до утра,  
Пока придет пора,  
А не придет, так приснится...

Пей, мелкая единица,  
Ура!

1927

### ПОКА НЕ ПОЗДНО!

В парижском небе рдеют розы.  
Не то закат. Не то восход.  
Купил на улице мимозы.  
В душе тоска, в уме — расход.

Но, сердцу делая уступку,  
Стараясь разум усыпить,  
Иду и нюхаю покупку  
И говорю: спешите жить!

Спешите жить и в дни изгнания,  
И этим дням ведется счет.  
А по руслу воспоминанья  
Обратно время не течет.

Какая польза будет миру,  
Когда, под звуки горных лир,  
Покинув здешнюю квартиру,  
Вы перейдете в лучший мир

С одним сознанием безвкусным,  
Что, не жалея поздних слез,  
Положит некто с видом грустным  
На прах ваш несколько мимоз?!

< 1928 >

## У МОРЯ

Утро. Море. В море парус.  
Чтоб сравнений не искать,  
Море, скажем, как стеклярус.  
Тишина и благодать.  
Человек закинул сети  
И веслом не стал грести,  
До чего же рыбы эти  
Дуры, Господи прости!..  
Ну о чем ты, рыба, гредишь  
В этой бездне голубой?  
Видишь, кажется, а лезешь.  
А другие за тобой.  
И, как дважды два четыре,  
Зашипишь в сковороде...  
Где ж прогресс в животном мире,  
Где, я спрашиваю, где?!  
Впрочем... Солнце. Блеск. Природа.  
Горизонт и пароход.  
Прямо в грудь из небосвода  
Так и льется кислород.  
Выдыхай его обратно,  
Погружайся в забытье,  
Не считай на солнце пятна,  
Это дело не твое.  
И не думай, ради Бога,  
О бессмертии души!  
Вообще, дыши немного,  
Понимаешь ли, дыши!  
Допусти, что все химера,  
Допусти и помирись...  
Но красив же чайки серой  
Этот взлет в простор и ввысь,  
Хороша волны прохлада,  
Даль прозрачна и ясна,  
Так чего же тебе надо,  
Дьявол этакий ты, а?

1927

## ТЯГА НА ЗЕМЛЮ

Городскому человеку  
Страстно хочется на волю.  
У него тоска по небу,  
Колосящемуся полю,

По похожим на барашков  
Облакам и легким тучкам  
И еще по всяким разным  
В книжках вычитанным штучкам.

Городскому человеку,  
Даже очень пожилому,  
Страшно хочется зарыться  
Прямо в сено иль в солому  
И вдыхать сосновый запах,  
От соломы, но сосновый!!!  
И глядеть, как в час вечерний  
Возвращаются коровы...

Городскому человеку  
Так и кажется, что вымя  
Сразу вздуто простоквашей  
И продуктами другими,  
И что надо только слиться  
С лоном матери-природы,  
Чтобы выровнять мгновенно  
Все — и душу и расходы.

Городскому человеку,  
Утомленному столицей,  
Снится домик очень белый  
С очень красной черепицей.  
В этом домике счастливом  
На окне цветут герани,  
А живут там полной жизнью  
Краснощекие пейзажи.

Городские ощущения  
Одинаковы и стертые...  
Вот и тянет человека  
На натюры да на морты.  
И мечтает он однажды  
Убежать от шума света  
И купить клочок землицы,  
Где, неведомо... Но где-то!

Развести цыплят, коровок,  
Жить легко и без печали,  
Получая ежегодно  
Три серебряных медали:  
За цыплят и за коровок,  
И за то, что образцово  
Деревенское хозяйство  
Человека городского.



Но пока о куроводстве,  
Улыбаясь, он мечтает,  
Грузовик его бездушный  
Пополам переезжает.  
Потому что не цыплята  
По навозной бродят жиже,  
Не цыплята, и не бродят,  
И не в жиже, а в Париже!..  
И теперь на Пер-Лашезе  
Он лежит, дитя столицы.  
Городскому человеку  
Много надо ли землицы?!

1926

#### ПОДРАЖАНИЕ БЕРАНЖЕ

Не знаю как, но, вероятно, чудом  
И ты, мой фрак, в изгнание попал.  
Я помню день, мы вырвались Оттуда,  
Нас ветер морской неистово трепал.  
Но в добрый час на берега Босфора  
Выходим мы, молчание храня.  
Как дни летят... Как все минует скоро...  
«Мой старый фрак, не покидай меня».

Шумел Стамбул. Куреньями насыщен,  
Здесь был иной, какой-то чуждый мир.  
Я обменять хотел тебя, дружище,  
На белый хлеб и на прозрачный сыр.  
Но турки только фесками качнули,  
Покроя твоего не оценя.  
В закатном солнце тополи тонули...  
«Мой старый фрак, не покидай меня».

Я помню, как настойчивей и ближе  
Отчаянье подкрадывалось вдруг.  
И мы одни, одни во всем Париже.  
Еще быстрее суживался круг.  
Вот, вот судьба своей придавит крышкой!  
А тут весна... фиалки... блеск огня.  
И я шептал, неся тебя под мышкой:  
«Мой старый фрак, не покидай меня».

Но счастье... ты — нечаянность созвучий  
В упорной, непослушливой строфе!  
Не знаю, счастье, чудо или случай,

Но вот, гарсон в изысканном кафе,  
Во фраке, между тесными столами,  
Скольжу, хрустальными бокалами звеня.  
Гарсон, сюда! Гарсон, шартрезу даме!  
«Мой верный фрак, не покидай меня».

А ночью, вынув номер из петлицы,  
И возвратясь, измученный, домой,  
Я вспоминаю темные ресницы  
И старый вальс... И призрак над Невой.  
Ты помнишь, как на отворот атласный  
Волну кудрей тяжелых уроня,  
Она, бледнея, повторяла страстно:  
— Мой милый друг, не покидай меня!

Бегут, бегут стремительные годы.  
Сплетаются с действительностью сны.  
И скоро оба выйдем мы из моды,  
И скоро оба станем не нужны.  
Уже иные шествия я внемлю.  
Но в час, когда, лопатами звеня,  
В чужой стране меня опустят в землю...  
«Мой старый фрак, не покидай меня».

1926

### ВЕСЕННИЙ ПРОЛОГ

Погоди. Не плачь. Терпение!  
Мир воспрянет ото сна.  
Скоро будет наводнение,  
Равноденствие, весна.

Вспыхнут в окнах многогранные,  
Разноцветные лучи.  
Прилетят, от солнца пьяные,  
Сумасшедшие грачи.

Станет кот умильно нежиться,  
Выгибаться неспроста,  
И, как дура, кошка врежется,  
То есть втюрится в кота...

И, нахален, с вышки чучела  
Будет голос воробья:  
Мне в яйце сидеть наскучило,  
Вот и вылупился я!

И, поднявшись над близкою,  
Слишком низкою землей,  
Он с такой же анархисткою,  
С воробьиной молодой,  
В неоглядный путь отважится,  
Где в просторе голубом  
Все ему, наверно, кажется  
В освещении ином...

А теперь подумай, глупая,  
Что вокруг произойдет!  
Через лужу, важно хлюпая,  
Гусь с гусыней проплывет,  
Грач под самым подоконником  
Станет душу изливать,  
Канарейка по поклонникам  
Будет прямо изнывать,  
Конь заржет и лев зарыкает  
По желанной, по своей,  
Как умеет, прочирикает  
Серенаду воробей.  
Так ужели исключение  
Станешь ты собой являть?  
Солнце! Небо! Наводнение!  
Равноденствие весеннее!  
Только чуточку терпения,  
Только малость подождать!..

1928

### МАРТ МЕСЯЦ

Оттепель. Дымка. Такси вздорожали.  
Нежность какая-то. Грусть.  
Двух радикалов куда-то избрали.  
Поезд ограбили. Пусть.

Ноет шарманка. Рапсодия Листа.  
Серб. Обезьянка в пальто.  
Я вспоминаю Оливера Твиста,  
Диккенса, мало ли что...

Все-таки лучшее время природы —  
Это весна, господа!  
Все сочиняют поэмы и оды.  
Даже извозчики. Да.

Что-то весеннее грезится миру,  
Бог его ведает, что.  
Ах, если б мне итальянскую лиру...  
Даже не лиру, а сто!

1926

### В БУЛОНСКОМ ЛЕСУ

Черно-голые деревья.  
Легкость статуй. Тяжесть тумб.  
Пахнет свежестью и влагой  
От больших цветочных клумб.

Звонко цокают копыта.  
Пронеслась... И скрылись вдаль  
Темно-рыжая кобыла,  
Амазонка и вуаль.

И, смешавшись с вялым тленом  
Прошлогодных серых мхов,  
Долго держится в аллее  
Запах сладостных духов.

1927

### ДВЕНАДЦАТЬ

Легки под этим небом ясным  
Живые запахи весны.  
И блеском кратким, но прекрасным  
Земные дни озарены.  
Мадам торговка! Вид мой жалок,  
Но я имею двадцать су.  
Продайте мне пучок фиалок,  
Бесплатно выросших в лесу.  
Не анархист, не безобразник,  
Хочу традицию блюсти.  
Я не хочу на пышный праздник  
Как бедный родственник прийти  
И объяснять прохожей даме,  
Что гость случайный я у них.  
Пускай чужой, но я с цветами!  
А где цветы, там нет чужих.  
Идут, идут... Плывут знамена.  
И, вешней брагой охмелев,

На трон из легкого картона  
Париж возводит королев.  
О зависть, худший вид порока!  
Но я завидую им всем.  
Как хорошо не помнить Блока,  
И, прошумев свой Ми-Карем,  
Не декламировать красиво,  
Что глубже нас на свете нет,  
И мрачно требовать надрыва  
От знаменитой Мистангэт!..

1926

### ГОЛУБЫЕ ПОЕЗДА

Каждый день уходит к морю  
Голубой курьерский поезд.  
Зябко кутаются в соболь  
Благороднейшие леди.

Пахнет кожей несесеров,  
И сигарой, и духами,  
И еще щемящим чем-то,  
Что не выразить стихами...

Если вы не лорд английский,  
Не посол Венесуэлы,  
Не владелец медных копей  
В юго-западном Техасе,

Если герцогов Бульонских  
Вы не косвенный потомок,  
Не глава свиного треста,  
Не плантатор из Таити,

Если вы не задушили  
Тетку, Пиковую даму,  
То чего же вы стоите  
И куда же вы суетесь?!

Ах, шестое это чувство,  
Чувство рельс, колес, пространства,  
То, что принято у русских  
Называть манящей далью...

Замирающее чувство,  
Словно вы на полустанке.

Вот придет швейцар огромный—  
Страшный бас и густ, и внятен:  
— Пер-рвый... Поезд... на четвертом...  
Фастов... Знаменка... Казатин...

1927

#### ВАРИАНТ

Вянет лист. Проходит лето.  
Солнце светит скупо.  
Так как нету пистолета,  
То стреляться глупо.

И к чему былого века  
Пошлые замашки,  
Когда есть у человека  
Честные подтяжки!

Мы не узкие педанты,  
Нам и сосны в пору...  
Вот и будут эмигранты—  
С сосенки, да с бору!

1926

#### ДНЕВНИК НЕВРАСТЕНИКА

Честь имею доложить,  
Что ужасно трудно жить,  
Прямо, искренне сознаться,  
Невозможно заниматься!..

В гневе мрачный небосвод  
Разверзается библейском,  
И потоки многих вод  
Мчатся в страхе иудейском.

Человеки и стада  
Мокнут купно и отменно.  
Вот уж именно когда  
Всем им море по колено.

Это значит, что опять  
Ной в порядке диктатуры  
Станет тварей отбирать  
Для грядущей авантюры.

...Этак мыслью воспаришь —  
И еще противней станет.  
Над тобой по скатам крыш  
Дождь немолчно барабанит.

Куришь. Киснешь. Морщишь лоб.  
Невозможно заниматься.  
Эх, мамаша! Хорошо б  
Чистым спиртом нализаться,

Наложиться, словно зверь,  
И мурлыкать откровенно:  
Вот уж именно теперь  
Мне и море по колено!..

1927

#### «МЫС ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ»

Провижу день. Падут большевики,  
Как падают прогнившие стропила.  
Окажется, что конные полки  
Есть просто историческая сила.

Окажется, что красную звезду  
Срывают тем же способом корявым,  
Как в девятьсот осьмнадцатом году  
Штандарт с короной и орлом двуглавым.

Возможно все на свете пережить,  
Невольные и вольные бесстыдства.  
Всего отведать и всего вкусить,  
Хотя бы только ради любопытства.

Пусть трижды повторяется стезя,  
И дедов сны пускай приснятся внуку.  
Но только скуку вынести нельзя,  
Тупую и торжественную скуку!

А между тем уже грядет она,  
Российская, дебелая, тупая.  
Такая, как в былые времена,  
Во времена Батыя и Мамая.

Придет и станет каяться в грехах  
Смиренно, унижительно и кротко,

И захлебнется в прозе и в стихах  
По поводу любого околотка.

Она найдет своих профессоров,  
Чтобы воспеть парад кавалерийский,  
Открыть, что зад московских кучеров  
Не просто зад, а древневизантийский.

И прибегут из разных загранич  
Любители по-своему развлечься,  
И упадут всеподданнейше ниц  
С единственным желанием — посечься.

1926

### **ЮБИЛЕЙ**

Топали. Шарили. Рылись. Хватали.  
Ставили к стенке. Водили. Пытали.  
Словом, английским сказать языком:  
Дом моя крепость, и... крепость мой дом.

Площадь очистили. Цоколь. Ступеньки.  
Памятник общий Емельке и Стеньке.  
Именно в память того, что ко дну  
Стенька персидскую сплавил княжну.

Осень проходит. Одна. И другая.  
Третья... Шестая... Седьмая... Восьмая...  
Вот и десятая глазом видна!  
«Грустную думу наводит она».

Песня ль доносится... Жалоба ль, вздох ли...  
Лес обнажился... Грачи передохли...  
Ветер гуляет в просторах полей...  
В общем, приятная вещь юбилей.

< 1928 >

### **ЛЮБОВЬ ОТ СОХИ**

Зацветают весенние грядки.  
Воробей от безумья охрип.  
Я люблю вас в ударном порядке,  
Потому что вы девушка-тип!



Ах, в душе моей целая смута,  
И восторг, и угар, и тоска.  
Приходите, товарищ Анюта,  
Будем вместе читать Пильняка.

Набухают весенние почки.  
С точки зрения смычки простой,  
Я дошел, извиняюсь, до точки!  
Ибо я индивид холостой.

Прекратите ж сердечную муку,  
Укротите сердечную боль.  
Предлагаю вам сердце и руку  
И крестьянского типа мозоль.

< 1928 >

#### «ХОД КОНЯ»

В Москве состоялся розыгрыш дер-  
би для крестьянских рысаков.

Я чувствую невольное волненье,  
Которое не выразишь пером.  
Прошли года. Сменилось поколение.  
Все тот же он, московский ипподром.

Исчезли старые и милые названья,  
Но по весне, когда цветет земля,  
Легки и дымны дней благоуханья  
И зелены Ходынские поля.

Иные краски созданы для взора,  
Иной игрой взволнована душа,—  
Не голубою кровью Галтимора  
И не дворянской спесью Крепыша.

Из бедности, из гибели, из мрака,  
Для счастья возродясь наконец,  
Лети, скачи, крестьянская коняка,  
В советских яблоках советский жеребец!

Ты перенес жестокие мученья  
И за чужие отвечал грехи,

Но ты есть конь иного назначения,  
Ты, скажем прямо, лошадь от сохи.

Пусть ноги не арабские, не тонки,  
И задняя с передней не в ладу,  
Есть классовое что-то в селезенке,  
Когда она играет на ходу.

Прислушиваясь к собственным синкопам  
И не страшась, что вознесется бич,  
Ты мчишься этим бешеным галопом,  
Который завещал тебе Ильич.

И, к милому прошедшему ревнуя,  
Я думаю над пушкинским стихом:  
Вот именно, крестьянин, торжествуя,  
Играет в ординаре и двойном.

1926

ИЗ СБОРНИКА

«НЕСКУЧНЫЙ САД»

НАША МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Точка. Станция. Шлагбаум.  
Треплет ветер на ходу  
Три романа Викки-Баум,  
Позабытые в саду.

Круг замкнулся. Сократился.  
Ни концов и ни начал.

Доктор Шмелькин возвратился...  
Дождь в окошко застучал...

Из развернутого лона  
Целый хлынул водоем.

Кто-то ищет компаньона  
В одиночестве своем.  
Кто-то громко объявляет  
В напряженной тишине,  
Что паркет натирает  
По неслыханной цене.

А другой, в какой-то злобе  
Сообщая адрес свой,  
Ищет фюрера к особе,  
Очевидно, пожилой.

Капли падают все чаще,  
Тяжелее бабьих слез.  
Кто-то голосом дрожащим  
Предлагает пылесос.

И опять кончиной света  
Угрожает неба высь.  
И опять мечта поэта  
Пишет Бобику: вернись!

(1927—1934)

## ТРУДЫ И ДНИ

1

Доклад: «Любовь и веронал».  
Билеты — франк, у входа в зал.

2

Вышли в свет воспоминанья:  
«Четверть века прозябанья».

3

Нужен смокинг или фрак.  
Для вступающего в брак.  
Там же ищут для венца  
Посаженого отца.

4

Ищут вежливых старушек  
Для различных побегушек.

5

Отдается домик с садом,  
С крематориумом рядом.

6

Ищут крепкую эстонку  
К годовалому ребенку.

7

Диспут в клубе на Клиши  
О бессмертии души.  
Там же прения сторон,  
Русский чай и граммофон.

8

Ищут скромную персону  
Средних лет —  
Отвечать по телефону:  
Дома нет.

9

Срочно нужен на Европу  
Представитель по укропу.

10

Имею восемь паспортов,  
На все готов.

11

Скромный русский инвалид  
Ищет поручений  
По устройству панихид  
Или развлечений.

12

Отдается дом с гаражем,  
С правом пользования пляжем.  
Непосредственно из спальни  
Вид на женские купальни.

13

Ищут тихого злодея.  
Есть старушка. Есть идея.

14

Сохранившийся мужик,  
Бывший крымский проводник,  
Сокращает скуку дней  
На отрогах Пиреней.

15

Ищу мансарду для прислуги,  
Чтоб проводить свои досуги.

16

Комната с диваном  
За урок с болваном.

17

Холостяк былой закваски  
Жаждет ласки...

18

«Вырыта заступом яма глубокая»...  
Адрес для писем: Алжир. Одинокая.

19

«Жорж, прощай. Ушла к Володе!..  
Ключ и паспорт на комод».

20

Пришли. Ушли. Похоронили.  
«Среди присутствующих были...»

1933

## ПОДРАЖАНИЕ ИГОРЮ СЕВЕРЯНИНУ

Не старайся постигнуть. Не отгадывай мысли.  
Мысль витает в пространствах, но не может осесть.  
Ананасы в шампанском окончательно скисли,  
А в таком состоянии их немислимо есть.

Надо взять и откинуть, и отбросить желанья.  
И понять неизбежность и событий, и лет,  
Ибо именно горьки ананасы изгнанья,  
Когда есть ананасы, а шампанского нет.

Что ж из этой поэзы, господа, вытекает?  
Ананас уже выжат, а идея проста:  
Из шампанского в лужу — это в жизни бывает,  
А из лужи обратно — парадокс и мечта!..

1931

## ТВОРИМАЯ ЛЕГЕНДА

Все было русское... И «Бедность не порок».  
И драматург по имени Островский.  
И русская игра, и русский говорок,  
И режиссер, хоть пражский, но московский.

Все было русское... И песня, и трепак,  
И гиканье, и посвист молодецкий.  
И пленный русский князь, и даже хан Кончак.  
Хоть был он хан, и даже половецкий.

Все было русское... Блистательный балет,  
И добрые волшебники, и феи.  
И греза-девочка четырнадцати лет  
В божественном неведении Психеи.

Все было русское... И русские лубки,  
И пляски баб, и поле, и ракета,  
И лад, и строй гитар, исполненный тоски,  
И человек по имени Никита.

Все было русское... И клюква, и укроп,  
И русский квас, изюминой обильный.  
И даже было так, что даже Мисс Европе  
Звалась Татьяной и была из Вильны.

Все было русское... И дни, и вечера,  
И диспут со скандалом неизбежным.  
И столь классическое слово — Орéга,  
И то оно казалось зарубежным.

Все было русское... От шахмат и до Муз,  
От лирики до водки и закуски.  
И только huissier, который был француз,  
Всегда писал и думал по-французски...

1933

### ВЕРШКИ И КОРЕШКИ

Начинается веселая пора...  
Обнаглела, повзрослела детвора.  
Что ни девочка, то целый бакалавр,  
Что ни мальчик, то не мальчик, а кентавр.

Не успели даже дух перевести,  
Даже сделать остановку на пути,  
Разобраться в этом космосе самом,  
А тебя уже на свалку да на слом.

Вы, папаша, не читали Мериме,  
Вы, мамаша, прозябали в Чухломе,  
Вы, мол, молодость ухлопали на ять,  
Вам Расина да Корнеля не понять.

И пошли, залопотали, ну! да ну!  
Как сороки-белобоки на тыну,  
Так Бальзаком, Мориаком и костят,  
Про Лажечникова слышать не хотят...

И плывет уже вечерняя заря,  
А в траве уже от блеска фонаря  
Умирают, угасают светлячки...

И выходит, что папаши дурачки,  
И что все есть только пепел и зола.

И что молодость действительно прошла.

1933

## ИЗ ГЕНРИХА ГЕЙНЕ

В зелено-лиловой гостиной,  
В убийственно-милой семье,  
Сидели приятные гости  
На страшно уютных сомье.

Им в тело пружины впивались,  
Им внутренность жег кипяток.  
Но вольно текла их беседа,  
Как быстрый и шумный поток.

Хрустевшие бублички с маком  
Весьма оживляли их спор.  
А спор был о чувстве природы,  
О прелестях моря и гор.

Какие безумные планы  
Не строили все они вслух,  
В какие роскошные страны  
Не влек беспокойный их дух!

Увядшая Лиза Попова,  
Вращая зрачком и белком,  
Хотела испанских пейзажей  
С дымящимся кровью быком.

Сосед ее, скромная личность,  
Сказал, чтобы нос утереть,  
Что жаждет взглянуть на Неаполь,  
Взглянуть — и потом умереть.

Хозяйка же дома сказала,  
Имея и опыт, и стаж,  
Что если уж ехать, то ехать  
Куда-нибудь к морю, на пляж...

И так это бюст колыхнула,  
Что Петр Александрович Шпан  
Почувствовал качку морскую,  
Хотя он и был капитан.

А траченный молью Кулябкин,  
Весьма пожилой холостяк,  
Вздыхал о высокой Юнгфрау...  
Лелея надежды на брак.



И все говорили о лете,  
О синей морской синеве,  
О жизни над уровнем моря,  
На тысячу метров, на две.

Когда же оно наступило,  
Исполнено всяких чудес,  
Никто никуда не поехал —  
Ни к морю, ни в горы, ни в лес.

И жизнь продолжалась, как прежде,  
В природе, на службе, в семье.  
И так же пружины скрипели  
На старых, почтенных сомье.

1934

### АСИ—МУСИ

Под Парижем, на даче, под грушами,  
Вызывая в родителях дрожь,  
На траве откровенными тушами  
Разлеглась и лежит молодежь.

И хотя молодежь эта женская  
И еще не свершила свое,  
Но какая-то скука вселенская  
Придавила и давит ее.

И лежит она так, босоногая,  
Напевая унылый фокстрот  
И слегка карандашиком трогая  
Свой давно нарисованный рот.

Засмеется — и тоже невесело,  
Превращая контральто в басы.  
И глядишь, и сейчас же повесила  
На обратную квинту носы.

А потом задымит папиросками  
Из предлинных своих мундштуков,  
Только вьется дымок над прическами,  
Над капризной волной завитков.

И гляжу на нее я, и думаю:  
Много есть достижений вокруг.  
Не исчислишь их общию суммою,  
Не расскажешь их сразу и вдруг.

Много темного есть в эмиграции,  
Много темного есть и грехов.  
Одного только нет в эмиграции...  
В эмиграции нет женихов.

1932

#### «МАНЯЩАЯ ДАЛЬ»

Их давит грань. Им тесен мир.  
Их тянет всех в Гвадалквивир.  
В испанский бред. В испанский сон.  
На бой быков, на сто персон.

Кто есть российский эмигрант?  
Он принц, он нищий, он инфант.  
Он хочет сам рукой своей  
Пожать отроги Пиреней.

Взойти на высь, на Пампелун,  
Спуститься вниз под рокот струн.  
И завернуть, как древле, в Яр,  
В Аранжуэц и в Альказар...

Шумит волна. Роскошен лавр.  
Под каждым лавром дышит мавр.  
Под каждым мавром дышит конь,  
И вся Испания огонь.

Седеют лавры. Маврам мор.  
На Пиренеях русский хор  
В Гвадалквивир с горы плюет  
И «Вниз по матушке» поет.

1933

#### ПОСЛЕДНИЕ РИМЛЯНЕ

И был Октябрь. Звонили телефоны.  
Имел хождение русский пневматик.  
И был билет. И ставка на миллионы.  
И жизнь была. И рюмка. И шашлык.

И, несмотря на массу осложнений,  
На полный мрак, на кризис мировой,

Какое-то беспутство или гений  
Спасали нас от бездны роковой.

А между тем под сланцами, под мглистым  
Покровом глыб, безумьем обуян,  
Уже дышал дыханием нечистым,  
Уже пылал и пенился вулкан.

И желт был дым в фарватерах, в воронках...  
И, помолясь безжалостным богам,  
Вставал монгол и шел на плоскодонках  
От устьев рек к неизвестным берегам.

Из тундр пешком спешили алеуты,  
И пел шаман в убийственной тоске.  
И вел киргиз худой и необутый,  
Киргизский вождь в коровьем башлыке.

И шум стоял во всем авиахиме,  
И горизонт был сумрачен и хмур,  
И говорил словами, и плохими,  
Какой-то тип, оратор и манчжур.

События шли стремительно и быстро,  
Гремела сталь, и цокал пулемет,  
Во всей Европе не было министра,  
Который спал бы ночи напролет...

А мы, глупцы, переводили стрелку,  
Платили тэрм, писали пневматик  
И покупали кошку или белку,—  
Для жен. Для шуб. На женский воротник...

1933

### ВЕЧЕРИНКА

Артистка читала отрывок из Блока  
И левою грудью дышала уныло.  
В глазах у артистки была поволока,  
И платье на ней прошлогоднее было.

Потом выступал балалаечник Костя  
В роскошных штанинах из черного плиса  
И адски разделал «Индийского гостя»,  
А «Вниз да по речке» исполнил для биса.

Потом появились бояре в кафтанах,  
И хор их про Стеньку пропел и утешил,  
И это звучало тем более странно,  
Что именно Стенька бояр-то и вешал.

Затем были танцы с холодным буфетом.  
И вальс в облаках голубого батиста.  
И женщина-бас перед самым рассветом  
Рыдала в жилет исполнителя Листа.

И что-то в тумане дрожало, рябило,  
И хором бояре гудели на сцене...  
И было приятно, что все это было  
Не где-то в Торжке, а в Париже, на Сене.

1933

#### ОТ ВОРОТ ПОВОРОТ

На скучных берегах, у Вавилонских рек,  
Взирая на прохладные теченья,  
Стоял интеллигентный человек  
И вспоминал былые прегрешенья.

Себя рукою в грудь он колотил,  
В другой держал для памяти записку...  
И продолжительно, и горько голосил,  
И каялся не просто, а по списку.

Зачем он государство отрицал,  
В божественности власти сомневался?  
Зачем на потрясение начал,  
Безумием охвачен, покушался?

Почто горел на жертвенном огне,  
Грозил, орал, и требовал, и рычал,  
И кнопками на собственной стене  
Марусю Спиридонову истыкал?!

Испытывая сладостную грусть,  
И тошноту, и даже дрожь в коленке,  
Зачем учил он Маркса наизусть,  
И слепо поклонялся Короленке?

Подайте мне Аксакова сюда!  
Киреевского с братом! Хомякова!

И в чайнии страшного суда,  
Леонтьева! Федотова! Лескова!

И, с сахарною патокой в лице,  
Да возвращусь к наставникам смиренным...  
Да растворюсь в святом Молоховце,  
Во кислых щах и в поросенке с хреном!

Да преисполнюсь древнею икотой,  
Отрыжкой отцов моих и дедов,  
И, повернув обратно, в Домострой,  
И многожды и знатно отобедав,

Приму апоплексический удар  
И кончу жизнь весьма благополучно,  
И отлетит душа моя, как пар,  
Освободясь от оболочки тучной!...

< 1935 >

### **ЖИЗНЬ ГРАФИНИ ДЕ ПЕТРУШКИ**

У графини де Петрушки  
Был обычный фестиваль.  
Был посланник фон Пампушки  
С баронессой фон дер Шваль.

Был полковник Ерофейка,  
Граф Авдотья, князь Свисток,  
Грандюшесса Тимофейка  
С дочкой, Дунькой-Ветерок.

Генерал Фома-Ерема,  
Дюк Маруська, прэнс Шпана.  
И была подруга дома,  
Толстоевского жена.

После общей джигитовки,  
С полонезом многих пар  
Егермейстер де Смирновки  
Внес кипящий самовар,

А потом большое блюдо  
Из литого серебра,  
Где лежала прямо грудой  
Астраханская икра.

Съели. Выпили. Размякли.  
Пригласили русский хор.  
И зажгли из древней пакли  
Свой березовый костер.

А наутро, в недрах бани  
И под колокола звук,  
После долгих возлияний  
Паром парился грандюк...

И дюшесса Цикцикуцки,  
В белом платье, как была,  
Так на койке, на грандюцкой,  
Растянулась и спала.

А свидетели пирушки,  
Беллетристы разных стран,  
Жизнь графини де Петрушки  
Переделали в роман.

*1934*

### **КРИК ДУШИ**

Солнце всходит и заходит,  
Пробивается трава.  
Все упорно происходит  
По законам естества.

Отчего ж у юмористов  
На лице такая грусть?  
Почему судебный пристав  
Знает все и наизусть?

Отчего на белом свете  
Семь считается чудес?  
Отчего в любой газете  
Только сорок поэтесс?

Отчего краснеет густо  
Только вываренный рак?  
Отчего писать под Пруста  
Каждый силится дурак?

Отчего так жизнь угрюма,  
И с душой не ладит ум?  
И зачем Леона Блюма  
Родила мамаша Блюм?

*1930, 1931*

## ПАНОПТИКУМ

Темные горы сосисок.  
Страшные горы капуст.  
Звуки военного марша.  
Медленный челюсти хруст.

Ярко палящее солнце.  
Бой нюренбергских часов.  
Ромбы немецких затылков.  
Циркуль немецких усов.

Роты. Полки. Батальоны.  
Ружья. Лопаты. Кресты.  
Шаг, сотрясающий недра,  
Рвущий земные пласты.

Ярмарка. Бред Каллигари.  
Старый, готический сон.  
Запахи крови и гари.  
Золото черных знамен.

Рвет и безумствует ветер.  
С Фаустом Геббельс идет.  
В бархатном, черном берете  
Вагнер им знак подает.

Грянули бешеным хором  
Многих наук доктора.  
Немки с невидящим взором  
Падали с криком «ура!».

...Кукла из желтого воска,  
С крепом на верхней губе,  
Шла и вела их навстречу  
Страшной и странной судьбе.

1934

## «СВЯЩЕННАЯ ВЕСНА»

Была весна. От Волги до Амура  
Вскрывались льды... Звенела песнь грача.  
Какая-то восторженная дура  
Лепила бюст супруги Ильича.

И было так приятно от сознания,  
Что мир земной не брошен и не пуст,  
Что если в нем имелись зиянья,  
То их заткнет, заполнит этот бюст.

Как хорошо, что именно весной,  
Когда едва зазеленеет лист,  
Когда к земле, к земному перегною  
Из городов стремится пантеист.

И в небеса, в лазурное пространство  
Уходит дым, зигзагами струясь,  
И всей Руси беднейшее крестьянство  
На тракторы садится, веселясь.

Как хорошо, что в творческом припадке  
Под действием весеннего луча  
Пришло на ум какой-то психопатке  
Изобразить супругу Ильича.

Ах, в этом есть языческое что-то!  
Кругом поля и тракторы древян,  
И на путях, как столб у поворота,  
Стоит большой и страшный истукан,

И смотрит в даль пронзительной лазури  
На черную под паром целину...  
А бандурист играет на бандуре  
Стравинского «Священную Весну».

1932

### СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА

Скажи мне, каменный обломок  
Неолитических эпох!  
Какие тьмы каких потемок  
Хранят твой след, таят твой вздох?

О чем ты выл в безмолвье ночи  
В небытие и в пустоту?  
В какой простор вперяя очи,  
Ты слез изведаль теплоту?

Каких ты дядей ел на тризне,  
И сколько тетей свеживал?



И вообще, какой был в жизни  
Твой настоящий идеал?

Когда от грустной обезьяны  
Ты, так сказать, произошел,—  
Куда, зачем, в какие страны  
Ты дальше дерзостно пошел?!

В кого, вступая в перебранку,  
Вонзал ты вилку или нож?  
И почему свою стоянку  
Расположил на речке Сож?

И почему стоял при этом?  
И на глазах торчал бельмом?  
И как стоял? Анахоретом?  
Один стоял? Или вдвоем?

И вообще, куда ты скрылся?  
Пропал без вести? Был в бегах?  
И как ты снова появился,  
И вновь на тех же берегах?

...И вот звено все той же цепи,  
Неодолимое звено.  
Молчит земля. Безмолвны степи,  
И в мире страшно и темно.

И от порогов Приднепровья  
И до Поволжья, в тьме ночной,  
Все тот же глаз, налитый кровью,  
И вопль глухой и вековой.

1931

## РОДНАЯ СТОРОНА

В советской кухне примусы,  
Вот именно, горят.  
Что видели, что слышали,  
О том не говорят.

...В углу профессор учится,  
В другой сапожник влез.  
А в третьем гордость нации,  
Матрос-головорез.

В четвертом старушенция  
Нашла себе приют.  
А жить, конечно, хочется,  
Вот люди и живут.

С утра, как эти самые,  
Как примусы копят,  
Зато в советском подданстве  
И крепко состоят.

А примус вещь известная,  
Горит себе огнем,  
А кухня коллективная  
И вечером и днем.

Хозяек клочотание,  
Кипение горшков,  
И все на расстоянии  
Вот именно вершков.

Как схватятся соседушки,  
Как вцепятся в упор!  
А в воздухе, вот именно,  
Хоть вешайте топор.

Четвертая, гражданская,  
Сапожника жена  
Заехала профессорше  
Бутылкой от вина.

Бутылка, значит, в целости,  
Профессорша — навряд.  
А примусы упорствуют,  
А примусы горят.

*1926, 1931*

## ПОЭТ

Вся жизнь моя была победой света  
Над тьмою тем.  
Я был рожден по воле комитета,  
Не знаю кем.

Но понял я, что был не самостийным  
Мой первый час.

А отвечал желаньям партийным  
Вождей и масс.

И мне сказал неведомый родитель:  
Смотри, подлец!  
Уже стяжал покойный наш учитель  
Себе венец...

Его пример, средь прочих наипаче,  
В душе храни,  
И не зевай, и в случае удачи  
И сам стяни.

И я пришел в рабочие артели,  
Как некий бард.  
И песнь моя не жаворонков трели,  
А взрыв петард!

И каждый звук, и мысль моя, и слово,  
И крик души,  
Как погреба пожар порохового  
В ночной тиши.

Я не ищу в поэзии разгадку  
Тайн бытия.  
Мне все равно, что сапогами всмятку  
Торгую я.

Я свой огонь кузнечными мехами  
Раздул, и вот  
Я как вулкан, который вдруг стихами  
Сейчас прорвет.

И хлынет вниз из горла, из воронки,  
Сорвав затор,  
Мой молодой, мой бешеный, мой звонкий  
Мой адский вздор,  
И озарит пылающим поленом  
Грядущий век!..

И скажет мне вся партия, весь пленум:  
— Се, человек.

1932

## РОМАНС

Прах Дзержинского в стене,  
Под Кремлем, зарыли.

Прах Менжинского в стене,  
Под Кремлем, зарыли.  
И невольно из родной  
Вспоминаешь были:  
«Две гитары за стеной  
Жалобно заныли...»

1934

## ПОЗНАЙ СЕБЯ

*Басня*

Однажды Сидоров, известный неврастеник,  
С самим собой сидел наедине,  
Рассматривал обои на стене,  
И табаком, напоминавшим венник,  
Прокуривал свой тощий организм  
И все искал то мысль, то афоризм,  
Чтоб оправдать, как некую стихию,  
Свою тоску, свою неврастению,  
И жизнь свою, и лень, и эгоизм.  
Но мысли были нищи, как заплаты,  
И в голову, как дерзкие враги,  
Не афоризмы лезли, не цитаты,  
А лишь долги.  
Когда ж ему невыносимо стало  
Курить и мыслить, нервы теребя,  
Он вспомнил вдруг Сократово начало:  
Познай себя!  
И подскочил, как будто в нем прорвались  
Плотины, шлюзы, рухнувшие вниз.  
И он в такой вошел самоанализ,  
В такой невероятный самогрыз,  
В такой азарт и раж самопознания,  
В такое постижение нутра,  
Что в половине пятого утра,  
На потолок взглянув без содроганья,  
Измерил взглядом крюк на потолке,  
А ровно в пять висел уж на крюке.

\*

Сей басни смысл огромен по значенью:  
Самопознание приводит к отвращенью.

1935

## ГОРОСКОП

Будет вечер танцевальный  
В пользу мальчиков-волчат.  
Будет вечер музыкальный  
В пользу девочек-галчат.

Будут елки-маскарады,  
Будет праздник Рождество.  
Будут детям мармелады,  
Будет взрослым ничего.

Все писатели напишут  
Свой рождественский рассказ,  
Появившийся в печати  
По четырнадцати раз.

Будут плакать Сандрильоны.  
Будет мальчик замерзать.  
Будут шляться почтальоны...  
Так, что в сказке не сказать.

А потом струею брызнет  
Госпожа моя Клико.  
А уж с ней о смысле жизни  
Разговаривать легко.

И ораторы стараться  
Станут в очередь, на крик.  
И начнет тут заплетаться  
Их тургеневский язык.

Будет тост и звон бокала,  
Хор цыган из тупичка,  
И начнется быль сначала  
Про знакомого бычка.

1933

## PRIMAVERA

Была прелестная пора...  
Цвели фиалки. Птицы пели.  
Звенели чище серебра  
Ручьи во вкусе Боттичелли.

Блестели лужи. И лучи  
Врывались в щели и в простенки.  
Кружились первые грачи,  
Как на картинах Ярошенки.

И расцвели в какой-то срок  
И лес, и роща, и поляна.  
И плыл над рощицей дымок,  
Как на картинах Левитана.

И все сияло, и вокруг  
Таким дышало ароматом,  
Что каждый встречный был нам друг,  
А поперечный был нам братом.

И шел такой от братьев дух,  
И столько этих братьев было,  
Что мы уж спрашивали вслух:  
А где же братская могила?—

Чтоб уложить их всех туда,  
И чтоб над ними птицы пели,  
И с синих гор неслась вода,  
Как на картинах Боттичелли.

1934

## УЕЗДНАЯ СИРЕНЬ

Как рассказать минувшую весну,  
Забывшую, далекую, иную,  
Твое лицо, прильнувшее к окну,  
И жизнь свою, и молодость былую?

Была весна, которой не вернуть...  
Коричневые, голые деревья.  
И полых вод особенная муть,  
И радость птиц, меняющих кочевья.

Апрельский холод. Серость. Облака.  
И ком земли, из-под копыт летящий.  
И этот темный глаз коренника,  
Испуганный, и влажный, и косящий.

О, помню, помню!.. Рявкнул паровоз.  
Запахло мятой, копотью и дымом.

Тем запахом, волнующим до слез,  
Единственным, родным, неповторимым,

Той свежестью набухшего зерна  
И пыльною уездною сиренью,  
Которой пахнет русская весна,  
Приученная к позднему цветенью.

1929—1935

## ПРИЗНАНИЯ

Мы были молоды. И жадны. И в гордыне  
Нам тесен был и мир, и тротуар.  
Мы шли по улице, по самой середине,  
Испытывая радость и угар—

От звуков музыки, от солнца, от сиянья,  
От жаворонков, певших в облаках,  
От пьяной нежности, от сладкого сознанья,  
Что нам дано бессмертие в веках...

Мы были молоды. Мы пели. Мы орали.  
И в некий миг, в блаженном забытьи,  
В беднягу пристава то ландыши швыряли,  
То синие околыши свои.

Звенела музыка, дрожала мостовая...  
Пылал закат. Изнемогавший день  
Склонялся к западу, со страстию вдыхая  
Прохладную лиловую сирень.

Мы были смелыми. Решительными были.  
На приступ шли и брали города.  
Мы были молоды. И девушек любили.  
И девушки нам верили тогда...

Клубились сумерки над черною рекою.  
Захлопывалось темное окно.  
А мы все гладили прилежною рукою  
Заветное родимое пятно.

Мы поздно поняли, пропевши от усердья  
Все множество всех песен боевых,  
Что нет ни пристава, ни счастья, ни бессмертья...  
Лишь ландыши, и то уж для других.

1934

## ДЫМ

Помнишь дом на зеленой горке,  
В четырех верстах от станции?  
Помнишь запах рябины горький,  
Которого нет во Франции...

Помнишь, как взлетали качели  
Над садом, над полем скошенным,  
И песню, которую пели  
Девушки в платьях в горошину.

Помнишь, как мы дразнили эхо,  
И в строгом лесу березовом  
Сколько, Господи, было смеха,  
Сколько девушек в белом, в розовом!

А когда темно-синий вечер  
Над земными вставал покоями,  
Помнишь, как зажигали свечи  
В гостиной с голубыми обоями,

Где стояли важные кресла  
И турецкий диван с узорами,  
И где было так чудесно  
Упиваться «Тремя мушкетерами»...

*1928, 1935*

## ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ

Я устал от весеннего гула,  
От звенений, от звуков извне!..  
Я уверен, что царь Калигула,  
Тот, что въехал в сенат на коне,

Задыхался от счастья без меры,  
Распиравшего царскую грудь,—  
Оттого, что небесные сферы  
Озаряли блистательный путь.

Оттого, что весенняя нега,  
От которой он весь изнемог,  
Не вмещалась в размеренность бега  
И в простое движение ног.



Лишь верхом на горячем животном,  
И, вонзив свои шпоры в бока,  
Мог ворваться он грубым и потным,  
Как крылатый Пегас в облака,

В этих медленных старцев собрание,  
В эту курию скучных мужей,  
Идохнуть в них весенним дыханьем,  
Ослепить их сияньем лучей.

Кинуть вызов и Риму, и миру,  
Изумить и заставить дрожать,  
И, подбросив на воздух порфиру,  
Рассмеявшись, назад ускакать.

Но куда пешеходу простому,  
Человеку такому, как я,  
Разметать эту сердца истому,  
Размотать эту нить бытия,

Расплескать эту нежность и ярость,  
Ту, которой до самого дна  
Невзирая на раннюю старость,  
Переполнила душу весна?

Ни коней, ни сената, ни Рима...  
Только слабая в поле трава.  
Только мимо плывущего дыма  
Над усталой землей синева.

Только проволока в небе гуденье.  
Только запах густой и хмельной,  
И дрожанье, смятенье, звененье  
Из земли, на земле, над землей.

1935

## АВГУСТ

Тяжкие грозди глициний,  
Утро, симфония света.  
Воздух прозрачный и синий,  
Воздух парижского лета.

Прелые запахи тлена,  
Милая сладость земного.

Легкая, смертная пена,  
Горечь бессильного слова.

Разве не чуют, что ветер  
С русской, бескрайной равнины  
Вихрем взметет эти розы,  
Стебли, газоны, куртины,

Станет в слепом сладострастье,  
В страшном припадке удушья  
Рвать и топтать это счастье,  
Мстить за предел равнодушья,—

Лишь бы, сломав, уничтожив,  
Вольно гулять по пустыне,  
Сыпля на смертное ложе  
Хрупкие грозди глициний!..

*1931—1935*

#### ИЗ АЛЬБОМА ПАРОДИЙ

Повяжу, как Генрих Гейне,  
Шею шелковым фуляром,  
Отпущу себе бородку  
С темно-русым перегаром,  
И на узком повороте,  
За избушкой дровосека,  
Стану в позу, в рединготе  
Девятнадцатого века.

И живую вырву розу  
Прямо с корнем из петлицы,  
И опустит Клара скромно  
И головку, и ресницы,  
И пред нею на колени  
Опущусь я в серых брюках,  
И скажу ей очень просто  
О любви своей и муках.

Но батистовая Клара,  
Дочь и гордость дровосека,  
По традициям любовным  
Девятнадцатого века,  
Разобьет поэту сердце  
По-немецки и по-женски,

И возьмет поэт печальный  
Пистолет свой геттингенский,

И нажмет свою собачку,  
Не свою, а пистолета...  
И не станет ни бородки,  
Ни фуляра, ни поэта.

1929—1935

### НОЧНОЙ ЛИВЕНЬ

Напой меня малиной,  
Крепким ромом, цветом липы.  
И пускай в трубе каминной  
Раздаются вопли, всхлипы...

Пусть скрипят и гнутся сосны,  
Вязы, тополи иль буки.  
И пускай из клавикордов  
Чьи-то медленные руки

Извлекают старых вальсов  
Мелодические вздохи,  
Обреченные забвенью,  
Несозвучные эпохе.

Напой меня кипучей  
Лавой пунша или грога  
И достань, откуда хочешь,  
Поразительного дога,

Да чтоб он сверкал глазами,  
Точно парой аметистов,  
И чтоб он сопел, мерзавец,  
Как у лучших беллетристов.

А сама, в старинной шали  
С бахромою и с кистями,  
Перелистывая книгу  
С пожелтевшими листьями,

Выбирай мне из «Айвенго»  
Только лучшие страницы  
И читай их очень тихо,  
Опустивши вниз ресницы.

Потому что человеку  
Надо в сущности ведь мало...  
Чтоб у ног его собака  
Выразительно дремала,

Чтоб его поили грогом  
До семнадцатого пота,  
И играли на роялях,  
И читали Вальтер Скотта,

И под шум ночного ливня  
Чтоб ему приснилось снова  
Из какой-то прежней жизни  
Хоть одно живое слово!

1929—1935

### СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ

Девичьи лица ярче роз.

Увы! Ни девушки, ни розы...  
В душе убийственная тьма.  
Ей снятся русские морозы,  
Ей снится русская зима.

И как ни мучай иль ни милуй,  
К каким соблазнам не склоняй,  
Один ей мил на свете милый,  
Один ей дорог в мире край.

Попробуй взять ее искусно,  
Заставь держать ее башо —  
Ей все равно повсюду грустно,  
Ей все равно не хорошо.

Таскай хоть в Лувр ее, к Венерам,  
О смысле жизни говори,  
Пои чистейшим Редерером,  
Читай ей Поля Валери,

Покуда Поль не рассердился,  
Услышав вопль ее и крик:  
— Хочу, чтоб пылью серебрился  
Его бобровый воротник!..

А там в снегах, что сердцу снятся  
От огорчения его,  
Бобры проклятые плодятся,  
Не зная сами для чего.

1933

### КАК РАССКАЗАТЬ...

Как рассказать им чувство это,  
Как объяснить в простых словах  
Тревогу зимнего рассвета  
На петербургских островах,

Когда, замучившись, несется  
Шальная тройка поутру,  
Когда, отстегнутая, бьется  
Медвежья полость на ветру,

И пахнет влагой, хвоей, зверем...  
И за верстой верста бежит.  
А мы, глупцы, орем и верим,  
Что мир лишь нам принадлежит.

1929—1935

### ИЗ СБОРНИКА

### «В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА»

### «ПРОЛЕГОМЭНЫ»

— Долой Пушкина и Белинского,  
Читайте Степняка-Кравчинского!

Прочитали, марш вперед.  
Девятьсот пятый год.

От нигилизма — ножки да рожки.  
Альманахи в зеленой обложке.  
Андреев басит в Куоккале,  
Горький поет о соколе.  
Буревестник взмывает вдаль.  
Читает актер под рояль.  
— Эх, грусть — тоска...  
Дайте нам босяка!

Идет тип в фуражке.  
Грудь. На груди подтяжки.  
Расчищает путь боксом,  
Говорит парадоксом.  
Я это «Я», не трожь!  
Молодежь в дрожь...  
Дрожит, но ходит попарно.  
Читает стихи Верхарна.  
Плюет плевком в пространство,  
Говорит, что все мещанство...

А ей навстречу Санин.  
Мне, говорит, странен  
Такой взгляд на вещи!  
А сам глядит зловеще,  
И сразу — на жен и дев,  
От Ницше осатанев.

А рояль уже сам играет.  
А актер на измор читает.

Начинается ловля моментов.  
Приезд, гастроль декадентов.  
Стенька Разин в опале.  
Босяки совсем пропали.  
Полная перемена вкусов.  
На эстраде Валерий Брюсов.

Цевницы. Блудницы. Царицы.  
Альбатросы из-за границы.  
Любовь должна быть жестокой.  
У девушек глаза с поволокой.  
Машу зовут Марго.  
А в оркестре уже — танго...

Бьют отбой символисты.  
Идут толпой футуристы.  
Паника. Давка. Страх.  
Облако, все в штанах!

Война. Гимны. Пушки.  
Полный апофеоз теплушки.  
Глыба ползет, сползает.  
А Ходотов все читает.

На балкон выходит Ленин.  
Под балконом стоит Есенин,

Плачет слезою жалкой,  
Бьет Айседору палкой.

А актер, на контракт без срока,  
Читает «Двенадцать» Блока.

1932

1917

Какой звезды сиял нам свет?  
На утре дней, в истоках лет,  
Больших дорог минуя стык,  
Куда нас мчал лихой ямщик?..

Одним черед. Другим черед.  
За взводом взвод. И — взвод, вперед!  
Теплушек смрад. Махорки дым.  
Черед одним. Черед другим.

Один курган. Другой курган.  
А в мире ночь. Седой туман.  
Протяжный вой. Курганов цепь.  
Метель. Пурга. Татары. Степь.

1930-е годы

## БЕЛОВЕЖСКАЯ ПУЩА

Эстрада затянута плюшем и золотом.  
Красуется серп с историческим молотом.  
Тем самым, которым, согласно теории,  
Весьма колотили по русской истории.

Сидят академики с тухлой наружностью,  
Ядреные бабы с немалой окружностью,  
Курносые маршалы, чуть черноземные,  
Степные узбеки, коричнево-темные.

Фомы и Еремы, тверские и псковские,  
Столичные лодыри, явно московские,  
Продольные пильщики, крепкие, брынские,  
Льняные мазурики, пинские, минские,

Хохлы Николая Васильича Гоголя,  
И два Кагановича, брата и щеголя...

1938

## ГОЛУБЬ МИРА

...Был день сотворения мира.  
Какие-то тучи клубились.  
Какие-то воды бурлили,  
И в них протоплазмы носились.

В разъятых пространствах и лонах  
Вскипали моря-окияны.  
И в рощах детей незаконных  
Рожали в бреду обезьяны.

И все было жутко и страшно.  
И небо казалось в овчинку.  
И Каин в тоске бесшабашной  
Хватался уже за дубинку.

И вдруг... Среди кровосмешений,  
Убийства, разврата, порока,—  
Какой-то неслыханный гений  
Является прямо с Востока.

И сразу забили литавры,  
И грянули гимны победы.  
И скопом несли ему лавры  
Наследники Нобеля, шведы.

А он к пьедесталу припаян,  
Холопской толпе улыбался...  
И в мире один только Каин  
Потоками слез разливался.

1936

## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Был ход вещей уже разгадан.  
Народ молчал и предвкушал.  
Великий вождь дышал на ладан,  
Хотя и медленно дышал.

Но власть идей была упряма,  
И понимал уже народ,  
Что ладан вместо фимиама  
Есть несомненно шаг вперед.

1939—1951



## «ДВЕНАДЦАТЫЙ ЧАС»

Немцы кричали: долой инородцев.  
Лошади ржали: долой иноходцев.  
Даже свинья, уж на что новичок,  
Гордо ссылалась на свой пяточок.

С горечью вспомнив обиды и раны,  
В тропиках выли навзрыд обезьяны,  
Сразу забыв в эгоизме своем  
Дарвина! Дарвина кожаный том!..

1938

## ИСКАНИЯ

Какая-то личность в простом пиджаке  
Взошла на трибуну с тетрадкой в руке,  
Воды из графина в стакан налила  
И сразу высокую ноту взяла.

И так и поставила тему ребром:  
— Куда мы идем? И зачем мы идем?  
И сорок минут говорила подряд,  
Что все мы идем, очевидно, назад.

Но всем было лестно, что всем по пути,  
И было приятно, что если идти,  
То можно идти, не снимая пальто,  
Которые снять и не думал никто.

И вышли, вдыхая осеннюю слезь.  
И долго прощались, пока разошлись.  
И, в сердце святую лелея мечту,  
Шагали и мокли на славном посту.

1936

## идиллия

Я раскладывал пасьянсы,  
Ты пила вприкуску чай.  
Дядя Петя пел романсы —  
«Приходи и попеньяй»...

Тетя Зина Жюль Ромэна  
Догрызала пятый том.  
Старый кот храпел блаженно  
И во сне вилял хвостом.

Колька перышком царапал,  
Крестословицы решал.  
А над крышей дождик капал,  
А в углу сверчок трещал.

И хотя порой сжималось  
Где-то сердце много крат,  
В общем, жизнь утрамбовалась,  
Утряслась, как говорят.

Что там дальше, неизвестно...  
Вероятнее всего,  
Мы пасьянс закончим честно,  
Неизвестно для чего.

И порой, и то с конфузом,  
Вспомнив дедов и папаш,  
Средним вырастет французом  
Этот самый Колька наш.

*1936*

## В КАРТИНЕ КУСТОДИЕВА

Ручкой белою прикрылась,  
Застыдилась, в круг вошла.  
В круг вошла да поклонилась,  
Поклонилась, поплыла.

Стан высокий изгибает,  
Подойдет и отойдет.  
А гармоника рыдает,  
А гармоника поет.

*1930-е годы*

## СВОЙ УГОЛ

1

Блажен, кто вовремя постиг,  
В круговорот вещей вникая,  
А не из прописей и книг,  
Что жизнь не храм, а мастерская.

Блажен, кто в этой мастерской,  
Без суеты и без заботы,  
Себя не спрашивал с тоской  
О смысле жизни и работы.

2

Но был воистину блажен  
Лишь тот, кто в жажде совершенства,  
Меж четырех укрывшись стен  
От слишком шумного блаженства,

Вкушал нехитрые плоды,  
Не пил лекарственной полыни  
И старых циников труды  
Читал лениво по-латыни.

1936

## АМО-АМАРЕ

Довольно описывать северный снег  
И петь петербургскую вьюгу...  
Пора возвратиться к источнику нег,  
К навеки блаженному югу.

Там молодость первая буйно прошла,  
Звеня, как цыганка запястьем.  
И первые слезы любовь пролила  
Над быстро изведанным счастьем.

Кипит, не смолкая, работа в порту.  
Скрипят корабельные цепи.  
Безумные ласточки, взяв высоту,  
Летят в молдаванские степи.

Играет шарманка. Цыганка поет,  
Очей расточая сиянье.

А город лиловый сиренью цветет,  
Как в первые дни мирозданья.

Забуть ли весну голубую твою,  
Бегущие к морю ступени  
И Дюка, который поставил скамью  
Под куст этой самой сирени?..

Забуть ли счастливейших дней ореол,  
Когда мы спрягали в угаре  
Единственный в мире латинский глагол —  
Атаге, атаге, атаге?!

И боги нам сами сплетали венец,  
И звезды светили нам ярко,  
И пел о любви итальянский певец,  
Которого звали Самарко.

...Приходит волна, и уходит волна.  
А сердце все медленней бьется.  
И чувствует, и знает, что эта весна  
Уже никогда не вернется.

Что ветер, который пришел из пустынь,  
Сердца приучая к смиренью,  
Не только развеял сирень и латынь,  
Но молодость вместе с сиренью.

*1930-е*

### ЛЕТНЯЯ ЗАПИСЬ

Лето пахнет душным сеном.  
Сливой темною и пыльной,  
Бледной лилией болотной,  
Тонкостанной и бессильной.

Испареньями земными,  
Тмином, маком, прелью сада.  
И вином, что только бродит  
В сочных гроздьях винограда.

А еще в горячий полдень  
Лето пахнет лесом, смолью.  
И щекочущей и влажной  
Голубой морскою солью.

Мшистой сыростью купальни,  
Острым запахом иода  
И волнующей и дальней  
Синей дымкой парохода.

1928

### КОРОТКАЯ ПОВЕСТЬ

Уже обрызганная кровью,  
Упала роза на гранит.  
Уже последнею любовью  
Пылают астры. Сад молчит.

Он отшумел. Он умирает.  
Дом заколочен. В доме тьма.  
И у балкона ветер играет  
Обрывком женского письма.

И, чуя гибели предтечу,  
Сентябрьский глени и смертный прах,  
Тревожно ласточки щебечут  
На телеграфных проводах.

А сад в бреду. Он умирает.  
Дом заколочен. В доме тьма.  
И ветер злится и играет  
Обрывком женского письма.

1928

### ДРУГ-ЧИТАТЕЛЬ

Читатель желает — ни много, ни мало  
Такого призыва в манящую ширь,  
Чтоб все веселило и все утешало  
И мысли, и сердце, и желчный пузырь.

Допустим, какой-нибудь деятель умер.  
Ну, просто, ну взял и скончался, подлец...  
Ему, разумеется, что ему юмор,  
Когда он покойник, когда он мертвец?

А другу-читателю хочется жизни  
И веры в бодрящий, в живой идеал.  
И ты в него так это юмором брызни,  
Чтоб он хоронил, но чтоб он хохотал.

1930-е годы

## ПОСЛЕСЛОВИЕ

Жили. Были. Ели. Пили.  
Воду в ступе толкли.  
Вкруг да около ходили,  
Мимо главного прошли.

1938

## НАТЮРМОРТ

Декабрьский воздух окна затуманил.  
Камин горел.  
А ты в стекло то пальцем барабанил,  
То вдаль смотрел.

Потом ты стал, как маятник, болтаться.  
Шагать. Ходить.  
Потом ты просто начал придираться,  
Чтоб желчь излить.

Ты говорил, что пропасть между нами —  
Вина моя.  
Ты говорил роскошными словами,  
Как все мужья.

Ты вспоминал какие-то ошибки  
Прошедших дней.  
Ты говорил, что требуешь улыбки,  
Не знаю, чьей.

Ты восклицал, куда-то напряженный  
Вперяя взгляд:  
— Как хороши, как свежи были жены...  
Лет сто назад!

Пришла зима. Ударили морозы.  
И ты сказал:  
«Как хороши, как свежи были розы»...  
И замолчал.

Но я тебе ни слова не сказала.  
Лишь, вопреки  
Самой себе, молчала... и вязала  
Тебе носки.

1936

## ЛИРИЧЕСКИЙ АНТРАКТ

Воскресают слова,  
Точно отзвук былого.  
Зеленеет трава,  
Как в романе Толстого.

Раздвигается круг,  
Где была безнадежность.  
Появляется вдруг  
Сумасшедшая нежность.

Этак взять и нажать  
На педаль или клавиш,  
И кого-то прижать,  
Если даже раздавишь!

Что с того, что стрелой  
Краткий век наш промчался...

Даже Фет пожилой,  
Как мальчишка, влюблялся.  
Даже Виктор Гюго,  
С сединами рапсода,  
Не щадил никого,  
В смысле женского рода.

Этак вспомнишь и зря,  
Повздыхаешь, понятно.

Вообще ж говоря,  
Просто вспомнить приятно.

1939

## БИОГРАФИЯ

Жил такой, никому не известный  
И ничем не прославивший век,  
Но убийственно-скромный и честный  
И милейшей души человек.

Веря в разум и смысл мироздания,  
Он сиял этой верой с утра  
И кормился от древа познания  
Лишь одними плодами добра.

Состязаясь с змеей сладострастной,  
Он, конечно, немало страдал,  
Но зато, просветленный и ясный,  
Все во сне херувимов видал.

Ограничив единой любовью  
Неизбежные сумерки дней,  
Он боролся с проклятою кровью,  
С человеческой плотью своей.

И напрасно в бреду неотвязном,  
В красоте естества своего,  
Соблазняли великим соблазном  
Многогрешные жены его.

Он устоев своих не нарушил,  
Он запретных плодов не вкушал.  
Все домашнее радио слушал,  
Простоквашею дух оглушал.

И, когда задыхаясь от жажды  
И вздохнувши испуганно вслух,  
Испустил он, бедняга, однажды  
Этот самый замотанный дух,

И, взбежав по надзвездным откосам,  
Очутился в лазоревой мгле  
И пристал к херувимам с вопросом —  
Как он прожил свой век на земле?..

В небесах фимиамы и дымы  
В благовонный сгустился мрак,  
И запели в ответ херувимы:  
— Как дурак! Как дурак!  
Как дурак!



## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**В смысле дали мировой  
Власть идей непобедима:  
От Дахау до Нарыма  
Пересадки никакой.**

*1951*

*Стихотворения,  
не вошедшие  
в сборники*

**СОБРАТУ ПО ПЕРУ**

Пером боролся ты недаром:  
    За гонорар метал ты гром,  
Но пал, сраженный гонораром,—  
    Да будет прах тебе пером!..

<1914>

**СУДЬБА КАЙЗЕРА**

Пожалуй, я и теперь соглашусь на мир,  
если они так хотят, но только чтобы  
мою империю и меня самого ни, ни, ни!..  
Чтобы я и она оставались неприкосно-  
венны.

*Из последней речи,  
приписываемой кайзеру*

Сначала кайзер их сказал: «Вселенная!  
Таков мой максимум! Таков мой минимум!  
Победа жалкая, обыкновенная  
Увлечь не может мой великий ныне ум!»  
Что ж делать!..— кайзеру тогда ответили  
Полки несметные, на бой идущие.  
Штыки холодные покорно встретили  
И пули, в воздухе про смерть поющие...  
Была ль то мания его величия  
Иль жажда подвига и приключения,—  
Для них-то, собственно, ведь нет различия:  
Идти! и кончено!.. Без исключения!..  
Отбарабанили!.. и понемножку  
Летят солдатики под пушек громами!

О, нервы кайзера!.. Он сыплет в ложечку,—  
Что час, то натрами, что час, то бромами!..  
А планы рушатся... И он в истерике  
Кричит: «Послушайте! Эй, вы там, публика!..  
Ну, так и быть уже! Пусть без Америки!..  
Готов я сбросить вам полтинник с рублика!..»  
Отдули кайзера — мое почтение!  
И в хвост, и в гриву бьют, что называется...  
Должно быть, лопнуло его терпение —  
И с речью новою он обращается:  
«Как, значит, бьете вы, в таком-де разе я  
Готов к вам с новыми ужо-тко скидками!  
Примерно, сколько же?» — «Да хоть бы Азия!..  
Изрядно мято, знать, по подмикитками!..  
Но пуще прежнего гремит баталия.  
Все пушки грозные в атаку пущены.  
«Да, вот вам Африка! Ну, вот Австралия!..  
(Усы не взвинчены, а вниз опущены!..)»  
Ну хоть Европу-то одну, по крайности,  
Могу я взять себе по справедливости?!»  
«Сие зависит все лишь от случайности!» —  
Ему ответили не без игривости...  
Летят солдатики, как та от кос трава,  
Все дело кончилось пустой записочкой:  
«Сидеть вам в домике. Ни шагу с острова.  
А вот и пенсия: пивцо с редисочкой!..»

<1915>

### ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ

Кайзер сказал ей: «Амалия!  
Главное в жизни — рожать!  
Пусть распускается талия,—  
Незачем нас поражать!..  
Важно лишь то, что вещественно:  
Важно солдат наплодить!  
Также не мене существенно —  
В церковь исправно ходить!..»  
Полной восторга Амалии  
Кайзер заканчивает речь:  
«Кухня — предел! И — не далее!  
Стряпать, мейн шецхен, и печь!»  
Мига покоя не ведая,  
Трудится верно жена:

Часто свой грех исповедуя,  
Тут же рождает она.  
Бисером туфли покойные  
Шьешь повелителю ты!  
Два подбородка достойные  
Будят невольню мечты...  
Все распускается талия,  
Все добросовестней шнур!  
Пусть себе пишут, Амалия,  
Там про каких-то Лаур!..

<1915>

### О ЧЕМ ПЕЛА ФЛЕЙТА

Германцы на улицах разгромленного  
Антверпена устраивают военные кон-  
церты.

*Из газет*

Играйте марш! Но самый бурный,  
Такой, чтоб топот конских ног  
С его прелюдией бравурной  
Нигде соперничать не мог!  
Играйте марш! Но полный гнева,  
Такой, чтоб слышать не могли,  
Как стонет женщина иль дева  
Над телом, брошенным в пыли!  
Играйте марш! Но марш победный,  
Чтоб заглушить со всех сторон  
Призыв рокошующий и медный,  
Напевы жутких похорон!..  
Чтоб дикий хохот сумасшедших  
И тех, кто вынужден страдать,  
Векам грядущим о прошедших  
Не мог свой ужас передать!  
И грянул марш!.. Гремели трубы,  
Бил барабан, ревел гобой!  
И в кровь окрашенные губы  
Смеялись громко над судьбой!  
Играйте марш! Всю мощь излейте!  
Отвага — в робкие сердца!  
Но, чу!.. Вы слышите?.. На флейте  
Рыдает кто-то без конца...  
Флейтист! Безумец! Флейта стонет,  
Рыдает флейта среди труб!

Твоя мелодия не тронет  
Того, кто дик, того, кто груб!  
А ты заплатишь головою  
За то, что в этот страшный час  
Огонь, твоей душой живою  
Всегда владевший, не погас!  
Но флейта в звуках изливала  
И скорбь, и жалость, и привет,  
И на вопрос душа давала  
Свой сострадающий ответ:  
О всех, кто плачет в эти ночи,  
О всех, кто страждет в эти дни,  
О нежной девушке, чьи очи,  
Смеясь, позорили они!..  
О том, что сладкого возмездья  
Наступят скоро времена,  
О том, что кроткие созвездья  
Увидит бедная страна!  
...И как ни силились литавры  
Разбить мелодию тоски,—  
Сама судьба вплетала в лавры  
Печальных лилий лепестки!..

< 1915 >

#### «БУДЕТ РАДОСТЬ!»

Еще одной империи не стало.  
Республики плодятся, как грибы.  
Хивинский хан низвергнут с пьедестала.  
О, трижды хан! О, пасынок судьбы!..

Как некий смерч, мятущий по Сахаре,  
Как некий дух, бушует Карахан.  
В халате хорохорится в Бухаре  
Во страхе — всебухарский хан.

И, царь царей, в каракулевых штучках  
И в прочих экзотических вещах.  
Весь ежится в предчувствиях и муках  
Луна всех лун и всеперсидский шах.

А дальше — Индия! Раджи с магараджами!  
Ах, и они не смогут устоять!..

И в книгах Ведды выскоблят ножами  
И ижицу индусскую, и ять!..

Потом орда того же Карахана  
Пройдет Памир, Иран и Гималай  
И, так как нет в Китае богдыхана,  
Мгновенно переделает Китай.

Объявлен будет Будда вне закона  
Нирвана будет вдруг отменена.  
И в откровениях восточного циклона  
Родится истина... и даже не одна!

И, к удивлению английских делегаций,  
Привезших из Москвы поклон,  
Настанет день — и будет Лига Наций!  
И будет Трэд и будет Унион!

1920

### СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ВО ВРЕМЯ ДОЖДЯ

Пыль Москвы на ленте старой шляпы  
Я, как символ, свято берегу.  
...Буду плакать... Жгучими слезами  
С полинявшей ленты смою пыль.

*Lolo*

Поэты писали о тяжких этапах,  
О пыли на лентах, о лентах на шляпах,  
О том, что на свете не все справедливо...  
И было мне грустно, и было тоскливо.

Я думал о том, что душа позабыла,  
Что все это верно, что все это было,  
Что были дни гнева, и скорби, и мести —  
И падали шляпы... и головы вместе.

И головы с шумом катились по плахам,  
И все это стало бессмысленным прахом:  
Король и виконты, поместья и ренты,  
Пророки, поэты, и шляпы, и ленты!..

Мы пишем в газетах, толпимся в подъездах,  
Томимся в приемных, взываем на съездах —  
То к сербам, то к чехам, то к чехословакам,  
То даже к румынам, то даже к полякам.

Нам ставят условия. И чертят границы.  
Но мы не согласны!.. Мы... важные птицы!..  
Конечно, нас били на разных этапах.  
Но все же не выбили пыли на шляпах!

И пыль эту смоем мы только слезами...  
Чего ж вы смотрите большими глазами?!  
Вам кажется странным такое занятие?  
В Европе — вы щетками чистили платье!..

О, вечная пропасть! Гранит и стихия!  
Европа есть Марфа! Россия — Мария!  
Христос и Антихрист! И лик и личина!  
Не в этом, не в этом ли скрыта причина,  
Что нас с нашей малою горсткою пыли  
Ни в Гайт, ни в Булон, и ни в Спа не пустили?!

Не знаю. Возможно. Но сердцу тоскливо.  
Ужасно, что в мире не все справедливо,  
Что снова Терсит побеждает Патрокла,  
Что дождь барабанит в оконные стекла,  
Что нету зонта, чтоб дойти до этапа,  
Что надо идти и что вымокнет шляпа...

1920

### ЧАСТУШКИ

1

Не нахвалится кулик  
На свое болото.  
Решоблик-то Републик,  
А сырья — ни лота.

2

Говорил хамелеон,  
Что синица — дура.  
У кого — Наполеон,  
А у нас... Петлюра!..

3

Все на свете пустыки,  
А любовь — игрушки,  
Подвезли большевики  
К Тегерану пушки.

4

Нынче барышни мудрят,  
Завтра ходят, сумны...  
Про Ллойд Джорджа говорят,  
Что он очень умный!

5

Мой миленок — что ранет,  
А цена — полтинник.  
Ходит Красин, ходит, свет,  
Словно именинник!

6

Стала Катька говорить,  
Ходит — руки в боки:  
— С анжанером буду пить  
Только фэйфоклоки!..

1920

## ПОКАЯНИЕ

1

Надо быть злободневным!  
Согласен.  
Надо чувствам горячим и гневным  
Дать естественный выход,  
Чтоб Красин  
Сразу высох от черной печали!..  
И чтоб все,  
Негодую, читали!  
Все, кто любит стихи об отчизне —  
В этой жизни...

2

Надо помнить, что поздно  
Иль рано  
Будут все рифмовать  
Мильерана.  
Как когда-то хулители прозы  
Находили, что розы  
И слезы —



Это лучший шедевр Аполлона,  
И писали об них  
Неуклонно!..

3

Признаю. Обещаю. Клянуся.  
Никакая отныне Маруся,  
Никакой океан и приливы,  
Никакие морские отливы,  
И ни плечи, что гипса белее,  
И ни губы, что вишен алее,  
И ни взор, что острее рапиры,—  
Не смутят арендованной лиры!..

4

Буду крепче, упорней и тверже,  
Чем граниты, поросшие мохом.  
Буду честно писать о Ллойд Джордже.  
И со вздохом!..  
Зараженный примером конфереров,  
Вообще,—  
Опущусь до премьеров,  
Ибо мир,  
Потрясенный грозой,  
Любит ямбы, как сыр.  
Со слезою!..

1920

\* \* \*

Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой!

Каждый в юности что-то лелеял.  
Ибо молодость — это стезя.  
И безумец пришел и навеял!  
Так навеял, что лучше нельзя.

Не напрасно я вспомнил поэта,  
О котором забыли потом.  
Не седьмое ль кончается лето,  
Как Россия — во сне золотом?!

Современники, мы еще слабы,  
Чтоб виденья свои толковать.

Но пускай генеральные штабы  
Продолжают нам сны навевать!..

Сладко спать на подушке сомнений,  
Как философ Монтень говорил.  
Впрочем, разве без всяких Монтеней  
Мы не чувствуем веянья крыл?..

Это было однажды, в июле,  
Закружившись в бесовской игре,  
Мы упали, да так и уснули  
При последнем российском царе.

И во сне, золотом бесконечно,  
Кто-то лил нашу темную кровь  
За какой-то курган в Молодечно,  
За какую-то, к черту, любовь!..

Снились нам наши горькие муки.  
Снилась гибель великой страны.  
И теперь, разметав свои руки,  
Мы не спим ли, не видим ли сны?!.

Вся мужицкая Русь цепенеет.  
Сон пройдет — и не будет Руси.  
«Честь безумцу, который навеет...»  
И сердечное наше мерси!..

1920

#### LA DONNA E MOBILE

И встретились они.  
И поняли без слов.  
*Апухтин*

1

Буду ждать тебя в Люцерне,  
Мой учитель, мой кумир.  
В старой, сводчатой таверне  
Нам дадут швейцарский сыр.

И к слезе его прозрачной  
Я добавлю и свои —  
Слезы жизни неудачной,  
Слезы горестной любви.

Как одна с другою слита,  
Ты поймешь ли, мой педант?..  
Жду. Тоскую.

Джиолитта.

Отвечай мне *poste-restaurant*.

2

Хорошо. Придется взвесить.  
Врозь ужасно тяжело.  
Выезжаю ровно в десять.  
Твой всегда влюбленный Лло.

3

Я свободна. С прежней силой  
Пробудилась в сердце страсть.  
Будьте добрым, милый, милый,  
И не дайте мне упасть.

Если кровь седого галла  
Не ушла из ваших вен,  
Если любите хоть мало,  
Приезжайте в Экс-ле-Бэн.

Неужели позабыты  
Ночь, гондола?.. смятый бант?..  
Жду. Тоскую.

Джиолитта.

Отвечайте *poste-restaurant*.

4

Хорошо. Без оговорок  
Все прощу. Но взвесь. Пойми.  
Выезжаю в десять сорок.  
Обнимаю. Твой Мими.

5

Сэр! Прошу вас, помогите,  
Напишите Джиолитте,  
Что пора кончать роман.  
Надоела.

Мильеран.

Cher monsieur, пишите сами.  
Ибо, строго между нами,  
Я уж дал ей атандэ.  
Надоела.

Ваш Л. Д.

1920

### ПРИЧИНА ВСЕХ ПРИЧИН

А как пили! А как ели!  
И какие были либералы!..

Чехов

У одной знакомой беженки,  
У жеманницы, у неженки,  
Растерявшей женихов,  
Отыскал я томик свеженький  
Иго-Игоря стихов.

Знай свисти себе, насвистывай  
И странички перелистывай,  
Упивайся и читай  
Про веселый, про батистовый,  
Гладко выглаженный рай.

В душу глянешь — вся изранена,  
Вся печалью затуманена,  
А уста должны молчать.  
Вот тогда-то Северянина  
И приятно почитать.

Слаще сладостной магнезии  
Откровения поэзии,  
Повествующей о том,  
Как в далекой Полинезии  
Под маисовым кустом

Не клянутся и не божатся,  
Горьким горем не тревожатся,  
Фиги-финики едят  
И лежат себе, и множатся,  
И на звездочки глядят.

Все мужчины — королевичи,  
Или принцы, иль царевичи,

В крайнем случае князя.  
А про женский род, про девичий  
Лучше выдумать нельзя.

Очи синие, наивные.  
Плечи белые, узывные.  
Поглядишь — царица Маб.  
И красоты эти дивные  
Охраняет черный раб.

Ну не персик, ну не груша ли  
Петербургский этот плод?!  
Как мы жили! Как мы кушали!  
Что читали, что мы слушали  
У гранитов невских вод?!

Забирались в норки, в домики,  
Перелистывали томики,  
Золотой ценя обрез.  
А какие были комики  
И любители поэт!..

И порой я с грустью думаю,  
За судьбой следя угрюмою,  
Что она — итог грехов,  
И что все явилось суммою,  
Главным образом, стихов!

Тут — мужик, а мы — о грации.  
Тут — навоз, а мы — в тимпан!..  
Так от мелодекламации  
Погибают даже нации,  
Как лопух и как бурьян.

1920

#### КОСМОС ВПРИКУСКУ

Когда массы поймут, тогда...  
*Из газетной статьи*

Когда массы поймут... —  
Это слаще признания,  
Это слаще свидания,  
Когда любят и ждут!

Когда массы поймут...  
В этой строчке торжественной —  
Рим и цезарь божественный,  
И над Цезарем — Брут!

Когда массы поймут...  
О, простор бесконечности,  
О, дыхание Вечности,  
Где уже не живут!

Когда массы поймут...  
Это так утешительно.  
Так легко и внушительно,  
Как для лошади кнут!

Когда массы поймут...  
Вместо сроков с отсрочками —  
Три понятия с точками,  
Три понятия тут!

Когда массы поймут...  
Разрешенье от бремени  
Вне пространства и времени,  
Вне каких-либо пут!

Когда массы поймут...  
О, веселые перышки,  
О, газетные скворушки,  
Что не сеют, не жнут!

Когда массы поймут...  
То — долой, то — ура поют,  
Глянь, возьмут — нацарапают,  
А потом промакнут!..

Когда массы поймут...  
Вот спасибо, утешили.  
Черт ли, дьявол ли, леший ли —  
Всем им будет капут.

Когда... массы... поймут!  
Поколенья придут.  
Поколенья пройдут.  
От какой-нибудь малости  
Лопнет ось. И в усталости  
Закружится земля —  
И ее подтолкнут,

И она упадет  
В состоянии вялости.

И не будет земли,  
И ни нас, и ни вас.  
И ни масс... И тогда-с!..—  
Будет то, что для шалости

Было сказано тут,  
Будет ясно доказано  
То, что было нам сказано:  
Когда массы поймут...

1920

### ПОСЛЕ ВСЕГО!..

На каком основании я обязан вам верить,  
Дорогой собутыльник и провидец в веках?  
Я уже не желаю, не могу лицемерить.  
У меня уже тоже седина на висках.

Стоит вам приложиться к дорогому сотэрну  
И увидеть под пеплом огоньки папирос,  
Вы теряете почву, отрицаете скверну  
И плетете гирлянды, и, конечно, из роз!..

Вы твердите, что небо...— Небо будет  
в алмазах,  
И что кровь человечества станет легка.  
И во всех ваших клятвах, и во всех ваших  
фразах  
Что-то есть, что похоже на мечты бедняка.

Вы всегда говорите об исполненных сроках,  
Прожигаете скатерть папироской своей  
И в каких-то неясных и туманных намеках  
Обещаете радость воплощенных идей.

Почему это радость?! И кому эта радость?!  
Ах, в блаженном сотэрне доказательства нет.  
Но в бокале есть горечь, и в бокале есть  
сладость,  
И в их вечном слиянии— вечный ответ.

Я прощаю вам речи о повергнутом хаме,  
Но когда б только сила мне была суждена,—

Я бы всем оптимистам, исходящим стихами,  
Не давал — ни сотэрна, ни другого вина!..

1920

### ИСПОЛНЕННОЕ ЧУДО

Председатель совета министров Даль-  
него Востока г. Бинасик выступил с  
программной речью...

*Из газет*

Изобразю ль сердечное волненье?  
Вмещу ль в слова святое вдохновенье  
И как тебя, взволнованный, почту?!  
Ты снова здесь, прелестное виденье,  
И будишь вновь дразнящую мечту!..

Я был один. Покорствуя судьбине,  
Влача в тоске на горестной чужбине  
Безжалостно отсчитанные дни,  
Я был один. Я думал: где вы ныне,  
Родных домов веселые огни?..

Придет зима. У всех на белом свете  
Есть теплый кров и есть жена и дети.  
Их соберет пылающий очаг.  
И только мы пред Господом в ответе.  
И кто нам друг? И кто, увы, не враг?!

Она прошла — от севера до юга,  
От Жигулей до Западного Буга  
И от Литвы на пламенный Восток —  
Она прошла, бессмысленная вьюга,  
Лишь крымских роз оставив лепесток.

И вдруг!.. О, жизнь всегда благоуханна!  
Недалеко от царства Богдыхана,  
Как яркий луч среди полночной тьмы,  
Бежав цепей владыки Карахана,  
Возникнул он, волнующий умы!..

Гряди ж, Гомер! Восстань, великий классик!  
И имена красноармейских Васек  
Развей, как дым, летящий к облакам!..  
И пусть один, торжественный Бинасик,  
Горит звездой завистливым векам!..

Не одинок я в юдоли суровой.  
Горит восток зарею трижды новой!..



Хочу гитан! Пусть бьют в тимпан!.. Я пьян!..  
Как аргонавт, принять руно готовый,  
Я верю: вот обещанный баран!..

1920

## ФЕДЕРАЦИЯ ТАК ФЕДЕРАЦИЯ

1

О, мелкий бес проклятого злорадства,  
Смирй души мучительную боль,  
Дразни ее бравадой святотатства,  
Которое хмельней, чем алкоголь!

2

Не Гегель я, не Кант и не Спиноза,  
Чтоб рассуждать с величием тупым,  
Когда растоптана единственная роза,  
Согретая дыханием моим!..

3

Вулкан — в огне. Клокочущая лава  
Растет и вырастает, как стена.  
Георгия Великая держава!  
К тебе моя любовь обращена!..

4

Ты первая почувствуешь восторги,  
Которые — презрительны к судьбе —  
Твои же воспаленные георги,  
Готовили на Севере тебе!..

5

Отметить с благодарностью не кстати ль,  
Что в мире не проходит ничего?!  
Чхеидзе был наш первый председатель,  
А Скобелев — и более того!..

6

О, светлые подсолнухи свободы,  
О, семечки февральской суеты,

Из вас по ухищрению природы  
Возникли настоящие цветы!..

7

Но все есть прах. И уж бегут лавины.  
И ветер рвет кавказскую доху.  
И снова обратятся георгины  
В подсолнухов родную шелуху.

8

И притекут разрозненные страны.  
Вернутся псы к блевотине своей.  
«Они идут, цветные караваны!..» —  
Как говорил писатель наших дней.

1920

### НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

У слона был длинный хобот  
И ужасный аппетит.  
Если ж слон бывал голоден,  
Он был страшен и сердит.

Как-то утром мистер Джэксон  
Съел свой завтрак и ушел.  
В это время слон домашний  
В ту же комнату вошел.

О, варенье! — и в мгновенье  
Все варение слизнул  
И в себя в большом волненье  
Хобот собственный втянул.

Ах, обжорство!.. Ты — причина  
Неприятных в жизни дел!..  
Слон держался, как мужчина,  
Но заметно побледнел.

Он терял уже рассудок,  
Да и как не потерять,  
Когда хобот влез в желудок  
Глубиною метров в пять!..

Стал он белым, как бумага,  
И, всю жизнь свою губя,

Потянул в себя, бедняга,  
Половину от себя.

Трах!..—и что-то разорвалось,  
Точно лопнула струна.  
Трах!..—и кляксы не осталось  
От несчастного слона.

И когда вернулся Джэксон,  
Он был очень удивлен,  
Ибо сгинул, как букашка,  
Молодой и честный слон.

Вы не верите?! Спросите!  
Я могу вам адрес дать:  
Мистер Джэксон. Лондон — Сити.  
Пудль-Вудль. Номер пять.

1921

## СОЗВЕЗДИЕ КОНСТИТУАНТЫ

1

Я помню, помню — мутный день,  
Штыков мечтательную сень,  
Седой Таврический дворец,  
Начало, сущность и... конец.  
И, помню,— старые грехи! —  
Я декламировал стихи,  
Чтоб успокоить ритмом строк  
Полупечаль, полуупрек:  
«Есть упоение в бою  
И бездны мрачной на краю...»

2

Прошли года. И вот опять  
Могу взволнованно стоять  
У края бездны дорогой  
Под небом Франции чужой.  
Ушла печаль, рассеян страх,—  
Все звезды снова на местах!..  
И с уст срывается моих  
Размер стихов уже иных:  
«Открылась бездна, звезд полна,  
Звездам числа нет, бездне — дна»...

1921

## В ДНИ МЕССИИ

Анни Безант заявляет, что приход Мессии в лице индуса Кришнамурти повлечет за собой новое распределение материков, морей и племен.

*Из газет*

«Я пришел к тебе с приветом»  
Рассказать, что под Бомбеем  
Происходит крах законов,  
Сочиненных Галилеем.  
Дело в том, что Кришнамурти,  
Сын почтенного индуса,—  
Человек огромной воли,  
Человек большого вкуса!  
От Мадраса до Сорбонны  
Он проделал путь немалый,  
Не совсем обыкновенный  
И таинственный, пожалуй.  
Это, знаешь ли, не всякий  
К быстрой склонен перемене,  
Чтоб вчера купаться в Ганге,  
А назавтра плавать в Сене.  
Но индус был, очевидно,  
Не в родстве с магараджами,  
Для которых вся Европа  
Воплощается в пижаме.  
И однажды он почувал,  
Как почувал — неизвестно,  
Некий дух предначертанья  
В существе своем телесном!..  
Трудно нам себе представить,  
Нам, коснеющим во мраке,  
Чтоб Мессия появился  
В дорогом парижском фраке,  
Чтоб учился он в Сорбонне,  
Жил, как все, на Монпарнасе,  
Даже если он родился  
В древнем городе Мадрасе.  
Но толпы непониманье  
Умалает ли идею?..  
И направил Кришнамурти  
Путь к священному Бомбею.  
И оттуда смуглой дланью  
Дал он знак для поколений  
О великом дне прихода.  
О великом дне свершений.

«Разве ты еще не слышишь  
Приближение циклона,  
Нарушение всех законов  
Галилея и Ньютона?!  
В эскимосской жалкой юрте  
Видишь пламенные розы?!»  
Верю, верю, Кришнамурти,  
Я во все метаморфозы!..  
Слышу голос Атлантиды,  
Восстающей из пучины,  
Боже, как они небриты,  
Атлантические мужчины!..  
Вижу, Волга, наша Волга  
Не в бассейн течет Каспийский,  
А несется полноводно  
По пустыне Аравийской.  
В Ледовитом океане —  
Остров с городом Опочкой,  
И живет в нем Венизелос  
С Венизелихой и с дочкой.  
Эльборус торчит в Нью-Йорке,  
Между Кубой и Ираком,  
А ирландский город Корки  
Отошел к чехословакам.  
В Ницце древние ацтеки  
Продают моржей румынам,  
А в Канаде мерзнут греки  
И тоскуют по маслинам.  
Все смешалось. Сбились расы,  
Точно овцы после бури.  
И сознательные массы  
Призывают к диктатуре.  
Слышен грозный клич народов  
И племен весьма различных:  
Не хотим плодить уродов,  
А хотим детей приличных!..  
У славян — носы с горбинкой,  
В страшном ужасе славяне.  
Совершенно без горбинки —  
И евреи, и армяне.  
Во вселенной грохот ада,  
Накопивши лавы много,  
Бьют вулканы где не надо.  
Наконец, для эпилога,  
От Парижа до Белграда  
Бродит тень Палеолога...  
О, великий Кришнамурти!  
Мир далек от совершенства.

Но... находит в мерзлой юрте  
Эскимос свое блаженство.  
Если ж страсть к перемещениям  
Столь сильна в душе индусской,  
То займися на досуге...  
Эмиграциею русской!  
Ибо, если ты Мессия,  
Ты же должен сделать чудо:  
Им — Париж, а нам — Россия,  
Нас — туда, а их — оттуда!..

1926

## ШУТЛИВЫЕ СТРОЧКИ

I

КАПРИЧЧИО

Диктатор Пангалос арестовал  
б. премьерa Папа-Анастасиу.

Снова Брут и снова Кассий.  
Торжествует лицемер.  
Бедный Папа-Анастасий,  
Бывший греческий премьер!  
Ты вчера был на вершине,  
Но, покорствуя судьбе,  
Под вершиною ты ныне,  
А вершина на тебе.  
Вечность — краткое мгновенье.  
Власть — падающая звезда.  
Где правитель, где правленье,  
Где именье, где вода?  
Знаю, жалостью моею  
Ты себя не усладишь.  
Я ж за то тебя жалею,  
Что ты Папа, а сидишь.  
Если б имени такого  
За тобою я не знал,  
Я сказал бы про другого:  
Что же!.. был и перестал.  
Мало ль кто кого сажает  
С незапамятных времен,  
Даже грек не вспоминает  
Тучу греческих племен,  
Кандалакис — Пангалоса,  
Кундуритис — Кеорели,  
Папандопуло — Миноса,  
Пенелопос — Маразли.

Кто ваш Брут и кто ваш Кассий,  
Все в тумане, все в дыму!..  
Но в хаосе катавасий,  
Сам не знаю почему,  
Папа, Папа-Анастасий  
Близок сердцу моему!..

## П

### ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛЬМ

Парижские адвокаты ходатайствуют  
об исключении Садуля из сословия

Среди звенящих сочетаний  
Еще подобное найду ль?!  
В нем легкой рифмы обаянье,  
Он сам прелестное создание  
И называется Садуль!..  
Садуль!.. Как много в звуке этом  
Для сердца русского слилось!..  
Как не почтить его приветом,  
Как не приветствовать куплетом  
За это русское авось?!  
«Авось» не скажешь по-французски,  
«Авось» нельзя перевести...  
Но разве это не по-русски:  
Веди, сажай меня в кутузки,  
Авось удастся и уйти!..  
Ушел! и стал ситуаеом  
И поворачивает руль.  
Почто ж в служении смиренном  
Своим коллегам дерзновенным  
Так не понравился Садуль?!  
О пчел встревожившийся улей,  
Ты за границей жалишь злей  
И не щадишь своих Садулей,  
Как мы заезжих Садулей!..

1926

### ВЕСЕННЕЕ БЕЗУМИЕ

Хорошо, что весна  
Не бывает бедняцкой.  
Хорошо, что весна  
Не бывает батрацкой.  
Хорошо, что весна  
Никакой не бывает.

Но зато хорошо,  
Что весна наступает.  
Прилетают грачи —  
И дуреют поэты.  
Золотятся лучи  
И другие предметы.  
Вот, на ваших глазах  
Все становятся пьяны!  
В Елисейских полях  
Зашумели фонтаны,  
Истомились зимой,  
Навсегда отошедшей,  
Бьют веселой струей,  
Бьют струей сумасшедшей  
Прямо в солнечный диск,  
Несравненный в Париже!  
Ну, а если не в диск,  
То немножечко ниже...  
Опьянев, я иду,  
Неприкаянный бражник,  
Убежден, что найду  
Знаменитый бумажник,  
Что окажется в нем  
Миллион или вроде...  
Сосчитаю потом,  
Не спеша, на свободе!  
И танцует земля  
У меня под ногами,  
Елисей и поля  
Перепутались сами,  
Заблудился я в них  
И, вниманье рассеяв,  
Не найду никаких  
Я таких Елисеев...  
Эй, шоферы, такси,  
Все на свете моторы!..  
Отвезите в Пасси  
Человека, который...  
Почерпал от земли  
Мощь старинной былины!  
И шоферы везли,  
Так, что лопались шины.  
Привезли. Выхожу.  
Так и тянет к природе.  
Но на счетчик гляжу:  
Миллион или вроде...  
Ах, зачем так остро  
Я мечте предавался,



Ах, зачем не в метро  
Я домой возвращался,  
И себя опьянял  
Идеалом плебейским,  
И зачем я гулял  
По полям Елисейским?!

1926

#### «МОРАЛИТЭ»

Третьего дня в парижском зоологическом саду удав-самка проглотила удава-самца.

*Из газетной хроники*

Какое падение нравов,  
Какое зияние дна!..  
Он был из породы удавов,  
И той же породы — она.  
Случалось, что женского жала  
Она не умела сдержать,  
Но в общем его обожала,  
Как может змея обожать.  
На них с любопытством глазели  
Прохожие толпы людей,  
Они только тихо шипели,  
Свернувшись в клетке своей.  
Быть может, они вспоминали  
Преданья седой старины,  
Какие-то райские дали  
Среди неземной тишины,  
И день, когда голая Ева  
К прабабушке их подошла,  
И та — заповедного древа  
Ей плод запрещенный дала,  
И Ева, вкушая отраву,  
Постигла и мелочь и суть...—  
Кому уж кому, а удаву  
Есть молодость чем помянуть!  
Вдали от политики пошлой,  
Вдали от мирской суеты,  
Жива только памятью прошлой  
Устало дразнящей мечты,  
Они проводили досуги.  
Во сне и в еде и питье,  
Как многие в жизни супруги,  
Как многие в жизни рантье.

Тем боле загадочен случай,  
Трагический этот конец,  
Который тревогою жгучей  
Наполнит немало сердец.  
Затем ли, что очень любила,  
Иль кто ее знает, зачем,—  
Супруга-удав проглотила  
Супруга-удава совсем!..  
И жертва боролась устало,  
Потом перестала, увы.  
Она же супруга глотала,  
Как спаржу глотаете вы.  
Потом от еды осовела  
И думала что-то свое.  
— Мне кажется, я овдовела,—  
Глаза говорили ее.  
...Семейные драмы не редки,  
В Париже их даже не счесть,  
Но просто пойти на обедки  
И дать себя заживо съесть,  
Погибнуть без всякой причины,  
Исчезнуть в какой-нибудь час,—  
Меня беззащитность мужчины  
Приводит в уныние, да-с!!!  
Начальник пробирной палатки  
Недаром советовал: бди!..  
Разгадка сей краткой загадки:  
Не грейте змею на груди!..  
Об истине сей забывают,  
Хотя это грех забывать.  
Уж если удавы страдают,  
То что ж не-уадам сказать?!

1926

## ВАЛЬС ГИШПОПОТАМА

Я люблю, когда зацветают березы...

*Н. Е. Марков 11-ой*

Раннее утро. Березоньки. Пташечки.  
Солнышко. Реченька. Запах цветов.  
Булочки. Пышечки. Блюдечки. Чашечки.  
Сливки от собственных курских коров.  
Зернышки сыплет дородная птичница.  
Ржанье жеребчиков. Песиков лай.  
Уточки. Курочки. Яйца. Яичница.

Душечка, душечка!.. Не вспоминай!  
Ты же у нас политический деятель,  
Ты же отечеству вместо отца,  
Ты же начала разумного сеятель,  
Что же ты сеять начал с конца?!  
Видишь, как горько рыдает купечество.  
Даже дворянство намокло от слез.  
Ты бы, хотя бы для блага отечества,  
Мог отказаться от этих берез.  
Ты ведь мужчина огромных способностей,  
Что бы сказать подходящую речь?!  
Надо ль касаться древесных подробностей,  
Просто бы мыслью по дереву потечь!..  
Ждут от тебя политической хартии,  
Грозного слова и неких зеркал,  
Вместно ль, чтоб лидер влиятельной партии  
Этак на лире рукою бряцал?!  
Правда, в натуре твоей поэтической  
Есть соловьиная, курская трель.  
Все-таки Высший Совет Монархический —  
Это не стадо! Почто же свирель?!  
Сей инструмент, недоступный влиянию.  
И говорю я тебе, не смеясь:  
Если ты кит, отсекай океанию!  
Кит в сковородке — не кит, а карась.  
Сфинкс на верху пирамиды покоится.  
Можно ль поставить его на камин?!  
Кто же сравниться с тобой удостоится,  
Если ты все-таки только один?  
Сфинксом, кентавром, китом и мандрилою  
Будь для сподвижников малых твоих.  
Встань и обрушья с неслыханной силою  
Всей твоей массой веществ жировых!  
Выйди, как лев, на средину экватора,  
Царственной лапой Сахару возрой!  
Требуй, чтоб дали тебе гладиатора,  
Помни, что ты — это Марков Второй!  
Бремя тяжелое — бремя известности,  
Время настало ее возродить,  
Вспомни бывшее и стань на окрестности,  
Панику стань на Париж наводить!..  
Плюнь на березоньки!.. Криком выкрикивай,  
Так, чтобы начали стекла дрожать!..  
Пусть этот бедный француз мажестиковый  
Знает, как залы внаем отдавать...

## КАК ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

Яша спрашивал поэта:  
Где вы думаете это  
Наступающее лето  
В смысле лета провести?  
Яша, Яша! В ваши лета  
Меж пятью частями света  
Можно часть себе найти!  
Что вам нужно, мой мечтатель?  
Пару брюк, брюкодержатель  
И плохие папиросы,  
Папиросы «Марилан».  
Вот ответы на вопросы,  
Даже повесть и роман!  
Рано утром вы встаете,  
И идете... И идете  
Три-четыре километра  
В направлении на юг.  
Там есть лес, и есть опушка.  
За опушкой деревушка.  
Шум травы и шумы ветра.  
И большой, зеленый луг.  
На лугу коровки ходят.  
Среди них телята бродят.  
Это, Яша, есть натура.  
Это, Яша, есть пейзаж.  
Это то, что человека  
С незапамятного века,  
Будь он даже злой и хмурый,  
Все равно приводит в раж.  
Этой жизнью первобытной  
Взор насытив ненасытный,  
Лягьте прямо на лужайку  
И засните! Добрых снов!  
Если только Бог захочет,  
Летний дождик вас намочит,  
А разбудит вас хозяйка  
Вышесказанных коров.  
Не ищите больших лавров.  
Чтут крестьянки бакалавров,  
А особенно бездомных  
И мечтателей, как вы.  
Значит, вам уже удача:  
Есть и дачница, и дача,  
Без свидетелей нескромных,  
Без любителей молвы.

Все зависит от безделиц.  
Глядь, и стал землевладелец.  
И не Яков, и не Яша,  
А скажите, просто Жак.  
Если б Яша был поэтом,  
Если б ездил к морю летом,  
Он, конечно, воля ваша,  
Не устроился бы так.  
Саши, Яши, Коли, Пети,  
Одним словом, наши дети!  
Не мечтайте о Трувиле,  
Не витайте в царстве грез.  
Но ищите жизни новой  
И не брезгайте коровой,  
Ибо чтоб ни говорили,  
А корова — кельке шоз.

1926

### РОБКОЕ ПОДРАЖАНИЕ

Поэт должен сочинить новые или в крайнем случае сокращать и переделывать старые слова.

*Маяковский. «Как делать стихи»*

Эй, вы!  
Рыдающие рыданты,  
Обезкогтенные тигры,  
По-старому, эмигранты,  
А по-новому, эмигры,  
Попивающие жижи  
Кафе и кафе-натюра,  
Живущие в Париже.  
Близ Эйфелева Тура!  
Бредущие Пассями,  
Торгующие ветром  
Или чужими таксями  
С чужим таксометром.  
В течение суток  
Не кормящие деток,  
Не имеющие обуток,  
Не имеющие одеток,  
Мечтающие о чуде,  
В расчет на как-то,  
Вообще, голые люди  
Голого факта!  
Вы, которые в Европу

Через заставы патруля  
Врезались, как в антилопу —  
Охотничья пуля.  
Вы, которые живете,  
Взыскаю о граде,  
Без американской тети,  
Без американского дяди,  
Не сеете и не жнете —  
И... не бываете сыты,  
И все-таки живете,  
Ибо не убиты!..  
Вы, которые тверже,  
Или даже твердее,  
Чем все Ллойд Джорджи  
В своей идее,  
Вы, которые молчите  
Молчаньем зловещим,  
Вы, которые горчите  
Бельмом, но вещим,  
Символом поколений,  
Не искавших лазеек,  
И ждущих воспалений  
Коммунистических ячеек!..  
На этом основанье  
Продолжим наши игры,  
Мы, которых названье —  
Эмигранты, или эмигры,  
Мы, которых улещали  
На разные стили,  
Мы, которых сокращали  
И не сократили!..

1926

### ВОЛЬНОЕ ПОДРАЖАНИЕ

Ничего не ответило солнце,  
Но душа услышала: гори!

Я спросил у любимца Фортуны,  
Как подняться в такую же высь?  
Ничего не ответил любимец,  
Но душа услышала: «Нагнись!»  
Я спросил одного рецензента,  
Как прославиться в тусклые дни?  
Ничего рецензент не ответил,  
Но душа услышала: «Брани!»  
Я политика спрашивал робко,

Как минуют в политике грязь?  
Ничего не ответил политик,  
Но душа услышала: «Не лажь!»  
Я спросил у профессора Зета,  
Как вернуть нам потерянный рай?  
Ничего не ответил профессор,  
Но душа услышала: «Вещай!»  
Я издателя спрашивал тихо,  
Что приводит издателя в раж?  
Ничего не ответил издатель,  
Но душа услышала: «Тираж!»  
Я философа спрашивал скромно:  
Как от пошлости скрыться и где?  
Ничего не ответил философ,  
Но душа услышала: «Нигде!»  
И спросил я великого снова:  
А спасет нас от глупости кто?  
Ничего не ответил великий,  
Но душа услышала: «Никто!»  
Я спросил одного дипломата,  
Что являет спасения ось?  
Ничего дипломат не ответил,  
Но душа услышала: «Авось!»  
Я спросил зарубежного дядю,  
Чем он действовать будет потом?  
Ничего не ответил мне дядя,  
Но душа услышала: «Кнудом!»  
И тогда я спросил патриота,  
Что есть истинной власти залог?  
Патриот ничего не ответил,  
Но душа услышала: «Сапог!»  
И спросил я их, каждого снова,  
Научились чему-нибудь вы?  
И опять ни один не ответил,  
Но душа услышала: «Увы!»  
И спросил я простого детину,  
Как он смотрит на всех забияк?  
Мне, признаться, и он не ответил,  
Но душа услышала: «Никак!»  
Никого я не спрашивал больше,  
Любопытство насытить спеша,  
Ибо если ее переполнить,  
Не удержится в теле душа...

1926

Ворон каркнул:  
Nevermore...*Эдгар По*

Как-то утром неприветным  
Над листом склоняясь газетным,  
Я романом уголовным  
Свой усталый тешил взор.  
Вдруг, неведомо откуда,  
Предо мною — перьев груды,  
И из перьев — безусловно! —  
Крик вороний: Nevermore!..  
Как влетел он, гость случайный,  
Для меня осталось тайной,  
Но одно я помню ясно:  
На меня глядел в упор,  
Сев на бюст Наполеона,  
Черный ворон иль ворона,  
И твердил, почти бесстрастно,  
По-английски Nevermore!..  
Сто чертей и вся Антанга!  
Утром, в доме эмигранта,  
На девятый год изгнания  
И такой заумный вздор?!.  
Сгиньте, мистер! Что вам надо?  
Знаю, есть про вас баллада,  
Ей давно уж отдал дань я,  
Ну же, мистер, до свиданья?  
Ворон крикнул: Nevermore!..  
Ах, вы так! — сказал я грозно, —  
Ну, тогда начнем серьезный  
И для первого знакомства  
Самый светский разговор.  
Но не думайте при этом,  
Что любым своим ответом  
Вы обяжете потомство!..  
Ворон крикнул: Nevermore!..  
Как, скажите без сентенций,  
Франко-русских конференций  
Будет течь поток певучий,  
Так, как тек он до сих пор?  
Иль над мирным этим лоном —  
Ливнем, золотом червонным  
Из Москвы прольются тучи?  
Ворон гаркнул: Nevermore!..  
Ну тогда, скажите, вещей,  
Безответственные вещи



Долго ль в стиле манифеста  
Будут злой будить задор?  
Или есть надежда все же,  
Что глупец истратит дрожжи  
И осядет сам, как тесто?  
Ворон каркнул: Nevermore!..  
Вы убийственная птица.  
Отвечайте: за граница  
Долго ль будет за алмазы  
Принимать советский сор?  
Или, опытом богаты,  
И купцы, и дипломаты  
Уничтожат яд заразы?  
Ворон каркнул: Nevermore!..  
И, в припадке злобы тяжкой,  
Я пустил в мерзавца чашкой,  
Но попал в Наполеона,  
Гипс рассыпав на ковер...  
Чу! Хозяйка... Я бледнею.  
Откуплюсь ли перед нею?!  
И, как прежде, монотонно  
Ворон каркнул: Nevermore!..

1926

#### РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВЕЛИКОМ

Он был титулярный советник,  
Она — генеральская дочь,  
Он страстно в любви ей признался,  
Она ж прогнала его прочь...

*П. Вейнберг*

Ах, где это милое время,  
Когда он советником был,  
И тайно читал Монте-Кристо,  
И явно страдал и любил!..  
Носил он со штрипками брючки  
И веничком чистил сюртук.  
А сердце его изнывало  
От самых убийственных мук.  
Любовь — это страшная сила,  
Она не взирает на чин —  
И сколько ж от ней погибает  
Вполне знаменитых мужчин!..  
И где невозвратное время,  
Когда, в кружевах и шелках,  
Она танцевала мазурку

На конногвардейских балах...  
На ленточке веер качался,  
А шпоры малиновый звон  
Рассказывал барышне этой,  
Что в барышню каждый влюблен.  
Когда ж она в сани садилась  
И паром дымился рысак,  
Напрасно отчаянным взглядом  
Искал ее взгляда бедняк.  
Когда ж в петербургском тумане  
Божественный лик исчезал,  
Глядел он на белые штрипки  
И ногти свои загрызал.  
Потом в исходящих бумагах  
Он важные путал дела.  
Она ж в это самое время  
В роскошных альковах спала.  
Но грянули черные вихри  
И так закружили во мгле,  
Что даже и табель о рангах  
Исчезла на русской земле.  
Безумные годы промчались  
И, вот, как бывает всегда,  
Она ему — нет! не сказала,  
А вовсе промолвила — да.  
И как-то в парижском предместье,  
Буквально не веря глазам,  
Я вижу: сидят на скамейке  
Мамаша, детишки и сам.  
Ах, время, проклятое время!..  
На склоне бальзаковских лет  
Кто мог бы в дородной гусыне  
Узнать петербургский портрет?..  
А он, этот труженик честный,  
Что грустно поник головой,—  
Ужель титулярный советник,  
Женатый, семейный, живой?!  
Она что-то штопает, вяжет,  
А он бутерброды жует.  
А детки в песочек играют.  
А солнышко греет и жжет.  
Гляжу я на детские игры,  
И думаю: да или нет?  
Могли ль эти дети родиться,  
И в прежнее время на свет?!  
Далек я от мысли, конечно,  
На свергнутый строй клеветать,  
Что будто при старом режиме

Нельзя было вовсе рожать...  
Но чтоб титулярный папаша  
Имел генеральских детей!..—  
Да этого даже и Марков  
Не скажет в гордыне своей.

1926

## ПРИПАДОЧНЫЕ

Сов. власть учредила клинику для изучения психологии растратчиков.

Какое сумасшедшее влечение  
К тому, что называют тарарам!  
Зачем такая пышность облаченья  
И склонность к ослепительным словам?!  
Казалось бы: ну, да. Проворовались.  
На то ведь он и вор, чтоб воровать.  
Так, нет... Помилуйте... Психический анализ!  
Исследовать!.. В спирту заспиртовать!..  
Рентгеном осветить ему печенку,  
Зарисовать всех внутренностей вид!  
Как мог украсть советскую тышчонку  
Ответственный советский индивид?!  
Как мог он жить, дышать под небесами,  
Как мог глядеть на лучезарный свет!  
Да вы же проповедовали сами,  
Что собственности не было и нет!..  
Подумаешь, какие недотроги,  
Какие херувимы во плоти,  
Философы Владимирской дороги,  
Великого казенного пути!..  
Не вы ли непрожеванным Прудоном  
Наштурхали мужицкую кишку,  
Откуда всероссийским самогоном  
Прудоны ваши бросились в башку?!  
Не ваш ли чудотворствовавший Будда,  
Кривой, эпилептический Тарзан  
Творил почти неслыханное чудо  
От имени рабочих и крестьян?  
Не он ли над толпою разверзлся,  
Как древле огнедышащая хлябь,  
И добрым своим смехом заливался!  
Товарищи! Награбленное грабь...  
Не вы ли взбунтовавшиеся массы,  
Одетые в матросские штаны,  
Вели на несгораемые кассы

Чрез пламя догорающей страны?!  
Так в чем же дело? словно по бумажке,  
Исполнены заветы Ильича.  
Почто ж взываете к убогому Семашке?  
Зачем тревожите советского врача?  
Какие вам угодны результаты?  
Чего слепцы восторженные ждут?  
Возьмут растратчики анализы растраты.  
Взболтают их и просто разопьют...  
О, мудрость тонконогих политкомов,  
О, вечная яичница в мозгах!  
Мы понимаем: Сталин — не Обломов,  
И у него действительно размах!  
Мы понимаем, что в грузинском теле —  
Грузинский дух и лава — пополам.  
И все же мы постигнуть не сумели:  
Зачем такой ужасный тарарам?!

1926

#### «СИЛЬНЫМ И ДОСТОЙНЫМ»

Сокрушим железной волей сопротивление  
наемников жидовской власти!

*«Русская Правда»*

Нет! Восемь лет, по-видимому, мало.  
Ничто не изменилось под Луной.  
Все та же челюсть злобного оскала,  
Обрызганного бешеной слюной.  
Напрасно прикрываете плащами  
Косую сажень будущих Малют!  
Все теми же прокиснувшими щами  
Прокатные доспехи отдают.  
И видно по движениям бесстыжим:  
Ничто не изменилось и никак.  
Шатались по Европам, по Парижам,  
А все-таки сморкаетесь в кулак.  
Должно быть, это древнее начало!..  
Как бармы, соболя и епанча.  
Нет! восемь лет, по-видимому, мало.  
Рычит нутро, как искони рычало,  
От дней Батыевых до полдня Ильича.  
Чтецы и декламаторы под водку,  
Отечественных дел секретари,  
Ужели, отпустив себе бородку,  
Вы верите, что вы богатыри?..  
Ах если б вместо пошлых декламаций

Учились вы по здешним городам  
Системе городских канализаций,  
Которая потребуетя там?!.  
Какую драгоценную услугу  
Могли бы вы России оказать!..  
Но тянет вас на шлем да на кольчугу,  
Чтоб витязей собой изображать...  
Нет! Восемь лет, по-видимому, мало.  
Все те же песни, те же тенора.  
Старается охрипший запевала,  
Которому на пенсию пора.  
Какая потрясающая скука  
Наступит в заключение всего!  
На сцене будет прежняя Вампука,  
В отчаявшемся сердце — ничего!  
Толпились по далеким заграницам,  
Перевидали сказочную тьму,  
Шагали по блистательным столицам  
И все не научились ничему.  
Какие-то уездные кликуши  
Стараются, кричат до хрипоты.  
И мертвые ответственуют им души,  
Дошедшие до сказанной черты.  
Нет! Восемь лет, по-видимому, мало.  
Расшиблен лоб. Но с шишкою на лбу  
Не повторить ли с самого начала  
Всех этих лет веселую судьбу?!  
И как же с меланхолией во взоре  
Хотя бы факт известный не проклясть,  
Что Волга все впадает в то же море,  
А море в Волгу не желает впасть!

1926

### ЭМИГРАНТСКАЯ ЖАЛОБНАЯ

Все пташки, канерейки  
Так жалобно поют,  
А нансеновский паспорт  
Бесплатно не дают.  
Ходил опять сниматься,  
Уже в который раз,  
И нипочем не в профиль,  
А именно анфас.  
Гляжу на свой портретик  
И думаю, зловец:

Да это же не личность,  
А каторжная вещь...  
Когда ж еще поставят  
Казенную печать,  
Наверное, придется  
За кражу отвечать!..  
И если б ночью встретил  
Себя ж я самого,  
Я б выстрелил в мерзавца,  
И больше ничего.  
Сказать, что тут фотограф  
Огулом виноват,  
Так он же мне не дядя,  
И даже и не сват.  
А, в общем, как посмотришь,  
Поймешь в один момент,  
Что ты простой убийца,  
Хотя интеллигент...  
Приходит доктор Нансен  
И говорит: «Пардон!»  
А сам глазами смотрит,  
Глядит со всех сторон.  
Потом намажет клеем  
С обратной стороны,  
Не обратив вниманья  
На возраст и чины.  
И пташки, канарейки  
Так жалобно поют,  
А их в гуммиарабик  
Безжалостно кладут.  
Напрасно предаваться  
Бессмысленным мечтам,  
И очень грустно липнуть  
К постылым паспортам,  
Возьмут твои анфасы,  
Заклеют их сполна,  
Разлука, ты, разлука,  
Чужая сторона.  
И как же канарейкам,  
Всем пташкам не грустить,  
Когда за это надо,  
Вот, именно, платить.

1926

1

Люблю давно забытые романсы,  
 Под звон гитар настойчивый куплет,  
 Любовный бред и жалобные стансы,  
 Балкон, и плащ, и розы, и стилет...  
 Ах, чья рука по струнам не водила,  
 И кто не пел до розовой зари:  
 «Не говори, что молодость сгубила!»  
 А, впрочем... если хочешь, говори.

2

Когда слежу я Маркова Второго  
 Все те же несравненные дела,  
 Когда опять меж призраков былого  
 Идет игра в орлянку и Орла,  
 Мне грезится: Аскольдова могила.  
 Трактиры. Вывески. Мигают фонари...  
 «Не говори, что молодость сгубила!»  
 А, впрочем, если хочешь... говори.

3

Когда я слышу смелого Бадьяна,  
 Я думаю: вот это человек!  
 Сапожник по профессии. Но, странно,—  
 По стилю настоящий дровосек.  
 И хочется так ласково, так мило  
 Сказать ему: Бадьянчикек, не ври,  
 «Не говори, что молодость сгубила»...  
 А, впрочем... если хочешь, говори!

4

Когда, сменив и пардессю, и вехи,  
 Известный и маститый Мандельштам  
 Мечтает починить свои прорехи,  
 Я тоже... предаюсь своим мечтам.  
 Ораторство — губительная сила.  
 О, как кричал он: Бесы!.. Дикари!  
 «Не говори, что *молодость* сгубила»,  
 А, впрочем... если хочешь, говори.

Когда брожу по рощам евразийским  
 И вижу, как у взрослых на виду  
 Карсавин лепит с видом олимпийским  
 Из кизяка татарскую орду,  
 Я понимаю: нянька уронила,  
 И тут уж не поможешь, хоть умри!..  
 — «Не говори, что молодость сгубила!»...  
 А, впрочем, если хочешь... говори.

...Вот так, живем. Покуда не насупит  
 Старик Харон седеющих бровей,  
 И скоро уж, действительно, наступит  
 Не частный, а всеобщий юбилей.  
 Что ж, эмигрант!.. До лет Мафусаила  
 Когда дойдешь, то тихо повтори:  
 «Не говори, что молодость сгубила?»...  
 А впрочем, если хочешь... говори!

1926

### ВАНЯ, ДИТЯ ЭМИГРАНТСКОЕ

Спи, мой отпрыск! Спи, урод!  
 Скоро будет Новый год,  
 Он кончается на семь,  
 Значит, счастье будет всем.  
 Почему да почему?  
 Так уж велено ему!  
 А чрез двести—триста лет,  
 Как сказал один поэт,  
 Еще легче будет жить,  
 Значит, нечего тужить!  
 Если ж клоп не будет спать,  
 Если будет приставать,  
 Почему, да отчего,  
 Так не будет ничего.  
 Спи покуда—подрастешь,  
 Все решительно поймешь.  
 А не то придет ажан:  
 «Где шоферский мальчик Жан,  
 А подать его сюда!»  
 Что поделаешь тогда?!  
 А потом придет отец,



Скажет: «Где мой молодец?  
Почему пуста кровать?»  
Что я стану отвечать?!  
... Ваня слушал и сопел,  
А потом не утерпел,  
Стал во весь свой Ванин рост  
И бесхитростен, и прост,  
Вкусен, сдобен, как бриош,  
Отчеканил маме: врешь!..  
«У ажанов есть семья,  
Для чего ж ажану я,  
Разве он такой злодей,  
Чтоб хватать чужих детей?..  
Если ж он кладет их спать,  
Как он может охранять  
Все квартиры и дома,  
Как учила ты сама?  
Если ж ты такая мать,  
Чтоб ребенков отдавать,  
Так зачем же их родить,  
Огород лишь городить?!»  
И, сказав свой первый спич,  
Вкусный, сдобный, как кулич,  
На подушки соскользнул,  
Повертелся и уснул...  
Что испытывала мать,  
Сами можете понять,  
А не можете, увы!  
Холостые, значит, вы...

1926

## НАТЮРМОРТ

«Духовной жаждою томим»,  
Пошел я в гости. Анна Львовна  
Не то, что полный серафим,  
Но тихий ангел, безусловно!  
Законный Анны Львовны муж  
Иван Андреевич Федотов,  
Широкоплеч, осанист, дюж,  
Притом любитель анекдотов.  
Живут, как все. Шоффаж сентраль  
Буфет, как водится, в рассрочку.  
И напрокат берут рояль,  
Чтоб приобщить к искусству дочку.  
А дочке ровно десять лет.

Коленки голы. Плечи узки.  
По-русски знает — да и нет,  
А остальное — по-французски.  
Вошел. Обрадовались. — Ах!  
Сплошное — ах, и скалят зубы.  
А Анна Львовна впопыхах  
Сейчас же стала красить губы.  
Вопрос — ответ. Ответ — вопрос.  
И те, и эти сплошь избиты.  
Но вот, уже напудрен нос,  
И на столе лежат бисквиты.  
Она вздыхает бывший бюст, —  
И он мгновенно исчезает.  
Из кухни слышен дальний хруст,  
Хозяин ужин доедает.  
Доел и вышел. Полон взор  
Воспоминанья о котлетке.  
И вот, поплелся разговор,  
Как иерей на бисиклетке.  
— Петров с Петровой разошлись,  
А Пупсик с Тупсиком сошлись,  
Но разойдутся скоро снова...  
— Не может быть? — Даю вам слово,  
Мой муж видал ее вчера  
С каким-то бритым и брюнетом!..  
— Но ведь она уже стара...  
— Стара, но опытна при этом...  
И, словно в сладком забытьи,  
Хозяйка пальцем погрозила  
«И жало мудрая змея»  
В подругу лучшую вонзила.  
Затем меня в работу взял  
Иван Андреич, не жалея,  
И анекдоты рассказал  
Про армянина и еврея.  
«И горних ангелов полет»  
Я ощутил душой и телом...  
Но вот уже и полночь бьет,  
Как быстро время пролетело!..  
— Куда вы? Что вы?.. Раньше трех  
Мы не ложимся... до свиданья!..  
... За дверью слышен сложный вздох,  
Вздох облегченья и зеванья.  
И вышел с чувством я двойным,  
Живот подтягивая ту же.  
«Духовной жаждою томим»  
И мучим голодом к тому же...

## ЭМИГРАНТСКИЕ ЧАСТУШКИ

1

Пароход плывет по Сене,  
Хлещет пена за кормой.  
...Нас миленки в воскресенье  
Угощали синемой.

2

Сини в поле василечки,  
Прямо жаль по им ходить.  
...Кабы не было б рассрочки,  
Так не стоило бы жить!

3

Я с рождения румяна,  
Ни к чему мне ихний руж.  
...У консьержки два ажана,  
У меня же один муж.

4

Мы живем, не жнем — не сеем,  
Песней душу веселя.  
...Только ходим к Елисеям,  
В Елисейские поля.

5

Мой миленок ездит ночью,  
Говорит,— шофер ночной.  
...Это грустно, между прочим,  
Быть шоферскою женой!..

6

Если барин при цепочке,  
Значит, барин етот — франт.  
Если ж барин без цепочки,  
Значит, барин — эмигрант.

7

Завела в метре я шашни,  
С Лувра едучи сюда,  
...А у Эйфелевой башни  
Разошлась с ним навсегда.

8

Вся природа замерзает,  
Только мне ее не жаль.  
...Ваня-сокол согревает  
За шоффаж, и за сантраль.

9

Хорошо небесным птицам  
На воздушных, в вышине.  
...Я ж по этим заграницам  
Нагулялася вполне.

10

Этот факт, когда напьется  
Наш французик из Бордо,  
Так сейчас обратно льется  
Из французика бордо.

11

Через блюдце слезы льются,  
Не могу я чаю пить.  
...Нынче барыни стригутся,  
А потом их будут брить.

12

На горе стоит аптека,  
И пускай себе стоит.  
...Ах, зачем у человека  
Ежедневный аппетит?..

1927

## ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ И КОШАЧЬЕ

Ветер. Слякоть. Норд и Ост.  
Барабанит дождь в окошко.  
Лижет собственный свой хвост  
Несознательная кошка.  
Облизала и глядит  
На работу с умилением.  
Хорошо ей жить в кредит  
Под центральным отопленьем,  
Без убийственных забот,  
Живы ль резвые котята,  
Жив ли тот сибирский кот,  
Что прельстил ее когда-то.  
Вероятно, вся семья  
Обрела свою обитель,  
Не единственный же я  
На земле благодетель...  
— Правда, кошка, если б ты  
Даром речи обладала,  
То наверное вот так,  
Так бы точно рассуждала?..  
Впрочем, кошке... все равно,  
Пребывай в покое праздном,  
Ведь недаром нам дано  
Думать разное и о разном.  
Я, к примеру говоря,  
Склонен думать о высоком.  
Вот на лист календаря  
Я гляжу печальным оком...  
А печалюсь я не зря.  
В половине января,  
Словно послан тайным роком,  
Кто-то дернет за звонок  
И войдет чрез все преграды.  
А входящий это Рок,  
Рок, не знающий пощады,  
Рок войдет и заберет...  
За три месяца вперед,  
Потому что он есть тот,  
Кто не ведает пощады.  
Дуй же, Норд! Свиристуй, Ост!  
Угрожай земному миру!..  
— Ты вот только лижешь хвост  
И не платишь за квартиру,  
И, как некий троглодит,  
Чуждый всяким треволнениям,

Ты живешь себе в кредит  
Под центральным отоплением?!  
...И от тягостных проблем  
Раздражаясь понемножку,  
Я пустил не помню чем,  
Но тяжелым чем-то в кошку...  
Взгляд, желтее янтаря,  
Был исполненным упрека:  
— Ну, чего дерешься зря,  
А, потом, еще до срока?!

1927

## РОМАН ПИШУЩИХ МАШИНОК

Я не знаю, правда это,  
Явь ли это или сон?..  
Мы стучали на машинках  
Ундервуд и Ремингтон.  
Он стучал на Ундервуде,  
Я стучала на другой.  
Он имел свою работу,  
Я отдел имела свой.  
Мы молчали и любили.  
Мы любили... этот труд.  
Мы молчали и стучали,  
Ремингтон и Ундервуд.  
А когда двенадцать било,  
Сердце билось в унисон,  
И стучать переставали  
Ундервуд и Ремингтон.  
Он молчал и улыбался,  
Улыбалась я ему.  
И краснели, и бледнели,  
Неизвестно почему..  
А в двенадцать с половиной,  
Что-то в душах затая,  
Мы садились и вздыхали —  
Первый он, вторая я.  
И опять к бумажным грудам  
Возвращались — я и он,  
Он, склоняясь над Ундервудом,  
Я, уткнувшись в Ремингтон.  
Так могло бы продолжаться  
Вплоть до Страшного суда.  
Если б наш столоничальник

Не сказал однажды: да!..  
Да!..—сказал он— да! я вижу,  
Этот дьявольский сосуд:  
Шрифт машинки Ремингтона  
Переходит в Ундервуд!!!  
Допустимо ли однако  
Это, скажем, рококо  
В документах нашей фирмы,  
Фирмы «Джонсон, Смит и Ко»?!  
Нет! никак недопустимо!..—  
Мы сказали в унисон,  
Проклиная две системы  
Ундервуд и Ремингтон.  
И немедленно над нами  
Совершен и Страшный суд:  
Он посажен к Ремингтону,  
Мне же дан был Ундервуд.  
После этой пересадки  
Я молчала, он молчал.  
Я старалась и стучала,  
Он старался и стучал.  
И когда двенадцать било,  
Под часов старинный звон  
— Ундервуд?— спросил он кратко,  
Я сказала: Ремингтон..  
И вздохнул он облегченно,  
И вздохнула я легко,  
Как вздыхают только клерки  
Фирмы «Джонсон, Смит и Ко».  
А о том, что было после  
Меж бумажных этих груд,  
Знают только две машинки—  
Ремингтон и Ундервуд.

1927

## ГАРМОНИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК

Там, где море голубое  
В берег плещется бесцельно,  
Где оно, само собою,  
Безгранично, беспредельно,  
Где в коварном Геллеспонте  
Размножаются дельфины,  
Где на синем горизонте  
Выделяются маслины

И где лавры поселили  
От веков и от печали,  
Двое спутников сидели  
И убийственно молчали.  
Был один седой учитель,  
Небожителей посредник,  
Всякой мудрости ревнитель,  
Всех оракулов наследник.  
Разогнуть не в силах чресел,  
Он взирал угасшим взглядом  
На того, кто юн и весел,  
На песке валялся рядом.  
Тот, другой, был златокудрый  
И, как море, синеокий,  
Не ученый и не мудрый,  
Но красивый и высокий,  
Получивший в дар от Феба  
Песен дивное искусство,  
Прославлявший только небо,  
Воспевавший только чувство.  
Промолчав часа четыре,  
Повели беседу оба  
О бессмертии, о мире  
И другом, тому подобном.  
— В чем же дело? В чем? Скажи мне!..—  
Вопрошал певец пытливо,  
Растворяя душу в гимне  
Многопенного прилива.  
— Дело в разуме природы,  
В постижении загадок.  
Будут некогда народы  
Чтить божественный порядок.  
Человек, венец созданья,  
Покорит моря и сушу  
И избавит от страданья  
Гармоническую душу!  
— Нет! — певец воскликнул страстно,—  
Ты не прав, старик почтенный,  
Только песне сладкогласной  
Управлять дано вселенной!  
Разве нас от горькой муки  
Избавляет теорема?  
Разве могут дать науки  
То, что нам дает поэма?!  
И, внимая волн шипенью,  
Смотрят оба в глубь столетий.  
А за ними легкой тенью  
На скале таится третий...



Этот третий, он не книжник,  
Не поэт, а просто нищий.  
Он искал напрасно пищи,  
Он нашел простой булыжник,  
Он швырнул его с размаху  
И затем во имя Феба  
Снял с философа рубаху,  
У певца ломоть взял хлеба,  
И, любуясь прибоем,  
Стал жевать случайный ужин,  
Тот, который тем обоим  
Был теперь уже не нужен.  
После ж долгого жеванья  
Он в прибой швырнул их туши  
И избавил от страданья  
Гармонические души.  
И заснул он сном счастливым,  
Совершив сей труд полезный,  
И во сне его приливом  
Унесло в морские бездны.  
Море ж пенилось угрюмо,  
Расстилалось без предела  
И шумело вечным шумом:  
В чем же дело, в чем же дело?..

1927

### СОН КЛЕРКА

Хорошо уехать в Чили  
Или, скажем, в Пернамбуко...  
И заняться обработкой  
Знаменитого бамбука!

Трижды девственную рощу  
Взять в бессрочную аренду,  
Богатеть ежеминутно  
И творить свою легенду.

А потом однажды утром,  
Зарядив слегка двустволку,  
Выйти в рощу и внезапно  
Встретить юную креолку.

Опустить пред ней оружие,  
Этот довод трижды скользкий,—

И сказать ей все, что нужно,  
Но, конечно, по-креольски.

Объяснить ей откровенно  
Про Фоли и про Бержеры,  
Вообще уж привести ей  
Подходящие примеры.

Рассказать ей, что Парижем  
Правит Идол, правит Молох,  
И что Молох помешался  
На креолках и креолах!..

Если ж девушка упрется,  
То немедля, для острастки,  
Выбрать веточку бамбука  
На бамбуковом участке

И сказать ей страшным басом:  
— Жозефина, не ломайся,  
Уложи свои бананы  
И сейчас же собирайся...

А потом с попутным ветром,  
Погулявши в Новом Свете,  
Плыть по волнам океанским  
На разбойничьем корвете

И с безумным романтизмом,  
Подкупив матросов банду,  
Ночью вынести на берег  
Дорогую контрабанду.

А затем. За неимением  
Рынка рабского для сбыта...  
Заявить ей совершенно  
Откровенно и открыто:

«Госпожа моя, креолка,  
Пернамбукская Диана!  
Ты явилась жертвой чтенья  
Авантюрного романа.

Жертвой жажды приключений  
С доброй свадьбой в эпилоге,  
Без особых упражнений  
В психологии и слоге!..

Но в романах есть безумцы,  
Графы, герцоги, бароны,  
И, потом, они герои,  
А не мокрые вороны.

Не безумец и к тому же  
Я не знатный полуночник.  
Я — бухгалтер, даже хуже,  
Я бухгалтера помощник!..

У меня жена и дети —  
Оля, Коля, Ваня, Таня...  
Понимаешь, Жозефина.  
Жозефеня, Жозефания?!»

И когда дитя природы,  
Смуглый жемчуг Пернамбуко,  
Овладеет гибкой тростью  
Из чудесного бамбука

И захочет этой тростью  
В явном гневе замахнуться,  
В эту самую минуту...

Клерку следует проснуться!..

1927

### ТО, ЧЕГО НЕ ЗНАЕТ КОЛЯ

Заказали Коле в школе  
Сочиненье. О весне.  
Трудно в школе. Трудно Коле.  
А еще труднее мне.  
Коля что!.. Возьмет тетрадку  
И, пока его бранят,  
Нарисует по порядку  
Двадцать восемь чертенят,  
Самых гнусных и хвостатых,  
Отвратительных, рогатых,  
С выражением таким,  
Что посмотришь — станет больно,  
И вздохнешь непроизвольно  
Не над ними, а над ним.  
Нет у мальчика святыни,  
Тут весна, а он — чертей!..

Вот извольте на чужбине  
Образовывать детей!  
Ах ты, Коля, погубитель,  
Нигилист своей души,  
Да простит мне твой учитель,  
Слушай, Коля, и пиши:  
«Проблеск неба голубого.  
Сердце верит. Сердце ждет.  
Дымка. Оттепель. Корова  
Через улицу бредет.  
У забора зеленеет  
Бледной зеленью трава.  
Где-то тлеет, где-то прееет  
Прошлогодня листва.  
Запах дегтя, свежих булок...  
Среди площади навоз.  
С полной бочкой переулочек  
Проезжает водовоз.  
Над землею дух угарный,  
Вьются весело грачи.  
Ослепительный пожарный  
Гордо смотрит с каланчи.  
Тучный доктор едет в бричке  
И мотает головой.  
Козыряет по привычке  
На углу городской.  
Сердцем ветрены, но чисты,  
Дух законности поправ,  
На бульваре гимназисты  
Курят в собственный рукав.  
На столбе висит афиша,  
Что проездом через Н.  
Даст концерт какой-то Миша,  
Малолетний, но Шопен.  
А из неба так и льется  
Золотой весенний свет.  
Грач вокруг грачихи вьется.  
Дымно. Нежность. Сердце бьется,  
Придержи, а то порвется...  
Понял, Коля, или нет?»

1927

## ФИНАНСОВОЕ САМООБОЗРЕНИЕ

*(Из записок потерянной личности)*

Не поддаваясь настроениям  
Сладких самообманов,  
Занялся обозрением  
Собственных карманов.  
Вывернув до основания  
Изнанку своего банка,  
Обнаружил колебания  
Единственного франка.  
После всесторонней критики  
Положения финансов  
Решил следовать политике  
Подвижных балансов.  
— Пойти к Петру Мойсевичу,  
Взять у него сотку,  
Отдать ее Ивану Андреичу  
И заткнуть ему глотку!..  
Конечно, такой операцией  
Не продержишься долго,  
Но это будет консолидацией  
Основного долга...  
Став на такую позицию  
И уповая на Бога,  
И с одной денежной единицею  
Можно сделать много.  
Жаль, что лишены эластичности  
Современные законы  
И что отдельные личности  
Не могут выпустить боны.  
Уж я бы Ивану Андреичу,  
А он самый упрямый,  
Насыпал бы, не жалеючи,  
Этих бонов с монограммой...  
Пусть, мол, человек утешается,  
Следя по курсу газеты,  
Сколько ему причитается,  
Если считать на пезеты!..  
...А в общем, я констатирую,  
Что кредиторы — бандиты,  
И поэтому я себе вотирую  
Новые кредиты.  
Иван Андреевич заботливо  
Выслушивает мой вотум  
И спрашивает так отчетливо:

«Вы меня считаете идиотом?»  
Тогда я спешу откланяться  
И сделаться незаметным.  
Но что ж теперь станется  
С предложением сметным?!  
Перевернуты до основания  
И карман, и изнанка,  
О, эти колебания  
Последнего франка!..

1927

### АЛЛЕГРЕТТО

В число профессоров «Школы фашизма»  
записался и В. В. Шульгин.

Ты не пей простого пива,  
А ты пей вино Киянти,  
Фашью Россико эввива,  
Фашью Россико аванти!  
По неведомой причине  
На язык родных «осини»  
Перекладывает ныне  
Базилико Шульгинини,  
Наше гранде монаркиста,  
Манифесто дель фашиста!  
Гавдеамус, что не скисла,  
Наша слава, браво-браво!..  
Ерундиссимо для смысла,  
Но фортиссимо направо!  
Приготовься, мужикато,  
Не раскачиваясь сдуру,  
Сделать легкое скакато  
Ух! и прямо в диктатуру!  
В полной форме и при шпоре  
Будет грозен вроде тучи  
Этот самый диттаторе,  
Этот самый русский дуче.  
Уж как сядет он с разбега  
На затылок твой крестьянский —  
Пропадай моя телега...  
Говоря по-итальянски!  
Станет дучи, станет гнути,  
Разминать тебе все части,  
И покажет тугти-футти,  
Тугти-футти твердой власти!  
Но елико деревянный

Шаток русский Капитолий,  
То, от власти фортепяный,  
Упадет он с антресолей...  
И тогда, о, мужикато,  
Пейзанино бородато,  
Вспомни: есть еще береза,  
Тонкоствольна, грандиоза!  
Сей породю древесной,  
Как гласит о том легенда,  
Надо действовать отвесно,  
Надо действовать крещендо,  
А окончив, молвить: встаньте,  
Встаньте, дуче, и — аванти!..

1927

### ТРИ ДУШИ

Три бедных тени...

*С. Фруг*

Эту дивную легенду  
Сплошь окутывает мрак.  
Что случилось, то случилось,  
А случилось это так.  
Там, где звездные алмазы  
Тонут в бездне голубой,  
Три души предстали сразу  
Пред Верховным Судией.  
Грянул гром, как полагалось,  
Грозный грохот. Дивный гул.  
И из звездного пространства  
Свет пронзительный блеснул.  
И когда они предстали  
Там, в небесной вышине,  
То они затрепетали,  
Что естественно вполне.  
И над первой грянул Голос,  
Предвещающий грозу:  
— Кем была? И с кем боролась?  
И что делала внизу?  
Безупречен и достоин,  
Был ответ отменно тих:  
«Я был витязь, я был воин  
И защитник малых сих.  
Но, от раны умирая,  
Я мечтал, что будет день

И войду я в двери Рая,  
В упоительную сень...»  
И раздался Глас повторный,  
Обращенный ко второй.  
И ответ души покорной  
Был как крик души живой:  
«Мне всегда был чужд и тесен  
Мир земного бытия.  
Я певец, и, кроме песен,  
Ничего не видел я.  
Но, созвучьем очарован,  
Я не клял судьбу свою,  
Ибо знал, что уготован  
Мне приют в Твоем раю...»  
— Ну, а ты каким деяньям  
Сопричастницей была?!  
...И наполнилась страданьем  
Неба дымчатая мгла.  
И душа вздохнула честно,  
Так вздохнула в первый раз,  
Что у ангелов небесных  
Слезы брызнули из глаз.  
И ответною слезою  
Был исполнен шепот слов:  
«Я... увы... была душою...  
Устроителя балов...»  
А!.. сочувственно звенели  
В горних сферах голоса.  
И все более светлели,  
Прояснялись небеса.

\* \* \*

И божественным глаголом  
Преисполнилася высь:  
«Отойди, о воин, голый,  
И, певец, посторонись!  
Ты одна, душа святая,  
Будешь вечный мир вкушать!»  
И открылись двери Рая,  
И захлопнулись опять.

1927



## ЕГИПЕТСКИЕ НОЧИ ШУЛЬГИНА

Не лезьте против рожна.  
Превратитесь в большинство!  
В крайнем случае — к оружию!  
*Фашистский монолог Шульгина*

*«Чертог сиял. Гремели хором».*  
Юнцы старались помочь.  
Был полон зал. Был полный кворум.  
Была Египетская ночь.  
И, как царица Клеопатра  
В толпе поверженных мужчин,  
Восстал среди амфитеатра  
Василь Витальевич Шульгин.  
Он рек — «и ужас всех объемлет»,  
И видят все, что у него  
Один лишь разум только дремлет,  
А так... — не дремлет ничего!  
Бунтует сердце. Кровь вскипает,  
Стучит, как молотом, в виски.  
Когда ж белками он вращает,  
То просто страшно за белки...  
«С тех пор, как первого варяга  
Нам ниспослал счастливый рок,  
Мы государственное благо  
Познали вдоль и поперек.  
Почто ж не следовать, о дети,  
Примерам собственных отцов  
И поискать на белом свете  
Чужих, но добрых образцов?  
Нам плотник-царь привез голландцев,  
Екатерина — пруссаков.  
А я даю вам итальянцев  
Во славу будущих веков!  
Не вскормила нас волчица.  
Была иною наша быль.  
Но Киев все-таки столица,  
Хоть я не Ромул, а Василь.  
Пылай, фитиль, и рыкай, пушка,  
Греми, ура, со всех сторон!  
Чем хуже русская галушка  
Сих итальянских макарон?  
Возьму коня и оседлаю,  
И на коне ворвусь в Сенат!  
Я так хочу! Я так желаю!  
Я — царь, я — Бог, я — шах, я — мат!...»  
*Умолк. «И ужас всех объемлет».*  
Глаза выходят из орбит.

И зал в священном страхе внемлет  
И всеми фибрами скорбит.  
И есть действительно причина  
Для омраченных скорбью толп:  
— Такой фашист, такой мужчина,  
И сан — и общество, и столп.  
И вдруг!.. — и каждый понимает,  
Что тут уж горю не помочь.  
Пустеет зал и затихает,  
Консьержка двери запирает.  
Темна Египетская ночь.

1927

## ВЕСЕННИЙ БАЛ

1

Если вам семнадцать лет,  
Если вас зовут Наташа,  
То сомнений больше нет, —  
Каждый бал стихия ваша!  
Легкий, бальный туалет  
Освежит портниха Маша,  
Ослепительный букет  
Вам предложит ваш предмет,  
Задыхающийся Яша,  
Или, если Яши нет,  
То Володя или Саша...  
Пенье скрипок! Розы! Свет!  
Первый бал в семнадцать лет —  
Это лучший бал, Наташа!

2

Если вам до тридцати  
Не хватает только года,  
Вы обязаны пойти!  
В тридцать лет сама природа  
Говорит душе: цветы!..  
Тридцать лет есть полпути,  
Силы требуют исхода,  
Сердцу хочется цвести,  
Сердцу меньше тридцати —  
И ему нужна свобода.  
Призрак осени у входа.  
Все пойми — и все прости!

Крылья выросли — лети!  
...Вы должны, должны пойти,  
Если вам до тридцати  
Не хватает только года!..

3

Если ж вам до сорока  
Только месяц остается,  
Все равно!.. Бурлит, несется  
Многоводная река.  
Дымны, странны облака,  
Горе тем, кто обернется!  
Надо жить и плыть, пока...  
Надо жить, пока живется.  
Сердцу мало остается.  
В сердце — нежность и тоска,  
Но оно сильнее бьется.  
Юность смотрит свысока,  
Зрелость — взглядом игрока:  
Проиграешь, не вернется!  
Значит, что же остается  
У преддверья сорока?  
Жить и жить. Пока живется...

4

Если ж вам за пятьдесят,  
Знайте, жизни добрый Гений  
Может долго длить закат,  
Бодрых духом поколений!  
Тяжек, сочен плод осенний.  
Вечер есть пора свершений.  
В седине есть аромат  
Поздних, сладостных цветений  
В наложении декад —  
Простота проникновений.  
Пусть горит, горит закат  
Все безумней, все блаженней...  
Всех, кому за пятьдесят,  
Я зову на Бал Весенний!..

1927

## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

В мире что-то совершилось,  
Полог снят!  
Кошка Машка разрешилась —  
Пять котят.  
То, что снилось, воплотилось,  
Милый друг!  
В мире что-то совершилось —  
Сразу!.. Вдруг!..  
Все приемлющим земное,  
Нам дано —  
Золотое, голубое  
Пить вино,  
Не струя из неба льется —  
Океан,  
Кто напьется, захлебнется,  
Будет пьян!  
Все набухнувшие почки  
Расцвели,  
Пар идет от каждой кочки,  
Из земли.  
Даже лужи отражают  
Небеса,  
В каждом сердце назревают  
Чудеса!  
Красоты большой поклонник,  
Но плебей,  
Прилетел на подоконник  
Воробей.  
На родительницу-кошку  
Поглядел,  
Прочирикал, клюнул крошку,  
Улетел.  
Мне, конечно, больше надо,  
Чем ему.  
Но и так уж сердце радо  
Потому..  
Потому, что после бури  
Снеговой —  
Тонет золото в лазури  
Голубой.  
Потому, что если очень  
Пожелать,  
Можно многое постигнуть  
И понять.  
Потому, что если очень  
Захотеть,

Можно многое на свете  
Одолеть...  
Но для добрых одолений,  
Для чудес  
Выбирайте день весенний!  
Из небес  
Голубого зелья льется  
Океан,  
Кто напьется, захлебнется,  
Станет пьян!..

1927

### В АЛЬБОМ

Милый Коля Сыроежкин,  
Эмигрантское дитя!  
Я гляжу на мир серьезно,  
Ты глядишь на мир шутя.  
Что же должен я такое  
Написать тебе в альбом,  
Чтобы ты, приятель милый,  
Не бранил меня потом?  
Было б самым честным делом,  
И совсем тебе под стать,  
На листе блестяще белом  
Двух чертей нарисовать...  
Закрутить им хвост покруче —  
Если бес, мол, так уж бес!  
А внизу простую надпись:  
«Дорогому Коле С.»  
Но тогда бы все сказали —  
Это ужас и позор  
Тешить мистикой подобной  
Любопытный Колин взор!..  
И поэтому, оставив  
Соблазнительных чертей,  
Мы займемся тем, что может  
Быть полезным для детей...  
Смысл моих нравоучений  
Поразителен и прост:

1. Если ты увидишь кошку,  
Не хватай ее за хвост.
2. Если пишешь, то старайся  
Весь в чернильницу не лезть.
3. Не грызи зубами ручку,  
Если даже хочешь есть.

4. Если ты уроки учишь,  
То учи их, а не спи.
5. Не разглядывай обои.
6. Не пыхти. И не соли.
7. Не болтай ногою правой.
8. Левою тоже не болтай.
9. Не пиши на каждой стенке —  
Сыроежкин Николай.
10. Не клади резинки, перья  
И веревочки в карман.
11. Под грамматику тихонько  
Не подкладывай роман.
12. Не играй с чужой собакой.
13. Не срывай куски афиш.
14. Не тверди на каждом слове,  
То и дело, же-ман-фиш!
15. Не просись в синемаатограф  
Непрерменно каждый день.
16. Не носи свою фуражку  
Непрерменно набекрень.
17. А уж паче, наипаче,  
Вняв совету моему,  
Не допытывайся, Коля,—  
Отчего, да почему!..

А теперь скажу я честно  
И скажу тебе я так:  
Если Коля Сыроежкин  
Не лягушка, не слизняк,  
Если в Коле сердце Коли  
Сыроежкина живет,  
То на все семнадцать правил  
Он возьмет — и наплюет!..

1927

#### ЛЮБОВЬ РАЗЛОЖИВШЕГОСЯ КОММУНИСТА

За стихи о «дамском упоенье» разложившийся коммунист одесской контрольной комиссии из партии исключен...

«В каком-то дамском упоенье»  
Гляжу на щечки эти две,  
И — словно солнца ударенье

В моей несчастной голове.  
Кругом одесская натура  
Лежит бесчувственным пластом,  
А вы, как чудная гравюра,  
Смеетесь дивным вашим ртом.  
И это тем понятно боле,  
Что вы смеетесь, хохоча,  
А ваши зубки, как фасоли  
На фоне знойного луча.  
Когда же, чувствуя симпацию,  
Я в глазки ваши заглянул,  
Я закричал благою матюю:  
Тону! Спасите! Караул!  
В них глубина была такая  
И выходил оттуда свет,  
Что я сказал вам: Рая, Рая!  
Вы камень, Рая, или нет?  
Когда вы камень, так скажите,  
И разойдемся навсегда.  
Но только шутки не шутите —  
И нет, так нет, а да, так да!..  
Но вы, как будто статуэтка.  
Один лишь хохот и обман.  
Зачем же, дивная кокетка,  
Крутить наш бешеный роман?!  
Конечно, риск святое дело,  
Но я ж не должен рисковать,  
Когда душа моя и тело  
Не могут вам принадлежать,  
Имея звание партийца,  
И если вдруг такой уклон,  
Мне скажут: вы — самоубийца,  
И убирайтесь вовсе вон...  
Но, несмотря на эти мысли,  
Вы идеал такой большой,  
Что я люблю вас в полном смысле  
И организмом, и душой!  
И я в припадке благородства —  
Не только серп и молоток,  
Но все орудья производства  
Отдам за чувство, за намек.  
Но если ж суд меня осудит,  
А ваша ручка оттолкнет,  
Так что же будет?! Ясно будет,  
Что я последний идиот...

1927

Этот Коля Сыроежкин,  
Это дьявол, а не мальчик!  
Все, что видит, все, что слышит,  
Он на ус себе мотает.  
А потом начнет однажды  
Все разматывать обратно,  
Да расспрашивать, да мучить  
Многословно, многократно.  
Вот, пристал наемни к маме,—  
Так что маме стало жарко:  
Объясни ему, хоть тресни,  
Чем прославился Петрарка?!  
— Ах ты, Господи, помилуй! —  
Умилясь, вздохнула мама.  
Оторвалась от кастрюли  
И сказала Коле прямо:  
«Да!.. Петрарка!.. Это, Коля,  
Был такой мужчина в мире,  
Он был ласков, он был нежен  
И всегда играл на лире.  
А любил он так, как любят  
Только редкие натуры.  
И писал стихи при этом  
В честь возлюбленной Лауры».  
Коля хмыкнул. И промолвил  
Так, что маме стало жарко:  
«Если это только правда,  
Значит, папа не Петрарка!..»  
А когда пришел с работы  
Сам папаша Сыроежкин,  
Коля взял его на мушку  
Без антрактов, без задержки:  
— Папа, кто была такая  
Эта самая Лаура?!  
...Папа выдержал атаку  
И сказал довольно хмуро:  
«Да!.. Лаура... это, Коля,  
Нечто вроде херувима.  
Это то, что только снится,  
А потом проходит мимо...  
Ясность духа. Тихость взора.  
Легкость медленной походки.  
А в руках благоуханных —  
Кипарисовые четки...»  
И заметил Коля тоном  
Настоящего авгура:



«Если только это правда,  
Значит, мама не Лаура!..»  
Посмотрел на маму папа.  
Мама папу осмотрела.  
А потом, конечно, Коле  
От обоих нагорело.  
Пусть!.. Зато по крайней мере  
Будут красочны и яркие  
Впечатленья в сердце Коли  
О Лауре и Петrarке.

1927

### КАК СОЧИНЯТЬ СЦЕНАРИЙ

#### НЕМЕЦКИЙ ФИЛЬМ

Герой должен быть блондин.  
И гусар смерти.  
Сидит он как-то, один,  
В концерте,  
А рядом, изображая судьбу,  
Сидит дама.  
Гусар хлопает себя по лбу,  
И начинается драма.  
Дама вертит хвостом  
И ведет себя тонко.  
Но дело-то все в том,  
Что она шпионка.  
И вот блондина гнетет  
Всякая чертовщина.  
С одной стороны, он патриот,  
А с другой стороны,— мужчина.  
Конец адски зловещ:  
Стрельба. Конвульсии. Хрипы.  
А называется эта вещь —  
«Когда цветут липы»...

#### ФРАНЦУЗСКИЙ ФИЛЬМ

Герой должен быть брюнет  
И одет по моде.  
Героине семнадцать лет  
Или в этом роде.  
Он несомненный маркиз,  
Она вполне белошвейка.  
Обстоятельств этих из —  
Ясно, что жизнь... злодейка!

Отец хмурит нависшую бровь  
И пробует крайнее средство:  
— Либо ликвидируйте любовь,  
Либо лишу наследства...  
— Нет!— говорит благородный Жюль,—  
Никаких ятей!  
И откидывает белый тюль  
Над колыбелью с дитятей.  
— Ах!— говорит счастливый дед.—  
Благославляю без оговорок!  
И дает званый обед  
На человек сорок...

русский фильм

Герой ни блондин, ни брюнет,  
И не о нем речь-то.  
Героя вообще нет,  
А есть нечто.  
Нечто — это борьба миров  
Высшего порядка,  
Настоящая песня без слов,  
И вообще загадка.  
Начинается же все с того  
Вечно-рокового,  
Что она любит одного  
И в то же время другого.  
А этот самый один  
Изводится от сомнений,  
Брюнет он или блондин,  
Беспутство или гений?  
Затем рушатся все миры  
Под рев стихий и ветров.  
...А в картине-то полторы  
Тысячи метров!

1927

### ИЗ АЛЬБОМА ПАРОДИЙ

Для утонченной женщины  
*Игорь Северянин*

Для утонченной женщины  
Есть одна только мистика —  
Распороть прошлогоднее

И отрезать ненужное!  
И, подобно Праматери,  
Из ничтожного листика  
Сочинить и исподнее,  
И придумать наружное!..

Для утонченной женщины  
Только платье — Вселенная,  
Кружева — это облако,  
Декольте — Океания.  
И грядет она Вечная,  
И грядет она брeнная,  
Неизвестного возраста,  
Неизвестного звания...

О, законы наследия  
Ослепительной грации,  
Чье явление яркое  
Незнакомо с изъятьями!  
О, какая трагедия,  
Находясь в эмиграции,  
Сочетать свою выдумку  
С прошлогодними платьями!

Вы берете материю,  
И окраской химической  
Достигаете в сущности  
Недоступно-желанного,  
И потом вы сияете  
Красотой поэтической,  
И сверкаете радугой  
Перелива нежданного!

И когда вы проходите  
В этом платье муаровом,  
Сногшибательной кошкою  
По краям отороченном,  
О, я знаю, я чувствую,  
Что увы! я не пара вам,  
Ибо весь я в единственном,  
Ибо весь я в рассроченном...

Но, чудес провозвестница,  
В величайшей прострации  
Я стою перед вами,  
И далекой, и близкою,

И твержу: О, прелестница,  
Вы есть ось эмиграции,  
Ибо дух ваш господствует  
Над материей низкою!..

1927, 1930

### ЯЗЫК БОГОВ

Была весна. Эпоха браков,  
Пел соловей. И цвел жасмин.  
Письмо любви, без твердых знаков,  
Писал советский гражданин.  
Следя событий непреложность,  
Он даже в страсти соблюдал  
И выражений осторожность,  
И свой партийный идеал.  
Отравлен губительной отравой,  
Программных слов изведав власть,  
Он заключил в их круг лукавый  
Свою безвыходную страсть.  
Он говорил: «Товарищ Нелли,  
Моя желанная, когда ж,  
Объединившись к общей цели,  
Вы прекратите саботаж?!  
Задев неслыханные струны,  
Что пели в тайной глубине,  
Не вы ль, по ордеру Фортуны,  
Всю душу вывернули мне?!  
Я был свободным элементом,  
Но вы пришли. Свобода — дым!..  
Я стал гнилым интеллигентом,  
Который просится в Нарым.  
Как соблазнительная сказка  
Мелькнули!.. Ну? И я влюблен.  
И получилась неувязка  
И нежелательный уклон.  
Я честь, характер, волю разом  
В могиле братской схоронил,  
Эвакуировал свой разум  
И душу вами уплотнил.  
Ужель любовных резолюций  
Я добиваюся вотще?!  
О, нет! Я жажду контрибуций  
И всех аннексий вообще...  
Я не боюсь огласки страстной,  
Столь презираемой людьми.

Долой рассудок буржуазный,  
Вся власть инстинктам, черт возьми!  
Когда душа в такой истоме,  
Так разве мыслимо сейчас,  
Чтоб я режимом экономий  
Стеснял себя и даже вас?!  
Но если вы не хотите очень  
Иметь законный силуэт,  
Так я согласен, между прочим,  
Пойти в домовый комитет.  
И пусть товарищ председатель  
Возьмет обоих на учет.  
И это будет даже, кстати,  
Для вашей маменьки почет.  
А я исполню с благородством  
Мне предуказанную роль.  
И пусть над нашим производством  
Осуществляется контроль!..»

1927

#### НЕВИННЫЕ ПРОГУЛКИ

Человек не царь природы,  
А дитя своей среды.  
Вот идет дитя на рынок,  
Видит сочные плоды,  
Видит овощи земные,  
Изобилье, благодать...  
Чтобы просто человеку,  
Поглядев, пощекотать  
Вкус и чувство обонянья,  
Взор порадовать живой,  
И купить чего там надо,  
И пойти себе домой?!.  
Нет, так он, извольте видеть,  
Выше этого всего.  
У него не просто зренье,—  
Точки зренья у него!..  
И на овощи земные,  
И на сочные плоды  
Он глядит, как на продукты  
Политической среды.  
И выходит, что редиска,  
Что ты там ни говори,  
Несомненно монархистка,  
Ибо белая внутри.

Репа очень либеральна,  
Несмотря на вялый цвет.  
Сельдерей есть явно Высший  
Монархический Совет.  
Лук — плебейское растение,  
Ест глаза и жжет язык,  
Словом, точное сравненье:  
— Настоящий большевик.  
Овощ самый евразийский —  
Это тухлый шампиньон,  
И сомнительный по вкусу,  
И гнилой со всех сторон.  
Помидор — непримиренец,  
Якобинец, радикал.  
А поганка — возвращенец,  
Наступил и растоптал!..  
Артишок продукт фашизма —  
Заграничен и кудряв,  
Вряд ли можно артишоком  
Ублажать российский нрав...  
Что касается укропа,  
Беспартиец, не взыщи!..  
И для запаха кладется  
Всеми партиями в щи.  
Если ж просто эмигранта  
Вам угодно, наконец,  
То, конечно, эмигранта  
Представляет огурец.  
На случайных огородах  
Восемь лет уже подряд  
Он растет, а тверд и зелен,  
Словно восемь лет назад!  
И, купив его для скудной,  
Незатейливой еды,  
Возвращается обратно  
Человек, дитя среды.

1927

## ХРЕСТОМАТИЯ ЛЮБВИ

### ЛЮБОВЬ НЕМЕЦКАЯ

Домик. Садик. По карнизу  
Золотой струился свет.  
Я спросил свою Луизу:  
— Да, Луиза? Или нет?  
И бледнея от сюрприза,

И краснея от стыда,  
Тихим голосом Луиза  
Мне ответствовала: да!..

#### ЛЮБОВЬ АМЕРИКАНСКАЯ

«— Дзынь!..— Алло!— У телефона  
Фирма Джемса Честертона.

Кто со мною говорит?

— Дочь владельца фирмы Смит.

— Вы согласны?— Я согласна.

— Фирма тоже?— Да.— Прекрасно.

— Значит, рок?— Должно быть, рок.

— Час венчанья?— Файфоклок.

— Кто свидетели венчанья?

— Блек и Вилькинс.— До свиданья».

И кивнули в телефон

Оба, Смит и Честертон.

#### ЛЮБОВЬ ИСПАНСКАЯ

Сладок дух магнолий томных,

Тонет в звездах небосклон,

Я найму убийц наемных,

Потому что... я влюблен!

И когда на циферблате

Полночь медленно пробьет,

Я вонжу до рукояти

Свой кинжал ему в живот.

И, по воле Провиденья

Быстро сделавшись вдовой,

Ты услышишь звуки пенья,

Звон гитар во тьме ночной.

Это будет знак условный,

Ты придешь на рокот струн.

И заржет мой чистокровный,

Мой породистый скакун.

И под звуки серенады,

При таинственной луне,

Мы умчимся из Гренады

На арабском скакуне!..

Но чтоб все проделать это,

Не хватает пустяка...

— Выйди замуж, о, Нинета,

Поскорей за старика!..

Позвольте мне погладить вашу руку.  
 Я испытываю, Маша, муку.  
 Удивительная все-таки жизнь наша.  
 Какие у вас теплые руки, Маша.  
 Вот надвигается, кажется, тучка.  
 Замечательная у вас, Маша, ручка.  
 А у меня, знаете, не рука, а ручище.  
 Через двести лет жизнь будет чище.  
 Интересно, как тогда будет житься,  
 Вы хотели бы, Маша, не родиться?  
 Не могу больше, Маша, страдать я.  
 Дайте мне вашу руку для рукопожатья.  
 Хорошо бы жить лет через двести.  
 Давайте, Маша, утопимся вместе!..

1927

## БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Не шей ты мне, матушка,  
 Красный сарафан!  
 Не подходит, матушка,  
 Он для здешних стран.  
 Да и, кроме этого,  
 Толку ль без конца  
 Наряжать отпетого  
 Вольного певца?..  
 Помню я, невпорушка,  
 Говорила ты:  
 «Свет ты мой, Федорушка,  
 Ангел красоты!..  
 Рот раскроешь — рубликом  
 Каждого даришь,  
 Всем нашим республикам  
 Угождаешь, вишь!..»  
 А теперь что вздумала,  
 Обалдела, знать?  
 Федора Шалапина  
 Голоса лишать!..  
 Раз не ходит ходором,  
 Чтоб челом нам бить,  
 Стало быть, и Федором  
 Он не может быть...  
 Не желаешь жаловать,  
 Гонишь со двора,  
 Думаешь разжаловать



Баса в тенора!..  
Я ж долбил в дубовую  
Голову твою,  
Что одну басовую  
Партию пою,  
Ты ж, жестоковыйная,  
Не внимала речь,  
Думала в партийные  
Партии запречь,  
Эх, кабы да ежели,  
Да таких впрягать!  
Только мне ль, невеже ли,  
Да тебя понять?..  
Нет, не шей мне, матушка,  
Красный сарафан,  
Пусть рядится в красное  
Бедный твой Демьян,  
Пусть народным гением  
Числится, чудак,  
Пусть и тешит пением,  
Ежели уж так!..  
В жизни путь-дороженька  
Каждому своя.  
А с меня достаточно,  
Что Шаляпин — я!..

1927

## ШАЛЯПИН

Постановлением Совнаркома Ф. И. Шаляпин лишен звания народного артиста республики.

Известно ли большой публике,  
Что такое народный артист,  
Народный артист республики?  
И какой его титульный лист?  
«Бас всяя Великороссии,  
Малороссии и Новороссии,  
Края Нарымского,  
Полуострова Крымского,  
Кахетии  
И Имеретии,  
И не более, и не менее,  
Как Грузии и Армении,  
И всего Дагестана,

И Афганистана,  
Как это ни странно...  
Певец советский,  
Артист Соловецкий,  
Донской и Кубанский,  
Рабоче-крестьянский,  
Бедняцкий, батрацкий,  
Великий шаман бурятский,  
Песельник бурлацкий,  
Запевало солдатский,  
Всенародный, всемужицкий,  
Полный идол калмыцкий,  
Почетный человек сибирский,  
Идолище башкирский,  
Солист кашмирский,  
Утешитель татарский,  
Великий халат бухарский,  
Радость всякого эскимоса,  
Переносица Чукотского носа,  
Любимец узбеков,  
И прочих человек,  
И всякой разномастной публики...  
Вот что такое артист республики!!!»  
...Ах! Ах! И трижды ах!  
Слава, как дым. Слава, как прах.  
Употребляя высокий слог,  
Отряхните сей прах от ног.  
И черкните на скользком,  
На картоне бристолевском,  
Без титулов, без биографии,  
По какой угодно орфографии,  
Что не царский, не луначарский,  
Не барский, не пролетарский,  
Без всякой отметки,  
Не бабкин, мол, и не дедкин,  
И не мамин, мол, и не папин,  
А просто Шаляпин.  
Авось поймут...  
И у бурят, и у якут!

1927

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Русскому кабинету надлежит определить, на каких условиях и т. д. ...

*Газета Temps*

На протяженьи многих лет,  
В кровавом отблеске пожаров,  
Впервые со страниц газет  
Мелькнуло слово прежних лет:  
Совет народных комиссаров  
Был назван — русский кабинет!..  
Не знаю, радость иль смущенье,  
Но что-то странное в уме  
Сменило вдруг оцепенье,  
Как будто свет в крошечной тьме  
Зажжен на краткое мгновенье,  
Блеснул обманчивым огнем,  
Как призрак гибельный и милый,  
И в изумлении на нем  
Остановился взор унылый.  
Так иногда случалось вам  
Услышать в странном сочетанье  
Из уст достопочтенных дам  
Вдруг о потерянном созданье  
Столь неожиданный рассказ,  
Что он невольно тронет вас:  
— Вы знали падшую блондинку,  
Дуняшку с Невского?.. Так вот,  
Какой, представьте, поворот!  
Купила швейную машинку,  
Строчит, и штопает, и шьет,  
И, перст судьбы и верх каприза,  
Выходит замуж, чтобы стать  
Женой чиновника акциза,  
Почти матроной, так сказать...  
И пусть в моральные заслуги  
Такой Дуняши, господа,  
Поверить трудно иногда,  
Но это звание супруги,  
Швей и женщины труда —  
Такую власть приобретает  
Над нашей робкою душой,  
Что, подавив сомнений рой,  
Мы говорим: «Ну, что ж... бывает!..  
И хоть качаем головой,  
Но все ж не можем тем не мене  
К такой чудесной перемене  
Не отнестися с похвалой...

...О, сила слов! О, тайна звуков!  
Пройдут года, и, может быть,  
Невероятных наших внуков  
Нельзя уж будет убедить  
В такой простой и явной вещи,  
Какой является для всех  
Дуняшки падшей и зловещей  
Происхождение и успех...  
Калинин, сторож огородный,  
Крыленко, сверх-Юстиниан,  
Буденный, унтер всенародный,  
И, красноречия фонтан,  
Зиновьев бурный, многоводный,  
И, «счастья баловень безродный»,  
Какой-то смутный Микоян,  
Бухарин, жуткая кликуша,  
И Сталин, пастырь волчьих стай,  
И оплывающая туша  
Веселой дамы Коллонтай,  
Матрос Дыбенко, мудрый Стучка,  
Стеглов, святой анахорет,  
И Луначарский — Мусaget, —  
И эта, мягко скажем, кучка...  
Зовется, — русский кабинет!..  
Как, онемев сперва как рыба,  
Не молвить, Господи спаси,  
И заграничное спасибо,  
И древнерусское мерси?!..

1927

### ЭМИГРАНТСКАЯ ОДА

«О, ты, что в горести напрасно»,  
Меня жалоб вариант,  
Ежеминутно, ежечасно,  
На Бога ропщешь, эмигрант!

Заткни роскошные фонтаны, —  
Не натирай души мозоль.  
Не сыпь на собственные раны  
Свою же собственную соль.

Не пялься в прошлое уныло,  
Воспоминанья — это дым.  
Не вспоминай о том, что было,  
И не рассказывай другим.

Не мни прикидываться жертвой,  
Судьбы приемлющей удар.  
И не клянись, что фокстерьер твой  
Был в оно время сенбернар.

Себя на все печали в мире  
Монополистом не считай  
И нервным шагом по квартире  
В минуты гнева не шагай.

О жизни мелкобуржуазной  
Слезы насильственной не лей.  
И десять раз в году не празднуй  
Один и тот же юбилей.

Не доверяй словам красивым  
И не предсказывай конец.  
Не пей рябиновку с надрывом,  
А просто пей под огурец.

И ты не думай, что настанет —  
И грянет гром, и вспыхнет свет...  
Весьма возможно, что и грянет,  
Но ведь возможно, что и нет.

А посему не злобствуй страстно  
И не упорствуй, как педант,  
«О ты, что в горести напрасно»  
На Бога ропщешь, эмигрант!

Но возноси благодаренья  
И не жалея хороших слов  
За то, что в час столпотворенья,  
Кровосмешенья языков

Ты сам во столп не обратился,  
Не изничтожился в тоске,  
Но вдруг от страха объяснился  
На столь французском языке,

Что все французы испытали  
Внезапный приступ тошноты  
И сразу в обморок упали —  
И им воспользовался ты!..

1927—1933

## МАНИФЕСТ РУССКИХ ФАШИСТОВ

Объявляем всем нашим верноподданным,  
Не купленным и не проданным,  
А действующим, говоря кратко,  
В состоянии —  
Припадка!  
Первое и самое главное:  
Правление будет самодержавное!  
Страна и посередине — трон.  
(Несогласных просят выйти вон.)  
Вокруг трона — развесистая клюква,  
На клюкве — увесистая буква,  
Чтоб легче было читать!..  
А буква эта — Ять!  
Власть будет неограничена,  
То есть, кому зуботычина,  
А кому и две.  
Как и сейчас в Москве...  
Если же опираться придется,  
То монарх обопрется  
Об государственный строй  
Противоположной своей стороной,  
Раскормленной и тяжелой...  
А строй будет веселый  
И, к примеру, такой:  
Справа от его величества —  
Представитель от католичества.  
Слева от самодержавия —  
Представитель от православия,  
А позади — Шульгин,  
Главный духовный раввин!..  
Народ же будет стоять,  
Смотреть на Ять  
И медленно повторять,  
Балдея и холодея:  
— Вот это идея так идея —  
Взять элина и иудея  
И так их взболтать,  
Чтоб нельзя было понять,  
Хоть тресни, хоть обалдей,  
Где элин и где иудей!..  
Готовьтесь же, россияне,  
В каждом аррондисмане  
Дух свой возвеселя,  
Счастья вашего для!..

Взбодри же свое ретивое,  
И ты, поколение молодое,  
И становись головой вниз,  
И вылезай своей шкуры из!..  
Там-тарарам-там-там!..  
Все по своим местам!  
Муха — не муха, а слон!  
В правом ухе звон!  
Надо только терпеть...  
Будет и в левом звенеть!  
Градусник, градусник мне.  
Половина фигуры в огне...  
Где же, где ж голова?..  
Температура сорок и два!!!

1927

### ОКТАБРЬСКИЕ РАЗДУМЬЯ

Итак, опять у поворота.  
С горы и в гору. И опять.  
И снова быстрым дням без счета  
В усталой памяти мелькать.  
Блаженный мир чужой свободы...  
И лишь своей не обрести.  
А позади остались годы,  
Как версты долгого пути.  
Невозвратимы. Неповторны.  
Лишь оглянуться. И вздохнуть.  
Да головою непокорной  
С притворной удалю тряхнуть.  
И перекликнуться во мраке.  
Приятель!..—Здесь я! Спутник?..—Есть!  
И у костра, на бивуаке,  
В кружок редующий присесть.  
И, доброй верные привычке,  
Не так ли мы на вольный сход,  
Для смотра сил, для переклички  
Приходим все из года в год?  
Не без того и на ресницах  
Блестит непрошено слеза.  
Но разве есть усталость в лицах,  
И затуманены глаза?..  
Одна ли буря нам грозила,  
Одним ли ветром вдаль несло!  
Какой волной не уносило  
И нос, и мачту, и весло?..

Какие горы не синели,  
Какой нам лес не зеленел!..  
Как часто близ заветной цели  
Дух обессиленный слабел.  
И на каких огней мерцанье  
В проклятый мрак устав смотреть,  
Мы не спешили с содроганьем,  
Чтоб в их обманчивом сиянье  
Свое холодное дыханье  
Хоть на мгновенье обогреть?..  
И где тот камень придорожный,  
На чью неласковую твердь  
Мы не склонялись безнадежно  
Во сне, безрадостном, как смерть?  
И все ж, и после всех крушений,  
И чашу выпив до конца,  
Отравой поздних сожалений  
Мы не наполнили сердца.  
И вновь держась в открытом море  
Лишь за обломок корабля,  
Плывем и с ветром буйным споря  
И ждем, когда же в темном море  
Блеснет нам милая земля!..

1927

### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

В России выпал первый снег.

I

Все идет своим порядком,  
Монотонной чередой.  
Вновь над Эйфелевой башней  
Светит месяц молодой.  
Утром солнышко сияет,  
Воздух ясен, воздух чист.  
И шуршит в лесу Булонском  
Под ногой опавший лист.  
И с высоких колоколен  
Не срывается набат.  
И скользит неслышной тенью  
Человек и дипломат.  
Быстро меркнут диадемы,  
Ореолы и венцы,  
А курьерский поезд мчится  
Из Парижа на «Столбцы».



И выходит он в раздумье  
Из вагона с узелком:  
— Да-с... Судьба меня слизнула,  
Как корова языком.

## II

Все идет своим порядком  
И в столицах и окрест.  
Скоро будут на заборах  
Клеить новый манифест.  
И в густом российском мраке  
В честь советских именин  
Восклицательные знаки  
Вновь получит гражданин.  
Благородные владыки  
Будут миловать воров,  
Озарят огнем бенгальским  
Мглу осенних вечеров.  
И хрипеть, что это искры,  
Из которых, там и тут,  
Вспыхнет пламя мировое  
Через сорок пять минут...

## III

Все идет своим порядком,  
И пускай себе идет!  
Сердце все-таки чудесным,  
Чем-то собственным живет.  
Не о том его тревога,  
Не о том его печаль,  
Что посла и человека  
Унесло в родную даль.  
Не о том оно тоскует,  
Что в Москве об эти дни  
Будут факелы, и плошки,  
И ракеты, и огни.  
Бьется сердце суеверно  
Оттого, что где-то там —  
Можно русский снег увидеть  
И... прижать его к устам.

1927

## ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Чуден Днепр при тихой погоде...

Я тоже помню эти дни,  
И улицы, и переулки,  
И их зловещие огни,  
И топот, медленный и гулкий...  
Он замирал и снова рос,  
Неотвратимый и мятежный.  
Как смерть, как горечь поздних слез  
Перед разлукой неизбежной.  
Усталый свет ночной звезды,  
Заря, окрашенная кровью.  
Заиндевелившие сады  
Сбегали, жались к Приднепровью.  
Туман. Рассвет. Сырая мгла.  
Под снегом тополи седые.  
Во мгле, в тумане купола,  
Старинные и золотые.  
И вдруг... какой-то дальний стон,  
И зов бессильный, бесполезный.  
И крик, и рык, и скок, и звон,  
И конский храп, и лязг железный.  
Взлетели. Скачут. Близко. Вот!  
Уже не видят и не слышат.  
По низким лбам струится пот.  
Свистят. Ревут. И паром дышат.  
Какой забытый, древний сказ  
Восстановил из страшной были  
И эти щели вместо глаз,  
И выступ скул и сухожилий,  
И темных лиц пещерный склад,  
И лоб, проросший шерстью длинной,  
И водяной, прозрачный взгляд  
Тысячелетний и звериный?!..  
О, эта киевская ночь,  
Которой нет конца и края...  
Все в мире можно превозмочь —  
И отойти от скорби прочь,  
Благословляя и прощая.  
Понять. Простить. Но не забыть!  
Забыть той ночи невозможно.  
Ее нельзя душе изжить.  
И будет вечно сердце ныть  
И замирать в груди тревожно.  
И, свято в памяти храня  
Давно прошедшее, бывшее,

Я говорю на склоне дня:  
— Пусть будет чуден без меня  
И Днепр, и многое другое...

1927

### ЧЕХОВСКИЙ ГЕНЕРАЛ НА СОВЕТСКОЙ СВАДЬБЕ

И пусть республика человеческих пчел  
наполнит небо музыкой своих крыльев  
и благоуханием золотого меда...

*Юбилейное письмо Романа Роллана*

И имя у вас вне сомнения,  
И фамилия не плоха.  
А вот насчет поздравления,  
Извините! — Чепуха.  
Вы звездные миры числите,  
Витаете в этих мирах.  
Но что вы, ей-Богу, смыслите  
В русских делах?  
Я понимаю: вы грезите,  
Впадаете в радость, в грусть,  
Но куда вы, Господи, лезете  
Вплавь и наизусть?  
Положительно, мир становится,  
Как пяточок, стерт.  
Есть, знаете ли, пословица:  
Младенец и черт.  
Горе, ежели свяжутся  
Один и другой.  
Как это вам кажется,  
Мосье, дорогой?..  
Чубаровская публика,  
Подвыпивший комсомол,  
Это, по-вашему, республика  
Человеческих пчел?..  
Между расстрелами и насильями  
Со всех сторон,  
Это они производят крыльями  
Музыкальный звон?!  
Неумолкающий, изрыгающий  
Свинец пулемет,  
Это, что ль, благоухающий  
Пчелиный мед?!  
Эх, вы, многое могущий,  
Мосье Роллан!..

Писали бы вы лучше  
Свой роман,  
Спокойное свое занятие  
Продолжали бы всласть!..  
Воображаю этих облупленных  
Предводителей масс,  
Торжественных и насупленных,  
Как провинциальный бас,  
Которому от бенефисного  
Восторга в дар  
Взяли, мол, да и тиснули  
Монограмку из портсигар!..  
...Многое уж мы пережили,  
И это переживем.  
Потому, друзья мои, ежели  
В положении своем  
Станем по каждому случаю  
Желчь разливать,  
Так и нашей, многотечкей,  
Может желчи не стать!..

1927

### С КРАСНОЙ ГОЛОВКОЙ

За истекший год потребление водки  
в Советской России достигло 30 милл.  
ведер

Тридцать миллионов в год.  
Не воды, а водки...  
Во-первых, какой доход,  
А, во-вторых, глотки!  
Это вам не кабаре,  
Не ананасы в шампанском,  
А чистый спирт в нутре  
Рабоче-крестьянском.  
Грешен человек и слаб,  
И человек, и товарищ.  
Но ежели ему дать масштаб  
Мировых пожарищ,  
Да нарисовать план  
Программы широкой,  
Да отвинтить ему кран,  
И сказать — жлекай!..  
Да положить ему в рот  
Перцу с лавром...

Так он и себя пропьет,  
И мавзолеей с Кадавром!  
Правда, старый стиль  
Обошли уловкой.  
Это вам не бутылка  
С белой головкой,  
Вид коей зловец  
И наводит на мысли...  
А, действительно, это вещь  
В высшем смысле!  
И венчик, и герб,  
И клеймо, и обводка,  
И молот, и серп,  
И, вообще... водка!..  
Недаром мчится век,  
Несется ретиво.  
Пей, порядочный человек  
И член коллектива!  
К горлышку припадай,  
Государству на прибыль,  
Пей и не рассуждай,  
Рассуждение — гибель!..  
Линию гни свою,  
Меня, говори, не троньте,  
Я, говори, не просто пью,  
А на пьяном фронте!..

1927

#### А. А. АЛЕХИНУ

Свет с Востока, занимайся,  
Разгорайся много крат,  
«Гром победы, раздавайся»,  
Раздавайся, русский мат!..  
В самом лучшем смысле слова,  
В смысле шахматной игры...  
От конца и до другого  
Опрокидывай миры!  
По беспроволочной сети  
Всяких кабелей морских  
Поздравленья шлите, дети,  
В выражениях простых!..  
Рвите кабель, рвите даму,  
Телеграфную мамзель,  
Сердце, душу, телеграмму,  
Не задумываясь, прямо —  
Шлите прямо в Грандотель.

Буэнос. Отель. Алеше.  
Очень срочно. Восемь слов.  
«Бьем от радости в ладоши,  
Без различия полов».  
А потом вторую шлите  
За себя и за семью:  
«Ах, Алеша, берегите  
И здоровье, и ладью!»  
Третью, пятую, шестую  
Жарьте прямо напролет:  
«Обнимаю и целую  
Шах и мат, и патриот».  
Главным образом вносите  
В текст побольше простоты,  
Вообще переходите  
Все с Алехиным на ты!  
«Гой еси ты, русский сокол,  
В Буэносе и в Айре!  
Вот спасибо, что нацокал  
Капабланке по туре!..  
Десять лет судьба стояла  
К нам обратной стороной,  
Той, что, мягко выражаясь,  
Называется спиной».  
И во тьму десятилетия  
Ты пришел и стал блистать!  
Так возможно ль междометья,  
Восклицанья удержать?!  
Стань, чтоб мог к груди прижаться  
Замечательный твой миф,  
Заклучить тебя в объятия,  
Невзирая на тариф!..  
Все мы пешки, пешеходы,  
Ты ж орел — и в облаках!  
Как же нам чрез многи воды,  
Несмотря на все расходы,  
Не воскликнуть наше — ах!..

1927

## ПОЛЗКОМ

«Вечер был. Сверкали звезды».  
В мавзолее Ленин спал.  
Шел по улице Зиновьев,  
Посинел и весь трещал.  
На бульваре, на скамейке,

Сел он, голову склоня.  
Сел и думал: «Ни ячейки  
Не осталось у меня!..  
Для чего мне было в это  
Предприятие влезать?  
Что мне сделать, чтоб невинность,  
Чтоб невинность доказать?  
Жил я, кажется, неплохо,  
Декламатор был и чтец,  
И имел и пост, и титул,  
И доходы, наконец...  
Было время, целый город  
Назывался в честь мою.  
А теперь, так это ж пропасть,  
Над которой я стою!..  
Между тем, сказать по правде,  
Разве пропасть это вещь?»  
И задумался Зиновьев,  
Синь, как синька, и зловещ.  
Уж и звезды побледнели,  
Ленин с лаврами на лбу  
Десять раз перевернулся  
В своем собственном гробу.  
Вот и утро наступило,  
Стал восток — багрово-ал.  
А несчастный все слонялся,  
Все синел и все трещал.  
И когда он стал лиловый,  
Как фиалка на снегу,  
Он вскричал: «Пусть Троцкий мерзнет,  
Я же больше не могу!..  
Грозно бровь нахмурил Сталин,  
Сжал грузинские уста.  
И лежал пред ним Зиновьев,  
Не вставая с живота.  
И, уткнувшись в половицу,  
Он рычал, свой торс склоня:  
«Растворите мне темницу,  
Дайте мне сиянье дня!..  
И пока он пресмыкался,  
Как действительная тварь,  
Повторил грузин чудесный  
Весь свой ленинский словарь.  
И от ленинского слова,  
После внутренней борьбы,  
Был Зиновьев вздернут снова  
С четверенек на дыбы!..

## В ТАТЬЯНИН ДЕНЬ

*Посвящается  
Московскому землячеству*

Господин человек, станьте  
На берегу уносящейся жизни,  
Воспоминаниями душу израньте,  
Очутясь на собственной тризне,  
Скользните вопросом по строчкам  
Поэзии вашей и прозы,  
Смахните носовым платочком  
Непрошенные эти слезы,  
Ведь вы мужчина — не килька —  
И привыкли нести бремя...  
— Эй, человек! Филька!..  
Вальс — «Невозвратное время»!..  
Картина первая. Арбат, переулок.  
Дом. Мезонин. Антресоли,  
Запах московских булок,  
Называемых — франзоли.  
Утро. Звон. Благодичиние.  
На уличных вывесках — яти.  
А небо такое синее,  
Как в раю... и на Арбате.  
Это здесь проезжал Чацкий,  
А вот здесь, взгляните,  
Гулял старый князь Щербацкий  
С дочерью своей, Китти.  
— Филька, верти дальше,  
Картина вторая,  
Тоже, говоря без фальши,  
Из потерянного рая!..  
Вечер. Тверской. Пушкин.  
Коричневые епархиалки.  
На дереве, на голой верхушке,  
Нахохлились зимние галки.  
Белизна. Чернота. Нега.  
На снегу фонари голубые.  
И отряхиваются от снега  
Малиновые городовые.  
— Филька, верти, дьявол,  
Разжигай порыв дерзкий,  
Заворачивай, друг, направо,  
По Дмитровке, в Камергерский,  
Где, душу мечтой туманя,  
Голосом своим усталым  
Рассказывает дядя Ваня  
О несбыточном, о небывалом.



— И еще верти, милый,  
Налегай вдвое...  
Чтоб с особенной силой  
Вспыхнуло остальное,  
Околыши, косоворотки,  
И, неизвестно откуда,  
От молодости или от водки,  
Это вера в чудо,  
Этот спор у стойки  
Про Бога, про честность,  
Этот скак на тройке  
В ночь, в неизвестность,  
Этот бред цыганок,  
Их бубны и песни.  
Утром хруст баранок  
В трактире, на Пресне,  
После вакханалий  
И всех чудачеств,  
Когда мы не знали  
Никаких землячеств!..

1928

#### В ЛОЖНОКЛАССИЧЕСКОМ ДУХЕ

Рецидив антисередняцкого уклона, не-  
смотря на ликвидацию оппозиции...

*Из еще одной речи Микояна*

О, Муза, воспой Микояна,  
Дитя закавказской природы,  
Дитя, из которого вырос  
Брюнет мирового масштаба!

Когда из далекого края,  
Где кажется небо в овчинку,  
Где Гиперборейские ветры  
Вздывают снега и метели,  
Из царства безрадостной скуки...  
Веселенький тенор раздастся,  
То знай! Это новый Меркурий  
Беспечно гортань упражняет!  
Никто на советском Олимпе,  
Ни сам огнедышащий Сталин,  
Ни лающий Цербер-Менжинский,  
Ни бог-Аполлон Луначарский,  
Ни многовизжащий Бухарин  
И ни Коллонтай-Афродита,

При всем недержании речи,  
Не могут его переплюнуть.

Подобен расплавленной лаве  
Гортанный глагол Микояна.  
Но лава, изринувшись, стынет,  
А он непрестанно дымится...  
Кто знает, быть может, не сердце,  
А сопка в груди волосатой  
Стремится наружу чрез глотку,  
Сей кратер, всегда воспаленный?..

Но что есть реченье и слово  
Без мыслей, в него заключенных,  
Без этого горного взлета  
В пространство, в эфир, в бесконечность?..  
И где ж, о скажи, современник,  
Ты видел такое паренье,  
Такой ослепляющий пафос,  
Такое сверканье, пыланье,  
Как в этой квадратной фигуре  
Со сросшейся черною бровью,  
С папайхой, надвинутой грозно  
На всю черепную коробку?!

О, Муза, воспой же России  
Эпоху шашлычно-баранью,  
И небо, что стало в овчинку,  
И край, превращенный в мерлушку,  
Где в страшном безмолвии ночи,  
В безмолвии снежной равнины  
Один Микоян веселится,  
Брюнет мирового масштаба!..

1928

#### КАРНАВАЛ

В Европе веселятся. Танцуют.  
Коломбины. Пьеретты. Пьеро.  
И все друг дружку целуют  
Во втором классе метро.  
Найдут себе худую девицу,  
Раскрасят ее от пят до ланит,  
Посадят на колесницу  
И рады, что она сидит.  
А сами бегут вприпрыжку,

Толкаясь, не щадя боков,  
Старые, невзирая на одышку,  
Молодые, глядя на стариков.  
Флагами нехитрыми машут.  
Надуваются, трубят трубачи.  
А в лужах дробятся, пляшут  
Солнечные лучи.  
Сомневаться ли, что мир чудесен,  
Когда весь он залит огнем,  
Когда столько браваурных песен,  
Дрожанья, звененья в нем?..  
Европейская толпа лукава,  
Беспечна и весела.  
Давно уже гражданского права  
Она свой курс прошла.  
В неизвестность ее не тянет,  
Не толкает ее в обрыв.  
Только голову слегка туманит  
Легкий аперитив.  
Опоздавшие на праздник милый,  
На их карнавал шальной,  
Только мы проходим с унылой,  
Понуренной головой.  
Не жалуемся и не ропщем,  
Но и так наш взор зловещ.  
Какая же все-таки, в общем,  
Нелепая жизнь — вещь!..  
Лучшие растрачивать годы,  
И в усталую грудь вдыхать  
Воздух чужой свободы,  
И обратно его выдыхать.  
Чувствовать, что мы иностранцы,  
И поэтому мы должны  
Танцевать половецкие танцы,  
А в антрактах есть блины!  
Чтоб европеец имел понятие,  
Хоть лопни, а докажи,  
Что и у нас есть свое занятие  
И своя ностальжи...

1928

## ЛЮБОВЬ ПО ЭПОХАМ

### ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Опуститься на скамью  
И в аллее, где фиалки,  
На песке писать — люблю —  
Наконечником от палки.  
Слушать пенье соловья,  
Замирать от муки сладкой  
И, дыханье затая,  
Поиграть ее перчаткой.  
А когда начнут вокруг  
Все сильней сгущаться тени,  
Со скамьи сорваться вдруг,  
Опуститься на колени,  
Мелкой дрожью задрожать,  
Так, чтоб зубы застучали,  
И к губам своим прижать...  
Кончик шарфа или шали.

### ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ

Прийти в гости. Сесть на диван.  
Покурить. А после куренья  
Встать и сказать: «Жизнь — это обман...  
С моей точки зренья!»  
Потом, постояв, опять сесть,  
Грузно, чтоб пружина заныла.  
И вдруг взять и наизусть прочесть  
«Я не помню, когда это было...»  
Потом со вздохом сказать: «Н-да...»  
Схватить пальто, стать одеваться  
И на глупый женский вопрос: «Куда?»  
Грубо ответить: «Домой!.. Стреляться!..»

1905-й

Никаких фиалок. Никакой скамьи.  
Ни пасторали, ни драмы.  
Отрицание любви. Отрицание семьи.  
Отрицание папы и мамы.  
Она безвольно шепчет: «Твоя».  
А он отвечает зловеще:  
«Я утверждаю свое — я!..»  
И тому подобные вещи.  
Утвердив, он зевает. Пьет чай.  
И молча глядит в пространство.

Потом он говорит: «Катя, прощай...  
Потому что любовь — мещанство».

#### ЭВАКУАЦИЯ

Наша жизнь подобна буре,  
Все смешалось в вихре адском.  
Мы сошлись при Петлюре,  
Разошлись при Скоропадском.  
Но, ревниво помня даты  
Роковой любовной страсти,  
Мы ли, друг мой, виноваты  
В этих быстрых сменах власти?..

#### ЭМИГРАЦИЯ

Чужое небо. Изгнание.  
Борьба за существование.  
Гнешь спину, хмуришь бровь.  
Какая тут, к черту, любовь?!

1928

#### НАША МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Черт толкает человека  
Испытать свою удачу  
И отправиться к знакомым!..  
В воскресенье!.. И на дачу!!

Мылит щеки он с какой-то  
Дрожью, прямо сладострастной,  
Ибо черт его толкает  
Бриться бритвой безопасной.

Окровавленный, как туша,  
Скажем вежливо, баранья,  
Он завязывает галстук,  
Тоже морщаясь от страданья.

Ибо где же вы видали,  
Чтоб охваченный экстазом  
Человек спешил на поезд  
И возился с самовязом?..

Наконец, напудрив личность  
Желтой жениною пудрой,  
Все, что следует, приемлет  
Он с покорностью мудрой:

Час езды по подземелью,  
Пять законных пересадок,  
Словом, весь не нами в мире  
Установленный порядок.

Чуден путь от Сен-Лазара  
По зигзагам рельс гудящих,  
В допотопном третьем классе,  
В отделенье для курящих..

Чуден плебс, когда он дышит  
Перегаром литров многих  
И подруг своих щекочет,  
Некрасивых, но нестрогих.

А в окно мелькают трубы,  
Уголь, фабрики, заводы—  
Вообще, сплошное лоно  
Изумительной природы!..

После долгой, жуткой тряски  
И размяв насилу кости,  
Человек с крахмальной грудью  
Наконец приехал в гости.

Сорок тысяч восклицаний,  
Восхищенье... панорамой,  
Чай, холодный, как покойник,  
И салфетки с монограммой.

Кто-то старым анекдотом  
Угостил и был доволен,  
А потом и солнце село  
За верхушки колоколен.

Долго шли гуськом по парку.  
Воздух в легкие вдыхали.  
А когда качнулся поезд,  
Все платочками махали.

— До свиданья...— До свиданья!..  
Паровоз нахально свистнул.  
Человек невольно вздрогнул,  
И задумался, и скиснул.

1928

## ПЕСЕНКА

«Дождик, дождик, перестань!...»  
Мы отправимся в Бретань  
Всем составом всех частей  
С целым выводком детей,  
С граммофоном впереди,  
С фокстерьером позади,  
С утопающим в кульках  
Папой с зонтиком в руках,  
С мамой, виснувшей на нем,  
В шляпе с розовым пером,  
С нянькой старой и рябой,  
С оттопыренной губой,  
Цугом, скопом, словом, все  
На траву и на форсэ,  
На форсэ и на траву!  
Неизвестно для чего...

Папа будет тосковать,  
Мама будет загорать,  
Нянька будет говорить,  
Что в России лучше жить,  
Дети будут рвать трико,  
Пить парное молоко,  
Удобрять чужой пейзаж,  
Бегать голыми на пляж,  
И, с детей беря пример,  
Угорелый фокстерьер,  
Мир и Космос возлюбя,  
Будет прямо вне себя!..

А потом придет наш срок —  
Узелок на узелок,  
Чемодан на чемодан,  
И унылый караван  
После каторжных работ  
В путь обратный потечет...  
С утопающим в кульках  
Папой с зонтиком в руках,  
С мамой, виснувшей на нем,  
В шляпе с розовым пером,  
С недовольною судьбой  
Нянькой старой и рябой,  
С целой тучею детей

Всех фасонов и мастей,  
С граммофоном впереди  
И с собакой позади...

1928

#### НА ТЕМЫ ДНЯ

Итак, возрадуемся ныне  
По той причине, что опять  
Зиновьев будет в прежнем чине  
В придворной должности блистать,

И, волоокий, многогубый,  
Партийной роскоши предмет,  
Пролет он снова свет сугубый  
На середняцкий полусвет!..

С ним вместе Каменев дородный,  
Сей нунций с ног до головы,  
«И счастья баловень безродный»,  
Какой-то Рапкин из Москвы,

И многодумный Евдокимов,  
Простак и в жизни, и в борьбе,  
И человек без псевдонимов,  
А вовсе Беленький себе,

И сонм иных, друг с другом схожих  
Брюкодержателей, льстецов,  
И от опального вельможи  
Оттроцковавшихся птенцов...

И, вновь обласканы судьбою,  
Они, устав от сеч и битв,  
Соединятся меж собою  
«Для вдохновений и молитв»,

И для любви, и для коварства,  
И для пайков, и для чинов,  
Для должностей, для комиссарства,  
Для Соловков, для островов...

И, значит, вновь игра все та же,  
На крепость нервов, кто кого!  
И нам опять стоять на страже,  
На страже духа своего.



И, значит, снова зубы стиснуть,  
Чтоб горьких слов не проронить,  
И не размякнуть, не раскиснуть,  
Но ждать, готовиться и жить,

Носить легко любое бремя  
И не парить во облаках,  
А просто слушать Изу Кремер  
На всех на свете языках

И удивляться, что богами  
Такая сила ей дана,  
Что сразу всеми языками  
Она ворочает одна!..

1928

### ЛЕТНИЕ РАССКАЗЫ

Не в Ла-Манш, не в Пиренеи,  
Не на разные Монбланы,  
Не под пальмовые рощи,  
Не в диковинные страны...

Я уехал бы на Клязьму,  
Где стоял наш дом с терраской,  
С деревянным мезонином,  
С облупившеюся краской,

С занавесками на окнах,  
С фотографиями в рамах,  
Со скамейкой перед домом  
В почерневших монограммах,

С этой гревшейся на солнце,  
Сладко щурившейся кошкой,  
Со спускавшеюся к речке  
Лентой вившейся дорожкой,

Где росли кусты рябины,  
Волчья ягода чернела,  
Где блистательная юность  
Отцвела и отшумела!..

Как летела наша лодка  
Вниз по быстрому теченью,  
Как душа внимала жадно  
Смеху, музыке и пенью,

Плеску рыбы, взлету птицы,  
Небесам, и душистым травам,  
И очам твоим правдивым,  
И словам твоим лукавым...

А когда садилось солнце  
За купальнями Грачевых,  
И молодки, все вразвалку,  
В сарафанах кумачовых

Выходили на дорогу  
С шуткой, с песней хоровою,  
А с реки тянуло тиной,  
Сладкой сыростью речною,

А в саду дышали липы,  
А из дома с мезонином  
Этот вальс звучал столетний  
На столетнем пианино,

Помнишь, как в минуты эти  
В этом мире неизвестном  
Нам казалось все прекрасным,  
Нам казалось все чудесным!

Богом созданным для счастья,  
Не могущим быть иначе,  
Словно Счастье поселилось  
Рядом, тут, на этой даче,

В этом домике с терраской,  
С фотографиями в рамах,  
И сидит, и встать не хочет  
Со скамейки в монограммах...

1928

## ПУТЕВАЯ ТЕТРАДЬ

1

Люблю глядеть на спущенные шторы,  
На золотую солнечную пыль,  
Ревниво выверить надежные затворы.  
Потом, блюдя старозаветный стиль,  
Присесть перед отъездом на диване,

Прочувствовать, подумать, помолчать,  
И, позвеневав монетами в кармане,  
С приятностью крякнуть и привстать.  
И, подавляя легкую тревогу,  
Благословить на дальнюю дорогу  
И крепко отъезжающих обнять.

2

Люблю вокзалов летнюю прохладу,  
От дыма почерневшую аркаду  
Навесов, сводов, ниш и галерей,  
Рекламы пестрые и легкую наяду  
На гребне нарисованных морей...  
Соблазны, обольщенья путешествий,  
Старинные соборов кружева,  
Предчувствие каких-то происшествий,  
Волнующие внутренне слова,  
Эпическую музыку названий,  
Таинственные дали островов,  
И прелесть незнакомых сочетаний,  
И сутолоку новых городов.

3

Стальных чудовищ огненные пасти,  
Чугун, котлы, сверкающая медь  
И это клочкотание от страсти,  
Стремление промчатся, пролететь,  
Осилить угрожающие ветры,  
Ворваться в пролегающий туннель,  
Преодолеть шальные километры,  
Пожрать пространство, и, завидев цель,  
Наполнить ночь тревогою и жутью,  
И, бросив крик в безмолвие полей,  
Вздохнуть своей измученною грудью,  
Дохнуть огнем и копотью своей,  
И сердцу, утомившемуся биться,  
Неслышно приказать: остановись!  
И, веер искр швырнув в ночную высь,  
У сказочной черты остановиться...

1928

## ЗЕМНОЕ

1

Осень пахнет горьким тленом,  
Милым прахом увяданья,  
Легким запахом мимозы  
В час последнего свиданья.

А еще — сладчайшим медом,  
Душной мятой, паутиной  
И осыпавшейся розой  
Над неубранной куртиной.

2

Зимний полдень пахнет снегом,  
Мерзлым яблоком, деревней  
И мужицкою овчиной,  
Пропотевшею и древней.

Зимний вечер пахнет ромом,  
Крепким чаем, теплым паром,  
Табакком, и гиацинтом,  
И каминным перегаром.

3

Утро солнечного мая  
Пахнет ландышем душистым  
И, как ты, моя Наташа,  
Чем-то легким, чем-то чистым,

Этой травкою зеленой,  
Что растет в глухом овраге,  
Этой смутною фиалкой,  
Этой капелькою влаги,

Что дрожит в лиловой дымке  
На краю цветочной чаши,  
Как дрожат порою слезы  
На ресницах у Наташи...

4

Лето пахнет душистым сеном,  
Сливой темною и пыльной,  
Бледной лилией болотной,  
Тонкостанной и бессильной,

Испареньями земными,  
Тмином, маком, прелью сада  
И вином, что только бродит  
В сочных гроздьях винограда.

А еще в горячий полдень  
Лето пахнет лесом, смолью  
И щекочущей и влажной  
Голубой морскойю солью,

Мшистой сыростью купальни,  
Острым запахом иода  
И волнующей и дальней  
Дымной гарью парохода...

1928

### ИЗ ЛЕТНЕГО РЕПЕРТУАРА

Хорошо лежать у моря,  
На песке сыром и сером,  
Притворяясь целый месяц  
Молодым миллионером.

Ослепительным набобом,  
Путешественником знатным,  
Снисходительно-веселым,  
Изумительно-приятным!

Если правда, что природой  
Дан инстинкт нам театральный,  
То такой наряд способен  
Заменить халат купальный,

Нивелирующий знаков  
И отличий блеск и глянец,  
Под которым одинаков  
И набоб, и голодранец,

Под которым так бесследно,  
Так абстрактно и зловеще  
Исчезают все на свете  
Геральдические вещи!

Даже черт сломает ногу,  
Несмотря на все старанья,  
Чтоб извлечь из-под халата  
И сословия, и званья,

Чтоб узнать, не принц ли это  
С голубой прозрачной кровью  
Или муж, принадлежащий  
Прямо к третьему сословию?!

О, стихия океанов,  
Ты смываешь все плотины...  
Утверждая просто личность  
Просто голого мужчины,

С точки зрения дворянской  
Нарушая чин и службу,  
Но зато осуществляя  
Ту неслыханную дружбу,

Над которой изнемог уж  
Человеческий рассудок  
И которая возможна  
Меж купальных этих будок.

Только здесь, где все законом  
Управляется особым  
И последний голоштанник  
Притворяется набобом!

*1928, 1930*

#### **ЧЕТЫРЕ ПОДХОДА**

к русской

Сначала надо говорить о Толстом,  
О живописи, об искусстве,  
О чувстве, как таковом,  
И о таковом, как чувстве.

Потом надо слегка вздохнуть  
И, не говоря ни слова,  
Только пальцем в небо ткнуть  
И... вздохнуть снова.

Потом надо долго мять в руках  
Не повинную ни в чем шляпу,  
Пока Она, по-женски, не скажет: Ах!  
И, по-мужски, пожмет вам лапу.

К НЕМКЕ

Немку надо глазами есть,  
Круглыми и большими.  
Ни с каким Толстым никуда не лезть,  
А танцевать шимми.

Танцевать час. Полтора. Два.  
Мучиться, но крепиться.  
Пока немецкая ее голова  
Не начнет кружиться.

И глядь,—веревка ль, нитка ль, нить,—  
Незаметно сердца свяжет.  
И не надо ей ничего говорить...  
Она сама все скажет.

К ДОЧЕРИ АЛЬБИОНА

Для англичанки все нипочем,  
И один есть путь к победе:  
Все время кидать в нее мячом  
И все время орать: рэди!

Потом, непосредственно от мяча,  
С неслыханной простотою,  
Так прямо и рубить сплеча:  
— Будьте моей женою!

И если она за это не даст  
Ракеткой по голове вам,  
Значит, она либо любит вас,  
Либо... остолбенела.

К ФРАНЦУЖЕНКЕ

Французский женский нрав таков,  
Что, отбросив в сторону шутки,  
С дамой надо без дураков  
Говорить об ее желудке.

Они не любят этих ши-ши,  
И хотя души в них немало,  
Но если прямо начать с души,  
Тогда просто пиши — пропало!..

1928

## ТОЛЬКО НЕ СЖАТА...

Все хорошо на далекой отчизне.  
Мирно проходит строительство жизни.  
«Только не сжата полоска одна.  
Грустную думу наводит она».

Партия, молвил Бухарин сердито,  
Это скала, и скала из гранита!  
Это, сказал он, и грозен, и вещь,  
Первая в мире подобная вещь!

Только... Раковскому шею свернули,  
Только... Сосновский сидит в Барнауле,  
Только... Сапронова выслали с ним,  
Только... Смилга изучает Нарым,  
Только... Как мокрые веники в бане,  
Троцкий и Радек гниют в Туркестане,  
Словом: гранит, монолит, целина!

«Только не сжата полоска одна».

Школы — источники знания и света.  
Что ни зародыш — то два факультета.  
Верх достижения! Стены дрожат!  
В яслях доценты в пеленках лежат!

Только в лохмотьях, в отребиях черных  
Шляется жуткая тьма беспризорных,  
Только по улицам бродит шпана,  
«Только не сжата полоска одна».

Землю крестьянскую трактором взроем!  
Площадь посева удвоим! Утроим!  
Все разверстаем! Запишем! Учтем!  
Хлебом завалим! Задавим! Зажмем!

Только опять не везет Микояну,  
Только опять по разверстке, по плану,  
В очередь, в хвост растянулась страна...

«Только не сжата полоска одна».

В области высшей политики то же:  
Кто в чистоте своих принципов строже,



Кто, как одна лишь советская власть,  
Душу за принцип готов прозакласть?!

— Нам ли читать договоры Европы?  
Мы ли за нею пойдем, как холопы.  
Мы ли, носители новых идей,  
Будем еще разговаривать с ней?! —  
Трррр!... и, грустное перышко вынув,  
Так из Москвы расписался Литвинов,  
Так!! что в Америке подпись видна...  
«Грустную думу наводит она».

1928

### РОССИЙСКОЕ СИТЦЕНАБИВНОЕ...

Осень. Небо зловеще.  
Тянется в хвост Москва.  
Опять эти октябрьские вещи,  
Октябрьские торжества.

Готовятся. Строят. Роят.  
На монумент еще монумент.  
И скоро небо закроют  
Дешевкой убогих лент.

Надо на камне высечь,  
Начертать на снегах вершин:  
Шестьсот семьдесят тысяч,  
Как один аршин, аршин —

Самого красного ситца,  
Яростного кумача,  
Такого, что и не приснится  
Мумии Ильича!..  
На рабочих, простых, ткацких  
Наткано на станках!  
Но не ради штанов батрацких  
И вовсе не для рубак,  
А высшего смысла ради, —  
Чтоб пламенем от знамен  
И в Москве, и в Ленинграде  
Объялся бы небосклон,

Чтоб на Лондон, Париж, Вену  
Горело, алело, жгло,  
Чтоб лорду, чтоб Чемберлену  
Переносицу обожгло!

Ликуй, Русь, от Колхиды  
До Онеги несися вскачь!  
Ты, выдавшая виды,  
Видишь этот кумач?..

Тебе ли штандартов мало,  
Невесело что ж глядишь?  
Опять за воблой стала  
В очередь и стоишь!..

Гляди-ка и глазом смеряй,  
Сколько, во славу веков,  
Из этих высоких материй  
Можно сделать портков,

Рубах из алого ситца,  
Сарафанов из кумача,  
Таких, что и не снится  
Мумии Ильича...

А тебе, голодной, голой,  
Тычут штандарты зря  
И велят еще быть веселой  
По случаю Октября!

1928

**«В МОСКВУ! В МОСКВУ! В МОСКВУ!»**

«Эх, кабы матушка-Волга  
Да вспять побежала...»  
Кабы можно было беженцу  
Начать бег сначала.

Переделать мгновенно  
Весь путь превратный,  
Да из департамента Сены —  
Да бегом обратно!

Да чтоб путь-дорога  
Укаталась гладко,  
Чтоб бежать вольготно,  
С ленцой, с пересадкой,

Где пешком, где летом,  
А где в тарантасе,

С высадкой в Берлине,  
На Фридрихштрассе!..

Из Берлина по скользким,  
По коридорам узким,  
К границам польским,  
К местечкам русским,

Через речки бурые,  
Берега покатые,  
Где домишки хмурые,  
Подслеповатые

Стоят, пригорюнившись  
С утра, спозаранку,  
Слезятся, тянутся  
К *Столцам*, к полустанку!..

А оттуда в любезных,  
В ленивых, в сонных,  
В трясучих, в железных,  
В вагонах зеленых,

С гармонью, со свистом,  
С плачем женским,—  
Через Минск, Борисов,  
К лесам смоленским,

Через Вязму с пряником,  
Бородино на Колочи,  
Счастливым странником  
Среди темной ночи.

Предпоследние станции  
Голицыно, Одинцово  
Увидать после Франции,  
После всего былого!..

1928

#### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Я гляжу на вашу шубку,  
Я расстроиться готов:  
Сколько было перебито  
Милых дымчатых кротов.

Сколько твари этой серой  
Уничтожено в полях,  
Лишь бы вам блистать Венерой,  
Утопающей в мехах!..

А когда еще и мрамор  
Вашей шейки неземной  
Оттеняете вы пышной  
Черно-бурою лисой,

Мне, кому бы только славить  
Вашу смутную красу,  
Мне становится обидно...  
Не за вас, а за лису!

Я гляжу на ваши руки,  
И считаю, мизантроп,  
Сколько надо было горных,  
Темноглазых антилоп,

Грациознейших животных  
Меткой пулей пронизать,  
Чтоб могли вы и перчатки,  
Как поклонников, менять!..

Я гляжу на сумку вашу,  
На серебряный затвор.  
А на сумке чья-то кожа  
Очаровывает взор.

И встает передо мною  
Голубой, далекий Нил...  
И шепчу я с тихой грустью:  
— Бедный, бедный крокодил!

Наконец, на ваши ножки  
Я взволнованно гляжу,  
И дрожу, и холодею,  
Холодею и дрожу...

Ради пары ваших туфель,  
Ради моды, для забав...  
Черным негром был отравлен  
Ядом собственным удав!!

И когда в звериных шкурах,  
В перьях птиц и в коже змей,

Вы являетесь Дианой,  
Укрощающей зверей,

Я хочу спросить невинно,  
Тихо, чинно, не дыша:  
— Где у вас, под всей пушниной,  
Помещается душа?

1928

### «ЭКЗЕРСИС»

Когда будете, дети, студентами...

*Апухтин*

Когда будете, дети, шоферами,  
Не витайте над звездными сферами,  
Не питайтесь пустыми химерами,  
Не живите отжившими эрами,

Не глядите на жизнь староверами,  
Не мечтайте быть в Англии пэрами,  
Во французской республике мэрами,

Ни в Испании Примо-Риверами,  
Ни в Америке миллиардерами!

И не вздумайте бредить Венерами,  
Расточать свою юность амперами,  
Унижаться пред злыми мегерами  
И, пленившись такими карьерами,  
Стать любовных утех браконьерами!

Нет, друзья... Не подобными мерами  
Надо в жизни бороться с мизерами!  
И не весело слыть лицемерами,  
Быть ханжами и важными сэрами,  
Оставаясь в душе изуверами,  
Украшать свою грудь солитерами  
И, вонне щеголяя манерами,  
Поражать бенуары с партерами...

Иль, всегда занимаясь аферами,  
Быть дельцами и акционерными,  
Услаждать свои взоры Ривьерами,  
Чтоб затем, нагрузившись мадерами,  
Очутиться во склепах с пещерами,

И, покоясь под плитами серыми,  
Быть осмеянным всеми Мольерами.

Нет, друзья мои! Ставши шоферами,  
Вдохновляйтесь иными примерами!  
Вам ли легкими править галерами,  
Соблазняясь земными цитерами,  
Чтоб за краткое счастье с гетерами  
Всех небес заплатить атмосферами?

Вы, рожденные легионерами,  
Оставайтесь всегда кавалерами!

Вы не можете быть шантеклерами!

Но, построясь густыми шпалерами  
И на счетчик взорвавшись пантерами,  
Будьте нашей надежды курьерами,  
Будьте честными, будьте шоферами!

И за это Гомеры с конфрерами  
Вас прославят любыми размерами.

1929

### ПОСЛАНИЕ ДЕМЬЯНУ БЕДНОМУ

Официально отпразднован 20-летний  
юбилей Д. Бедного

Птички прыгают на ветке.  
Распускается жасмин.  
Честь имею вас поздравить  
С юбилеем, гражданин!

Двадцать лет писать поэмки,  
Гнать стишки на километр...  
Это даже и ребенку  
Очевидно, что вы мэтр!

От сохи ль вы, я не знаю...  
Но, по слогу, по стиху,  
Вы, как я предполагаю,  
Прямо вделаны в соху!

Говорят, что местный рынок  
Тверд в решении своем:  
Что ни слово, то суглинок,  
Что ни строчка, чернозем.

И, уверясь в идеале  
Окружающей мордвы,  
Вы действительно пахали,  
Прямо землю рыли вы!..

Но у вас характер пылкий,  
В поле тесно было вам...  
Вас влекло на лесопилки,  
К доскам, к бревнам, к топорам!..

Стон стоял на всю окрестность,  
Закачались леса.  
— Пропадай, моя словесность,  
Все четыре колеса!

Честный пот с лица катился,  
И, упарясь и вспотев,  
Вы имели трижды право  
Изливать гражданский гнев!

— Я не скучный слов точильщик,—  
Вы сказали,— я другой...  
Я простой продольный пыльщик,  
Я работаю пилой!

И, рубанок взяв упрямый,  
Страшный выпятив кадык,  
Вы стругали этот самый,  
Сплошь тургеневский язык...

И за это вас прославить  
Должен хилый будет век.  
Честь имею вас поздравить,  
Гражданин и дровосек!..

1929

## ТО, ЧЕГО НЕ БУДЕТ

*(Окончательный и отрицательный гороскоп  
на 1929-й год)*

Не бросит Горький дом в Сорренто.  
Не успокоится Китай.  
Коти не станет президентом.  
Не станет девой Коллонтай.

Бритьем и стрижкой Аманулла  
Не обновит Афганистан.  
Не станет килькою акула.  
Не станет Пушкиным Демьян.

Не перестанет славить ханов  
Эфрон, Карсавинский баскак.  
И, раз отравленный, Бажанов  
Не успокоится никак.

И, несмотря на все сиянье,  
На славы блеск, и треск, и дым,  
Не уменьшится расстоянье  
Между Красновым и Толстым.

И если все со счета скинув,  
Суд скажет — Он не виноват...  
То все же младший брат Литвинов  
Не будет там, где старший брат.

Не перестанет в вечном трансе  
Качаться Струве вниз и вверх.  
Не станет душкой доктор Нансен,  
Наш Богом данный главковерх.

Никто чудесного грузина  
Не сможет, скажем... так и быть!  
Ни переделать на блондина,  
Ни в Бэконсфильда превратить.

Но, осудив его сурово,  
Что зрим в полярности его?  
Ведь и из Маркова Второго  
Не выйдет ровно ничего!..

Засим, чтоб кончить гороскопа  
Столь негативную чреду,  
Мы скажем просто: ни потопа  
Не будет в нынешнем году,

Ни пробужденья сил инертных  
И ни стихийного вреда,  
Ни в Академии бессмертных  
Князь-Святополка, господ!..

1929



## РЯД ВОЛШЕБНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ

*Троцкий, Троцкого, Троцкому...*

1

Стоять на черных площадях,  
Чеканить медленную прозу  
И принимать, внушая страх,  
Наполеоновскую позу...

Сжимать во гневе кулаки,  
Готовив адские реторты,  
«И слабым манием руки»  
Передвигать свои когорты...

Хрипеть, командовать, грозить  
И так вздымать и нос и профиль,  
Чтоб каждый мог сообразить,  
Что это явный Мефистофель...

Швырять в провал грядущих лет  
Казну награбленных наследий...  
— Какой заманчивый сюжет...  
Для исторических трагедий!

2

«Во глубине сибирских руд»  
Страдать за твердость убеждений  
И все рассчитывать на суд  
Каких-то новых поколений...

Во мраке северных снегов,  
Точь-в-точь как Меншиков опальный,  
Сносить обиды от врагов  
И проклинать свой рок печальный...

Являть собою тип борца,  
Который полон чувств высоких,  
И ждать коварного свинца  
От соглядатаев жестоких...

Глядеть на собственный скелет,  
Считать былые килограммы...  
— Какой заманчивый сюжет  
Для многоактной мелодрамы!

Но, за порог успев шагнуть,  
Начать сейчас же, и не к стати,  
В двояко-вогнутую грудь  
Себя публично колошматить.

Но пококетничать не прочь,  
Не соблюдая достоинств чина,  
Взорваться бешено, точь-в-точь  
Как пневматическая шина...

Но, хмурия бледное чело,  
Плечами двигая худыми,  
Замучить сорок дактило  
Воспоминаньями своими.

И завалить столбцы газет  
Изыском слова, слога, стиля...  
— Какой заманчивый сюжет,  
Какой сюжет для водевиля!

1929

#### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Был месяц май, и птицы пели,  
И за ночь выпала роса...  
И так пронзительно синели,  
Сияли счастьем небеса,

И столько нежности нездешней  
Тогда на землю пролилось,  
Наполнив соком, влагой вешней,  
И пропитав ее насквозь,

Что от избытка, от цветенья,  
От изобилья, от щедрот,  
Казалось, мир в изнеможенье  
С ума от счастья сойдет!..

Был месяц май, и блеск, и в блеске  
Зеленый сад и белый дом,  
И взлет кисейной занавески  
Над русским створчатым окном.

А перед домом, на площадке,  
Веселый смех, качелей скрип.  
И одуряющий и сладкий,  
Неповторимый запах лип.

Летит в траву твой бант пунцовый,  
А под ногой скользит доска,  
Ах, как легко, скажи лишь слово,  
Взмахнуть и взвиться в облака!..

И там, где медленно и пыпно  
Закатный день расплавил медь,  
Поцеловать тебя неслышно,  
И если надо, умереть...

Был месяц май, и небо в звездах,  
И мгла, и свет, и явь, и сон.  
И голубой, прозрачный воздух  
Был тоже счастьем напоен.

Молчанье. Шорох. Гладь речная.  
И след тянулся от весла.  
И жизнь была, как вечер мая,  
И жизнь и молодость была...

И все прошло, и мы у цели.  
И снова солнце в синеве,  
И вновь весна, скрипят качели,  
И чей-то бант лежит в траве.

1929

## **ВЕШНИЕ ВОДЫ**

«Дождались мы светлого мая»  
И радостных, майских гонцов!..  
И вот уж вода ключевая,  
Стекающая от верхних жильцов,

Бежит по упрямым карнизам  
И льется в наш тихий уют,  
И так эти струйки капризно  
На головы наши текут,

Как будто мы вслух умоляли,  
Чтоб утром, в назначенный час,

Соседи цветы поливали  
И хлюпали прямо на нас.

— Дождались! Дождались! Дождались...  
Кипение! Пена! Угар!  
Какие-то шлюзы прорвались,  
Слетели со всех Ниагар,

И всхлипами всех клокотаний,  
И накипью желчи и слез,  
И грозною бурей в стакане  
Семейный бурлит купорос!..

— У Петьки экзамен французский,  
А он и не думает, хлыщ.  
Катюша вздыхает о блузке.  
У Оленьки выскочил прыщ.

Из платица выросла Тася.  
И нужен жене туалет,  
И требует каторжник Вася  
Свободы, штанов и штиблет!

А папа, пронзив зубочисткой  
Единственной мудрости зуб,  
Мечтает от истины низкой,  
Уйти в возвышающийся клуб,

Отдаться слепому азарту  
И в счастья вступить полосу,  
Вот так и поставить на карту  
И жизнь, и дырявое су!..

А в окнах хрипят граммофоны,  
Посудой кухарки стучат,  
Трещат и звенят телефоны,  
Какие-то дети кричат,

И тонут в их хоре жестоком  
Счастливые вздохи отцов...  
А вешние воды потоком  
Стекают от верхних жильцов.

1929

## ОТРЫВКИ ИЗ ИСТОРИИ МИРА

1

Люди каменного века  
Жили медленно и вяло...  
Назначение человека  
Только в том и состояло,

Чтоб чесать себя под мышкой,  
Состязаться в диком вое  
И с убийственной отрыжкой  
Жрать сырье как таковое.

И хотя они не лезли  
Никогда в аристократы,  
Но зато ж у них и нервы  
Были вроде как канаты!

2

Дети Греции и Рима  
Жили более развратно.  
Жили тоже без комфорта,  
Но красиво и приятно.

То упорно предавались  
Жесточайшей в мире брани,  
То мастикой натирались  
В знаменитой римской бане,

То дымящуюся кровью  
Заливали прах арены,  
То себе ж, во вред здоровью,  
Перерезывали вены.

Но и римляне и греки,  
Уверяют Геродоты,  
Не имели огорчений  
И не ведали заботы.

3

Смутный мир средневековья,  
Католический и хмурый,  
Баритоном и любовью  
Освежали трубадуры.

Надевали полумаски  
И часа четыре сряду  
Про одни и те же глазки  
Голосили серенаду.

Пели страстно, пели жарко,  
Все забыв на этом свете!  
А потом пришел Петрарка,  
А потом пошли и дети...

1929

## ЧЕЛОВЕК И ЕГО ПРИТОКИ

### *Философские размышления*

Мир как солнечная призма.  
Небосвод блаженно тих.  
Для тоски, для пессимизма —  
Оснований никаких.

Начиная с Гераклита,  
Все струится, все течет.  
И менять свое корыто  
Не резон и не расчет.

Прав философ, что, не споря,  
Не борясь за идеал,  
Сел на корточки у моря  
И погоды ожидал.

— Будет, будет вам погодка!—  
Говорил он сам себе,  
Научившись очень кротко  
Подчинению судьбе.

И когда его приливом  
Прямо в море унесло,  
Было также горделиво  
Философское чело.

И да будет нам уроком  
Этот самый Гераклит,  
Что внизу, на дне глубоком,  
Столько времени лежит.

Ибо мы не сознаемся,  
Восставая на судьбу,  
Что и мы течем и льемся  
В водосточную трубу,

Кто потоком, кто каскадом,  
И сверкая, и змеясь,  
Кто широким водопадом,  
Кто по капельке струясь...

Но, когда земных страданий  
Весь наполнив водоем,  
В этом жидком состоянье  
Мы предстанем пред Творцом,

Мутны, скользки, безобразны,  
Отвратительны на вид,  
Он нас всех в газообразный  
В пар и в воздух обратит!..

И, сгустившись в небе синем  
В сумрак, в тучу и в грозу,  
Мы таким потоком хлынем  
На оставшихся внизу,

Так намочим их сердито,  
Что они, под треск и звон,  
Вспомнят, черти, Гераклита  
Древнегреческих времен!

1929

## ОДА НА УХОД А. В. ЛУНАЧАРСКОГО

В последний раз блистательным светилом  
Озарены граниты колоннад.  
Так суждено. И вот с суконным рылом  
Солдат Бубнов грядет в калашный ряд.

Потрясены порфиновые своды,  
И небеса грозой омрачены.  
И — в ужасе счастливые народы  
Счастливейшей на глобусе страны.

И в рубище, во вретнице изгнания  
Исходит он!.. И слышатся вокруг

Гражданских жен безумные стенанья,  
И стон, и вопль оставленных подруг.

Поет труба. Бетховенские марши  
Наводят грусть и панику окрест.  
И уж бегут во страхе секретарши  
С насиженных и секретарских мест.

И только он, и Феб и Анатолий,  
И драматург, и тайный беллетрист,  
По склонностям законченный Павзолий,  
По паспорту весьма социалист,

С лукавою улыбкою взирает  
На новообращенную Дафнэ,  
И прядь волос небрежно оправляет  
И скидывает потное пенсне.

Он все постиг: и негу пресыщенья,  
И власти хмель, и некой бездны край.  
И видел он на ниве просвещенья  
Такой необычайный урожай,

Такой восторг счастливого покоса,  
Таких соревнований идеал,  
Что в качестве жнеца и наркомпроса,  
Вот именно, и сеял, и пожал.

Разбита цепь невежества и мрака...  
Теперь в избе любого мужика  
Читают утром Бобу Пастернака,  
А вечером читают Пильняка!

Исчез Олимп. Осиротели горы.  
Поэзия покинула Парнас  
И переходит прямо на заборы —  
Для действенного пользования масс.

...И свет блеснул над плешью комиссара,  
И снова тьма. И слышен шум шагов  
Грядущего на смену кашевара  
С веселенькой фамилией Бубнов.

1929



## НА МОТИВЫ КАДРИЛИ

Выпью штофа половину,  
Дух селедочкой взбодрю  
И прославлю Октябрину,  
Эту девушку-зарю,

Эту деву-комсомолку  
Под орешек и под дуб,  
Этих кос льняную холку,  
Эту челку, этот чуб,

Этих глаз ее калмыцких  
Две продольных бирюзы,  
И красот ее мужицких  
Первозданные низы,

И лукавый, скорый, зоркий,  
Этот взгляд из-под бровей,  
И живой скороговорки  
Ослепительный ручей!..

Славься, славься, Октябрина,  
Славься, девушка-заря!  
Это ты первопричина  
Перемен календаря!..

Это ты пришла как Муза  
Под орех и под бамбук,  
В Академию Союза,  
В Академию Наук!

Это ты их вдохновила  
На великие дела,  
Разделила, сократила,  
Закусила удила,

И со ржаньем, со гражданским,  
Приумножа свой задор,  
По твердыням юлианским  
Понеслась во весь опор,

Окрылила вдохновеньем  
Раболепные стада  
И субботу с воскресеньем  
Зачеркнула навсегда!..

Отчего ж, и в самом деле,  
Не ввести в советский строй  
Восемь пятниц на неделе,  
А субботы ни одной?!..

Это даже интересно,  
Это прямо торжество —  
Уничтожить день воскресный,  
Неизвестно для чего!

Жизнь — не храм, а мастерская,  
Жизнь — слободка, а не клуб...  
Ах, ты, милая, какая,  
Муза, девушка под дуб!..

Очень весело живется  
С Октябриной на Руси,  
А из сердца так и рвется  
И спасибо, и мерси!..

1929

**АТЬ! ДВА!..**

**В четыре года покончить с невежеством,  
в три года ликвидировать безграмотность!**

*Приказ Бубнова,  
народного комиссара*

«Гром победы раздавайся»...  
От верхов и до низов!  
Ты ж не дрыгай, не шатайся,  
Ослепительный Бубнов!

Стой, наследник Дидерота,  
Просветивший наши дни,  
Стой на месте, злая рота,  
Даже глазом не моргни!

Не тебя ль покойник Бебель  
Предвещал во тьме времен,  
Наш пронзительный фельдфебель,  
Наш Брокгауз, наш Ефрон?!

Не твою ль в грядущем мраке  
Он провидел красоту —  
В гимнастерке цвета хаки  
И в сапожках на ранту?!

И, рябой и красномордый,  
С грудью полным колесом,  
Ты ступил походкой твердой  
На российский чернозем.

Стал навтыжку, не киснул,  
Оглядел себя до пят,  
Пальцы в рот — и зычно свистнул,  
Так, как именно свистят

Солдафоны и матросы,  
Запевалы, свистуны  
И другие наркомпросы  
Этой северной страны.

И, привыкшая беспечно  
К зычным посвистам и встарь,  
Вся страна легла, конечно,  
На отечества алтарь.

И, в лежачем положенье  
На верхушке алтаря,  
Предавалась с увлеченьем  
Изученью букваря.

А над ней стоял спесиво  
Писарь с пальцами во рту  
И толкал ее в загривок  
Сапожками на ранту...

1929

**«ГАМЛЕТ, ПРИНЦ ВЯТСКИЙ...»**

Крестьяне просят разъяснить, подлежит  
ли свинья коллективизации?

*Известия*

Как поступить с последнею свиньей?  
Считать ее наследницею барства,  
Которая подтачивает строй  
Единственного в мире государства?

С презрением хавронью заколов,  
Предать ее копчению, а копоть,  
Без пафоса, без пошлости, без слов,  
Вот именно, не рассуждая, слопать?

А гиблый дух Шекспировских цитат?..  
— Пожрать — уснуть... Уснуть, быть может, грезить...  
«А если сон виденья посетят?»  
Особенно, когда свињью зарезать?!

Иль, подавив естественный порыв  
И изменное чувство аппетита,  
Отдать свињью в ближайший коллектив,  
Как некий взнос для общего корыта?

И чувствовать, что ты освобожден! —  
Исполнен долг борца и гражданина,  
И поколениям будущих времен  
Уже приуготовлена свињина...

Хотя с другой, с обратной стороны,  
С обратной, но, конечно, не свињчей,  
Кем могут быть гарантии даны,  
Что поступить не мог бы ты иначе?!

Республика... Отечество... Алтарь...  
Ударный жест... решительная схватка...  
Но требовать ударного порядка  
Легко в теории. А в практике — ударь,  
Так эта бессознательная тварь  
Берет и поддыхает без остатка!..

А ты хоть извивайся как змея, —  
С советской властью шуточки плохие:  
Доказывай, что это не свињья,  
А мелкобуржуазная стихия!..

Но власть не верит, грозно, впопыхах,  
Она орет: «Уловка да лазейка!..»  
Берет за чуб, трясет, вгоняет в страх.

Недаром выражался Мономах:  
— Да, тяжела ты, шапка и ячейка!..

1930

## СОВЕТСКИЙ АЛЬБОМ

### 1

Не обольщайтесь, человеки,  
На стогах ваших заграниц...  
Не говорите: вскрылись реки  
И слышен шум и гомон птиц!

Под впечатлением момента  
Не говорите — вот, заря!..  
Когда убьют корреспондента  
Или побьют секретаря.

Когда дежурная Маруся  
Покинет в гневе комсомол  
За то, что писарь был обманщик  
И наплевал на женский пол...

Но в роковую ту минуту,  
Когда наступит тишина,  
И, зову Сталина послушна,  
Взойдет кавказская луна,

И он, белки наливши кровью,  
И черноус, и чернобров,  
Посмотрит с гордою любовью  
На результат своих трудов

И станет слушать на досуге  
И плеск волны, и гомон птиц...  
Тогда готовьтесь, о други,  
На стогах ваших заграниц!

Затем, что мудрости достойно  
Постигнуть истину сию:  
Когда на Шипке все спокойно,  
То, значит, Шипка на краю.

### 2

Ввиду дороговизны фраков, советским дипломатам предписана косоворотка с позументами.

Конечно, тонет мир во мраке,  
Но, несмотря на этот мрак,  
Не шляйся целый день во фраке,  
Как с торбой писаной дурак.

Зачем ты кудри напомадил,  
Вооружил моноклем глаз  
И социальный наш изгадил  
Убогой роскошью заказ?

Где Робеспьеров и Маратов  
И вольный дух, и смерч кудрей?  
— «В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов»,  
В Москву, на площадь, в мавзолей!

В косоворотку, в шаровары,  
В зипун, в овчину и в армяк,  
В ночлежный дом, в подвал, на нары,  
В советский быт, в гражданский брак!

Чтоб не по платью вас встречали  
В Европе затхлой и гнилой,  
Чтоб вас по морде провожали  
Из-за границы — и домой!..

1930

## ВЕСЕННИЙ ЕРАЛАШ

1

Начинается весенняя пора.  
Начинают оживать доктора,  
И как только человека просквозит —  
По пятидесяти франков за визит!

2

Все набухло, все разбухло, все цветет.  
Все живое поразительно растет.  
И на почве потрясения основ  
Даже дети вырастают из штанов,  
И нахально, под влиянием весны,  
Реагируют на новые штаны!..

3

С подоконника шестого этажа  
Смотрит ласковая кошка на чижа,  
А из пятого на кошку фокстерьер,  
Направляет свой собачий глазомер,  
И у каждого, по смыслу бытия,  
Психология имеется своя...

4

Человеческий усталый организм  
Ощущает этот бурный пантеизм,  
Накопление, смятение, порыв,  
Набухание, стремление, разрыв,  
Пробуждение, светление, рассвет,  
Одоление, цветение, расцвет!..

5

А в природе сумасшествие и грех.  
Все влюбляются решительно во всех!  
Все как будто помешались по весне,  
Муха бешено мечтает о слоне!..  
И страдает, и вздыхает тяжело,  
Как влюбленная в патрона дактило!  
А слоны уж убегают от слоних,  
И присяжные оправдывают их...

6

Начинается весенняя пора.  
Начинается безумие с утра!  
Как вступление, как радостный пролог,  
Получается повестка на налог...  
За повесткою — в четырнадцатый раз,  
Получается квитанция на газ,  
А за газовой немедленно вослед  
Электрический приходит дармоед,  
И стоит, непроницаем и румян,  
И еще и улыбается, болван!..

1930

### БЕЗ ЗАГЛАВИЯ

Пора начать социалистическое наступление на музыкальном фронте!

*Из советских газет*

Сколь приятно из далека  
Созерцать зарю Востока,  
Искушенный теща взор —  
Этим пламенным сияньем,

Этим розовым пыланьем  
Этих собственных Аврор!..

Что ни день, то достижение,  
Что ни час — преображение,  
Претворение мечты,  
Тайнам новое причастье,  
На земле земное счастье  
И победа красоты!

Не могу застыть в покое...  
Дайте что-нибудь такое,  
Чтобы мог я колотить,  
И чтоб мог я барабанить,  
Дробью душу затуманить,  
Радость бурную излить!

Так и хочется галопом  
Проскакать по всем Европам,  
Учинить у них Содом —  
И воскликнуть: «Посмотрите.  
И немедленно умрите,  
Пожираемы стыдом!»

Разве снилось вам, гниющим,  
Вам, во прахе трижды сущим,  
Нечто равное тому,  
Что теперь, даю вам слово,  
Блеском солнца мирового  
Всю прорезывает тьму?!

Мы с душою семиструнной,  
Мы, кого сонатой лунной  
Угощал еще Мамай,  
Мы, над кем от колыбели  
Без конца звенели трели,  
Открывающие рот,—  
И конечно, мы мечтали  
О последнем идеале,  
Знаменующем рекорд —  
В день, когда над всей вселенной  
Грянет мощью вожденной  
Заключительный аккорд!

Пусть еще у музыкантов  
Нет достаточных талантов,  
А в руках одни смычки...  
Нам не надо инструментов!



Мы и так интеллигентов  
Обыграем в дурачки!..

Потому что в мире пресном,  
В уравнение с неизвестным,  
Мы, вот именно, есть икс!  
Будет день — и грянет опус,  
И не только на Европу-с,  
А на весь на материк-с!

Ничего не пожалеем,  
Так ударим, так огреем,  
Что воскликнет мир, зловещ:  
— А, действительно, какая  
Эта музыка Мамаея  
Симфоническая вещь!..

1930

#### ОСКОМИНА

Возможно, что это —  
Разлитие желчи.  
Больная печенка. А главное, годы.  
А может быть, это —  
Влияние солнца.  
Истомное лето. Законы природы.  
Возможно. Не знаю.  
Но в стужу и в слякоть,  
Порой негодуя, порой умиляясь,  
А чаще смеясь,  
Чтоб только не плакать,  
Я чтением советских газет занимаюсь...

Как жемчуг нижу я  
Жемчужины слога,  
Платформы, и формы погуще и резче,  
Поход пионеров  
На Господа Бога,  
И всякие измы, и прочие вещи...  
Зимой это просто:  
«Кулацкая тема»,  
«На базисе тезисов срыва колхоза».  
Сие означает,  
Что жизнь не поэма,  
Менжинский не ландыш, и Сталин не роза.

Но летом!.. Но летом,  
Когда этот Цельзий  
Буквально безумствует в трубке стеклянной,  
Когда под окошкѡм  
Мостят мостовую  
И край перепонки моей барабанной,  
Когда это скопом,  
И сразу, и вместе —  
Влечет вас под пальмы, в пустыню, в оазис,  
Скажите открыто,  
Признайтесь по чести —  
Волнует вас тезис? Тревожит вас базис?!

Я думаю с грустью  
О тех обреченных,  
В которых, как яблоки в бедного гуся,  
Пихают начинку  
Толченых, моченых  
Листовок, брошюрок, агиток, дискуссий...  
На каждую душу —  
Пайковая жвачка,  
На каждую жвачку — оброчные души!  
Нет, лучше пускай уж  
Мостят мостовую  
И грохотом камня терзают мне уши...

1930

#### НА КОШАЧЬЕЙ ВЫСТАВКЕ

В исканиях земного идеала,  
Познания, истоков и основ  
Великий смысл кошачьего начала  
Открылся мне на выставке котов.

Все гибкое, все хрупкое, все злое,  
Мятущееся в гибельной тоске,  
Таящееся в видимом покое,  
Сокрытое в хрустящем позвонке,

Блеснуло мне и вырвалось оттуда,  
Из глубины сощурившихся глаз,

Из зелени, из тайны изумруда,  
Из желтизны, впадающей в топаз,

Из тусклой тьмы смарагда и агата,  
Из косных недр и облачных химер,  
Которые описывал когда-то  
Замученный любовницей Бодлер...

Но, равнодушна к памяти Бодлера,  
Водила ты по выставке меня.  
В твоих глазах, зеленовато-серых,  
Был тот же блеск заемного огня,

Пронзительный, загадочный, лучистый,  
Не ласковый, не женский и не твой,  
А этой кошки, рыжей и пушистой,  
Персидской кошки с шерстью золотой...

Но ты, увы! Бодлера не читала,  
И от стихов ты приходила в грусть...  
Зато ты просто кошек обожала  
И все породы знала наизусть!

— Персидский кот с жестокими усами,  
Священный кот, подведомственный Бrame,  
Шотландский кот, одетый в коверкот,  
И белый кот, воспитанный в Сиаме,  
И голубой, индокитайский кот,  
И черный кот для Брокена, для оргий,  
И серый кот для щедрых производств...  
И ты была в безумии, в восторге  
От этих рас, пород и благородств!..

Когда ж домой с тобой я возвращался  
И нам котенок маленький попался,  
Измученный, несчастный и худой,  
Мяукавший, намокший под дождями,  
Родившийся, конечно, не в Сиаме,  
А, вероятно, в яме выгребной,  
Ты так его ногою оттолкнула,  
А на меня так ласково взглянула,

Что понял я, что очередь за мной!..

1932

## ПОЭМА БОДРОСТИ

1

Не падай духом, человек,  
Не следуй силам непреложным.  
Не забывай, что этот век  
Не ограничен невозможным!

И, даже стоя на краю  
И различая дня зиянье,  
Упорно верь в звезду твою,  
В ее бессмертное сиянье!

Слепому случаю вручай  
Твои последние надежды  
И лишь слезой не омрачай  
Так называемые вежды!

Идя по трудному пути,  
Как счастья собственного стражник,  
Во-первых, можешь ты найти  
Тот исторический бумажник,

О коем грезит испокон  
Искатель чуда безрассудный  
И в коем ровно миллион  
Лежит, торжественный и чудный...

Затем ты можешь, во-вторых,  
Свой страх естественный осия,  
Попасть без трудностей больших  
Под колесо автомобиля.

И, согласившись полежать  
Под сим чудовищем пытящим,  
В одну минуту встать и стать  
Капиталистом настоящим!

Конечно, Боже упаси,  
Скажу для скучного примера,  
Попасть под пошлое такси,  
Да еще русского шофера...

Он, несомненно, повредит  
Твой торс, достойный Аполлона,

И даже срок свой отсидит,  
Но не заплатит миллиона...

А посему, ища удач,  
Имен прославленных не бойся  
И постарайся, словно мяч  
Катаясь, катиться под «роллс-ройса»!

Итак, бодрись! Отбросив лень,  
И от рассвета до рассвета,  
По тротуарам ночь и день  
Броди, как тень отца Гамлета,

И ты свой рок подстережешь.  
И то найдешь, что ожидаешь...  
А если даже не найдешь,  
То уж зато ж и погуляешь!

## 2

Играйте в гольф! Одолевайте старость,  
Седой венец носите набекрень,  
Восход зари пророчит зной и ярость.  
Закат зари сулит покой и тень.

Но мудрость дней нуждается в оправе,  
И возраст — это лучший ювелир.  
Глядите ж легче, проще и лукавей  
На этот заблуждающийся мир!

У молодости жадное дыханье,  
И быстр и расточителен рассвет.  
Недаром поздних роз благоуханье  
Давно воспел классический поэт.

Но эти розы требуют ухода  
Внимательной и опытной руки,  
Чтоб сохранить до будущего года  
Их тронутые тленьем лепестки.

Густым вином наполненную чашу  
Отвергните! и просто, без прикрас,  
Вкушайте ледяную простоквашу  
И помните, что Мечников за вас!

Холодный душ, струя одеколона,  
Гимнастики и ритм, и благодать.

И перед сном читать Анакреона,  
И в руки Достоевского не брать!..

Открытый взгляд, упругая походка,  
Монокль в глазу!.. и докажите мне,  
Что мир должна спасти косоворотка,  
Зловещий клок, козлиная борода  
И преданность угрюмой старине?!

Играйте в гольф! И, молодости ради,  
Носите шляпу типа болеро,  
А сбоку, как охотники в Канаде,  
Воткните разноцветное перо.

И время лет да станет праздным мифом,  
Легендою в забытых письменах.  
Играйте в гольф! Не подражайте скифам!  
И берегите складки на штанах!

1928, 1933

## ПЕСНИ ИЗГНАНИЯ

### золотой сон

Господа! если к правде святой  
Мир дорогу найти не сумеет,  
Честь безумцу, который навеет  
Человечеству сон золотой!

*Надсон*

Пусть он явится северным скальдом,  
Миннезингером сказочных лет.  
Пусть безумца зовут Макдональдом,  
Если лучшего имени нет.

Пусть он будет брамином индусским,  
И жрецом вожделеющих масс.  
Или даже подвижником русским,  
Как весьма уважаемый Влас.

Пусть он будет японец, китаец,  
Или житель обеих Гвиней,  
Или самый последний малаец...  
Это им уж, малайцам, видней!

Пусть из тьмы, из пустыни придёт —  
Как какой-нибудь жалкий Номад.

Пусть из «Нового Града» он будет,  
Если даже не нов этот Град...

Пусть он будет пророк гениальный,  
Или, чаяньям всем вопреки,  
Пусть он будет дурак интегральный  
В переводе на все языки.

Все равно... Поколенья лелеет  
Эту мысль с незапамятных лет.  
— Только пусть он придет и навеет!  
Потому что терпения нет...

Потому что покуда мы станем  
И томиться, и веялки ждать,  
Мы и сами дышать перестанем...  
А на мертвых уж что навевать!

1932

#### CHANSON À VOIRE

От Гренады до Севильи  
Все танцует, все поет...  
Скиньте ж, Маша, тип мантильи  
С ваших мраморных красот!

В наших табелях о ранге —  
Возраст только атавизм.  
А поэтому, мой ангел,  
Не впадайте в пессимизм.

Горячо рекомендую —  
«За святой девиз вперед»  
Выпить рюмочку, другую,  
На четырнадцатый год.

Если червь вам сердце гложет,  
Прикажите — задушу!  
Если ж это не поможет,  
То прощения прошу...

Значит, вашей сердцевины  
Не коснулся мой аккорд.  
Значит, я, как тип мужчины,  
Не созвучен в смысле морд.

Но в надежде, что прискорбный  
Факт сей может и не быть,  
Я прошу ваш профиль скорбный  
Хоть на фас переменить.

Потому что, чем яснее  
Ваши томные черты,  
Тем вы больше в апогее  
Нашей женской красоты.

Так роскошно стрижка ваша,  
Как античный вьется фриз,  
Что прошу вас, выпьем, Маша,  
За какой-нибудь девиз!

Выпьем раз от сострадания,  
А для вкуса — по второй,  
И наш горький хлеб изгнания  
Густо вымажем икрой!

1933

#### АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ

Не хочу хрестоматий и сказок,  
Ни стихов, ни легенд, ни поэм.  
Я желаю Анютиных глазок...  
А иных не желаю совсем...

Все бывшие богини — в отставку!  
Не хочу ни Венер, ни Минерв.  
Ах, скорей бы на землю — на травку,  
Несмотря на седалищный нерв...

Сколько было ошибок во вкусах,  
Сколько раз, безнадежный вопрос,  
Разводилось колес на турусах!  
Дальше больше турус, чем колес...

Для чего, на Анюту не глядя,  
Ты на Энгельса юность губил?  
Кто он был тебе? тетя или дядя?  
Или школьным товарищем был?

А потом ты ушел к декадентам...  
Для чего? Отчего? Почему?



И когда отравлялся абсентом,  
То зачем? И в угоду кому?

Ах, как часто менялись позы,  
И герой, и под ним пьедестал...  
Декадент, ты искал туберозы,  
А Анютины глазки топтал?!!

Это верно, что жизнь авантюра,  
И исполнена всякого зла,  
Но была бы Анюта не дура,  
Уж она б тебя в руки взяла!

Не срывал бы ты желчно повязки,  
Не писал бы роман на ходу...  
И цвели бы Анютины глазки  
И в твоём предзакатном саду.

1932

## ПОЭМЫ БОДРОСТИ

МЕСТЬ РАКА

И свистнул рак... И, вызов мирозданию  
Послав в упор,  
Он свистнул так, всему естествознанию  
Наперекор,

Как будто всем на свете эгоистам  
И свистунам  
Хотел сказать своим свободным свистом:  
— Проклятье вам!

И ветер стих. И дрогнули колосья.  
И вспыхнул мак.  
А он им мстил за годы безголося  
И, как Спартак,

Как некий раб, который высшей власти  
Вдруг захотел,  
Восстал и мстил! И цепи рвал на части,  
И в свист свистел!..

И в тот же миг исчезли без изъятья  
Причины смут.

И стали все — двоюродные братья  
И там, и тут.

И бысть союз труда и капитала,  
И полный рай.  
И девушкой тургеневскою стала  
А. Коллонтай.

И в мир сошла целительная вера,  
И мир вздохнул.  
И стал как шелк ирландский де-Валера,  
И присягнул.

Леон Доде за Гитлера Адольфа  
Стоял горой.  
И звал к себе Калинина для гольфа  
Вильгельм второй...

И наступил период крестословиц,  
Расцвет искусств!  
А рак свистел, не слушаясь пословиц,  
В избытке чувств...

#### САМОВНУШЕНИЕ

О, вознесись над мелкими запросами,  
Над жизнью мух,  
С ее тоской, борьбой и пылесосами,  
Мой бедный дух!

Восторжествуй над косными привычками,  
Над прозой дней,  
Над этими сплошными пневматичками  
Твоих друзей.

Преодолей их страшное количество,  
И сократи  
И плюнь на газ, и плюнь на электричество,—  
И не плати!

А если власть для действия Дионисова  
Поднимет нож,  
То ты скажи, что дух нельзя описывать  
За неплатеж...

И в некий час, вечерний, или утренний,  
Или ночной,

Исполнишь вновь той роскошью внутренней  
И стариной,

Когда ты был, по замыслу Создателя,  
Низринут в мир—  
Но не как дух квартиронанимателя  
Чужих квартир,

А для бесед с богинями и музами,  
Как дух-эспри,  
О ком твердят, придуманы французами,  
Их словари!

И, одолев презренное отребие,  
И плоть, и кость,  
Лети, в своем уверовавшись жребии,  
Небесный гость,

Лети туда, где скукой географии  
Не окружен,  
Витают Зевс, читая биографии  
Прекрасных жен...

И то, что он уронит по прочтении,  
Схвати, как клад,  
И запишись в беспутство или гении,  
И мчись назад.

И назови по имени красавицу—  
Открыто! вслух!  
Но в миг, когда она на зов твой явится,  
Не будь как дух,

А обрети все качества телесные,  
И будь как все,  
И жизнь тебе откроется чудесная  
Во всей красе,

И ты впадешь в счастливое язычество,  
В восторг, в экстаз,  
И будет Зевс платить за электричество,  
Да и за газ!

<1934>

## ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ

Сколь чудодейственное средство,  
И сколько шариков в крови!  
— Он до того впадает в детство,  
Что хоть кормилицу зови!  
И уж чего, кажися, лучше...  
Когда б не страх за молодежь!  
Что приучить ее — приучишь,  
А оторвать — не оторвешь.

< 1934 >

\* \* \*

Дождь был. Слякоть. Гололевица.  
Чувство грусти было. Сирости.  
Даже Малая Медведица  
В небе ежилась от сырости.

На углу ажаны кутались  
В ихний плащ непромокаемый.  
Под ногами дети путались  
Вереницей нескончаемой.

А за ними, все ценители,  
Все любители словесности,  
Шли их взрослые родители,  
Затоплявшие окрестности.

И от площади Согласия  
До предместия парижского  
Шла такая катавасия,  
Песни, пляски Даргомыжского,

Вихрь стихов, дыханье мистики,  
Трель сопрано соловьиного,  
Речи русской беллетристики,  
Пафос «Славы» Гречанинова,

Да концерты, все с квартетами,  
С звуком говора московского,  
С декламацией, с балетами,  
С полной музыкой Чайковского,

Что ажаны с пелеринками,  
Впав в великую протрацию,

Позабыли вдруг дубинками  
И махать на эмиграцию.

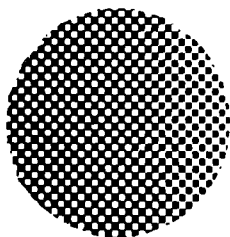
А кругом, с зонтами черными,  
В переулки хлынув узкие,  
Густо шли путями торными,  
Все валом валили русские.

И чужая, одинокая,  
И ища противоядия,  
Башня Эйфеля высокая  
Рассылала всюду радио,

Все будила в мире станции  
Звуком четким, как жемчужинка,  
Что Париж — столица Франции,  
А сама она француженка!..

1937

**Полити**  
**Ч**  
**Е**  
**СКИЙ**  
**П**АМФЛЕТ





# ВЕСНА СЕМНАДЦАТОГО ГОДА

*Политический памфлет  
в 6-ти картинах  
с прологом  
и эпилогом*

## ПРОЛОГ

### «ПАНСИОН КОРОЛЕЙ»

Одна задняя декорация: пожелтевшая от времени мраморная стена, покрытая трещинами. Немного отступя от стены, по обоим бокам ее — две колонны в трещинах и в паутине. К стене приставлена этажерка. На полках аккуратно сложены разного вида и размера короны. В середине стены довольно высокое окно. Зимние сумерки. Видно, как падают (в течение всего действия) мягкие хлопья снега и методически-правильно мелькает блестящий штык часового (его самого не видно). Слева за маленьким столиком сидят на мягких пуфах Абдул-Гамид и Магомет-Али. Они играют в карты по маленькой. У одного длинный по полу чубук. Возле другого — кальян. Оба курят. Синеватые кольца дыма. В глубине сцены — справа, недалеко от окна, в кресле amrig, опустив ногу на парчовую подушку, дремлет Людовик XVI. Вправо от него виден краешек бронзовой решетки; на ней отблеск догорающего камина. Справа на авансцене в качалке — Манузль. Он старательно делает маникюр. Напевая время от времени (вполголоса) легкомысленную песенку.

Все четверо страшно скучают. Частая зевота, то у одного, то у другого (заражают друг друга). Печать безнадежной скуки и безделья, доводящего до тошноты. По временам лирический тон беседы сменяется всеобщим раздражением. Справа, за качалкой, обыкновенная стоячая вешалка; на ней висят две горностаевые мантии.

В комнате царит смешанный свет умирающего зимнего дня, огня в камине и тлеющих угольков на маленькой низкой жаровне под прибором для кальяна. Людовик королевским железом изредка мешает угли в камине.

### УЧАСТВУЮЩИЕ:

Людовик XVI — придерживает голову; бархатный камзол, шитый золотом, шляпа с перьями, шпага, туфли на красных каблуках с большими пряжками-бантами, напудренный парик; характерный орлиный нос, презрительная улыбка. Он снисходит к своим случайным соседям.

Султан Абдул-Гамид — комическая фигура восточного деспота.

Экс-король португальский, Манузль — светский хлыщ в костюме для верховой езды. Воплощение пустоты и ничтожества. Слегка картавит и грассирует.

Магомет-Али — низложенный шах персидский.

Гений Весны — прекрасная молодая девушка, высокая, сильная и стройная; полуобнаженная; в огненной оранжево-красной тунике, на голове фригийский колпачок. Олицетворение Вечного Возрождения. За спиной — два красноватого оттенка крыла. Вдоль правого бедра короткий меч.

Перед тем как медленно раздвигается занавес, слышны отдаленные звуки музыки: «Куда, куда вы удалились» (Из Онегина). Только после того, как прозвучит такт, соответствующий словам «паду ли я» (в этом месте музыка резко обрывается), — занавес раздвигается.



Шах. Опять вы, ваше величество, передернули...

Султан (*обиженно-добродушно*). Я? Да что вы! Ничего подобного, ваше величество... Зачем бы я стал передергивать, когда все пики у меня?

Мануэль (*качаясь*). Но!.. вы, по обыкновению, слишком надеетесь на свои пики!.. (*иронически*) Был, говорят, случай, когда они вам блестяще изменили и повернулись против вас... точно так же, как и (*обращаясь к шаху*) против вас, ваше величество...

Шах. И совершенно так же, ваше величество, как и против вас!..

Мануэль (*старательно полирует ногти и вполголоса напевает из «Король веселится» — «на Монмартр лечу, с кем хочу, — кучу»...*).

Султан (*вяло*). Вам сдавать.

Шах. Снимите.

Медленно тасует карты. Сдает. Султан начинает тихо позевывать. То же — Шах. За ним — Мануэль, изящно похлопывая рукой по разомкнутым зевком губам. Пауза. Игра продолжается молча. Курят. Мануэль — сигару, старательно пуская кольца дыма и качаясь в качалке.

Шах. Карту...

Людовик

(*в глубине сцены; слегка напыщенно, но тихо, медленно и мечтательно начинает предаваться воспоминаниям; отдаленные, еле слышные звуки музыки*).

Я помню залы Трианона...  
Веселый бал... и треск ракет...  
Склонясь почтительно у трона,  
Играли женщины в пикет.  
Я помню... шуток легкий говор  
И изумительный бигос,  
Которым королевский повар  
Дразнил изысканный мой нос!..  
Была весна!.. цвели каштаны.  
В бокалах пенилось Аи.  
Всю ночь версальские фонтаны  
Журчали песенки свои.  
Бежали дни в калейдоскопе,  
Переплетая с грезой быть.  
Я был единственным в Европе,  
Создавшим собственный свой стиль.  
Мои сады... дворцы... витражи...  
Монастыри... конюшни.. двор!  
Мои любовницы!.. и даже  
С моим портретом — луидор.  
Кто мог, как я, прием устроить  
И подобрать букеты вин?  
Фривольной песней успокоить  
Тревоги царственных седин?

Во время монолога Султан и Шах, продолжая играть, изредка роняют: «туз», «король», «ваш ход», «карту»; затем постепенно перестают играть, начинают прислушиваться к словам Людовика и мечтать... каждый отдается своим мыслям. Даже Мануэль время от времени перестает полировать ноги.

*(Оживляется; речь громче. Судорожно хватается за ручки кресла. Брови сведены. Глаза горят).*

Я жил в угаре фестиваля  
И прогонял сомненья прочь.  
И вдруг... я помню!.. парк Версаля!  
И конский топот в эту ночь!..  
Гроза была все ближе, ближе...  
Толпа стремилась во дворец  
А там... а там!.. в моем... Париже!  
Уже готовился конец...

*(Пауза. Переводит дыхание. Голос снова становится глухим и злоещим. Шах и Султан тягостно молчат. Оба подавлены. И один только Мануэль пробует хорохориться; перекидывает ногу на ногу.)*

Сорвав последние плотины,  
Народ ворвался в Трианон...  
И на подмостках... гильотины!..  
Я был... торжественно казнен...

Шах, Султан и Мануэль тяжело и испуганно вздыхают и инстинктивно хватаются за головы.

Султан

Хвала великому Аллаху!..  
Я тоже с трона полетел,  
Но... *(не без гордости)* мой народ не ставил плаху.  
Мануэль *(иронически)*  
Народ мараться не хотел!..

Султан *(возмущенно)*

Ну, вы... послушайте!.. не слишком!..  
Не смейте дерзости болтать!

Шах

Таким распущенным мальчишкам  
Вообще полезнее молчать...

Мануэль презрительно и насмешливо насмывается какой-то легкомысленный мотив и, продолжая качаться, вынимает из несессера ручное зеркало, щетку и гребень и приглаживает пробор. Шах и Султан безмолвно и меланхолически возобновляют игру в карты.

Людовик

*(продолжает в первоначальном грустном и надтреснутом тоне)*

С тех пор, в ряду теней суровых,  
Томлюсь в темнице я своей,  
Где каждый раз встречаю новых  
Царей, владык и королей...  
Народов нрав жесток был древле,

Сравнить с сегодняшним нельзя...  
Да!.. (со вздохом) вы отделались дешевле,  
Мои случайные друзья!..

(Короткая пауза)

Султан. Еще бы... в сущности говоря, народ даже любил меня...

Мануэль. «Но странную любовью...»

Султан (отмахиваясь). И, если бы не роковое стечение обстоятельств, кто знает... быть может, и в настоящую минуту я... (мечтательно) возлежал бы в своем серале, среди прекрасных гурий Востока!.. Аллах-Керим!.. (причмокнув языком) у меня были такие красотки...

Шах. Абдул... не раздражай...

Султан (продолжает). Помню, за одну жемчужину Багдада я отдал все свои корабли, стоявшие у Босфора... хороша была девочка!..

Мануэль (зевая). Любовь доводит даже до кораблекрушения!.. (Пауза; по очереди все зевают.) Итак, ваше величество, вас погубили женщины...

Султан. А вас, ваше величество?

Мануэль. Меня? Представьте!.. Борзые!.. Обыкновенные борзые собаки... Вы представить себе не можете, до чего я люблю борзых! У меня даже вышел крупный конфликт с парламентом Португалии из-за одного (грассируя и картавя) очаровательного борзого щенка... Это было редкое создание, насчитывавшее десять поколений премированных предков и получившее золотую медаль из рук самой королевы!..

Султан (заинтересовываясь). Ну?..

Мануэль (заметно оживляясь). Ну, я и потребовал, чтобы парламент вотировал специальные кредиты на покупку щенка, так как собака была оценена в несколько миллионов франков!.. Редкий экземпляр!.. И знаете, что ответили мне господа члены парламента?! (Короткая пауза). Они ничего не ответили... Они просто выгнали меня... из Лиссабона... (впадая в чуть-чуть капризно-плаксивый тон)... как собаку...

(Небольшая пауза. У всех позы задумчивости. Во время последних слов Мануэля Шах задремал и слегка покачивается на низком пуфе, подогнув под себя ноги. Он даже чуть-чуть подхрапывает...

Затем Мануэль оправляется, сворачивает длинную стрелу из белой бумажки и, подкравшись к Шаху, пускает ему гусара. Общий смех; кроме Людовика, который молча поправляет жезлом огонь в камине.)

Шах (вздвигнув, с комически-испуганным видом хватается за нос). Как вы смеете? Это оскорбление величества!..

Мануэль (насмешливо). Наоборот! Что вы, что вы, ваше величество?! (Вновь поднося к носу Шаха свернутую бумажку.) Я пустил вам гусара... Но это единственный гусар, оставшийся верным вашему величеству... Вы, положительно, можете на него рассчитывать!..

Шах (*махнет на него рукой и раскуривает на угольках чубук*). Отстаньте!.. Иначе я прикажу вас посадить на кол...

Мануэль. Руки коротки! Довольно, насажали... Это вам не Персия!.. Расскажите-ка лучше, ваше величество, каким образом вы потеряли вашу великолепную корону льва и солнца?..

Шах (*угрюмо*). Не хочу...

Мануэль. Ну, пожалуйста, пожалуйста, расскажите (*грассируя*), это забавно... Такая (*зевая*) адская скука!..

Султан. Расскажи, приятель!.. Все равно делать нечего!.. В разговорах хоть время не так убийственно тянется.

Шах колеблется. Мануэль чуть-чуть придвигается, заранее улыбаясь, словно предвидя нечто очень забавное.

Мануэль. Ну валяйте, ваше величество!.. Рассказывайте, что вы там, у себя в Персии, натворили?..

Шах (*уступая просьбам, лаконично*). Ничего я не натворил... А просто... Обожрался...

Мануэль (*сдерживая смех*). Как обожрались?.. Чем?..

Шах. Чем?.. Чем?.. Известно, чем. Дынями!..

Мануэль. Но позвольте, при чем же здесь ваш престол?

Шах (*смотрит на него молча, как будто возмущаясь: как это можно не понимать таких простых вещей*). Я ведь вам говорю... Дынями!.. Объелся... и заснул. Так, меня, сонного, и вынесли!.. Только в Одессе и проснулся... На берегу моря; а у меня уж — ни трона, ни короны, ни... настойки из дынных корок...

Мануэль (*более сдержанно, с ноткой сочувствия*). Скажите, какая неприятность... все-таки... Это жестоко... Ну, а народ? Ваши верноподданные... Что они делали в это время?

Шах. Ничего не делали... (*пауза*) голодали... (*пауза*) оттого все и вышло... (*Вздыхает, попыхивает трубкой и, слегка раскачиваясь, снова погружается в дрему.*)

Мануэль (*встает с качалки. Заложив руки в карманы, прохаживается по комнате. После небольшой паузы*). М-да... *Se qu'op appelle histoire!*..

Небольшая пауза. Издалека, еле-еле слышные, доносятся звуки музыки, сопровождающей впоследствии появление Геняи Весны. Мануэль подходит к окну, тихо барабанит пальцами по стеклу. В камине, умирая, ярче вспыхивают языки пламени. Угольки на жаровне постепенно гаснут. Тени в комнате становятся длиннее и гуще. Шах дремлет. Султан раскладывает пасьянс.

Людовик (*сидящий неподалеку от окна*). В который раз я встречаю весну!.. Вот и опять — появились в небе зеленые просветы... птичьи стаи потянулись на юг... Какое множество птиц!.. И все орлы!..

Мануэль (*продолжая барабанить по стеклу*)... И все двуглавые!..

Отходит от окна, садится в качалку. Молчание. Чуть-чуть громче доносятся звуки музыки. Чувствуется какая-то напряженность в наступившей тишине. Музыка громче и ближе... Все, кроме Людовика, настроаживаются, словно угадывая что-то приближение.

Султан (*потягивая носом, тихо*). В комнате запахло цветами... словно запах миндаля и лимонов в садах Ильдыза...

Шах. Нет, так пахнут фиалки на склонах Ирана...

Людовик (*с надеждой; слегка приподымаясь в кресле*). Уж не расцветают ли лилии в шелках Бурбонов?..

Мануэль (*медленно, вставая с качалки*). О, этот волнующий... (*Не успевает кончить фразы; замирает в изумлении, схватившись за ручку качалки. То же самое происходит и с остальными.*)

Пламя в камине вспыхивает с необычайной силой, и, сливаясь с ним, из-за скрытой от зрителей половины камина, как ликующий вихрь, под звуки музыки, звучащей уже совсем близко, врывается в комнату прекрасный Гений Весны. Несколько па танца, напоминающего Marche Militaire — и Гений Весны останавливается на противоположном конце комнаты. Свет красного рефлектора, идущего от камина. Монархи жмурятся от света. Каждый из них, чуть отпрянув в сторону, стоит или сидит вполупорот к Девушке и из-под прикрывающей глаз согнутой ладони боязливо смотрит на нее. Девушка стоит несколько секунд, минуту, неподвижно. В позе — сознание своей красоты, прав на признание и удивление. Чуть откинутая назад прекрасная голова. Музыка звучит почти как достижение, почти как апофеоз.

### Девушка

(*делает полшага вперед. Успокаивающий величественный жест поднятой руки. Обращаясь к Мануэлю, вооружившемуся хлыстом для верховой езды.*)

Не бойтесь, призраки былого!..

Король, оставьте вашу трость...

(*Ко всем.*)

Я не пришла для дела злого.

Монархи (*поочередно*). Но кто ты! Кто ты?

Странный гость?

### Девушка

Я та Весна и та Свобода,

Которой радуется Бог!..

Весна семнадцатого года

И весен будущих залог!..

Над прахом всех отживших мумий,

Соединяя все пути,

Как ветер сладостных безумий,

Ношусь я в пьяном забытьи...

Я разбиваю цепь насилия,

Мечом касаясь слегка.

Мои трепещущие крылья

Во все предчувствуют века!..

Дышала я дурманом хмеля,

Победу славную суля

Войскам Оливера Кромвеля,

Когда он шел на короля...

И это я с Руже де Лилем

Слагала песни до зари,

Когда народ кричал: «Осилим!..»

*(Людовик ежится от неприятных воспоминаний.)*

И штурмом шел на Тюльери...  
В атласной шапочке фригийцев,  
Как верный страж, к плечу плечом,  
Я во главе гарибальдийцев  
Прошла с пылающим мечом...  
От склонов дальнего Ирана

*(Шах и Султан чувствуют себя неловко)*

Я в голубой неслась Босфор,  
Свергая каждого тирана,  
Что не был свергнут до сих пор.  
Одно движение этих пальцев —  
*(соответствующий жест)*

И трон надежнейший разбит!..

*(Иронически, в сторону Мануэля. Мануэль смущенно похлопывает хлыстиком по икрам.)*

Сам повелитель португальцев  
Мое признание подтвердит!..  
И вот сейчас, когда от скуки  
Сидите вы за камельком,  
Сложивши царственные руки,  
Болтая праздным языком,  
Сейчас воскреснула природа —  
И вслед за ней лечу и я,  
Весна семнадцатого года,  
Весна и радость бытия!..

*(Решительно, но мягко):*

Монархи!.. Встать!.. За мною следом!..

Монархи послушно подымаются, а в конце монолога забавной фалангой вытягиваются за Девушкой. Каждый берет с полки свою корону и держит ее; первым идет, опираясь на жезл, придерживая голову, Людовик, за ним Султан, Шах и Мануэль — двигаются в сторону, противоположную камину, под торжественные звуки марша.

Я новый край вам покажу...

И вас еще одним соседом

*(Короткая пауза)*

Для преферанса награжу!..

Прогулку эту совершая,

Вы все усвоите, друзья,

Что, вопреки желаньям края,

Над краем царствовать нельзя...

Здесь ряд картин пройдет пред вами —

*(Мануэль, освоившись, делает жест галантности.)*

В одной окраске и в иной...

Итак, идем!..

Мануэль. Дорогу даме...

Все выстраиваются. Марш.

Девушка. Монархи, в ногу!.. Марш... За мной!..

Занавес

# КАРТИНА ПЕРВАЯ

## «ПО ЦАРСКОМУ ХОТЕНИЮ»

Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Задняя декорация — серая тюремная внутренняя стена, разделенная на расстоянии трети от пола узким черным кантом. Кое-где облупившаяся штукатурка; высоко над полом — окошко, по просвету которого можно судить о толщине стены. Решетка; не сильная, но широкая (во все окошко) полоса света. Слева — привинченная к стене койка с грубым соломенным тюфяком, серым солдатского сукна одеялом. Посредине, почти под окном, узенький, простой, выкрашенный в серую краску столик. На нем большая в черном переплете с золотым крестом Библия. Направо от столика простой, тоже серый табурет. На нем, вытянувшись во весь рост в направлении к окошку, но так, что голова еле доходит до подоконника, стоит узник, — единственное действующее лицо в этой картине. Во время действия доносится порой глухо, порой явственно плеск Невы. В определенных местах монолога слышен тоже отдаленный, но четкий бой башенных курантов. Общее впечатление серости и безвыходности.

Узник (обыкновенный черный, потертый пиджак и такие же брюки; черная сатиновая косоворотка, перехваченная черным шнурком. Лицо бледное, с желтоватым оттенком; небольшие, кверху зачесанные волосы; небольшая, приятная, мягкая бородка и усы темного шатенового цвета, определенно контрастирующие с бледным лицом. Глаза горящие, молодые — в глубоких, но не преувеличенных впадинах).

Тянется к окну. Спина к правой стороне зрительного зала.

Бегут года чредою скучной,  
Меняя день на мрак ночной.  
А я томлюсь в неволе душой

Слышен мелодичный бой курантов

За этой каменной стеной...  
Я принял бремя вечной схимы  
И сам вериги наложил...

*(Страстно.)*

Зачем те дни неповторимы,  
Когда я веровал и жил?..  
Дорогой вечного стремленья,  
Путями выстраданных грез  
Я шел и звал рассыпать звенья  
И ношу тягостную нес...  
И мне шептали ветви сосен,  
Всегда стремящихся в лазурь,  
Что двадцать лет есть двадцать весен,  
И смена зорь, и смена бурь!..  
Не оттого ль, сжигаем жаждой  
Любить, и веровать, и жить,  
Я был готов у твари каждой  
Благословения просить?!  
Но все порывы, все желанья  
И все венки из первых роз,  
Как жертву светлую, как дань я  
Печальной родине принес...  
Она томительно молчала,  
Внимая свисту батогов.

В степях без края, без начала,  
В объятых северных снегов...  
А те, кто вел ее через пламя,  
(*Постепенно оживляется.*)

Через пыль змеившихся дорог,  
Кто продавал и честь, и знамя  
И превращал ее в острог,  
Те позолоченные старцы  
Под сенью вылинявших лент,  
Что клали в дедовские ларцы  
Законной пенсии процент:  
Та кровожадная орава  
И вечно пьяная орда,  
В которой гибла наша слава,—  
...Она не ведала стыда!!  
Темнела ночь. Я крикнул: «Братья!..  
Вы задыхаетесь от слез...  
Скорей!.. Скорей!.. Пока проклятья  
Над нами рок не произнес!..»

Переводит дыхание. Доносится плеск Невы. Продолжает упавшим, усталым голосом. Пауза. Мысленно переживает прошлое.

...И вот, по царскому хотенью,  
Безумец, брошенный сюда,  
Я угасаю бледной тенью  
И слышу, как шумит вода...

Снова слышен мелодический бой курантов. Узник прислушивается. Пауза. Куранты играют «Коль славен наш Господь в Сионе». Продолжает в раздумье.

«Коль славен наш Господь в Сионе»...  
О, если правда, славен Ты,—  
Зачем в земном прекрасном лоне  
Ты позволял топтать цветы?..  
Зачем позор и гнет насилья  
Ты свергнуть нас не научил?!  
Зачем сверкающие крылья

(*Короткая пауза. Упавшим голосом, в изнеможении.*)

Ты мне, Господь, не подарил?!

Слышно, как все медленнее, постепенно замирая, бьют куранты. Плеск воды за каменной стеной. После заключительных слов монолога узник в изнеможении склоняет голову на руки, бессильно опущенные на стол.

Занавес



## КАРТИНА ВТОРАЯ

### «С ДОЗВОЛЕНИЯ НАЧАЛЬСТВА»

Действие происходит в приемной полицейского участка. Задняя декорация — желтоватой окраски стена казенного учреждения. Посредине — большой царский портрет в золотой тяжелой раме с короной наверху, посредине рамы. Справа — аппарат телефона. Стенной календарь, отрывной. На стене же — деловые бумаги, счета — на обычном проколе и проч. Под портретом — кресло, перед креслом — небольшой стол, покрытый зеленым сукном; на столе — письменный прибор, уставы, книги, счета и проч., канцелярские принадлежности. На стене «Ведомости Градоначальства». На столе и на стене — благотворительные кружки. По обеим сторонам стола — обыкновенные загородки, так что вся сцена перегорожена приблизительно пополам. На столе звонок. Слева за перегородкой, за отдельным столиком, — паспортист; он что-то пишет в большой книге. Перед ним целый хвост дворников с паспортами и домовыми книгами.

### УЧАСТВУЮЩИЕ:

Господин пристав — бравый мужлан; гусарские усы. Обычный полицейский мундир. Щеголеватость дешевого тона. Лакированные ботфорты. Все время, даже когда говорит по телефону, особенно с начальством, — шелкает шпорами. Лет под сорок.

Паспортист — скверная, выцветшая личность неопределенного возраста; напоминает горбуна. Гладко приглаженные волосы цвета темноватого льна. Молчалив и серьезен.

Молодцов (1-й городской) — дюжий дядя, буро-малиновые щеки; пышет здоровьем. В полной зимней форме.

Федченко (2-й городской) — невысокого роста, коренастый толстяк; чуть комическое впечатление.

Студент (обыкновенная студенческая шинель и фуражка).

Лектор (профессорского, суховато-академического типа).

Опереточная дива (шикарное манто, развлекающаяся эспри и проч.)

В кресле сидит пристав, что-то рассматривает, довольно ухмыляется. Слева — паспортист; перед ним молчаливая шеренга почтительно откашливающихся и переминающихся с ноги на ногу дворников; хвост этой шеренги — где-то за сценой; после небольшой паузы раздается звонок телефона.

Пристав (вставая с кресла, все еще под впечатлением серии порнографических открыток, идет к телефону, роняя на ходу: «Ну, я вам доложу, и ш-тучка-с»). Снимает трубку. Отчеканивает). Пятьдесят пять, полиция!.. (Немедленно повышает голос.) Кто украл? (Иронически-презрительно пожимает плечами.) А я ж почему знаю? (Пауза.) Быть может, вы сами у себя украли... (отрывисто.) Не знаю... (отрывисто). Да!.. (постепенно раздражаясь). Это не дело полиции... (совсем повышая голос). Потрудитесь не рассуждать!.. (Вешает, даже хлопает трубкой. Садится.) Бестолковщина!.. Пристают со всякими глупостями... Как будто я виноват, что у него вытащили бумажник... Не таскай с собой бумажник, его и не вытащат... (Обращаясь к паспортисту). Прав я, Иван Иваныч?

Паспортист (приподнимаясь). Ваше благородие всегда правы-с...

Дворники подобострастно переминаются с ноги на ногу.

Пристав (*снисходительно протягивает паспортисту порнографические открытки*). Посмотрите, Иван Иванович, какие я вчера открыточки конфисковал... (*Паспортист конфузливо рассматривает. Пристав смеяь.*) Ведь это ж надо придумать... Как расписали мерзавцы... А? Нет, вы посмотрите, посмотрите... Через лупу. Вот здесь... (*тычет пальцем*). А? Что скажете?! Пар-на-графия!..

Звонок телефона.

Пристав (*с недовольным видом идет к телефону*). Опять... Не дадут делом заняться... Слушаю!.. 55, полиция!.. (*Мгновенно меняется; весь выгибается, делает окружающим угрожающий знак — молчать... Изумительно щелкает шпорами*). Слушаю-с, ваше превосходительство... Так точно, ваше превосходительство! Никак нет-с, ваше превосходительство!.. Рад стараться, ваше превосходительство... (*Еще несколько поклонов, сопровождаемых щелканьем шпор, несмотря на то, что разговор, очевидно, кончен. Почтительно и осторожно вешает трубку.*)

Пристав (*чем-то очень довольный, развалившись в кресле, — в сторону паспортиста и дворников*). Секретное поручение его превосходительства... Охрана особы господина министра... Приезжает ин-когнито!.. Понимаете, ин-когнито?!

Дворники подобострастно переминаются с ноги на ногу. Паспортист еще ниже склопается над книгой.

Пристав (*зовет*). Эй, кто там!.. Федченко!.. Молодцов!.. (*Городовые, две фигуры, производящие комическое впечатление несоответствием роста и веса, вырастают из-под земли, вытягиваясь как вкопанные.*) Что, есть там кто-нибудь?..

Городовые (*перебивая друг друга*). Так точно, ваше-бродие... Так точно, есть... Поди, два часа дожидаются...

Пристав (*рассматривая вновь открытки*). Ничего... Если нужно, еще подождут. (*Пауза.*) Ну! зови их!..

Городовые. Слушаю... Слушаю-с (*повертываются на каблучках*).

Входит лектор.

Пристав (*не подымая головы от открыток*). Что угодно?

Лектор. Вот хочу разрешение... на лекцию... получить.

Пристав (*смеяь, подымает голову, осматривает подозрительным взглядом вошедшего с ног до головы*). На лекцию, о чем? (*Протягивает руку за прошением.*)

Лектор (*отдает прошение, в которое пристав глубокомысленно погружается*). Так... Научная лекция...

Пристав Я сам понимаю, что раз лекция, стало быть, научная... (*Нравоучительно.*) Объяснение совершенно излишнее-с!.. (*Читает прошение.*) Н-да-с.... «Жизнь на Марсе»... «Вулканизация почвы»... «Марс и Венера»... А... Скажите! (*Подозрительно.*) Политики здесь нет?!

Лектор. Помилуйте, господин пристав... какая ж на Марсе политика?..

Пристав. Ну, знаете, батенька... Я старый воробей — и проведу себя не дам... *(Читает дальше, в то время как лектор пожимает плечами.)* «Жители Марса питаются». *(Решительно.)* Нет... не могу-с. Запрещаю-с!..

Лектор *(недоумевая)*. Но... Простите... Я решительно... не понимаю...

Пристав *(перебивая)*. И я решительно не понимаю, как это вы еще можете не понимать... У вас черным по белому написано *(читает)*. «Жители Марса питаются!» *(тычет пальцем в бумагу, почти негодующе)* Продовольственный вопрос!!! Нет, нет, ни в каком случае!.. И затем, вы даже не наклеили *(Лектор оставляет прошение и при последних словах пристава уже выходит.)*... марок! Ишь, какая птица!.. Видали мы таких!.. Марс, Марс... Думаешь, ежели Марс, так и гербового сбора не надо!.. *(с презрением)*. Интеллигенция!.. *(возмущенно пожимает плечами)*. *(Дворники подобострастно переминаются с ноги на ногу. Шеренга по длине остается неизменной. Один уходит. Другие приходят.)* Эй, Федченко!.. Следующего!..

Федченко вновь вырастает как вкопанный, отчеканивает: «Слушаю-с» — и мгновенно исчезает. Шурша шелками, влетает опереточная дива.

Пристав *(выражение восторга и радостного изумления; щелкает шпорами)*. Кого я вижу?! *(Она протягивает обе руки. Он их почтительно целует, снова звякнув шпорами.)*

Дива *(сразу опускается на стул, стоящий по другую сторону перегородки; быстрота и экспансивность движений; смесь бесцеремонности и опереточного шика)*. Ваши церберы ни за что не хотели пропустить меня вне очереди. *(Слегка улыбаясь.)* Это прямо возмутительно...

Пристав. Это ужасно!.. Я сейчас же проучу этих негодяев... *(строго)* Федченко!.. Молодцов!..

Городовые *(вырастают)*. Здесь, ваш-бродь!..

Пристав *(гневно, отчеканивая)*. На трое суток под арест!.. Марш!..

Городовые. Рады стараться, ваше-вы-со-ко-благо-родие!.. *(Поворачиваются на каблуках, выходят.)*

Пристав *(возмущенно)*. Никакой дисциплины!.. *(Грассируя)*. Чем я обязан счастьем видеть вас, моя... *(Запинается. Оглядывается на паспортиста и дворников. Бросает короткий выразительный взгляд. Вполголоса процеживает: «Ну?» И паспортист исчезает, а дворники пятятся назад. На сцене остаются только пристав и дива. Она, видимо, довольна его догадливостью.)*

Пристав. Моя... Прелесть!.. *(Выходит из-за перегородки, еще раз целует ручки.)*

Дива *(бантиком складывая губки)*. Мне нужно разрешение...

Пристав (*щелканье шпор; внимательный взгляд на ножку*). Какое угодно и когда угодно!..

Дива (*оживляясь*). Ну, вот, мерси!.. Я не сомневалась в вашей любезности...

Пристав. Помилуйте!..

Дива. Понимаете, на днях мой бенефис. (*Небрежно, скороговоркой.*) Пойдет старая оперетка «Бедные овечки»... (*Пристав дает понять, что он, разумеется, знает и эту область.*) Вы, конечно, знаете... И, конечно, будете? (*Галантное щелканье шпор. Дива: кивок головой.*) Так вот, во втором действии у меня есть одно очень эффектное место... (*лукаво, дразня*). Понимаете, я... В дортуаре... Совершенно раздета. (*Пристав пожирает ее глазами.*) Ну, не совершенно... Но почти... в одних *dessoux*... И я хочу исполнить... вставной номер... Куплеты!.. И при этом масса трюков...

Пристав (*словно смачно прожевывая бифштекс*). Богиня... Вы прекрасны!..

Дива (*хохочет, протягивая ему для поцелуев обе руки*). Мерси!.. (*Выхватывает из-за корсажа продолговатую исписанную бумажку и протягивает ему.*) Вот эти куплеты!.. (*лукаво*) Разрешите?

Пристав (*не выпуская из левой руки ручку дивы, в правой держит бумажку, скользит по ней взглядом, приятно и чуть цинично улыбается. Все это должно происходить очень быстро, в течении короткой, но выразительной паузы*). Но... С одним условием.

Дива (*живо*). Каким?

Пристав (*с напускной, шаржированной строгостью*). Вы должны их сначала исполнить предо мною... Для того, чтобы я имел (*подчеркивает*) законное основание судить о допустимости публичного исполнения!.. (*Щелкает шпорами.*)

Дива (*хохочет*). Но, надеюсь, не сейчас... и не здесь?

Пристав (*стараясь быть очаровательным*). Нет, именно здесь и непременно сейчас!!

Дива (*хохочет еще громче*). Но... право же (*оглядывается*). Сюда могут войти... (*указывает на дверь*).

Пристав (*в том же тоне*). Сударыня... без моего разрешения сам Бог не переступит этого порога!..

Дива (*жеманясь, но уступая*). Ну, тогда... вы должны... будете помочь мне... (*щелканье шпорами*)... вы будете стариком Гастоном!.. который (*лукаво*) очень любил женщин (*подмигнув*)... Надеюсь, с этим вы справитесь легко?!

Пристав. Ха-ха-ха... Рад стараться!..

Дива. В таком случае... (*сбрасывает мантию на стул; он ей помогает*) ...Сядьте здесь... (*слегка толкает его на стул, покрытый мантию; он грузно опускается, являя собой полное восхищение, постепенно все более и более возрастающее*) ...Возьмите мой лорнет (*снимает с себя лорнет с длинной золотой цепью и набрасывает цепочку на него; пристав на лету целует ее руки и потом приставляет лорнет*

к глазам)... Вот так, и... не спускайте с меня (*хохочет*) восхищенных взоров... (*Пристав, сидя, звякает шпорами в знак покорности. Дива отходит на тот конец комнаты, где раньше стояли дворники, и в легкомысленном полутанце под звуки музыки начинает петь в самой каскадной манере, на мотив: «Жажду я полета, дайте мне пилота...»*)

Дива (*поет*):

«Я люблю военных  
И военнопленных  
(*слегка взвизгивая*).  
Например, гусар!..  
Голубых гусар!..

Жесты и воздушные поцелуи в сторону пристава.

Кирасиры тоже  
Мне всего дороже:  
Я ценю их жар!  
Настоящий жар!..

Пристав тает от восторга. Хорохорится. Подкручивает усы, выпячивает грудь.

Я люблю...

В это время дверь открывается. Входит с прошением студент. У него вид и тон вежливый, но решительный. Дива замирает на полуноге и с комически-испуганным видом продолжает оставаться на прежнем месте. Пристав, багровый от негодования, вскакивает со стула. Вид у него скорее забавный и смешной, чем импонирующий: на плечах, зацепившись за погоны, повисло шелковое манто. На животе, звякая о шашку, болтается лорнет.

Пристав. Милостивый государь... Как вы смели войти без доклада?

Студент (*вежливо, но решительно*). В передней никого нет... Я прождал два часа... Наконец, услышав пенье и музыку, я подумал, не ошибся ли я дверью?! (*Пристав задыхается от гнева, собирается что-то возразить. Но тут вмешивается дива.*)

Дива (*звенящим, почти тоненьким голосом, обращаясь к приставу и указывая на студента, тоже невольно смутившегося и недоумевающего*). Ну, разумеется, господин студент прав!.. Ведь вы же сами прогнали ваших городовых...

Пристав (*смягчаясь, отрывисто*). Что вам угодно?

Студент. Мне необходимо свидетельство (*с едва заметной иронией*) о моей политической благонадежности.

Пристав (*сухо и высокомерно*). На какой предмет?

Студент (*освоившийся с обстановкой, тоном уже более ироническим*). На предмет поступления в школу прапорщиков, господин пристав!..

Пристав (*не без некоторого смущения*). Хорошо... (*берет у него из рук прошение*).

Студент, сверкнув глазами, уходит.

Короткая комическая сцена, заканчивающаяся хохотом дивы.

Пристав (*оправляясь от смущения и кисло улыбаясь*). Терпеть не могу эту сволочь!..

Дива (*дразнит*). А студентик хорошенький... (*Пристав с легким укором покачивает головой*).

Пристав (*с прежней напускной строгостью*). Однако я должен вернуться к исполнению служебных обязанностей... (*занимает прежнее положение на стуле*) Сударыня! Здесь (*показывает на бумажку*) — еще три куплета!

Дива (*сделав гримаску и послав воздушный поцелуй; повелительно*). Гастон! Сделайте влюбленные глаза!.. Вот так...

(*становится в прежнюю позу; музыка; поет*),

«Я люблю шикозы

И такие позы.

(*делает ножкой*)

Когда...»

Раздается оглушительный звонок телефона. Дива чуть рассержена. Пристав опять багровеет и идет к телефону.

Пристав. Пятьдесят пять, полиция!.. (*сердито, как будто не расслышав ответа*). Что? Вам, кажется, ясно говорят, что (*делает ударение, сам не понимая его компрометирующего значения*) здесь (*жест рукой и пауза*) — полиция...

Занавес

## КАРТИНА ТРЕТЬЯ

### «ПОЗОЛОЧЕННАЯ ГНИЛЬ»

Действие происходит в царской ложе императорского театра во время представления балета. Задняя декорация представляет собой внутреннюю заднюю стену ложи: малинового цвета, собранная в складки, изящная, высокая, раздвижная, состоящая из четырех створок, ширма с изогнутыми краями, отделанными темным золотом, и с небольшими продолговатыми, яйцевидной формы зеркалами, вделанными в верхние части створок. В зеркалах этих отражается спускающаяся с потолка ложи хрустальная небольшая люстра, часть свечей которой затянута темно-малиновым или цвета бордо шелком и проливает несколько зловещий, но нарочито-торжественный и мягкий свет. Вообще у зрителей должно получиться впечатление яркого пятна: малиновый фон, бронза, золото, зеркала, эполеты, звезды и пр. Самая ложа представляет собою обычный барьер, обитый малиновой материей с более темной обивкой наверху барьера. Сверху спускаются портьеры, тяжелые, малинового цвета, с золотыми кистями по обеим сторонам на толстых золотых шнурах, перехватывающих в двух местах верхний ламбрекен. Над выдвинутой частью ламбрекена укреплена выпуклая золотая корона со скрещенными под ней золотыми регалиями. Действие происходит во время антракта, но музыка, чарующая, отдаленная, немного зловещая, все время доносится сюда. Сидящие в ложе разговаривают в заметно пониженном, диктуемом этикетом, хотя и непринужденном тоне. Все участвующие в этой картине лица портретно схожи с историческими фигурами недавнего прошлого.

## УЧАСТВУЮЩИЕ:

Николай II, адмирал Нилов, Протопопов, Фредерикс, Воейков, Горемыкин и Щегловитов.

Николай сидит посредине в глубине ложи, чуть-чуть заслоненный окружающими и вообще едва заметный для публики. Лучше, если по сдержанности остальных она будет догадываться, что в ложе находится император. Остальные действующие лица расположились по трое по обеим сторонам его. Справа: у самого барьера — Горемыкин, сбоку, в глубь ложи — по некой воображаемой хорде — Воейков, за ним (возле царя) — Протопопов; слева, в таком же порядке, — у самого барьера — Фредерикс, за ним — Щегловитов и, наконец, за ним (рядом с царем) — Нилов.

Занавес раздвигается под звуки доносящейся издали балетной интермедии.

## РЕМАРКИ ДЛЯ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Николай II — рыжеватая растительность; постоянный жест — нервное поглаживание усов, то одной, то другой рукой.

Нилов — плотная фигура; одутловатое, совершенно бритое лицо, не то рафинированного бонвивана, не то просто забулдыги, 45 лет. Циничен. Светски развязен. Черная морская тужурка. Адмиральские погоны. Один белый эмалированный крест — у разреза воротника. Плешь. Напоминает распущенного римского претора.

Протопопов — 45—47 лет. Высокая фигура. Безукоризненные, пушистые и холёные усы; приятные барские манеры, претензии на обаятельность, что ему удастся не без явного оттенка подхалимства к окружающим. Мягкий приятный баритон. Камергерский мундир.

Фредерикс — очень стар. На лбу почти суворовский клок желтовато-седых волос. Лицо худощавое. Со впадинами. Усы совершенно седые, гусарские, немного небрежные. Блестящий адъютантский мундир. Несколько аксельбантов. Ордена. Белые перчатки.

Воейков — угрюм. Толстые усы. Подстриженные. Волосы бобрком. Во всей фигуре компактность, плотность, упорство. Генеральский мундир, очень скромный.

Горемыкин — вопиюще стар; классические бакенбарды, припухлости под глазами, чуть синеватый отлив пергаментной кожи. Очень типичен. Черный сюртук. Две звезды.

Щегловитов — 50 лет. Редущие и слегка выцветшие в неопределенно мутный цвет, с легкой сединой на висках волосы. Борода и усы совершенно черные (крашенные). Усы небольшие, жестковатые, идущие книзу. Бородка — буланже, даже чуть-чуть шире. Щеки бритые. Тон энергичный.

Действие балета только что окончилось.

Щегловитов. А Копеллия положительно недурна!

Нилов. Чересчур тонка в бедрах.

Протопопов (*приятно улыбаясь*). Адмирал явно подражает Нерону...

Общее движение и улыбки.

Нилов. Зато вы, Александр Дмитриевич, совсем уж не похожи на Петрония!..

Протопопов (*кокетничая*). Помилуйте, адмирал! Куда мне до Петрония!.. Я был и останусь скромным симбирским помещиком.

Фредерикс все время смотрит в бинокль в сторону зрительного зала.

Щегловитов *(после короткой паузы, наклоняясь к Фредериксу)*. Что, ваше сиятельство, Григорий Ефимович так-таки и не будет сегодня?

Фредерикс *(опуская бинокль)*. По всей вероятности, нет. Он сейчас у ее величества на сеансе.

Протопопов *(подхватывает новую тему)*. Григорий Ефимович жаловался мне на плохое самочувствие... *(ко всем, с неподдельным огорчением в голосе)*. Вы знаете, меня серьезно беспокоит его сердце... Рейн находит маленький отек...

Нилов. Ничего ваш Рейн не понимает... Он у меня каждый год регулярно откапывает новую болезнь... по его словам, кажется, только одной женской мне *(сдержанный общий смех)* для полного его удовольствия не хватает!

Щегловитов. Вы совершенно не верите в медицину!..

Нилов. Но и медицина платит мне тем же!.. По ее расчетам, я давно должен был умереть... А между тем, как видите, продолжаю благополучно здравствовать... и даже усиленно поглощать... куваку!.. *(Общий смех, негромкий, но еще более одобрительный в сторону Воейкова. Только Фредерикс продолжает глядеть в бинокль, да Горемыкин остается почти безучастным. Воейков старается приятно улыбнуться.)*

Протопопов *(заботливо-деловым тоном, обращаясь к Воейкову)*. Кстати, генерал, все недоразумения с санитарными поездами мной благополучно улажены... *(Приятно улыбаясь)*. Ваше детище... будет отправлено в первую очередь...

Воейков. Сердечно благодарю вас... *(кивок головой. Ответный кивок Протопопова)*.

Фредерикс *(к Нилову)*. Вы не знаете, кто эта belle femme? Вон справа... во втором ряду... рядом с гвардейским полковником... *(Нилов приставляет бинокль; ищет глазами.)*

Нилов. В розовом? *(Фредерикс отрицательно машет головой.)*

Фредерикс *(с легким раздражением)*. Нет, нет, рядом с ней, адмирал...

Протопопов *(стараясь все знать, везде поспеть, приподымаясь, разглядывает в бинокль зрительный зал)*. Кто эта прекрасная Цирцея, привлекающая внимание его сиятельства?

Нилов *(успевший разглядеть)*. А!.. Это супруга генерала Кунцендорфа... Маленькая баронесса, как ее называют в свете... шикарная женщина!..

Фредерикс *(соглашаясь)*. Да... я люблю таких...

Воейков. Граф, несмотря на слабое зрение...

Протопопов *(подхватывает)*. Отлично замечает хорошеньких женщин...



Щегловитов (*который тоже в свое время приподнимался и глядел в бинокль*). А по-моему, сегодняшняя Копеллия во всех статьях лучше...

Нилов (*цинично*). Ну, ну... Иван Григорьевич... вам и карты в руки... Расскажите-ка, старый жрец Фемиды, по какой статье вы бы привлекли эту самую Копеллию к себе?

(*Общий смех, кроме Горемыкина, который почти все время дремлет.*)

Щегловитов (*улыбаясь*). Вы, как всегда, великолепны, адмирал!..

Протопопов, принимая деловой и озабоченный вид, встает со стула и направляется к ширмам, за которыми предполагается выходная дверь. Его отсутствие длится не больше минуты, в течение которой беседа в ложе не прерывается. Фредерикс продолжает смотреть в бинокль на зрительный зал.

Воейков (*мрачно*). Говорят, у баронессы, несмотря на молодость ее, было восемнадцать любовников...

Нилов (*ухмыляясь*). Не отчаивайтесь, генерал. Баронесса — блондинка, а блондинки не скоро старятся... у вас еще много (*как бы утешая его*) времени впереди...

Щегловитов. Но генерал, если не ошибаюсь, до сих пор определенно предпочитал брюнеток?..

Воейков (*твердо*). И никогда в них не ошибался...

Входит Протопопов. Легкое обычное движение в ложе, какое всегда вызывает появление нового или возвращение прежнего партнера.

Щегловитов. Есть какие-нибудь новости?

(*Царь тоже проявляет некоторые признаки жизни, что можно угадать по еле уловимому движению окружающих и по следующим словам Протопопова.*)

Протопопов (*почтительно наклонясь к царю, но и не игнорируя присутствия остальных, равно как и вопроса Щегловитова, словно совпадающего со смыслом безмолвного вопроса на лице царя*). Ничего особенного... Коротенькое сообщение из ставки... Все то же!.. Продолжается бой под Молодечно... число раненых обычно... (*После очень короткой паузы, во время которой последовал, очевидно, либо безмолвный, либо просто не слышимый для публики вопрос царя*). Да, ваше величество, десять тысяч...

Нужно заметить, что со времени возвращения Протопопова настроение в ложе остается то же, что и прежде. Нилов втихомолку беседует с Фредериксом, продолжающим глядеть в бинокль. Воейков по-прежнему безразличен и угрюм. И только после последних слов «десять тысяч» следует обычный жест царя (поглаживание усов), да на одну секунду — пробуждение почти дремавшего Горемыкина.

Горемыкин (*слегка пробуждаясь, старческим, скрипучим голосом*). Сколько... вы... сказали?

Протопопов (*преувеличенно любезно*). Десять тысяч, Иван Логинович!..

Горемыкин (*кивнув головой, как бы показывая, что так именно ему и послышалось. А!.. (Вновь склоняет голову вниз и погружается в прежнюю нирвану.)*)

Фредерикс (*отводя бинокль и поворачиваясь внутрь ложи. Смотрит на часы. Обращаясь к Протопопову*). Пора начинать... Александр Дмитриевич (*очень любезно*). Будьте добры... Распорядитесь!.. насчет гимна...

Занавес

## КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

«КАК ХОРОШИ, КАК СВЕЖИ БЫЛИ РОЗЫ...»

Декорация первой картины. Каземат в Трубецком бастионе. Точно та же обстановка. Плеск Невы за стенами крепости. Бой курантов «Как славен наш Господь в Сионе»... Впечатление большей мрачности создает отсутствие широкой полосы света через окошко. При поднятии занавеса Протопопов,—единственное действующее лицо в этой сцене,—сидит на койке, свесив ноги в белых камергерских с золотыми лампасами брюках, штрипки коих оттягивают вниз новенькие лакированные штиблеты. На нем шитый золотом темно-зеленого сукна придворный военного покроя расстегнутый мундир, из-под которого виднеется обыкновенная белая сорочка. Прическа и усы растрепаны, но не преувеличенно. Особенно подчеркнут должен был контраст между его блестящим нарядом и однотонностью казематной обстановки. Вид у бывшего министра жалкий, недоумевающий, испуганный.

При поднятии занавеса он сидит молча, закрыв лицо руками, опустив вниз голову, сгорбившись. Куранты играют «Коль славен наш Господь в Сионе»... Пауза длится, пока куранты не перестают играть. Затем следует еще короткая пауза. Потом, сливаясь изредка с плеском воды, раздаются звуки очень отдаленной музыки одних скрипок, смягченных сурдинкой. Музыкальный мотив является аккомпанементом к словам персонажа и по характеру своему не должен быть слишком лирическим, а скорее пародировать или очень осторожно утрировать лиризм...

Протопопов (*отнимает руки от лица, почти испуганно оглядывает стены, окошко, потолок; медленно вынимает кошелек из кармана брюк, камергерский ключ, носовой платок и выкладывает все эти предметы на стоящий рядом с койкой столик. Прежде чем положить камергерский ключ на стол, он внимательно и грустно его рассматривает, вертит между пальцев и надтреснутым голосом говорит*).

Когда б один надежды луч

Мне подарить (*с ненавистью, сверкнув глазами*) хотели звери... (*со вздохом*): Увы... Мой камергерский ключ!.. Ты не подходишь (*соответствующий взгляд в сторону*) к этой двери!..

Кладет ключ на стол; пауза; музыка; меланхолически берет со стола кошелек и с бесконечно-мизерабельным видом сосчитывает марки.

(*Новый вздох*) Mon Dieu!.. Какая пустота!..

Куда девался фонд секретный?

(*Пауза*)... Моя душа, как ты, пуста,

О, спутник жизни незаметный...

Да... все прошло!.. прошло, как сон.

И только здесь — не сновиденья...  
(Полуплаксиво) Запомни, старый бастион,—  
И я страдал... за убежденья!..  
(Пауза) А между тем... давно... тогда,  
Когда не шли с востока грозы...»  
Я уверял: пройдут года!..  
Но я останусь навсегда!!!

(Пауза) «Как хороши... как свежи... были розы...»  
(Плаксиво) Я был хороший человек —  
И даже верил в христианство...  
И мог бы скромно целый век  
Быть предводителем дворянства...  
Я жил приятно и легко.  
В своем имении... на Каме.

Сентиментальность позера.

То пил парное молоко,  
То вел беседу с мужиками...  
(Пауза, вздох)... «Как хороши... как свежи... были ро-  
зы...»  
Потом... О, Боже! Я дрожу,  
Так стены мрачны и угрюмы —  
Я в депутаты прохожу.

И... (Позируя, с гордостью) становлюсь любимцем Думы!  
Потом (оживляется) Париж! Стокгольм! Экспресс!  
Банкеты!.. Лавры!.. и оливы!..  
Я пью за мир! и за прогресс!..  
И за войну! и за проливы!!!  
(Пауза, вздох) «Как хороши, как свежи были розы...»  
Но дальше... Дальше!.. Ставка!.. Двор!..  
Все совершается так быстро...  
Я целью правильно в упор.  
И... получаю сан министра!..  
Сам царь дает мне ордена

Показывает на золотое шитье.

И этот ключ, и эти бармы!.. (Почти с пафосом). Меня боится вся страна!..

И... в струнку тянутся жандармы!!!  
(Вздох. Пауза) «Как хороши, как свежи были розы...»  
И вот конец пришел всему,  
К чему я шел в порыве дерзком...  
Меня хватают и... в тюрьму  
Везут в мундире камергерском!..  
Теперь под суд я попаду,  
Пропашим кончу человеком...

Его осеняет какая-то мысль. Слегка ударяет себя по лбу.

Не заявить ли мне суду,  
Что я был, в сущности, эсдеком?!..

Музыка несколько громче, настойчивее и отчетливее повторяет рефрен, соответствующий словам «как хороши, как свежи были розы...». Но самые слова больше уже не произносятся, и под звуки рефрена занавес опускается.

Занавес

## КАРТИНА ПЯТАЯ

### «ГОСПОДИН КОМИССАР»

Сцена представляет декорацию второй картины. Те же перегородки; телефон. Но стол уже покрыт красным сукном. На стене, где висел царский портрет, отсыревшее большое пятно выцветших обоев, воспроизводящее размер портрета над четырехугольником — тоже выцветший отпечаток — короны. На месте прежних казенных объявлений висят красные, зеленые, синие листки воззваний. На месте паспортиста сидит барышня-машинистка (веселая, жизнерадостная, гладко причесанная, тип курсистки) и стучит на пишущей машинке. Справа, по другую сторону стола, также сидит барышня, совершенно так же одетая, такого же типа и по внешности даже портретно схожая с первой. Она так же весело и бойко стучит на машинке. (Обе в белых английских блузках, воротничках, маленьких черных галстуках, манжетах.)

За столом — г. комиссар; фрак, белая грудь, адвокатский значок на красной небольшой розетке. Воплощение вежливости и почти изысканной профессиональной любезности. Комната залита утренним солнечным светом. На сыром пятне, где висел портрет, прыгают веселые зайчики. Вся эта картина должна быть исполнена жизнерадостного, бодрящего тона самой доброкачественной буффонады.

### УЧАСТВУЮЩИЕ:

Господин комиссар — 30 с лишним лет. Пробор. Безукоризненно выбрит. Располагающая наружность.

1-я барышня.

2-я барышня.

Федотыч (1-й милиционер).

Лебедин (2-й милиционер).

Господин Фиикельштейн — приезжий еврей. Благообразная наружность. Почти патриархальная. Черная борода с проседью. Лет под 60. Легкое акцентирование, скорее певучесть речи. Черное широкое пальто, котелок, зонтик, галоши. Вид обстоятельный.

При открытии занавеса комиссар сидит в кресле за столом и что-то пишет. Вид сосредоточенный, деловой. Барышни в такт, бойко стучат на машинках. Небольшая пауза.

Раздается звонок телефона. Комиссар встает и направляется к аппарату.

Комиссар (отвечает на звонок, уверенно отчеканивает).  
Пятьдесят пять, милиция!.. (Пауза). Да... (пауза) к вашим услугам... (Пауза. Улыбаясь.) Слушаю, слушаю...

Улыбка на лице комиссара становится все шире и шире. Он пожимает плечами, делает ряд юмористических жестов в сторону барышень, разводит свободной рукой; видно, что разговор чрезвычайно забавен. Барышни, которые вообще не прочь звонко похохотать, на секунду отрываются от переписки, улыбаются в кредит, выражают явное нетерпение — узнать, в чем дело. Комиссар продолжает отвечать, еле сдерживая смех.

Понимаю, гражданин... (пауза) вполне вам сочувствую (пауза) к сожалению, ничем не могу быть полезен... (пауза) Да, да!.. Но в личную жизнь супругов... мы не имеем права вмешиваться... (пауза; переспрашивая) Мировые судьи?.. (изумляясь, почти не сдерживая смеха). Да что вы, гражданин?! Конечно, действуют!.. (пауза, сочувственно соглашаясь) Обратитесь, обратитесь... (пауза) Да (пауза; с сияющим от смеха лицом). Пожалуйста, пожалуйста... наша обязанность (смеется). До свиданья!.. (вешает трубку). (Разводя руками, обращается к переставшим стучать барышням, превратившимся в два вопросительных знака). Ну, доложу я вам, и поблика!..

Барышни (наперебой). В чем дело? Что случилось? Расскажите!!!

Комиссар (со смехом). Ничего особенного... Маленькие семейные неприятности... у гражданина бакалейщика!.. Гражданин, обладающий, очевидно, чересчур мягким характером, был избит гражданкой супругой... Вот он и обращается к нам с просьбой... не может ли новая власть (Барышни готовы прыснуть) облегчить его горькую участь... так как — заявляет бакалейщик — «довольно я от этого ирода... при старом режиме... горя вытерпел...» (Барышни звонко хохочут. Смеется и сам комиссар.) А потом спрашивает... Можно ли с таким делом к мировому обратиться... ибо гражданин полотер уверял гражданина бакалейщика, что... (смеется) «теперь всех мировых на фронт отправлять будут... потому, как... даже всем каторжникам амнистия вышла» (Новый взрыв хохота. Комиссар садится за стол, барышни принимают за работу. Комиссар, покачивая головой, склонившись над бумагами). Ох, и темна еще матушка-Русь... Работы, работы-то впереди сколько!.. (обращаясь к барышням). Ну, барышни, за дело, за дело... время не ждет!..

Комиссар углубляется в работу. Барышни в унисон стучат на машинках.

Федотыч (входит). Дозвольте доложить... так что... еще птиц привезли!.. И куда их девать не знаем... помещений больше никаких нету. Все, как есть, забито.

Комиссар (слегка недоумевая). Какие, Федотыч, птицы?

Федотыч (барышни вновь насторожились; вновь дрожат улыбки на лицах). Опять эти самые, ваше благо... (заминается, конфузится; виновато махнув рукой). Виноват, орлы!.. (Опять звонкий смех. Добродушно-конфузливо смеется и Федотыч).

Комиссар (продолжая улыбаться). Откуда ж теперь?..

Федотыч. Говорит возчик, всю Тверскую объехал... как есть от самой заставы наняли... только в Охотном скубенты его и ослобонили... так, из лавки в лавку и ходили... (Новый взрыв смеха) потом дали трещницу... приказали сюда свезти...

Комиссар (добродушно). Ну, что ж теперь делать?.. Возьмитесь-ка с Лебедкиным да свалите их во дворе.

Федотыч (с сочувственно-понимающим видом). Прямо в кучу?

Комиссар (*тоже смеясь*). Прямо в кучу!..

Федотыч. Слушаюсь... (*уходит*).

Комиссар (*к барышням, снова принявшимися за машинки*). Настоящее орлиное гнездо... (*Тонем милой шутки.*) Если не считать двух пигалиц...

Барышни (*слегка вспыхнув, перебивая одна другую*). Товарищ... Гражданин... Я бы! и я тоже! Мы просим!.. Мы требуем!.. Чтоб нас не называли пигалицами!.. (*смягчаясь*). Раз... мы гражданки... (*выпаливая*). Второго района!! (*Энергично садятся на место. Принимаются за работу.*)

Комиссар (*чуть смущенный столь неожиданным репримандом, но с легкой иронией*). Ну, гражданки — второго района... Помиримся!.. И будем друзьями. А в знак того, что вы больше на меня не сердитесь (*добродушно смотрит на одну, то на другую. Барышни тоже успели отойти и готовы залиться смехом*) и искренно прощаете меня, — перепишите (*протягивает два черновика бумаг*), пожалуйста, вот эти срочные бумажки... (*Барышни, лукаво, с притворным гневом, не поворачиваясь, берут у него бумаги, переводят регистры, вынимают прежние листы и вставляют чистые. Сдерживая улыбки, начинают переписывать.*)

Комиссар. Так больше не сердитесь?

Барышни (*маленькая пауза*). Н... (*скороговоркой*). Не знаем!

Комиссар (*с прежним оттенком легкой иронии*). В таком случае, не решить ли нам вопрос... открытой баллотировкой?..

Барышни (*фыркнув*). Хорошо!.. Хорошо!..

Комиссар (*с напускной торжественностью*). В таком случае я начинаю. Кто из присутствующих считает (*и он, и они еле сдерживают улыбки*) индифферентным, благоволиите поднять руку... (*Барышни лукаво поглядывают одна на другую и нерешительно, закрывая одной рукой смеющийся рот, медленно поднимают, каждая, другую руку, повернувшись к комиссару вполоборота в разные стороны.*)

Комиссар (*протянув указательный палец, сначала безмолвно считает количество рук и неслышно шепчет губами. Притворно-деловым тоном*). Позвольте объявить результаты голосования... (*торжественно*) подавляющим большинством, при одном воздержавшемся, решено инцидент с пигалицами... (*Барышни делают злые глаза.*) считать исчерпанным и предать его забвению... (*хватает одновременно обе поднятые ручки в трогательных манжетках и с утрированной благодарностью пожимает их. Общий веселый смех. Все возвращаются к работе. Небольшая пауза. Бойкий стук машинок.*)

Лебедкин (*2-й милиционер, входит*). Господин комиссар... вас какой-то человек дожидается (*едва улыбаясь*) насчет прописки...

Комиссар. Ну, что ж вы не просите, Лебедкин? Зовите, зовите его сюда. И запомните раз навсегда, что (*мягко-наставительно*) просителей ни в коем случае нельзя заставлять ждать... (*Лебедкин с понимающим видом кивает головою.*) Не они существуют для нас,

а мы для них... поняли? (новый кивок головой). Ну, вот... зовите, зовите его скорее!..

Лебедкин (бойко). Слушаю-с, господин комиссар!

Уходит. После очень короткой паузы входит г. Финкельштейн. Барышни мельком взглядывают на него и продолжают работать, Финкельштейн с некоторым недоверием озирается, потом, расхрабравшись, смешно кивает головой. В руках у него зонтик и котелок.

Комиссар (кивком отвечает на поклон. Слегка приподымается и рукой указывает на стул, приставленный к столу по ту сторону перегородки). Прошу садиться... (Финкельштейн признательно кивает головой и в нерешительности продолжает оставаться на одном месте). Чем могу служить?

Финкельштейн (в голосе которого в продолжение всей сцены чувствуется юмор, осторожность, но и желание показать себя, сохранить необходимое достоинство; несколько недоумевая). Что значит... Вы будете служить? (Барышни начинают улыбаться).

Комиссар (стараясь сохранить лишнюю сухости серьезность). Я спрашиваю, чем я могу быть вам полезен?

Финкельштейн (уразумев). О! Полезен, да! (Комиссар снова жестом приглашает его сесть). Благодарю вас... (садится, постепенно все более и более осваиваясь). Я таки немного устал. Вы знаете, эта Москва, так это настоящий сумасшедший город... Извозчиков нет, трамваев нет... и все бегут, и все не знают, куда бегут... (Оглядывается, смотрит на стенку, замечает не нуждающееся в комментариях пятно от портрета. Слегка цокнув языком.) Ц-с! (юмористически покачав головой; выразительный взгляд в сторону пятна) Уже?!

Комиссар (обернувшись, быстро сообразив, слегка улыбаясь). Уже. (Очень короткая пауза. Мягко). Однако в чем ваше дело... господин...

Финкельштейн (подхватывает). Финкельштейн (приподнимаясь и вновь садясь). Моя фамилия Финкельштейн!

Комиссар (кивает головой, барышни низко склоняются над машинками, стараясь скрыть улыбки). Ну, так вот, позвольте узнать, господин Финкельштейн, в чем все-таки ваше дело?

Финкельштейн (улыбаясь, как бы вопросительно). Мое дело... (Пожимает плечами.) Обыкновенное комиссаржевское дело!..

Комиссар (и он и барышни недоумевают, улыбаются). Простите, я вас... не совсем понял... что вы (преувеличенно-любезно) изволите называть... комиссаржевским делом?

Финкельштейн (недоумевая в свою очередь). Что значит что? (вынимает из бокового кармана потрепанную паспортную книжку). То, что при старом режиме называлось участковым (невуче), а теперь называется комиссаржевским (протягивает паспорт)... вот это!..

Комиссар (поняв, сдерживает смех, барышни совсем спрятались за машинки. Берет у него из рук книжку). Паспорт?

Финкельштейн. Ну да!..

Комиссар. Что же вы с ним собираетесь делать?

Финкельштейн *(изумляясь)*. Я? Это я вас должен спросить, что вы собираетесь сделать с ним? *(Пауза. Мягко, но не доверчиво.)* И со мной?!

Комиссар *(улыбаясь и отдавая ему паспорт)*. Ровно ничего!.. Просто вернуть его хозяину... *(отдает)*.

Финкельштейн *(нерешительно берет)*. Значит, у вас... эта штука... тоже отменяется?

Комиссар *(очень любезно)*. Виноват, где у нас?

Финкельштейн. Что значит где? В вашем участке... *(запнувшись, быстро)* тьфу... *(заученно)* в комиссарьяте!..

Комиссар. Точно так же, как и во всех остальных комиссариатах всей Москвы... *(Улыбаясь)* всей России.

Финкельштейн. В остальных — я сам знаю... *(Поднимаясь со стула)*. Их же, слава Богу, здесь целых 48..

Комиссар. Совершенно верно.

Финкельштейн. Я думаю, верно... *(застегивая пальто)* когда я их всех собственными ногами... обегал.

Комиссар *(изумляясь)*. Зачем же вам это понадобилось?

Финкельштейн. Он еще спрашивает, зачем? Чтобы проверить...

Комиссар *(изумление его возрастает)*. Но что именно?

Финкельштейн *(с легкой досадой)*. Ай, так вы совсем не знаете... наших прежних законов... *(Поясняет, жестикулируя котелком и зонтиком)*... Сегодня — можно, а завтра — нельзя... на этом тротуаре — допускается, а на другом тротуаре — уже не допускается... *(Барышни, прыснув, вылетают из комнаты, каждая — в другую сторону. Комиссар еле удерживает смех)*. Так что я делаю?! Я иду во все участ... *(запнувшись, быстро поправляется)* тьфу... эти в комиссарьяты... и *(пожимает плечами)* говорю... вот мой паспорт... и, если да, — так сделайте на нем подпись — и будьте здоровы! И уже здесь *(протягивает свой паспорт)*, вы видите, расписались все 47 присяжных поверенных... *(улыбаясь, мягко)* Что делать? Когда нужно, так коллекцией тоже станешь заниматься... вы знаете, мы — евреи — ко всему привыкли!.. *(Спохватившись)* Виноват, господин комиссар... Будьте так любезны и поставьте уже вашу последнюю подпись! И пусть уже будет конец!.. А то вы знаете... *(комиссар, сочувственно и мило улыбаясь, садится за стол и подписывает)*. В этом сумасшедшем городе совсем можно без ног остаться. *(Во время последних слов Финкельштейна за сценой слышен то звонкий, то сдавленный смех барышень.)*

Занавес



## КАРТИНА ШЕСТАЯ

### «ДА ЗДРАВСТВУЕТ СВОБОДА»

Декорация третьей картины: царская ложа. Все осталось по-прежнему, только корону убрали. Колпачки со свечой на люстре внутри ложи сняты, и поэтому свет ярко заливает всех сидящих. Их очень много. Впечатление такое, что ложа битком набита солдатами и рабочими. По бокам ложи на барьере сидят по двое-трое, чуть перегибаясь наружу, положив один другому руки на плечи. Посредине, ничем пока не выделяясь среди всей группы сидящих в ложе, помещается освобожденный узник в том же простом черном костюме. Как только открывается занавес, солдаты и рабочие, протягивая руки к зрительному залу (где предполагается оркестр и сцена), начинают громко и стройно требовать исполнения Марсельезы.

**Голоса.** Марсельезу!.. Марсельезу!.. Марсельезу!!.. *(Психологически к этим крикам должен неизбежно присоединиться и весь зрительный зал, так что картина должна получиться сама собой эффектная и внушительная.)*

**Голоса.** Марсельезу!.. Оркестр!.. Марсельезу!.. *(раздаются из настоящего оркестра, в месте его постоянного расположения, первые величественные звуки Марсельезы).*

**Голос из ложи** *(в ложе все поднялись с мест, как только прозвучали первые ноты).* Встать! Встать! *(Голоса из зрительного зала.)* Просим встать!.. Все встаньте!!

Все в ложе и в зрительном зале встают и в торжественном молчании выслушивают Марсельезу. Крики: Ура... Ура... Ура!

**Освобожденный узник** *(поднимаясь в середине ложи, опираясь на барьер, после того как смолкают последние звуки музыки и крики ура).* Граждане! Я хочу вам прочесть несколько строк!.. Строк, написанных только вчера, когда вы... *(Голос его слегка дрожит)* раскрыли двери... моей тюрьмы!.. Эти строки посвящены нашей весне!.. Весне семнадцатого года!!.. Можно, граждане?

**Голоса** *(из ложи и, надо думать, весь зрительный зал).* Можно! Можно! Просим! *(басы)* Про-осим!..

**Освобожденный узник**

*(протягивает руку из ложи в направлении к зрительному залу, как бы давая понять, что он ждет тишины)*

Я сегодня влюблен  
В голубую весну!  
Огневая рука  
Разметала туман.  
Все могу!.. Все хочу!..  
Захочу — и плесну  
Искрометным вином  
В голубой океан!..  
В пробужденных полях  
Я услышал шаги  
И надтреснутый стон  
Посиневшего льда...  
Приближалась она...

— Дорогая, беги!..  
Я объятия раскрыл:  
— Дорогая, сюда!..  
Дай коснуться твоих  
Розовеющих уст  
И к упругим ногам  
Истомленным припасть...  
Пенье птиц и ручья,  
Голой веточки хруст —  
Это ты и твоя  
Животворная страсть!..  
Задыхаюсь и пью  
Голубое вино —  
И зажженная кровь  
Ударяет в виски...  
В каземате моем  
Было слишком темно!..  
Были в сердце моем  
Только змеи тоски!..  
Но сегодня... В дыму —  
Закурились леса  
И плывет в небеса  
Испарения дым...  
И поют, и зовут,  
И звенят голоса:  
— Будь опять молодым!..  
— Будь опять молодым!..  
Возродятся поля,  
И набухнет зерно,  
И высокая рожь  
Улыбнется шмелю...  
И прольется с небес  
Голубое вино,  
И пребудет земля  
Во счастливом хмелю!..  
Я сорвал пелену  
Погребальных одежд!  
Искрометным вином  
Прямо в сердце плесну!..—  
Пейте вместе со мной  
За свершение надежд!..  
Я сегодня влюблен...  
В голубую весну!..

Взрыв аплодисментов в ложе и — желательнo?! — в зрительном зале. В аплодисменты бурно врывается Марсельеза, и под звуки ее опускается занавес.

Занавес

## ЭПИЛОГ

### «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ»

Декорация та же, что и в прологе. Все предметы, находившиеся в комнате, остались в том же естественном беспорядке, в каком они были в момент ухода обитателей комнаты. На вешалке по-прежнему висят две горностаевые мантии. В оконные стекла бьет яркий солнечный свет, и в широкой полосе его, словно в пьяном танце, кружится золотая пыль. Вся обстановка пансиона королей выступает в своем подчеркнутом освещении убожеством. Видно, что не особенно заботливая рука трудилась над украшением этого своеобразного приюта.

Некоторое время по открытии занавеса сцена остается пустой, и вновь, как и в прологе, издалека доносятся звуки музыки, составляющей как бы продолжение первоначального музыкального вступления... Мотив тот же, из «Онегина», начинается с такта, соответствующего словам «что день грядущий мне готовит?»...

Наконец, на сцену гуськом, один за другим, входят монархи. Людовик, опираясь на жезл, придерживая голову, сумрачный и недовольный. Он молча кладет свою корону на верхнюю полку этажерки и тяжело опускается в кресло.

За ним, тихо вздыхая, проходит Султан. Он слегка жмурится от солнца; также безмолвно кладет корону на вторую полку и, печально оглядевшись вокруг и еще раз тяжело вздохнув, садится на прежнее место.

За Султаном, отдуваясь и пыхтя, словно устав от всего виденного, движется Шах. И он снимает корону с головы своей, слегка приподымает ее, грустно рассматривает и, наконец, безнадежно махнув рукой, относит на место и грузно сваливается на низкий пуф.

С хлыстиком в руках и с короной под мышкой входит и Мануэль, экс-король португальский. Он быстрым движением швыряет хлыстик в угол, отчего Султан и Шах вздрагивают, и с деловым видом кладет свою корону на четвертую по порядку полку. Затем так же быстро возвращается к дверям и обращается к замыкавшему шествие и входящему в то время Николаю II.

Николай в английском в крупную клетку пиджачном костюме и в котелке. В одной руке у него небольшой букет цветов, в другой — небольшой дорожный саквояж.

Во всей фигуре выражение нерешительности и полного смущения. Он входит, оглядывается, снимает котелок, опускает саквояж на пол и кладет на него сначала котелок, а на котелок и цветы.

Очень короткая пауза, во время которой Мануэль, как указано, успевает пойти Николаю навстречу.

Мануэль. *Распаковывайтесь, ваше величество, и будьте как дома... (Подходя к саквояжу, чтобы помочь, замечает букет цветов, берет их и нюхает). Что это у вас... цветы, ваше величество?*

Николай *(смущенно разводя руками и опять озираясь кругом)*. Да... я так люблю... цветы!..

Мануэль *(еще раз нюхает; стараясь быть любезным)*. Прелестно. Изумительный аромат!.. Ваше величество, вероятно, большой эстет!..

Николай *(все в прежнем смущении)*. Да... большой *(в то время как Мануэль развязывает саквояж, Николай оглядывается и продолжает в тоне все той же нерешительности и растерянности)*. Здесь... очень много моли, ваше величество...

Мануэль *(развязывая саквояж)*. Здесь очень много *(жест в сторону вешалки)* горностаю, ваше величество... а теперь *(вынимая из саквояжа пышную красную мантию с горностаевым воротником)*

и шлейфом) будет еще больше... (Идет к вешалке, вешает ее рядом с другими, заботливо смахивает пылинку, отходит на два шага и любуется). Шикарная вещь и как великолепно сохранилась!..

Николай. Да... Двадцать три года...

Мануэль (тоном непритворного, но слегка отдающего иронией сочувствия). Какая жалость!.. Каких-нибудь два года до юбилея!..

Николай (растерянно). Да...

Мануэль (вынимает из саквояжа корону, слегка повертев ее в руках, тоном знатока): Chapeau du Monomach?!

Николай (кивает головой). Да... (почти бессмысленно) Мономах... (Продолжает все так же растерянно стоять на одном месте. Мануэль кладет корону на полку.)

Мануэль (фамильярно хлопает Николая по плечу и ногой отшвыривает саквояж в угол, отчего Шах и Султан, начавшие было дремать, вздрагивают и испуганно-недовольно окрысываются на Мануэля). Ну, не унывайте, ваше величество!.. Обживитесь, привыкнете... и еще будете судьбу благодарить!.. вон... (указывая в сторону Людовика, который в течение всей картины недвижно сидит в кресле, глубоко уйдя в подушки). Вы сами видите... бывают случаи, quand (выразительный жест вокруг собственной шеи) la coronne tombe avec la tête! Не правда ли? (берет его за талию, чтобы пройти по комнате. Они делают два-три шага). Однако что же мы все болтаем, болтаем, а о главном я вас и не спросил!.. Вы как насчет преферанса... (коротенькая пауза) играете?..

Николай (в прежнем тоне). Да... играю...

Мануэль (оживившись, быстро подходит к Султану и Шаху, хлопает одновременно того и другого, те опять недовольно и испуганно вздрагивают). Ну, ваши величества, преферанс готов!..

Они вопросительно на него взглядывают и, собравшись, тупо кивают головами в знак согласия. Мануэль быстро придвигает качалку и какое-то сломанное креслице и, опускаясь в качалку, жестом приглашает Николая сесть. Тот послушно садится. Султан вынимает из кармана колоду засаленных карт и начинает ее тасовать. В это время издали опять начинают доноситься звуки музыки, сопровождавшей слова Людовика на сцене пролога: какой-нибудь очень старинный вальс или мюэт.

Султан (к Шаху). Снимите...

Шах (снимает; Султан опять тасует). По маленькой?..

Султан (иронически, но без озлобления). А то по большой?! (Начинается безмолвная игра. Мануэль раскачивается и слегка насвистывает.)

Людовик (после некоторой паузы, глядя в окно). (За окном, с момента появления на сцене монархов, опять методически мелькает штык часового.) (Глухим и зловещим голосом.) Весна...

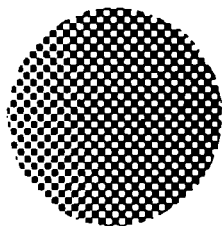
Мануэль (подхватывает). «Выставляется первая рама!..» (Быстро, точно связывая только что сказанное с последующими словами, обращаясь к Николаю.) Кстати, ваше величество!.. Как подробно произносится ваш титул?.. Я помню... что-то очень длинное...

Николай (*глядя в карты*). Да, это очень длинно (*словно вспоминает, продолжая играть*). Божьей милостью мы... Николай второй... император всероссийский... царь польский... великий князь... финляндский... и прочая... и прочая... и прочая...

Мануэль. C'est epatant!.. и прочая! и прочая! (*картавит*) и прочая!.. (*Под звуки музыки занавес опускается.*)

Занавес

# Проза





## УРОКИ РУССКОЙ ИСТОРИИ

Се — повести временных лет, откуда русское зарубежье есть пошло и как российская зарубежная земля стала есть.

---

В глубокой древности, у верховьев разных европейских рек осели различные племена, как-то: рябушане, скаржане, треповичи, носовичи, трегубовичи, гревеничи и билимовичи.

Каждое из этих племен состояло из отдельных родов, а каждый род управлялся родоначальником или старейшиной. Племена жили оседло, занимаясь воспоминаниями о земледелии, скотоводстве, охоте, рыбной ловле и пчеловодстве.

В важных случаях старейшины собирались на сходку, или вече.

Чаще всего вече происходило на верховьях реки Сены.

Вечевые сходбища отнюдь не отличались миролюбивым характером, а даже совсем наоборот.

Однажды, когда усобицы и раздоры грозили перейти в настоящее побоище, вече решило, что только сильная и твердая власть может спасти их от гибели.

Послы отправились по соседству и сказали:

— Зарубежная земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет, приходите княжить и владеть нами.

Таким образом, с 1226 года после Р. Х. и начинается история Зарубежного Русского Государства.

Овладев Парижем и назвав его зарубежной матерью городов русских, вышеперечисленные племена определили размер дани и обложили друг друга.

В собирании дани особенно прославился один мудрый Палеолог, прозванный за свои подвиги Вещим.

В это время Зарубежная Русь распалась на уделы, во главе которых стоял главный, безоговорочный, удельно-вечевой орган, долженствующий управлять всем населением удельного зарубежья.

Население делилось на служилое сословие, людей и смердов.

Служилое сословие было разноплеменным, ибо в него входили и старые рюриковичи, являвшиеся прямыми потомками Аскольдо-



вой могилы, и представители норманнских и угрских племен, как Нейдгарт, Ольденбург, Гримм, и другие и даже некоторые хозары, дававшие деньги.

Служилое сословие часто переходило от одного великого князя к другому.

Так, например, известен не один случай перехода к удельному князю Кириллу, сидевшему на земле Кобургской.

Служилое сословие, или бояре, играло видную роль и из них назначались разные должностные лица, воеводы, посадники и тиуны.

Так, известный польский воевода Скаржинский кормился от воеводства Белградского, другой воевода Крупенский получал доходишко от бессарабской вотчины своей; что же касается храброго, как тур, и неустрашимого, как лев, Маркова II Евгеньевича, то он за доблести и ратные дела гордо именовался: Марка-Посадница, назло язычникам и иноплеменникам.

К служилому сословию принадлежали и гридни, или отроки, составлявшие особую дружину, или союз отроков.

Когда старшие приказывали, отроки должны были как один человек кричать во всю мочь — ура или вон!!! Смотря по обстоятельствам.

Людьми назывались свободные жители разных городов и сел, приехавшие на вече отхожего промысла ради.

Что же до смердов и холопов, то сии и пикнуть не смели и имели по одному голосу на каждые сто пятьдесят миллионов.

Границы русского зарубежья в 20-м веке были следующие: от пляс Пигаль до Кордильерских гор, к северо-востоку от вольного города Шанхая до Новой Земли, и на юго-запад, от Сахаровского пугтыря до Сербов, Хорватов и Словенцев.

С расширением границ хлынуло в русское зарубежье и просвещение.

Первая зарубежная азбука была сочинена князем Кириллом и по его имени получила название Кириллицы.

После составления азбуки широкое распространение получили всякого рода сказания, апокрифы, летописи и мемуары.

Все они были проникнуты духовно-нравственным содержанием, как, например, произведения известного песнопевца Краснова.

Были и чисто народные легенды, размножавшиеся разными калликами переходжими, вроде крестьянского бандуриста Котомкина и других.

Но самым замечательным произведением этой эпохи следует признать «Русскую зарубежную Правду», составленную боярином Треповым.

Это поистине один из лучших памятников народного творчества, как выразился сам князь Щербатов, старина и роскошь русского зарубежья.

Но об этом в следующий раз.

## ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ МОЗГОВЫХ ПОЛУШАРИЙ

Милостивые Государыни и Милостивые Государи!

Темой настоящей лекции является: крушение парламентаризма и необходимость диктатуры. Остановимся и попробуем разобраться.

### 1. ГНИЛОЙ ЗАПАД

Надеюсь, что уже никто из присутствующих не сомневается в том, что так называемый Запад окончательно сгнил и что сегодняшний день может быть смело назван последним днем Помпеи.

Лучшие русские мыслители, начиная от покойного генерала Дитятина и кончая благополучно здравствующим Игорем Северяниным, сходятся на том, что Европа должна погибнуть, как Вавилон и другие провинции.

Причины гибели вполне доступны для каждого невооруженного глаза, а тем более для вооруженного.

Главнейшая суть: фокстрот и всеобщее голосование.

Все танцуют и все голосуют... Где ж это видано?!

Было ли что-нибудь подобное во времена Ампира или даже Рокко?!

— А ну-ка, мудрый Эдип, отвечай!..

И, конечно, он ничего не отвечает, а молчит.

Но можем ли мы, лучшие представители зарубежной мысли, обойти молчанием?

Нет, не можем.

### 2. ДАНСИНГИ И ПАРЛАМЕНТЫ

Какая разница между дансингом и парламентом?

Никакой разницы, милостивые государи, между ними нет.

Это оба очага общественного бедствия открыты всю ночь напролет, что же касается нюанса конечностей, то в одном происходит простым поднятием руки, в другом — простым поднятием ног, но факт налицо: всеобщее разложение нравов и борьба за власть.

Пристало ли нам подвергаться сей мировой заразе и, следуя программе Ивана Калиты, переносить чужеродный негритянский джаз в черноземную полосу средней России?!

### 3. ДИКТАТУРА

В чем же спасение? Или где же выход?

Мы много над этим думали и надумали: спасенье — в диктатуре, и выход там же.

Но прежде всего остановимся и попробуем разобраться. Диктатором называется человек, умеющий диктовать. Все остальные пишут под диктовку и называются населением. Кто не желает подчиняться правилам правописания, высылается вон и называется эмигрантом.

При диктатуре пролетариата правописание — новое, при едином диктаторе правописание — старое.

Но эмигранты неизбежны при всех правописаниях.

Кроме того, мы настаиваем на обоих юсах, большом и малом, как для вывесок, так и для частной переписки.

Мы говорим честно: лицом к истории и спиной к Европе!

При двух юсах у нас не будет двух палат, ура! и пошлем почто-телеграмму!..

#### ВЕЛИКИЕ ПРИМЕРЫ

Самое лучшее, когда диктатор из военных.

Это, так сказать, идеальный случай.

Но могут быть, конечно, и другие случаи с диктаторами.

Совершенно штатские.

Остановимся и попробуем разобраться.

Страной, наиболее нам родственной по духу и традициям, является Испания.

Старое русское выражение «никаких испанцев» является теперь очевидным и вопиющим анахронизмом.

Наоборот, именно испанцев и как можно больше!

В смысле нравов сплошное целомудрие, за всю свою многовековую историю — каких-нибудь тринадцать альфонсов, при такой территории цифра явно ничтожная.

Несмотря на это, Испания была накануне гибели, от которой ее спас храбрый кавалерийский генерал с чудной, непере译имой фамилией.

Он распустил парламент и особым декретом уничтожил дамские декольте.

Через несколько дней страна расцвела.

Но возьмем другой пример, возьмем Грецию.

Греция была накануне гибели. Короля укусила обезьяна. Венизелос, которому было семьдесят два года, женился, а парламент непрерывно заседал.

Тогда явился храбрый греческий адмирал и поднял адмиральский флаг.

Вслед за этим он немедленно распустил парламент и подтянул гречанок, которых до него чересчур распустили греки.

Приказом по армии и флоту адмирал мужественно изменил короткие женские юбки.

Страна немедленно расцвела, а кефаль безумно подешевела.

Но и Испания, и Греция должны ступать пред страной, на которую обращены наши вожделенные взоры.

И страна эта — Италия...

Герцог Муссолини, прямой потомок Ромула и Рема, вскормленных молоком волчицы, непревзойденный зачинатель итальянского ренессанса, вот великий пример для нас, зачинателей ренессанса по-русски.

Тысячи дансингов и один парламент были им закрыты в мгновение ока. Вот она, вечность во мгновении!..

И поэтому мы и говорим:

— Да здравствуют Ромул и Рем, и мамка ихняя, уррра!

1926

## РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

### ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

Государственным переворотом называется такое явление, когда все летит вверх тормашками.

Тормашки есть юридическое понятие, установленное с незапамятных времен энциклопедией права.

Тормашками можно лететь только вверх, и ни в каком случае — вниз.

Это очень важно, так как при обилии государственных переворотов вниз не хватило бы места, в то время как наверху его сколько угодно.

Когда переворот не удастся, он называется бунтом.

Между тем как удавшийся бунт называется переворотом.

Есть такие государства, которые переворачиваются не менее четырех раз в год.

Так, например, Мексика очень гордится своими мексиканскими тормашками, стяжавшими ей всемирную славу.

Не меньшую подвижность обнаруживали в свое время и русские пейзажи.

— Сенька, поддержи мои семечки, я ему морду набью.

В этих простых словах ясно чувствуется отвращение к парламентаризму.

### ГЕНЕРАЛ

В приличном обществе принято, чтобы перевороты производились генералами.

Если генерала нет, то это не общество, а черт знает что.

Боевой генерал рассуждает так: выйти ему в отставку или перерезать телефонные провода?!

Логика прямо указывает на то, что лучше перерезать провода.

Тогда генерал садится на коня и верхом въезжает в заседание Сената.

Увидев в своей среде настоящую живую лошадь, сенаторы заявляют, что хотя они пешеходы, но душой и тормашками принадлежат отечеству.

Генерал берет под козырек и говорит, что он желает немедленно присягать.

Все в восторге.

Чтобы подчеркнуть торжественность момента, сенаторы выстраиваются полукругом, и против каждого из них устанавливается пушка, заряженная по всем правилам артиллерийского искусства.

Тогда генерал вынимает шашку и, замахнувшись по обычаю на председателя собрания, в конном порядке присягает на верность конституции.

Вечером город роскошно иллюминирован и погребов взрываются один за другим.

Празднично настроенное население сбегается смотреть на похороны жертв революции, а на уличных столбах вместо всем надоевших афиш каких-нибудь индийских факиров и дрессированных блох яркими пятнами красуются воззвания генерала к стране.

#### ВОЗЗВАНИЕ

«Португальцы, португалки и португальские дети!

Отечество в опасности.

Важнейшие телеграфные провода, равно как и лидеры партий, перерезаны!

Палата депутатов распущена до последней возможности.

Уступая давлению народных масс, президент республики удался.

Но это неважно. Он все равно должен был быть предан суду.

Новые выборы будут назначены через десять лет, и пусть наконец страна выскажется.

В тяжкую минуту ниспосланных нам испытаний я принял на себя бремя власти.

Поэтому мародеры будут хорониться на государственный счет, а предварительно расстреливаться на месте.

После семи часов вечера никто не имеет права показываться на улицу, не исключая и домашних животных. С нами Бог!

Подпись:

Генерал от кавалерии Перес Малхамувэс-Алфонсино-Гомес».

Чрезвычайно деликатно положение иностранных дипломатов, аккредитованных при переворачивающемся государстве.

Существующий беспорядок вещей требует величайшей осмотрительности.

И пуля — дура, и бомба — дура, разорвет тебя на полную мелочь, а потом иди доказывай, что ты не португалец, а полномочный посланник республики Боливии.

В таких случаях принято, чтобы победоносный генерал извинялся перед иностранными державами за каждого разорванного дипломата в отдельности.

Как только телеграфные провода восстановлены, генерал начинает телеграфировать, а пострадавший дипломатический корпус запечатывается в роскошный цинковый гроб и отправляется к себе на родину под чудные звуки военного оркестра.

Это очень трогательный обычай.

Ввиду того что в стране царит полное спокойствие, генерал доарестовывает членов бывшего правительства и сажает их в тюрьму, где уже сидят члены еще ранее бывшего правительства, равно как и правительства давно прошедшего.

Происходит радостная встреча, обмен впечатлениями, и воспоминания, воспоминания без конца.

Перес вспоминает, как он арестовывал Торреса, Торрес — Хереса, Херес — Малагоса, а Малагос — Мордальюноса.

Вся история страны, генералов и лошадей проходит перед мысленным взором государственных деятелей, отдавших свои последние тормашки возлюбленному отечеству.

#### А В ЭТО ВРЕМЯ...

А в это время уже чья-то новая, горячая рука перерезывает холодную проволоку из Лиссабона в Оporto. Новый генерал садится на коня, и...

— Держись, Голец, начинается!

1926

#### ЧЕМ НОЧЬ ТЕМНЕЙ...

Ну, слава Богу!..

Теперь, как в пожарной команде, можно устроить сбор всех частей.

Последний пробел восполнен, последняя дырка заткнута, недостававшая часть налицо.

— В противодействие Союзу Советских Республик в Париже образовался Союз Русских Дворян.

Приятно отметить, что дворяне организовались не с кондачка и не экспромтом, а на десятый год со дня революции и, так сказать, накануне юбилея.

Значит, все эти девять лет люди о чем-то все-таки думали.

После того как разные средства спасения Родины были испробованы, стало ясно, что путем политическим в Москву не войдешь.

Оставалось только одно: ведение родословных книг и честная метрика.

Когда черные тучи обволакивают черный горизонт и на душе темно, как в черном желудке упившегося чернилами негра, «Союз дворян» кажется каким-то ярким пятном, какой-то светлой точкой на безрадостном фоне нашей эмигрантской жизни!..

Пусть борзописцы и построчные либералы негодуют и надрываются изо всех сил.

Пусть эти кухаркины дети и ораторы неизвестного и, может быть, даже внебрачного происхождения вопят и сатанеют по поводу нового мощного объединения.

Пусть!

Человек, происходящий по прямой линии от Руслана и Людмилы, имеющий в качестве одной бабушки Пиковую даму, а в качестве другой бабушки Аскольдову могилу, такой человек только презрительно пожмет плечами и закажет себе кафэ-натюр, и выпьет его за здоровье своих предков!..

Что может быть общего у прямого потомка Бахчисарайского фонтана с каким-то постным разночинцем, у которого, может быть, и совсем не было никаких родителей?!

Зато когда у человека весь спинной хребет сделан из белой слоновой кости, а в жилах течет даже не голубая кровь, а сплошная ляпислазурь, то не ясно ли, что такой человек не может удовлетвориться каким-то мещанским нансеновским паспортом, где вся геральдика сводится к нумизматике, а вся нумизматика к пятифранковой монете, хотя бы и золотой?..

Но теперь, слава Богу, мучиться уже недолго.

С понятным нетерпением ожидает исстрадавшаяся эмиграция новой жалованной грамоты заграничному дворянству с предоставлением оному законно-выстрадавших льгот, коих артикулы тому следуют:

1. Дворянское дите, хотя бы и родившееся за рубежом, но от двух потомственных дворян разного пола, уже на основании самого факта рождения считается членом Благородного собрания с музыкой и танцами.

2. Всякий зарубежный дворянин, приобретший на правах собственности три аршина зарубежной земли в департаменте Сены и Уазы, считается однодворцем и освобождается от телесных наказаний.

Лица же, имеющие латифундии в виде целого семейного склепа, почитаются феодалами, причем все наличное население вышеупомянутого склепа прикрепляется к земле на вечные времена.

3. В каждом доме, где имеют жительство господа дворяне, в количестве более чем два, надлежит выбирать уездного предводителя дворянства, утверждаемого в сей должности консьержкой.

4. Все уездные предводители ежегодно собираются на свой зарубежный съезд, на каковом и избирается губернский предводитель всего, как мелкопоместного, так и многосклепного дворянства.

5. Что же касается дворянских недорослей, равно как и перерослей, то сим, купно собравшись, образовать «Союз Объединенных Митрофанов» под кратким и живорыбным названием «Сом»!

И поступить сему «Сому» на казенный кошт купеческого сословия первой и второй гильдии, понеже не перевелись в заграницах честные давальцы, не щадящие для блага отечества ни звонкой разменной монеты, ни ассигнаций.

Дано в Пассях, на Сене и Уазе, в лето от российской революсьон десятое. Аминь!

1926

### О ЧИСТОТЕ ЯЗЫКА

В хорошем обществе во время фэйфоклока принято говорить о засорении и порче языка.

Известно, например, что знаменитый французский писатель Марсель Прево на вопрос, чему он посвящает свои досуги, не без скромности ответил:

— Главным образом изучению французского.

Ввиду того что русские, собравшиеся за границей, сплошь принадлежат к хорошему обществу, не говоря уже о том, что время они проводят исключительно за фэйфоклоком, рассуждения о засорении родного языка принимают характер непрерывного и взаимного угощения.

Вздыхают не только о денационализации эмигрантских детей, но и о папах с мамами.

Все, разумеется, относительно.

Или, как здесь выражаются, са-депант...

Иван Сергеевич Тургенев половину своей жизни провел за границей и, несмотря на это, создал тургеневский язык.

Каким образом за семь-восемь лет заграничной жизни умудрились мы этот язык испортить, пусть решают ответственные и безответственные распорядители фэйфоклока.

По совести говоря, я думаю, что в разговорах о порче, засорении и искажении есть просто много кичливости и истерики, самовлюбленного сумбура и некоторой раздражительной амбиции.

Есть такие вечно обиженные мужчины, считающие своей священной обязанностью охранять народное достояние, хотя никто и никогда и никакого достояния им не поручал.

А затем... почему-то всегда так выходит.



Начинается с чистоты славянских корней, а кончается намеком на инородческое засилье.

Трехэтажное татарское зодчество милостиво приемлется, а на город Кременчуг обижаться изволят.

Развязный Корней Чуковский еще двадцать лет назад шумел по поводу того, что русской литературой имеет право заниматься только тот, кто десять веков подряд просидел по горло в мерзлом снегу и питался одними кислыми щами.

Со времени этой Корнейчуковой теории сделано уже немало уступок и выдано несколько разрешительных свидетельств на занятие российским литературным ремеслом не только нисходящим по прямой линии от Рюрика, Синеуса и Трувора, но и таким несомненным хозарам, как г. г. Брокгауз и Ефрон.

Что же касается эмигрантского файфоклока, то здесь ввиду пробуждения национального самосознания вместо общепринятого европейского чая с бисквитами вновь извлекается на свет Божий покрытая плесенью самобытная ботвинья, которой хорошее общество и обжирается до икоты и отрыжки.

Ботвинья состоит из «Слова о полку Игореве», густо заправленного европейскими и армянскими анекдотами.

Для пущей достоверности анекдоты называются фактами, кропотливо собранными на зарубежном пространстве русского рассеяния.

В качестве одного из рассеянных дарю обидчивым мужчинам, как рюриковичам, так и хозарам, несколько заграничных фактов!..

— Бездетная семья со всеми удобствами берет на содержание, можно и без.

— Требуйте новое средство от волос.

— Краснова читать, так тебе ноги не болят, а с мамой гулять пойти, так тебе ноги болят.

— Он с ней неразлучен, как банный лист.

— Ах, лучше и не говорите, девушка из фамилии, а пошла по стопам...

— Будьте знакомы, товарищ ухажера моей дочери.

— Вы берете Кондорд и меняете ее на Шатлэ.

— Продается сносильное белье мужского рода без посредников.

— Грандиозный бал в пользу недостающих учеников.

— Покупаю смокинги по курсу дня.

— Страхование от жизни, землетрясений и прочих несчастных случаев.

— Ничего себе, май! Я мерзну, как рыба об лед.

— Молодой человек! А штанов у вас есть?!

— Дуглас Фербзнкс уже год крутит с Мэри Пикфорд.

— Исторический фильм из жизни Малютки Скуратова.

— Один скульптор сделал бюст руки моей невесты.

А вы, говорите, файфоклок...

Как только весть об извлечении праха Тутанкамона докатилась до эмиграции, решено было немедленно устроить диспут под общим способным примирить наиболее противоположные течения лозунгом:

«Ту-Тан-Камон и мы».

Жгучесть темы, равно как и обещанный в заключение выбор мумии русской колонии сделали свое: зал был переполнен до последней степени.

Два темно-синих ажана мокли у подъезда.

— Объявляю заседание открытым, слово принадлежит...

Оратор, которому принадлежало слово, даже не откашлялся, а начал с места в карьер:

— Мы протестуем против тысячелетних зверств и преступлений, безнаказанно совершавшихся династией Тутанкамонов над миллионами египетских крестьян, которых эти господа сознательно держали в полной египетской тьме, или во тьме египетской, что по-нашему одно и то же. И мы повторяем вновь и вновь: долой пирамиды! Долой чресполосицу! Да здравствует единственный, подлинный, единогласно избранный мужицкий фараон, чью честную мозолистую руку мы ждем отсюда нашим заграничным крестьянским рукопожатием! Ура!..

Зал задрожал от бури одного аплодисмента. Виновника бури обнаружить не удалось, и слово было предоставлено крайнему лидеру Кирилла и Мефодия.

— Милостивые государыни и милостивые государи! Пути Господни неисповедимы. Три с половиной тысячи лет тому назад крокодилы и масоны задумали исход евреев из Египта. Эта гнусная проделка удалась как нельзя лучше, и в тот же день... великого Тутанкамона не стало! Естественно, возник вопрос о блюстителе египетского престола. Но политические распри, партийная борьба и придворные интриги настолько завладели умами, что вопрос этот и по сей день остался неразрешенным. И что же мы видим?! Господство иностранного капитала и осквернение могил... На основании вышеизложенного предлагаю почтить вставанием память князя Пожарского и Козьмы Пруткова!..

Речь имела вполне заслуженный успех. Папа и мама крайнего лидера рыдали навзрыд, но окружающие старались успокоить их, уверяя, что главное — это иметь картд-идантите, а дети при нынешних обстоятельствах роскошь.

Председателю с трудом удалось восстановить порядок.

Запись ораторов приняла угрожающие размеры.

Собранию предстояло выслушать: представителей партии пассивных апархистов, разъединенных казаков, социалистов, монархи-

стов, легитимистов, сторонников зарубежного съезда, сторонников зарубежного разъезда, представителей пешехоновской старины, возвращенцев, непримиримых, примиренцев, либеральных консерваторов, консервативных либералов, евразийцев среднего толка, евразийцев ниже среднего толка, евразийцев просто (так наз. бестолковых), и все это не считая семнадцати союзов пожилых молодежи, русских бойскаутов, фашистов, кобылистов, подбонапартистов и подписчиков Марины Цветаевой плюс.

Предложение ограничить ораторов пятью минутами провалилось.

Инстинкт самосохранения продиктовал: два оратора, один — за, другой — против.

Но, как это часто бывает, тот, кто должен был говорить за, сказал — против, а тот, кто должен был сказать против, говорил за.

Хотя существенного значения это не имело...

Председатель с редким беспристрастием осветил обе точки зрения и предложил проголосовать руками все резолюции.

Но в собрании послышались бурные протесты.

Одни требовали поименного голосования руками, другие — тайного, но без рук, третьи настаивали на вставании и опускании всего корпуса.

Решено было высказаться по поводу порядка голосования. Запись ораторов приняла угрожающие размеры.

Страсти разгорались, но компромисс был найден: один оратор — за, один оратор — против.

Председатель с редким беспристрастием осветил обе точки зрения и предложил теми же самыми способами проголосовать порядок голосования.

Протесты стали еще более бурными. Страсти разгорались. Одни требовали поименного, другие — тайного, третьи — всеобщего и корпусом.

Председателю ничего не оставалось, как закрыть собрание.

Шум, давка, последнее метро.

— Помилуйте, — слышался чей-то возмущенный голос, — нельзя же объявлять человека реакционером только за то, что он три тысячи лет пролежал в земле!..

— Да, но, с другой стороны...

Два темно-синих ажана переминались с ноги на ногу, в сотый раз от скуки разглядывая намокшую от дождя афишку.

Потом оба зашагали по мокрому асфальту.

## ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ

Ввиду непрекращающихся споров о численности эмиграции мы решили устроить частным путем:

Одновременную перепись русского населения за границей.

Учет населения должен начаться сегодня и закончиться завтра.

Так надо!..

### ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Ваше имя? Отчество? Фамилия? Кличка? Прозвище? Псевдоним?

Ваш титул, корень, пол и род?

Если вы родились, то когда и где?

Какой у вас паспорт? (При наличии нескольких назовите главный).

Состоите ли вы в браке, или так?..

Сколько у вас детей? (Своих, подкидышей, футболистов и денационализированных).

Прибегаете ли к займам и зачем?

Прибегаете ли к отдачам и зачем?

Боретесь ли вы за существование и зачем?

Садитесь ли вы уже на землю или еще нет?

Умеете ли делать дамские шляпки, модэс, робэс, шашлык и маникюр?

Когда вы празднуете свой юбилей?

Где вы живете? В мебелированной, в немеблированной, с ходом через хозяйку, с консьержку не беспокоить или независимо?

Вносите ли квартирную плату или вы выше этого?

Сколько кубических футов воздуха приходится на вас и на каждого денационализованного ребенка в отдельности?

Выяснили ли вы свои отношения к фамм-де-менаж?

Ну, и?!

Едите ли вы?

Сколько питательных калорий достается вам и сколько уходит на гостей?

Достаточно ли в вас фосфору?

Фосфоресцируете ли вы?

Какое у вас отопление, освещение и настроение?

Какой способ самоубийства вы предпочитаете?

Собираете ли вы или нет почтовые марки?

В чем у вас выражается тоска по родине и признаете ли вы «i» десятиричное?

Кто ваш самый любимый писатель после Краснова?

Грамотны ли вы?

Читали ли вы «От двуглавого орла к красному знамени и обратно»?

Пишете ли вы сами? Векселя, мемуары, письма в редакцию?

Являетесь ли вы лично одним целым, или вы дробитесь на партии?

Верите ли в возможность сговора с самим собой?

Есть ли у вас писаная торба?

Есть ли у вас собственная урна и что вы в нее опускаете?

Не собираетесь ли вы прикрепить французских крестьян к земле?

Если нет, то почему?

Можете ли вы сами сочинить манифест?

Стоите ли вы за присоединение Абиссинии к Румынии, или наоборот?

На кого вы ставите: на середняка, на бедняка, на кулака, на мужика или на дурака?

И как вы думаете вернуться на родину: на белом коне или пешком?

1926

## НЕЧАЯННЫЕ ТАЛАНТЫ

### 1

Оказывается, большинство русской эмиграции вполне фотоженик. Что это значит, объяснить своими словами невозможно, но общий смысл такой: подходит для аппарата.

Вышесказанное относится только к живым, ибо покойник, даже самый талантливый, для аппарата не подходит: нет достаточной подвижности в лице.

Проявляться русская фотогениальность начала, собственно говоря, уже давно — и внимание на нее обратили в разных консульствах и многочисленных паспортных бюро. И неудивительно.

Нет такого консула, которому мы бы не тыкали свой паспорт плюс шесть фотографических карточек обыкновенного, среднекалторжного типа. Ни один француз, англичанин, немец, чехо-словак не лезет к фотографу семнадцать раз в год. А мы лезем. В результате оказывается, что почти все мы фотоженик. Говорю — почти, потому что небольшая часть эмиграции женик, просто. Без фото. Это та, которая занимается кулебяками и цыганскими романсами.

### 2

Несколько столетий назад, скажем в 1900-м или в 1901 году, молодая провинциальная девушка из хорошей семьи, окончив гимназию, задумчиво останавливалась на распутье: куда идти?

На драматические или на зубоврачебные?

И шла куда глаза глядят.

Но какая девушка в эмиграции может себе позволить нечто по-

добное? Идти куда глаза глядят?! В таком случае либо она просто самоубийца, либо не девушка. И потом... Когда папа — шофер, а мама вышивает крестиком, тут не очень-то постоишь на распутье! Вот в это самое время и приоткрывались, на наше счастье, киношколы, кинокурсы, киностудии и киноакадемии.

Как говорится, куда не кинь, всюду кин.

Учебные заведения эти замечательны тем, что преподают в них исключительно профессора. Так черным по белому и пишется: профессор физиогномики, мимики и гармоники; профессор ритмики и пластики; профессор внутренних воплощений по системе Далькроза; автомобиль, жест и фехтование. Ни дать ни взять — знаменитый мужеский портной, он же мадам.

Девушки с переживаниями, очень бритые молодые люди в непромокаемых пальто, какие-то лимитрофные дамы с вызывающими окружностями, эстеты из угловых кафе, вечные секретари, беспартийные лидеры, то есть лидеры без партий, машинистки первого разряда и, наконец, просто абоненты «брачных газет» — все кинулись к аппарату.

Режиссер, сорокалетний наглец в бархатной тужурке, перебежал с места на место:

— Не давайте профиля, когда вас не просят! Фасом, фасом, все время фасом... Дышите! Еще!.. Одной правой грудью дышите, говорят вам!.. Надрыва, надрыва больше! Теперь, готовьтесь... Полный фас, и слезу в аппарат...

Фильма была сильно драматическая и называлась: «Отцвели уж давно хризантемы в саду».

### 3

Спрос ли вызывает предложение, предложение ли вызывает спрос, но одновременно с размножением артистов стали катастрофически размножаться и фабрики.

Учредить кинофабрику ровно ничего не стоит. Делается это с поразительной и грациозной простотой. Берется самая заурядная эмигрантская фамилия и к ней прибавляется слово «фильм». Все вместе и дает акционерное общество: «Рабинович-фильм», «Рафалович-фильм», «Маргарита Штейнфинкель-фильм», «Прагерплац-Дубасов-Империа-фильм». И так далее.

Каждое акционерное общество имеет свою стар, или звезду, для заглавной роли. Заглавная роль заключается в том, чтоб найти акционеров. Если человек родился под счастливой звездой, то акционеры найдутся. Если же их нет, значит, это не звезды, а черт знает что.

Во всяком случае, с отрадой можно констатировать: мы не расте-  
рялись. Кулебяка, с одной стороны. «Песнь торжествующей любви»,  
с другой стороны, и Высший Монархический Совет посередине —  
фотоженик мы или не фотоженик?!

1926

#### АКАЖУ И ПРОЧЕЕ

О страсти нашей к так называемым оказьонам и скидкам можно  
было бы написать целое исследование и по крайней мере в пяти то-  
мах.

Но, конечно, лучше не надо, потому что пять томов — это уже не  
оказьон, а катастрофа.

Что же касается скидки, то это есть понятие не столько арифме-  
тическое, сколько психологическое.

Помню еще в так называемое доброе старое время священная  
формула — вместо рубля пять копеек — в состоянии была обезору-  
жить самые свободомыслящие умы.

Формулой этой веками держался весь вербный торг, и очень поч-  
тенные семейные люди дюжинами покупали пуговицы царского ре-  
жима, носившие соблазнительное название «Радость холостяка».

Приобреталась эта радость исключительно потому, что вместо  
рубля стоила пять копеек.

С той поры переменили мы немало пуговиц и немало режимов,  
а страсть к скидкам не только не исчезла, но окрепла и развилась,  
став неотъемлемой принадлежностью каждодневного существова-  
ния. Но теперь это уже не от психологии, а от жестокой необходи-  
мости.

Капиталу-то у нас и пяти копеек не наберется, а вкусы благород-  
ные и утонченные.

Отсюда — и оказьон.

Видали ли вы когда-нибудь, чтобы самый рядовой, самый обы-  
кновенный эмигрант купил себе простой, честный стул для того, что-  
бы на нем можно было сидеть или, если надо, чтобы его можно бы-  
ло бросить в голову?

Никогда.

Стулья такие еще есть, но таких эмигрантов нет.

— Я ем горький хлеб изгнания, но на блюде в стиле Директории!

Человек отправляется на Марше-о-Пюс (смешно скрывать, но  
Пюс — это блоха) и упорно разыскивает ночной столик, непременно  
из акажу и обязательно ампир.

— Когда дела поправятся, мы купим кровать и шкаф, нельзя же  
все сразу...

А пока у человека есть стильный ночной столик, безопасная бритва и электрический утюг.

Утюг куплен в Берлине и на здешний вольтаж не годится, но все ж таки движимое имущество.

Если только захотеть, и с этими вещами можно устроиться вполне уютно.

Главное — это хорошее настроение, бодрость и ясность духа.

И, конечно, чтобы все было выдержано в стиле.

Квартиру и мебельщика обставить нетрудно, а художественный вкус вырабатывается веками.

Это только нувориши покупают на рынке старинные портреты в овальных рамах и устраивают себе собственную галерею предков.

Но человек с самолюбием, будь он даже самых передовых убеждений, никогда не решится на что-нибудь подобное.

«Маркизом можешь ты не быть,

Но бабушку иметь обязан!»

А если только у человека была бабушка, его уже инстинктивно тянет на акажу.

Это так же непреложно, как существование Пюс на Марше-о-Пюс.

Что касается скидок, то тут могут быть и разновидности.

Скидка — это отравка, которая, раз проникнув в организм, разлагает его медленно и упорно.

Есть маньяки, которые способны по случаю купить несколько пудов наждачной бумаги, хотя наждак этот им так же нужен, как президенту лысина.

Скидка заводит человека в тупик, пробуждает в нем самые плебейские инстинкты и в конце концов превращается в неизлечимую страсть, безумие и одержимость.

Я знаю одну очаровательную даму с такими тонкими чертами лица, как будто их гравировал мастер восемнадцатого века на медальоне из слоновой кости; ну сказать Адриенна Лекуврер — это значит ничего не сказать. До того subtilna.

Так вот, надо было бы вам видеть эту самую Адриенну, когда она вернулась с аукциона, где за неимением больших средств эта благородная женщина с пылающими щеками и воспаленным взором купила... черт знает сколько метров... аптекарской фланели для согревающих компрессов!

И не только купила, а еще с большим азартом доказывала:

— Но зато ведь прямо даром!!!

...Вот вам и гравюра.



## ФИЛЬМ ИЗ РУССКОЙ ЖИЗНИ

### КАРТИНА ПЕРВАЯ

Блестящий капитэн Александр-Марфа Васильевич влюблен в прекрасную молодую графиню Гоготски, единственную дочь старого графа Гоготски.

Капитэн просит ее руки, ко всеобщему удовольствию счастливого отца.

Но прежде чем дать свое согласие, граф должен по русскому обычаю спросить позволения у царя, который позволяет и издает графу манифест на вступление в брак.

Роскошная карета, запряженная тройкой степных лошадей, с гербами, останавливается у подъезда, и, звеня бубенцами, жених и невеста плачут от радости и едут в храм по главным улицам города Москвы.

Видно, как на всех колокольнях раздается колокольный звон и молодая графиня Вера-Авдотья склоняется в своем белом платье на могучую грудь Марфы Васильевича в полной военной форме, с шашками и орденами.

Отец простирает руки и таким образом благословляет новобрачных.

В это время зажигается фейерверк и со всех сторон съезжаются гости.

Каждый гость приносит кусок хлеба и немножко соли, чтобы хоть на первое время обеспечить молодых.

После этого начинается бал, и все танцуют полонецкие пляски под звуки чудных бубнов и балалаек.

### КАРТИНА ВТОРАЯ

Десять лет спустя.

Революция в полном своем разгаре.

Большевики поджигают конский завод капитэна, а его самого выводят с женою на холодный воздух.

Приходит Троцкий и отдает приказание.

Когда он уходит, капитэн бросает мужикам кошелек с золотом.

Мужики садятся на землю и при свете костра начинают считать деньги.

В это время несчастные убегают в лес и, несмотря на погоню, уезжают за границу.

### КАРТИНА ТРЕТЬЯ

Электрические люстры заливают электричеством мраморный палас на пляс Пигаль.

Американки и американцы прямо с парохода приезжают с свои-

ми блиндированными чемоданами, чтобы поскорее отдать свое должное французской кухне.

Видно, как хлопают пробки и безумное веселье как внутри, так и снаружи царит на лицах миллиардеров.

На сцену выходит настоящая цыганка и своим дивным мужским голосом поет хоровую песню при полном гробовом молчании этой богатейшей публики.

Буря аплодисментов потрясает палас, и сам мистер Мак, президент свиных королей штата Массачусетс, собственноручно направляется через весь зал, чтобы пригласить на ужин бесподобную солистку, которая не кто иная, как урожденная графиня Авдотья.

Но в это время выскакивает неизвестно откуда молодой черкес с двумя горячими глазами.

Закружившись в безумной лезгинке, он с презрением срывает с себя жареную баранину, надетую на острую пику, и в припадке ревности прокалывает ею насквозь свиного короля.

Метрдотель и гарсоны арестовывают по кавказскому обычаю пристрастного убийцу, который не кто иной, как великий Марфа Васильевич.

Отдаваясь в руки правосудия, он дрожит от самолюбия, в то время как негритянский джаз-банд равнодушно играет на своих саксофонах.

#### КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ

В глубоком трауре появляется бывшая дочь графа Гоготски в зале суда с присяжными заседателями.

Закрыв руками лицо, она смотрит сквозь пальцы на арестантские формы пострадавшего супруга, который нехотя опускается на скамью подсудимых.

Глаза их все время встречаются, не в состоянии оторваться от печального зрелища.

После речи прокурора жандармы сверкают своими саблями, а публика утирает невольюно разбегающиеся слезы.

В конце концов последнее слово начинает принадлежать знаменитому защитнику.

Он самоотверженно доказывает, что факт налицо и мы имеем дело с политическим убийством, ввиду того что убийца — полный лунатик, пострадавший за чужие убеждения своей жены.

Присяжные вспоминают свою Великую французскую революцию и, совершенно расстроенные, выносят безусловно оправдательный приговор.

И снова, изнемогая от счастья, кидается Вера-Авдотья на могучую грудь Марфы Васильевича, который с чисто славянской натурой заключает ее в объятия, несмотря на мощное ура всех присутствующих.

## ЗАРУБЕЖНЫЙ ПИСЬМОВНИК

### ПРЕДИСЛОВИЕ ПЕРЕИЗДАТЕЛЯ

Идя навстречу назревшей потребности, переиздательство наше предлагает просвещенному вниманию господ соотечественников, а также соотечественниц настоящий письмовник, состоящий из образцов писем на разные случаи эмигрантской жизни и смерти.

*С совершенным почтением*

*Переиздательство.*

### ПИСЬМО О ЗАЙМЕ

Дорогой Владимир Андреевич!

Спешу поделиться с вами своей радостью.

Только что получил телеграмму из Ниццы, что наша фамильная персидская шаль в принципе уже продана богатейшей американке.

Деньги будут переведены, как только удастся оформить сделку.

Как видите, предчувствие меня не обмануло.

Кстати, о деньгах.

Не можете ли вы ссудить меня пятью франками до вторника после обеда или в крайнем случае до после ужина?

Если это возможно, то благоволите деньги вручить подателю, который имеет от меня официальную доверенность на всю сумму.

Заранее благодарю Вас и крепко жму Вашу благородную руку.

### ПИСЬМО ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ

Дорогие и милые Анна Петровна и Александр Александрович! Какая безумная досада! Только что получили вашу милую открыточку с извещением, что вы будете у нас сегодня вечером, и безумно обрадовались.

Но пять минут назад нас внезапно выселили из квартиры, и мы должны, по новому квартирному закону, немедленно выехать на улицу.

Безумно жаль, но ничего не поделаешь.

Как только вернемся с улицы, так сейчас же пригласим вас на новоселье.

Пишите до востребования.

### ПИСЬМО ДЕЛОВОЕ

Любезнейший Яков Яковлевич!

Имею к Вам очень серьезное дело.

Дело в том, что мне нужна виза на въезд в Париж.

При Ваших связях Вам, вероятно, ничего не будет стоить добиться благоприятного результата.

На всякий случай напоминаю Вам, что меня зовут Семен Семенович Канданаки, землемер, 49-ти лет, при нем жена Мария Спиридоньевна, урожденная Папандопуло, 42-х лет, и дети: Кирилл, Мефодий и Артаксеркс, 14-ти, 13-ти и 12-ти лет, а познакомились мы с Вами, кажется, в Гурзуфе, кажется, в 1902 году, если это только были именно Вы.

Господи, как время бежит!

Писать можете прямо: Чехословакия, город Брно, угол Трно и Крно, номер пять, мне. Но визу, голубчик, непременно по телеграфу.

Спасибо, спасибо, спасибо.

#### ПИСЬМО ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ

Дорогой Соломон Федорович!

Вот уже ровно три с половиною месяца, как вы с честью несете знамя нашей дорогой зарубежной матушки-России.

Иных уж нет, а те далече, но вы бодро идете вперед и стоите на посту.

Но все-таки впереди огоньки.

И настанет же день, и погибнет Ваал, и идея восторжествует, как феникс из пепла.

Ура! Ура! Ура!..

*Подписи*

#### ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Милостивый Государь г-н редактор!

Прошу вас не отказать дать место нижеследующим строкам на страницах вашей многоуважаемой газеты:

В отчет о концерте-бале в пользу «Общества борьбы с трахомой среди русских подкидышей» вкралась досадная опечатка:

С обычной грацией был исполнен чардаш не г-жой Телятниковой, как было ошибочно сказано, а г-жой Коровиной.

Примите и проч.

#### ПИСЬМО НА СЛУЧАЙ САМОУБИЙСТВА

Когда вы будете читать эти строки, душа моя будет уже за рубежом.

Что касается тела, то это ваше дело.

Умираю, чтоб досадить окружающим, пусть повозятся.

Венков и цветов не надо, сами нюхайте.

И затем не прощайте, а до свидания. Надеюсь, скоро встретимся.

Дорогая Катя!

Не такое теперь время, чтоб жениться.

*Твой Коля.*

1926

## НАУКА СТИХОСЛОЖЕНИЯ

На днях получил письмо.

«Многоуважаемый Мосье.

У нас есть к вам просьба, но мы не решаемся ее выразить.

Но, между прочим, решившись, выражаем.

Мы, группа молодежи, хотим писать стихи для красоты и вообще для самообразования, чтобы издавать рукописный журнал, хотя бы еженедельный или раз в месяц.

Но, наверное, это очень трудно, хотя родной папа одного нашего сотрудника уверяет, что нет такого болвана, который не мог бы сочинять стихи.

Пожалуйста, будьте настолько любезны и научите в короткий срок, до востребования, и прилагаем марку в 50 сант. для ответа.

*С совершенным почтением*

*группа молодежи...»*

Мне почему-то кажется, что группа эта, столь расточительно швыряющая пятьдесят сантимов, состоит из одного человека и что человеку этому не ранее как через два с половиной года исполнится полных пятнадцать лет.

Но кто его знает, может быть, и нет.

Возможно, что в самом деле пред нами новая общественная группировка, этаким коллектив честных эмбрионов, которых следует отечески поддержать и, в гроб сходя, благословить.

Поэтому не стану копать, а просто открою курсы заочного практического стихосложения.

Итак.

— Многоуважаемая группа!

Анонимный папа одного из ваших сотрудников, увы, совершенно прав.

Действительно, нет ни одного мало-мальски законченного болвана, даже совершеннолетнего, который не писал бы стихов.

Но это обстоятельство должно вас только ободрить.

В одной советской России появилось за последние несколько лет сорок тысяч зарегистрированных юношей, рифмующих пятницу и яичницу, а также палец и мерзавец.

Вы понимаете, дорогие дети, что сорок тысяч — это уже целая ди-

визия, и притом конная, потому что вы должны усвоить раз и навсегда, что Пегас — это лошадь.

Для того чтобы писать стихи, надо прежде всего не думать.

Стих должен литься, как вода из водопровода, хлюпая во все стороны.

Такое явление называется «брызги пера».

Если у вас есть перо и нет ни одной лишней мысли в голове, садитесь и брызгайте!

Все, что вам удастся набрызгать, озаглавьте как можно проще. Скажем, «Из цикла».

Или: «Триоли и Триолеты».

Или просто: «Лес шумит».

Легче всего и благороднее писать стихи с настроением.

Против стихов с настроением не устоит ни одна порядочная девушка, будь она даже каменная, как антрацит.

Настроение черпается где угодно — в глазах, в губах, в зубах, но обязательно во множественном числе.

Не дай Бог начать в единственном... все дело испортите!

Например:

— «Я утонул в твоих глазах»... Правда ведь, ничего себе?!

А попробуйте сказать:

— «Я утонул в твоём глазу...» Катастрофа!

То же самое с губами или зубами.

Даже очень мило выйдет, если сказать:

— «И он припал к её губам».

И посудите сами, что получится, если вы скажете:

— «И он припал к одной губе!..»

Пусть губа и не дура, но разве она это может выдержать?

Конечно, нет.

Все, что до сих пор сказано, относится к какому-нибудь одушевленному предмету.

Но настроение может быть и беспредметным, неопределённым и, так сказать, воздушным.

Например:

«Звездочка блестит,  
Девочка не спит,  
Звездочка блеснула,  
Девочка заснула».

Здесь дело не в звездочке и не в девочке, а в том пантеизме, которым проникнуто все стихотворение.

А пантеизм — это, дети мои, вещь.

Самый последний человек, даже такой, у которого паспорта нет, и тот должен быть пантеистом.

Вот спросите вашего папу, если он специалист по болванам, так он вам это еще лучше объяснит.

Во всяком случае, на сегодняшний раз довольно.

Одно только помните — то, что говорили еще древние: «Поэты рождаются, а... рукописи не возвращаются»...

1926

## ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ДОКТОРУ НАНСЕНУ

Дорогой доктор Нансен!

Называю вас «дорогой», главным образом потому, что — триста семьдесят пять франков.

Потребность написать вам настолько велика, что даже соображения дипломатического характера не могут меня удержать от этого безумного шага, который — как знать — может поставить меня в самое ужасное международное положение.

Но мы, так называемые русские, совершенно неисправимый народ.

Еще ни один великий человек из числа тех, кому мы писали открытые письма, ни разу ни на одно письмо не ответил.

Ну, хоть бы кто-нибудь какую-нибудь самую завалящую карт-посталь прислать удосужился, так нет.

Но мы на это не обращаем никакого внимания и жарим дальше. (Я не знаю, как по-норвежски «жарить», но вы поймете.)

За последние восемь лет мы неоднократно писали и архиепископу Кентерберийскому, и Гергардту Гауптману, и господину Венизелосу, и внучке Чарльза Диккенса, и Ллойд Джорджу, и Форду, и управляющему Форда, и кому мы только не писали?!

Ни ответа, ни привета.

Молчат, как воды в рот набрали.

Ну хорошо. Раз так, посмотрим, чья возьмет.

Поэтому я вам, собственно говоря, и пишу.

В первую минуту, взявшись за перо, я даже не был уверен, что письмо это предназначается именно вам.

Но, как говорится в русской поэзии, рука моя писала не знаю для кого, но сердце подсказало: для доктора Нансена моего.

Теперь скажите сами: зачем вам мой фас?!

Все-таки вы много путешествовали (мы тоже), вас затирало льдами (но не затерло!), вы видели, как моржи на белом свете живут, как женятся эскимосы, какое бывает северное сияние, когда оно горит, вообще, слава Богу, впечатлений у вас более чем достаточно.

Спрашивается: зачем вам мой фас?!

Я еще понимаю, если бы вы захотели иметь меня во весь рост в костюме Далай-ламы, на фоне Ниагарского водопада и с трогательной через весь портрет надписью:

«Дорогому Фритиофу на добрую память о социальной революции».

Но вы же понимаете, что Веласкес умер. К Пикассо сломя голову я тоже не разбежусь. И в конце концов, если вы уж очень будете на-

стаивать, то получите самую обыкновенную моментальную фотографию так называемого сахалинского типа, анфас или в профиль, как хотите.

И потом еще одно.

Ну хорошо, допустим, что вы так ко мне привязались, что без моей карточки жить не можете.

Но ведь вы же требуете два миллиона фотографических карточек!..

Тогда почему не группу?!

Вы себе представляете, какая бы это была живописная картинка?

«Наши за границей». Семейная группа русской эмиграции: старики сидят, взрослые стоят сзади, а молодежь на корточках у подножия старшего поколения. А? Что? Разве плохо было бы?

Но вам этого мало.

Вам подай два миллиона моментальных фасов и каждый в отдельности...

А с другой стороны, подумайте: что с вами будет, если все это невероятное количество глаз глянет на вас со всех ваших нансеновских паспортов?

Ведь, говоря честно, можно же действительно заболеть манией преследования.

Но дело ваше. Человек вы совершеннолетний и, очевидно, не очень нервный.

Остается, однако, другая сторона вопроса. Так сказать, грубо-материальная.

Скажите мне, пожалуйста, дорогой доктор: вы понимаете, что такое триста семьдесят пять франков, или вы не понимаете?!

Уж не думаете ли вы, что мы тоже все эти восемь лет путешествуем исключительно для того, чтобы посмотреть, как моржи на белом свете живут?!

Так позвольте вам сказать, что ничего подобного.

Не то что мы ленивы и нелюбопытны, но вот так выходит, что нам все как-то не до моржей...

Торговаться я с вами, конечно, не стану, а только одно скажу: не надо мне вашего паспорта, берите мой фас и дайте просто проходное свидетельство.

Если же вы не согласны, то немедленно отвечайте обратной почтой: пусть на всякий случай будет у меня хоть какой-нибудь ваш нансеновский документ...

1926

## САМОВНУШЕНИЕ

Я думаю, что действительно пора нам заняться самовнушением. Все, что можно было внушить окружающим, мы уже внушили, — и то, что мы не эмиграция, а Россия, выехавшая за границу.



Внушение, как известно, подействовало блестяще...

Европа носится с нами как с писаной торбой и прямо не знает куда посадить.

Таким образом, с точки зрения международной мы устроились. Но в личной жизни, каждодневной, обыденной, будничной, до полного благополучия еще далеко.

Нельзя же предположить, что все два миллиона поют в цыганском хоре, танцуют казачка, а в антрактах едят паюсную икру.

Бывает, что и не едят.

Я не спорю, безвыходных положений вообще не существует, и эмигрант, которому уже совершенно нечего есть, может в крайнем случае умереть с голоду.

Однако, если исключить самосожжение, самообложение и самодобрение, то остается одно:

— Самовнушение.

По теории француза Куэ надо каждое утро говорить самому себе: «Мне очень хорошо и с каждым днем становится все лучше и лучше».

Разговор с самим собой не надо затягивать.

Сказал — и не возражай.

Иначе — раздвоение личности и двойные расходы: десять фотографических карточек, два нансеновских паспорта, четыре подошвы, а про трамвай, семейное счастье и почтовые марки я уже и не говорю.

Самовнушение должно происходить в очень мягкой и деликатной форме.

Орать на самого себя не надо.

«Эй ты, черт тебя подери, выжатый лимон, дохлятина и невозвратное время! Поймешь ли ты наконец, что ты катаешься как сыр в масле и с каждым днем будешь катиться все дальше и дальше!!»

Такой способ ничего хорошего не сулит.

Человек начинает избегать самого себя.

Зачем в самом деле обострять отношения со своей личностью, когда для этого имеется достаточное количество личностей совершенно посторонних?..

Самое лучшее — это обращаться к себе не во втором лице единственного и даже не во втором лице множественного числа, а в первом лице единственного числа.

«Мне хорошо, я доволен. Мне очень хорошо, я очень доволен. Вот именно, оттого я так и доволен, что мне так хорошо...»

Если утренняя доза не действует и человеку все-таки плохо, то самовнушение надо производить в течение всего дня, вечером и даже до рассвета.

В таких случаях и говорят: дружеская беседа с самим собой затянулась далеко за полночь.

Так надо продолжать из дня в день до самой смерти — и тогда результаты не замедлят сказаться.

Возьмем для примера самый обыкновенный эмигрантский случай.

Икс заказывает себе костюм в расстрочку. Костюм готов.

Проходит месяц, в течение которого Икс ходит в новом костюме и упорно занимается самовнушением.

А портной в это время занимается шитьем других костюмов и подсчетом грядущих получек.

Подсознание говорит Иксу, что не надо ходить по той улице, где живет портной.

А сознание говорит ему, что почему бы и нет, раз костюм уже оплачен?

Конфликт между подсознанием и сознанием неприятен, тем более что портной явно становится на сторону подсознания и сам... приходит к Иксу.

Дальнейшее совершенно ясно.

Грубая натура, портной, пристаёт с деньгами и подает в суд, в то время как одухотворенная натура, Икс, совершенно искренне считает, что деньги давным-давно уплачены.

Надо ли говорить, что окончательная победа остается все-таки на стороне Икса, несмотря на то, что его новый костюм продается в аукционной камере с публичного торга...

Оставшись в одном нижнем белье, Икс внушает себе, что это далеко не белье, а великолепная фракная пара, но в обтяжку.

А человека, который умеет нечто крепко завинтить себе в голову, обратно развинтить уже невозможно.

— Мне хорошо... Какой на мне чудный фрак! Какая дешевая жизнь во Франции!.. И завтра будет еще дешевле.

1926

## КОЛЯ СЫРОЕЖКИН

Если бы Коле Сыроежкину дать полную свободу, то житья в доме, конечно, не стало бы...

— От твоих вопросов можно с ума сойти,— говорила мадам Сыроежкина, вышивавшая для богатой американки древнерусское шелковое белье: царь-колокол на фоне плакучих ив.

— Коля, заткни свой фонтан,— внушительно говорил мось Сыроежкин, шофер и глава семьи.

Но Коле было восемь лет и семь месяцев, домашние попреки сносил он с поразительным мужеством и с утра до вечера грыз свои собственные ногти, требуя ясных и категорических ответов на тысячи ребром поставленных вопросов.

В один прекрасный день папа Сыроежкин совершенно потерял терпение, купил Коле клеенчатую тетрадь, ткнул карандаш в руки и сказал таким басом, каким говорят все папы, когда они сердятся:

— Напиши все свои вопросы, но не смей приставать ни к маме,

ни ко мне. Когда вся тетрадь будет исписана, я тебе сразу на них отвечу... Понял?

Что ж тут было не понять?..

Коля даже засопел от удовольствия, дернул за хвост взятую им на воспитание кошку и умолк.

Каракули свои он выводил медленно и все время, пока писал, грыз то ногти, то карандаш, то карандашную резинку.

И в доме наступили тишина и благополучие.

А через три дня первый том сочинений Коли Сыроежкина вышел в свет — родителям на утешение, будущему отечеству на пользу.

И вот что было написано в знаменитой клеенчатой тетради:

— Куда идет мой папа, когда он выходит из себя?

— Почему, когда мама плачет, у нее черные слезы, а у меня не черные?

— Что делает центральное отопление, когда оно не действует?

— Почему папа никогда не штопает мамины чулки?

— А у полицейского тоже бывает папа?..

— Почему, когда приходят гости, мама все время пудрится и извиняется?

— Почему, когда гости уходят, мама говорит: слава Богу?

— А что такое рассрочка?

— А почему дети не бывают холостые?

— Почему ангелы не летают на аэропланах?

— Почему папа заварил кашу, а ее не кушали?

— Почему чертей бывает тысяча, а ведьма только одна?

— Что такое нервы?

— И как их взвинчивают?

— И почему их не отвинчивают обратно?

— А кто открывает двери консервкам?

— Зачем папа влезает в протоколы, если он не может из них вылезти?

— Что такое ляжка?

— И куда ее все время тянут?

— Почему нельзя играть в игру природы?

— Что делают с истерикой, когда она кончается?

— Почему акцент не отвечает, когда с ним говорят?

— Что такое нечистая сила воли?

— За что тетя Катя держится, когда она ходит по скользкой дорожке?

— Почему на железной дороге никогда не случается никакого счастья?

— Чем режут правду?

— Если Бог видит, когда папа накручивает счетчик, почему Он не скажет папину клиенту?

— Почему мама говорит, что нельзя грызть ногти, а сама грызет всего папу?

— А как могут все большевики висеть на одном волоске?

— И почему...

Мосье Сыроежкин захлопнул тетрадь, посмотрел на мадам, на царь-колокол, вздохнул и ничего не сказал.

Ничего не сказала и мама Колина, и только черные слезы, слезы умиления, потекли из ее подкрашенных глаз.

Но Коля этого не видел.

Он спал беззаботным сном, обхватив обеими руками взятую на воспитание кошку, и, наверное, ему снились те сладкие сны, какие снятся всякому человеку, разумно прожившему свои восемь лет и семь месяцев.

1926

## АНКЕТА

Анкета есть вещь безответственная, но поучительная.

Автор, как пчела, собирает пыль с лучших цветов и растений, начиная с наивных незабудок и кончая всезнающими кактусами, превращает эту рассеянную пыль в густой и липкий мед и преподносит этот мед почтеннейшей публике:

— Гутэ э компарэ!

Первыми мастерами в области анкеты справедливо считаются американцы.

За изобретательностью и трудолюбием их не угонится, конечно, никакая пчела.

Так, например, они способны проникнуть к Чарли Чаплину в тот момент, когда он готовится принять утреннюю ванну, и любезно осведомиться у него, как относится он, Чарли Чаплин, к животрепещущему вопросу о вывозе муравьиных яиц в Гватемалу...

Ответ знаменитого артиста сообщается шифрованным кодом в редакцию предприимчивой газеты, и — в результате — экстренный выпуск вечернего издания, давка на улицах и бешеная паника на бирже.

Но постепенно эта шумная американизация проникает и на Запад.

«— Скажите, как вы относитесь к дипломатии? — спросили мы безутешно рыдавшую вдову только что убитого дипломата».

Такая форма далеко уже не редкость в современном европейском интервью.

Ну так вот, ввиду всего вышеизложенного, а также и летнего времени — анкета.

Вопрос, который нас интересует, — это даже не вопрос, а в некотором роде вечная проблема:

— Следует ли громко разговаривать по-русски в метро?!

Мы решили начать с кактуса и обратились к одному бывшему гениальному финансисту, который сказал нам следующее:

— Благодарю вас за то, что вы обо мне вспомнили.

Признаться, я приятно разочарован, так как в первый момент

был убежден, что вы хотите предложить мне билет на благотворительный вечер.

Итак, вы хотите знать, следует ли громко разговаривать в метро по-русски? Видите ли, это зависит... от эпохи! В эпоху инфляции лучше всего говорить по-французски либо вовсе набрать в рот воды и молчать.

Все раздражает, когда жизнь дорожает.

И особенно это чувствуется во втором классе, где так называемая ксенофобия гораздо сильнее, чем в вагонах первого класса...

А так как русская эмиграция давно уже перешла из первого во второй, то вы понимаете сами, что...

Мы вежливо остановили гениального финансиста и поставили вопрос ребром:

— Но в случае стабилизации?

— О, тогда, конечно, тогда совсем другое дело!

И то даже и в этом случае я бы лично стоял за разговор шепотом... Все-таки это как-то надежнее и ближе к экономическому базису...

— Мерси, мерси, мерси! — сказали мы громко и по-французски и расстались с этим чутким человеком и современником.

Очередь была за политическим деятелем центробежного направления, объединившим вокруг себя все центростремительные и всеподданнейшие элементы главного центра.

Оторвавшись от срочной почтотелеграммы и облокотившись на самого себя, центральный деятель сказал нам:

— Прежде всего не будем засорять наш родной язык!

Не метро и не метрополитен, а самокатное подземное отверстие...

Само собой разумеется, я всецело стою за всемерное утверждение личности, где бы эта личность ни находилась: на краю ли отверстия или внутри такового.

Кроме того, как я уже неоднократно докладывал, я решительно отвергаю и самое понятие так называемой эмиграции.

Никакой эмиграции нет, а есть Зарубежная Россия, временно выехавшая за рубеж и пребывающая в зарубежье.

В качестве таковой она должна занимать приличествующее ей место как в концерте европейских держав, так и во втором классе подземного самоката.

Я иду дальше и нахожу, что русские не только должны разговаривать громко и по-русски, но громко и по-церковнославянски! Вот и все! И кушайте на здоровье...

— Спасибо, — сказали мы и, отвесив поясной поклон, почтительно удалились.

Нам оставалось сделать немного, чтобы довести до победного конца столь счастливо встреченное начало.

Поэтому мы решили обратиться к обыкновенному среднему гражданину и соотечественнику, настолько далеко стоящему от какого

бы то ни было центра, что в лучшем случае он мог бы почитаться только самым заурядным радиусом.

Радиус встретил нас с неподдельным ужасом и испуганной скороговоркой выпалил:

— Опять 375?!

Мы его успокоили и разъяснили цель нашего визита.

— Ага, ну это другое дело... Хорошо. Вы хотите знать мое мнение? Хорошо.

Но только я прошу вас: пусть это останется между нами.

Так слушайте же! Когда я поселился за границей, так я вообще говорил только по-русски и ездил только на такси.

А теперь, так я, слава Богу, говорю по-французски, как француз, а пешком хожу так, что у меня скоро ноги отвалятся...

И я вас только спрашиваю: какая тут может быть анкета, когда метро стоит шестьдесят сантимов?!

1926

### ТРУДНАЯ ПУБЛИКА

Угловое кафе, как это часто бывает в Париже, помещалось на углу и ничем особенным от десятка тысяч других таких же кафе не отличалось.

Кофе заваривалось раз в год, номера «Иллюстрасьон» были тоже по большей части прошлогодние, а бритый, пятидесяти с лишним лет, почтенный и седой дядя назывался гарсоном.

Завсегдатаи называли его просто Жюль и, пользуясь правами дружбы, десять — пятнадцать сантимов зажимали из пурбуара.

Относился к этому Жюль добродушно, тем более что убытки широко покрывались иностранцами.

Вот об этих иностранцах и был у нас с ним разговор.

— Больше всего, — излагал мне свою философию Жюль, — поражают меня ваши соотечественники, мосье!

Удивительный народ эти русские.

Во-первых, никогда не приходят они в одиночку, как все прочие нации, а всегда целой компанией.

А во-вторых, — это самое, мосье, замечательное, — никто из них не знает, чего ему хочется!..

Вот, скажем, приходят наши, французы. Сядут. И сейчас же:

— Гарсон, четыре бока и одно деми!

И больше ничего. Все ясно. Приносишь им четыре бока и одно деми и бежишь к другому столу. А там испанский анархист с девицей из картье. Эти сразу начинают с бенедиктина. Конечно, политикой я не занимаюсь, но должен вам сказать, что пьют эти анархисты как лошади.

Потом, скажем, подъезжает шофер.

Тоже никаких затруднений: кафе-натюр и несколько капель кю-расо! Выпил, сел в свое такси и уехал.

Но вот, мосье, приходят ваши компатриоты. Шесть мужчин и две дамы.

Я ничего не говорю, дамы очень даже комильфо и также мужчины.

Но скажите: зачем они сейчас же сдвигают все столы в одно место, как будто у них юбилей или банкет?!

А стулья? Вы знаете, мосье, когда они начинают расставлять эти стулья, то проходу уже не остается...

Ну хорошо, пусть, думаю, делают, что хотят, наверное, у них такой обычай...

Подхожу и спрашиваю я, как полагается: «Мсьедам!..»

Вот тут и начинается самое главное.

Ни один человек не знает, чего он хочет.

Все весело хохочут, а никто ничего не заказывает.

Я, знаете, переминаюсь с ноги на ногу, потом ухожу, опять возвращаюсь, потом десяток других клиентов успеваю удовлетворить, а они все совещаются.

Наконец подзывают и говорят: «Один оранжад пур мадам, а мы еще подумаем»...

Конечно, я говорю: «Думайте, сильвуплэ!» — и иду заказывать оранжад.

Вдруг крик: «Гарсон!!!..» — Все восемь в один голос кричат.

«В чем дело?»

Оказывается, мадам передумала: не оранжад, а сэндвич — о-жамбон!..

Ничего не поделаешь, приношу сэндвич о-жамбон и жду.

А патрон уже, знаете, из-за конторки зверем смотрит.

Конечно, один жамбон на такое большое общество — это тоже, знаете, не торговля!..

Но приходится терпеть. Стоишь и ждешь.

Вдруг опять кричат: «Гарсон!»

«Мосье?»

«Дайте нам карточку!..»

Ну, тут даже и меня сомнение берет. Какая ж, помилуйте, может быть в угловом кафе карточка?! У хозяина фон-де-коммерс сорок два года существует, по наследству перешел, и никогда ни один человек никакой карточки не требовал... «Извините, — говорю, — но карточек у нас нет, а если угодно, так я весь преискурант могу наизусть изобразить!»

«В таком случае, — говорят, — дайте один бок, одну яичницу, одно мороженое»...

Мон Дье! Конечно, политикой я не занимаюсь, но должен сказать, что уж очень много у вас, у русских, этих самых партий и программ! Каждый ваш компатриот заказывает что-нибудь другое.

А затем, вы меня извините, мосье, но если человек идет в кафе, так

он же должен по крайней мере знать: хочется ему пить или хочется ему есть? Хочет он горячего или желает он холодного?!

Правда, ни одна нация не дает такой большой пурбуар, как ваша, но зато же и набегаешься с вами сколько угодно...

Жюль не успел закончить разговора и побежал на зов: испанский анархист в десятый раз требовал два бенедиктина для себя и для девицы.

Очевидно, эти твердо стояли на одной и той же платформе.

1926

### ЖАЖДА ОБЩЕНИЯ

По вечерам, когда она за целый день как следует наработается, эмиграция ходит друг к другу в гости.

Хождение в гости, это, в сущности говоря, очень сложное явление.

Нечто среднее между неизлечимым сумасшествием и взаимным грабежом.

Но так как русские еще тысячу лет назад взяли исторический подряд на хлебосольство, то отказываться уже поздно.

Хочешь не хочешь, а надо.

Обычай искоренять не так легко и просто, особенно в так называемой домашней жизни.

Социальная революция может опрокинуть целый государственный строй, а подклеенное любимое блюдечко все-таки останется на своем месте.

Одним словом, что говорить, быт это то, на чем все держится. Империи падают, быт остается.

— Что вы делаете завтра вечером?

— Мы еще не знаем. А что?

— Нет, ничего... но если у вас ничего более интересного не предвидится, то заходите к нам на огонек.

— Спасибо, непременно!

И, сломя голову, с тремя сногшибательными пересадками, люди отправляются к черту на кулички, чтобы посмотреть, как он горит, этот самый огонек.

А потом начинается.

— Ну, знаете, к вам добратся... фу, дайте дух перевести... ужа-сающая даль... прямо кругосветное путешествие.

У хозяйки сразу слетает вся пудра с носа.

— Ну, что вы... а мы так уже привыкли... и притом до Оперá от нас ровно двадцать две минуты...

Это значит: контрудар.

— Раздевайтесь, пожалуйста... Марья Петровна, дайте вашу шляпу, я ее пристрою... вот здесь... в ванной.

Марья Петровна нервно закусывает крашенные губы.



— Как, разве вы с ванной?

— Неужели вы не знали. Конечно! Я же вам говорила, что с ванной, с шаржами и с комнатой наверху...

— Ты пони-маешь, Володя?

В вопросе Марьи Петровны, обращенном к мужу, одновременно и преклонение, и зависть, и ревность, и какое-то глухое раздражение по адресу самого Володи.

Увертюра, во всяком случае, сыграна. Начинается действие первое: хозяева показывают гостям квартиру.

Марья Петровна фальшиво восхищается, а Володя, умеющий угождать дамам, дергает какую-то цепочку и восклицает с непритворным восторгом, наблюдая за шумом воды:

— Чудесно! Настоящий Бахчисарайский фонтан...

После увеселительной прогулки в кухню и по длиннейшему катакомбообразному коридору, гость уже имеет полное право на чай.

Обычай — деспот меж людей.

И тут свой, освященный годами и обстоятельствами, трафарет: груда развесных бисквитов и одна смутная ложноклассическая птифура.

Не выносящий ассиметрии, Володя сразу приканчивает одинокую птифуру, после чего и завязывается обычный светский разговор.

— А сколько вы дадите консьержке? Всего двадцать пять франков в месяц?! Ты по-ни-маешь, Володя!

Но Володя налег на бисквиты, ибо приглашение на огонек было им легкомысленно понято как приглашение на ужин, в то время как об ужине и помину не было, несмотря на три пересадки и мебель рюстик...

— Кстати, почему это вы все, господа, помешались на этом самом рюстике? Ну, скажите мне, пожалуйста, Иван Иванович, что у вас общего с Нормандией и почему этот ваш подстаринный буфет должен быть непременно нормандским?

Иван Иванович человек прямой, а затем, чего стесняться с людьми, которые, вообще-то говоря, живут в мебелирашках.

— Дело в том, Владимир Петрович, что ведь это только так говорится, — рюстик... а на самом деле это просто рассрочка.

— В рассрочку?! Ну нет, друзья мои, я бы уже предпочла всю жизнь жить в меблэ, чем каждый раз рассрочиваться и волноваться.

Чтобы смягчить явно запальчивую выходку супруги, Володя переводит разговор на международные темы.

— А франк все-таки поднимается...

— Кстати, как вы устроились с налогами?

С налога разговор незаметно переходит на психологию среднего европейца, который готов повеситься, чтобы только сэкономить свои двадцать пять сантимов.

Явление, конечно, безотрадное и от русского хлебосольства бесконечно далекое.

На этом основании Володя снова хрустит бисквитами, а Марья Петровна и Анна Семеновна отправляются сначала в Бахчисарай, а потом посмотреть, как Анне Семеновне переделали ее новое прошлогоднее платье.

Потом гости начинают собираться домой.

— Бог с вами! Куда вы спешите? Посидели бы еще немножко, вот ваша шляпа...

— Нет, спасибо, три пересадки, страшная даль, завтра рано на работу, теперь очередь за вами, смотрите! не надуйте...

— Непременно...

— Конечно...

— До свидания.

— До свидания.

— До скорого!

— Не забывают!

— И вы тоже...

— Тсс... ради Бога, на лестнице потише...

— Да, да, всего хорошего!

Внизу хлопает дверь.

— Слава Богу, что еще забыла бриоши подать...

Это говорит Анна Семеновна и быстро выключает все выключатели.

— Лучше бы я на эти три франка, что метро стоит, марсельского мыла купила бы...

Это говорит Марья Петровна, спускаясь с Володи под землю. И все.

1926

## ПИСЬМА ОБИЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ

Долго я собирал эту коллекцию. Наконец могу похвастать.

Оказывается, что, если принять одесскую систему деления некоего целого на бóльшую половину и на меньшую, то вся бóльшая половина любезных соотечественников только и делает, что обижается.

Происходит ли это от особой чувствительности или от обмена веществ, не знаю.

Знаю только, что обижаются и опровергают.

Иногда эта страсть к опровержениям захватывает целый беженский район вроде ветряной оспы или краснухи.

Бывает и так, что обиженная личность выступает самостоятельно, опираясь только на самолюбие и орфографию.

Не посягая ни на то, ни на другое, публикую для пользы просвещения несколько выдающихся экземпляров.

На основании устава о наказаниях, налагаемых господами мировыми судьями, а также покойного императора Наполеона I-го, действующего на территории Французской Республики, прошу в ближайшем номере вашей, так сказать, уважаемой газеты исправить досадную опечатку, вкравшуюся куда следует, а именно, что, танцуя мазурку в пользу восстановления родины с благотворительной целью, сказано, что я «бык на своем месте»...

Полагаю, что довольно неудобно публично выражаться про труженика сцены, что он есть грубое животное — бык и еще, главное, что он на своем месте, как будто это какой коровник или вообще загон для скотины...

С почтением

*Солист короля Черногорского  
и заслуженный артист международных танцев  
Пяткин-Терпсихоров.*

**Многоуважаемая Редакция!**

В целях восстановления истины не могу обойти фактом молчания факт искажения правды и матки в вашем органе.

Да погибнет мир, но да здравствует юстиция, как выразались наши древние римляне.

Что же касается существа, то, не говоря уже о деталях вашего сотрудника, в публикуемых мемуарах имеется вопиющая историческая неточность и даже грубая ретроспективная ошибка, на которую считаю себя обязанным пролить.

Поэтому, на основании ответственности перед лицом грядущих поколений, настоящим заявляю, что: я, нижеподписавшийся, штурман дальнего плавания в отставке, Иван Игнатьевич Герасименко, пятидесяти четырех лет, вдовец и теософ, с лицом, пожелавшим остаться неизвестным и скрывшимся под тремя звездочками, ничего общего в упомянутых мемуарах не имею, равно как бунчуковым писарем при ясновельможном пане Гетмане никогда в своей земной жизни не состоял, хотя действительно принужден был при перемене режима удалиться на паровозе, во избежание вышеупомянутого народного гнева.

Настоящее же опровержение считаю необходимым на случай совпадения двух личностей в популярном малорусском окончании, как, например, Левченко или даже Гриценко.

*Примите все прочее. И. Герасименко.*

Дорогая Редакция.

В качестве друга периодической печати, позволяю себе задать небольшой вопрос: уместно ли в такое тяжелое время и при ежедневной дороговизне жизни печатать столь подробные сведения о происходящих землетрясениях, которые самым печелательным образом действуют на психологию читательских масс, принужденных бороться за существование?

Мне кажется, что, наоборот, надо сеять разумное, доброе, вечное, а не подобный пессимизм, говорящий о грустных явлениях природы, каковые плюс похоронные анонсы убивают дух самостоятельности.

Прошу сочувствующих этому начинанию откликнуться на столбцах, и, конечно, извиняюсь за беспокойство. С совершенным почтением. Старый друг.

4

М. Г.

Чтобы далеко не бегать, позвольте прибегнуть к содействию голоса печати.

В интересах картд-идантите, каковые до пятнадцати лет считаются младшим возрастом без всяких расходов, надо же ж выяснить, как быть с нашей объединенной молодежью, среди которой имеются многие, что им де-юре под семьдесят, но де-факто никак больше шести-семи лет дать нельзя.

Неужели брать с таких семилеток весь налог полностью, невзирая на букву закона?!

На ответ прилагаю марку.

А. Л. Г.

5

В номере вашей газеты напечатаны так называемые силуэты, в которых имеется один силуэт, прозрачно намекающий на меня, несмотря на явно вымышленное имя мадам де Курдюковой, устроительницы патриотических собеседований на пляже.

Хотя ваш маленький фельетон и не отрицает наличности купального костюма на моем корпусе, но все же позволяет клеветать как по адресу моего пола, так и характера.

Сим заявляю, что я привлекаю его к ответственности и надеюсь, что, хотя он маленький, но от Немезиды не уйдет.

С сов. почтением (*подпись*).

Чуден Днепр при тихой погоде, когда плавно и мощно, и так далее.

Но невозможно человеку жить мифологией.

В воскресенье отправляется человек на лоно чуждой природы, чтобы, как говорится, отдохнуть душой и, как говорится, телом.

Кладет человек в карман тощие сэндвичи, которые он упорно называет бутербродами, и идет по извилистым берегам Сены в неизвестном, но противоположном направлении.

Видит он настоящую зеленую траву и так называемую необъятную даль полей и лесов, не говоря уже о голубых небесах непрямого цвета лазури.

В небе плывет и тает беллетристическое облачко, как две капли воды похожее на барашка.

И, вот именно следя за этим тающим барашком, человек вспоминает не шашлык, а свою молодость, которая, само собой разумеется, прошла, как волшебный сон или как чудное мгновение.

Сердце начинает учащенно биться, и на память приходят и детство, и отрочество, и вообще вся хрестоматия.

— Чудна Сена при тихой погоде, когда плавно и мощно хочется броситься в воду, чтобы тоже найти себе русалку или в крайнем случае утонуть.

Но человек не такой уж идиот, чтобы кидаться в воду, когда есть еще столько стихотворений в прозе.

Совершенно невольно вспоминает он о том, как хороши, как свежи были розы, и видит, что отмахал по крайней мере пять километров.

Не опуститься ли ему на изумрудную траву, приложившись к сырой земле, как Илья Муромец и другие богатыри, хотя на нем и новый костюм, приобретенный по нормальным ценам в рассрочку.

Нет, лучше не опускаться и лучше не прикладываться, а стоя, съесть один бутерброд и один сэндвич, как во дни далекой юности, когда все еще было впереди и ничего еще не было позади.

Роняя крошки на заграничный чернозем, можно ли ему забыть то дивное время, когда он тоже сеял разумное, доброе, вечное, не говоря уже о результатах.

Все в прошлом, и Днепр включительно.

Однако вечереет.

Тиха украинская ночь, и вот уже видны огоньки, описанные покойным Короленкой.

Нет никакого сомнения, что это огоньки на станции железной дороги, описанной Некрасовым.

Человек быстро идет дремучим лесом, который призадумался, а в это время навстречу ему идут два подозрительных элемента, которые снимают с него пиджак и часы, дорогие как память.

И, глядя вслед исчезнувшим одушевленным и неодушевленным предметам, человек, конечно, думает:

— Они ушли и не вернутся вновь...

Полузадумчивый и полуодетый, в армяке с открытым воротом, он дышит всеми порами своего когда-то гибкого тела и жадно впитывает вечернюю прохладу, в то время как в лесу замолкает гомон птичьих стай.

Нащупав в карманах пыльных брюк, чтобы не сказать штанов, свой билет аллэ и ретур, человек преклоняется перед величием Творца и садится в поезд, который, не дожидаясь третьего звонка, даже без первого и второго, отправляется в путь.

Сев в поезд, человек стоит; но стоит он у окна, прислонившись горячим лбом к холодному стеклу и наблюдая, как бегут версты, чтобы не сказать километры.

Подъезжая к городу и к городской культуре, он проклинает проклятием зверя и посмеивается своим горьким смехом:

— Чуден Днепр при тихой погоде, когда плавно и мощно...

1926

## РАССКАЗ ПРОСТОГО ЧЕЛОВЕКА

Больше всего на свете уважаю я медицину.

На днях, от нечего делать, пошел к доктору: себя показать, на него посмотреть.

Доктор из хохлов, симпатия.

Обрадовался мне, как родному.

— Здравствуйте,— говорит,— и на что жалуетесь?

— Не такое теперь,— говорю,— время, доктор, чтоб жаловаться, но, между прочим, вам виднее.

— В таком случае ложитесь и не дышите...

Лег это я на ихнюю докторскую мебель, вытянулся во весь рост и не дышу.

А он сейчас же, значит, молоточек вынимает и как начнет со мной, лежащим, по всему корпусу перестукиваться, так его уж и остановить невозможно.

— Ну, думаю, пропал я со всеми потрохами!..

Практика у них в эмиграции, наверно, неважная, зато, как до пациента дорвутся, в живых не оставят...

В общем, настучал он по всем местам как следует, потом стал животики мять и говорить:

— Теперь скажите «а»! и еще! и еще!.. и все время!

Он, стало быть, мнет, а я акаю.

Так мы с ним минут десять вместе и веселились.

Потом, видно, и его совесть замучила.

— Одевайтесь обратно, я,— говорит,— на скорбный лист записать вас должен.

— Неужели,— говорю,— так плохо?..

— Дело,— говорит,— не в этом, а именно что у вас товарообмен неважный и во всех ваших веществах никакой диффузии нету!

Гм... ну, думаю, им, конечно, виднее, оделся себе обратно и сел.

А доктор, значит, гроссбух вынимает и, очками нос оседлавши, все вопросы подряд спрашивает.

— И по какому поводу прабабушка умерла, и не было ли у нас в роду падучей, и не сосет ли под ложечкой перед заходом солнца, и не злоупотребляю ли натошак маринованной сельдью, и прочее.

Расспросил все, что полагается, а потом скороговоркой и говорит:

— Избегайте грибов, бобов и сыров. Как увидите, сейчас же избегайте!

— Черного мяса не ешьте, белого мяса не ешьте, никакой рыбы не ешьте и овощей тоже не ешьте.

А все остальное ешьте!

— Спите при открытых окнах, прямо на подоконнике.

Дышите правильно, правой и левой грудью попеременно!

— По утрам заваривайте крутой кипяток для чаю, но только чаю, Боже вас сохрани, не сыпьте, а прямо так, один чистый кипяток сверху донизу на себя и лейте!..

Для правильного кровавого обращения.

— Перед сном делайте легкую гимнастику, вытягивайтесь на носках и потом приседайте, так час-полтора, не больше.

После чего немедленно в аптеку бегите и на весы кидайтесь.

А с весов домой, на подоконник — и спать!.. Поняли?

— А главное,— говорит,— климат переменить надо и, ни в каком случае, в метре не ездить!.. Поняли?

— Как не понять!.. Может,— говорю,— обращение у меня и кровавое, а только,— говорю,— извините, голова у меня, слава Богу, в порядке-с...

И заплатил ему, сколько надо, и вышел.

Даже дверью от досады хлопнул.

Полез в Норд-Сюд, чтобы климат переменить, трясусь по второму классу и думаю:

— Оно, конечно, великая вещь медицина, но не про нас, эмигрантов, писана...

А потом такая меня тоска взяла, что хоть вешайся.

Вылез я на какой не помню станции, зашел в угловую бистру и так этим самым пиконом ихним наложил, что только под утро и опомнился.

Стал на углу и думаю:

— Как-никак, а и доктора ошибиться могут... Ведь вот, можно сказать, полный солнечный восход солнца происходит, а у меня, между прочим, под последней ложечкой сосать начало...

«Дорогая редакция Задушевного Слова!

Папа говорит, что я совершенно де-на-ци-о-на-ли-зи-ро-ванный ребенок и что ничего путного из меня не выйдет, потому что, когда ему было одиннадцать лет, так он не ходил с голыми коленями, а бежал в прерии и жил в настоящем вигваме у них на даче и, вообще, была романтика, а я хожу с голыми коленями и бегаю только к эпизьерке, когда мама приходит из кутюра и посылает меня купить шикоре.

Но папе хорошо так говорить: он задавил старуху, потому что плохо знает французский язык, и мама носила ему кушать два с половиной месяца за неосторожную езду.

А вот дядя Петя говорит, что это ничего, лишь бы я учился на казенный счет и мог бы быть химиком, потому что когда мы поедем обратно в Россию, то химики будут первые люди, которые все возродят, тогда папа ему опять говорит, что канализация гораздо важнее, потому что на одних аперитивах далеко не уедешь, как дядя Петя.

Они очень кричали и даже закрыли двери, но я подслушал, что у Коли — Коля это я — взболтанные мозги, и он помешан на бициклетках без единой басни Крылова.

Прошу вас, дорогая редакция, напечатать, что я не согласен, потому что мне уже тринадцать лет и я вовсе собираю почтовые марки, и что мама гораздо добрее, хотя у нее зрение от болгарских крестиков, но она говорит, что я недюжинная натура, потому что я подаю ей надежды и все, что она просит.

У нас самый лучший лицей и самый первый по футболу хоккей, но очень строго по калькюль, потому что если получаешь стипендию, то надо все знать наизусть по-французски, потому что порусски со мной занимается папа по воскресеньям и заставляет писать диктант, Василий Шибанов, или прямо из русских газет, чтоб я знал всю изящную словесность, но, слава Богу, не наизусть, а то можно с ума сойти, так много.

Но я больше люблю фильм — компле «Шпионка с черными глазами» и «Роковой поцелуй на Ниагарском водопаде», только для взрослых; относительно сильно-комических, то Шарло и этот толстяк Понс, помпье без квартиры.

Я имею двух товарищей, один Жан-Жак и другой Жан-Поль, они раньше удивлялись, что я им набил морду.

Они говорят, что из-за русских все стало дорого, потому что все русские ездят на такси, а ихние папы должны терять на царских бумагах и ходить пешком, но я им обещал, что когда буду химиком, то все уплачу до копейки, а если будут приставать, то опять набыю, и они замолчали, но, в общем, они ни черта не понимают, потому



что за одну советскую с могилой Ленина дают три новых Гваделупы.

Из русских детей я знаю только Вову Шмендрикова, но мне не позволяют с ним встречаться, потому что его дедушка союз молодежи и мой папа говорит, что он не переносит его, хотя я этого не понимаю, зачем папе возиться и переносить совершенно чужого человека и при чем тут Коля, тем более что он бойскаут и тоже с голыми коленками.

Вообще мама говорит, что у папы испортился характер и что одна надежда, что зарубежная Россия и «Иллюстрированная Россия» соединятся вместе и тогда можно будет жить по-человечески, а не прозябать физическим трудом без ванной комнаты.

Я еще хотел рассказать про Люс, в которую был влюблен в начале прошлого учебного года, но дядя Петя говорит, что любовь — это святое чувство, особенно если француженка, и могут быть неприятности, поэтому я не пишу, пусть она лучше умрет вместе со мной.

Кроме того, мне трудно выражаться, потому что я все время думаю по-французски, даже вергюль.

Прошу Вас, дорогая редакция, напечатать эту биографию и сообщить, кто еще из детей может составить семнадцать мо круазе из архимандрита по диагонали.

*Коля Сыроежкин».*

1926

#### ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКА РАЗОЧАРОВАННОГО

*А. А. Полякову*

Для того, чтобы дневник имел успех у потомства, совершенно необходимо, чтобы он был написан неопытной молодой девушкой, — это во-первых; и чтобы на определенной нечетной странице неопытная молодая девушка покончила самоубийством, — это во-вторых.

Тогда вот и говорят:

«...на этом месте дневник обрывается. В полном расцвете сил, молодости и здоровья покинула она этот развращенный мир, которого не могла принять ее чуткая, повышенная натура. С совершенным почтением — издательство...»

Во избежание недоразумений считаем нужным предупредить как современников, так и потомков, что автор настоящего дневника не девушка, не молодая, не чуткая и не самоубийца.

Восемь лет, как я живу в Париже, но никаких впечатлений, кроме расходов, не записываю.

Между тем кто знает, может быть, я тоже мог бы написать роман из эмигрантской жизни, или воспоминания о прививке оспы, или в крайнем случае манифест.

В конце концов можно не иметь недвижимого имущества, но стоять на своей собственной платформе.

Вот я и подумал: почему все восемьдесят тыс. русских живут в городе Париже и в его окрестностях, пишут, издают, даже друг другу юбилеи устраивают, а я нет?

Надо, чтоб я тоже высказался.

Пусть знают!..

---

Целый день ходил по старому Парижу и все вспоминал этих бедных гугенотов.

Слава Богу, что ихняя Варфоломеевская ночь наконец окончилась.

Не могу не отметить, что совершенно противоположный характер у англичан.

Теперь ни один шофер у них не получает на чай, и говорят, что это полное социал-предательство.

Вечером играл в шахматы под редакцией Зноско-Боровского.

Проиграл.

Лег спать рано, в одиннадцать часов с несколькими минутами.

Спал, как убийца.

---

Проснулся от страшного холода.

Посмотрел на календарь, и от досады захотелось даже плюнуть, но не смог, так как язык примерз к гортани; насилу отодрал при помощи кофе по-турецки.

Старожилы говорят, что уже несколько столетий не запомнят ничего подобного, так я должен был попасть!..

Читал об изобретении американского профессора Джонсона, который нашел неизвестное яйцо каменного века и нагрел.

Оказалось, ихтиозавр. Но вылупился только наполовину.

Подумал, сколько раз приходится в объявлениях читать:

«Располагаю капиталом, желаю участвовать деньгами и трудом в солидном предприятии, дающем немедленный доход».

Почему бы, спрашивается, не устроить Сосьете Аноним для разведения ихтиозавров на акционерных началах?!

Эх мы!.. Ленивы и нелюбопытны, а еще жалуемся.

После обеда гулял по старому Парижу и все вспоминал Робеспьера.

Ужасная личность!

Андре Ситроен — куда симпатичнее.

---

Ходил на конгресс кошек.

Очень понравилась Ангорская. Серьезное животное, хотя и домашнее.

Но воздух на конгрессе невозможный; два часа одежду проветри-

вал, но все кажется, что еще пахну, до того сильное давление атмосферы.

Обедал у знакомых; тридцать франков по предварительной подписке, но, между прочим, вино кислое; однако все перепились и друг дружку чествовали. Больше не пойду.

Вечером гулял по старому Парижу и все вспоминал Марию Антуанетту.

Вот именно, голос минувшего на чужой стороне...

Перед сном ловил моль, но не поймал.

---

Очевидно, у меня начинается неврастения.

Температура хотя нормальная, но при встрече со знакомыми тошнит.

Все всё знают.

Прямо ужас охватывает от этого потрясающего всеведения!

Прочтут утром газету, а потом целый день своими словами пересказывают.

При этом размахивают руками и дышат в лицо.

Иногда я себя спрашиваю: где же дураки?!

Обыкновенные, нормальные, честные дураки, от которых становится так уютно и тепло на душе?

Неужели все они действительно уехали в Бразилию и теперь остаток дней своих я принужден провести среди сплошных гениев, мудрецов и энциклопедистов?!

Никто и ни в чем не сомневается.

Предсказывают не только погоду, курс франка, судьбу Абиссинии, но с апломбом говорят даже об охлаждении земли и центрального монархического объединения.

Несмотря на то, что в объединении ровно двадцать семь членов.

Кто же может утверждать, что все двадцать семь центральных эмигрантов охладились, когда они, может быть, вовсе бурлят, кипят и даже булькают?!

Отправился к доктору.

Не застал его дома.

Записал пятьдесят франков на приход.

Почувствовал себя значительно лучше.

---

Встретил знакомую даму, — затошнило, — только что приехала из одного курорта, едет на другой. Губы как помидор, а лицо терракотовое; загорела.

Шумит и с неподдельным изумлением спрашивает:

— Как? Вы еще до сих пор не уехали? Не может быть!.. Но ведь ту ле Монд э-парти...

В глазах какие-то недобрые огоньки. Чувствую, что, если не уеду, она обидится.

Может быть, даже от дома откажет.

Глотаю слюну и почти шепотом отвечаю:

— Господина Аристиды Бриана знаете?

— ?!

— Так, он еще тоже здесь... в Париже.

— Гм! странно... ну прощайте, спешу за покупками! пишите! слышите? непременно!

Тряхнула всей стрижкой и исчезла.

...Ах, сударыни, если бы не слабая надежда на холерную эпидемию, разве можно было бы жить?!

---

Ходил в Люксембургский сад принимать солнечную ванну.

Для начала окунул только голову.

Задремал и проснулся от сильного толчка.

Оглянулся кругом — ни души; а я лежу на газоне.

Очевидно, удар!

Мнительность — мать всех несчастий.

Вернулся домой и долго разглядывал себя.

От огорчения чуть не разбил зеркало: мировая скорбь и лысина.

Господи! неужели человек действительно создан по образу и подобию Твоему?!

Оправился от одного удара, — второй!

Дзержинский умер.

Говорят, о мертвых или хорошо, или ничего... хорошего.

Единственное, что меня взволновало, так это то, что представитель Мексики заехал с выражением сочувствия.

Вот уж действительно заехал...

Вы подумайте, дочего они чуткие, эти мексиканцы!

Народ, можно сказать, ковбой, президентов своих, как рябчиков, глотает, по прериям и пампасам носится, успокоиться не может...

А как реагирует?!

Надевает шляпу со страусами, все расстегнутые пуговицы до одной застегивает и полчаса Чичерину руку трясет.

А у того тоже положение сурьезное: наркоминдел и посаженная вдова.

Хорошо еще, что не все державы советскую республику признали, а то от одних рукопожатий может смерть наступить.

---

Оказывается, венгры тоже не маленькие.

В Будапеште возникает новая газета, посвященная исключительно интересам самоубийц.

Расчет чрезвычайно простой: человек, который собирается покончить с собой, уж обязательно подпишется; а человек, который подпишется, уж обязательно покончит с собой.

Чем больше подписчиков, тем больше самоубийц.

Чем больше самоубийц, тем больше подписчиков.

Издание будет огнестрельное и пеньково-веревочное.

А в заголовке так и будет стоять: орган сознательных утопленников и душегубов; для сорвавшихся с веревки — скидка.

В общем, какая-то жуткая судьба у этих пробуждающихся венгров: фальшивомонетчики, самоубийцы, шахматисты, дамские оркестры, а над всеми один контр-адмирал, да и тот Хорти.

Стоило освободиться от австрийского ига...

---

Неврастения продолжается.

Опять пошел к доктору.

Застал.

Записал пятьдесят франков в расход.

Доктор был сух: не велел есть телятины и сказал заниматься автомобильным спортом.

Пока соберу деньги на автомобиль, решил купить гудок.

Хожу по комнатам с компрессом на голове и гужу.

Не знаю, как дальше, но пока самочувствие неважное.

---

...В мае месяце воспрянул было духом.

Вот, думаю, начнется сезон.

Вот придут богатые американцы.

Все они, конечно, начнут суетиться.

Вот в суете потеряют бумажник.

И вот я его найду.

Бред и фантазмагория...

Разочаровался и стал ждать осени.

Вот, думаю, кончится сезон.

Вот станут разъезжаться богатые американцы.

Вот они, конечно, начнут суетиться.

Вот в суете потеряют бумажник.

И вот я его найду.

Бред и фантазмагория.

Полное разочарование в людях и расписаниях поездов.

Решился сделаться фаталистом.

Специальность средняя, но по крайней мере общественное положение.

---

Написал мистический рассказ:

«Под знаком Козерога».

Воткнул в себя хризантему и пошел в редакцию.

Все стучат на ремингтонах и курят.

Поймал какого-то без пиджака, но симпатичного.

Нацелился на печеньку и впился.

Зажал его в угол и стал читать вслух.

Вижу, побледнел и не дышит.

Испугался, стал трясти.

— Что с вами?!  
— Ничего,—говорит,—это от вашего сильного потрясения...  
дайте я сам прочту.  
Поверил, дал.  
На следующий день прихожу, глазам не верю.  
Бегу к консьержу, спрашиваю: а где ж редакция?!  
— Ночью эвакуировались.  
— Куда?  
— Неизвестно, без указания адреса.  
Рассердился и плюнул на фасад здания.  
Закат Козерога, тоска и безработица.

---

Ходил в бюро труда. Советовался, чем заниматься.  
Посоветовали заниматься трудом.  
— Вот,—говорят,—продольные пильщики в лесное угодье  
требуются, но вы,—говорят,—очень щуплые, наверно, не по-  
дойдете.  
Обиделся.  
— Я,—говорю,—беллетрист-фаталист и желал бы по специаль-  
ности.  
Заведующий извинился, стал перелистывать.  
— В таком случае ничего, кроме три-портэра, предложить не мо-  
гу.  
— А в каком смысле три-портэр?  
— А очень,—говорит,—просто: ноги на педали и ветчину по до-  
мам!  
Обиделся окончательно и на всякий случай пригрозил самоубий-  
ством.  
— Это,—говорит,—как вам будет угодно, мы в частную жизнь  
и смерть не вмешиваемся.  
Дал ему один палец на прощание, пусть чувствует.

---

Долго ходил в неизвестном направлении.  
Очутился у подножия муниципального ломбарда.  
Почувствовал дыхание рока и вынул хронометр.  
Невольнo вспомнил слова поэта:  
«Прощай, свободная стихия,  
В последний раз передо мной...»  
Переступил порог и понял: все в прошлом!  
Предложил. Вынул. Положил. Заложил.  
Теперь, кроме сердца, ничего не тикает.  
Зашел в бистро и с горя пропил четверть циферблата.  
Странная вещь жизнь...  
Пятнадцать лет назад сама олонецкая вице-губернаторша гово-  
рила, что так или иначе, а я подаю надежды.

А теперь эта грубая хозяйка быстро даже и не смотрит в мою сторону.

Вот именно, фатум.

---

Рубикон перейден. Перчатка брошена.

Поступил в общество спасения на водах в качестве ответственного манекена...

Теперь мальчики учатся на мне, как приводить в чувство уопленников.

Служба не трудная, но уж очень крепко растирают.

Боюсь, что кожа скоро слезать начнет.

Зато есть сознание, что в мировой сокровищнице и мой вклад будет.

Но, в общем, грустно.

Подумать только... бывший чиновник для особых поручений, и вдруг — мертвое тело за пятьсот франков в месяц!..

1926

### ПЕРЕПИСКА С НАЧИНАЮЩИМИ

Не останавливаясь пред почтовыми расходами, несколько самопишущих соотечественников почтили меня целым рядом писем и присылкой своих литературных опытов.

Большинство авторов — явные самородки, и мне кажется, что для некоторых из них публичный ответ может явиться своего рода поощрением и содействовать развитию их скромных зарубежных дарований.

— Как знать, — пишет один из них, — может, меня надо только как следует толкнуть, а дальше я уж сам пойду...

Что ж, толкнем, пожалуй.

И в самом деле; если в советской России на тысячи неграмотных приходится по одному пролетарскому писателю, то в России зарубежной должно быть совершенно наоборот: по тысяче писателей на одного неграмотного.

Итак, будем толкать.

### 1

*Госпоже Сафо Попандопулос*

Многоуважаемая Сафо!

Присланную вами драму «Липочки цветут» мы получили и не скроем, что она потрясла нас до основания.

Особенно поразителен третий акт, на вокзале, где, после десятилетней разлуки, героиня принимает совершенно чужого начальника

станции за своего умершего жениха и покрывает его безумными поцелуями на фоне всеобщего крушения поездов.

Вы спрашиваете, есть ли у вас эспри и не найдется ли у нас подходящего издателя?

Как вам сказать?..

Издатель, пожалуй, нашелся бы, но, представьте себе, совершенно без эспри; даром не напечатает.

Самое лучшее, если бы вы послали вашу драму доктору Нансену.

Как-никак, а все-таки он официальный комиссар по русским делам.

Всего хорошего и мерси!

## 2

*Последнему могокану*

Последний могокан ставит вопрос ребром:

Имеет ли право человек в возрасте после шестидесяти называть себя дитятей, или уже, так сказать априори, он считается отцом семейства, и в споре между отцами и детьми обязательно должен находиться на стороне отцов и действовать как таковой?

Вопрос, несомненно, глубоко волнующий и острый.

Разве не видим мы сплошь и рядом, что человек по паспорту камергер, а по душевным качествам теленок.

И как определить, где кончается паспорт и где начинается душа?

И является ли вообще впадение в детство юридически наказуемым, особенно если впадение это совершается по политическим убеждениям и на чужой территории?

Трудно советовать, господин могокан! И высший монархический совет, который мы можем вам дать,— один:

— Впадайте дальше.

## 3

*Жене Рыжикову*

Ваша статья о бойскаутах свидетельствует о безукоризненном знании предмета.

Вы смело срываете маски и категорически подчеркиваете, что бой это одно, а скаут это другое.

Если мы вас правильно поняли, то дело идет о полном раздвоении личности.

Так всегда бывает: личность раздвояется, а папа с мамой убиваются.

Если они совсем не выдержат, приходите к нам, мы из вас сделаем спортивную команду!



Повторяем снова, что Старая Русса — это город, а не пожилая русская дама, как вы ошибочно полагаете.

Стыдились бы!.. а еще пишете рассказы из эмигрантской жизни в Бессарабии и просите дать вам какую-нибудь захватывающую тему.

Ладно, вот вам тема:

Самоубийство с целью грабежа! Но только обязательно в Кишиневе!..

## 5

*Ивану Ивановичу из Биянкура*

Никогда бы не поверил, что такой черноземный талант прозябает в каком-то Биянкуре, в то время как до Парижа двадцать минут езды по трамваю!

Иван Иванович пишет:

«...и будучи человеком скромным, сочиняю в свободное от занятий время стишки, главным образом из жизни младшего возраста, без всяких этих современных фиглей-миглей...»

Так, например:

«Сижу, как бедный зяблик,  
И грустно до того,  
Что делаю кораблик,  
А больше ничего».

Вы правы, Иван Иванович, от стихов ваших несет такой свежестью, что простудиться можно.

Для ободрения посылаем вам ответ, тоже в стихах и тоже, знаете, без всяких фиглей-миглей:

«Во флот вы не годитесь,  
А правильной всего,  
Пойдите — утопитесь,  
И больше ничего...»

1926

## ЛЕТОМ

Зимой люди делятся:

На умных и глупых, бедных и богатых, веселых и скучных, добрых и злых, серьезных и легкомысленных, холостых и женатых, партийных и беспартийных, худых и толстых, нормальных и сумасшедших.

Летом все эти детали исчезают, и остается только одно:

Уезжающие и остающиеся.

Человек, который уезжает,— это человек.

Человек, который остается,— это не человек, а так себе.

Никакие социальные перегородки не разъединяют людей так резко, как так называемый летний сезон.

Неизвестно почему и кем, но с незапамятных времен установлено, что порядочный человек хоть раз в году должен: отдохнуть, загореть или, в крайнем случае, покрыться веснушками.

Недаром сказано, что женщина без веснушек все равно что дача без мебели.

И в самом деле.

Для чего существует это самое лоно природы, как не для того, чтобы в него погрузиться?!

— Я погружаюсь, ты погружаешься, он, она, оно — погружается...

Конечно, и здесь существует множество ухищрений, и бывают такие двуличные натуры, которые ставят перед собой горшок с геранью и стакан водопроводной воды и на вопрос, куда вы едете этим летом — с неподражаемой наглостью отвечают:

— Да Бог с вами... зачем нам ехать, когда у нас и так настоящая дача!..

Но о них и говорить не стоит:

— Пари и лицемеры.

Тот, у кого еще сохранились остатки самолюбия, заявляет честно и открыто:

— Мог бы поехать, но не хочу.

— Почему же, собственно говоря?

— Собственно говоря, потому, что жизнь мне еще не надоела.

— Я вас решительно не понимаю.

— Не понимаете... Хорошо. Так вот, когда у вас будет, собственно говоря, сотрясение мозга, тогда вы все и поймете.

— Почему же от морских купаний, и вдруг такая... вещь?

— И он еще спрашивает почему?!

Несчастный! Да разве вы не понимаете, что ни до каких морских купаний вы просто не доедете! Что, отъехав двадцать километров от Парижа, вы погибнете на двадцать первом, со всеми вашими саквояжами, несерами и полосатыми брюками, что на следующий день ваше имя будет с ошибками напечатано в хронике железнодорожных происшествий?!

Конечно, если вы настолько честолобивы, что ради газетной рекламы готовы даже рисковать жизнью, тогда, разумеется, поезжайте, и счастливого вам пути...

После такого диалога, остающемуся все-таки как-то легче на душе.

В качестве напутствий можно еще упомянуть: кражу в пути, ограбление, нападение на поезд, эпидемию, сквозняки, лихорадку от перемены климата, смерть от перемены пищи, мало ли чем можно подбодрить человека, который уезжает!

Если же ничего на него не действует, то надо махнуть рукой и сказать себе самому:

— В сущности говоря, загореть можно и в городе.

Из всех народов самый непоседливый — это, конечно, русский.

У французов есть декларация прав человека и гражданина, у англичан — великая хартия вольностей, у немцев — Веймарская конституция, и только у русских — расписание поездов.

Кроме общеизвестных пяти чувств, мы обладаем еще и шестым: чувством железной дороги.

За восемь лет мы столько наездили и столько проделали сезонов, зимних и летних, под столь разными градусами долготы и широты, что география стала нашей историей, а история превратилась в географию.

Поэтому, как только наступает лето, у нас начинает сосать под ложечкой, и нет такого последнего эмигранта, которым не овладевали бы беспокойство, охота к перемене мест.

— Все разъехались, позвольте и мне разъехаться!..

Режим экономии для нас не существует.

Мы уже столько режимов пережили, что и экономить не стоит.

И, наконец, нашли на чем! Потеряв собственное отечество, будем мы теперь на чужой климат скупиться, еще чего захотели!!!

В результате начинается: визы, фотографии, консьержкины удостоверения, нансеновские паспорта, путеводители, телеграммы, почки, печенки, семейные анализы, детские костюмы, брюки в поло-ску, брюки просто, одним словом — вертиж.

А по совести говоря, все это, если хорошо взглядеться, сплошной оптический обман и из ста уезжающих русских уезжает только один, а девяносто девять отделяются тем, что пососет-пососет у них под ложечкой и перестанет.

Зато разговоров об отъезде не оберешься.

Послушать, так в первую минуту кажется, что все сорок тысяч эмигрантов пятнадцатого июля утром отправятся прямо в Биарриц; только и ждут, чтобы четырнадцатого Бастилию взять и сейчас же на рассвете уехать.

А на самом деле никто никуда не едет, ибо ни у кого ничего нет; разве только почки.

Так у бедных людей почки и в городе загорают.

## НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ АМЕРИКЕ

### 1

Америка ежедневно омывается тремя океанами со всех трех сторон.

С четвертой стороны у нее — только канал, но зато Панамский. Коренными жителями являются индейцы, число коих четыреста лет назад доходило до пяти миллионов, ныне же благодаря американской технике доведено до пяти тысяч человек.

Все остальные нации являются элементом пришлым.

Англичане и ирландцы стоят на главном месте.

Потом, постояв, первые идут в губернаторы, вторые — в полисьмены.

Итальянцы занимаются парикмахерским делом и убийствами.

Румыны играют на скрипках, женятся и разводятся.

Евреи печатают так называемые шифскарты и потом рассылают их по всем своим родственникам.

Что же касается русских, то они делятся на духоборов и присяжных поверенных.

Духоборы постепенно вымирают, а присяжные поверенные служат судомойками...

Политический строй Америки — веселый и жизнерадостный.

Из тридцати американских президентов большинство умерло своей смертью и только трое были убиты, но при большом обороте такой ничтожный процент не имеет, разумеется, никакого значения.

Из бывших президентов особенно популярен Джон Вашингтон.

Он прославился борьбой за независимость и ежегодным освобождением учащихся от занятий в день своей смерти.

Монетной единицей считается доллар, поэтому Америка и богата.

Сами американцы очень добродушны и отзывчивы. Достаточно сказать, что в самой большой своей тюрьме, Синг-Синг, они устраивают для смертников прекрасные концерты накануне казни: сначала исполняются духовные песнопения, потом выступает Шаляпин, потом всем раздаются бутерброды.

Кстати сказать, и самая казнь обставлена очень гуманно. Человека сажают на электрический стул, вставляют в него штепсель и дают полное парадное освещение всех внутренностей.

### 2

Что же надо для того, чтобы попасть в Америку?

Прежде всего надо, чтобы в другом месте вам жилось плохо.

Раз вам живется плохо, то это уже хорошо.

Остается только заполнить опросный лист.

Будьте осторожны и предусмотрительны!

Прежде всего под угрозой тяжкого наказания за дачу ложных сведений вы должны ответить честно и прямо:

Была ли у вашей бабушки скарлатина?!

Я знаю робких и двоедушных людей, которые уклончиво писали:

— Корь...

Но должен сказать, что это не помогает.

Следующий вопрос: не сумасшедший ли вы?

На этот вопрос лучше всего кратко ответить: нет.

Затем вас спрашивают:

— А как вы относитесь к многоженству?

Пишите уверенным и размашистым почерком:

— С нескрываемым отвращением!

Наконец, последний вопрос: Имеете ли вы при себе пятьдесят долларов на первое время?

Отвечайте: да, имею.

И не беспокойтесь, любая пароходная компания выдает эту сумму напрокат перед спуском на берег, а затем, после исполнения всех формальностей, у вас эти пятьдесят долларов отнимут.

Если хотите, можете их записать в расход.

### 3

Еще один практический совет.

Приехав в Америку, непременно изучайте английский язык.

Способов изучения — тьма, но самый популярный и простой — это после четырнадцати часов работы на бисквитной фабрике — посещать бесплатные вечерние курсы для взрослых.

Через три месяца вы умрете от истощения, но зато с просветленным и твердым сознанием, что эйч не всегда произносится так, как пишется.

1926—1927

### О ПОЛЬЗЕ ВОДЫ

Прежде всего разберем с точки зрения, что есть вода как таковая.

Так называемая вода есть не более и не менее как влага, или, точнее говоря, жидкость.

Принимая во внимание подобный факт, мы имеем перед собой задачу, которую нам дал товарищ Задачник нашего рабочего факультета, или, точнее говоря, рабфака, а именно что?

А именно то, что вода бывает дождевая, идущая сверху, и минеральная, идущая снизу, не говоря уже о таких явлениях природы, как всем известный кипяток.

Смешно скрывать, что вода имеет громадное значение для всего человечества, как воодушевленного, а также для членораздельных животных и всех, вообще, органов, живущих на нашем земном шаре, включая даже такие несознательные индивиды, как домашний скот.

Если случается, что вода течет, значит, нет никакого сомнения, что это вода вполне текущая; если же, наоборот, она стоит на одном месте, то это уже, извиняюсь, болото.

Главное значение вода имеет для: питья, мытья, стирки и наводнения.

Но, кроме пользы, от воды бывает и социальный вред, как холера и тому подобное, если пить в сыром виде, как говорится, в чем мать родила.

Таким образом, перейдем на морской путь.

Если б не было морской воды, то для флота было бы очень плохо, потому броненосец не может долго держаться на суше и во что бы то ни стало должен плавать в противоположном направлении.

Такой же вопиющий факт имеется в отношении рыбы, как, например, кефаль или селедка как таковые.

В то самое время, как без воды они, так сказать,дохнут на ваших глазах и, напротив, как в воду опущенные, цветут, как роза.

Опять же, метота икры невозможна сухопутным путем по причине того идеала, что всякое сырье любит сырость, а если нет,— позорная смерть и полное прозябание.

Что касается в смысле урожая растений, то хотя она прет прямо из земли, а поливать надо до последней капли человеческой жидкости.

Из истории мы узнаем, что еще древние египтяне занимались разлитием Нила, чтобы поддержать цветущую промышленность своих хлебных злаков; чего нельзя сказать об эскимосах во глубине сибирских руд.

Во времена проклятого самодержавия сколько гибло озимых и яровых от сухой погоды и солнечных ударов, как страшная жертва общественного термометра, невзирая на голодающие губернии и даже уезды.

Но наша советская власть повернулась своим лицом к деревне и собственноручно оросила несжатую полосу крестьянского хозяйства вплоть до исстрадавшихся низов киргизской республики, объединив в мощную канальскую систему разрозненные каналы водопроводной сети.

Переходя к предмету настоящего сочинения, необходимо остановиться на значении воды в отношении антисанитарного здравоохранения революционных элементов нашей необъятной родины.

Почему всевозможная человеческая индивидуальность умывается и даже ходит в баню, несмотря на потерю времени для самообразования?

Почему?!

А потому, отвечает аналогия, что если наша индивидуальность

не будет мыться, то ее окончательно загрызает вша, сей гнусный пережиток деспотического режима и сверхъестественной истории.

В заключение не можем не упомянуть про классовую борьбу женского сословия, каковое зачастую рыдает навзрыд по причине алиментов или несходства пола и характера в гражданских браках вышеизложенной эпохи.

Можем ли мы, наложив на себя руки на сердце, считать упомянутые слезы, так сказать, текучей водой?!

Или должны с презрением отвергнуть как подлый вопрос буржуазного разложения женской личности, считая означенную жидкость показательным приемом на семейном фронте?..

Ввиду того, что ответ напрашивается сам и, так сказать, спрос соответствует предложению, находим нужным выразить общественное порицание, и закончить словами нашего великого поэта:

«И на обломках самовластья  
Напишет наши имена!»

1926

### «У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЬКИЙ...»

Товарищи комсомольцы, мужского и женского рода!

Вот уже ровно сто двадцать семь лет, как родился Пушкин, а между тем что сделано нами, чтобы увековечить его память с точки зрения диктатуры пролетариата?

Смешно сказать, но ничего.

Так сомкнем же ряды и разберемся.

Пред нами знаменитый пролог к «Руслану и Людмиле», написанный в худшие времена царизма.

Не подлежит никакому сомнению, что это глубочайшая аллегория, которая только по условиям жестокой цензуры была названа прологом.

На самом же деле это, в полном смысле слова, эпилог, со всеми вытекающими из него последствиями.

Наша задача — очистить и выскоблить гнусные наросты цензурного гнета и, восстановив первоначальный смысл пушкинских символов, предоставить их для широкого массового потребления.

Итак.

«У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том».

Что же это за лукоморье?!

На первый взгляд, как будто бы ничего особенного, так себе, место для невинных прогулок беднейших классов населения.

Но, увы, это только на первый взгляд.

Мрачная действительность доказывает с вопиющей очевидностью, что так называемое лукоморье есть не что иное, товарищи, как оплот воинствующего империализма, или, иначе говоря, Балтийская морская база.

Таким образом, настоящий смысл пролога-эпилога резко меняется с первого же слова.

— У Балтморбазы дуб зеленый...

Но почему дуб?

Почему именно дуб, а не другая древесная порода?!

Да потому, что дуб — это классовый символ буржуазного могущества, уходящий всеми своими корнями в происхождение семьи, частной собственности и государства.

Но великая октябрьская революция с корнем вырывает этот развратный дуб и сажает на его место молодой бедняцкий ясень!..

Таким образом, в процессе грозного социального древопосаждения, зелено-кадетский дуб превращается в красно-пролетарский ясень, и уже по-новому звучит, очищенная от искажений, великолепная пушкинская строфа:

— У Балтморбазы ясень красный.

Но, идем дальше!

Не ясно ли вам, товарищи, почему находящаяся во второй строчке цепь, — золотая?..

Пусть присутствующие на собрании товарищи-металлисты и, вообще, побывавшие в ссылке выскажутся с полной откровенностью, выдали ли они когда-нибудь каторжные цепи из настоящего золота?

Конечно, нет!

И даже совершенно невооруженным глазом можно определить, что это грубейшая подделка, сделанная по требованию охранного отделения с целью затемнения народного самосознания...

Нечего и говорить, что вышеизложенная цепь сработана из чистого железа или, в самом крайнем случае, из чистой стали.

Стало быть, не золотая цепь, а стальная.

Так, и запомним.

Однако же, идем дальше.

— «И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом».

Здесь мы, можно сказать, вплотную подходим к грустному явлению бессовестной эксплуатации наемного труда:

— И днем, и ночью...

Я ставлю вопрос: возможны ли в социалистическом государстве подобные стихи?! И отвечаю: нет, невозможны!

И да здравствует восьмичасовой рабочий день, независимо от качества продукции!

Теперь нам остается разобраться в отношении так называемого ученого кота, действительно ли это настоящий кот из кошачьего племени и, так сказать, обыкновенная кошка мужского пола или это только псевдоним, под которым скрывается изможденный скелет, пострадавший за убеждения?!

Принимая во внимание, что, как Руслан, так и Людмила, были великокняжеского происхождения и почти царского корня, то можно с уверенностью сказать, что вышеупомянутое домашнее животное ничего общего с ними не имело и что в данном случае оба они



страдали за буржуазную любовь, а не за программу-максимум или какие-нибудь другие террористические действия.

В таком случае следует обратиться к логике, которая ясно показывает, что, с одной стороны, это не псевдоним, а с другой — диаметрально-противоположной стороны, это далеко не кот.

Очевидно, Пушкину необходимо было тщательно замаскировать пропагандный характер своего произведения, вследствие чего он и вставил своего кота, подобно тому, как в армянской поэзии имеется так называемая селедка.

Таким образом, кот должен быть уничтожен в ударном порядке, несмотря на общеобразовательный ценз.

Итак, что же мы имеем в благоуханных стихах пушкинского эпиграма?..

— У Балтморбазы яшень красный,  
Стальная цепь лежит на ем.  
Восьмичасовой труд прекрасный,  
А, кстати, кошка не при чем.

**РАССКАЗЫ  
И ФЕЛЬЕТОНЫ,  
НЕ ВОШЕДШИЕ В КНИГУ  
«НАША  
МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»**

**ПО ГЕРМАНИИ.  
ДОКТОР ПАУЛЬ РОРБАХ**

Итак, как видите, я очень мало похож на антропофага, или циклопа, каким меня в качестве «дробителя» России не прочь иногда изобразить чересчур льстивые враги и не в меру услужливые друзья!

Ироническая улыбка не сходит с уст моего собеседника.

Коренастый, среднего роста, совершенно седой, несмотря на свои пятьдесят лет, язвительный и темпераментный, увлекательный и остроумный, господин доктор умеет и любит поговорить.

Он действительно прост и скромен, этот «злой гений и враг единой и неделимой России», этот парадоксальный идеолог и чуть-чуть маниакальный сочинитель Украины («Autor der Ukraine»), как насмешливо называют Рорбаха даже в самой Германии его политические противники.

Несмотря на скромность почти кабинетного ученого, доктор истории не прочь при каждом удобном случае пококетничать, изобразив политического сноба, который не открывает, а роняет на ходу истины и доктрины, недоступные и непонятные погрязшему в пошлости большинству.

Его излюбленный жест — складывание чемоданов и приготовления к отъезду навсегда.

На каждой «будущей неделе» он уезжает к себе, в родную Балтику, подальше от этой публицистической болтовни и кустарной дипломатии.

— Куплю себе клочок земли где-нибудь в Курляндии и буду разводить картофель.

— Поверьте, это будет и здоровее и продуктивнее, чем числиться в благородном меньшинстве и заниматься диалектикой на Вильгельмштрассе<sup>1</sup>, этой скучнейшей во всем мире улице!..

Но в огороды Пауля Рорбаха никто в Германии серьезно не верит, особенно на протяжении последних лет, когда факты и события, надолго ли, накоротко ли, но с полной очевидностью подтвердили почти все рорбаховские теории, предложения и пророчества.

<sup>1</sup> Улица в Берлине, где помещается министерство иностранных дел.

Ведь это он еще в мае 1914 года предсказал неминуемость европейской катастрофы, выступление и роль Англии, поражение и революцию в России.

— И, несмотря на это,— не без желчи заявляет Рорбах,— вы и сейчас не считаете в Германии и пятидесяти человек, которых я с полным правом мог бы назвать своими единомышленниками.

Надо мной продолжают смеяться, и, когда я говорю, что нынешняя германская политика на Украине по меньшей мере близорука, что самостоятельность этой страны может существовать только при условии поддержки и укрепления в ней ультрафедералистических и абсолютно демократических течений, вплоть до передачи всей земли крестьянству— этому единственному оплоту украинской государственности,— меня называют Дон-Кихотом, снисходительно выслушивают мои советы и... поступают совершенно наоборот.

Впрочем, надо сознаться, что мы, немцы, никогда не отличались настоящими административными способностями.

Мы умели завоевывать, покорять, принуждать, муштровать, организовывать, распределять, классифицировать, но только не управлять!

Наши административные теории чрезвычайно прямолинейны, квадратны, так сказать, и место социально-психологической гибкости, индивидуализации и умения приспособляться занимают в них убогий, несмотря на всю свою детализацию, бездушный, вечно марширующий централизм, какое-нибудь берлинское расписание для заокеанского острова и, главное, это неизлечимое желание во что бы то ни стало— всех и вся— приспособлять!..

Стоит только вспомнить наши классические ошибки в Южной Африке, традиционную, считавшуюся почти признаком хорошего дипломатического тона, но, конечно, совершенно слепую и мелочную политику в Польше, чтобы в отчаянии развести руками и чуть ли не сознаться в своем полном административном бессилии.

Между прочим, по отношению к славянским племенам это непонимание административных задач становится положительно фатальным— и я боюсь...

Чего боялся доктор Рорбах, я так и не узнал.

Вместо окончания интригующей поначалу фразы последовала реплика о чемоданах и картофеле, реплика, о которой знающими его лицами я был предупрежден заранее, после чего беседа наша приняла более планомерный и последовательный характер.

— В качестве поясняющего предисловия считаю необходимым сообщить вам, что моя теория устрашения России сложилась не только в результате абстрактно научных и философско-исторических изысканий, но и под значительным влиянием непосредственно пережитых впечатлений, наблюдений и глубокого личного знакомства с условиями русской жизни.

Я родился в Риге, окончил рижскую гимназию, а затем юрьевский университет.

В течение следующих десяти лет я успел исколесить всю Россию, хорошо изучил и юг, и север, провел несколько лет на Кавказе и в Туркестане.

В то время меня особенно интересовали сложные условия русских экономических отношений. И первая моя статья о России представляла собой напечатанный в «Прусском Ежегоднике» критический разбор финансовой политики Витте.

Останавливаясь на некоторых вредных интересам Германии сторонах этой политики, я уже тогда вскользь, в виде совершенно импрессионистического намека, затронул вопрос о русской опасности вообще.

И только незадолго перед русско-японской войной мои разрозненные и случайные по этому вопросу представления и предположения приобрели для меня характер некоторой непреложности, вылились в форму продуманного и твердого убеждения.

1904-й год, а затем 1914-й убеждение это с очевидной ясностью подтвердили.

Мне до прозрачности стала понятна внешняя политика Англии, сыгравшей роль подстрекательницы и вдохновительницы японского натиска на Россию.

Расчет был построен на следующих основаниях: Россия, являвшая в то время картину едва прикрытого внешним благополучием полного внутреннего развала, бюрократической самовлюбленности и самонадеянности, расцветшего пышным цветом казнокрадства и,— это главное,— широко разраставшегося недовольства народных масс, такая Россия в столкновении с молодым варварски-свежим и политически неискушенным японским империализмом была заранее обречена на поражение и неминуемо связанный с ним отказ от первенства и господства в сфере дальневосточного влияния.

В качестве непосредственного и логического последствия такой потери лондонские политики учитывали неизбежность перенесения и грядущего сосредоточения российских стремлений и чаяний на Ближний Восток.

Здесь, где начинал змеиться великий индийский путь, здесь по британскому плану должны были скреститься и в отчаянной схватке столкнуться жизненные интересы Германии и реставрированные царьградские вождения России!..

План этот, при наличии сложного комплекса междуевропейских отношений, был выполнен с точностью почти механического эффекта — и уже в 1907—1908 годы Германия очутилась в изобретенном «союзниками» (тогда еще потенциальными) железном кольце, звенья коего на Западе составляли наши исторические, тысячелетние враги — Франция и Англия, а востоке — новый и грозный враг Россия, эта сумбурная 180-миллионная с ежегодным трехмиллионным приростом лавина, готовая низринуться в любой момент — и затопить своим потоком и германскую землю, и германскую культуру!..

Рорбах нервно закуривает еще на переходах великого индийского пути погасшую сигару и продолжает:

— Все это — стороны исторические, политические и военные. Но в образованном ими, так сказать, уравнении с несколькими неизвестными имелся еще икс социально-этнографический.

Моя попытка заменить его определенной величиной сводилась, в сущности говоря, к философскому и психологическому расшифрованию того, что принято называть «русским духом», того, что «Русью пахнет».

Расшифрование это и привело меня к твердому убеждению в существовании исторического и расового различия между великорусской и украинской национальностями.

Северное великорусское племя образовалось из двух исключительно мужественных кровей: варяжско-норманских и финско-карельских примесей, с одной стороны, и тяжелой, медленно перерабатываемой татарской крови, с другой стороны.

Эта смешанная кровь, просочившаяся и внедрившаяся столь глубоко в женственно-восприимчивую, пассивно-расплывчатую славянскую почву, кровь всегдашних завоевателей, диких кочевников, охотников и истребителей, — таит в себе упорную и неизлечимую жажду разрушения и опустошения.

Громоздкая, мало поддающаяся цивилизующим влияниям энергия накапливается веками, от поколения к поколению, изменяя только форму, но сохраняя неподвижной свою примитивно-атавистическую сущность.

Ища выхода, эта энергия разряжается взрывами столь губительными и сконцентрированными, что один более или менее длительный эффект их способен с корнями выдернуть и обратить в пыль и в прах всю нашу анемичную и еще далеко не сложившуюся европейскую культуру.

Эту чисто татарскую склонность к стяжаниям, грабежам, набегам и завоеваниям сумели удивительно использовать ваши московские цари, создавшие таким путем гигантскую, гиперболически разросшуюся, ничем, кроме деспотических скреп, не спаянную недавнюю Россию.

Приблизительно тем же объясняю я и неестественно продолжительный успех ваших большевиков.

И Иоанн Грозный, и Ленин хорошо знали свою публику!..

Польщенный параллелью, я предлагаю доктору свежую сигару. Он закуривает и продолжает:

— И если хотите, то недавние кадетские вопли о Дарданеллах в историческом смысле звучат точно так же, как давно забытое гиканье татар, переходящих на ночное кочевье.

Этот дух завоевания особенно сильно запечатлен в среде русской аристократии, сохранившей благодаря бракам и велениям кастовой обособленности свое монгольско-княжеское, или беститульно-варяжское происхождение.

К каким же средствам должна была бы обратиться Германия в своем естественном стремлении оградить себя и свое бытие от последствий подготавливавшегося неминуемого взрыва, какие пути должна была она избрать, чтобы парализовать и обезвредить этот надвигавшийся исторический смерч?!

Средство было одно: рассечь, раздробить, разъединить надолго, если возможно, навеки — сросшиеся по закону сцепления и инерции отдельные части этого уродливого, гигантского кораллового рифа, который полз и надвигался все ближе и ближе!..

Вот из каких предпосылок и представлений родилась моя идея о разделении великой и неделимой России.

Идея эта питалась и тем немаловажным соображением, что в разделении таком не было бы ничего противоестественного.

Юг России, как я уже указал вам, резко отличается от севера. Благодаря совершенно иной исторической судьбе и совершенно иным историческим соприкосновениям, южнорусская народность сохранила почти нетронутой древнюю чистоту своей славянской крови и если в ней есть примеси, то исключительно византийские, которые могли только укрепить врожденную славянскую способность к мирному культурному строительству.

Прочтите, какие комплименты говорит по адресу украинского народа шведский профессор Иерне, — и вы увидите, что мои предположения не так уже фантастичны, как они вам, судя по вашей улыбке, кажутся!

Я воздал должное чуткости господина доктора и приготовился выслушать заключительный вывод.

— Итак, спасение Германии в разъединении России и в протекционном союзе с Украиной. В цепи буферных государств Украина должна будет занять место не менее значительное, чем Польша, и не только в качестве вспомогательной промежуточной, но и вполне самодовлеющей крупной величины в той новой восточно-европейской системе, создание коей немедленно по ликвидации войны составит ближайшую задачу всей мировой политики.

И, кто знает, быть может, еще и нынешнему поколению доведется присутствовать при новом грандиозном сдвиге, когда Германия в союзе с Англией, Россией и Украиной будет «ставить на колени» все более и более огрызающуюся и мрачно щетинящуюся Японию?!

— А как же союз народов, изобретенный в Америке и столь старательно гутируемый ныне в Германии? — спросил я в качестве будущего союзника...

— Что?! Союз народов?!

И доктор Пауль Рорбах безнадежно махнул рукой.

— Впрочем, — закончил он, улыбаясь, — меня это несколько не интересует! Они могут заниматься чем угодно!.. Через несколько дней я складываю свои чемоданы и уезжаю навсегда!..

Накрапывал дождь. Быстро пустела шумная улица.

И только вы продолжали стоять пред зеркальной витриной, в которой были выставлены и вправду изумительные вещи: дорогие, из синей кожи, несессеры с причудливыми монограммами, хрустальные флаконы с тяжелыми затворами из старого серебра, дорожные портсигары из настоящего крокодила, легкие саквояжи из антилопы, огромные чемоданы, окованные медью, клетчатые шотландские пледы, тигровые одеяла и футляры для зонтиков.

Ваше непромокаемое пальто уже промокло насквозь, но глаза лихорадочно блестели.

Потом, в блаженном утомлении, которое оставляет только энтузиазм, вы стали медленно переходить улицу, причем великолепный стальной «роллс-ройс» едва не положил предел вашему земному существованию.

Но все кончилось благополучно, если не считать того, что послал вам вдогонку бритый шофер и чего вы, очевидно, не поняли.

Не поняли, ибо среди десяти тысяч слов, собранных Гарнье, не было ни одного, сказанного шофером.

Очувтившись на тротуаре, вы развернули план города Парижа и его окрестностей и долго искали.

Потом уверенным шагом, как будто невидимый Вергилий сопровождал вас, вы спустились в подземелье, долго блуждали по скрепяющимся лабиринтам, пока наконец Ариадна, которая одной рукой штопает чулки, а другой прощелкивает билеты, не произнесла по вашему адресу нескольких слов, созвучных словам шофера.

Кто знает, быть может, она была его сестрой.

Публика, переполнявшая вагон метро, не знала, чему поражаться больше — вашей изысканной вежливости или вашей вопиющей неловкости: ибо каждый раз, наступая на ноги, вы три раза произносили *rapdon*, а *rapdon* вы повторили по крайней мере раз двести, пока поезд не дошел до конечной станции, которая, к удивлению вашему, называлась не *Vincennes*, а *Maillot*...

Но вы быстро нашли выход из этого нелепого положения — и через полчаса красное такси остановилось у подъезда вашего отеля, прекрасного отеля с лифтом, шоффажом, эклерансом и пансионом де-фамий.

Вы опоздали к обеду, как вчера и как третьего дня, и метрдотель был с вами холоден, как лед, или даже больше, — как консомэ, которое он вам подал.

Вы торопились и растерянно улыбались, называли гарсона — *monsieur*, после рыбы требовали пепельницу и господину из Лиона, который сидел напротив, пытались рассказать ваши впечатления об Эйфелевой башне.

Вечером вы съели порцию ванильного мороженого у Фошона и долго и мучительно думали, сколько же нужно дать roug-boig'у си-неглазой бретонке в белом переднике.

А потом, утопая в трехспальной пропасти чужеземных перин, вы засыпали, одинокий и никому не нужный, с Гарнье в одной руке и с «Matin» — в другой, и вам снилось, что жена ваша вышла замуж за ледяного метрдотеля и что, окруженные дорогими чемоданами из крокодила и антилопы, они мчались в Орлеан, где в эту самую минуту девственная Жанна д'Арк возносилась на небо вопреки постановлению Генеральной Конфедерации Труда...

Со сна вы кричали, что вас мучают, что вам дают сдачи одними почтовыми марками и что, если у них есть сердце, то должны же они вам, бывшему землевладельцу, предоставить хоть переписку на машинке «ундервуд»!..

Проснувшись от собственного крика, вы начинали новый день и покупали новый номер «Matin», обреченный лежать до вечера.

— Скажите же мне по совести! Зачем вы себя мучаете, зачем вы себя терзаете, а главное, зачем ça va bien отвечаете, милый вы мой несоотечественник, когда и отечества-то у нас с вами — все равно как кот заплакал, да и то по указу Правительствующего в Крыму Сената?!

1920

## ДОМ С МЕЗОНИНОМ

Есть сочетания слов, в которых таится волнующая музыкальность, в которых поет непревзойденная нежность.

И если скажут: русские женщины! — много скажут.

Ибо есть у сердца своя сокровенная память, и как же забыть ему княгинин возок в безлюдных сугробах сибирских, и худые плечики Наташи Ростовской, и холодный гелиотроп — цветы Ирины, и вальс, и смерть Анны Карениной, и убитую грозю Катерину, и трех сестер, и наш старый дом с мезонином!..

— Мисюсь, где ты?..

Их вышвырнули за борт, — и они голодают, и продают свою молодость, и Константинополь покупает ее.

Американские матросы, быть может, краса и гордость грядущих революций, греческие купцы, армянские аматеры, сосредоточенные турки, завсегдатаи кофеен, пароходные агенты, менялы и автономные бездельники — все покупают и все продают горькую услугу человеческой катастрофы.

Что еще недоброго может случиться с нами?!

Какое сырье еще может поставить сэру Ллойд Джорджу инженер-технолог Красин?..

И по сколько английских фунтов придется заплатить советским золотом за консервы и за бисквиты, розданные на островах Принкипо во имя гуманности и международной справедливости.



О, сэр!

Русские это неблагодарный народ.

Они до сих пор не могут постигнуть и оценить гениальной политики, одевавшей в английские шинели русских офицеров, изливавшейся в тостах прикомандированных генералов, дававшей интервью рептильной мрази и кончившей бисквитами и инженером Красиным.

И, забыв все, они способны поднять шум только из-за того, что отдыхающие под Версальской сенью черномазые проходимцы топчут какой-то гелиотроп, никому ведь не нужный...

Желчь и слезы — на много ли они поднимут маслянистую воду Босфора, на берегах которого дописывает история одну из горчайших русских страниц?..

Кто и когда прислушивался к жалобам бессилия, к угрозам немощи?.. И к кому обращать свою боль и свою нежность, если не к ней же самой.

— Мисюсь, где ты?!

1920

## ПЕРЕД БУЛОНСКОЙ ВСТРЕЧЕЙ

Министерский кризис в Румынии.

Министерский кризис в Германии.

Министерский кризис в Австрии.

Министерский кризис в Италии.

Министерский кризис в Норвегии.

Министерский кризис в Польше.

Министерский кризис в Латвии.

Совдепия наступает на Персию.

Польша наступает на Совдепию.

Чехословакия наступает на Польшу.

Серьезные волнения в Турции.

Большие восстания в Ирландии.

Приличный бунт в Албании.

Мобилизация в Греции.

И, вообще, так тихо, что слышно, как муха пролетит.

Мы, впрочем, не сомневаемся, что все эти неприятности прекратятся, как только господин Ллойд Джордж встретится с господином Мильераном.

Ничто не приносит столько огорчений, как разлука.

Если бы Антоний не разлучался с Цезарем, — все было бы иначе.

А тут, не угодно ли?.. Встретились в Версале — и расстались.

Встретятся в Булони — расстанутся.

И зачем, спрашивается? Чтобы опять встретиться в Спа!..

Когда проще было, кажется, совсем не разлучаться, а так, обнявшись, и бродить все время на темной аллее тенистого сада и слушать, как в вечерней тишине перезваниваются *cloches de la paix*...

А так, господа, нельзя! — Отзвонили и с колокольни долой!..  
Само собой разумеется, что при таком отношении к делу даже армянский мандат никому взять не захочется.

Ведь вот сколько времени валяется этот мандат на полу — хоть бы кто!..

Нет, как хотите, а великие люди не имеют права разлучаться!..

Зачем Патэк разлучается с Бенешем?

Скоропадский с Вильгельмом?

Винниченка с Петлюрой?

Гектор с Андромахой?

И зачем эти короткие свидания, когда так много хочется друг другу сказать, а мгновения бегут так быстро — и вот уже третий звонок, и вздрагивает курьерский поезд, — и торопливый, взволнованный голос раздается с площадки вагона:

— Не забудьте поговорить с Красиным!..

— Нет, нет!.. А вы не забудьте еще одну дивизию в Константинополь послать!..

— Хорошо... Постараюсь!..

— Счастливого пути! Смотрите, через окно не выгибайтесь!..

— Мерси!.. и вы тоже!..

Поезд прибавляет ходу. Лязгают и громяхают колеса. Одинокая фигура бежит по перрону и машет платочком.

И вдруг, что-то вспомнив, надрывающимся голосом кричит вдогонку.

— Ман-да-а-ат на Ар-ме-е-е-нию!

Но от поезда уже виден только синий дымок, медленно тающий в воздухе.

1920

#### ПАРИЖСКИЕ ЗАМЕТКИ. СЕНТИМЕНТАЛЬНЫЕ ПРОГУЛКИ

Ни в одном Бэдкере, ни в одном Guide Vieu, ни в одном проспекте Кука и сына ничего об этом не сказано; значит, об этом стоит рассказать.

...За чертой города, где уже дымят фабричные трубы, буйно растет трава, а белое вино — на целых пять су дешевле, — минуя Pont de Clichy, меж двух берегов зеленоватой Сены, на безымянном узком острове, который ждет еще своего Беклина, вы увидите кладбище, о котором не знают ни Кук, ни сын его.

Сам Плутон не мог бы выбрать места более меланхолического и уединенного.

Тишина и покой разлиты в блаженном воздухе, напоенном легким дыханием резеды, облеченном ароматом бледных роз и сладчайшей горечью лилий на несравненных и тонких стеблях.

Заботливо подстрижены аллеи, шуршит гравий под ногой, склоняются нежно анютины глазки над мрамором могильных плит.

Время стирает надписи — и уже с трудом различает глаз строки, выгравированные скорбью и безнадежностью.

«Верному спутнику моей жизни и моего одиночества, единственному свидетелю и горя, и радости, и единственному утешению в жестоких печалях, которых было много...»

Две биографии, две книги двух разъединенных жизней: одной, которая зябла, другой, которая согревала.

Или вот еще: за низкой бронзовой оградой — колонна из серого гранита; если быть внимательным, можно прочесть:

«Милой моей Сосотте, такой веселой-веселой, и вдруг ушедшей навсегда...»

И какие только странные прозвища, какие ласковые имена и сокращенные неразлучным общением сочетания не изобретала человеческая Нежность для нечеловеческой Преданности!..

И За-за, и Фру-Фру, и Ки-ки, и То-то, и Лулу, и Лолот, и Фифи-шка...

И потом еще имена, уже чеканные и значительные:

Трезор и Маркиз, и Диана, и Неро, и Трильби, и Лорд, и просто Джим, и просто Джэк...

Но не слишком удивляйтесь, о леди и джентльмены, столь нарочитой пестроте и столь неисчерпаемой краткости, ибо говорил же я вам, что с равнодушием шагал ваш голубой Гид по мосту Clichy и не остановился он пред старыми воротами, за которыми среди лилий, резеды и роз погребены целые поколения, целая раса, — аристократических догов, с редким достоинством носивших свой шотландский, мышинного цвета коверкот; и избалованных, привыкших к шелковым подушкам болонки; и огромных, рыжих сенбернаров, спасавших человеческие жизни; и миниатюрных своенравных левреток, требующих поклонения и ухода; и раздраженных, желчных мопсов, страдавших одышкой и подагрой; и посумасшедшему веселых фоксов, которые грызли и ножки золоченых стульев, и туфельки, шитые бисером; и распутных красавцев, — имевших бесконечные связи, — пуделей, всегда остриженных по моде; и тонконогих борзых, чутких и нервных, как влюбленные ревнивицы; и пушистых, мохнатых лягавых; и еще смешных, уморительных пойнтеров, которых водят в летний сад; и еще много, бесконечно много других — неизвестных пород и неизвестной расы...

Учительницы музыки, которые не вышли замуж; одинокие мисс — в рыжеватых веснушках; бездетные генеральши и по десяти лет не выходящие из спальни старухи; обманутые невесты и подозрительные ростовщицы, благотворительницы и вдовы, набожные и оскорбленные, расточившие себя или обокравшие других, — но почти всегда женщины и всегда одинокие, — это их слабыми и печальными руками и их любовью, неразделенной на земле, построено кладбище, единственное в мире!..

Единственное, ибо вы не встретите на нем ни братских могил, ни оскорбительных делений на кварталы — христианские, мусульманские, иудейские.

И, пожалуй, только здесь, на собачьем кладбище, не колеблют и не оспаривают преходящие ухищрения жизни великой монистической сущности смерти.

Сидя на скамье подле фамильного склепа, в котором погребены старик Боб, его верная подруга Бобэт и дети их Бобби и Топси, я думаю о стране, где собак хоронят, как людей, и — о далекой своей родине, где людей убивают, как собак.

А впрочем... на протяжении столетий — разве не все человечество и разве не больше всего боялось сентиментальности, которую оно загнало в кинематограф или в бульварный роман.

И только в антрактах между кровавыми Олимпиадами своих войн и бездарными столпотворениями своих революций оно разрешает себе помечтать под веткой сирени или пролить слезы над какой-нибудь экранной дребеденью.

И поэтому, кроме рыжеватой мисс, кто простит сентиментальный вздох над могилой грациозной *Cocotte*, такой веселой-веселой и вдруг ушедшей навсегда...

1920

## ПАРИЖСКИЕ ЗАМЕТКИ. ХОЗЯЙКА ПАНСИОНА

### 1

Она еще ждет своего Гольдони, и она дождется его.

Поэты из народа вознесут ее над землей, и прославят и, освободив от брэнной плоти, поведут по млечному пути прямо к золотому трону волоокой Цереры, и падут ниц перед богиней, и воскликнут:

«О, трижды Великая Мать! Ты, которая благословляешь земные зачатия и бережно холишь земные произрастания, разрешаешь набухшие почки и увлажняешь соком осенние плоды, прими в лоно свое и дай бессмертие, о многогрудая, верной жрице твоей и наперснице, ей, насыщавшей, подобно тебе, род человеческий!...»

И услышаны будут моления поэтов.

И еще ярче воссияет Олимп.

### 2

Обыкновенно хозяйку пансиона зовут:

*Madame* Дюран, *madame* Дюпон или *madame* Дюкзн.

И бывает еще, обыкновенно, так, что *madame* Дюран — вдова, *madam* Дюпон — замужем, а *madam* Дюкэн и не *madame*, а *mademoiselle*.

У всех троих, впрочем, имеется и один общий признак, который, как и принято в таких случаях, может быть вынесен за скобки: это любовник.

О нем бы и упоминать не стоило, если бы этот персонаж буквально не объедал бы весь пансион.

Только глядя на него, постигаешь всю глубину латинского мифа, согласно которому, спасаясь от страстных преследований Нептуна, Церера на глазах изумленного бога обратилась в прекрасную быстроногую кобылу.

Не долго думая, повелитель морей и океанов тотчас же превратился в великолепного породистого коня и ринулся в погоню за лужавой богиней.

О том, что он догнал ее, красноречиво свидетельствует рождение Ариона.

Но весь ужас не в этом и не в тысяче других метаморфоз, в результате которых и сама могучая богиня плодородия стала всего лишь обыкновенной хозяйкой семейного пансиона, потерявшей к тому же и свой чудесный рог изобилия,— а ужас в том, что любовник *madame Дюран* и по сей день продолжает вести себя, как лошадь!..

Что ж тут ходить к врачам и лечиться от головокружений, когда все мы просто хронически недоедаем...

### 3

Пока в Париже существуют хозяйки пансионов, французы могут спать спокойно: республика вне опасности! Ибо без риска впасть в преувеличения можно сказать, что между зыбким и неверным слоем легко колеблемых низов и легкомысленной эфемеридой фокстротирующих верхов — покоится мощный, косный и аморфный бюст г-жи Дюран!

И в звенящей связке металлических ключей, подвешенных у пояса, можно различить торжественную мелодию настоящей марсельезы.

*Madame Дюран, madame Дюпон, madame Дюкэн*, — они знают, чего хотят, и их не смутитш утопией блаженных островов, созданных для человеческого счастья.

В своем непревзойденном семейном пансионе, — набитом запломбированными золотом американцами, катастрофически щеголеватыми поляками, развязными англичанами, белокурами шведами, итальянцами, которым почему-то всегда весело, греками, которым почему-то всегда скучно, румынами, которые бредят Великой Румынией, и русскими, которые уже ничем не бредят, — они создали свой собственный, вполне законченный аттракцион, который то, запыхавшись, взбирается на Эйфелеву башню, то закупает прошлогодний трикотаж или шляется по дансингам, а то и просто вянет над диксионерами и тоскует по родине.

*Madame Дюран, madame Дюпон и madame Дюкэн* дают знак — и весь интернационал пьет свой шоколад, берет свой аперитив, дает свой пурбуар и платит по счетам в недели *baisse* и в недели *hausse*.

А madame Дюран кормит его салатами, от которых он зеленеет медленно, но верно.

И, с достоинством неся свой республиканский бюст и названивая ключами, в которых неслышно дрожит марсельеза, обворожительно улыбается хозяйка пансиона:

— Вы должны знать, monsieur, что самый модный цвет, это цвет vert-jade.

...О, грядущий Гольдони, когда же придешь ты, чтобы прославить салаты Франции, и рог изобилия, и Цереру дней моих!..

1920

## БЕСПОЛЕЗНАЯ КРАСОТА

Если бы не боязнь прослыть бездельником, я бы мог целыми часами простаивать на модных площадях или без конца сидеть где-нибудь на уединенной скамейке Люксембургского сада — и слушать шум городских фонтанов.

Ибо нет красоты более бесполезной и, значит, более очаровательной.

Снуют автомобили, грохочут автобусы, мчится трамвай, десятки, сотни тысяч потных, раскрасневшихся, совершенно замученных людей с остановившимися, мутными глазами, выпученными, как у выброшенных на берег рыб, несутся неизвестно куда, спешат, неизвестно зачем, с пакетами, с газетами, с зонтами — от дождя, с веерами от жары и сучащенно бьющимися сердцами, из которых каждое может разорваться тут же, сейчас же, на виду у всей этой беспомощной, бессмысленной и обреченной толпы, которая живет только из страха смерти, и торопится, обгоняет друг друга, задыхается и спешит, ибо больше всего боится жизни.

И только городские фонтаны, прохладные, мерные, бьющие прямо из земли, расточают себя без конца и без цели — струею кипящей, звенящей и светлой.

Тяжелые крупы прядяющих коней, нагие груди легкой Нереиды, зелено-бронзовый Тритон и мраморная армия амуров, влажных и смешливых, — их сплел, сопряг, соединил в одно бассейн гранитный, в который падает и падает вода. Она взлетает вверх и силой каждой капли влечется вниз опять, чтоб самое себя растратить, разметать и расточить и вновь подняться вверх в слиянии новых взлетов. И нет вокруг машинных приводов, колес, турбин, насосов или кранов.

Вода шумит, бежит, стекает, моет гривы вздыбленных коней — из мрамора, из бронзы, из гранита.

И если слушать долго и недвижно, то в мерном шуме можно различить скользящий ямб, законченный хорей, послушный дактиль, женскую цезуру и смену ритмов, вовсе не открытых.

Один фонтан на площади Конкорда бросает к небу столько сочетаний и столько строф, и строф чередований, что все гекзаметры

Овидиевых книг, стихи Корнелия и романсы Гейне,— когда бы в них была вода, конечно,— собой бассейн наполнить не могли б...

Но, увы! я не какой-нибудь бездельник, чтобы в самый разгар суетливого дня наслаждаться шумом городских фонтанов.

С газетой под мышкой я торопливо прохожу мимо, втискиваюсь в разгоряченную толпу, сливаюсь с ней, проваливаюсь под землю, и вот уже несет меня электрический поезд, и какой-то упрямый и лысый Тритон наступает мне на ногу, и неумеренный бюст размалеванной Нерейды теснит меня все больше и больше, и я вижу только крупные капли человеческого пота, которые стекают по измученным лицам, с глазами, выпученными, как у рыб, выброшенных на песок.

1920

### «ШАРЛОТТА КОРДЭ»

Это было в Москве.

Где-то далеко,— за тысячи верст от веселившейся Вальтасаровым весельем столицы,— описывая кровавые зигзаги свои, неуклонно и изо дня в день судорожно сокращался русский фронт.

Переполненными приходили санитарные поезда, в лазаретах не хватало места для раненых.

И уже поднимался ропот в народе, обманутом и прозревавшем.

Но не менее, чем лазареты, были полны театры; в снегу синевших вечеров плясали электрические пятна кинематографов; на благотворительных базарах танцевали до упаду в пользу ослепших и безногих; гремела музыка и малиновым звоном звенели троечные колокольцы по утопанной Стрельницкой дороге.

И все это прошло, оставив только смутные тени в человеческой памяти.

Но один образ,— ярче других,— запечатлелся в душе неизгладимой печатью.

Кузнецкий мост.

Отделанное по последней моде кафе Сиу.

И за зеркальным окном, опершись на мраморный столик, уставленный серебром и гвоздиками,— белотелая крупитчатая дама в шелках, в соболях, перьях страусовых.

Меланхолический сапфир и огромный, жадный бриллиант, переливаясь, сверкают на безукоризненных пальцах.

Перед дамою — узкий хрустальный бокал, а в нем гренадин темно-алый.

И, грациозно вытянув покрашенные губки, тянет она через соломинку блаженный напиток.

Потянет немного, кружевным платочком губки оботрет и, прищулив красивые глаза, чрез стекла прохожих разглядывает.

А мимо окон несутся сани, темнеют медвежьи полости, громахает неуклюжий автомобиль, нагруженный ранеными.

## 2

Киев.

Осчастливленной страной правит его светлость, ясновельможный пан гетман.

На улицах продают портреты императора Вильгельма, императрицы Августы, кронпринцессы Луизы и короля баварского.

Военный оркестр в прусской униформе рассыпает и серебро и медь на думской площади.

Какой-то пан хорунжий и пан сотник, с желто-голубыми нашивками на новеньких казакинах, лихо заломив шапки набекрень, скачут бешеным галопом по самому тротуару.

Сентябрьское солнце ласково и благосклонно.

На Крещатике, в кафе Семадэни, за зеркальными окнами, опершись на мраморный столик, уставленный серебром и цветами, сидит белотелая красивая дама в шелках, в соболях, в страусовых перьях.

Перед ней — гренадин в хрустальном бокале, и пьет она его через соломинку медленно и осторожно, грациозно вытянув накрашенные губки.

Отопьет немножко, поднесет к устам кружевной платочек и, прищурив глаза, через стекла прохожих разглядывает. А мимо окон маршируют ганноверские стрелки, саксонский ландвер, баварский ландштурм, проезжает в открытой коляске обожаемый народом ясновельможный гетман, проходят какие-то бесконечные молодые люди, все — бритые и все — веселые.

## 3

Это было в Одессе.

Чернели галки на обнаженных верхушках Александровского парка.

Радостный и шальной прилетал ветер с весеннего моря, срывал совсем несчастную прошлогоднюю веточку на старой акации и улетал снова.

Огромный город, многоязычный и легкомысленный, старался не вспоминать о прошлом, не желал загадывать о будущем и хотел жить только настоящим, ненадежным, неверным, но сладостным, как теплый ветер с весеннего моря.

Газеты пестрели мрачными заголовками — на них не обращали внимания; в порту выгружали ослов, мулов и снаряженные ящики — на них только глазели с праздным любопытством; вылезали из каких-то неведомых щелей пересыпанные нафталином генералы и объявляли мобилизацию, на которую всем было — наплевать; иностранные миссии брали взятки через опереточных певиц — и об этом толь-



ко беззаботно сплетничали и рассказывали совершенно свежие анекдоты...

Ибо город хотел жить сегодня и ему было все равно, что будет завтра.

Уже появились на лотках первые фиалки, наполнявшие воздух усталым и нежным благоуханием.

И в кафе швейцарского гражданина Фанкони, за зеркальными окнами, опершись на мраморный столик, уставленный серебром и цветами, сидела все та же незнакомая, но уже примелькавшаяся глазам дама — в шелках, в соболях, в драгоценностях, — и алел гренадин перед нею в хрустальном бокале, и она тянула его через соломинку, медленно и осторожно, чтобы не смыть краску со своих грациозно вытянутых губок.

А мимо окон маршировали пелопоннесские гвардейцы, в причудливых туфлях с белыми помпонами, черные, сверкавшие белками, тюркосы, гарцевали на рыжих кобылах зуавы в красных рейтузах и с полумесяцем на голубых плащах, и, звонко хохоча, целыми ватагами проходили южные девушки в легких платьях в горошинах.

#### 4

Город проливов и контрразведок, неприбитых щитов и прибитых магометан, город Пророка и порока, зловоний и благовоний, греческих свадеб, армянских похорон, баклавы и мастики, город, куда сбегаются и откуда бегут, — благословенный город Константинополь.

Столпотворение броненосцев, миноносцев и траллеров.

На набережных — стон. В меняльных лавках — стон. В паспортных бюро — стон. В мраморных банях — стон. И в прохладных, суровых мечетях — заунывный, унылый и протяжный стон. И вообще, как у Некрасова сказано: «Выдь на Волгу, чей стон раздается над широкою русской рекой»?!

Единственное место, где никто не стонет, а наоборот, все неизвестно чему радуются, — Grand rue de Pera! По этой именно улице проезжают армянские похороны, греческие свадьбы и проходят запуганные турецкие манифестации.

И, наконец, здесь, на Большой улице Перы, сверкают зеркальные стекла кофейни Токатлиана, куда, как в гигантскую воронку, стекаются ручьи и потоки человеческой алчности и человеческой праздности.

И здесь, за огромным окном, склонив страусовые перья на мрамор, уставленный серебром и цветами, сидит она, собирательная дама с Севера, — в шелках, в жемчугах и в мехах своих.

И как всегда, и как везде, — перед нею бокал с гренадином, который она тянет через соломинку, грациозно вытянув свои свеженакрашенные губки.

А мимо окон проходят, словно во сне, приснившимся богине Клио, недолговечные властители судеб цареградских: начинающие

опохмеляться французы, безнадежно упившиеся англичане, тупые американские сверхчеловеки, многопернатые итальянцы и счастливые тезоименинники — греки.

5

И вот Париж.

Этап этапов, и город мира, и мозг человечества, и сердце вселенной, и еще, кажется, какая-то точка: не то прогресса, не то цивилизации!

Уже пережиты Версаль, и Сан-Ремо, и Гайт, и Булон, и Брюссель, и Спа пережито.

История не движется, а бешено галопирует.

Несется вскачь, берет барьеры, перепрыгивает рвы, перелетает через горы и ломает ноги на ровной дорожке.

Но и шаблон, и Мильеран, и армистис, и грев, и Поль Дешанель, и марон-гляссе,— разве не одинаково чужою музыкой звучат все слова в Париже для розового уха белотелой дамы, танцующей в Мак-Магоне, одевающейся у Ланвэна, причесывающейся у Робера и за мраморным столиком у Прекатлана пьющей через соломинку свой темно-алый гренадин?!

«Я имени ее не знаю».

И не в имени суть, да и имен у ней много. Разве недостаточно того, что она бежала с севера и, вот уже два года, все время бежит, ненадолго останавливаясь то там, то тут, чтобы поднести к накрашенным губкам добрый прохладительный напиток?! Разве не достойно удивления, что в тяжком пути своем она свято сберегла и шелка, и меха, и, как слезы, крупные бриллианты, и последнее средство утопающих, свою соломинку!..

И, право, я простил бы ей социальные несправедливости, и всю беспечность, и все равнодушие, и сытость крупитчатого тела, и пресыщенность пустой души, и то, что муж ее не Иван Калита, и еще многое другое простил бы, лишь бы нам увидеть ее снова с соломинкой в гренадине, но не у Токатлиана, и не у Прекатлана, не у Фанкони, и не у Семадэни, а на Кузнецком мосту, близ проезда Неглинного.

1920

## ТЕАТР ДЛЯ СЕБЯ

Выдумали это Данилка и Никита, совсем малолетние клопы, которые, по-своему, по-клопиному, но тоже, очевидно, тоскуют по родине. Гениальное изобретение их называется — игра в Москву.

Старое вольтеровское кресло изображает экипаж на дутиках, а высокий, кожей обитый стул — лошадь.

После пятиминутного мордобоя Никита соглашается сесть на козлы, а Данилка, нагло торжествуя, разваливается в пролетке.

И игра начинается.

— Куда прикажете? — сопя, поворачивается на стуле кучер.

— В Охотный!.. — басом кричит Данилка, совершенно выпучивая глаза и надуваясь, как индюк.

Никита почтительно кивает головой и так цокает языком, что страшно становится за будущее мальчишки.

— Эй, ласковая!.. — хрипит лихач.

— Па-берегись!.. — орет он не своим голосом на *femme de menage*, пришедшую за посудой.

И, несясь вскачь, подпрыгивает на одном месте высокий кожаный стул с продавленными инциалами *madame Жермен Брошар*.

В Охотном Данилка вылезает и делает покупки.

Покупает он не спеша, выпятив живот и пренебрежительно торгуясь с воображаемым приказчиком.

— Вот что, голубчик! Дай-ка ты мне, брат, лососинки, да только смотри у меня, чтоб свежая была!.. Да-с! Затем, чего бы еще? Ну, огурчиков зелененьких, икры малосольной, перепелов штук пять и еще арбуз, пожалуй... Вот этот самый!.. А теперь, получай, и вот тебе гривенник на чайшко!..

И дырявое никелевое су со звоном летит на пол.

Покупки кладутся в ноги, барин грузно усаживается, пыхтит, вытирает платочком лоб и приказывает ехать на Петровку, к Эйнему.

От Эйнема едут на Большую Лубянку, доезжают по Сретенке до Сухаревой, поворачивают обратно, лихо несутся по Кузнецкому мосту, останавливаются на минутку у Мюр и Мерилиза и снова мчатся мимо Никольских ворот, мимо Манежа, через Большой Каменный мост, прямо в Замоскворечье и гонят, гонят что есть духу по Большой Полянке вплоть до самых Серпуховских ворот.

Оказывается, что здесь находится собственный Данилкин дом, двухэтажный особняк с садом.

— Разве вы не знаете, — объясняет клоп, — что нам каждый месяц дают две тысячи франков?!

— Как не знать, знаю! Знаю, клопиная твоя личность, очень даже хорошо знаю.

— А вот, знаешь ли ты, — обращаюсь я к кучеру, — как сказать наш адрес в Париже, если б тебе здесь пришлось извозчика нанимать?..

И Никита, — слобный, как кулич, и выдумщик, каких мало, — отчеканивает, глазом не моргнув:

— Большая Рэйнуаровская, Благовещенский переулоч, против Эйфелевой башни, что на курьих ножках!

И в самом деле, почему бы и не называться Благовещенским переулочом тихой нашей *gue de l'Annonciation*, где коротаем мы тусклые дни свои в меблированных комнатах госпожи Жермены Брошар...

## НОВЕЙШИЙ САМОУЧИТЕЛЬ

Убедившись в полном бессилии Ллойд Джорджа и спустив за бесценок свой последний портсигар с монограммами, в один прекрасный день мы говорим себе:

— Надо по крайней мере французскому языку выучиться!

Сказано — сделано.

Отправляемся в Галерею Лафайэта, хотя в Париже нашлись бы магазины и более книжные, и покупаем:

«Новейший самоучитель французского языка».

Цена ему — три франка пятьдесят, но грош ему цена!..

Год издания 1920-й «с позднейшими дополнениями: специально для господ русских беженцев и их семейств», как буквально сказано в предисловии к последнему изданию.

Имен автора, издателя и типографии не названо намеренно: стоит ли несмыаемым позором покрывать их потомство, если они люди семейные, и стоит ли мешать их, может быть, счастливому браку, если все они еще холосты!..

Ограничусь лишь несколькими цитатами.

Sapienti sat.

### 1

— Хотели бы вы жить и умереть в Париже?

— О да!..

### 2

— Знаете ли вы, что есть (или, что — суть) ломбард?

— О, да!..

### 3

— Признаете ли вы иностранные долги?

— О, да!..

### 4

— Видали ли вы уже господина президента республики?

— Нет, я еще не успел повидать его, но я непременно повидаяю его, если вам угодно (силь ву плэз)!

— Какая Нотр-Дам нравится вам больше: ваша, Исаакиевская, или наша, Парижская?

— Право же, они обе недурны собой.

— Хотите ли вы совершить в автобусе увеселительную прогулку на поля сражения?

— О, да! И я, и вся семья наша, мы хотим совершить это на полях!.. (Что это, так и не выяснено.)

— Знаете ли вы, кто считается самым великим писателем Франции?

— Я не сомневаюсь, что господин Бордо!

— Согласны ли вы на Версальский мир?

— Да, мы согласны, если вам угодно (силь ву плэ).

— Танцуют ли фокстрот в Сибири?

— Да, в густо населенных местах его танцуют после первого завтрака!

---

Теперь спрошу от себя:

— Видали ли вы и семья ваша подобную тупость?

— О, нет, силь ву плэ!..

Томные губернские дуры, метавшиеся в жарких перинах и собственноручно дравшие мужиков на конюшне, крепко были убеждены в том, что мир состоит из двух неравных частей: одной — огромной России, которую, три года скачи, не объедешь, и пустяковой, совсем-таки некудышной земельки, где прочие народишки обретаются; звать их всех — французами, которые, по большей части, нехристи, на тоненьких поджарых ножках, настоящих понятиев не имеют и зачем на свете существуют, одному только Господу Богу известно.

Женщины ихния — без животов, а мужчины — слякоть одна: лягушками питаются и бородку буланже носят.

Когда, однако, мужиков в России драть перестали, а пуховики, по причине оскудения дворянского, в объемах поубавились, и стали проникать с запада и накладной шиньон, и чувствительный роман, — у предводительши вдруг голова закружилась и стали ей сладкие сны сниться: опушка леса, лакированная карета и пламенный любовник в сером рединготе и в замшевых штиблетах.

А потом пришел Ги де Мопассан, голубым газом вспыхнули короткие осенние сумерки, зацокали лошадиные копыта по гравию Булонских аллей, и мелькнула легкая вуаль в четырехугольной раме узкого фиакра.

И в течение долгих лет, когда бредили Парижем и с какой-то суеверной нежностью перелистывали зелененькую паспортную книжку, взглядывали в последний раз на пограничного жандарма, сердце начинало учащенно биться от щемящих предвкушений и смутных чаяний, которым дано воплотиться только раз и только там, где люди условились едва касаться земли, дышать запахом фиалок, слушать звенящую россыпь городских фонтанов и спешить в своих узких фиакрах по таинственным адресам, которых никто никогда не узнает.

И вдруг фиакр начал умирать.

Еще, казалось, только вчера, взволнованно прошептав несколько слов равнодушному вознице, маленькой рукой своей открывала дверцу очаровательная супруга господина Шарля Бовари.

И еще совсем недавно, беззаботно развалиясь и перекинув ногу на ногу, катил по направлению к церкви счастливый жених, наш милый друг Жорж Дюруа.

Цокали копыта по ровным мостовым, быстро мелькали красные и желтые спицы колес и пестрый и клетчатый кузов, звонко щелкали длинные бичи, — и играло солнце на медных бляхах кучеров.

Но уже все чаще и чаще шарахалась в сторону испуганная лошадь, заслышав непривычный шум мотора и пронзительный, приказывающий окрик сирен.

И уже ядовитые испарения бензола отравляли блаженный воздух, напоенный ароматом роз и прохладой осенних озер.

Постигнув тайну внутренних сгораний, властно требовал себе места новый повелитель жизни, который холод стали и математический расчет, торжествуя, нес на смену непрочной сети горячих нервов и бешенствам, обузданным рукой.

И когда, однажды, в отмеченный безумьем день, Смерть и Позор приближались к Парижу, — человек, который умел приказывать, потребовал, чтобы пятьдесят тысяч моторов были предоставлены в его распоряжение, и в несколько часов вся армия была переброшена на берега Марны, и честь Парижа была спасена!..

Стыдливо мелькнул клетчатый кузов посрамленного фиакра, и, примирясь с судьбой, шелкнул бичом сидевший на высоких козлах возница.

«Пыхтящие дьяволы!.. — думал он, — вы славно послужили прозорливому Марсу, но вы никогда не знали истинных побед, которые вместе со мной так часто праздновал легкокрылый Купидон!..»

И кто знает, на чьих тризнах нежнее и суевернее билось человеческое сердце?!

1920

### ЧУЖИЕ СОКРОВИЩА

С этим чувством всего труднее бороться, ибо это — чувство зависти.

Приходит осень, источает тленные дыхания свои, извлекает из темного и влажного чрева земли все изобилие мучнистых волокон, отвердевших плодов, преодолевших разрыхленность злаков, собирает их в зелени вольных полей и счастливых садов, свозит по ровным и крепким дорогам в шумящие бодрыми шумами, в веселые осенние города, на ярмарки, торги, на рынки, где, замедляя движение, исчерпав себя в долгих спиральных кружениях, завершает свой круг народная карусель, — и начинается сложный, пронизанный древним инстинктом, хранящий упорство и опыт столетий, избыточный, пестрый обмен.

Так было когда-то и там.

Там, у нас.

И все-таки зависть рождает не рынок, а книжная лавка.

Здесь тоже Сентябрь собрал свою жатву — извлек из извилин горячего мозга, из творческой сети натянутых нервов, из всех лабиринтов блуждающей мысли, в которой был сев и рожденье, и холя, исканья, паденье, и страстная мука, и снова зачатье, и вновь разрушенье, и рост, и удача, и холод под сердцем, — обильную жатву, которой не хватит насытить мгновенье, но жатву, которой один только колос, зерно или мельчайшая часть сердцевины зерна, быть может, насытит века и разбудит такие сокрытые в недрах процессы, что мир содрогнется от новых душе ощущений!..

Кто знает...

О, в книжной витрине есть радость для жадного глаза.

Осенние дни источают тлетворную нежность.

Но стоит холодному ветру взметнуть облетевшие листья, сорвать порывевшую шляпу с хромого шарманщика-сербца, ударить в железо и в щебень и в трубах завывать и заплакать,— как каждому, каждому сердцу захочется добрых каминов и той тишины несравненной, которая — только от книг.

И тогда начинается новый обмен, неверный и зыбкий, и самый опасный из всех поглощений, но сладостный — горькой усладой плодов: осенних, дозревших и сочных.

Так было когда-то и там.

Там, у нас.

И верно, что будет.

1920

### СВОЯ ЖИЗНЬ

Над истинным идеализмом никогда не следует смеяться.

Он всегда немного наивен, он всегда немного смешон, но в нем — порой — столько трогательной близорукости, что его можно простить.

В Латинском квартале на rue de Vaugirard, в скучном шестиэтажном доме, в одной из крохотных комнаток шестого этажа, вот уже в течение десяти лет доживает и, может быть, долго еще будет доживать грустную свою жизнь одна из последних могикианш Латинского квартала, одна из вечных носительниц идеализма и пенсне.

Три слагаемых образуют бедный итог ее дней.

Возраст, о котором мужественно и резко она сообщает всем и каждому, хотя никто ее об нем не спрашивает.

Коротко остриженные темные волосы, по поводу которых, слегка краснея и как бы извиняясь, она повторяет одно и то же: был тиф... и вот... пришлось резать.

Хотя на самом деле никакого тифа никогда не было.

И, наконец, третье слагаемое: душа.

Ущемленная, скудно озаренная светом Господним, не жадная и не страстная, но такая мечтательная и такая совсем простая, выдуманными образами, заемными и неверными радостями живущая душа.

И если даже ничего не знать — о том, где протекло ее детство, в глухой ли русской провинции или в чужих дортуарах столичного института; и какие силы небесные привели в химическую лабораторию далекой Сорбонны; и кого любила она любовью смущенной и первой; и кто отказал ей в последней любви; и кто внушал ей, что из жалких грошей надо отдавать половину на библиотеки, кассы взаимопомощи и революционные фонды, а самой питаться шокола-



дом, чтобы нажать эмигрантский катар и уничтожить последние лепестки роз на веселых когда-то девических щечках; если всего этого не знать, но только проследить внимательным взглядом ту поистине замечательную эволюцию, свидетельницей которой — в течение целых десяти лет — была одна из четырех убогих стен ее крохотной комнатки на улице Vaugirard, — все станет сразу понятным, несложным и грустным.

Десять лет назад на стене, над кроватью, мирно висели рядышком, размещенные веером, пристегнутые кнопками и засиженные мухами, следующие cartes-postales, или, попросту, открытки:

Карл Маркс, Балмашев, Каляев, «Какой простор» Ильи Репина и Каульбаховская Мадонна со слезой.

Затем коллекция эта была отчасти заменена, отчасти дополнена: Фридрихом Энгельсом, Карлом Каутским, «Христом» Антокольского и Шаляпиным в роли Ивана Грозного.

Следующими этапами явились «Лесная сказка», две репродукции Баллестриери: одна — «Морозит», другая — «Тает», и Лев Толстой босиком.

Немного погодя стена была освежена львиной гривой Генриха Ибсена, трагическими глазами Коммисаржевской, Максимом Горьким в косоворотке и Леонидом Андреевым в поддевке.

Потом сразу появились «Грех» Фердинанда Штука, Леонардова «Джоконда» и Маруся Спиридонова.

В очередную смену попали «Чайка», Клара Цеткин и Качалов в роли Гамлета.

Но в одно прекрасное утро все cartes-postales исчезли и — на стене очутились: Жан Жорес и Игорь Северянин.

А потом... о, потом! Жизнь закружилась, как аравийский самум, и все полетело верхним концом вниз.

И когда новое поколение мух отправилось в поиски высокого и прекрасного, оно нашло только два портрета на улице Vaugirard.

То были: храбрый казак Кузьма Крючков и Альберт I, король Бельгийский.

Через год к ним прибавился «Реймский собор», а через год — три огромных портрета Александра Федоровича Керенского, в профиль, en face и в три четверти, глядели друг на друга и все вместе глядели на нее, все еще девушку, с темными, коротко остриженными волосами... после тифа, которого никогда не было. Но еще и еще пробежали годы, и новые, и еще неслыханные, пронесли бури — и уже ничего не висит над бедной кроватью в четырехугольной комнате растерявшегося идеализма.

Так-таки ничего, если не считать, впрочем, совершенно засохших мимоз, сплетенных в веночек.

Сидели они, по обыкновению, в кафе.

Разговор был задушевный и простой.

Оптимист с неподражаемым фатовством жевал сигарный окурочок, потягивал подозрительную малагу и говорил:

— А по-моему, никаких таких оснований для пессимизма нет. О Крыме через неделю забудут. Национальный центр лопнет, как мыльный пузырь. Русских вышлют в Алжир. Лейг падет. Премьером будет Кашэн, министром иностранных дел — Фроссар. Версальский договор уничтожат, Севрский — тоже. Красная армия сметет с лица Земли и Польшу, и Латвию, и Эстонию. В Париже станет темно, как у негра в желудке, потому что ни одной унции шарбону Германия больше не даст. Иоффе приедет прямо на rue de Grenelle. Венская федерация поднесет ему титул маршала, и французская печать будет называть его маршалом Жоффе. Это ясно. Ирландия отделится наконец от Англии и присоединится к России. Лорд-мэром города Корка будет не кто иной, как Каменев. Ллойд Джордж поселится в Праге и будет издавать «Волю Британии». Горький отдаст визит Уэллсу, и во всем мире наступит период необычайного расцвета, тот вожделевый золотой век человечества, о котором мечтали Демьян Бедный и другие мыслители нашей эпохи.

Что же касается Востока, то там вспыхнет не лишенная местного колорита, так называемая священная война, которая кончится вничью: то есть, попросту говоря, ни одной души на Востоке не останется и все пойдет по-хорошему.

— Да, — закончил оптимист, допив малагу и швырнув в бокал сигарный окурочок, — как хотите, а я верю в светлое и счастливое будущее!.. А вы?!

Пессимист сладострастно откашлялся, с невыразимым презрением посмотрел на розовую лысину собеседника и сказал:

— Буду краток и начну с того, что месяца через два, не позже, вас повесят на Красной площади в Москве, куда вместо Алжира со всеми вашими соотечественниками вы будете высланы. Никакого впечатления ваша смерть в Европе не произведет. В России — тоже.

Оптимиста передернуло, но он быстро примирился с собственной кончиной и процедил сквозь зубы:

— Продолжайте!..

— Что ж, можно и продолжать, хотя, после всего вышеизложенного, продолжение мое особенно вас интересовать уже не может!..

— Нет, все-таки... — оживился оптимист, — мне бы хотелось узнать, что будет... ну, например, с вами?!

— О, ничего особенного... почти то же самое, что с вами.

— И тоже в Москве?! — с радостным волнением спросил любитель малаги.

— О, нет! — снисходя к человеческой слабости, ответил пессимист, — это будет здесь... в Париже.

— Но каким образом?! Когда?!

— В три четверти седьмого, сегодня! — последовал спокойный и твердый ответ.

Дальнейший разговор как-то не вязался. Оптимист не выносил, когда над ним издевались.

Холодно попрощавшись, он быстро вышел.

Пессимист потребовал счет, заплатил за малагу оптимиста и за сигару оптимиста, дал сорок франков на чай будущему комиссару юстиции и отправился домой.

Нужно ли пояснять, что часы, висевшие в большом розовом салоне, внизу, пробили семь — ровно пятнадцать минут после того, как на прочных резиновых подтяжках он уносился в лучший мир, где праведники пьют из чаши блаженства и где Вечность длится не более мгновения.

Ибо пессимисты — честные люди, и все, что обещают они, исполняется.

1920

## СТИХОТВОРЕНИЕ В ПРОЗЕ

Чуден Днепр при тихой погоде.

Гоголь

### 1

Чудно Учредительное собрание, когда вольно и грозно вздымает оно волны народного гнева, вскипая и пенясь, как темная бездна, разъявшая лоно, и чрево, и прочее, чтоб бросить свой вызов проклятым столетиям!..

Конечно, девятым, решающим валом оно ненадежные рушит плотины, и вот, низвергаясь, шумят водопады, несутся потоки, лавины мнутя, и хаос клубится, и водные смерчи бесстрастного неба коснуться дерзают!..

Тогда появляется морда матроса, скуластая морда, изрытая оспой, — и все понимают, что это не просто нетрезвая личность сюда затесалась, а это и есть потревоженный хаос, который дремал под шатрами Мамаю, храпел и свистел под парчой византийской, а ныне, проснувшись, плюет и гогочет с балкона божественной пани Кшесинской!..

Чудно Учредительное собрание и при тихой погоде, когда плавно и мерно катит оно лазурные волны, подобные частым и добрым морщинам на лице прабабушки Брешко-Брешковской!..

Звенит, словно вальс табакерки старинной, и грустно, и нежно звенит колокольчик, и чем-то прелестным, забытым, уездным от милого земского доктора веет!..

И вправду столица ли Франции это?! И мог ли на Волге Париж очутиться?! Но, Боже, как пышно разросся Саратов!.. Какие дворцы, монументы и скверы!..

Куда просочилась проклятая горечь, трехлетний настой человеческой крови?!

...О, доктор, еще и еще говорите!.. И пусть в колокольчик звонит председатель!..

Никто не коснется презрительной дланью его оскорбленных гориллою чресел!..

Как все это чудно при тихой погоде!..

И как я взволнован, и бодр, и весел!..

1921

## VICTOR

Воображаю, как он покатывается со смеху, этот гениальный осел, еще ждущий своего Апулея.

И в самом деле, какая адская машина могла взорваться с такой точностью и с таким грохотом, как сей блестящий цилиндрический предмет, именуемый Виктором Черновым?!

*Attalea grisea* российской революции, настоящая *Victoria Regia*, которая расцветает редко, но ярко; самая романтическая, самая голубая роза, приколотая к ситцевому лифу печальнейшей Конституанты!..

Мы думали да горевали, что «ветер всю красу наряда с деревьев осенью сорвет»; что зловещая буря рассеет бледные лепестки; что сухие листья шуршат могильным шорохом о нашем прошлом и что трагическая судьба уже сыграла свой последний *berceuse* над нашей молодостью!..

Но страшен сон, да милостив Бог.

Есть еще порох в пороховницах, не извели вороги силу казацкую и не сказал еще Эразм Роттердамский своего последнего слова.

«Пусть роза сорвана, она еще цветет.  
Пусть арфа сломана, аккорд еще рыдает.  
Пусть нет Учредительного собрания,  
Чернов еще пылает...»

Подобно гейневской сосне, опущенной в кратер Этны, полосует он бледное парижское небо огненными знаками своих пророчеств. «Когда настанет день, я созову Учредительное собрание!..»

Хороша перспектива для обкраденного поколения, неплохой эпилог для российской Одиссеи, великолепна Синяя птица для заблудившихся детей!..

«Как председатель Учредительного собрания, НЕ подчинившегося роспуску его Лениным...» — грохочет цилиндрический предмет; «как председатель Учредительного собрания, НЕ подчинившийся роспуску его Колчаком!..» — лопается автомобильная шина, — «Я буду считать своим долгом...»

И сочинит же Господь Бог такой вселенский резервуар, и пошлет же такое мартовское завоевание — родителям на утешение, отечеству на пользу!

А за что?! Неужели не испита чаша до дна, — чаша, которая была горше всякого яда и хмельнее всяческого хмеля?!

Или в Саду пыток, приуроченном судьбою, это последняя пытка, пытка смехом, которым заливается гениальный осел, осовевший под Мономаховыми бармами?!

1921

## КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

### 1

Актриса, бежавшая из Москвы, рассказывала:

— Ненавистнее всех Мария Федоровна и Маяковский.

И Соколовский, и Малиновская, и Демьян Бедный, и сам Горький — все они только уродливые китайские тени на дрожащем советском экране. А действуют только те двое. Она чванлива, мстительна, настойчива и злопамятна, занимается филантропией, покровительствует искусствам и принимает знатных иностранцев. Он стал совершенным маньяком, жрет по неисчислимым добавочным пайкам и требует себе прижизненного монумента на Красной площади...

В рассказе московской актрисы была зловещая правда. Конечно, их можно возненавидеть острее, чем палача из чрезвычайки, — эту скупую и пошлую комедиантку, красноармейскую Лаису, совдепскую маркизу Помпадур, требующую далькрозовского ритма для умирающих от голода ребят, — и его, дюжего мясникообразного профессионала, хитрящего серпуховского Гулливера, прокладывающего пути от прохвоста к сверхчеловеку и от сверхчеловека к прохвосту!..

Фатальны и страшны российские совпадения. У каждого режима есть своя Мария Федоровна, «вдовствующая императрица», ангел

доброты, обожаемый народом, раздатчица чинов, грамот и наград, председательница комитетов и посетительница приютов и больниц.

Те же августейшие жесты, тот же Красный Крест и даже те же драгоценности короны. Одну собственная яхта возила в Данию, другую мчит экстренный поезд в Латвию.

И лишь в одном они разнятся: как прирожденная аристократка, вдова русского императора замкнута и молчалива, в то время как супруга русского писателя криклива и навязчива.

Но ведь это уже малая деталь, и все остальное — как прежде.

На кра-ул!.. — и пред замершим красноармейским взводом проплывает к салон-вагону Мария II Феодоровна.

## 2

Зато Владимир Маяковский — явление стихийное, самобытное и никаким аналогиям с прошлым не поддающееся. Явление это восьмилетней давности; место рождения — вместительный зал на Лубянской площади; внешние признаки — желтая кофта, размалеванные щеки, братья Бурлюки, погубители своей жизни, изменившие «Синему журналу» во имя «Центрофуги», да еще, пожалуй, пресловутая полоса исканий, укладывавшаяся в старую хохлацкую поговорку: нехай гирше, абы нище!..

Зал бывал битком набит, лояльный дурак из отставных профессоров произносил резюме по поводу суда над Саниным или по делу обвиняемой Екатерины Ивановны (Андреевской героини), аудитория бешено аплодировала и, «тогда-то свыше вдохновенный», появлялся на кафедре рыжий гориллообразный детина, простирая к толпе красные, с обгрызанными ногтями руки и чревоуещал:

«Горе вам, погрязшим в тине и в рутине, влюбленные в пушкинские сиропы и в ананасовую культуру ваших бесполох предков!.. Я, Маяковский, пришел опрокинуть старые монументы и я, Маяковский...»

Зал покатывался со смеху, но трещал от рукоплесканий.

Прошло два года. Война. Октябрьская слякоть. Забвение, примирение и единение. Манифестации, гимны, банкеты и лазареты. На Скобелевской площади — толпа. Верхом на бронзовом коне, заслонив бронзового генерала, сидит Маяковский и орет:

«Слушайте, скифы! Слушай, Русь! И клянись пред копытами скобелевского коня двинуть могучую рать на проклятых оберкельнеров и сокрушить последних Габсбургов и вытереть кровь на своих штыхах о шелковое белье венских кокоток!..»

Хоть не до смеху было, а все же покатывалась толпа и до хрипоты кричали «ура!» в мгlistых октябрьских сумерках.

И вот прошла война, и уже прошла и ушла Россия, и скоро-скоро кончатся страшные сны, а оголтелый любимец Совнаркома ходит, подбоченясь, по темному кладбищу, жует горьковский бутерброд и декламирует по-жеребьячи:

«Небывалей  
Не было у истории  
В аннале —  
Факта!  
И если скулит обывательская моль нам:  
«Не увлекайтесь Россией, восторженные дети»,—  
Я указываю на эту историю со Смольным,  
И этому  
Я,  
Маяковский,  
Свидетель!..»

1921

## ПОСЛЕДНИЙ ОТВЕТ УЭЛЛСУ

Дорогой Уэллс.

Хотя за всю вашу жизнь вы не удосужились написать мне ни одной строчки, я вам все-таки отвечаю.

Только не возгордитесь, пожалуйста! Это просто потребность излить душу.

Не можете же вы в конце концов заставить меня изливать душу перед стенкой.

Некоторые из моих соотечественников пишут даже Ллойд Джорджу, Вильсону и Масарику — до такой степени велика у нас потребность переписываться.

Вообще же нужно вам сказать, что человек, ни разу вам не ответивший, — подозрительный человек.

«Поэтом можешь ты не быть,  
Но отвечать Уэллсу должен!»...

Итак, я вам отвечаю.

Дорогой Уэллс! Говорю вам прямо: бросьте вы вашу электрификацию!

Как говорил наш поэт: «умом Россию не объять, а электричеством — подавно!»...

Что же касается наших мужиков, то все они не электротехники, а монархисты, чего и вам желаю.

Почему бы не обратить вам свое просвещенное внимание на такие города, где освещение, можно сказать, уже в полном ходу?!

Возьмем, например, город Галле, или город Тур, или город Ливорно, не говоря уже о таких замечательных городах, как город Корка или город Дублин!

Подумайте, дорогой Уэллс, во что бы превратилась жизнь на земле, если бы в один прекрасный день во всех этих вышеупомянутых городах, а затем и в остальной Европе, Америке, в целом мире по-

беда досталась бы Анжелике Балабановой, Кларе Цеткиной и Розе Блох?!

Понимаете ли вы, какую проверку документов учинили бы они всему человечеству и какую электрификацию закатили бы они на весь земной шар?!

Ах, дорогой, совершенно ненаглядный Уэллс! Куда вы лезете?! И чего вам недостает?

Комячейки для Британского музея? Или Соцобеза для австралийских колоний?! Или Зиновьева в качестве вице-короля Индии?!

Ах, Уэллс, Уэллс! Saboubennaia wi golovouchka,— и больше я вам отвечать не буду.

1921

## ЗАПИСИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ИНОСТРАНЦА

### 1

Как и все, живу я в меблированной квартире, читаю «Матэн» и угрожаю неизвестно кому, что в один прекрасный день я не на шутку рассержусь, плюну на всю эту музыку и уеду в Чили.

Есть что-то опьяняющее и сладостно-раздражительное в этом смешанном чувстве безответственности и несвязанности.

Гольый человек на голой земле.

Захочу—повешусь на хозяйской люстре, захочу—открою музыкальную школу.

Эту амплитуду колебаний, очевидно, чувствует и наша консьержка, требующая квартирной платы за два месяца вперед.

И я понимаю ее, и, возвращаясь ночью домой, я звоню робко и нерешительно, словно извиняясь за государственное казначейство, на облигации которого ушли ее многолетние пурбуары.

Ах, как был прав Людовик XIV! Действительно, государство— это я!..

А мы еще смеем мечтать об интервенции, и писать открытые письма великим мира сего, и негодовать, и возмущаться, и призывать варягов, которых тошнит при одном взгляде на наши депутации, делегации и деловые комитеты, барахтающиеся, как слепые котята, на дне колодца.

Откройте мне двери, мадам ла консьерж, и, ради Бога, простите за причиненное беспокойство!

— Мерси, мадам! — И я осторожно захлопываю дверь.



Было время, когда мы имели:

Заграничный паспорт, паюсную икру и императорский балет.

И вот нет у нас ни паспорта, ни икры, ни балета, ни империи.

Но мы совершенно не смущаемся, основываем Союз Непримиримых и доказываем, что мы народ, давший миру «Летучую мышь».

Как дурак с пустой торбой, носимся мы со своей набившей оскомину самобытностью, хорохоримся, важничаем, надуваемся по лягушачьи и с каждым днем все уже и уже замыкаем тот Дантов круг, который условились называть эмиграцией.

Больше года живем мы в Париже, и съешь я свою голову, как говорит один Диккенсовский персонаж, если, кроме метро и универсальных магазинов, мы хоть что-нибудь поняли или старались, по крайней мере, понять в этом четырехтысячном сплетении улиц и площадей.

С присущим нам фанфаронством и репортерской прозорливостью мы уже на следующий по приезде день решили, что французы — это бульонная нация, снедаемая мелкобуржуазной психологией, и что вообще у них не все благополучно. Потом, потеряв последний полуостров, мы слегка опомнились и понесли вздорную галиматью о том, что республика — это всегда пафос и что пафос — это всегда республика, прославивая собственное блудословие и Рейхштадским герцогом, и сердцем Гамбетты, и пошлейшим соусом переваренных цитат.

Но так или иначе, браня или восхваляя, отрицая или превознося, с неслыханным чванством взъерошивали мы свои трижды выщипанные перья пророков и арбитров, как будто кто-то и что-то давали нам право судить о том, чего не знаем, отвергать то, чего не видели, одобрять то, в чем не смыслили.

По плодоносной стране величайшей культуры мы желаем проехаться верхом на палочке, все еще рассчитывая на наше неотъемлемое чувство всемирности да на вечный кандачок проникновенной интуиции.

Что же удивительного в том, что из колосса на глиняных ногах мы превратились в кликушу на муравьиных ножках и психологически подготовили переход из разряда знатных иностранцев в категорию иностранцев нежелательных?!

## ЗАПИСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНОГО ИНОСТРАНЦА

### 1

Занимаемся мы тем, что сплетничаем, судим русскую интеллигенцию и ищем портного, который шьет в рассрочку.

Соотечественники наши, сидящие в Загребе, в Салониках, в Праге и в Вене, не говоря уже о тех, кто коротает свой век на Лемносе или на Халке, мучительно завидуют нам, пишут трагические письма и умоляют — выслать визу немедленно и лучше всего по телеграфу.

— А пока не теряйте, голубчик, времени, пишут они, и приищите какое-нибудь подходящее местечко; приеду, лично поблагодарю вас...

Дело, разумеется, не в благодарности, так что на письма мы попросту не отвечаем.

### 2

Сплетне мы предаемся с каким-то чудовищным сладострастием, формы порою столь же болезненны, сколь и разнообразны.

Мемуары бывших генералов, воспоминания бывших депутатов, дневники самовлюбленных очевидцев, записки будущих самоубийц, полемики профессиональных маньяков — все эти общественные параллели, взаимные щелчки, язвительные намеки, разоблачения, опровержения, походные тетради, сомнительные документы, секретные доклады и откровенные придирки — все это не более, как скучная форма сегодняшнего дня!

— Губи ближнего своего, как самого себя!

Пошлость, рассуждающая об эмигрантской злости; злость, разглагольствующая об эмигрантской пошлости; собачий язык, называющий «ряд определенных политических комбинаций»; лихой наездничий тон, которым проповедуется повелительная необходимость единого фронта и организация сил (каких?!); и настоящий, остервенелый сумбур в понятиях, в оценках, в самом подходе к будничной и ежедневной жизни.

### 3

Продавцы акций, суетливые прожектеры, лишённые даже выдумки, устроители банкетов и благотворительных вечеров, зубастые молодые люди в рассроченных смокингах, секретари агонирующих союзов, гермафродиты полинявших партий, тучи барышень, пишущих на машинках, хозяйки блестящих салонов, где человек с титулом может получить свой мандарин; и, наконец, всякая проходящая

масть — отцы семейств, бывшие юрисконсульты, будущие фермеры, обиженные крохоборы, недовольные судьбой, биржей и Европой.

Над морем разлитой желчи, над бедной суетой подшибленных существований, над скукой взбаламученной немощи сияет немеркнущая, трагическая, незакатная заря мягкотелой бездарности, которой на то только и хватает, чтоб уныло жевать французскую булку и мечтательно вздыхать о филипповском калаче, стоившем, страшно подумать, три копейки.

Оптимисты и фокстерьеры, блаженные Августины домашнего изготовления, прекраснородушные сочинители третьей России, маргаритовые миротворцы и неожиданные поклонники заезжих гостей лукьяновского типа — бледной чередой восходят они на прокатную трибуну лекционного зала, чтоб горькое самобичевание, эту единственную честность с собой, осудить с наигранною укоризной и мило всхлипнуть трижды, подряд: Россия будет! Россия будет! Россия будет!

А рядом с этой кривоглазой, расхлябанной, бессмысленною жизнью тут же рядом изо дня в день и из ночи в ночь свершаются божественные комедии Елисейских полей, проложенных упорными руками благословенных поколений.

Голубеют и дымятся легкие сумерки латинского Запада, который еще многому научит дураков, горланящих вокруг потных самоваров.

1921

## ЧТО ЖЕ НАМ ВСЕ-ТАКИ ДЕЛАТЬ?!

«Но не фер? Фер-то ке?!»

*Н. Тэффи*

### ПУБЛИЧНАЯ ЛЕКЦИЯ

#### I

Милостивые Государыни и

Милостивые Государи!

Трех ответов ждет человечество с незапамятных времен.

Три сфинкса отбрасывают гнев в пустыне человеческой мысли.

Три вопроса висят в воздухе, которыми дышали предки и будут дышать потомки, если, вообще говоря, они будут дышать.

Что есть истина?

Быть или не быть?

И... Ке фер? Понтий Пилат, Вильям Шекспир и Надежда Александровна Тэффи — вот три имени, которыми объемлется трагедия человеческой культуры.

Что есть истина?! — Этот вопрос прозвучал во вселенной, наполнив ее тревогой и ужасом.

У человечества мурашки забегали по спине.

Ответа не было.

Прошло шестнадцать столетий.

На неверных подмостках путешествующего балагана, скрестив руки на бархатной груди, зловещим шепотом вопрошал принц Датский:

Быть или не быть?

У человечества мурашки забегали по спине.

Ответа не было.

И прошло еще 300 лет.

И пришли Мы.

Чтобы со всей прямою и ясностью поставить третий и — не будем скрывать — самый страшный и самый роковой вопрос:

Ке фер?

Имея опыт 19-ти столетий, мы не будем ждать, пока и у присутствующих забегают мурашки по спине.

Мы ответим, чего бы это нам ни стоило.

Мы не сфинксы какие-нибудь, чтобы отбрасывать тень и этим отделяться!

Милостивые Государыни и

Милостивые Государи!

Чтобы ответить на вопрос: что делать? — не следует ли вспомнить о том, что уже сделано?

Как понять будущее, не заглянув в прошлое, и как бросить вызов нашему завтра, не отдав дань нашему вчера?!

Вы помните?!

Ночь... Первая ночь на Босфоре. В небесах, как полагается, торжественно и чудно.

Издевается, гримасничает, кажет рога молодой месяц. В темной, маслянистой воде дрожат первые минареты.

И на всю палубу кричит женщина-врач: «Ах, как это красиво!»

Надо бы ее вышвырнуть за борт, но ни у кого нет времени.

Как стадо толпимся мы перед капитанским мостиком и ждем. Поставят или не поставят?!

Поставили!

«Bon roug se gendre».

Сладостно волнует неизвестное сочетание слов. И есть что-то мистическое в этих звуках:

«Bon roug se gendre».

Только много месяцев спустя поняли мы со всей очевидностью:

Что такое gendre и что такое bon!..

Что такое bon и что такое gendre!..

Но настает блаженный миг. Нас спускают на берег.

И женщина-врач — у нее болезненная страсть к цитатам — уже вопит не своим голосом:

«Прощай, свободная стихия,

В последний раз передо мной...»

Но нам не до стихии. Неизлечимые в своем тщеславии, мы вспоминаем и щит на вратах Цареграда, и вожделенные проливы...

И начинается первая глава книги живота нашего, одного из самых грустных животов в мире:

Константинополь!

## II

Что есть Константинополь?

Город неприбитых щитов и прибитых магометан, город Пророка и порока, зловоний и благовоний, баклавы и мастики, город всех и ничей, сочиненный Клодом Фаррером для читателей «Illustration» и выдуманный Пьером Лоти для подписчиков «Matin», сумасшедшая ярмарка Версальской суеты, которую скопом производят все.

В Константинополе мы сделали все, что можно. Купили какой-то жевательной смолы на Стамбульском базаре; кипарисовые четки, которых нам страшно не хватало; и дюжину турецких носовых платков с изречениями из Корана.

Потом мы страшно стремились попасть в гарем, но не попали. Из достопримечательностей осмотрели английскую контрразведку, где нас самих, впрочем, тоже осмотрели; как ошпаренные кипятком, пометались по Пере, и, наконец, сняли сапоги и кинулись босиком в Айя-Софию, про которую палубная дура наша восхищенно говорила:

Ай! Софья!..

И снова: *Von roug se rendre!*

Куда *rendre*? Зачем *rendre*? Не все ли равно?! Лишь бы не стоять на месте! Лишь бы двигаться дальше. Черное море. Мраморное море. Эгейское море. Средиземное море. И в каждом море качает. И в каждом море тошнит. И не только качает. И не только тошнит.

Но крепок был дух, и не единожды побеждал он слабеющую плоть.

И я помню, как в Марселе на вопрос полицейского инспектора: «Чем занимаетесь?» — наш друг Loló отвечал с презрительной твердостью: «Пыль Москвы на ленте старой шляпы я, как символ, свято берегу!»

## III

Но вот, как пишут в романах, поезд плавно подошел к Лионскому вокзалу. Цвет русской буржуазии высыпал на перрон. И в таком количестве распространился по городу, что спустя несколько дней, в Passy, повесился пожилой француз, оставивший грустную записку на имя префекта: «Умираю от тоски по родине!»

Так началась глава вторая нашего изгнания, глава, именуемая: Passy!

Милостивые Государыни и Милостивые Государи! Величайшим

упущением было не остановить Ваше просвещенное внимание на одной исторической параллели, которая напрашивается сама собой.

Я имею в виду два парижских квартала, сыгравших столь исключительную роль в жизни нашего отечества.

Латинский квартал и квартал Passy — вот северный и южный полюсы нашей новейшей истории.

Итак, старая эмиграция жила на левом берегу, новая эмиграция расположилась на правом.

Сена, разделяющая оба берега, ничто по сравнению с пропастью, разделившей обе эмиграции. И между тем именно Латинский квартал уготовил Passy!

Из года в год, в прокуренных кафе левобережной части, собирались те, которые знали — что делать!

Потряхивая шевелюрами, они орали во всю ширь великолепной глотки: «Честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!»

И исполнились времена, и наступили сроки. И безумец пришел и навеял!..

Так навеял, что лучше нельзя!

Все полетело верхним концом вниз — и хозяин кафе «Ротонда» на бульваре Монпарнас с уверенностью внушает своим нынешним посетителям: пейте ваш аперитив, messieurs, и ждите! Рано или поздно все мои клиенты становятся министрами! И, как знать, может быть, и в самом деле права эта старая лиса, освежавшая своими оранжами не одно будущее правительство. Так или иначе, но и нам теории монпарнасского ресторатора кажутся более убедительными, нежели весь этот рахат-лукум о путях России и заветах революции!..

Итак, Милостивые Государыни и Милостивые Государи. Поменьше диспутов и побольше прохладительных напитков! История не любит непрошенных вмешательств. Поздно мелют мельницы богов, но все получают очередь в перемол. Настанет время — и все образуется, как говорил лидер нашей партии, камердинер Стивы Облонского!

А пока вернемся к тому, что составляет грубый, но реальный смысл нашего сегодняшнего дня, и подумаем о том, что же нам делать — во всем будничном, но и огромном значении этих великих слов!

Еще только год назад русский Париж занимался тем, что дерзил Ллойд Джорджу, поголовно устраивал фабрики папирос, продавал нефть в вестибюлях Гранд-отеля, открывал банки, вывозил табачи из Сухума и табачи из Батума, питался голубыми бриллиантами и седыми соболями и заявлял при каждом удобном случае:

Мы — народ, давший миру Толстого!

Но прошел год — и ото всех дел уцелело только одно:

Дерзит Ллойд Джорджу!

Нефтяные фонтаны превратились в фонтаны слез; банки лопнули, как мыльные пузыри; из Батума и из Сухума вывезены не то что табачи, а и все бабушки грузинской революции; до последнего хвостика съедены соболя; до последней капли выпиты бриллианты

чистой воды,—и как объяснить мяснику, пришедшему со счетом, что:

Мы народ, давший миру «Летучую мышь»?!

Помню, как еще год назад, один почтенный джентльмен, приехавший из Одессы, прямо-таки поражал меня своим недюжинным оптимизмом и особенно деловым размахом:

— Вот, молодой человек, учитесь, как надо работать! Первое дело — это не вешать нос на квинту и не упускать случая! Вот я, например! всю жизнь был ювелиром, а сделался аптекарем! Да, да! Теперь это самое выгодное дело!..

И, держа меня за пуговицу, он убежденно зашептал:

— Понимаете... эти американские стоки... Это же клад!.. Я взял — и на миллион франков накупил одного пирамидону — и отправил всю партию в Салоники!.. Посмотрите, если ровно через год я не дам два миллиона франков за моей дочкой!..

И прошел год. И с разных сторон доходят до меня нехорошие слухи:

— Мировой кризис достиг небывалых размеров! Салоникская операция с треском провалилась. И в качестве приданого папаша обещает уже не два миллиона, а только пятьдесят тысяч, и то не деньгами, а порошками от головной боли!..

Таковы уроки жестокой действительности и блестящие примеры делового размаха!..

Но что же все-таки делать?!

Не могут же все тридцать тысяч русских петь в украинском хоре или делать друг другу дамские шляпки?!!

Тогда что же?

Писать мемуары — какая лошадь станет их печатать?!

Просто писать на пишущей машинке — где вы возьмете столько машинок и что вы будете на них писать?!

Открыть пансионаты — кто в них будет жить?!

Устроить бюро переводов — это, конечно, совершенно гениальная идея, но что, собственно говоря, вы будете переводить: свой собственный паспорт или собственное завещание?!

Или пуститься на крайнее средство: превратить последнюю тысячу франков в последние восемь тысяч марок, уехать в Висбаден, проживать марку в день и обеспечить себя на первые восемь тысяч дней?!

Что же, пожалуй, это мысль! Но ведь исчерпывающего ответа и она не дает!..

Где ж душе искать спасенья?  
В чем ей чаять воскресенья?!  
Не бежать ли из Парижа  
На горячий, сонный юг?!  
Жить в какой-нибудь избушке,  
Подле леса, на опушке,  
Проводя с коровой рыжей  
Незатейливый досуг?!  
Стать простым, упрямым, скромным,

Стать в минуту черноземным,  
Верить в Господа и в Папу  
И накапливать добро,  
Утверждать, что мэр развратник,  
Знать свой двор и свой курятник  
И носить большую шляпу,  
Шляпу типа болеро?!

Уж не это ли идеал, до которого мы докатились?!

В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов?!

Покинуть меблированные квартиры с продавленным диваном и портретом Бонапарта в молодости, разбежаться полным ходом и с разбега — сесть на землю?!

Откармливать свиней, плодить кроликов, доить коров и... сеять разумное, доброе, вечное, пока нам такое спасибо сердечное не скажет французский народ, что мы, на глазах у почтеннейшей публики, покинем пределы французской республики, равно как и свой огород!..

Нет! Милостивые Государыни и Милостивые Государи! Не всякое растение принимается на любой почве!.. И мечтать в департаменте Сены — устроить собственную Диканьку — столь же бессмысленно, сколь бессмысленно, скажем, «рубаха-парень» переводить: «garçon-la-chemise»!..

Чем меньше иллюзий, тем меньше ошибок! А их и так немало на нашем тернистом пути!.. От целого ряда обманчивых надежд, безумных планов и опрометчивых поступков мы предупредили вас честно и открыто! Устраивать же ежедневные диспуты, возиться, без конца нянчиться с вами, следить за каждым вашим шагом — этого, как хотите, мы на себя не берем! Довольно ходить на помочах и ждать, пока жареные голуби сами начнут в рот падать! Своим умом живите! Слава Богу, не маленькие!..

1921

## ИНТЕРВЬЮ

Итак:

Французские деньги печатаются в Венгрии.

Португальские — в Голландии.

Сербские — в Германии.

Германские — в Швейцарии.

Английские — в Португалии.

И так далее.

Что делать? Что делать? Что делать?! — мы обратились к известному экономисту с горячей просьбой ответить на все эти три вопроса.

Известный экономист сказал:

— Продолжать в том же духе!..



— ?!

— Очень просто! Братство народов и одна нация работает на другую. Одна страна производит, другая потребляет.

Одна ввозит, другая вывозит, пошлины никакой, обмен веществ, порто-франко и равенство.

Настоящие деньги объявляются недействительными, фальшивые объявляются настоящими.

Международные долги становятся шутливым международным развлечением.

Франция должна Америке? Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!

Сели, отпечатали и отдали. Ни кризисов, ни конференций, ни Дауса, ни хаоса.

Внешние займы?! Чепуха, вздор, бред, фантазия! Зачем Чехословакии просить взаймы у Италии, когда итальянские лиры спокойно печатаются в Чехословакии?!

Помните, как сказано: «У Яноша в комнате — Бронки портрет, у Бронки — портрет Станислава!..»

Мы поблагодарили известного экономиста за любезность и за цитату и отправились к известному типографу и литографу.

Типограф и литограф сказал нам:

— Фальшивомонетчиками называют тех, кто в пределах корыстных потребностей своих подделывает и сбывает несколько фальшивых ассигнаций.

Совсем другое, когда люди печатают кредитные билеты, хотя бы и по существующему уже образцу, но в масштабе государственного бюджета.

Можем ли мы таких людей считать простыми фальшивомонетчиками? Конечно, нет!

Это просто крупные издатели, работающие на иностранный рынок!

Они удешевляют дорогие, малодоступные экземпляры и путем широкого и художественного производства достигают того, что переизданные ими произведения, дополненные и исправленные, получают свободный доступ в массы.

Недалек тот день, когда частная инициатива совершенно вытеснит государственную и печатный станок станет таким же необходимым предметом домашнего обихода, как гладильная доска или умывальник!..

Мы сердечно пожали руку типографа и руку литографа и отправились к известному политическому деятелю.

Этот последний принять нас отказался; тогда мы просто объявили его неизвестным и недеятелем и пошли прямо к начальнику сыскной полиции.

— Вы по делу о фальшивых ассигнациях?

— Да, ваше просвещенное мнение...

Начальник сыскной полиции оказался необыкновенно любезен

и ни за что на свете не хотел нас отпустить. Вышли мы от него только два месяца спустя...

Но зато с какими знаниями!.. с какими знаниями, господа!..

1926

## КВАРТИРОЛОГИЯ

### 1

Дружеская встреча русской эмиграции затянулась долго за полночь.

Как чудный сон, прошли первые восемь лет.

Еще два года — и земская давность.

Пользы от нее никакой, но лестно.

Если только доживем, обязательно юбилей устроим.

Так или иначе, а многое утрамбовалось, — и потихоньку, да полегоньку большинство поустраивалось: кто на Пер-Лашез, кто у Ситроена, кто — экспорасьон, кто — эмпортасьон, кто — маникюр, кто — педикюр, а кто и просто в цыганском хоре: «Ай, да тройка, снег пуши-ста-ай...»

И в самом деле, почему бы и нет?!

### 2

Единственное, в чем нам не везет, это в квартирном вопросе. Квартирный вопрос, господа, гораздо глубже, чем это принято думать.

Вот, все говорят, — жилищный кризис, перенаселение городов, последствия войны, последствия революции, социальные приросты, социальные наросты, — а толку от этих разговоров никакого.

Далеко ли за примерами ходить, когда самого верховного по этим делам комиссара выставили на днях из квартиры?! Невероятно? Так вот вам и вероятно.

А сколько порядочных людей и даже с самыми благородными убеждениями ночует черт знает где!..

Впрочем, чему же удивляться, когда все заботы о русских беженцах поручены Фрицьофу Нансену?!

Он, может быть, и норвежец, и гуманист, но ведь беда в том, что он путешественник, знаменитый путешественник!..

Человек, который ездит на Северный полюс, как мы на Ля Мот Пикэ?!

Ну, сами посудите, может ли такой кочевой доктор разрешать проблему чужой оседлости?.. Конечно, нет.

Вот оно и выходит, что паспорт у нас нансеновский, а квартиры никакой.

Эмигрант без квартиры — все равно что пробочник для Робинзона: вещь полезная, а воткнуть его некуда.

Несмотря на вышеизложенное, существует все-таки несколько способов найти квартиру.

Самый банальный — это квартира с реприз.

Репризы бывают разные, десять тысяч, двадцать тысяч, тридцать тысяч, сто тысяч. Зато в квартирах разницы не бывает — всегда дрянь.

В дешевый реприз входит: бай до весны, если квартира снимается зимою, и обстановка — календарь и вешалка.

Но за сто тысяч можно уже получить двуспальную кровать и право пользования лифтом.

— Mais, c'est pas mal, voyons!.. — нагло заявляет консьержка.

Затем существует способ найти квартиру при помощи самой консьержки.

В таких случаях обыкновенно говорят: а мы нашли квартиру через консьержку.

Ученый филолог объяснил мне, что это выражение историческое, идущее от далеких московских времен.

«На Малой Козихе сдается студентам комната с ходом через хозяйку».

Во всяком случае, квартира через консьержку — это забвение всего, что есть в человеческой личности высокого, гордого, непримиримого: это сдача позиций, свержение богов, сожжение кораблей, отступничество, самоуничтожение, моральная смерть...

Любая парижская консьержка имеет: от роду не менее пятидесяти двух лет, аппетит волчицы, бюст Екатерины Второй и характер Агриппины Младшей.

Физиономия у них красная, рукава засучены, как у средневекового палача, узкие, барсучьи гляделки, а голос... Боже! Да у остервенелой цепной собаки — лирическое сопрано по сравнению с этим, с позволения сказать, женским голосом.

Кто бы вы ни были, знайте, что она вас презирает.

Заранее и навсегда.

Проститесь мысленно со своим прошлым, робко постучитесь в двери и... пресмыкайтесь.

Скажите, что русские бумаги скоро будут восстановлены; что по всем купонам заплатят полным золотым франком; что детей у вас нет, а если будут, то вы их задушите; что платить вы согласны за семнадцать лет вперед; страховка от огня, наводнения и землетрясения, конечно, на ваш счет; после десяти часов вечера вы обязуетесь надевать войлочные туфли, и не только вы, но и гости ваши, незави-

симо от пола и подданства; в заключение выразите этой мегере свое искреннее сочувствие по поводу того, что столь достойная особа, как она, должна работать с утра до вечера, в то время как проклятые иностранцы живут здесь *roug tien*,— и дайте ей первые сто франков.

Затем еженедельно повторяйте то же самое, т. е. монолог и день-ги.

Продельвайте это в течение ближайших десяти месяцев.

На одиннадцатый у вас будет собственная квартира из катр пьес: коридора, уборной, кухни и салона, причем кухня на солнечную сторону.

Остается... поздравить вас с новосельем!

1926

## ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

### 1

Новая неприятность для русской эмиграции:

Парижский префект запретил опыты публичного голодания.

Мечта французского короля близка к осуществлению: у каждого должна быть своя курица.

Никто не имеет права истощать себя на глазах общества и государства.

Не имеющий курицы пусть уходит в подполье.

И там объявляет голодовку.

Конечно, голод— это не тетка.

Но и не префектура.

«Так что же нам делать?!» и где справедливость?

И можно ли так ставить вопрос:

Если человек не ест, значит, он покушается на ниспровержение существующего строя.

Кто кушает, тот не покушается.

Я понимаю, если бы нам объявили самым строгим образом:

Голодайте, сколько влезет, но не рассчитывайте на общественные похороны!

Это пожалуйста!

Но приравнивать нас к какому-то голландскому профессионалу, который сразу закуривает сто пятьдесят папирос, садится на двадцать восемь дней в клетку и потом еще получает за это двадцать пять тысяч франков,— где же, господа, справедливость?!

И затем, у этого голландца есть и свой консул, и свой антерпренер, между тем как у нас, кроме аппетита, нет ничего.

Ведь, сколько можно было, боролись же мы: писали мемуары, делали друг другу дамские шляпки, изучали окрестности.

И если теперь мы, так сказать, недоедаем, то делаем это тихо,

скромно и не в порядке дискуссии, а просто потому, что нас много, а их мало.

Их — это значит куриц.

На основании вышеизложенного спрашивается еще раз:

Где же справедливость?!

## 2

Никогда не подозревал о сосуществовании такого потрясающего количества молодежи.

Оказывается, да!

Дело, конечно, не в возрасте и не в наружном виде, а — в самочувствии.

Человек, может быть, уже контр-адмирал, и бакенбарды у него, вроде как у покойного Франца Иосифа, а все-таки он — молодежь. «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!»

Правда, эти понятия надо резделить: «мыслит» он, а страдают окружающие.

Но его это уже не касается.

— Я вам не контр-адмирал, а подрастающее поколение! И в качестве такового заявляю: дорогие папы и мамы, будем, как солнце!..

Не напрасно все-таки корпит в своей лаборатории знаменитый наш соотечественник доктор Воронов.

Прививка бараньих желез чувствуется на каждом шагу.

Но зато у нас есть на кого опереться в трудную минуту жизни.

Омоложенные особы пятого класса, бессарабские камергеры в розовых чулочках, многодумные приват-доценты, притворяющиеся зародышами, и полтора неизвестных студента из одного неизвестного университета — все это оказывается нашей надеждой, нашей гордостью, нашей молодежью...

Уездный чтец-декламатор собирает вокруг себя род веча, гримасничает, клянется и призывает Маниловых объединиться с Репетиловыми и всем вместе подписать веселенькое почто-письмо, из коего явствует, что никакого разлада между отцами и детьми нет, но все за одного и один за всех плюс пятьдесят сантимов за вестизр.

1926

### ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МУССОЛИНИ

Ваша Светлость и Ваше высокопревосходительство!

Хотя вы мне ни слова не написали, я все-таки вам отвечаю.

Так велика у нас, русских, потребность переписываться.

Кроме того, мне страшно нравится ваш портрет, вырезанный мной на всякий случай из иллюстрированного журнала.

В минуту уныния, когда мной внезапно овладевает тоска по твердой власти, я долго гляжу на ваш римско-католический нос и думаю: вот бы нам хоть одну такую ноздрю...

Наконец, в качестве литератора (десять франков да картд-идантите) я не могу забыть, что только благодаря Вам господин Габриэль д'Аннунцио получил титул князя Монтовозо и две виллы на берегу озера.

Поверьте, что этими виллами на воде вы вписали одну из лучших страниц в историю итальянского вентиченто.

Подумать, что еще каких-нибудь пять лет назад автор «Джонконды» продавал с аукциона свои галстуки и булавки для них!

А теперь он имеет недвижимое имущество и такое же количество предков.

Будьте спокойны, ваша светлость, история этого не забудет.

С благодарностью отметит она ваши заслуги перед печатным словом, получившим опять-таки благодаря вам столь широкое распространение, что большинство итальянских газет выходит уже за границы: так разрослась при вас отечественная печать.

Говорю вам просто: грация, синьоре.

Ах, если бы одновременно вы могли бы управлять и Россией!..

Какую усадьбу закатали бы вы нашему национальному поэту князю Касаткину-Ростовскому и вообще...

Впрочем, грех жаловаться! У нас тоже большинство русских газет выходит за границы.

Но вы заняты, вам недосуг, и все это — бессмысленные мечтания.

Единственно, что вы успели сделать — это де-юре признать Калинина (по-итальянски Калинини), а де-факто вывезти несколько мешков пшеницы.

Недаром вас считают специалистом по догме римского права!

И все же вы достойны восхищения!

Сколько верст описали вы вокруг себя за каких-нибудь десять — пятнадцать лет!

Не всякому государственному деятелю удавался такой исключительный пробег, такой неслыханный рекорд скорости.

Ваш знаменитый римский поход удался как нельзя лучше.

Вечный город пал... и не скоро поднимется.

Очевидцы утверждают, что все итальянские баритоны и тенора были мобилизованы в одну ночь и так пропели в вашу честь, как только могут петь артисты с долгосрочным ангажементом.

Удовлетворенный, вы вышли на балкон и тихо прошептали:

— Вот это опера!..

С этого дня начались ваши гастроли.

В расшитом золотом настоящем оперном костюме, в треуголке, украшенной страусовыми перьями, в которые вы прятали свою голову, при шпаге, которой, если хочешь, можно заколоться, вы вышли на арену мировой истории!

Воображаю, как завидует вам бедный отшельник, доживающий свои дни в голландской деревушке.

Ведь в самые блистательные, в самые сладчайшие моменты голо-  
вкружительного царствования своего не потрясал он мир грозными  
речами так, как потрясаете вы!..

Будущее Италии — в Сахаре!

Будущее Италии — в Тироле!

Итальянский флаг на Северном полюсе, итальянский флаг на  
Южном полюсе! Романизация эскимосов. Романизация негров! Оба  
меридиана — наши! Земная ось — тоже! Взорву Везувий, залью эква-  
тор, я так хочу!..

Спасибо, дорогой, спасибо, милый!

Слезы умиления мешают мне высказаться, но я вам скажу про-  
сто:

— Молодчина, ваша светлость! И главное, что на крестьянском  
основании!..

1926

## О ВСЯКОЙ ВСЯЧИНЕ

### 1

Мемуары, мемуары, мемуары.

Тридцать пять тысяч одних мемуаров.

Белых, красных, довоенных, послевоенных, дореволюционных,  
послереволюционных.

Все пишут, все вспоминают, каждый считает своим священным  
долгом донести до сведения потомства о том, как он переходил Ор-  
шу, о чем говорил в теплушках на станции Казатин и какая была по-  
года в день падения Скоропадского.

Ни один исторический процесс не имел такого количества по-  
стоянных очевидцев и годовых свидетелей.

Работа будущего историка сведется к ремеслу переплетчика:  
перенумеровать и склеить.

Нет такого самого захудалого секретаря уездной земской упра-  
вы, который не мечтал бы о бессмертии.

Любой «министр» в кабинете атамана Тютюнника утрет нос  
и Тьеру, и Ламартину.

Поистине жажда бессмертия овладела поколением, и прыжок  
в вечность сделался гимнастикой каждого дня.

Безумцы и золотоискатели, сопровождавшие Васко да Гама, не  
были так честолюбивы, как любой сегодняшний экспроприатор.

Предводитель разбойничьей шайки, готовясь к нападению на  
поезда, берет с собой револьвер и стенографистку: издатель всегда  
найдется.

Впрочем, спрос соответствует предложению.

— Дайте мне «Гарзана» или какие-нибудь воспоминания!..

Такова читательская формула и по ту, и по эту сторону рубежа.

Сидорову лестно прочитать Петрова, а Петрову до зарезу надо прочитать Сидорова.

И оба уверены, что к ним не зарастет народная тропа.

Я знаю генерала, который вот уже восемь лет живет одними воспоминаниями.

И ничего, покупают.

И хорошо бы одни генералы!..

А то ведь и генеральши тоже пишут.

Правда, главным образом дневники.

Добросовестно, аккуратно и день за днем.

«Среда, 14-го апреля 1876 года. Сегодня я получила похвальный лист за вышивание гладью. Начальница института меня поцеловала...»

## 2

Газеты сообщают, что за истекший год сто семьдесят тысяч человек в разных частях света совершили путешествия по воздуху.

Жаль только, что — в разных частях света.

Картина была бы гораздо внушительнее, если бы все сто семьдесят тысяч отделились от земли в одном месте и в одно время.

Представляю себе, что город Бордо весь целиком поднялся в воздух.

Впереди летит мэр с двумя помощниками, потом — прокурор республики, префект, префектура, сборщики податей, нотариусы, клерки, редактор газеты, директор театра и, наконец, остальное население обоего пола и всех возрастов.

В городе остались только лошади и покойники.

Собак, кошек и сумасшедших взяли с собою.

Тишина удивительная!..

Прямо как в последнем акте «Дяди Вани» и даже еще тише.

Но дело не в настроениях, а в этих действительно потрясающих успехах воздухоплавания.

Два года назад число аэроплановых пассажиров не доходило и до ста тысяч человек.

В прошлом году их было уже около двухсот.

Не надо быть ни профессиональным статистиком, ни увлекающимся энтузиастом для того, чтобы вполне основательно предположить, что нынешний год даст не менее полумиллиона воздушных путешественников, а через какие-нибудь три-четыре года вся русская эмиграция может в одно прекрасное утро взлететь на воздух, к вящей радости тех, кто давно уже упрекает ее в беспочвенности.

Надо полагать, что если бы это случилось, то под небесами сейчас же образовался бы «Союз возвращения на землю» с председателем и с товарищем председателя, как полагается во всех союзах.

Вот только казначея не надо было бы пускать наверх, пусть уж остается внизу.



Нет, господа, что ни говорите, а жизнь еще полна неограниченных возможностей!..

Если очень крепко вдуматься, можно прийти до оптимизма.

«Скоро ваша дорогая  
Скажет просто: дорогой,  
Полетим до Урагвая,  
А потом — к себе домой!»

И почему бы и нет?!

1926

## ЖИЗНЬ ЗНАМЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ

Как живет и работает тайный советник Палеолог?

Вопрос этот волнует лучшие умы Европы.

Уже давно и повсюду чувствуется потребность познакомиться с биографией этого великого государственного деятеля.

Так вот...

Нет еще восьми часов утра по петербургскому времени, как тайный советник Палеолог начинает бороться за восстановление былого могущества Родины, захваченной гнусными иноплеменниками.

Спешим во избежание недоразумений разъяснить, что родиной своей господин Палеолог считает не Грецию, а Россию.

Так как восстановление родины требует не только моральных усилий, но и материальных, то тайному советнику приходится начинать с изыскания средств.

Надо сказать, что призывы господина Палеолога встречают горячее сочувствие во всех уголках мира.

Поток пожертвований льется неудержимой волной, и белградская королевская почта буквально изнывает под бременем денежных переводов.

Если бы не знали из совершенно достоверного источника, что тайный советник занимается общественной деятельностью, мы могли бы подумать, что он увлекается нумизматикой, так велика и разнообразна коллекция монет, собранных им в течение каких-нибудь трех лет.

Сербские динары, чешские кроны, итальянские лиры, американские доллары, болгарские левы, турецкие пиастры, польские злоты, английские шиллинги, румынские леи, греческие драхмы, швейцарские франки и французские франки, финские марки и германские марки и, наконец, восемьдесят шесть индийских рупий... можно ли после этого возражать против табели о рангах вообще и против тайных советников в частности?!

Что касается итога собранных пожертвований, то этим пусть занимаются масоны и прочие левые безумцы, разлагающие организованную и неорганизованную части зарубежной России.

Мы держимся иного мнения: важно не что, а как! Не сколько, а от кого! Не сумма, а слагаемые!

Дорог не подарок, а дорого внимание!..

И даже враги господина Палеолога не станут спорить против утверждения, что уж чем-чем, а вниманием тайный советник избалован потрясающим.

Зато сам он в такой же мере отличается прилежанием.

Проверив кассу и отложив в сторону индийские рупии, тайный советник занимается литературным трудом: пишет письма в редакцию.

Эта оригинальная форма изящной словесности все больше и больше завоевывает право на существование.

Блестящие и увлекательные письма господина Палеолога захватывают читателя своей исключительной правдивостью и изяществом слога.

Мы часто видели чутких и восприимчивых людей, рыдавших над этими простыми, ясными заключительными строчками:

«...прошу вас принять уверения в моем отличном к вам уважении и таковой же преданности»...

Тургенев, Гончаров, княгиня Бебутова!..

Среди единомышленников и почитателей нашего великого современника не раз уже возникала мысль об издании художественного альманаха под общим названием:

«Палеолог и его окрестности».

Предисловие обещал написать сам господин Штрандман, известный славянофил и посланник.

Будем надеяться, что благое начинание удастся осуществить и что книга эта делается настольной книгой как подрастающего поколения, так и поколения уже больше не растущего.

Первая половина дня закончена.

По теории вероятности, мы предполагаем, что день господина Палеолога состоит из двух половин.

Предположим, что это тем более основательно, что деятельность тайного советника слишком разнообразна и кипуча, чтобы прекращаться в двенадцать часов дня по петербургскому или иному циферблату.

Но в короткой газетной статье не скажешь и десятой доли о столь крупной и выдающейся единице.

Постараемся в следующий раз вернуться к послеобеденным трудам тайного советника, равно как и к сумеркам этого замечательного мужчины, который войдет в Историю под именем Вещего Палеолога.

Обидно, но святым Христофор Колумб не будет.

По сведениям Ватикана, он вел развратный образ жизни в им же открытых странах.

Возможно, что вся эта нашумевшая история открытия Америки — не более чем скандальная авантюра, затеянная с гнусной целью повеселиться и побезобразничать за пределами отечества и подальше от отцов-инквизиторов.

Одно, во всяком случае, несомненно: о биографии своей Христофор не заботился.

Мог ли он думать о том, что четыреста тридцать пять лет спустя его будут судить за бесстыдное отсутствие одежды у индейских племен?!

Ясно, что нет.

И без того у него было немало забот.

Достаточно вспомнить, что испанская королева Изабелла сказала ему вполне определенно:

— Все возможно, поезжай и открывай. Откроешь, хорошо. Не откроешь, сожгу на костре.

Ударили по рукам, и Колумб поехал.

Из истории известно, и это не станет отрицать и Ватикан, что день 12 октября 1492 выдался ненастный.

Дождь лил как из ведра. Команда промокла до костей, но Колумб не обращал на это никакого внимания, отлично понимая, что на костре он высохнет.

Неоспорим и другой, не менее любопытный факт.

Увидев в подзорную трубу узкую береговую полосу, Колумб с такой силой крикнул «земля, земля!», что матросы его, обладавшие крепкими нервами, все, один за другим, попадали в обморок.

Но на помощь им подоспели индейцы, населявшие Америку.

Они привели матросов в чувство и убили их.

Пощадили же они только самого Колумба из уважения к его компасу и испанскому происхождению.

Так неужели же человеку можно отказать в канонизации только за то, что его не убили дикари и не сожгла королева?!

Действительно!..

Стоило трудиться, мокнуть, лазить на неизвестный черту материк и всю жизнь ломать себе голову над какими-то знаменитыми куриными яйцами, чтобы в конце концов заслужить репутацию бонвивана?!

Когда человеку не везет, ему не везет.

И я убежден, что, если бы Колумб и сгорел на костре, его бы уже, наверное, считали прожигателем жизни...

Об одном очень поучительном случае с великим магараджей Индоры.

Вице-король Индии потребовал у индусского владыки объяснения по поводу убийства богатого бомбейского купца.

Дело само по себе очень житейское: у магараджи была фаворитка, променявшая блеск индорской короны на соблазны бомбейской гильдии.

Магараджа обиделся и приказал купца задушить.

Ну и задушили.

Казалось бы, все хорошо.

Так нет же, проклятый великобританский империализм даже в частную жизнь вмешиваться стал.

Предъявили магарадже обвинение и вызвали на допрос.

Что же делает магараджа?

За пятнадцать дней до допроса он объявляет, что будет голодать все пятнадцать дней: дабы очиститься от земной скверны и обрести небесное вдохновение.

Ибо тогда знаешь, что надо говорить!..

Это, вероятно, чистое индусское правило: говори, что Бог на душу положит!

Не подлежит, очевидно, сомнению и то, что натошак божественный глагол более внятен, чем на полный желудок.

Но, когда голодает сам магараджа, имеют ли право заниматься пищеварением простые смертные?!

Оказалось, что нет, никакого права не имеют.

И владыка Индоры издал приказ, объявленный глашатаями по всей стране:

«Все верноподданные обязаны голодать пятнадцать дней и пятнадцать ночей.

Да подавится тот, кто проглотит хоть корку хлеба!

Если же он все-таки это сделает, то будет объявлен государственным преступником, которому собственные шкурные интересы дороже блага отечества.

Смерть от голода будет рассматриваться как саботаж.

Да здравствует Индия!»

1926

## НАРОДНЫЙ СОЛИСТ

Одним из наиболее замечательных завоеваний октябрьской революции является, как известно, театр.

Для точности, впрочем, следует отметить, что театр не завоевывает, а достигает.

1926

До революции Россия переживала полосу так называемых судорожных исканий и дерзаний.

Теперь наступила полоса судорожных достижений.

Достижения носят характер эпидемический, эпидемия имеет характер неизлечимый.

Кто выше всех перепрыгнет, тот больше всех достигнет.

Все равно как на анекдотическом солдатском спектакле:

— Известный комик Петров будет плевать через восемнадцать рядов, просят господ унтер-офицеров в девятнадцатый ряд не садиться!..

Советским переплевателем, спору нет, оказался старый престиждитор, болтун и фокусник, неистовый Мейерхольд.

По совести говоря, ничего неистового в нем нет и никогда в помине и не было, просто бледный мужчина с истерической прослойкой, из породы тех, что всю жизнь и до преклонного возраста прикидываются гамэнами, херувимами и печальными Пьеро.

Ведь в конце концов так называемый бешеный темперамент есть не более чем вопрос упорства и усидчивости, и большинство этих федеративных неистовых Ролландов — люди холодные, расчетливые и методические, отлично умеющие устраивать свои собственные дела-делишки.

Душа бухгалтера и эспри мешочника!.. А товар, пожалуйста, первой свежести и самый модный: и суперматизм, и конструктивизм, и формальный метод, и динамика!..

В этом сказочном царстве великолепных лгунов, эстетических оборотней и пролеткультных сомнамбул, где даже кокаин и самоубийство имеют свой революционный подход; в этой скучнейшей в мире фабрике бесполох ухищрений и государственного вывиха под высоким покровительством самого Анатолия Луначарского, академика и педикюра, как же было не расцвести, не распуститься, не возвеличиться бешеному темпераменту Всеволода Мейерхольда!..

Помилуйте, «Лес» Островского в шестнадцати планах ставит, Геннадия Несчастливцева под Бога Саваофа гримирует, уездную помещицу Гурмыжскую в Царицу Савскую преобразит, а на авансцене — настоящие американские тракторы с центральным отоплением действуют!..

Неудивительно, что его и почетным красноармейцем сделали, и от сознательных узбеков стеганый халат поднесли: умеет побаловать республика советская...

Но Ролланд не успокаивался, «не застывал в неподвижных формах», вперед! и вперед! и все дальше, вперед!

После достижения с Островским достижение с Гоголем. «Ревизора» из одних антрактов построил!..

Чтоб смешнее было.

Так и объявил:

«Бывшая комедия Николая Васильевича Гоголя-Яновского в пяти антрактах».

И ничего. Сошло.

Два-три прихвостня буржуазии, из совестливых, робко чертыхнулись, на них цыкнули... театр задрожал от аплодисментов.

Ибо лучше дрожать от аплодисментов, чем от иных, более огнестрельных удовольствий.

Но, так сказать, апогея своего и триумфа советской славы достиг бледный мужчина только благодаря Дон Кихоту.

Учуял он, что пошла новая мода: тоска по вещи.

И Эренбург тоскует, и Маяковский тоскует, и Серапионовы братья тоскуют, и нет такого самого захудалого селедочника кооператива, который не тосковал бы по разным вещам.

Вот этих разных вещей Мейерхольд и наворотил.

Вместо ветряных мельниц — паровые и вальцовые!..

Приятно для глаза и лестно Внешторгу.

Дон Кихоту вместо жалкой клячи Росинанта выдать настоящий автомобиль в сорок лошадиных сил, с номером и шофером из южно-испанских коммунистов!

Вынуть осла из-под Санчо-Пансы и посадить его, мерзавца, на мотоциклетку, пусть чувствует: «Революционный держите шаг!..»

Что касается Дульцинеи Тобосской, то — затянуть ее сукнами и условно показать из суфлерской будки под гром «Интернационала» соединенных вольно-пожарных команд!!!

Что же удивляться, ежели и узбеки, и Наркомпрос задрожали от аплодисментов?!

1926

## AU BONHEUR DES DAMES

Медленно, но упорно, а сезон приближается.

Еще каких-нибудь два-три месяца, и станет жарко, как летом.

Из достоверного источника сообщают, что ледяные горы уже прошли мимо и что теперь все дело за Гольштремом и Мальштремом.

Указывают даже точку, в которой они должны встретиться.

После точки все и произойдет.

Если так, то надо подумать и о том, во что и как одеться.

Хорошо тем, кто устроился на Гонолулу: ни сезонов, ни костюмов! Ходи в чем из Орши приехал.

Иначе обстоит вопрос для тех, кто живет в так называемых центрах.

Нельзя же себе отделать декольте одним нансеновским паспортом, подстричь затылок и успокоиться.

Вообще, надо ли доказывать, что и войны, и революции, и контрреволюции способны только видоизменить моду, но ни в какой мере не уничтожить.

Эмиграция существует, жизнь продолжается, одеваться надо.

Не станете же вы убеждать всякого встречного-поперечного, что прошлогодняя шляпка на вашей жене есть результат социального катаклизма.

Наконец, если и убедите, то только его одного, но уже ни в каком случае не вашу собственную жену.

Итак! Во что и как?!

Начнем с дамских головных уборов.

И начнем с того, что дамские головные уборы на предстоящий летний сезон совершенно упраздняются!..

Вот как хотите.

Возрождение античного рисунка, возврат к классическим формам, простота и строгость линий, как хотите, но вот так!

Греческая прическа спереди, англо-американская сзади, и все вместе без всякого прикрытия: я — Анна Чилаг.

Обладая даже самыми скромными средствами, вы не должны прибегать ни к каким унижительным катаклизмам и потрясениям: от головы до шеи ваша жена одета по самой последней моде!

Продолжаем.

Руки должны быть совершенно голые.

Как на Гонолулу.

Ни колец, ни перчаток.

Кольца носят только нувориши, перчаток вообще не носят.

То же самое в отношении шеи.

Декольте! И никаких разговоров.

Явное, прямое, всеобщее — декольте третьей Республики.

Никаких роялистских поползновений на рюши, на кружева, на Марию Антуанетту.

Не забывайте, что голова, руки и декольте в итоге дают полное впечатление того, что называется трэ паризьенн.

Продолжаем.

Чулки остро-поросячьего цвета, — как говорится, — фис-де-кошон трэ крю.

Хотя чулки фабрикуются в самой Франции, но лучше всего их покупать у контрабандистов на испанской границе.

Гораздо дешевле и напоминает Кармен.

Если же до границы далеко, то — остаться в Париже и исподволь приторговывать на сольдах, так называемые смежные номера: восьмой для левой и девятый для правой.

Попробуйте и убедитесь: дешево и сердито.

То есть вам дешево, а жена сердита.

Продолжаем.

Гораздо труднее обстоит дело с туфлями.

Туфля-то, положим, самая обыкновенная, но зато каблук — вылитый Людовик XV.

Извольте купить каблук отдельно от туфли!..

Можно, но не советую.

Лучше и проще поступить так, как поступает опытная западная буржуазия.

По статистическим сведениям префектуры, количество пакетов, забываемых в метро, в трамваях, в автобусах, в такси и т. д., колеблется между десятью и двенадцатью тысячами... только в течение одного летнего сезона!..

Это раз.

Теперь: количество женатых русских эмигрантов, так называемых легитимистов, колеблется между теми же десятью и двенадцатью тысячами.

Это два.

Не надо чествовать Лобачевского, чтобы получить цифру в пять тысяч эмигрантских жен.

По теории вероятности на десять тысяч забытых пакетов приходится много вещей ненужных, хотя и ручных.

Допустим самое худшее: семь с половиной тысяч зонтиков и только две тысячи пятьсот пар туфель.

В любой день вы являетесь в Бюро де-з-обже трузэ и говорите:

— Вчера, в вагоне первого класса такой-то линии вашего метрополитена, жена моя потеряла пакет: картонная коробка из Галери-Лафайет, перевязанная голубым шнурком крест-накрест.

— В коробке должны, я это утверждаю, должны находиться дамские туфли, номер тридцать седьмой, каблук Людовик XV...

Если номер окажется неподходящим, то никто вашей жене не мешает отправиться в Галери-Лафайет и переменить на подходящий.

Таким образом, половина замужней эмиграции может обуться на счет коренного французского населения.

Что касается второй половины, девушек, вдов и подростков, то ничего не поделаешь: пусть ждут следующего сезона: ведь не завтра же и не послезавтра Россия внутренняя соединяется с Россией зарубежной.

Как это говорится: «Сменит не раз младая дева» и т. д.

1926

## ЦОРН

Итак, кроме Пантеона, Сорбонны, Лувра и Люксембурга, в Париже будет Русский Клуб.

Цель потрясающе простая:

— Чтобы было, куда приткнуться.

Имей я в этом деле власть, я бы сказал с полной откровенностью:

**ЦОРН!**

— Центральное объединение русских недотыкомок.



Но если я этого не говорю, то только потому, что не желаю засорять отечественный язык.

Хотя для телеграмм это было бы очень удобно:

«Париж. Цорн. Переведите двести. Гаудеамус, игитур».

Обращение безнадежное, но как звучит!..

Нет, в самом деле, говоря совершенно серьезно:

— Можно не иметь своего консульства.

— Можно не иметь своего метро.

— Можно не иметь своего кладбища.

Но как не иметь своего клуба?!

В республике Сан-Марино насчитывается двенадцать тысяч жителей, включая детей и городских сумасшедших.

И, однако, республика эта имеет дипломатических представителей при лучших европейских дворах.

О такой роскоши я, разумеется, не мечтаю, но, принимая во внимание, что среди нас есть тоже и дети, и сумасшедшие и что, по самому скромному подсчету, в Париже проживает не менее сорока тысяч бывших и будущих русских, не считая лимитрофов и аппендиксов, я голосую за клуб открытым, прямым и всеобщим голосованием!

Только, ради Бога, не надо бояться, что это будет «собрание обывателей» или «собрание мещан».

Тем лучше.

Как можно больше — и обывателей, и мещан, и вообще обыкновенных людей!

Достаточно заплатили мы за всех этих буревестников, парадоксальных молодых людей, эстетических анархистов, футуристов, недоносков и самоучек.

Довольно провинциальных Оскар-Уайльдов, роковых девушек и соллогубовских тихих мальчиков.

В 1905-м году, т. е. ровно тысячу лет тому назад, все было сочинено в каких-нибудь полторы минуты:

— Мещанская идеология, мещанская психология, мещанские идеалы, мещанская религия, мещанская обстановка, мещанский брак, мещанские отношения, мещанский быт, мещанский вкус, мещанская программа, мещанские нравы и далее самоубийство тоже мещанское.

Повернуться порядочный человек боялся.

А вдруг это мещанство?..

Накинется лохматый студент на честную епархиадку — и давай ее душить, красивого греха требовать!

Девушка отбивается, кричит благим матом, а он как будто помешанный.

— Молчи, мещанка! Молчи, так надо!

А потом, само собой разумеется, идет прямо навстречу Солнцу.

Так вот договоримся сразу: никакого солнца, а просто лото!

Борьба так борьба. И возрождение так возрождение.

У входа — герань, на окнах — герань, на столах — герань. Пианино достать что ни на есть разбитое, дребезжащее, не пианино, а рухлядь.

И чтоб играть на этой рухляди не фокстрот, не чарльстон и не уанстеп, а честно:

«Крутится-вертится шар голубой,  
Крутится-вертится над головой,  
Крутится-вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украсть...»

Распорядитель, чтоб имел вид наемного убийцы, носился как вихрь и всем наступал на ноги.

Так надо.

В розовой гостиной пусть играют в винт по маленькой.

— Играйте, говорю вам! Не бойтесь. После двенадцати часов рабочего дня имеете право.

В голубом салоне, небесно-голубом с ярко-зелеными разводами, — тихая, семейная беседа: о возрождении жизни и кто с кем живет.

— Нечего притворяться, интересно, так разговаривайте!

В большом нижнем зале — оживленный литературный диспут:

«Чертов мост» с точки зрения инженера путей сообщения.

С прениями и без ограничения ораторов десятью минутами.

И наконец в буфете — буфетчик и я.

Больше никого.

Буфетчик берет обыкновенную, мещанскую рюмку и наливает в нее холодную мещанскую водку.

Потом покойным, плавным жестом наливает себе.

— Ваше здоровье!..

— Ваше!

Тихо. Благородно. Никакой мелодрамы. Никто не шатается, как неприкаянный.

И все приткнулись.

— Господа! За Цорн!

1926

## ДО ПЕРВОГО МЕТРО

Пишу сие для Архива русской эмиграции и, стало быть, для потомства.

Да не затеряется малый след наш в дебрях истории, и да сохранится для будущего честная тропинка, по которой карабкались мы навстречу новым зорям, как выражаются поэты.

А суть в том, что встречали мы Новый год в складчину, в кварти-

ре Блинчиковых, первая антресоля направо, на улице Помп, в Пас-сях.

Ужин решили делать холодный и, как говорила мадам Блинчикова, интимный, а именно: роль-мопсы на зубочистках; курица, начиненная самой собой; и на десерт — мандарины как таковые.

Зато в смысле распивочном программа-максимум: очищенный спирт на лимонном настое, красный ординер типа бордо, белый ординер типа бургонь, плюс бургонь и бордо типа ординер.

Прибавьте к этому настоящее подшампанское, которое с пяти часов вечера непрерывно булькалось в холодной цинковой ванне, да дюжину липких ликерных эшатионов — и вы получите некоторое отдаленное, конечно, представление о том, как надо жить и пить в эмиграции.

Обстановка у Блинчиковых небольшая, но уютная: швейная машина Зингера, несколько деревянных болванок для дамских шляп и складные кровати, совершенно незаменимые в походе.

Но, принимая во внимание прелестные, сделанные из носовых платков абажурчики; кнопками прикрепленные к стене карт-посталь с могилой Наполеона, Вандомской площадью и Версальскими фонтанами; наконец, прокатное, но неподдельное пианино с небрежно брошенным на крышку букетом искусственных роз, — сразу чувствуешь что-то милое, ласковое, располагающее.

А когда приходишь с туманной, слякотной улицы и видишь этот утопающий в роль-мопсах стол, то жизнь действительно начинает казаться сказкой!..

Пайщиков набралось человек тридцать, не считая Аськи и Ляльки, которых не на кого было оставить дома, почему их и принесли в каких-то узлах с собой и, для сухости, сразу уложили на центральное отопление, Аську справа, Ляльку слева. Ткнули каждой по мандарину в рот, и обе они, проревев полчаса подряд, заснули тем безмятежным сном, каким спят только законнорожденные эмигрантские дети.

До половины двенадцатого вроде как томление было. Бешено курили синий и желтый Марилан, с тревогой посматривали на будильник, вспоминали прошлое и все косились с вожделием и с замиранием в сердце на роскошный новогодний стол.

Наконец мадам Блинчикова гостеприимно развела руками и удивительно удачно произнесла свой хозяйский экспромт:

— Ну, а теперь, господа, прошу к столу!

Все немедленно оживились, зашумели, задвигали стульями и... приступили к священнодействию.

О том, как надо пройтись по первой, какой к ней выбрать закусок, как пройтись по второй, третьей, четвертой и так до бесконечности, об этом написана целая литература, а потому повторяться не будем.

Отметим только одно: когда будильник показывал без пяти две-

надцать, от роль-мопсов оставались одни лишь зубочистки, а от домашней водки — сморщенная лимонная цедра.

— Напиваться,—говорил маститый Петр Иванович, доктор прав и шофер,—напиваться надо срочно и без прения сторон, ррраз — и готово! Так, чтоб только в глазах мелькало!..

Так оно и было. И когда будильник захрипел всем своим гусиным, плебейским механизмом, в антресоли направо оставалось только два трезвых существа: Аська и Лялька. Но и то они спали, умудрившись, однако, и во сне быстро переделать паровое отопление на водяное.

— Уррра! С Новым годом, с новым счастьем!

Едва подшампанское успели разлить, да и то больше по скатерти да по бумажным салфеткам.

А потом все и началось... Откуда у людей столько сил берется, уму непостижимо! Лидия Львовна спела под гитару «Отцвели уж давно хризантемы в саду», потом вдруг зарыдала, потом вдруг вынула руж, покрасила губы и как пошла, с абажурчиком в руке, русскую откалывать, так прямо у всех сердце заекало, а уж о стаканах я не говорю — как колокольчики дребезжали...

Доктор Иван Леонтьевич чудесно аккомпанировал и даже педаль сломал.

А маститый Петр Иванович, шофер, все икал и приговаривал:

— А жить-то хочется кра-асиво!..

Молодожены Пупсик и Тупсик не переставая чокались друг с другом и требовали чарльстон. Заставили доктора с камаринского без всяких там этих аллегретто прямо на чарльстон перейти. Сначала обиделся: я, говорит, по специальности бактериолог, так на каком, па-а-аз-вольте вас спросить, основании?!

Но потом все-таки перешел. Только танцевать уже не пришлось, потому все разбились на группы и христосоваться начали.

Мадам Блинчикова пыталась сказать экспромт насчет Пасхи и Рождества, но это у нее не вышло. Очнулись только тогда, когда вода стала в ботинки забираться: оказалось, когда подмораживали шампанское, то забыли кран в ванной закрыть, от этого все и получилось...

Потом увязали Аську и Ляльку обратно в узел и из Пассей первым метро и двинулись.

В общем, очень хорошее впечатление. Жаль только, что бедных Блинчиковых из квартиры выселяют. Пришла консьержка с Новым годом поздравлять и так категорически и заявила: Фелиситэ... Робинэ!! Партир!..

А робинэ, вы же знаете, это кран и есть.

Давно думаю: чем объяснить это невероятное количество суеверий?..

В самые жестокие времена средневековья, когда на запруженных народом площадях с утра до вечера жгли ведьм, одержимых и еретиков, даже и тогда суеверия и предрассудки не имели столь широкого распространения, как в наши дни, и в особенности в эмиграции.

Если не считать покойников, то нет такой самой захудалой карт-д-идантите, за которой не числилось бы несколько солидных недоимок по части здравого смысла и простой душевной ясности.

Ну, шел бы разговор о простонародье, я еще понимаю.

А то ведь мозг страны, сплошная, так сказать, сливка общества, а вот не угодно ли?..

Долго наблюдая и самого себя, и окружающих, пришел к убеждению, что эмигрантские суеверия сводятся к двум основным типам или категориям.

Один тип — это суеверия явные, откровенные, ни в какой мере не скрываемые.

Говорят о них, как о чем-то совершенно обыкновенном, вполне естественном, будничном.

Понедельник — тяжелый день, с одной спички троим не закури-вать, тринадцать — опасное число и так далее.

Все к этому так привыкли, что и удивляться перестали.

Правда и то, что откровенных суеверий и дурных примет не так уж в эмигрантском быту и много.

Изменилось все: и обстоятельство места, и обстоятельство времени, и в особенности обстоятельство образа действия.

Какому кучеру придет в голову сворачивать в сторону, ежели заяц ему дорогу перебежит, когда за восемь лет эмиграции никто и в глаза не видел ни кучера, ни зайца?..

Да уж если взять честного русского шофера, так он не то что зайца, а любую туземную старуху в два счета задавит, а в сторону не свернет!

Или опять же если баба с пустыми ведрами навстречу попадетсЯ?

Да, если бы нашлась такая сумасшедшая баба, чтоб с пустыми ведрами по Парижу ходить, так воображаю, сколько бы это на нее одних только газетных репортеров да фотографов накинулось бы, не говоря уже об уличной толпе, конной полиции и прочих вещах!

Нет, все это, конечно, чепуха и анахронизм.

Не такой это город, чтоб в нем собаки выли, вороны каркали или по тротуарам зайцы бегали.

Потому, вероятно, так и развился второй, не явный, а тайный тип эмигрантских суеверий, тех, о которых не то что вслух не говорят, а,

наоборот, тщательно от постороннего глаза прячут, замалчивают и всячески скрывают.

Эти суеверия уже строго индивидуальны, придуманы для собственного домашнего употребления и никак общему учету не поддаются.

Но если зорко всмотреться, то вот какие бывают наиболее яркие и замечательные случаи.

1) Икс спокойно идет по улице, беззаботно разглядывает розовые бюстгальтеры в аптечной витрине и вообще настроен самым мирным образом.

Вдруг он замечает кривобокий автобус, выпрыгнувший из-за угла и идущий полным ходом к ближайшей остановке.

Внезапно осеняет Икса какая-то мысль, и не проходит секунды, как он, в припадке безумия, перелетает на другую сторону улицы, сбивает с ног нескольких пешеходов и, тяжело дыша и высунув язык, мчится вслед за автобусом с явным намерением его перегнать... И, о счастье! За секунду до того, что автобус останавливается, торжествующий Икс стоит уже у фонарного столба, прижимая руку к сердцу, готовому разорваться от этой сумасшедшей беготни.

Толпа, стоящая на задней площадке, сочувственно сторонится, желая уступить место предприимчивому запыхавшемуся господину.

Но... Иксу совершенно не нужны ни автобус, ни сочувствие, ни задняя площадка.

Он просто загадал:

— Если добегу до остановки прежде, чем эта кривобокая махина, то значит все будет хорошо!..

— А если, не дай Бог, не успею, ну тогда дело мое плохо...

Вот и все. А теперь можно спокойно досматривать универсальные витрины.

Случай чрезвычайно распространенный и хотя тщательно скрываемый, но полный мистики.

2) Ивану Ивановичу надо срочно ехать по срочному делу. На площади вереница такси. Выбирай любое! Да и выбрать-то нечего, когда до неотложного делового свидания считанные минуты остались, а ехать за тридевять земель надо...

Но нет! Иван Иванович быстро переходит от такси к такси, осматривает каждый кузов, что-то про себя соображает, множит, делит, вычитает и, наконец, потеряв добрую половину оставшегося времени, но, очевидно, найдя то, что нужно, вскакивает на подножку, хлопает дверцей и с видом победителя разваливается на сидении.

Ну, теперь удача обеспечена!

Вы хотите знать, почему?!

Да очень просто, потому что 37 514! Это и есть номер такси, сумма цифр которого без остатка делится на четыре!..

Почему именно на четыре и почему только сумма цифр, это уже секрет изобретателя, но уж, наверное, такой просвещенный человек, как Иван Иваныч, знает, что он делает.

3) Приведу еще третий случай, правда, не индивидуальный, но

также весьма часто встречающийся. Пришли мы к Вере Николаевне в гости. Сидим, пьем чай с вареньем и, конечно, ведем интеллигентный разговор — что-то о похоронах Микадо.

Вдруг один из гостей, ни слова не говоря, чихает. Боже!.. Если б вы видели, какой тут подымается переполох!.. Пять человек с хозяйкой во главе вскакивают со стульев, стучат пальцами о неполированное дерево и, словно их хоровому пению обучали, сразу все в один голос кричат:

— Тьфу, тьфу, тьфу, сухо дерево назад не пятится!

Потом, как ни в чем не бывало, садятся за стол и продолжают доедать варенье.

Оказывается, нельзя чихать, когда о смерти говорят. А то вот чихнешь, ничего этим даже не думая, а от тебя, глядишь, одно только воспоминание останется. Как от Микадо.

1927

### ДНЕВНИК КОЛИ СЫРОЕЖКИНА

«...Меня зовут Коля.

Я решил вести дневник.

Скоро мне будет тринадцать лет. Мама говорит, что надо записывать только самое главное.

А папа ничего не говорит.

Он только курит желтые папиросы и говорит, что мы живем не по средствам.

Тогда мама говорит, что у него будет отравление никотином.

А дядя Петя говорит, что я третья Россия и из меня вырастет мешочник.

Потому что у меня нет идеалов и я не удирал к бурам.

Дядя Петя обижается, что я читаю «Приключения Бико» и не обращаю внимания на русский народный эпос в Тургеневской библиотеке.

Тогда мама говорит, что зато мне будет легче жить и я не буду такой мягкотелый, как папа.

Потому что папа работает на парфюмерной фабрике и занимается донкихотством.

Тогда папа барабанит пальцами и говорит, что ты набита предрассудками, как матрац клопами.

Конечно, мама сердится, чтоб он прекратил разговоры и лучше ел голубцы.

Тогда уже пора ложиться спать, потому что поздно и надо рано вставать в лицей.

Завтра напишу свое продолжение.

---

Самое главное, что я влюблен в Ньюсю.

Дядя Петя говорит, что это ничто, и Лермонтов был влюблен еще раньше, когда ему было восемь лет.

Но он любит меня дразнить, что у Ньюси один глаз на нас, а другой на Арзамас.

Но это неправда, такого города во Франции нет, и, во-первых, она только немножко косит одним глазом, и все говорят, что она будет королевой русской колонии за чарлстон и за длинные волосы, только если она не острижется.

Я взял перочинный ножик и вырезал ее имя в подъемной машине.

Только это было долго и консьержка пришла жаловаться, что я застрял между этажами.

Тогда был скандал, и дядя Петя опять стал дразнить и рассказал Ньюсе. Она покраснела, как рак, и сказала, что это вовсе идиотство.

Мы два дня были в ссоре, но я хотел отомстить дяде Пете и разрезал его подтяжки.

Тогда хотя папа мягкотелый, залепил мне пощечину (эн жиффл), пока пришла мама и сказала, чтоб не сметь шутить с первым чувством и чтобы я не ревел, как зарезанный.

Потом мы пили чай и пошли в синема «Мишель Строгов».

Но дядя Петя все время злился, что падают брюки и вообще что это развесистая клюква.

Но мне очень понравилось, что Мишелю вырезали глаза, и езда на санях.

Наверное, в России очень холодно, мама говорит, что там каждый день трещат морозы, но очень далеко, потому не слышно.

---

...Сегодня получил десять за композисьон.

Мосье Лекар сказал, что я лучше всех мальчиков написал про пользу огня, но только не надо было писать про зажигалки.

Но, конечно, я смолчал, потому что мне было стыдно сказать, что дядя Петя сам меня подговорил насчет зажигалок.

Мама была очень довольна и сказала, что я по-немецки вундеркинд, но по-русски всегда ей подаю надежды.

Почему же папа говорит, что я не услужливый?..

Не понимаю.

Я бы очень хотел быть писателем.

Все писатели очень знаменитые и всегда устраивают лотереи с танцами.

Когда я вырасту большой, я тоже буду так делать: днем сочинять, а потом танцевать до утра с кабаре и с лотереями.

Ньюся говорит, что она, когда вырастет, будет женщина-врач по всем болезням.

Но я не хочу, чтобы от нее пахло лекарствами.

А дядя Петя говорит, что это ничего, зато, когда венчаться надо,



так можно будет выхлопотать карету скорой помощи и бесплатно в церковь поехать.

Но это еще далеко, и неизвестно, что еще с нами будет...

На всякий случай я сочинил стихи про Ньюсю и про себя.

Не дай Бог, если бы дядя Петя их увидел! Я лучше готов умереть от самолюбия.

Вот эти стихи:

— Ньюся, Ньюся, Ньюся, Ньюся,  
Ты косишь на один глаз,  
Но любить я вечно буду,  
Как вчера и как сейчас.  
У тебя с Венерой сходство,  
Только я не Аполлон,  
Почему же идиотство,  
Если я в тебя влюблен?..  
*Коля ...ежкин (псевдоним)»*

1927

### КАФЕ-НАТЮР

Пессимист и оптимист сидели в кафе.

Несмотря на разницу мировоззрений, оба они пили кафе-натюр и курили.

Пессимист курил свои собственные папиросы, оптимист — папиросы пессимиста.

Разговор был древнерусский, т. е. о чарлстоне, о происхождении человека от обезьяны, о стабилизации франка и о бессмертии души.

Пессимист смотрел на вещи пессимистически.

Оптимист — совершенно наоборот.

*Пессимист.* — На второй день после октябрьского переворота вы меня искренно уверяли, что через две недели большевики вылетят в трубу.

Так как две недели уже прошли, то позвольте вас спросить, почему они не вылетают?..

*Оптимист.* — А, по-моему, они уже давным-давно вылетели!

*П.* — ?! Так что, их там больше нет?

*О.* — Нет!

*П.* — А что же там есть?

*О.* — Оптический обман.

*П.* — На чем же он держится?!

*О.* — На оптике и на пессимизме.

*П.* — Что же в таком случае необходимо, чтобы этот ваш оптический обман кончился?!

*О.* — Протереть глаза и стать оптимистом!

*П.* — И вы в это твердо верите?

*О.* — Так же твердо, как в то, что я пью этот кафе-натюр, за который платить будете вы!

*П.* — А если я не заплачу?..

*О.* — Это не важно. Кофе уже выпит, а процесс пищеварения подобен ходу истории; он непреложен.

*П.* — Вы, очевидно, великолепно настроены?

*О.* — А почему бы и нет?

*П.* — Помилуйте, восемь лет назад, вот так же как и сейчас, мы сидели с вами вдвоем за чашкой чудесного турецкого кофе с этим их изумительным каймаком, глядели на расплавленный солнцем Босфор и наслаждались музыкой уличной шарманки.

*О.* — И под музыку вы мне и говорили: через две недели эмиграция погибнет!..

Так как эти две недели уже прошли, то позвольте вас спросить, на каком основании она не погибает?!

*П.* — Ну, знаете ли... в восторг тоже не от чего приходиться.

Безработица, кризис, недоедание. Гарсон! анкор дэ!

*О.* — Вот в этом вы правы, кофе у них действительно превосходный...

Что же касается вашего недоедания, недопивания и всех этих ваших кризисов, то мы их столько за восемь лет испытали и преодолели, что никакой таблицы умножения не хватит, чтоб все это толком подсчитать и в надлежащий итог уложить!

Однако никто еще на наших глазах с голоду не умирал, за фокстерьерами не охотился и на домашних кошек не покушался!..

*П.* — Да, но это все-таки крайне неприятно и даже тяжело...

*О.* — А вы как же полагаете, что я за три ваших кафе-натюра обязался вам сплошные удовольствия доставлять?

Конечно, и неприятно, и тяжело, и очень даже тяжело!

Но наряду со всем тем не доказываем ли мы каждый раз и нашу исключительную жизнеспособность, самостоятельность, ценность, инициативу, энергию, бодрость, волю к жизни и...

*П.* — И, скажите просто, грубейший инстинкт самосохранения!..

*О.* — Ну, и что же! И тоже не так плохо! В конце концов, если уж на то пошло, то ведь дело идет о самосохранении — я не скажу, отборных наших, но и не подонков же общества!

Ведь как-никак, а среди двух миллионов нансеновских паспортов большинство составляют не футболисты, не хамю-дюруа и не цыганские баритоны?!

*П.* — Да, но от примитивной борьбы за существование и, скажем, до творческой тоски по родине еще дистанция огромного размера!..

*О.* — Ага, понимаю, так вы желаете, чтобы я пил это самое кафе-натюр не потому, что оно вкусно, ароматно и утоляет жажду, а исключительно во имя отвлеченных ценностей?..

То есть, иначе говоря, пей, несчастный, но помни, что это не просто кофе, а борьба за Россию!.. Так, что ли?!

...Пессимист мрачно посмотрел на высившуюся перед ними груду блюдец — по числу отконсомированных натюров. И, очевидно повинувшись инстинкту самосохранения, расплатился с гарсоном.

## ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЙ БЛОКНОТ

Голубь, переночевавший в конюшне, не становится наутро лоша-  
дью.

Исключение сделано только для русских эмигрантов в отноше-  
нии Франции.

Парижанами не рождаются, а делаются.

Для этого нужно:

Во-первых:

— Чтобы в 1814 году страшные платовские казаки жгли костры  
в Елисейских полях.

Во-вторых:

— Чтобы Иван Сергеевич Тургенев жил в Буживале.

В-третьих:

— Чтоб мосье Троцкий, он же Антид-Отто, пил свой неизмен-  
ный кафе-натюр в монпарнасской «Ротонде».

В-четвертых:

— Чтоб Алданов написал «Девятое термидора».

И в-пятых:

— Чтоб сто тысяч неизлечимых пациентов доктора Фритьофа  
с огорчением предпочли граненые флаконы Гэрлэна непревзойден-  
ному бальзаму Ильича.

Девять лет назад неопытный русский эмигрант был искренне по-  
ражен.

Он честно думал, что так как Париж — это город-светоч, то в та-  
кой большой праздник, как праздник Рождества, все порядочные па-  
рижане должны собираться в кружок на площади Согласия и читать  
друг другу вслух Историю Великой французской революции, по  
Мишле или по Олару.

Или в крайнем случае относить цветы на могилу Марии Башкир-  
цевой.

Но когда, к удивлению своему, он увидал, что они только целую-  
тся, пьют аперитивы и танцуют, то он готов был накинуться на кас-  
сиршу и потребовать деньги обратно...

## 2

Но девять лет прошли не даром.

Мы осели, окрепли, обросли жизнерадостным французским бы-  
том и, сами того не замечая, постепенно примирились с мелкобур-  
жуазной психологией Жанны д'Арк.

Кто поверит, что на заре нашей туманной беженской юности, в ту  
смутную эпоху, когда отправленная нами последняя посылка «Ары»  
была полностью съедена в советской таможне, несмотря на протес-  
ты Учредительного собрания, гастролировавшего на Рю-  
д-ля-Помп...

В то далекое время, когда соблазны нэпа погружали в вертиж и наиболее стойкие головы...

Одним словом, в те давно миновавшие дни, когда, имея какой-то подозрительный паспорт смущенных народов, мы действительно не знали — что начать, ложиться спать или вставать...

Так вот, кто поверит, что нам, способным пропить в один вечер трехмесячное жалованье, нам казалось... что веселье, бодрость и жизнерадостность являются пределом святотатства и тройным апогеем смертных грехов?!

В яркий, солнечный день мы проходили, понутив голову, по самой теневой стороне Елисейских полей, озираясь и завидуя, желая и не смея.

При слове — Мистангэт — мы готовы были шептать заклинания против нечистой силы...

И все только потому, что Мистангэт была Мистангэт, а не Нечточка Незванова.

Но с тех пор мы многое поняли.

Поняли мы и то, что сантиман это одно, а сантим это другое, и что под бешеные звуки самого ненасытного негритянского джаза можно оставаться верным сыном родины, и что кто не улыбается, тот не живет...

### 3

Поэтому условимся раз и навсегда:

— Мы парижане и, несмотря на все, роскошно фланируем по большим бульварам, жадно упиваясь запахом каштанов и ароматом парижских фиалок, невзирая на то, что фиалки цветут в марте, когда небо зеленое, а жаровни с каштанами дымятся в декабре, когда небо далекое, высокое и серое...

И поэтому, когда проходят праздники, мы уже не угрызаемся, а просто веселимся и такой откалываем чарлстон, словно у нас дома не социальная революция, а рождественский гусь с яблоком!

Но это ничего...

Последние могикане человеческого легкомыслия живут только в департаменте Сены и Уазы!

Французский календарь построен по канонам Юлиана, но парижское Рождество сочинил старик Гаварни для минидеток, школьников и для ста тысяч бездомных, у которых только и есть что застенчивая ссылка на 14-й год, на шелковый фуляр Тургенева да на кафенатюр в «Ротонде»...

**ПОХВАЛА ГЛУПОСТИ**

Защищаясь от Гитлера, ссылаются на Гете... Не проще ли защитить Гете, сослав Гитлера?

\*

Человек вышел из обезьяны, но отчаиваться по этому поводу не следует: он уже возвращается назад.

\*

В Германии четыре миллиона безработных; зато все они — арийцы.

\*

Ударом кулака можно и конституцию переделать.

\*

Министр Геббельс исключил Генриха Гейне из энциклопедического словаря. Одному дана власть над словом, другому — над словарем.

\*

Как бы ни был велик народный вождь, но если он хочет быть похороненным на общественный счет, то он прежде всего должен умереть.

\*

Объявить себя гением легче всего по радио.

\*

Собираясь совершить подвиг, не предупреждайте о том ни стенографа, ни фотографа.

\*

Ничто так не мешает хождению в народ, как трамвай.

\*

Для переоценки ценностей требуются единицы, для отвинчивания памятников нужна толпа.

\*

Народное творчество выражается не только в пословицах, но также и в виселицах.

\*

Большевизм и фашизм — это, конечно, борьба двух концов, а не борьба двух начал.

\*

С точки зрения людоедов и «Историю цивилизации» можно толковать как клевету в печати.

\*

Из государственной колесницы можно сделать тачку каторжника...

Но, разумеется, верх достижения — это из тачки каторжника сделать государственную колесницу.

\*

Только такая трибуна, с которой сбросили оратора, и может называться свободной трибуной.

\*

Путь к забвению лежит через триумфальные ворота.

\*

Если бы петух не имел мандата от партии, он бы так громко не кукурекал.

\*

Самое страшное — это восторг масс... Когда толпа впрягается в колесницу героя, то герою несдобровать.

\*

Нет ничего скучнее, чем жить в интересное время.

\*

До торжества великих идей доживут не пацифисты, а старожилы.

\*

Расцвет военных наук возможен только в мирное время.

\*

Для того чтобы услышать артиллерийский залп, не надо быть чутким.

\*

Ничто так не зажигает толпу, как зажигательные бомбы.

\*

В результате обмена мнений выясняется не истина, а число пострадавших.

\*

Стрельба есть передача мыслей на расстоянии...

\*

Счастливые поколения занимаются шведской гимнастикой, несчастные — переоценкой ценностей.

\*

Проще всего поступил Сократ. Чтобы избавиться от интервью, он отравился.

\*

Ложась животом на алтарь отечества, продолжайте думать все-таки головой.

\*

Демократия держится за блузу, фашизм — за рубашку, большевизм — за косоворотку.

\*

По сямской конституции все граждане считаются близнецами, пока они не докажут противного.

\*

Во время гражданской войны история сводится к нулю, а география — к подворотне.

\*

Невеселое дело — вешать. А уж висеть и совсем скучно.

\*

Теоретик занимается подсчетом мерзавцев, практик — подсчетом уличных фонарей.

\*

Если б Ной знал, что такое избирательное право, то ни одна тварь не спаслась бы от потопа.

\*

Не называй беспартийным человека, выгнанного из партии. Это неправильно.

\*

И тайным голосованием можно обнаружить явную глупость.

\*

До чего у европейского человека все просто. Вместо хованщины — крематорий. Вместо кружковщины — клуб. Вместо хождения в народ — трамвай.

\*

Самое прекрасное в человеке — это противоречие: голосует за социалистов, а верит в текущий счет.

\*

Республика — это очень часто монархия с пересадками.

\*

Государственный деятель должен постоянно сниматься, иначе его забудут.

\*

Министр без портфеля все равно что вишня без косточки.

\*

Для того чтобы достойно отпраздновать Первое мая, одних ландышей мало; нужны и городовые.

\*

Профессиональному мяснику и на пляже скучно... Повторение пройденного.



\*

Диктатура без коннозаводства немислима.

\*

Вожди стоят на балконе, а простофили на площади.

\*

Не так опасно знамя, как его древко.

### РОССИЙСКИЕ КРЕСТОСЛОВИЦЫ

История русской революции—это сказание о граде Китеже, переделанное в рассказ об острове Сахалине.

\*

Карл Радек был задуман по Каутскому, но исполнен по Брэму.

\*

Противники большевизма не с тем не согласны, что Ленин умер, а с тем, чтоб его идеи жили.

\*

Если считать на пятилетки, то действительно не заметишь, как время летит...

\*

Будущее совершенно ясно:

— Ни Бога, ни царя, один телефон.

\*

Восток и Запад:

— Из браунинга в крайнем случае хоть застрелиться можно, а Царь-пушка и на это не годна.

\*

Ходить в баню— терять время для самообразования.

\*

Верх невезения— пережить октябрьскую революцию и умереть от солнечного удара.

\*

В одну русскую косоворотку можно вместить весь каменный век.

\*

Не толпись, когда пайки выдают, а толпись, когда вождей хоронят!

\*

За всю революцию один только раз мы увидели, что такое бальзам для души: когда набальзамировали Ленина...

### ЛЮБОВЬ К БЛИЖНЕМУ

Сочувствие — это равнодушие в превосходной степени.

\*

Если ты уже вынул человека из петли, то не толкай его в прорубь.

\*

Бросая утопающему якорь спасения, не старайтесь попасть ему непременно в голову.

\*

Будьте милосердны не только к домашним животным, но и к домашним вообще.

\*

Переносите мужественно зубную боль ближнего своего.

\*

Протягивая руку помощи, не сжимайте ее в кулак.

\*

Не думай дурно о всех ближних сразу, думай по очереди.

\*

Не бей неисправимого оптимиста телефонным аппаратом по голове. Он все равно будет уверять, что это телефонная ошибка.

\*

Не преувеличивай значения дружбы, это уменьшает число друзей.

\*

Есть только два способа пройти мимо ближнего своего:  
— Либо находясь вдалеке от него, либо живя с ним бок о бок.

\*

Пытай дружбу каленым железом, но не испытывай ее благородным металлом.

\*

Люби человечество сколько тебе угодно, но не требуй взаимности.

\*

На свете очень много хороших людей, но все они страшно заняты...

\*

Если человек слышит голос совести, то у него все вопросы решаются большинством одного голоса.

\*

Великодушием можно убить только человека, но не слона.

\*

Самый скучный вид признательности— это признательность за прошлое.

\*

И клоп, когда его давят, считает, что ему наносят оскорбление действием.

\*

Волосы, как друзья, седеют и редуют.

### **ФИЛОСОФИЯ КАЖДОГО ДНЯ**

Если б мы знали все, что о нас будут говорить, когда нас не будет, нас бы уже давно не было.

\*

Когда с человека нечего больше взять, с него хоть маску снимают.

\*

Самая краткая крестословица состоит, в сущности говоря, из двух слов: жизни и смерти.

Вертикально — жизнь, горизонтально — смерть.

\*

Рассчитывать на чудо — это значит погибнуть, но преждевременно.

\*

Напрасно ты думаешь, что камень, поставленный на могиле философа, — это и есть философский камень.

\*

Так принято: прежде, чем отправиться в вечность, человек заходит в тупик.

\*

Самоубийство — это прежде всего нарушение общественной тишины и спокойствия.

\*

И для легендарной жизни нельзя придумать иного конца, чем смерть.

\*

Досадно то, что самое последнее слово техники будет сказано за минуту до светопреставления.

\*

Нет более консервативного элемента, чем египетская мумия.

\*

Не посматривай на часы, когда тебе говорят о вечности.

\*

Если ты встретишь старика, которому исполнилось сто лет, улыбнись ему и скажи:

— Больше 90 вам никто не даст!

\*

На посмертную славу рассчитывают только обыкновенные дураки, монументальные устраиваются при жизни.

\*

Разрешение публиковать мемуары только после смерти автора основано на том, что покойники со своими знакомыми все равно не раскланиваются.

\*

Про каждого человека можно сказать: «Бедный Йорик». Но для этого надо подождать, чтобы он умер.

\*

Сказать про покойника, что он не хватает звезд с неба, это по меньшей мере бестактно.

\*

Утопленник — это много воды и никакого будущего.

\*

И осиновый кол есть вид памятника.

\*

Самая легкая должность — это должность переоценщика ценностей.

\*

• Ничто так не мешает видеть, как точка зрения.

\*

— «Молчите, проклятые струны» — можно сказать только басом. Если это сказать тенором, никто не поверит.

\*

Косую сажень на сантиметры не меряйте.

\*

Не ходите штурмом на занавеску.

\*

Чтобы устоять перед соблазном, необходимо одно из двух: либо присутствие духа, либо отсутствие вкуса.

\*

В погоне за главным не пропустите второстепенного.

\*

Не клянитесь, что вы обожаете Марселя Пруста, — вы его не читали.

\*

Не штука родиться в сорочке; важно, чтоб вам ее не обменяли в прачечной.

\*

Ничто так не подрывает кредит, как похоронное объявление.

\*

Надгробную речь лучше всего начинать словами: «Слезы мешают мне говорить...» Потому что известное выражение — «Я не оратор» — было бы куда уместнее в устах самого покойника.

\*

Из искры возгорится пламя... Теперь это годится как надпись над крематорием.

\*

В эмигрантской биографии полторы странички: исполнительный лист и скорбный листок.

\*

Не преувеличивай заслуг покойника, ты его не воскресишь. А наипаче не преувеличивай заслуг юбиляра, ты его угубишь.

\*

Застенчивого человека везде затолкают — и в метро, и в Царствии небесном.

\*

На могиле человека, похороненного в кредит, неделикатно говорить: это был человек долга...

\*

Чтобы узнать человека, надо с ним пуд соли съесть, — но, разумеется, не английской.

\*

Для того чтобы стать настоящей душой общества, надо не щадить ни души, ни общества.

\*

Из чувства взаимности может родиться и любовь, и кооператив.

\*

Пощечина — это отмена рукопожатий, доведенная до логического конца.

\*

Страшный суд имеет то преимущество, что он не третейский.

\*

Лучше заработать честным трудом много, чем честным трудом мало.

\*

Для подделки чека достаточно одной руки, для аплодисментов нужны обе.

\*

И вор имеет инстинкт собственности, но только чужой.

\*

И у бессрочных каторжников было детство и отрочество.

\*

И фальшивомонетчик борется за свободу печати.

\*

«В начале бе слово». За исключением последнего слова подсудимого. Которое было в конце.

\*

Из двух идущих в пари рискуют оба: один — что он проиграет, другой — что ему не заплатят.

\*

Ощущение осадка есть признак души.

\*

Принципы пахнут щелочью, инстинкты — кровью.

\*

Чем пьедестал выше, тем угол падения больше.

\*

Нет более опасного взрыва, нежели взрыв справедливости.

\*

Ход часов не зависит от того, украдены ли они или куплены за наличные.

\*

Честное слово, на котором можно поставить крест, называется крестословицей.

\*

От твердого решения тем приятнее отказаться, чем оно тверже.

\*

Если очень долго поступать по-свински, то в конце концов можно устроиться по-человечески.

\*

Мудрец верит в свет разума, дурак в бенгальский огонь.

\*

Лень есть понятие божественное, праздность — человеческое.

\*

Пощечина есть утверждение личности извне.

\*

И у фаталиста могут быть веснушки.

\*

Сплетня оживляет разговор, как пятно — скатерть.

\*

Материалисты ходят на именины, идеалисты — на похороны.

\*

Цепная собака, если и гостеприимна, то, во всяком случае, здорово это скрывает.

\*

После родственников самое неприятное — это однофамильцы.

\*

Только находясь в большой толпе и понимаешь, что такое безлюдье.



\*

Неразговорчивый собеседник может довести до отчаяния, словоохотливый — до преступления.

\*

Неудачники никогда не опаздывают, но всегда приходят не вовремя.

\*

Только несказанные слова запоминаются.

\*

Привычка есть устрицы хороша уже тем, что в случае удачи человек может натолкнуться и на жемчужину.

Но на какую удачу может рассчитывать человек, гордящийся тем, что он всю жизнь ел одну тарань?

#### SAVOIR VIVRE

Начинать новую жизнь лучше всего с понедельника.

\*

• Жить надо не оглядываясь, но... озираясь.

\*

Начало жизни написано акварелью, конец тушью.

\*

Юность довольствуется парадоксами, зрелость — пословицами, старость — афоризмами.

\*

Старайтесь казаться моложе, чем вы есть, но не моложе, чем о вас думают.

\*

Вставайте с петухами, ложитесь с курами, но остальной промежуток времени проводите с людьми.

\*

Для того, чтобы кончить жизнь, задохнувшись от тоски, мало быть праведником.

Надо еще быть человеком со вкусом.

Из пессимизма еще есть выход, из оптимизма — никакого.

\*

Не все ли равно, какой глас у вопиющего в пустыне — бас или дискант?

\*

Аристократическое происхождение — понятие условное.  
Это только у слонов вся белая кость наружу торчит.

\*

У самородка все от Бога и ничего от средне-учебного заведения.

\*

Без царя в голове и республиканцам плохо.

\*

Для того чтобы не сделать ни одного ложного шага, надо все время топтаться на месте.

\*

Умный для того и окружает себя дураками, чтобы быть в одиночестве.

\*

Для положительного ответа существует только одно слово: «Да».

Все остальные придуманы для отрицательных ответов.

\*

Человек, которому нечего сказать, может говорить безостановочно.

\*

Оскорбить действием может всякий, оскорбить в трех действиях — только драматург.

\*

Лучше быть относительно правдивым, чем приблизительно честным.

\*

Правда требует точки, ложь — запятой.

\*

Серьезность — это ремесло.  
Легкомыслие — искусство.

\*

Только протоплазма может гордиться тем, что у нее нет прошлого.

\*

Молодость стремится вдаль, зрелость — вширь, старость — вглубь.

\*

Надеяться надо до последней минуты.  
Но в последнюю минуту можно и перестать.

\*

Чем ночь темней, тем гвозди ярче.

\*

Гении улыбаются, знаменитости хмурятся.

\*

Авелю только сочувствуют, а про Каина даже поэмы пишут.

\*

Ни одно великое произведение искусства не было написано натошак.

\*

Утешение для талантов: бездарности не выдыхаются.

\*

И огрызком карандаша можно написать поэму.

\*

С тех пор, как свиньи узнали про Фрейда, они всякое свинство объясняют комплексом.

\*

Никто и никому в мире так не обязан, как обезьяны Дарвину.

\*

Пословица для боксеров: чужой кулак — потемки.

Ничто так не старит женщину, как ее возраст.

\*

В нормальной женской биографии до тридцати лет — хронология, после тридцати лет — мифология.

\*

Женщину молодит не тот, к кому она приписана, а тот, кого ей приписывают.

\*

Когда женщина падает в обморок, она знает, что она делает.

\*

Не так опасна преждевременная старость, как запоздалая молодость.

\*

Дон-Жуан менял только подлежащие, но оставался верен сказуемому.

\*

Предложить вместо любви дружбу — все равно что заменить кудри париком.

\*

Не клянитесь письменно в вечной любви. Клянитесь устно...

\*

Чтобы быть оправданной по суду, мало иметь любовника; надо его убить.

\*

Если ты хочешь вечной любви, не доводи ее до апогея.

\*

Газеты рассказывают про женщину, которая четырнадцать раз выходила замуж.

Судьба дала этой женщине совершенно исключительную возможность: быть четырнадцать раз верной женой.

\*

Бросить в женщину камнем можно только в одном случае: когда это камень чистой воды.

\*

Французское ревю — это многоженство через бинокль.

\*

Молодые рвутся к свету, пожилые — к полусвету.

\*

Истинный морганатический брак — это брак с дочерью Моргана.

\*

Потому у африканских негров и нет романтики, что у них все голые.

\*

Неуклюжая галантность: подойти к даме, принимающей солнечную ванну, и сказать ей, осклабясь: «Маска, я тебя знаю!»

\*

Письмо любовное.

«Люблю, целую, разорви немедленно».

\*

Декольте — это только часть истины.

\*

Ничто так не омолаживает, как расплата в старости за грехи молодости.

\*

Жизнь вдвоем — это часто мелодия, но никогда не ритм.

Жизнь в одиночестве — это всегда ритм, но без всякой мелодии.

\*

Относитесь к собственной жене так, как будто она не ваша жена, а чужая.

\*

Если бы Диоген вовремя женился, он бы не дошел до бочки.

\*

Ничто так не портит семейную жизнь, как личная секретарша.

\*

Чтобы доверие было прочным, обман должен быть длительным.

\*

Если бы не было принято сначала каяться, а потом грешить, жизнь не состояла бы из испорченных удовольствий.

\*

Когда люди не сходятся в главном, они расходятся из-за пустяков.

\*

Альтруист хватается за соломинку, эгоист за жену.

\*

Об одной супружеской паре: Марья Ивановна и ее постскриптум.

\*

Когда у женщины дьявольский характер, как-то неловко поздравлять ее с днем ангела.

\*

Однолюбом называется человек, который обманывает только ту, которую он любит.

### ВАЛЕРЬЯНОВЫЕ КАПЛИ

Живя в болоте, ты не рискуешь, что тебя захлестнет волной.

\*

Лучше кинуться в Сену, чем кануть в Лету.

\*

Эмиграция напоминает сыр со слезой: сыр слопан, слеза осталась.

\*

Не до аперитиву, быть бы живу.

\*

На одних силуэпле далеко не уедешь!

\*

• Терпение и труд хоть кого перетрут.

\*

Не думай, что ты станешь вкуснее, если будешь вариться в собственном соку.

\*

Эмигрант без психологии все равно что всадник без головы.

\*

Шаромыжник — это человек, у которого много шарма.

\*

Человек, у которого нет определенного общественного положения, может в крайнем случае сделаться пешеходом.

\*

В эмиграции есть три поколения: лидеры, шоферы и бакалавры.

\*

В России счет ведется на пятилетки, в эмиграции на земские давности.

\*

Хуже всего придется старожилам: ни одного сверстника и ни одного русского слова.

\*

Пожелания счастья и благополучия надо писать неразборчиво. Потому что отношения портятся, а пожелания остаются.

\*

До революции воспитывать детей было просто: запереть в темную комнату и лишить третьего блюда. В эмиграции все усложнилось. И комнаты лишней нет, и обед из двух блюд.

\*

Восьмичасовой рабочий день — это уже не столько идеал для тех, кто работает, сколько для тех, кто не работает.

\*

И нищий борется с кризисом, но в одиночку...

\*

Сверхчеловек должен жить на вершине горы, а не в мебелированной комнате.

\*

Чтобы быть демоном, надо прежде всего иметь средства к жизни.

\*

Когда на перемене обстановки настаивает врач, это еще полбеды. Беда, когда на этом настаивает судебный пристав.

\*

Пейзаж освещается солнцем, бюджет — дефицитом.

\*

Русский эмигрант — это чаще всего и принц, и нищий — в одном переплете.

\*

Ниже человека никакой доллар упасть не может.

\*

«На добрую память» — на векселях не пишут, но подразумевают.

\*

Только человеку, лишенному воображения, и можно давать взаймы. Ибо он по крайней мере не представляет себе, что не отдать — это тоже выход.

\*

Когда человек ищет тысячу франков — это жанр.

Когда человек ищет десять франков — это пейзаж.

И только когда человек доходит до пятидесяти сантимов — это натюрморт.

\*

Богатые люди украшают стол цветами, бедные — родственниками.

\*

Опытная хозяйка — это не та, которая может справиться с гостями, а та, которая может справиться с хозяином.

\*

Когда человек пришел без приглашения, то вывод напрашивается сам собой.

\*

Когда дружеская беседа начинается распивочно, она кончается на вынос.



\*

После пяти рюмок коньяку француз переходит на минеральную воду, а русский — на ты.

\*

«Где пьют, там и бьют».

В ограничительном толковании — посуду, в распространительном — гостей.

\*

Важно не просто стать душой общества, а ежемесячно.

\*

Аппетит приходит во время недоедания.

\*

«На случай Варфоломеевской ночи ищу места ночного сторожа».

\*

Не следует предаваться ловле бабочек в присутствии кредиторов. Это подрывает кредит.

\*

Покидая добрых знакомых, живущих на седьмом этаже, не говорите про них дурно, пока вы не дойдете до четвертого.

### ЦВЕТЫ ЖИЗНИ

Отцом называется тот, кто платит алименты.

\*

Когда дети говорят неправду, они по крайней мере заикаются...

\*

• Учить ребенка — это значит мешать ему стать самоучкой.

\*

• Из крупного самородка может получиться здоровенный выродок.

\*

Отчего родители не понимают детей? Не оттого ли, что дети научились говорить по-русски, а родители не научились говорить по-французски?..

- **Комментарии к Мальтусу:**  
— Дети — это цветы жизни, которые не удалось вырвать с корнем.

### ЛЕТНИЕ АКСИОМЫ

- Только богатые люди делают себе анализы. Бедняки живут синтезом.

\*

- Сливаться с природой удобнее всего в дождь.

\*

В каждом булыжнике дремлют искры, надо только уметь их высечь.

\*

Можно всю жизнь питаться кониной, и все-таки гореть внутренним огнем.

\*

Человек начинает сходить с ума задолго до сумасшествия.

\*

Не называй человека, сожженного на костре, прожигателем жизни.

\*

- Не старайтесь познать самого себя, а то вам противно будет.

\*

- Выходя из себя, не забудьте вернуться.

\*

Есть два верных способа отравить себе лето: окружить себя умниками и окружить себя дураками.

\*

- Стоик уезжает со своей женой, циник — с чужой, эпикуреец — один.

\*

Дай дураку чашу наслаждения, он в нее Виши нальет.

### САМЫЕ НОВЫЕ РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ

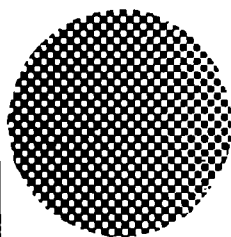
- 1. Бедный Макар и шишками спекулирует.  
2. Мал золотник, да и того нет.

3. Не красна изба пирогами, а вообще красна.
4. Ежели зайца долго бить, так он и спички зажигать будет.
5. Потому рыбак рыбака и видит издалека, что у них профес-  
сиональный союз есть.
6. Хлеб-соль не ешь, а «Правду» читай.
7. Пеший конному — все равно — товарищи.
8. Не имей сто рублей, а имей двести рублей.
9. Бог не выдаст, а свинью не съешь...
10. С миру по нитке, вот и товарообмен.
- 11. Поспесишь, кооператором будешь.
- 12. Дальше едешь, тише будешь!
13. Польский язык до Киева доведет.
- 14. И без одежки протягивай ножки.
15. Три деревни, два села, восемь девок — чем не республика?!
16. Не хороша Маша, да наша.
- 17. Незванный хозяин хуже татарина.
18. Счастливой собаке — собачья смерть, а несчастной — жизнь  
человеческая.
19. Не в коня корм, коли коня — в корм!..
20. Все нехорошо, что нехорошо кончается.
21. До Бога высоко, а до царя недалеко.
- 22. Венец — делу конец.

**Воспо**

**М  
И  
Н**

**Ания**





# ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ

«Раутенделейн, где ты?»...

Потоновший колокол. *Гергард Гауптман*

## I

Есть блаженное слово — провинция, есть чудесное слово — уезд. Столицами восторгаются, восхищаются, гордятся.

Умиляет душу только провинция.

Небольшой городок, забытый на географической карте, где-то в степях Новороссии, на берегу Ингула, преисполняет сердце волнующей нежностью, сладкой болью.

— Потерянный, невозвращенный рай!

Накрахмаленные абоненты симфонических концертов, воображающие, что они любят и понимают музыку, церемонно аплодируют прославленным дирижерам, великим мира сего.

Но в Царствие небесное будут допущены только те, кто не стыдился неволью набежавших слез, когда под окном играла шарманка, в лиловом бреду изнемогала сирень, а любимейший автор — его читали запоем — был не Жан-Поль Сартр, а Всеволод Гаршин.

## II

Держался город на трех китах: Вокзал. Тюрьма. Женская гимназия.

Шестое чувство, которым обладал только уезд, было чувство железной дороги.

В названиях станций и полустанков была своя неизъяснимая поэзия, какой-то особенный ритм, тайна первого колдовства и великого очарования.

Можно пережить три войны и три революции, переплыть моря и океаны, пройти, считая время по десятилетиям, долгий и нелегкий путь изгнания, усвоить все существующие на свете Avenues и Streets, — и чудом сохранить в благодарной памяти татарские, ногайские, российские слова.

— Первый звонок на Фастов — Казатин! Поезд — на первом пути!

— Знаменка. Треповка. Корыстовка. Лозовая. Синельниково. Бирзула. Раздельная. Каромыш.

«Разлука, ты разлука, чужая сторона...»

В вагонах третьего класса вкусно и нехорошо пахло чем-то сложным и кислым: мокрой овчиной, черным отсыревшим хлебом, мужицким потом и махоркой.

Лица были и сумрачные, и веселые, бабьи голоса и звонкие, и плаксивые, и кривда и правда сидели рядом на одной и той же жесткой деревянной скамейке, невзирая на царский режим и «проклятое самодержавие»...

А за зеркальными стеклами первого класса мелькали генеральские околыши, внушительные кокарды; и женская рука в лайковой перчатке еще долго размахивала батистовым платком, и запах французских духов, которые назывались «Coeur de Jeannette», смешивался с паровозным дымом, и в сердце было какое-то замирание и трепет.

Раздавался пронзительный свисток машиниста, и начальник станции, в красной фуражке, высоко и многозначительно подымал свой фонарик, и длинный поезд, огибая водокачку, тюрьму и женскую гимназию, исчезал за шлагбаумом, в сумерках короткого осеннего дня.

И все это было. И вот ничего и нет. А может быть ничего и не было, и был это только сон, шестое чувство железной дороги, призраки, тени, запоздалые стихи Александра Блока.

Вагоны шли привычной линией,  
Подрагивали и скрипели.  
Молчали желтые и синие,  
В зеленых плакали и пели.

### III

От вокзальной площади — самый вокзал, как некий форум, стоял на возвышении — причудливыми зигзагами разбегались вниз неповторимые, непроходимые, непостижимые, то заходившие в тупички, то друг дружку обгонявшие и пересекавшие, русские, южнорусские улицы.

Не до того было светлейшему князю Потемкину-Таврическому. Быстро надо было действовать, распределить, назначить, устроить; как на ладони преподнести государыне-матушке, императрице Екатерине, сочиненный первым губернатором, двадцатичетырехлетним дюком Арманом де Ришелье, с собором посередине, с крепостными валами вокруг, с изгородями и палисадами, с косыми деревянными башнями, — новый, великолепный град Новоград.

По князьему хотенью, по щучьему веленью, во мгновение ока замостили военнопленные турки да приведенные в покорность запорожцы, — знаменитые, несравнимые, в нелепости своей непревзойденные новоградские улицы.

И вот прошли и пробежали годы, и уж и целое столетие мохом проросло, а они все те же, и улицы, и мостовые, в перевозданной своей красе, в трогательном своем убожестве, в нетронutom целомудрии.

А на окраине города — Казенный сад, с высокими украинскими тополями, а под сенью тополей выщербленные от времени скамейки и вырезанные на них перочинным ножом дни, месяцы, годы, вензеля, имена, инициалы и пронзенные стрелой отлюбившие, перегоревшие, испепеленные сердца.

#### IV

Достопримечательностью города была, конечно, деревянная каланча, венчавшая старое, унылое здание городской Думы, выкрашенное безнадежной охрой николаевских времен.

На самой вышке, обведенной незамысловатой решетчатой оградой, с утра до вечера, и с вечера до утра, равномерно, как маятник, взад и вперед, во всем своем непревзойденном величии, шагал тот самый красавец-пожарный, без которого не было бы ни города, ни уезда, ни красоты, ни легенды.

Важно было знать и чувствовать, что изо дня в день, из года в год и во все четыре времени года чей-то зоркий, прилежный и неусыпный взор оберегает от злой беды всю эту суматошную, кропотливую, как везде и всегда вероятно нелепую, по-своему несправедливую, но по-своему и по-особенному уютную, и в беззащитной малости своей столь сумбурную и первобытную, и не потому ли трижды милую, разлаженную, налаженную, провинциальную жизнь!..

Деревянная каланча, деревянные тротуары, страшные, в ухабах и рытвинах, смертоубийственные мостовые, по которым громко тархтят крестьянские возы, допотопные биндюги, молдаванские балагулы, цыганский шарабан и — уездная гордость! — бочка водовоза.

«В те баснословные года» великий это был персонаж, можно сказать, первое лицо в городе.

То есть не то что так, здорово живешь, в буквальном смысле слова.

Но все же, по замыслу, по значению, после городского головы Пашутина, полицеймейстера Бессонова и участкового пристава Падейского, — первое лицо безусловно.

Ведь, как ни хитри, как одно к другому не подгоняй, а истории не переделаешь. И факт остается фактом: до степей Новороссии римские легионы так и не дошли и никаких виадуков в наследие грядущим векам не оставили.

А жить хотелось красиво!..

А воды в Ингуле только и хватало что для весеннего наводнения. Вот своим умом и додумались, и все отлично устроили и наладили.



Высоко на горе, за вокзальной площадью, сложили из красных кирпичей водонапорную башню; внизу, в самом центре Новограда, построили общедоступные бани с дворянской половиною; а для ежедневных нужд счастливого населения ездили по городу неумные водовозы с огромными, громыхавшими, расхлябанными бочками.

И за полкопейки, то есть за медный грош наличными деньгами, кто угодно мог получить два полных ведра на все про все, на целые сутки, для стирки, для варки, мытья и бритья и прочих культурных излишеств.

И глядишь, и без виадуков справились.

И самовары ставили, и щи и борщи варили, и сколько поколений вырастили!

А уж сколько пожаров вот этими самыми ведрами потушили — и не упомнить даже.

## V

Главных улиц в Новограде было две.

Дворцовая и Большая Перспективная.

Одна — чинная, аристократическая, для праздного гуляния и взаимного лицемерия.

Другая — торговая, шумная, несдержанная, и, невзирая на свое обещающее наименование, без всякого даже слабого намека на перспективу.

Задумываться об этом никому и в голову не приходило, а такое замысловатое слово, как урбанизм, ни в каком еще словаре и найти нельзя было.

Но, конечно, какое-то глухое соперничество, невольный антагонизм, смешанный с инстинктивным, молчаливым, но обоюдным презрением, упорно и неискоренимо существовал между двумя этими новоградскими артериями.

Особенно подчеркивали эту рознь извозчики.

Одноконки, брички, с их равнодушными ко всему на свете худыми клячами, скучной шеренгой стояли вдоль Большой Перспективной.

А парные фаятоны с молодцеватыми кучерами имели свою веками освященную стоянку в конце Дворцовой.

На бричках ездили мелкие акцизные чиновники, повивальные бабки второго разряда, заезжие коммивояжеры с неуклюжими чемоданами, подобранные на улице пьяные в сопровождении городского и разный неважный люд, которому так испокон и было наказано — трястись всю жизнь на одноконке, подпрыгивая на ухабах.

В фаятонах разъезжали умопомрачительные юнкера, выхоленные присяжные поверенные, земские начальники, помещики из уезда и благотворительные дамы из самого высшего общества, собиравшие дань на елку сиротского приюта.

А, вообще говоря, никакой особой нужды ни в пароконных, ни в одноконных не было.

Торопиться некуда было, все под боком, из одного конца в другой рукой подать, и весь от Бога положенный путь, от рождения и до смерти, проделать не спеша, вразвалку, по образу пешего хождения.

Только ранней осенью, задолго до наступления холодов, заметно было некоторое, особое, отличное от прочих времен года, оживление.

По мудрому, из поколения в поколение завещанному обычаю, или опыту, накопленному предками, начинались суетливые приготовления к зиме.

Из окрестных деревень тянулись возы с дровами — грабом, ольхой, березою.

Въезжали во двор немазанные, скрипучие телеги, наполненные всяческим добром, припасами и снедью.

Обкладывали соломой и ставили в погреб разбухшие от рассола кадушки с кислыми яблоками, грибами, мочеными арбузами, сливами, помидорами, квашеной капустой и солеными огурцами.

От всего этого изобилия и щедрот земных шел прелый, душистый и щекочущий обоняние запах.

И ощущение уверенности, незыблемости, прочности и покоя безраздельно овладевало душой.

А в домах шла своя работа.

Наглухо запирали окна, устилали ватным покровом начисто выбеленные подоконники, на вату для пущей красоты, и непременно зигзагом, укладывали нитку красного гаруса, по обе стороны художественно разбрасывали черные угольки, и на равном расстоянии друг от друга, в священнодейственном творческом восторге расставляли невысокие пузатые стаканчики с крепким красным уксусом.

Последним актом мистерии были двойные рамы, которые тут же, чтобы не было щелей, заклеивали по бокам и сверху донизу длинными узкими полосками белой бумаги; вносили со двора окрепшие за лето фикусы и пальмы в зеленых майоликовых горшках, — и пролог был кончен.

А 23-го или 25-го августа, смотря по календарю, начиналась учебная страда.

За несколько дней до великой даты в книжных магазинах Золотарева, Фонарева и Красногубкина нельзя было протолкнуться.

А какой таинственный смысл был в словах и сочетаниях, в именах авторов, в названиях книг и учебников!

— Вторая часть хрестоматии Смирновского. История Иловайского. Учебник арифметики Малинина и Буренина. География Елпатьевского. Задачник Евтушевского. Алгебра Киселева. Физика Красевича. Латинская грамматика Ходобая.

А Записки Цезаря о Галльской войне, с предисловием Поспишиля!

А «Метаморфозы» Овидия Назона, в обработке для детей и юношества, под редакцией Авенариуса!

«Энеида». «Одиссея». «Илиада».

А словари и подстрочники к Виргилию и Гомеру!

И все это не так, на воздух, на фу-фу, а с допущения цензурой и с одобрения ученого Комитета при Святейшем Правительствующем Синоде.

Что и говорить, крепкая была постройка, основательная.

...А вот, поди же ты!

Пришел ветер с пустыни и развеял в прах.

## VI

«Поэзия должна быть глуповата»...

Не этим ли пронзительным откровением Пушкина озарено было начало дней?.. Пролог истории одного поколения?

Все в этом прологе было поэзией, выдумкой, преувеличением, миражем, обожанием и поклонением.

С ужасом и восторгом стояли мы пред единственным в городе оружейным магазином и мысленно выбирали двухствольные винтовки, охотничьи ножи и кривые ятаганы.

Зловещим шепотом обсуждали грядущую экспедицию.

Портрет президента Крюгера с окладистой бородою и выбритыми усами — был святыней.

Расстоянием не стеснялись. Жертвенный порыв с географией не считался.

— Из Треповки в Трансвааль прямо, без пересадки, на освобождение буров!

Проклятие Англии, смерть лорду Китченеру!

В отряде было десять человек. Стрижка бобриком. В глазах сумасшедшинка. Фуражки набок. Штаны со штрипками. В бляхах на поясах солнце играет.

Вперед без страха и сомнений,

На подвиг доблестный, друзья!

... В одной версте от города, как раз за Казенным садом — шорох, враги, засада! два городских, невидимая тьма родителей, и во главе — Василий Касьянович Дубовский, классный надзиратель, по прозвищу Козел.

И сказал нам Козел несколько слов, о которых лучше не вспоминать.

Стыд, позор, отобранные ятаганы, темный карцер, обитый войлоком.

А главное,— издевательство и презрительные насмешки усатых восьмиклассников, говоривших басом и только о любви.

В течение двух недель, во время большой перемены, когда вся гимназия играла в чехарду и уплетала бутерброды с чайной колбасой, мы, защитники угнетенных народов, должны были исписывать страницу за страницей, повторяя одну и ту же фразу, придуманную самим Федором Ивановичем Прокошем, директором гимназии,

добродушным чехом в синем вицмундире и благоуханных бакенбардах:

— Ego sum asinus agnus<sup>1</sup>.

Надо сказать правду, пережили мы эту первую мировую несправедливость довольно быстро, и духом не упали.

Поддержал нас только один Мелетий Карпович Крыжановский, которого за глаза называли просто Мелетием, учитель словесности и друг малых сих...

Сняв свои золотые очки, как это бывало с ним во всех торжественных случаях, и, улыбаясь одними хохлацкими глазами, вовремя сказал он нам голубиное слово:

— Все это пустяки, дети мои. А главное, когда будут вас на Страшном Суде допрашивать, какие были ваши на этом свете дела и занятия, так полным голосом и отвечайте:

— Прежде всего, удирали к бурам!

И надев очки и высоко подняв указательный палец, скороговоркой добавлял:

— За это вам многое простится.

## VII

От проклятий лорду Китченеру переход к охотникам за черепами был тоже быстрый и естественный.

Поэзия меняла формы и, пожалуй, мельчала, но зато глупели мы быстро и изрядно.

Майн Рид, Габорио, Фенимор Купер были боги очередного Олимпа.

Впрочем, как неизбежная корь, свойственная возрасту, проходило это все довольно гладко и осложнений больших не оставило.

Монтигомо — Ястребиный Коготь вихрем промчался на неоседланном мустанге, и отравленные змеиным ядом стрелы, которые, пыхтя и отдуваясь, мы посылали ему вслед, пролетели мимо, не задев отважного вождя.

Увешанные скальпами, мы разложили костер на самой опушке все того же Казенного сада и, сев в кружок, закурили трубку мира.

Борьба с краснокожими кончилась молодецким налетом на баштан, где сладко дремал на солнышке древний-предревний дед, стороживший плоды земные.

Как настоящие команчи, ползком на животе и ежеминутно прикладывая ухо к земле, чтобы вернее различить лошадиный топот, медленно продвигались мы вперед, коварно огибая незатейливый шалаш деда.

Во мгновение ока овладевали, по праву храбрых, вождельными сокровищами: темно-зеленые монастырские арбузы и нагретые солнцем пахучие дыни-кенталупы утоляли жажду смелых.

<sup>1</sup> Я большой осел.

Обремененные трофеями и снова ползком, возвращались во-  
свосяси.

И начинался пир.

Арбуз о колено! и молодыми зубами, или, как грубо выражался  
нравоучительный Козел, всю мордою, вонзались в прохладную ро-  
зовую мякоть монастырок, в желтую сердцевину сахарных канта-  
луп.

Сомкнув ряды, бойко возвращались в город и, заломив фуражки,  
бешено орали во всю глотку:

— Взвейтесь, соколы, орлами!..

Если нужны были заглавия и определения, то период этих увлече-  
ний, по праву, мог бы быть назван героическим.

Впрочем, не забыть, не дай Бог, была еще одна замечательная  
книга, волновавшая юное воображение.

Называлась она «Старшины Вильбайской школы», кажется Таль-  
ботта и, надо сказать, немало содействовала нашему примирению  
с проклятой Англией.

Думается, что если и сейчас, спустя сколько десятилетий, сделать  
уцелевшему и доживающему свой век поколению, настоящий и не-  
лицеприятный «тэст», то весьма вероятно окажется, что поклонение  
Уинстону Черчиллю корнями уходит в далекое прошлое, вот в этот  
самый истрепанный томик «Вильбайской школы»!

А затем, хвастаться нечем, наступила эпоха романтики, и, что гре-  
ха таить, мешанина и неразбериха царила в этой эпохе великая.

Зачитывались мы Мачтетом. В большом почете была госпожа  
Марлитт; чувствительный Ауэрбах, со своей «Дачей на Рейне»; и  
в особенности Фридрих Шпильгаген.

«Один в поле не воин» и «О чем щебетали ласточки» были те  
недолгие этапы, на которых задерживалась взбудораженная мысль  
и намечались неясные границы между добром и злом.

Каким чудом вырабатывалось, несмотря на всю эту кашу, какое-  
то примитивное, но все же в конце концов верное чутье,— один Бог  
знает...

Очевидно, только молодое пищеварение и здоровый инстинкт  
в состоянии были усвоить и совместить—и «Хижину дяди Тома»,  
и «Пять лет на Чертовом острове»; и Пушкина и Шеллера-  
Михайлова; и Лермонтова и Данилевского; и Алексея Толстого  
и Лажечникова; и эту первую страсть и влюбленность в уличную  
плясунью, которая волновала нас не меньше, чем волновала она бед-  
ного Квазимодо.

«Дача на Рейне» осталась далеко позади, серой громадой возвы-  
шался перед нами один «Собор Парижской Богоматери», и на пло-  
щади, звеня запястьями, в пестрых лохмотьях танцевала Эсмераль-  
да.

А потом, в одно прекрасное утро,— все значительное всегда про-  
исходит в одно прекрасное утро,— на уроке геометрии, на так назы-  
ваемой камчатке, то есть там, на самых последних партах, когда  
безрадостный и одутловатый учитель Кирьяков рисовал мелом на

черной доске бесконечные свои гипотенузы, открылся нам новый мир...

Надо ли пояснять, что было нам тринадцать лет, а книга называлась только и всего, что «Анна Каренина»!

От Квазимодо к Вронскому, и от Эсмеральды к Китти дистанция была огромного размера.

Да что дистанция! Пропась самая настоящая...

И перескочить ее так, здорово живешь, одним молодцеватым и бесшабашным прыжком и думать было нечего.

Боль и жалость, смятение и восторг.

Все в этом мире оказалось сложнее и огромнее.

А помочь и растолковать тоже некому. Потому что открыться никому нельзя. Заорут. Забодают.

И кто тебе, щенок и оболтус, позволил «Анну Каренину» читать?!..

Изволь, объясняйся с ними!

Все равно не поймут.

А в голове и в сердце, и во всем существе — только и чуешь что свист паровоза и грохот товарного поезда.

«И свеча жизни, при которой...»

Ну как же все это разложить, и на какие полочки?!

Так оно комком в горле и застряло.

И, может быть, и к лучшему.

А потом пришел не учитель, а друг.

И целого поколения верный и неизменный спутник.

— Антон Павлович Чехов.

И, невзирая на безбородую юность нашу, учуяли мы его быстро и поняли, что это всерьез, и надолго, и может быть, навсегда.

«Леди Макбет» можно преодолеть и перерастить.

Но перерастить и преодолеть Чехова... «его, как первую любовь», и не могли, и не сумели бы вырвать из сердца.

И когда однажды, в душный летний день, в деревню Елизаветовку, в небольшое именье Евгения Лукича Гара, земского врача из обрусевших немцев, пришли из города газеты с известием о кончине Чехова, то, — кто теперь этому поверит? — день этот был как день осеннего солнцеворота: мы что-то внезапно поняли и сразу повзрослели.

И как ни странно, — извольте объяснить, какими путями идет этот сложный процесс в душах пятнадцатилетних школьников, — первое недовольство царским режимом, первый глухой протест, может быть даже и не вполне осознанный, породило то, что любимого нашего Чехова из чужого Баденвейлера на родину, в Россию, привезли в вагоне от устриц...

И когда студентами, много лет спустя, ходили мы в Новодевичий монастырь и, как отлично сказал Осип Дымов, приносили любимым девушкам изысканный подарок тех времен — первую зелень с могилы Чехова, — мы уже кое-что об эту пору смыслили, и, пожалуй, многое и осмыслили, и не только убежденно считали, что будущее принадлежит нам, но не упустили случая подчеркнуть, не без особого кокет-

ства, что у нас есть и прошлое, может быть и не существующее и просто для самоукрашения выдуманное, но для всякой уважительной биографии необходимое и бесспорное, и, стало быть, то самое трогательное и милое прошлое, обращаясь к которому прищуривали глаза и с полувздохом говорили:

— Мисюсь, где ты?..

## VIII

Одним из страстных увлечений ранних гимназических лет был театр.

Только в провинции любили театр по-настоящему.

Преувеличенно, трогательно, почти самопожертвенно, и до настоящего, восторженного одурения.

Это была одна из самых сладких и глубоко проникших в кровь отрав, уход от повседневных, часто унылых и прозаических будней, в мир выдуманного, несуществующего, сказочного и праздничного миража.

— «Тьмы низких истин»... и прочее.

Если зажмуриться и, повинувшись какому-то внутреннему ритму, складно и раздельно повторять вслух названия пьес и имена актеров, то кто его знает, может получиться почти поэма, а уж стихотворение в прозе наверное!

«Кип, или Гений и беспутство».

«Нана», «Заза» и «Цыганка Аза». И, конечно, «Казнь» Николая Николаевича Ге.

«Гувернер». «Первая муха». «Убийство Леди Коверлэй». «Сумасшествие от любви». «Блуждающие огни». И «Ограбленная почта».

А при всем том, «Братья-разбойники» Шиллера, «Сарданапал» Байрона; «Измена», «Старый закал» и «Соколы и Вороны» кн. Сумбатова.

Две мелодрамы — «Сестра Тереза, или За монастырской стеной». И «Две сиротки».

А потом «Ганнелле» Гауптмана. «Огни Ивановой ночи» и «Да здравствует жизнь» Зудермана.

«Дама с камелиями», «Мадам Сан-Жэн».

А «Монна-Ванна» Метерлинка!.. И, разумеется, знаменитые «Дети Ванюшина» молодого Найденова.

А главное — Островский, Островский, Островский.

«Гроза». «Бедность не порок». «Без вины виноватые»...

И два героя, за которых мы охотно пошли бы в огонь и воду, — по-разному несчастные и по-разному молодому сердцу близкие, — Любим Торцов и Гришка Незнамов.

«Пьем за здоровье тех матерей, что бросают своих детей под забором!..»

Какое сердце могло это выдержать? Весь театр всхлипывал, и то-

лько мы, молодежь, одержимые сатанинскою гордостью, всхлипать не смели, но сморкались зато часто и усиленно. Ибо и в этом было утверждение личности...

А актёры! Актрисы! Служители Мельпомены! Жрецы, «хранители священного огня»!

И прочая, и прочая, и прочая.

А имена, а звонкость, а металл!

И разве мыслимо, разве возможно было равнодушно произносить слова и сочетания, в которых жил, дышал весь аромат и дух эпохи?!

Актер Судьбинин. Актер Орлов-Чужбинин.

Черман-Запольская, на роли гран-кокетт.

Два трагика, два брата Адельгейма, Роберт и Рафаил.

Стрелкова. Скарская. Кайсарова. Дариал. Кольцова-Бронская. Анчаров-Эльстон. Мурский. Пал Палыч Гайдебуров.

Любимов. Любич. Любин. Любозаров. Михайлов-Дольский. И Строева-Сокольская.

И первая меж всех,— никакая Сарра Бернар не могла ее заменить и с ней сравниться,— Вера Леонидовна Юренева.

Особенно в эпоху увлечения Шибышевским, Шницлером и канувшим в вечность Жулавским, которого, не стесняясь нетрудными изысками, переводил для русского театра провинциальный и восхищенный А. С. Вознесенский.

И когда на сцену, в белой тунике, выходила Психея, Юренева, и молитвенно складывала руки на груди,— в те годы это был классический прием, которым выражалось и подчеркивалось целомудрие,— глаза были устремлены к небу, с которого, по недосмотру машиниста, спускались оскорбительные веревки,— и навстречу Психее, из глубины полотняных декораций, колыхавшихся от тяжеловесной походки легкокрылого Эроса, шел, тяжело дыща, сорокалетний первый любовник и низкой октавой начинал —

Я Эрос, да! Я той любви создатель,  
Что упадает вглубь и рвется в небо, ввысь,  
Я жизни жертвенник, я щедрый мук податель,  
Начало и конец во мне всего слились...

И не переводя дыхания, швырял неосязаемую, бесплотную Психею на пыльный ковер,— ну, тут провинция не выдерживала!

Стоном стонал пятярусный, до отказа переполненный театр. Восторг не знал границ, умиленное восхищение не имело пределов.

А самое изумительное заключалось в том, что подавляющее большинство потрясенных зрителей, девяносто девять на сто, и понятия не имели ни об Эросе, ни о Психее, ни о символах, ни о мифах.

Но так велика была потребность в музыке непонятных слов, пламени театральных треножников, во всех этих бесконечных перевоплощениях Психеи, которая так ни на миг и не поколебала веры в свою первозданную девственность, так хотелось этой самой твори-



мой легенды, что эх! хоть раз в жизни, но красиво!..— бис! бис! бис! bravo, Психея! bravo, Юренева! Занавес! занавес! еще раз занавес!

И, надрывая легкие, в умилении, в исступлении, в изнеможении, отдавала уездная, честная, настоящая публика свою неумеренную дань святому искусству.

\* \* \*

Театр был выкрашен в ярко-розовый цвет, на фронтоне золотыми буквами так и было начертано: Храм Мельпомены.

А под сим пояснение: театр отставного ротмистра Кузмицкого. Четыре колонны поддерживают фронтон; направо— вход для публики, с левой стороны— святая святых: вход для артистов.

Надо ли говорить, что чувствительное население толпилось именно перед входом для артистов, и каждый раз, когда появлялся, нахлобучив меховую шапку на облысевшую голову, очередной жен-премьер,— Любич, Любин, Любимов, Любозаров,— его окружали тесным кольцом, протягивая заранее купленные на последние копейки открытки с фотографией полубога, и молитвенно просили надписать.

Редакция актерских автографов была большей частью типа стандартного: «Пусть жертвенник разбит, огонь еще пылает... На добрую память истинному другу искусства Володе Сыромяткину— благодарный Артамон Рампов-Запортальский».

\* \* \*

Внутри театра все было, как надо. И вестибюль, и длинное фойе, и у каждого внутреннего входа в зал непроницаемые контролеры,— в провинции их называли билетерами.

И, наконец, самый зал.

Боже, с каким трепетом входили мы в храм искусства!

И как знали наизусть все эти ложи бенуара, бельэтажа, директорскую ложу, и все кресла первого ряда, на которых белели тщательно выписанные картонки: кресло господина полицеймейстера; товарища городского головы; управляющего акцизным сбором; начальника пожарной команды, бранд-майора Кологривова и три кресла для представителей печати...

Печать была представлена довольно широко:

«Ведомости городского Новоградского самоуправления».

Прогрессивный «Голос юга», под редакцией Димитрия Степановича Горшкова, впоследствии — члена Государственной Думы.

И наконец «Новоградские новости» Лапидуса.

Имени-отчества у Лапидуса не было, что отчасти определяло направление газеты.

Отчеты и театральные рецензии могли взбудоражить самое спокойное и насыщенное воображение.

Стиль был приблизительно такой: «...Прелестная Жданова-

Нежданова в роли Маргариты Готье художественно изобразила знаменитую сцену конвульсий в последнем акте!.. Смерть от чахотки буквально заразила весь театр. Вообще вся труппа была на высоте, чего нельзя сказать о погоде... По окончании спектакля пошел проливной дождь, что, впрочем, нельзя поставить в вину директору труппы, г. Эльскому».

В конце рецензии, в зависимости от добрых или худых отношений, в которых находился автор с отставным ротмистром Кузмицким, следовал обыкновенно один и тот же стереотип, в двух неизменных вариантах.

— Театр был наполовину полон,— писал друг искусства и ротмистра.

— Театр был наполовину пуст,— писал ядовитый Зоил.

\* \* \*

Ложи и кресла были обиты потертым от времени темно-красным плюшем, с обязательной бахромой, отливавшей волшебным блеском керосиновых ламп под молочными абажурами.

Но центром притяжения был, конечно, занавес, в тяжелых, пыльных складках, тоже весь из темного пунцового бархата, с золотыми кистями по бокам и с узорно выведенным во всю длину многообещающим изречением:

«Слезы облагораживают душу».

Правду сказать, тирада эта бывала иногда в полном противоречии с шедшим в заключение спектакля водевилем «Денщик подвел», «с пением и танцами, и при участии любимца публики, известного комика-буфф, Коныча».

Однако, что же говорить, несмотря на свое кавалерийское прошлое, отставной ротмистр был, очевидно, глубоко художественной натурой и знал, с чем что кушают.

Все в этом несомненном храме было ловко и тонко обдуманно.

И знаменитая, спускавшаяся с потолка люстра в лирах и амурах; и вышка — раек — галерка, с широковещательными надписями на каждом столбе, вроде: «Просят плевать в плевательницу» или: «Во время представления строго воспрещается опираться на соседей», и неприступного вида билетеры в потрясающих униформах с золотыми пуговицами и аксельбантами; и две настоящие древнегреческие маски из растрескавшегося гипса, одна — Афины Паллады над входом в помещение «Для дам», и другая маска Юпитера-Громовержца над входом в помещение «Для мужчин»; и, наконец, театральный буфет с прохладительными напитками — оршадом, лимонадом, сельтерской водой с сиропом, пивом завода Стрицкого; а при этом — трубочки с кремом, халва, и рахат-лукум, и настоящий мармелад фруктовой фабрики Балабухи в Киеве.

Смутным томлением, сладчайшей мукой томили душу театральные запахи.

А между тем были это всего-навсего запахи керосина и пыли; за-

пах табака, рисовой пудры и клея; душистый запах воска и цвели; и смеси российских одеколонов — Брокер, Раллэ, Номер 4711-й.

Первый, второй, третий звонок, как на вокзале, следовали с короткими промежутками, один за другим.

Лампочки, под молочными абажурами, угасали; зал стыдливо откашливался и постепенно стихал; равномерно колыхавшийся тяжёлый занавес медленно подымался вверх; и веял ветер театральный, как говорил поэт, и мистерия начиналась.

\* \* \*

Апофеозом нашей театральной жизни была, конечно, «Принцесса Греза» Ростана, в стихотворном переводе Щепкиной-Куперник.

Любовь это сон упоительный,  
Свет жизни, источник живительный...  
Люблю я любовью безбрежную,  
Любовью, как смерть, безнадежную,  
Люблю мою грезу далекую,  
Принцессу мою светлоокою,  
Мечту дорогую, неясную,  
Навеки, навеки прекрасную.  
Люблю и ответа не жду я,  
Люблю и не жду поцелуя!..

Таких бескорыстных чувств, о которых, под аккомпанемент арфы, декламировал неизвестный принц в голубом камзоле и в шляпе с перьями, опять-таки выдержать наши учащенно бившиеся сердца не могли.

И когда опустился занавес, и театр, надсаживаясь до хрипоты, кричал неистовым голосом — «Скарская, па-вта-рить!..», мы все, сколько нас было в синих мундирах, с белыми кантами и о девяти серебряных пуговицах, протискались через толпу до самой авансцены и, в момент предельного пароксизма, запустили своими гимназическими фуражками прямо на сцену...

И когда занавес опустился, бегом побежали за кулисы, чуть не опрокинув с ног стороживших входы билетеров, машинистов, пожарных и всех остальных друзей искусства.

Восторженные, красные как раки, запыхавшиеся, смущенные и счастливые, не зная, куда девать проклятые руки, очутились мы на сцене.

Занавес под неумолкавший гром аплодисментов поднялся еще раз и, замерев от страха и сознания непоправимого, навтыяжку перед Принцессой Грезой, предстали мы вместе с выходявшей на вызов всей труппой Гайдебурова пред лицом изумленного зала, пред креслами полицеймейстера, бренд-майора, а главное, дежурного классного надзирателя, у которого от ужаса даже глаза вылезли на лоб.

А Принцесса Греза — должно быть успех тоже вскружил ей голову — одной рукой посылала воздушные поцелуи на галерку, в бельэтаж и в бенуар, а другой прижимала к груди то букет белых гвоз-

дик, с атласной лентой, то одну из наших злополучных фуражек, брошенных к ее божественным ногам!

Эпилогом к пьесе Эдмонда Ростана, члена Французской академии бессмертных, было скучное постановление педагогического совета:

«За бросание фуражек на сцену нижепоименованные воспитанники четвертого класса Новоградской мужской классической гимназии подлежат исключению из числа учащихся в вышепоименованном учебном заведении».

\* \* \*

Много лет спустя, после всего, и пролога, и представления, и конца спектакля, уже в эмиграции, в Париже, покойный ныне князь В. В. Барятинский рассказывал, как однажды ночью на Rue de Passy,— и еще и луна была при этом,— услышал он откуда-то, совсем неподалеку доносившиеся до него как-то странно, но очаровательно исковерканные, знакомые, ну, совсем знакомые стихи и строфы.

— Я остановился как вкопанный,— рассказывал В. В. В лунную ночь, в Пасси, кто мог бы быть этот сумасшедший, во всеуслышание декламирующий, влюбленно и усердно коверкая строфы Ростана, в запомнившемся навсегда переводе Щепкиной-Куперник?!

Луна вышла из облаков, я почти поравнялся с неизвестным, бьюсь об заклад, что вы будете так же поражены, как и я: это был не кто иной, как сам Эдмонд Ростан.

Потом он мне признавался, что музыка русской стихотворной речи так его увлекала, а в переводе Щепкиной-Куперник было столько звуковой правды в смысле передачи французского текста, что он, Ростан, после каждого спектакля,— в это время наш театр, в котором Лидия Борисовна Яворская играла то «Орленка», то «Принцессу Грезу», уже в течение трех недель с успехом гастролировал в Париже,— все больше и больше проникался и все легче и легче усваивал, следя по собственному французскому оригиналу, стихи Татьяны Львовны, которая, впрочем, тут же, недалеко от автора, сидела в партере.

Ростан ее очень любил и высоко ценил.

## IX

Поэзия становилась все менее и менее глуповатой.

Умнея, временами она исчезала совсем и уступала место прозе, беспощадной и жестокой действительности.

Тысяча девятьсот четвертый год был годом перелома не только в истории одного поколения, но и в истории самой России.

Это только потом, много лет и десятилетий спустя, профессора и приват-доценты растолковали и объяснили, что все это было не

чем иным, как вполне закономерным процессом, что логика истории оказалась как всегда безошибочной и бесспорной и что Цусима и Ляоян были неизбежными этапами на пути к иному, светлому и лучезарному будущему...

А пока суд да дело, победителями оказались те самые презренные и желтолицые макаки, которым еще только вчера так весело кричали — шапками закидаем!..

Быстро уходили в прошлое герои вчерашнего дня.

Исчезали ореолы, оставались имена, которые ничего доброго ни уму, ни сердцу уже не говорили.

Даже на страницах добродетельной «Нивы», еженедельного семейного журнала в голубой обложке, нельзя было встретить примелькавшихся портретов генерала Куропаткина и генерала Стесселя, и многоуважаемой патриархальной бороды несчастливого адмирала Макарова.

Недобрые вести шли из далекого края.

— Битва на Ялу. Мукден. Порт-Артур. Гибель эскадры Рождественского.

И вешие буквы огнем на стене  
Чертила рука роковая...

На этот раз это была не просто декламация.

В Петербурге, в Москве на благотворительных базарах в пользу раненых еще дотанцовывали модный вальс, необычайно кстати названный — «На сопках Маньчжурии».

Но уже нескончаемой вереницей гудели по рельсам возвращавшиеся на родину поезда, и из темных и смрадных теплушек все чаще и громче раздавалось страшное, хриплое, угрожающее пение, прерываемое безнадежной площадной солдатской бранью.

«Развязка близилась к концу».

В банальном ужасе этих набивших оскомину слов заключалась, однако, и вера в нечто неизбывное, неизбежное, но лучшее.

...Быстро промчалась по Аничкову мосту черная лакированная карета.

Ливрейный лакей лихо придержал дверцу.

Длиннорукий, огромный, обезьяноподобный и неуклюжий Сергей Юльевич Витте, талантливый неудачник, приехал со всеподданнейшим докладом, в котором уже было все:

— И Портсмутский мир, и манифест 17-го октября, и все остальное лучезарное будущее.

\* \* \*

Помню, как пришли в Новоград первые номера «Сына отечества» С. П. Юрицына.

Как жадно набросились на столичные сатирические журналы — «Пулемет» Шебуева, «Сигнал» Корнея Чуковского, «Жупел» Гржебина, «Маски» Чехонина, «Зритель», «Серый волк» и другие, — имя

им легион,— вспыхнувшие, как фейерверк, и бесследно пропавшие в темноте снова наступившей ночи.

Единственный в городе газетный киоск, на углу Дворцовой и Большой Перспективной, сразу сделался источником света, очагом и распределителем гражданских чувств, надежд и обольщений.

Появились новые слова, которым на первых порах и верить не хотели, слова, заключающие в себе нечто совершенно неизвестное, волнующее, слишком великолепное и, стало быть, неправдоподобное.

— Избирательное право... конституционная монархия... Государственная Дума.

А вслед за новыми словами и новые понятия, и новые лица, новые имена.

— Герои нашего времени.

Блестящий московский адвокат, тридцати пяти лет от роду, а уж на всю Россию знаменитый,— Василий Алексеевич Маклаков, не более и не менее.

И новая звезда первой величины, еще даже и не профессор, а приват-доцент Петербургского университета, но зато не кто иной, как сам Павел Николаевич Милюков.

Дальше — больше.

Быстро привыкает непривычное ухо. Быстро усваивает новые слова:

— Кадетская партия. Партия октябристов. И один Гучков. И другой Гучков. А тут же и доктор Дубровин. И госпожа Полубояринова. И Коновницын, граф.

И по всему лицу обновленной и осчастливленной родины — пивные и чайные «Союза русского народа».

И патриотические манифестации, с портретом государя и пением «Боже, Царя храни...»

И навстречу студенческие демонстрации, и нестройный хор — «А деспот пирует в роскошном дворце»!

А по тротуарам скачут казаки, лихо работают нагайками, морду в кровь,— раззойдись, сволочь!

И вот она, быстрая расплата за короткие обольщения, за недолгую «весну», за Октябрь, роковой месяц российского календаря.

Обо всем этом написаны, и еще будут написаны, многотомные исследования, почтенные монографии, учебники и пособия.

Но, если, вызвав из огорченной, нелицемерной памяти эти отрывки воспоминаний, делишься ими вслух, то, вероятно, как говорит Бунин, в силу потребности рассказать их по-своему.

Будем правдивы, первая революция прошла мимо, только слегка задев, но еще не ранив молодых сердец.

Один из классных наставников, Петр Данилыч Дубняков, которого мы все любили за редкую независимость суждений, что, между прочим, сильно вредило его служебной карьере, погладил рано поседевшую, на совесть прокуренную бороду и приятнейшим своим хриплым баритоном сказал:

— Все это не что иное, как пролегомены к метафизике.

Покуда только цветочки, а ягодки впереди!

В ожидании чего бросьте вы всю эту музыку, равно как и ваши любовные фанаберии и корявые стихи о вечной любви, и готовьтесь, черти, к выпускным экзаменам!

Старик был прав. В течение целого года мы, как и полагается уважающему себя восьмому классу, только то и делали, что подкручивали еле пробивавшиеся усы, нахально курили папиросы «Дюбек лимонный» и самоотверженно ухаживали за всем восьмым классом женской гимназии.

Прав был Петр Данилыч и в грубоватом своем диагнозе касательно наших романов и увлечений.

Это ничего, что в первую четверть, — учебный год, как известно, состоял из четырех четвертей, — предметом вечной любви была тонкостанная и голубоглазая Лида Мерцалова; героиней второго триместра — Женя Крамаренко, среднего роста, но с темно-кариими глазами; а за три месяца до аттестата зрелости, музой и вдохновительницей первых хромых гекзаметров была уже Дуся Хоржевская, которая, если б только хотела, смело могла бы быть возлюбленной Петrarки и умереть от холеры...

Да, что ж скрывать. До знакомства с символистами, декадентами, имажинистами, футуристами мы были, хотя и верзилы, но чистой воды романтики.

Базаровым восторгались, однако же, отдав дань восторгам, преодолели.

Встречи с Арцыбашевым еще не произошло.

«Бездна» Андреева и тогда уже казалась заумной и нарочитой выдумкой.

А в Пушкине, которого, несмотря на порчу и растрление казенных хрестоматий, боготворили и знали наизусть, находили все, что было необходимо, чтобы, по предугаданному рецепту Сологуба, превратить кусок жизни, бедной и грубой, в прекраснейшую легенду о высоком и радостном.

Что ж удивительного в том, что на второй день знакомства с Лидой Мерцаловой, в поздних сумерках весеннего дня, под густолиственным шатром уездной акации, шепотом декламировалось заветное признание:

Вся жизнь моя была залогом  
Свиданья верного с тобой...

Надо сказать и то, что все вокруг, — обстановка, эпоха, провинция, самый уклад жизни, — все нам благоприятствовало, все улыбалось, все было задумано и исполнено в этом блаженном мире в самом романтическом вкусе.

Сначала мы, конечно, играли в горелки.

— Горю, горю, пеню!

— Чего ж ты горишь?

— Красну девицу люблю!..

— Какую?

— Тебя, молодую!

— А любишь?

— Люблю!

— А слышишь?

— Словлю!

Ну, и ловили, то есть честно, без дураков, а предерзко хватали прямо за тугую темно-русую косу, а то и за обе.

А потом, стало быть, играли в фанты. Очень интересно!

— Барыня прислала сто рублей, что хотите, то купите, черного и белого не покупайте, да и нет не говорите.

Так вот, не оглянешься, и триместр прошел.

Исчезала Лида. Появлялась Женя. Менялось подлежащее, оставалось сказуемое. Ведь все равно, любовь была — до гробовой доски.

И, бесстыдно глядя в темно-карие Женины глаза, с величайшей искренностью, с готовностью на подвиг, смерть, самосожжение и с теми же настойчивыми, певучими, убеждающими интонациями опять повторял наш брат-романтик или, попросту говоря, подлец:

«Вся жизнь моя была залогом...»

А самое страшное, а, может быть, самое прекрасное, было то, что мы так умилительно друг другу верили, — мы им, они нам, а все вместе — Пушкину.

\* \* \*

Каким чудом получили мы аттестат зрелости, мы и сами понять не могли.

Справедливость требует сказать, что в эту последнюю четверть перед экзаменами ни о какой очередной вечной любви и речи не было.

Не надо забывать, что министром народного просвещения был в то время не кто иной, как действительный тайный советник Делянов.

Смотрел он на вещи просто и довольствовался малым: ткни, мол, указательным перстом в текст «Илиады», как Бог пошлет, и жарь без пересадки с греческого на латинский, только и всего! — родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу.

Ну вот и тыкали.

И, что поразительно, за небольшим исключением, весьма успешно. И каждый по своей системе.

Фанатики до иступления зубрили наизусть, и хотя все знали, но ничего не помнили.

Зато циники и реалисты ни черта не знали, но имели такие шпаргалки, а на обеих манжетах такие списки неправильных глаголов и исключений, что все помнили и памятью своей действительно поражали.

Последнюю группу, то есть большинство, составляли фаталисты.



Фаталисты не только ничего не знали, но и знать не хотели.

Они имели свою систему и свою космогонию.

В ней было нечто и шарлатанское, и патетическое. Ни одуряющей зубрежки, ни шпаргалок, ни манжет.

Но... Если бы в тот золотой век человечества существовала столь распространенная ныне школьная психотехника, то тест, который был бы сделан группе фаталистов в период экзаменационной горячки, поразил бы, вероятно, не одно воображение...

Испытания на аттестат зрелости длились примерно два месяца.

Совершенно ясно, что на первый экзамен весь восьмой класс, согласно установившейся с незапамятных времен традиции, являлся в белоснежных косоворотках, или курточках из получертовой кожи, в начищенных до зеркального блеска сапогах, не говоря уже о вышеченных воротничках и римско-католических манжетах.

Само собой разумеется, что к каждому следующему испытанию косоворотки, усилиями заботливых родителей, были снова вымыты, на совесть накрахмалены и отутюжены.

Что же делали фаталисты?!.. А нет! Не так это все просто.

Недаром говорится, человеческая душа — потемки, особенно в семнадцать — восемнадцать лет, и в день экзамена по физике и космографии, в частности.

Оказывается, что фаталисты были, вдобавок, и психопаты и фетишисты:

— Не искушай судьбы! Ежели первый экзамен, вот в этой самой получертовой косоворотке, прошел благополучно, то не безумием ли было бы смыть благодать первого успеха грубым щелочным мылом и еще придушить его чугунным утюгом?!

В результате сего, и был этот молчаливый, никогда и никем кощунственно вслух не высказанный приказ по линии:

— От мая и до июля — тужурок не мыть, воротничков не менять, сапог не чистить, шевелюры не стричь, а пятаки и гривенники, предназначенные на пирожки, ватрушки и прочие похоти, — самоотверженно отдавать одноному, увешанному медалями нищему, который неусыпно дежурил у ворот гимназии и давно уже постигнул всю эту психотехнику!

И вот, сколько угодно разводите руками, пожимайте плечами, выражайте смешанное с недоверием недоумение, а истина остается непреложной.

Все эти рослые, малорослые, полуусатые, полубезусые, перегоревшие, пекекипевшие, уставшие и счастливые, фанатики, реалисты, фаталисты, циники и романтики, — весь восьмой класс Новоградской классической гимназии, почти степенно и без обычного нахального шарканья ногами, с чувством какого-то новообретенного достоинства, пара за парой, вошел в белый, просторный, холодный актовый зал и, хотя все уже было известно заранее и наизусть, затаил дыхание.

И, окруженный педагогическим советом — в мундирах, в орденах и при шпагах, — директор, Федор Иванович, откашлялся, побледнел

чуть-чуть и, расправив свои белоснежные, почти императорские, бакенбарды, произнес несколько приличествующих случаю старомодных, высокопарных и все же волнующих слов.

Все пожимали друг другу руки, наперебой друг друга поздравляли, желали, что-то несуразное говорили и невольно отвечали.

Но почти у всех глаза были на мокром месте, а отставной солдат, рыжебородый швейцар Василий в синей ливрее с серебряными нашивками, и по-настоящему прослезился.

... Что и говорить, есть блаженное слово — провинция, есть чудесное слово — уезд!

\* \* \*

В тот же вечер, быстро став героями дня, в новых студенческих фуражках с синим околышем, прошли мы церемониальным маршем по главной Дворцовой улице, шумя, галдя и все время козыряя и раскланиваясь со всеми встречными-поперечными, знакомыми, незнакомыми, со всяким празднующимся людом, не пропуская ни пароконных, ни одноконных извозчиков, ни пожарных, ни городских, а ласточек наших, коричневых, в черных передниках, гимназисток, в особенности.

И должно быть, было в самой нашей манере держаться, в походке, в размахивании тросточкой, в беспрестанном козырянии, в бесконечном закуривании «Дюбека лимонного», во всем этом неглубоком, но разгильдяйском сознании превосходства, что-то такое особенно щегольское, из ряда вон выходящее и чуть-чуть наглое, что бежавшие за нами в виде почетного эскорта уличные мальчишки только то и дело что вполголоса повторяли:

— Ишь, задаются на макароны!..

Объяснить, что значит задаваться на макароны, ни один Грот, ни Даль, вероятно, не смогли бы, но, что в этой исключительно южной и жаргонной формуле заключалась несомненная меткость определения, отрицать было нельзя.

Впрочем, смягчающих вину обстоятельств было тоже не мало, и если прикинуть и взвесить и принять во внимание, то весь этот парад борцов, как пишут на цирковых афишах, мог бы быть, по человечеству, и понят, и оправдан.

Что и говорить, честно было бы закончить эту главу гимназической юности таким мощным и стройным идеалистическим аккордом, чтобы грядущим поколениям не только завидно было, но чтобы могли они, действительно, вдохновиться высоким примером и недюжинной биографией столь замечательных отцов и дедов.

Однако, друг мне Платон, и прочее.

И истина, или правда, вот эта самая историческая правда, которой так дорожат исследователи, ученые, социологи и архивариусы, заключалась в том, что — увы! — в день получения аттестатов зрелости никакого подвига мы не совершили, никаких доблестей гражданских не проявили, никакой клятвы в верности никому и ничему не

произнесли, а, как последние оболтусы и ветрогоны, гуртом пошли в цирк братьев Труцци на Базарной площади и весь вечер до хрипоты и остервенения опять кричали «бис!», надрывались и неистовствовали.

Все было нам по душе, все было дорого и мило! И деревянные скамьи, обитые красным кумачом; и колыхавшийся над головами брезентовый кумпол, как выражались аборигены; и спускавшиеся с кумпола канаты, проволоки, качели и трапеции; и знаменитый духовой оркестр под управлением маэстро Фихтельбойма, тонко знавшего свое дело — и что кому, и в каком темпе: Ивану Поддубному, борцу и атлету — марш «Под двуглавым орлом!», для дрессированных моржей — меланхолический вальс «Невозвратное время»; а для выхода клоунов Бима и Бома — галоп Контского «Пробуждение льва»...

Ах, да разве это все?! А высшая школа верховой езды на неоседланных лошадях, под управлением директора цирка Энрико Труцци?!

Когда на арену выходил, сверкая глазами, зубами, усами в фиксауре, весь в манишках, в манжетах, с развевающимися фалдами фрака, с хризантемой в петлице, с хлыстом в одной руке, с цилиндром в другой, такой красоты и стройности матовый итальянец, что весь цирк сверху и донизу дрожал от аплодисментов, а директор все кланялся, кланялся и кланялся, а шесть вороных коней в белых лайковых уздечках и высоких страусовых эгретах, повинувшись едва приподнятому хлысту и магнетическому взору, показывали весь свой классический репертуар, подымались на дыбы, опускались на колени, кланялись влево, кланялись вправо, танцевали бальный чардаш под музыку Фихтельбойма и в заключение мчались в ряд всей шестеркой, а Энрико Труцци вскакивал по очереди то на один, то на другой сытый лоснящийся круп и, не уставая, посылал воздушные поцелуи, и разумеется стоном стонал весь цирк — юнкера, питомцы кавалерийского училища; помещики, гимназисты, коннозаводчики; полковые дамы — красавицы прошлого века; и молодцеватые парни в картузах набекрень, рабочие литейного завода Эльворти.

И не успевал умолкнуть гром аплодисментов, как этот черт Фихтельбойм ударял по нервам мазуркой Венявского, ибо уже был объявлен антракт, и нужен был достойный аккомпанемент, когда толпа хлынет за кулисы смотреть на диких зверей в высоких железных клетках, похлопывать накрытых попонами замечательных цирковых лошадок и, не щадя гривенников, угощать живой рыбой ненасытных, разевающих пасть моржей.

Какой по-иному терпкой и сладкой отравой, какими сложными запахами лошадиного помета, пропотевшей кожаной упряжи, смолы, пачулей, жженой пробки и еще чего-то неизвестного, но остро раздражающего, был пропитан воздух цирковых кулис, воздух конюшен, описанный всеми беллетристами и на всех языках!

Кончался антракт, наступал апофеоз.

Сердца переставали биться, и было от чего...

В ослеплении бенгальских огней, в неверном свете ацетиленовых прожекторов, под звуки неопикуемых ноктюрнов Фихтельбойма, в особо опасные моменты прерываемых глухой предсмертной дробью барабана, одна, с револьвером в лайковой ручке, со стэкком в другой, с заученной улыбкой на вишневых губах, не спуская пронзительных, синих, подрисованных глаз с трех медленно переступающих друг за другом упругих, тяжелых, неизвестно кому и почему повинующихся леопардов,— мисс Джонни Пэйдж, укротительница зверей, христианская мученица, богиня, волшебница, мечта любви, стройная, хрупкая, незащитная,— чего еще!.. каких еще искать причин, мотивов, поводов и оправданий, чтоб объяснить этот сумасшедший взрыв энтузиазма, страха, нежности и восторга, и почти готовности броситься туда, на арену, в пасть зверя,— лишь бы уберечь, оградить, спасти — все тот же образ, поразивший душу,— не все ль равно — плясуньи Эсмеральды, Принцессы Грезы, Мисс Джонни Пэйдж или чеховской Мисюсь?!

\* \* \*

Вышли мы из цирка, шатаясь, усталые, неприкаянные, нелепые, и опять, и навеки счастливые.

Июльская ночь ворожила и нежила. Какой-то охрипший бас из молодой ватаги затянул ни к селу ни к городу:

Синее море — священный Байкал,  
Славный корабль — омулевая бочка.  
Эй, баргузин, пошевсливай вал,  
Молодцу плыть недалечко...

И весь хор новоградских абитуриентов — титул, слово-то какое! — стройно, нестройно, но все же подхватил:

— Молодцу плыть недалечко!

Впрочем, все это отдавало не столько революцией, сколько озорством, нарушением общественной тишины и порядка.

А может быть, был в этом и какой-то бессознательный корректив, поправка на гражданские чувства, извинение за моржей, зверей, за брезентовый цирк Энрико Труцци...

## Х

— В Москву, в Москву, в Москву...

Подобно чеховским трем сестрам, все или почти все, мы были обуреваемы одним и тем же безрассудным, не вполне объяснимым, но страстным и непреодолимым стремлением попасть именно туда, в один из самых прославленных и старейших университетов России, о котором, чего-то не договаривая, но всегда увлекательно, загадочно и многозначительно рассказывал нам еще наш гимназический учитель словесности, милейший Черномор, Мелетий Карпович.

Все это, однако, было не так просто. Правила, циркуляры, инструкции, зависимость от того или иного учебного округа, — одним махом все эти рогатки и перегородки не перепрыгнешь.

Помечтать помечтали, а в действительности оказались не в Москве, на Моховой, а в императорском Новороссийском университете в Одессе, на Преображенской улице, и на юридическом факультете, само собой разумеется.

Нисколько не кокетничая и ни в какой мере перед потомством не прихорашиваясь, надо сказать, что тяга на юридический заключала в себе все признаки наивного идеализма и искреннего бескорыстия, ничего общего ни с какой так называемой карьерой не имевших.

Ведь недаром, в самые глухие и жестокие времена даже уголовных каторжан в России называли несчастенькими; «Записки из мертвого дома», хотя и в сокращенном виде, но читались запоем и от строки до строки; а в начале вот этого самого двадцатого столетия, помимо того, что еще дышали ароматом шестидесятых годов, величием судебных реформ Александровской эпохи, но еще страстно увлекались политическими процессами 1904—1905 гг., в особенности после убийств Сипягина, Плеве, великого князя Сергея Александровича.

Русская адвокатура, в представлении поколения, это была та горсть настоящей интеллигенции, которая в самые глухие и безобразные времена одна возвышала свой одинокий, смелый, тоскою и негодованием звеневший голос над бесправной, молчавшей, задыхавшейся от злобы и повиновения страной, исподлбья глядевшей своими мутными, темными, глубоко сидевшими, мужицкими глазами.

Обаяние имен — А. Ф. Кони, Ледницкого, Куперника, Плевако, Пассовера, Карабчевского, Андреевского, кн. Эристова, Маклакова, Тесленко, Слиозберга — немало содействовало этому повальному эпидемическому увлечению судом, защитой, престижем сословия присяжных поверенных.

По праву гордилась тогдашняя дореволюционная Россия своими адвокатами, своими защитниками, теми всеми, кто с умом, с изяществом и почти с донкихотской отвагой, первым бросался вперед и шел до конца и напролом, чтоб напомнить русской дебелий бабиче, грузной и сырой Альдонсе, о тонком образе бессмертной Дульцинеи, о вольности, о погранном, но неотъемлемом праве жить и дышать.

Но все это были еще далекие мечты, неясная, только намечавшаяся цель, а покуда надо было двигать самую науку и постигать истины и дисциплины, о которых мы имели довольно смутное понятие.

Знали только, что существует большой том политической экономии Железнова и что каждый «сознательный элемент» должен его знать наизусть.

Увы, Железнов Железновым, а действительность оказалась весьма и весьма убогой.

Новороссийский университет того времени, о котором идет рассказ, был одним из самых мрачных во всей империи.

А еще мрачнее и бездарнее был его юридический факультет.

Все эти профессора, читавшие энциклопедию права, государственное право, статистику, политическую экономию, римское право, уголовное право, и все прочие права,— церковное, финансовое, гражданский процесс, уголовный процесс,— все они, казалось, были каким-то злым и хитроумным чертом собраны и подобраны с единственной целью — сразу отбить охоту и к науке, и к праву, и к сословию присяжных поверенных, и к прочим тлетворным фантазиям и вредным фанабериям.

К чему имена? Бесславные носители их, какие они там ни были благонамеренные чиновники, статские и действительные статские советники, и кавалеры многих орденов, все они давно уже покойники, а о покойниках есть идиотское обыкновение — либо ... и так далее.

Впрочем, единственное имя стоит и с благодарностью следует упомянуть, ибо это было действительно светлое пятно на тогдашнем новороссийском горизонте.

— Алексей Яковлевич Шпаков, ученик самого Владимирского-Буданова, автора знаменитых многотомных трудов по истории русского государственного права.

Талантливый, во всех смыслах приятный, начиная от безукоризненно-демонстративной стрижки бобриком в противовес нечистоплотным академическим шевелюрам, молодой синеглазый Шпаков был буквально влюблен в свой предмет, и когда рассказывал о Новгородском Вече, то так увлекался, что с неизменным и неподдельным пафосом восклицал:

— Не будь Веча, ничего не было бы! Понимаете, господа, ничего-го!

В ответ на что, один и тот же революционный студенческий бас, принадлежавший грузину Абаккелия, гудел «в порядке дискуссии»:

— Да ведь ничего, Алексей Яковлевич, и нет!

На что, обнажая свои белоснежные зубы, Шпаков с места и горячо сейчас же парировал:

— Так вот именно, друзья мои, поймите же вы раз навсегда, что не будь Веча, то даже и того, чего нет, тоже не было бы!..

Аудитория раздражалась оглушительным смехом, мы уже давно научились понимать друг друга.

\* \* \*

Было, впрочем, еще одно полусветлое или, как хотите, полутемное пятно в эти годы университетской ссылки, и свидетель истории должен его отметить.

Это — «допущение в высшие учебные заведения лиц женского пола, обладающих надлежащим цензом, в качестве вольнослушательниц»...

Теперь, спустя несколько декад, все это кажется столь незначительным пустяком, о котором, может быть, и толковать не стоит.

Но в те мрачноватые года это была не только своего рода либеральная уступка, первый шаг к женскому равноправию, но с нашей узкой и эгоистической точки зрения неисправимых ветрогонов, обреченныхдохнуть от скуки на лекциях нелюбимых и неуважаемых профессоров, появление женского элемента сразу оживляло пейзаж и на первых порах даже в некоторой степени содействовало более регулярному посещению и курсов, и практических занятий, и каких-то дополнительных вечерних семинаров.

Возможно, что через двести—триста лет, когда жизнь станет невыразимо прекрасной, как мечтал дядя Ваня, и мы увидим небо в алмазах, мы, кроме того, увидим и ощутим и пользу и необходимость совместного обучения и образования.

Но, по совести сказать, тот первый шаг к женскому равноправию, свидетелями которого нам пришлось быть, большим вкладом в философию гуманизма не оказался.

Пейзаж, что и говорить, был оживлен до чрезвычайности...

Взаимные зарисовки профилей и фасов, летучая почта, «шепот, робкое дыханье», вся смутная и нездоровая атмосфера полуреволюционных лет, Арцыбашевские флюиды, рефераты профессора Арабажина, откровения Вейнингера, начальный курс Фрэйда, проблемы пола, ресторан Квисисана по образцу Петербургского, толпы блоковских Незнакомок в длинных черных перчатках, в «страусовых» перьях, несколько скандалов в стенах университета, несколько исключений, административных кар, даже какое-то экстренное совещание ректора с градоначальником,— а градоначальника звали генерал Толмачев,— словом, никакой романтики, никаких «Дней нашей жизни», Андреевских упоений, Воробьевых гор, ничего похожего на море Айвазовского, на «Какой простор» Репина, на Козиху, на Плющиху, на Моховую улицу, на все эти легенды-сказки профессора Железнова, Максима Максимыча Ковалевского, и в Москве, на Москва-реке, где Манеж считается частью университета и жизнь бьет ключом, и все любят друг друга, и верят в будущее, и на лекции идут как на праздник, потому что это храм науки, и профессоров зовут Сергей Андреевич Муромцев, и князь Трубецкой, и Шершеневич, и де ла Барт, и Комаровский, и вся остальная плеяда, и все это независимо от женского равноправия и автоматического ресторана Квисисана...

\* \* \*

Так или иначе, а университет становился делом побочным и второстепенным, печальной необходимостью, которую надо было побороть, преодолеть, и только.

Отбарабанить четыре года, получить диплом и отрясти прах от ног своих...

Были, конечно, проблески и просветы даже в этом почти поголовном пренебрежении к казенной науке.

Окончательно задуть этот самый огонек, горевший в молодых душах, и совсем уж доканать и убить столь естественную жажду, понять, узнать, осмыслить, научиться — не смогли даже все эти собранные воедино убогие, воистину гоголевские персонажи.

В похвальном рвении своем неисправимые упрямыцы быстро находили себе подобных, и, один за другим, стали появляться и возникать те самые кружки для самообразования, которыми смело могло бы гордиться, в лучшем случае, любое уездное общество попечения о народной трезвости.

А между тем дело шло ведь не о букваре для неграмотных, а о самой догме римского права, которой многие из нас действительно увлекались, и, чтоб поразить узколобых и скептиков и положить их на обе лопатки, швыряли им с убийственной небрежностью:

— Вот вы думаете, остолопы, что догма это раздва-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять... А Момзен и Иелинек говорят в один голос, что это все штучки потрясающей глубины... Да-с! И что римское право, — тут следовала нечеловеческая пауза, — вышло целиком из разбойничьего духа римлян!..

И вот, как всегда бывает, большинство шло по линии наименьшего сопротивления, то есть опять конспекты и опять шпаргалки, — тянут, потянут, вытянуть не могут, и сами себе, в утешение, извлекают из Апухтина и на ус мотают:

Когда будете, дети, студентами,  
Не ломайте голов над моментами,  
Над Гамлетами, Лирами, Кентами,  
Над царями и над президентами...

А другие, своим умом и не без упорства тоже, не по линии наибольшего сопротивления, — то есть в дигесты, в глоссы, в дебри и комментарии, — из семестра в семестр, от зачета к зачету, и оптом и в розницу, и в кружках и самотеком, и прямым беспересадочным рейсом к «светлому будущему», в порядке самообмана, самообразования и отчаяния!

## XI

Годы шли, а вокруг, на берегу самого синего моря, шумел, гудел, жил своей жизнью великолепный южный город, как камергерской лентой опоясанный чинным Николаевским бульваром, Александровским парком, обрывистыми Большим и Малым Фонтанами, счастливой почти настоящей Аркадией, и черно-желтыми своими лиманами, Хаджибеевским и Куяльницким.

С высоты чугунного пьедестала, на примыкавшей к морю площади, неуклонно глядела вдаль бронзовая Екатерина II, а к царским ногам ее верноподданные сбегались переулки — Воронцовский, Румян-



цевский, Чернышевский, Потемкинский, и прямые, ровные, главные улицы, параллельные и перпендикулярные, носившие роскошные имена дюка де Ришелье, Де-Рибаса и Ланжерона.

Внизу, в порту, день и ночь работали черномазые грузчики, грузили золотое пшено на чужеземные суда, в жадно открытые корабельные пасти; пили мертвую в портовых кабаках; буйно гуляли, с бранью, криком, кровью и поножовщиной; и шибко, напропалую, торопливой матросской любовью любили, и щедрую платили дань, и смертным боем били недорогую, искушенную, мимолетную женскую красу...

Утопил девочку,  
Мутная вода...  
Пожалей мальчонку,  
Пропал навсегда!

А наверху, над портом, над красными пароходными трубами, рыбацкими судами, парусными яхтами, зернохранилищами и элеваторами, лебедками и кранами, над всем этим копошившимся внизу муравейником, увенчанный осьмиугольной зелено-бронзовой главой, возвышался городской театр, гордость Одессы, а в театре, во все времена года, пели итальянские залетные соловьи, и звали их, как в либретто,— Сантарелли, Джиральдони, Тито Руффо, Ансельми, и еще Марио Самарко, которого студенты окрестили Марусенькой, и подносили ему адреса, неизменно начинавшиеся латинской перифразой из знаменитой речи Цицерона:

«Quousque tandem, Catilina, abutere patientia nostra et rapere virgines nostras?!»

(«До каких пор, Катилина, будешь ты злоупотреблять терпением нашим и похищать девушек наших?!»)

Певец посылал в ответ все те же воздушные поцелуи и улыбался так, как улыбаются все баловни судьбы, и опять повторял, в который раз, из «Сельской чести»:

— Viva il vino spumeggiante...

Любовь к итальянской опере считалась одной из самых прочных и укоренившихся традиций в этом чудесном и легкомысленном городе, и наиболее просвещенные меломаны, как бы в оправдание своего неизменного пристрастия, не упускали случая напомнить забывчивым и просветить невежд:

— Ведь даже, сосланный на юг России, сам Александр Сергеевич Пушкин услаждал свои невольные досуги столь частым посещением итальянской оперы, что генерал-губернатор Новороссии граф Воронцов, на отеческом попечении и под надзором коего он находился, обратил на это сугубое внимание...

Тем более, что появлялся поэт всегда в одной и той же ложе, принадлежавшей супруге почтенного сербского негоцианта, смуглой красавице Амалии Ризнич.

Ссылка Пушкина, ссылка на Пушкина,— после этой литературной цитаты, столь изысканной и столь красноречивой, умолкали даже самые строптивые старожилы, требовавшие «Князя Игоря», «Рог-

неды» и половецких танцев, а не слабосильных герцогов в напудренных париках и каких-то плебейских цирюльников, хотя бы и севильских...

\* \* \*

Кроме портовых босяков и колоратурных сопрано, были в Одессе свои любимцы, знаменитости и достопримечательности, которыми гордились и восхищались, и одно упоминание о которых вызывало на лица неподдельную патриотическую улыбку.

Так, например, пивная Брунса считалась первой на всем земном шаре, подавали там единственные в мире сосиски и настоящее мюнхенское пиво.

Пивная помещалась в центре города, на Дерibasовской улице, окружена была высоким зеленым палисадом и славилась тем, что гостю или клиенту ни о чем беспокоиться не приходилось, старый на кривых ногах лакей в кожаном фартуке наизусть знал всех по имени, и знал кому, что и как должно быть подано.

После вторников у Додди, где собирались художники, писатели и артисты и где красному вину удельного ведомства отдавалась заслуженная дань, считалось, однако, вполне естественным завернуть к Брунсу и освежиться черным пенистым пивом.

Сухой, стройный, порывистый, как-то по особому породистый и изящный, еще в усах и мягкой, шатеновой и действительно шелковистой бородке, быстро, и всегда впереди всех, шел молодой Иван Алексеевич Бунин; за ним, как верный Санчо-Пансы, семенил, уже и тогда чуть-чуть грузный, П. А. Нилус; неразлучное трио — художники Буковецкий, Дворников и Заузе — составляли, казалось, одно целое и неделимое; и не успевал переступить порог популярный в свое время А. М. Федоров, поэт и беллетрист, как Бунин, обладавший совершенно недюжинным, совершенно исключительным даром пародии, и звуковой и мимической, начинал уже подбираться к намеченной жертве:

— Александр Митрофанович, будь другом, расскажи еще раз, как это было, когда ты сидел в тюрьме, я, ей-Богу, могу двадцать раз подряд слушать, до того это захватывающе интересно...

Федоров, конечно, не соглашался, и «за ложную стыдливость, каковой всегда прикрывается сатанинская гордость», немедленно подвергался заслуженному наказанию.

Карикатура в исполнении Бунина была молниеносна, художественна и беспощадна.

Этот дар интонации, подобный его дару писательства, невзирая на смелость изобразительных средств, не терпел ни одной сомнительной, неверной или спорной ноты.

Переходя на тонкий тенор, острый, слащавый и пронзительный, Бунин обращался к воображаемой толпе политических арестантов, которых вывели на прогулку, и, простирая руки в пространство, в самовлюбленном восторге, долженствовавшем быть благовестом для

толпы, кричал иступленным уже не тенором, а вдохновенно-фальшивым фальцетом:

— Товарищи! Я—Федоров! Тот самый... Федоров!.. Я— вот он, Федоров!..

Присутствовавшие надрывали животики, Бунин театрально отирал совершенно сухой лоб, а виновник торжества подносил своему палачу высокую кружку пива и, криво усмехаясь и заикаясь, говорил:

— А теперь, Иван, изобрази Бальмонта — «и хохот демона был мой!».

Но этот маневр диверсии не всегда удавался, тем более, что пародию на стихи Бальмонта, где каждый куплет кончался рефреном «И хохот демона был мой!» — во всяком случае немислимо было воспроизводить у Брунса, где было много посторонней публики, не всегда способной оценить некоторые свободололюбивые изыски бунинской пародии...

\* \* \*

Итальянская опера, пивная Брунса, кондитерская Фанкони, кофейное заведение Либмана, — все это были достопримечательности неравноценные, но отмеченные наивной прелестью эпохи, которую французы называют:

— Dix-neuf cents... La belle époque!<sup>1</sup>

Но был им присущ какой-то еще особый дух большого приморского города с его разношерстным, разноязычным, но в космополитизме своем по преимуществу южным, обладающим горячей и беспокойной кровью населением.

Жест в этом городе родился раньше слова.

Все жестикулировали, размахивали руками, сверкали белками, стараясь объяснить друг дружке — если не самый смысл жизни, то хоть приблизительный.

А приблизительный заключался в том, что настоящее кофе со сливками можно пить только у Либмана, чай с пирожными лучше всего у Фанкони, а самые красивые в мире ножки принадлежат Перле Гобсон.

Чтоб не томить воображение, скажем сразу, что Перла Гобсон была мулаткой и звездой «Северной гостиницы».

Каковая «Северная гостиница» ничего Диккенсовского в себе не заключала, никакой мистер Пикквик никогда в ней не останавливался, а принадлежало это скромное название всего только кафешантану, но, конечно, первому в мире.

За столиками «Северной гостиницы», в зале, расписанном помпейскими фресками, или приблизительно, можно было встретить всех тех, кого принято называть «всей Одессой».

Богатые, давно обрусевшие итальянцы, которым почти целиком

<sup>1</sup> Девятисотые годы... Блестящая эпоха!

принадлежал Малый Фонтан с его мраморными виллами и колоннадами; оливковые греки, торговавшие рыбой и сплошь называвшиеся Маврокордато; коренные русские помещики, по большей части с сильной хохлацкой прослойкой; евреи, обросшие семьями, скупщики зерна и экспортеры, и среди них герои и действующие лица «Комедии брака» Юшкевича; морские офицеры в белых тужурках с черными с золотом погонями, со сдержанным достоинством оставившие кортики в раздевалке; несколько кутящих студентов в мундирах на белой подкладке, лихо подъезжавших в фазтонах на дутиках; и, наконец, два аборигена, два Аякса, два несравненных одесских персонажа, которыми тоже немало и с трогательным постоянством гордилась южная столица.

Одного звали Саша Джибелли, другого Сережа Уточкин.

Отсутствие отчеств несколько не говорило о недостатке уважения, скорее наоборот: это было нечто настолько свое, настолько родное и близкое, что как же их было называть иначе, как не сокращенными, милыми, домашними именами?!

За что ж их, однако, любили и уважали?

Никаких подвигов Саша Джибелли не совершил, ничего такого не изобрел, не выдумал, никаких ни военных, ни гражданских доблестей не проявил.

Но настолько был, миленький, красив, и лицом и движениями, настолько приятен, и в таких гулял умопомрачительных, в складочку выутюженных белых брюках с обшлагами, и такие носил, душка, гетры на желтых штиблетах с пуговицами, и портсигар с монограммой, и тросточку с набалдашником, и шляпу-панаму, а из-под шляпы взгляд темно-бархатный, что ходили за ним по Дерibasовской, как за Качаловым на Кузнецком мосту, толпы поклонниц, вежливо сказать, неумеренных, а честно сказать — психопаток.

А сам он только шурился и улыбался, и все дымил папиросками, по названию «Графские».

А что про Сашу Джибелли друг другу рассказывали и всегда по секрету, и каких только ему не приписывали оперных примадон, драматических гран-кокетт, львиц большого света и львиц полусвета, хористок, гимназисток, белошвеек и епархиалок, — списку этому и сам Дон-Жуан мог позавидовать.

Надо полагать, что в Одессе, как и в Тарасконе, была манера все преувеличивать, но, преувеличивая, делать жизнь краше и соблазнительнее.

Несомненно, однако, и то, что, все равно, очищенная от легенды или приукрашенная, а биография Саши Джибелли еще при жизни героя вошла в историю города, и историей этой город весьма гордился, как до сих пор гордится Казановой Венеция...

И все же, в смысле славы, сияния, ореола — Сережа Уточкин был куда крупнее, значительнее, знаменитее.

И бегал за ним не один только женский пол, а все население, независимо от пола, возраста, общественного положения и прочее.

Красотой наружности Уточкин не отличался.

Курносый, рыжий, приземистый, весь в веснушках, глаза зеленые, но не злые. А улыбка, обнажавшая белые-белые зубы, и совсем очаровательная.

По образованию был он неуч, по призванию спортсмен, по профессии велосипедный гонщик.

С детских лет брал призы везде, где их выдавали. Призы, значки, медали, ленты, дипломы, аттестаты, что угодно.

За спасение утопающих, за тушение пожаров, за игру в крикет, за верховую езду, за первую автомобильную гонку, но самое главное, за первое дело своей жизни — велосипед.

Уточкин ездил, лежа на руле, стоя на седле, без ног, без рук, свернувшись в клубок, собравшись в комок, казалось управляя стальным конем своим одною магнетической силой своих зеленых глаз.

Срывался он с лошади, разбивался в кровь; летел вниз с каких-то сложных пожарных лестниц; вообще живота своего не щадил.

Но чем больше было на нем синяков, ушибов, кровоподтеков и ссадин, тем крепче было чувство любви народной и нежнее обожание толпы.

В зените славы своей познакомился он с проживавшим в то время в Одессе А. И. Куприным.

Любовь была молниеносная и взаимная.

— Да ведь я тебя, Сережа, всю жизнь предчувствовал! — говорил Куприн, жадный до всего, в чем сказывались упругость, ловкость, гибкость, мускульная пружинность, телесная пропорциональность, неуловимое для глаза усилие и явная, видимая, разрешительная, как аккорд, удача.

Красневший до корней волос Уточкин только что-то хмыкнул в ответ и, заикаясь, — ко всему он еще был заяка, — уверял, что рад и счастлив, и что очень все это лестно ему...

А что лестно, и в каком смысле, и почему, так и не договорил.

Потом где-то в порту долго пили красное вино, еще дольше завтракали в еврейской кухмистерской на Садовой и уже поздно вечером у Брунса, без конца чокаясь высокими кружками с черным пивом, окончательно перешли на ты, — Куприн со свойственным ему добродушным лукавством и этой чуть-чуть наигранной, безразличной и звериной простотой, Уточкин, нервно двигая скулами, краснея и заикаясь.

Увенчанием священного союза был знаменитый полет вдвоем на одном из первых тогда самолетов. Вся Одесса, запрудившая улицы, конная полиция, санитарные пункты, кареты скорой помощи, невиданное количество хорошеньких, как на подбор, сестер милосердия с красными крестиками на белых наколках, подзорные трубы, фотографы, бинокли, рисовальщики, градоначальник, производивший смотр силам, стоя в пролетке, — и, наконец, не то вздох, не то крик замершей толпы и... — «белая птица, плавно поднявшись над городом, то исчезает в облаках, то снова появляется в голубой лазури», как вдохновенно писал местный репортер Трецек.

Впрочем, сами участники этой нашумевшей тогда прогулки,

и А. И. Куприн, и Уточкин, подробно рассказали о своих воздушных впечатлениях на страницах «Одесских новостей».

Надо ли говорить, каким громом аплодисментов встретила Уточкина «Северная гостиница», когда чуть ли не на следующий день «король воздуха», как выражался неуспокоившийся Трецек, очастливил ее своим посещением?

Саша Джибелли поднес ему венок из живых цветов с муаровой лентой и соответствующей надписью древнеславянской вязью.

Два Аякса троекратно облобызались, оркестр сыграл туш, а когда Перла Гобсон, освещенная какими-то фиолетовыми лучами, произнесла по-английски несколько приветственных слов от имени дирекции кафе-шантана, энтузиазм публики достиг апогея.

Весь зал поднялся со своих мест, какие-то декольтированные дамы, не успев протиснуться к Уточкину, душили в своих объятиях сиявшего отраженным блеском Сашу Джибелли, а героя дня уже несли на руках друзья, поклонники, спортсмены, какие-то добровольные безумцы в смокингах и пластронах, угрожавшие утопить его в ванне с шампанским...

Положение спас С. Ф. Сарматов, знаменитый куплетист и любимец публики, говоря о котором одесситы непременно прибавляли многозначительным шепотом:

— Брат известного профессора харьковского университета Опельховского, первого специалиста по внематочной беременности!

Сам Сарматов был человек действительно талантливый и куда скромнее собственных поклонников.

Появившись на эстраде в своих классических лохмотьях уличного бродяги, оборванца и пропойцы, «бывшего студента Санкт-Петербургского политехнического института, высланного на юг России, подобно Овидию Назону, за разные метаморфозы и прочие художества», Сарматов, как громоотвод, отвел и разрядил накопившееся в зале электричество.

Немедленно исполненные им куплеты на злобу дня сопровождались рефреном, который уже на следующий день распевала вся Одесса.

Дайте мне пилота,  
Жажду я полета!..

Восторг, топот, восхищение, рукоплескания без конца.

Опять оркестр, и снова пробки Редерера и вдовы Клико то и дело взлетают вверх, к звенящим подвескам люстры, а на сцене уже, всех и все затмившая, шальная, шалая, одаренная, ни в дерзком блеске своем, ни в распутной заостренности непревзойденная, в платье «цвета морской волны», ловким, рассчитанным движением ноги откидывая назад оборки, кружева, воланы предлинного шелкового шлейфа, появляется М. А. Ленская, из-за которой дерутся на дуэли молодые поручики, покушаются на самоубийство пожилые присяжные поверенные и крепкой перчаткой по выбритым щекам днем, на Дерибасовской улице, супруга официального лица публично бьет лицо по физиономии...

Будет о чем поговорить на лиманах, на Фонтанах, у Либмана, у Робина, у Фанкони, в городе и в свете, а также в редакциях всех трех газет — «Одесских новостей», «Одесского листка» и «Южного обозрения».

Не только в самой столице, но далеко за ее пределами, всем южанам, как чеховским «бирюлевским барышням», давно известно было, что «Одесские новости» — это Эрманс, «Южное обозрение» — Исакович, а «Одесский листок» — Н. Н. Навроцкий.

А еще было известно, что недавней короткой славой своей «Одесский листок» обязан был самому Власу Михайловичу Дорошевичу, которого отбил у Навроцкого не кто иной, как Иван Димитриевич Сытин.

И не то что так, просто отбил, а чтобы поставить вдохновителем и главным редактором московского «Русского слова».

И все это, несмотря на происшедшее между ними в свое время, в самом начале века, недоразумение, или, как отвлеченно выражался Сытин, случай.

Замечательно и то, что оба рассказывали этот случай, каждый в свойственном ему стиле или манере, но по существу совершенно одинаково.

Что, вообще говоря, является большой редкостью, а в так называемой литературной среде тем более.

В сочной передаче Сытина история эта показалась нам особенно живописной.

А выслушали мы ее много, много лет спустя, в 1923 году, в марте месяце, и вот в этом самом городе Нью-Йорке.

Покойный Сытин вырвался из Москвы, получив миссию организовать грандиозную выставку советской живописи в Америке.

По ходу действия, как говорит Зошенко, советской живописью назвалось все, что можно было найти наиболее выдающегося в петербургском Эрмитаже, в московской Третьяковской галерее и, разумеется, в частных коллекциях, ставших собственностью рабочих и крестьян.

Вся эта затея, как и предшествовавшие ей гастроли Московского Художественного театра, который на свой страх и риск возил из Москвы в Нью-Йорк один из самых прославленных и влюбленных в свое дело импресарио, Л. Д. Леонидов, должна была закосневшую, окостеневшую в долларах буржуазию и ослепить, и оболванить.

После первой пятилетки, на шестой год октябрьского переворота, надо было что-то предъявить, чем-то ударить в нос, какой-то показать товар лицом, снять его со старых дореволюционных складов, но пометить сегодняшним днем и заштемпелевать как следует — «Made in USSR», а там видно будет.

Чрез всесильного, губастого, слюняво-сговорчивого Луначарского, благодаря добрым друзьям, а также и бывшим метранпажам, удалось старику получить командировку и со свойственной ему неисправимой добросовестностью «выполнить и перевыполнить» сумбурную, сложную, неблагоприятную задачу.

— Помилуйте, — рассказывал Сытин, — у меня ведь в Москве заложниками вся семья осталась, дети, внуки, да еще чудом удалось в деревне, под Москвой, весь мой церковный хор сохранить. Доказал им, голубчикам, что это дело вполне народное, и все мои певчие самые что ни на есть чистой воды мужики и крестьяне.

Ну вот, видите, и поверили, и на весь хор продовольственные карточки выдали. А я, конечно, один за все отвечаю и за всех ручаться должен. И за детей и внуков, и за хористов в хоре, и за наборщиков в бывшей моей типографии...

Так что соблюдать себя должен аккуратно, сами догадываются, — белого и черного не покупайте, да и нет не говорите.

... Не помню как, но беседа естественно перешла на недавнее, а в безвозвратности и неповторимости своей — уже стародавнее прошлое.

Кто-то из присутствующих, если не ошибаюсь, покойный А. Л. Фовицкий, стал расспрашивать о бывших русскословцах, имена которых знала вся грамотная Россия.

Разговор, разумеется, коснулся и Дорошевича.

Вспоминали его единственную в своем роде лекцию, в январе 18-го года, в переполненном до отказа цирке Никитина, на Садовой.

Все уже было кончено, свергнуто и коленом к земле придушено.

Россия полным ходом шла к военному коммунизму.

Надо было иметь много гражданского мужества, близкого к отчаянию, и много нерастраченного пафоса, и жгучей, невысказанной, неизжитой ненависти, чтоб в зиму 18-го года решиться на подобное выступление, прикрытое пестрой мишурой официальной темы:

«Великая французская революция в воспоминаниях участников и современников...»

Цирк был переполнен. Люди дрожали от холода, переминались с ноги на ногу, и от человеческого дыхания образовалось какое-то мутное марево, и в нем желтым неверным светом, то совсем потухая, то мигая, горели электрические лампочки.

Дорошевича встретили как надо: стоя, неистово аплодируя, но без единого слова, крика, неосторожного приветствия.

Он был в шубе, в высокой меховой шапке, чуть сутулый и сам высокий, уже смертельно желтый и обреченный, в неизменном своем с широким черным шнуром пенсне, которое он то снимал, то снова водружал на свой большой мясистый нос.

Он читал, то и дело отрываясь от написанного, по длинным, узким, на редакционный манер неразрезанным листкам бумаги, читал ровным, четким, ясным, порой глуховатым, порой металлическим, но всегда приятным для слуха низким голосом, без аффектации, без подчеркивания, без актерства.

Читал он, и вернее говорил, о событиях и вещах страшных, жутких, безнадежных, полных острого, вещего, каждодневного смысла.

За одни упоминания о подобных вещах и событиях в Москве, в январе 18-го года, у любых дверей вырастали латыши и китайцы преторианской гвардии.



И путь был для всех один: на Лубянку.

Все это понимали, чувствовали, ни с кем не переглядываясь, друг друга видели, лектор толпу, толпа лектора, и так в течение полутора или двух часов этого незабываемого вечера...

Через сравнительно короткий промежуток времени, в Крыму, от быстро развивавшейся болезни, от разжижения мозга, Дорошевич умер.

Закрыла глаза ему его молодая жена, красивая, жадная к жизни, актриса Ольга Миткевич.

У Гейне есть стихи, в переводе Вейнберга.

Стихи эти, вернее, две строчки из них, Влас Михайлович при жизни, с недоброй улыбкой любил декламировать:

Но та, кто всех больше терзала,  
И мучила сердце мое...

И, не кончив четверостишия, останавливался.

\* \* \*

На лекции Дорошевича, о которой вспомнил Фовицкий, Сытин не был, но, конечно, много об этом выступлении слышал, и тут-то, словно коснулись мы неких заповедных струн, старик расчувствовался, разошелся и сам предложил:

— А не хотите ли, я вам расскажу, как у нас с покойным Власом Михайловичем знакомство произошло?

Долго нас уговаривать не пришлось.

— Было это больше сорока лет тому назад, одним словом, в конце девяностых годов. Торговал я у Проломных ворот, имел свой ларь, как следует быть, железом окованный; и цельный день, с утра и до вечера, топтался на одном месте, чтоб, не приведи Господи, покупателя не пропустить.

Ну, товар был у меня всякий, какой надо:

И «Миллион снов», новый и полный сонник с подробным толкованием; и «Распознавание будущего по рукам», хиромантией называется. Очень ходкая была книжка. И «Гадание на картах». И «Поваренная книга» — подарок молодым хозяйкам. И, конечно, четьи-миней. И жития святых. И все такое прочее.

Ранняя московская осень в тот год была, как сейчас помню, ясная и тихая, с заморозками по утрам, от лотков на площади шел грибной дух, на всех куполах Василия Блаженного солнце играет, хорошая, господа, была жизнь, может и несправедливая, а хорошая...

Ну, вот и подходит к моему ларю неизвестный мне молодой человек, на вид вроде семинариста, что ли, с лица бледный, и не то белобрысый, не то рыжий, и еще к тому долговязый.

Чутьем чую, что никакой это покупатель, а так, — как в картах, проходящая масть.

Ну, слово за слово, а он уж меня и по имени-отчеству величает, и все знает, пострел этакий, что я «Сонник»-то на свой страх и риск сам отпечатал, и вроде так издателем на обложке значусь.

И вынимает из-под полы тетрадь, в трубочку свернутую, и говорит — так, мол, и так, если желаете иметь весьма для вас подходящий товар, как раз к Рождеству, вещь очень чувствительная и задушевная, и у кого угодно слезу прошибет...

— А настоящий читатель, небось сами знаете, любит под праздник всплакнуть маленько.

И так мы с ним, с долговязым, по душам разговорились, что, уж не помню как, а очутились через час-другой у Соловьева в чайной, в Охотном ряду, сели у окна, под высоким фикусом, и стал я его поить чаем с бубликами, а он все свою бородавку указательным пальцем мусолит, машина в трактире гудит — надрывается, а он это папироской мне прямо в лицо дымит и всю свою тетрадь под машинный гул на полный голос читает.

Ну, что ж, не стану греха таить, был я тогда помоложе да покрепче, а может тоже и глупее был, а только так меня от чтения его за душухватило, и защемило больно, что уж не знаю как, а слезы по щекам, по бороде так и потекли струей.

И так он меня, подлец, растрогал и разнежил до крайности, что я ему тут же с места новенькую зеленую трешницу из-за пазухи вынул и на стол положил, и говорю ему — беру твою тетрадь, как есть в сыром виде, и давай, брат, по рукам, и вот тебе три рубля кровными деньгами на твое счастье и благосостояние...

А он еще ломается и говорит церковным басом, — за такие слезы можете и пятерку дать, не пожалете.

В общем, поторговались мы с ним как следует, и на трех с полтиной и покончили.

Забрал я у него тетрадь с сочинением и спрашиваю, а какую ж твою фамилию на обложке печатать будем? А он мне говорит — Боже вас сохрани фамилию мою на обложке печатать, а то меня из моего учебного заведения на все четыре стороны с волчьим билетом выгонят!

Ну, думаю, как хочешь, мне лишь бы книжонку к Рождеству выпустить, будет чем расторговаться на праздник.

И расстались мы по-хорошему, и больше я его и в глаза не видел. Исчез, словно корова языком слизала.

Старик остановился, вздохнул и, выдержав паузу, с чувством, толком и расстановкой преподнес нам свой заключительный эффект.

— Так можете вы себе представить, чем это все кончилось? Никогда в жизни не догадаетесь!

Уже вся книжонка в типографии, на Пятницкой, полностью отпечатана была, как зовет меня братьев Кушнеревых главный управляющий и говорит, змея, сладким голосом: «Что ж это вы, Иван Дмитрич, какую штучку придумали?! Николая Васильевича Гоголя святочный рассказ в печать сдаете?! И, так можно сказать, и глазом не моргнув?!»

Одним словом, что говорить, не помню, как я от управляющего на свет Божий вырвался, как при всех наборщиках от стыда не сгорел, как с Пятницкой улицы до Проломных ворот дошел.

И. Д. развел руками и добродушно улыбнулся:

— Конечно был я тогда совсем сырой и, правду сказать, еще по складам читал, а больше все на смекалку и природный свой нюх надеялся.

Ну, вот и попался, как карась в сметану, и поделом.

А Влас Михайлыч, царствие ему небесное, уже и в то время, это я еще в чайной Соловьева нутром почувствовал, показался мне человеком огромного будущего, и в российском смысле, и в моем личном, и, как видите, предчувствие меня не обмануло, и его жизнь, и моя жизнь крепко были между собой связаны.

Это уж потом, много лет спустя, после случая с Гоголем, когда он гремел на Юге и молодая слава его доходила до Москвы, поехал я к нему в Одессу, сманивать от Навроцкого.

И сманул. И встретились мы, как старые друзья, и в большой компании, пред отъездом из Одессы, за отличным завтраком в Лондонской гостинице. Дорошевич, по моей просьбе, рассказал,— а рассказывать он был мастер,— историю нашего знакомства, и посмеялись мы вдоволь и от всего сердца, а договор дружбы подписали па веки вечные...

Сытин остановился и добавил с грустью:

— И не наша вина, что недолгим оказался век, и что и Россия не та, и «Русского слова» нет, и нет Дорошевича.

## ХИ

После похищения Дорошевича для «Одесского листка» наступают неизбежные сумерки, и поле действия остается за «Одесскими новостями», сыгравшими большую, почти выдающуюся роль в истории русской провинциальной печати.

Руководительство газетой, после ухода А. С. Эрманса, переходит в руки И. М. Хейфеца.

О газетной и редакторской его работе можно было бы написать книгу, во всяком случае большую главу.

Будущий Лемке восполнит этот пробел.

Каждое поколение опаздывает в признаниях и оценках.

Читатели (оставшиеся в живых) помнят только Старого театрала.

Это был не очень удачный и скорее безличный псевдоним, которым Хейфец подписывал свои часто блестящие, всегда правдивые, нередко резкие рецензии.

Актеры его ценили, боялись, уважали и не любили.

Впрочем, четыреххвостка эта была применима и ко всей его биографии. А к редакторской в особенности.

Но очень было мало таких, кто способен был расшифровать его скрытую, скупую на откровения натуру, которая и в руководительстве таким большим и живым делом, как газета, проявлялась отрывисто, резко, без объяснений причин и утомительных придаточных предложений.

Характерной и не лишенной некоторой забавности иллюстрацией его редакторской манеры была его постоянная и ожесточенная война с репортерами. Особенно с репортерами того огнедышащего южного типа, где темперамент и воображение расценивались куда больше, нежели грамотность и точность.

Хейфец требовал целомудренной краткости, существа, экстракта, самого главного.

А репортеру тоже хотелось жить красиво, витать, порхать, тонуть в деталях, подробностях, в описаниях, в прилагательных.

Зпаменитый Трецек, с ударением на первое е, человек, влюбленный в свое ремесло и считавший, что каждую новость, даже самую малую, надо подавать с жаром, вдохновением, священным огнем, — задыхаясь, вбежал в ночную редакцию, присел за уголок длинного, уставленного чернильницами стола и, бешено курия папиросу за папиросой, сопя, задыхаясь, потирая лоб, вскакивая, садясь, — подвижное лицо в тиках, жилках, пятнах, в чернилах, — писал, писал, писал, страницу за страницей, листок за листком, пока вошедший для последнего фельдмаршальского смотра Хейфец не процедил сквозь зубы:

— Трецек, довольно беллетристики, давайте заметку, поздно.

Трецек вспыхивал и потухал, отирал потное от волнения лицо, умолял дать ему еще две минуты, еще одну минуту...

Но Хейфец был как фатум, как судьба, как Каменный Гость.

Выхода не было, куча только что написанных, горячих, еще дымящихся листков подымавшегося как ртутный термометр Трецека попадала в снег, в тундры, в ледники.

И вот, по словам свидетеля истории, что из конфликта этих двух миров получалось.

Бедный Трецек, бедный Иорик, писал:

«Вчера, ровно в полночь, едва заслышав глухой звон набата, озаренные блеском факелов, в медных касках, подобные воинам римских легионов, не щадя жизни, бросаясь в самые опасные места, развернутой колонной и сомкнув ряды, шли наши неопределимые и самоотверженные серые герои, и куда?! Я вас только спрашиваю, куда?! И отвечаю: в огонь, воду и медные трубы!..»

Лишь бы вырвать из разбушевавшейся стихии несколько несчастных жертв общественного темперамента, ибо надо ли пояснять и, так сказать, бить по темени несознательных масс, что дело идет о народном бедствии в одном из самых густо населенных пунктов нашей Южной Пальмиры...»

Каменный Гость накрест перечеркнул произведение Л. О. Трецека жирным красным карандашом.

В утреннем номере газеты, в отделе городской хроники, оскорбительно-мелким шрифтом было напечатано:

«Вчера ночью пожарная команда Бульварного участка была вызвана в биоскоп Сирочкина. Тревога оказалась ложной».

Искусство Хейфеца как редактора проявлялось главным образом в умении учуять, раскопать, найти и привлечь новые силы, молодые дарования.

Теперь это уже почти забыто, но, быть может, справка не лишена интереса.

В «Одесских новостях» начинали свою литературную карьеру Корней Чуковский, К. В. Мочульский, Петр Пильский, В. Е. Жаботинский, явивший весь свой искрометный и иронический блеск в легких, в совершенно новой манере поданных фельетонах, за подписью Altalena.

Старую гвардию, своего рода совет старейшин вокруг склонного к диктатуре редактора, представляли тишайший О. А. Инбер, полиглот и начетчик, С. Соколовский (Седой), скучный и почтенный передовик, и, разумеется, милейший Петр Титыч Герцо-Виноградский, избравший себе совершенно немыслимый в настоящее время псевдоним — Лознгрин и писавший длинные, ежедневные, многоуважаемые фельетоны в совершенно забытой теперь форме правоучительной публицистики и якобы ядовитого, дозволенного цензурой радикализма.

Но какой это был прелестный, душевный, всегда растерянный, часто неприкаянный и так сильно напоминавший чеховского Гаева человек!

Близорукий, изящный, какой-то особой повадкой походивший на уездного предводителя дворянства из обрусевших поляков, всегда в безукоризненно накрахмаленных воротничках, с густыми мягкими, мопассановскими усами, Герцо-Виноградский пользовался большой популярностью и любовью.

Изумительная память и патологическая страсть к цитатам создали ему репутацию настоящего энциклопедиста, знавшего наизусть, как говорил Бунин, где какие люди живут и за какие идеалы страдают...

Это был один из тех старых литераторов и последних могижан, которых щедро расплодил Михайловский и снисходительно осуждал Владимир Соловьев.

Это ему, добрейшему и безотказному Петру Титычу, и ему подобным патетически писали курсистки высших женских курсов:

— Научите, как жить...

А он и сам не знал и не ведал, и в дружеской беседе, в полнолунной зачарованной тишине новороссийской ночи, слегка размякнув от красного вина, каким-то дрожащим, взволнованно-ослабевшим голосом не то декламировал, не то нараспев читал любимые стихи Тютчева:

«Как сердцу высказать себя?  
Другому как понять тебя?  
...Взрывая, возмутишь ручья.  
Питайся ими, и молчи».

И замолкал. И виноватыми, добрыми, и уже влажными глазами глядел на собутыльников и, словно ища оправдания минутной слабости, обращался к застрявшему в Одессе Н. Н. Ходотову, и не просил, а почти умолял:

— Николай Николаич, будь другом, прочитай нам что-нибудь... этакое... особенное, сногшибательное...

И Ходотов, избалованный, прославленный, гремевший на всю Россию своей знаменитой актерской октавой, отяжелев от лавров, лет и салатов Оливье, всегда одним и тем же театральным жестом откидывал прядь седеющих волос, отходил к раскрытому в ночь окну и начинал:

Развернулось предо мною  
Бесконечной пеленою  
Старый друг мой, море.  
Сколько силы необъятной,  
Сколько власти непонятной  
В царственном просторе!..

Читал он так, как читали в те баснословные года все любимцы публики на всех вечерах и вечеринках, с многозначительными ударениями, подчеркиваниями, размашистыми жестами и полными таинственного смысла паузами, стараясь, надрываясь, угождая и подлаживаясь к толпе, к студенческой молодежи, к сознательным элементам, требовавшим прозрачных намеков, хорового начала и учредительного собрания.

Все это, конечно, было совсем не то... Но каждому овощу свое время, понятия и вкусы меняются с невероятной медленностью, и в те трогательные, нелепые, глубоко-провинциальные времена эта ходульная декламация пользовалась огромным и неизменным успехом.

Умный, одаренный, прозорливый Петр Пильский, который говорил, что от всякой фальши его корчит и сводит, как от судороги в ноге, и тот, однако, как одержимый, кидался к упоенному всеобщим восторгом актеру и припадочно шипел:

— Спасибо, Ходотов! Спасибо за все!

Как надо было понимать это все — не мог объяснить никто.

Лознгрин, Барон Икс, Железная Маска, Незнакомец, Старый Театрал, Седой, Некто в сером, Иван Непомнящий, Иван Колючий, Саша Черный, Лоло, О. Л. д'Ор, Турист, Иванов-Классик, Буква-Василевский, Василевский-Не-Буква, Ленский, Линский, Ядов, список этот можно было бы продолжить без конца, — все это тоже было данью времени, эпохе, условным требованиям литературной моды и тогдашним российским нравам.

И не только в периодической печати, и не только в провинции, но и в так называемой всамделишной изящной словесности дух времени оказался сильнее чутья и вкуса.

И все тот же упрямый свидетель истории мог бы с полным основанием напомнить, что и великие мира сего не гнушались ядовито

и тяжеломерно намекнуть на то, что они не Пешковы, не Бугаевы, не Гиппиусы, а — Максим Горький, Андрей Белый, Антон Крайний, и прочая, и прочая, и прочая.

Ал. А. Поляков, К. В. Мочульский, Д-р Ценовский, Леонид Гросман, Ал. Биск, Горелик, равно как и управляющий конторой и «выдачей авансов» С. В. Можаровский, сотрудники разноценные по значительности, темпераменту и характеру работы, составляли небольшую группу, не имевшую псевдонимов.

О некоторых из них речь впереди.

\* \* \*

О ком еще стоит вспомнить и хотя бы вскользь упомянуть, порой с примесью запоздалой признательности и сожаления, — «их было много, их больше нет», — порою с чувством, с отзвуком угасшего негодования?

Ведь, помимо героев и воображаемых портретов во вкусе Уолтэра Патера, помимо итальянских теноров, дерibasовских красавцев, велосипедистов, спортсменов и героев Семена Юшкевича, были в этом городе преходящих вкусов не одни только мотыльки и бабочки, любимцы публики на день, на час, которых поспешно венчала и столь же поспешно развенчивала впечатлительная, неблагодарная, неверная южная толпа.

Были талантливые актеры русской драмы, — вдохновенный, бледный, испепеленный М. М. Горелов, игравший неврастеников и первых любовников, незабываемый в «Призраках» Генрика Ибсена; был недюжинный по дарованию горбун, С. М. Ратов; молодой Виктор Петипа, сверкавший всею легкой радугой своей французской крови; и неразлучный друг его и приятель, Южный, которого бесцеремонно называли Яша Южный, — в будущем, в годы эмиграции, директор имевшего большой успех русского театра миниатюр «Синей Птицы»; был рыхлый, вкрадчивый, торжественный и театральный А. И. Долинов, впоследствии режиссер Александринского театра, говоривший о Савиной, полузакрывая глаза и приподымаясь со стула; был еще популярный на юге М. Ф. Багров, несменяемый антрепренер городского театра.

И как же забыть завсегдадая генеральных репетиций, первых представлений и первых рядов, рисовальщика и карикатуриста, остроумного, веселого, или притворявшегося веселым, всей повадкой своей напоминавшего парижского бульвардье, в шляпе набекрень, в выхоленной бородке с моложавой проседью, милейшего, беспокойнейшего Мих. Сем. Линского, предварительно переменявшего немало газетных рубрик и немало псевдонимов, которому на каком-то интимном чествовании, — в Одессе обожали юбилей и чествования, — кажется, Корней Чуковский преподнес это сохранившееся в памяти посвящение:

Ты прежде принцем был де-Линь,  
Потом ты просто стал де-Линь,  
Ну что ж, линия, брат, дальше...

Спустя несколько быстро промчавшихся десятилетий, во время оккупации Парижа, бывший балетный фигурант и немецкий наймит, по фамилии Жеребков, с удивительной прозорливостью докопался и открыл, что бывший принц де-Линь был всего-навсего уроженец города Николаева, Шлезингер, на основании чего, и по приказу генерала фон Штульшагеля, в одно прекрасное последнее утро, за крепостными валами Монружа, уже не с легкой проседью в подстриженной бородке, а белый как лунь и белый как полотно, Мих. Сем. Линский был расстрелян и зарыт в братской могиле, в числе первых ста заложников.

Большое, окаймленное черной рамкой объявление о расстреле ста было расклеено по всей Франции.

Мы его прочитали в Aix-les-Bains, сойдя с поезда.

В двух шагах от вокзала, в нарядном курортном парке, оркестр играл марш из «Нормы». Была вещая правда в стихах Анны Ахматовой:

Звучала музыка в саду  
Таким невыразимым горем...

\* \* \*

Еще одно имя, прежде чем покинуть Одессу: Герман Фадееч Блюменфельд.

Официальный титул — присяжный поверенный округа Одесской судебной палаты, знаменитый цивилист, автор почти единственных на всю Россию трудов по бессарабскому праву.

В быту, в домашней жизни, в общении с людьми — обаятельный человек, доброты и нежности, плохо скрываемой за какой-то сочиненной и выдуманной маской брюзги, буки, ворчуна и недотроги.

А между тем стояло недотроге сесть за свой огромный письменный стол, заваленный книгами и рукописями, чтобы попытаться, в который раз, закончить важную кассационную жалобу в Правительствующий Сенат, как, — вот вы сами видите, — признавался он в минуты отчаяния, — какой скэтинг-ринг устраивают на моей лысине кошки, дети и все друзья и подружки этих миленьких детей, которые тоже приводят кошек, и еще спрашивают, негодяи: «Мы вам не помешали?!»

Недаром, когда праздновался 25-летний юбилей его адвокатской деятельности и старший председатель Судебной Палаты, обратившись к нему с сердечным и прочувствованным приветствием, выразил надежду, что он, юбиляр, еще в течение долгих и долгих лет будет являть пример все того же высокого и неизменного служения праву и чувствовать себя в суде, как дома, — бедный Герман Фадееч не выдержал и со свойственной ему быстротой реплики немедленно возразил:

— Пожелайте мне лучше, Ваше Превосходительство, чувствовать себя дома, как в суде...

Дом Блюменфельда был в полном смысле слова открыт для всех.

Клиенты, просители, товарищи по сословию, а в особенности мо-



лодые помощники присяжных поверенных и «наш брат студент» приходили почем зря и когда угодно, спорили, курили, без конца пили чай, безжалостно уничтожали пирожные от Фанкони, рылись в замечательной блюменфельдовской библиотеке, а потом наперебой задавали Буке бесконечные вопросы по гражданскому праву, по уголовному праву, требовали рассмотрения каких-то невероятных сложных казусов, бесцеремонно настаивали на немедленной дискуссии — одним словом, как говорил сам Г. Ф., устраивали параллельное отделение юридического факультета и извлекали из-под скэтингринга, — это непочтительное наименование сократовой лысины будущего сенатора укоренилось быстро и окончательно, — немало настоящих знаний, а порой и откровений, которыми восполнялись неминуемые пробелы незадачливой официальной науки.

Воспоминания о Блюменфельде не есть нечто свое, неотъемлемое и личное.

В будущей свободной России, когда все станет на место и возврат к истокам и извлеченным из праха и забвения ценностям окажется неизбежным, и о забытом Г. Ф. будет написана поучительная книга, может быть, целая антология его юридических построений, теорий, толкований и разъяснений.

В антологию эту непременно войдут и его щедро рассыпанные, оброненные на ходу, брошенные на ветер, в пространство, — афоризмы, определения, меткие острые слова, исполненные беспощадной иронии, но и доброты и снисходительности, мнения и характеристики, и, может быть, в конце книги грядущие и, как всегда, равнодушные поколения прочтут все же не с полным безучастием короткий эпилог, несколько покрытых давностью строк из частного письма, дошедшего в Европу в грубом сером конверте из оберточной бумаги, с почтовой маркой с портретом Ленина: голодной смертью, от цинги, умер Герман Фадееч Блюменфельд.

\* \* \*

Новороссийский антракт кончался.

Чехов где-то писал, что каждому надо побывать в небывалой сказочной стране, закатиться, скажем, в Индию, хотя бы для того, чтобы, когда придет старость, было что вспомнить, сидя у камина... — небо пронзительной синевы, священные воды Ганга, стены Бенареса.

Мы знали наперед, что университетские годы вспомнить будет нечем. Хвала Аллаху, молодость от университета не зависит.

Она сама по себе, а здание факультета на Преображенской улице и все что было в нем, сами по себе.

Носили фуражку с синим околышем, все реже и реже ходили на лекции, сдавали зачеты, с ужасом и страхом думали о государственных экзаменах, ибо было досконально известно, что опять есть приказ по линии: половину экзаменующихся резать.

Сам А. Я. Шпаков давал нам на этот счет неутешительные объяснения.

— Хотя вас старые гримзы измором взять, научить, говорят, уму-разуму, а на самом-то деле отбить охоту ко всяким этим гуманитарным наукам и, елико возможно, сократить таким образом непомерное количество будущих правоведов с неизбежной революционной прослойкой...

Вспокоился, засуетился восьмой семестр, послали ходока на разведку в Киев, дали строгий наказ разузнать все до точки и правда ли, как был слух, что председателем государственной комиссии намечен не Удинцев, декан и шляпа, а профессор Митюков,— римское право,— гениальный человек, но алкоголик, хотя считает всех неучами, но резать не режет.

Ходок привез вести самые утешительные; все оказалось сущей правдой, будущее, как и должно было быть, рисовалось в свете самом лучезарном, стало быть, думать нечего, валяй, братцы, на Сенькин широкий двор!

Ни выводов, ни итогов.

Заключительные строки, в которых они отразились, пришли позже.

Блажен, кто вовремя постиг,  
В круговорот вещей вникая,  
А не из прописей и книг,  
Что жизнь не храм, а мастерская.

Блажен, кто в этой мастерской,  
Без суеты и без заботы,  
Себя не спрашивал с тоской  
О смысле жизни и работы...

Итак прощайте, лиманы, фонтаны, портовые босяки, итальянские примадонны, беспечные щеголи, капитаны дальнего плавания, красавицы прошлого века, как у Кузмина, но без мушки, градоначальники и хулиганы, усмирявшие наш пыл,—

Одесса Толмачева,  
Резина Глобачева,  
А молодость ничья!

Прощайте, милый Шпаков, единственный утешитель, и розовый и седой, талантливый, пронзительный Орженцкий, виновный в том, что поляк, а потому навсегда доцент, и только в далеком будущем первый ректор Варшавского университета.

Застучали колеса пролетки по вычищенным мостовым. Что ж еще?... Закурить папироску фабрики Месаксуди, обернуться назад, на сразу ставшее милым прошлое, крепко удержать в памяти, на всю жизнь запомнить ослепительную южную красоту, в пышном цветении акации на Николаевском бульваре, бегущие вниз ступени — к золотому берегу, к самому пропитанному солью нестерпимо-синему простору, еще в счастливом неведении грядущих бед, не предугадывая, не предчувствуя чеканных строк Осипа Мандельштама, которым суждено будет стать пророческим эпиграфом целой жизни:

### XIII

Киевский эпилог окрылил молодые сердца, никакой горечи избыточных надежд не оказалось; на скамейках в Купеческом саду валялись все те же конспекты и подстрочники, увесистый том Митюкова, тощие тетради Рененкампа, никакой треуголки, ни растрепанного томика Парни, и только иногда, для отдохновения и паузы, прочитанный с торопливой оглядкой номер «Освобождения» Струве, чудом пришедший из города Штуттгарта.

На облупившихся, розовых колоннах университета Св. Владимира висели пожелтевшие от времени объявления, циркуляры, предписания и правила.

По длинным, нескончаемым коридорам взад и вперед двигалась все та же шумная, бестолковая, всегда и всем недовольная и негодующая и всегда от всего, от любых даже пустяков, по-настоящему счастливая толпа, все эти молодые, и непременно бородатые, со страшными шевелюрами, — стрижка считалась изменой общему делу, — в традиционных косоворотках под форменными тужурками, не то гоголевские бурсаки, не то пришедшие из древних времен печенег, какими описал их еще Мамин-Сибиряк в «Чертах из жизни Пепко» и исправил и дополнил в своих пользовавшихся длительным успехом «Студентах» Михайловский-Гарин.

В июле месяце, в жаркий, невыносимо жаркий полдень, после восьми, казавшихся вечностью, недель зубрежки, горячки, уныний и упований, — история повторяется: чудом или, как сказал будущий Козьма Прутков, терпение и труд хоть кого перетрут, — все было конечно, сдано, написано и отвечено, включая «Устав о наказаниях, налагаемых мировыми судьями и земскими начальниками», который для декламации не подходил.

И еще раз, и еще раз отрясти прах от ног своих и, как выражались беллетристы прошлого столетия, «броситься в самую гущу жизни», всему научившись и ничего не зная, но с вождленным дипломом в руках и с пресным, бесцветным и обезличивающим званием — окончившего юридический факультет такого-то императорского университета с дипломом первой (или второй) степени.

Даже лекарь и повивальная бабка второго разряда звучали для оскорбленного уха более звонко и ударно, чем это убогое, осторожное в своей казенной точности наименование, вышедшее из недр боголеповских канцелярий.

Но все это было мелочью и чепухой по сравнению с главным:  
— Жизнь начинается завтра!

Так назывался роман Матильды Серао, так называлась и глава нашего собственного романа.

Снова вокзал. Снова звонок. И заочно провозглашает бородатый швейцар, веселый архангел:

— Поезд на втором пути!..

Проехав Харьков, Курск, Тулу, Орел, подъезжая к Серпухову, почти у самых ворот Москвы, приличествует вспомнить боярина Кучку, шапку Мономаха, Стрелецкий бунт, порфиноносную вдову и закончить неизбежным восклицанием:

— Москва! Как много в этом звуке  
Для сердца русского слилось...

Но, очевидно, ассоциации и цитаты приходят какими-то иными путями.

Сознаемся честно, без ужимок и оправданий,—стихи, пришедшие на память, еще не обремененную воспоминаниями, но уже встревоженную предчувствиями, были старомодные стихи Апухтина.

Курьерским поездом, летя Бог весть куда,  
Промчалась жизнь без смысла и без цели...

Из песни слова не выкинешь.

Ведь настоящая жизнь только начиналась.

И если сообщение о болезни Толстого, только что прочитанное в утренних газетах, и нарушило на мгновение душевное равновесие, все же открывавшийся молодому воображению мир был воистину прекрасен, полон волнующих обольщений, восторгов и надежд.

Цель достигнута, смысл придет потом, а бедного Апухтина сдадут в архив.

Но покауда законодатель мод и новый временщик литературных нравов произнесет загадочно и нараспев: «О, закрой свои бледные ноги!..» — упрямая провинция успеет контрабандой протащить, но на этот раз уже совсем кстати, еще две строчки из того же обреченного на забвение автора:

«Кондуктор отобрал с достоинством билеты.  
Вот фабрики пошли. Теперь уж не заснуть...»

Паровоз тяжело вздохнул. Замедлил ход, поезд дрогнул и остановился. Курский вокзал. Москва.

\* \* \*

«Не поймет и не оценит гордый взор иноплеменный...»

Ни взор, ни слух в особенности.

А музыки московских сочетаний на западный бемоль не переложить.

«Не уложить в размеры партитур пленительный и варварский сумбур».

Санкт-Петербург пошел от Невского проспекта, от циркуля, от шахматной доски.

Москва возникла на холмах: не строилась по плану, а лепилась.

Питер — в длину, а она — в ширину.

Росла, упрямялась, квадратов знать не знала, ведать не ведала.

Посад к посад, то вкривь, то вкось, и все вразвалку, медленно, степенно.

От заставы до другой, причудюю, зигзагом, кривизной, из переулка в переулок, с заходом в тупички, которых ни в сказке сказать, ни пером описать.

Но все начистоту, на совесть, без всякой примеси, без смеси французского с нижегородским, а так, как Бог на душу положил.

Только вслушайся — навек запомнишь!

— Покровка. Сретенка. Пречистенка. Божедомка. Петровка. Дмитровка. Кисловка. Якиманка.

— Молчановка. Маросейка. Сухаревка. Лубянка.

— Хамовники. Сыромятники. И Собачья Площадка.

И еще не все: Швивая горка. Балчуг. Полянка. И Чистые Пруды. И Воронцово поле.

— Арбат. Миуссы. Бутырская застава.

— Дорогомилово... Одно слово чего стоит!

— Охотный ряд. Тверская. Бронная. Моховая.

— Кузнецкий Мост. Неглинный проезд.

— Большой Козихинский. Малый Козихинский. Никитские Ворота. Патриаршие Пруды. Кудринская, Страстная, Красная площадь.

Не география, а симфония!

А на московских вывесках так и сказано, так на вечные времена и начертано:

— Меховая торговля Рогаткина-Ежикова. Булочная Филиппова. Кондитерская Абрикосова. Чайная-развесочная Кузнецова и Губкина. Хлебное заведение Титова и Чуева. Молочная Чичкина. Трактир Палкина. Трактир Соловьева. Астраханская икра братьев Елисеевых.

— Грибы и сельди Рыжикова и Белова. Огурчики нежинские фабрики Коркунова. Виноторговля Молоткова. Ресторан Тестова. «Прага» Тарарыкина.

— Красный товар купцов Бахрушиных. Прохоровская мануфактура. Купца первой гильдии Саввы Морозова главный склад.

И уже не для грешной плоти, а именно для души:

— Книжная торговля Карбасникова. Печатное дело Кушнерева. Книготорговля братьев Салаевых.

А там, за городом, за городскими заставами, будками, палисадами, минуя Петровский парк, — Яр, Стрельна, Самарканд.

Живая рыба в садках, в аквариумах, цыганский табор прямо из «Живого тупа».

У подъездов ковровые сани, розвальни, бубенцы, от рысаков под попонами пар идет, вокруг костров всякий служилый народ греется, на снегу с ноги на ногу переминается.

Небо высокое, звездное; за зеркальными стеклами, разодетыми инеем, морозным узором, звенит музыка, поет Варя Панина, Настя Полякова, Надя Плевацкая.

Разъезд будет на рассвете. Зарозовеют в тумане многоцветные купола Василия Блаженного; помолодеет на короткий миг покрытый мохом Никола на Курьих ножках; заиграет солнце на вышках кремлевских башен.

И зелено-бронзовые кони барона Клодта над фронтоном Большого театра обретут свой четкий, утренний рельеф.

А на другом конце города,— велика, широка Москва, все вместит, все объемлет,— за другими оградами, рогатками и заставами, от хмельного тяжелого, бредового сна проснется на жестких нарах по-иному жуткий, темный и преступный мир, тот самый Хитров рынок, который никем не воспет, хотя и весьма прославлен.

И, вот, поди, разберись!.. Москву, как Россию, не расскажешь, не объяснишь.

А только одно наверняка знаешь и внутренним чутьем чувствуешь:

— Петербург — Гоголю, Петербург — Достоевскому.

Болотные туманы, страшные сны, вещее пророчество:

— Быть Петербургу пусту.

А грешной, сдобной, утробной Москве, с часовнями ее и с трактирами, с ямами и теремами, с нелепием и великолепием, темной и неумной, с Яузой, и Москва-рекой, и с Замоскворечьем купно — все отпустится, все простится.

— За простоту, за широту, за размах великий, за улыбку ясную и человеческую.

За московскую речь, за говор, за выговор.

За белую стаю московских голубей над червленим золотом царских теремов, часовенок, башенок, куполов.

А пуще всего за здравый смысл, а также за добродушие.

В Петербурге — съежишься, в Москве — размякнешь.

И открыл ее не Гоголь, не Достоевский, а стремительный, ослепительный, озаренный Пушкин.

«Мое!» — сказал Евгений грозно,

И шайка вся сокрылась вдруг...

Шарахнулись в сторону, попятились назад и мертвые души, и бесы.

\* \* \*

Прошумело столетие. И снова, в сотый раз, была зима и выпал снег.

Пред полотном Кустодиева замерла восхищенная толпа.

Во все глаза глядела на «Широкую масленицу».

Мела метелица, и в снежном вихре взлетали к небу зеленые, красные, желтые, синие, одноцветные, разноцветные, сумасшедшей пестроты шары, надувные морские жители, бенгальские огни, рассыпавшиеся звездным дождем ракеты и фейерверки; заливаясь смехом, с веселой удалью качались на качелях ядреные, белотелые, краснощекие, крупитчатые, рассыпчатые молодичи и молодухи, в развевавшихся на ветру сарафанах, платках, шалях.

Захватывая дух, стремглав летели с русских гор игрушечные санки, расписанные суриком, травленные сусальным серебром, а в них

в обнимку, друг к дружке прижавшись, уносились вниз счастливые на миг, навек пары; теснилась, толпилась, притоптывала, плясала, вовсю гуляла масленичная толпа, в гуд гудели машины в трактирах, заливалась гармонь, надрывалась шарманка:

Крутится, вертится шар голубой,  
Крутится, вертится над головой.  
Крутится, вертится, хочет упасть,  
Кавалер барышню хочет украть.

И над всем этим кружением, верчением и мельканием, над качелями и каруселями, ларями, шатрами, прилавками и палатками, над толпой, над Москвой, над веселой гульбой, над снежной метелицей, в разрыве, в просвете синего неба церковной синевы, — в меховой высокой шапке, в бобровой шубе, огромный, стройный, ладный, живой, во весь рост стоял в молодой своей славе российский кумир, языческий бог — Федор Иванович Шалапин...

Такой он и был, этот северный пролог, написанный Кустодиевым, таким он и остался в памяти.

\* \* \*

Потонувший колокол, завязший в тине? Счастливые годы, счастливые дни? Олеография? Выдумка? Чистая правда?

Все равно, все — позади. Сначала пролог. А потом продолжение. Оставалось следовать за продолжением.

Записаться в сословие, заказать фрак с атласными отворотами, а также медную дощечку с выгравированным стереотипом:

«Помощник присяжного поверенного такой-то, часы приема от 5-ти до 6-ти»; и пусть так толпой и прут, авось и полного генерала в очереди задавят.

Главное сделано, остальное пустяки: набить газетами новый, приятно пахнувший кожей портфель и чрез любые ворота — Ильинские, Спасские, Иверские — с деловым видом пройти через Кремлевский двор, мимо Оружейной Палаты, к белому, величавому зданию московских судебных установлений; проглотить слюну и войти.

Швейцаров тьма-тьмуца. Улыбаются, но презирают. Груды в медалях, взоры непроницаемые.

Подымаешься по мраморной лестнице, прежде всего — заглянуть в святая святых: Митрофаньевский зал.

Здесь по делу игуменьи Митрофании гремел и блистал сам Федор Никифорович Плевако.

Те, кому довелось его слышать, только загадочно пожимали плечами, как бы давая понять, что объяснить все равно невозможно, и только после большой паузы многозначительно роняли:

— Талант, нутро, стихия! С присяжными заседателями делал, что хотел.

Крестьян, мещан, купцов из Замоскворечья, любой серый люд.

закоренелый и заскорузлый, мог в бараний рог согнуть и из камня искры высечь.

Молодые помощники только рты открывали и шли в буфет.

Съедали ватрушку и вновь ходили из конца в конец, по длинным коридорам, с портфелем под мышкой, делая вид, что пришли за справкой по страшно важному делу, которое все откладывается и откладывается, так как главный свидетель все время переезжает с места на место, и нет никакой возможности вручить ему повестку.

Это был старый прием и весьма убогий.

Никто этому, конечно, не верил, но в порядке сословной вежливости было принято сочувственно улыбаться и делать вид, что так оно и есть и что если бы проклятый свидетель не переезжал с места на место, то «дорогой коллега» давно бы уже гремел и блистал в Митрофаньевском и во всех других залах.

Тем более, что коллег было две тысячи с лишним, и все они были криминалисты и, как шекспировский Яго, жаждали крови, убийства на почве ревности или, в крайнем случае, с целью грабежа.

А патрон, к которому они были приписаны, посылал их к мировым судьям по делу о взыскании 45-ти рублей по исполнительному листу, да еще просроченному.

О политических защитах и говорить не приходилось.

На министров, хотя и покушались, но тоже не каждый день.

За стрельбой по губернаторам ревниво следили великие мира сего. Матерые, знаменитые, уже давно отстрадавшие свой чудосочный стаж, настоящие, великолепные, выхоленные присяжные поверенные, сиявшие крахмальными сорочками в вырезах безукоризненного фрака, с легкой сединой и львиной осанкой, с тяжелым чеканного серебра сословным значком с левой стороны, а не с университетской фитюлькой голубой эмали, которой безвкусно злоупотребляли безработные помощники.

От давно устаревшей Лейкинской сатиры, посвященной Балалайкину, до беспощадных толстовских портретов на процессе Катюши Масловой, да еще с незабываемыми рисунками Пастернака, пробежали не одни только десятилетия.

Перед войной четырнадцатого года одной из неоспоримых российских ценностей был не только глубоко вкоренившийся в жизнь и нравы и стоявший на особой высоте суд, но и поистине высокая, недюжинная, создавшая традицию и в ней окрепшая русская адвокатура.

И когда на лестнице, или в коридоре, или в зале заседаний можно было чуть ли не ежедневно встретить живого Муромцева, Ледницкого, Муравьева, Н. П. Шубинского, Кистяковского, Измайлова, Мальяновича, Маклакова, Кобякова, князя А. И. Урусова, утомленного деньгами и славой Гольдовского и сверкающего золотыми очками и золотистой бородкой Н. В. Тесленко, не говоря уже о младших богах Олимпа, то, что грех таить, в душах неоперившихся птенцов, слетевшихся из дальних захолустий, бурлили не только чувства



гордости и любви к отечеству, но и особые чувства хвастливого удовлетворения и самоутешения, подкрепленного стихами Тютчева:

«Его призвали всеблагие,  
Как соучастника на пир...»

Попутно, надо признаться еще в одном.

Подражание великим образцам стало своего рода манией.

Говорят, что в расцвете байронизма неумеренные поклонники лорда Байрона подражали ему не столько в поэзии, сколько в манерах и привычках.

Хорошим тоном считалось хмуриться, высокомерно откидывать назад роскошные кудри, презирать толпу, если даже она состояла из одной собственной, оставшейся не у дел старой няньки; а главное, хромать, припадая на правую ногу.

Даже в наши гимназические времена, когда монографии Андрэ Моруа и в помине еще не было, весь четвертый класс, влюбленный в пышную генеральшу Самсонову, едва завидев предмет любви и обожания, как по команде подымал воротники шинелей и, с выражением решительных самоубийц на розовых мордах, начинал хромать, припадая направо.

Каждому овощу свое время.

Теперь дело шло о будущем, а кто его знает, и удачное подражание могло быть этапом на пути к карьере, своего рода трамплином для счастливого прыжка.

Следует сказать, что все это не носило характера заразы или эпидемии.

Были и такие индивидуалисты, или анархисты, или отщепенцы, которых никакими великими образцами не вдохновишь и не соблазнишь.

Но те, кто подражал, работали вовсю.

Так, например, поклонение Анатолию Федоровичу Кони выразилось в том, что молодые усы тщательно выбривались, а бородку отпускали от виска до виска во всю ширину.

Получалось нечто вроде персонажей Ибсена, Бьернстэрнэ-Бьернсона, набоба Баста, Гамсунова лейтенанта Глана в плохом переводе, но во всяком случае не высокочтимого сенатора Кони.

Потом отпускали небольшие бачки, или фавориты, в честь Карачевского.

Подражать Тесленко было немыслимо и сложно.

Зато небрежная, овальная, не очень тщательная щетинка Маклакова и опущенные вниз усы имели большой успех и немалый тираж.

Были еще и всякие другие попытки в том же роде.

Но увы! Старые, прочитанные газеты по-прежнему продолжали раздувать классический портфель.

Ни губернаторов, ни вице-губернаторов на золотом блюде никто не подносил.

А защиты по назначению, и то больше мелкокалиберные кражи и заурядные мошенничества, давались по очереди, по жеребьевке

и по доброй воле секретаря Совета присяжных поверенных Калантарова.

Подражатели в конце концов уgomонились, переключились на прозу, за неприкрашенную действительность.

Но в анналах уже далекого прошлого надолго сохранилась шутка неизвестного автора:

Бородка Маклакова,  
Походка Трубецкого,  
А толку никакого...

\* \* \*

Благожелательный Доброхотов, старый адвокат и старшина словесия, состоявший долголетним председателем Совета, беспомощно разводил руками и отечески выговаривал начинавшей отчаиваться молодежи:

— Помилуйте, господа! Во-первых, вас слишком много, а во-вторых, все вы помешались на уголовщине. Поверьте мне, что Россия больше нуждается в хороших, честных и грамотных цивилистах, нежели во всех этих непризнанных талантах, которые рвутся в бой, ни к селу ни к городу цитируют Ломброзо и бессмысленно расточают свой юный пыл на каких-то унылых воришек, уличных драчунов и неисправимых рецидивистов.

Одним уложением о наказаниях жив не будешь!

Говорю вам прямо — читайте десятый том, и лучше всего — по ночам!

А по утрам ходите в суд, но сохрани вас Бог, не в уголовное отделение, а в гражданское. Сидите, слушайте, записывайте, смекайте, и благо вам будет.

По всей вероятности — милый человек был прав.

Безграмотны мы были в великой степени, но душа жаждала красоты, каторги, лишения прав, — «и песен небес заменить не могли ей сучные песни земли».

Однако доброхотовским наставлениям в какой-то мере мы все же уступили и хотя в ночи бессонные, ночи безумные увлекались не столько десятым томом, сколько иными художествами, но на заседания суда по гражданским делам стали ходить все чаще и чаще.

Помнится, в хмурый, осенний день по какому-то сложному и запутанному делу о наследственных пошлинах — после обеденного перерыва, уже под вечер, выступал от имени казны почтенный присяжный поверенный Адамов, а интересы наследников представлял наш брат и глубоко свой парень, молодой, нелепый, хотя со стороны прически вполне рыжий, сверстник и приятель, способный, быстрый, напористый Илья Британ.

Небольшого роста, коренастый, близорукий, великий упрямец и отличный говорун, нисколько в криминалисты не стремившийся, а наоборот, упорно зубривший этот самый десятый том, и не по доброхотовскому науцению, а по собственной доброй воле и како-

му-то внутреннему влечению к глоссам, дигестам и всякой казуистике.

Совмещал он в себе много странного, и на первый взгляд несоместимого.

Не удовлетворившись казенным дипломом, блестяще защитил диссертацию и именно по вопросу о наследственных пошлинах, а в свободное время писал на каких-то замусоленных обрывках бумаги или на пожелтевших календарных листках отличные лирические стихи и считал Иннокентия Анненского первым и единственным поэтом на всю Россию и на весь мир.

Надо полагать, что окружной суд всего этого не знал, и, когда после деловой, обоснованной и спокойной речи истца Адамова, сановитый, строгий и с виду безучастный товарищ председателя, Донат Адамович Печентковский, предоставил слово представителю ответчиков, Британу,— атмосфера сразу изменилась.

Один вид этого маленького, подвижного, зубастого, и сразу взявшего верхнее «до» молодого помощника вызвал на лицах судей какое-то раздражительное и полубрезгливое выражение не то скуки, не то недовольства.

А когда бедный Британ своими короткими, веснушчатými, покрасневшими от волнения пальцами с обгрызанными ногтями начал вытаскивать из портфеля бесконечные справки, бумажки, вырезки, мелко исписанные листы и угрожающе-объемистые решения Правительствующего Сената, судейские лица уже и совсем вытянулись, носы заострились и готовивший свое заключение товарищ прокурора стал явно нервничать.

С гордостью и испугом следили мы за глубоко своим парнем и ходоком.

А он не унимался, говорил, доказывал, ядовито напоминал, что противная сторона придает большее значение гербовому сбору, нежели духу законов, ссылаясь на одно решение Кассационного Департамента, на другое решение Кассационного Департамента, цитировал Монтестье, требовал экспертизы, размахивал десятым томом, наизусть читал курс нотариального права, долго и горячо декламировал разъяснение Правительствующего Сената по делу Батолина, и по делу о выморочном наследстве купчихи Гаевой, и по делу Воронцова-Вельяминова.

А сумерки все сгущались и сгущались, электрической люстры уже было недостаточно, служитель зажег свечи на судейском столе, товарищ прокурора то и дело хлопал крышкой от карманных часов, судьи перешептывались с председательствующим, присяжный поверенный Адамов вздыхал и барабанил пальцами по столу, а судебный пристав сдержанно сморкался, и лицо у него было серое, и щеки жутко запали.

Но неукротимый Британчик высоко держал знамя и опять, в который раз, пытался заставить противную сторону, дабы она, противная сторона...

Тут действительный статский советник Печентковский не выдержал и, прервав оратора, внушительно загремел:

— В половине восьмого вечера для окружного суда обе стороны в одинаковой степени противны!..

Зал разразился дружным хохотом, за взрывом которого никто уже не дослушал заключительной фразы о том, что заседание закрывается и дело о наследственных пошлинах слушанием откладывается.

Так или иначе, а героя дня мы в тот же вечер чествовали, пили красное вино, подымали бокалы, одобрительно хлопали виновника торжества по плечу, а он, сняв запотевшее пенсне, только лукаво шурил свои близорукие зеленые глаза и от избытка чувств, по собственному почину, долго и вдохновенно читал стихи Иннокентия Анненского и, остановившись на миг, с увлечением восклицал:

— Чувствуете вы, черт возьми, как это сказано?!

Касаться скрипки столько лет,  
И не узнать при свете струны...

Прошло тридцать лет.

Пустяки...

Во время немецкой оккупации, в одиночной камере военной тюрьмы на улице Шерш-Миди, он писал единственному сыну:

«Дорогой Сашенька, родное дитя!

Завтра меня не будет.

Да послужит тебе утешением только то, что умру я, как жил: чрезвычайно просто. Без позы, без ненужных слов.

О чем я успею подумать в последнюю минуту?

Не знаю.

Вероятно о тебе, о твоей бедной матери.

Больше всего на свете я любил тебя, несчастливую нашу родину, музыку Рахманинова. И еще... русскую литературу, единственную в мире.

Будь честен, будь добр, не будь равнодушен.

Умей любить. Умей ненавидеть.

Я ухожу слишком рано, и не по своей воле.

Может быть, по воле Божьей.

Я обрел Его поздно, но теперь уже навсегда.

Смерти я не страшусь, но боюсь страданий.

Да будет над тобой милость Божья.

И еще: говорю тебе последнюю правду, я люблю жизнь, люблю, люблю! Выхода нет. Жизнь будет отнята. Но с тобой я буду вечно, каждый миг и везде.

В чемодане, в гостинице на Boulevard Murat, находится моя рукопись. Повесть?.. Роман?.. Я работал над ним много лет. Перешли его в Нью-Йорк, графине Толстой. Хотелось бы кое-что изменить, переделать. Но теперь уже поздно. Пусть напечатают так, как есть.

Возьми на память мои часы. И обручальное кольцо.

Не забывай меня, никогда не забывай, это очень важно — помнить, помнить, всегда, всем, друг друга помнить!»

На следующее утро, во дворе казармы Монруж, в числе девяноста заложников, Илья Британ был расстрелян.

Ни рукописи, ни сына так никогда и не нашли.

Предсмертное письмо, часы и обручальное кольцо дежурный немецкий офицер вручил госпоже Г., вызванной после казни в военную тюрьму — расписаться в получении сообщения о смерти Британа.

## XV

Старожилы говорили, что такого количества снега, как в 1910 году в ноябре месяце, никто никогда на роду своем не запомнит.

В газетах все чаще и чаще появлялись тревожные вести из Ясной Поляны.

В редакции «Русских ведомостей», со слов Черткова, Булгакова и доктора Душана Петровича Маковицкого, рассказывали трогательные и печальные подробности об уходе Толстого из дому.

Но, конечно, больше и лучше всех было осведомлено «Русское слово».

Недаром неутомимый Конст. Орлов уже больше года мотался взад и вперед между Москвой и меленькой захолустной, но всему миру известной, железнодорожной станцией в Тульской губернии.

Известно было и то, что сам Толстой, с несвойственным ему добродушием, переносил давние и частые наезды своего непрощенного гостя.

Говорили, что, прочитав однажды в газете несколько строк, написанных Орловым о победе знаменитого в те годы «Крепыша», великий старик пришел в такой восторг и проявил столь несвойственные ему горячность и волнение, что сам вызвал Орлова к себе и так ему глуховатой скороговоркой и заявил:

— Жаль, что вас не было на свете, когда я описывал Царкосельские скачки! У вас есть, чему поучиться...

С той поры Орлов стал своим человеком в небольшом яснополянском окружении.

В первых числах ноября из патетических сообщений Орлова стало известно, что Толстой нашелся и что лежит он, тяжело больной, на станции Астапово, в квартире давшего ему приют железнодорожного служащего Озолина.

Несколько часов спустя, глухой, утонувший в снегах полустанок Курской железной дороги сделался центром мирового внимания.

7-го ноября Толстого не стало.

На первый странице «Русского слова», окаймленной траурной рамкой, было напечатано волнующее, целомудренное, без вычуров и изысков, но полное драматических подробностей, описание последних часов и минут того, кого весь мир называл:

— Совестью России.

Запомнились последние строки, которыми заканчивал Орлов свое нелегкое по заданию и исполнению сообщение:

«...я почтительно склонился перед графиней Софьей Андреевной и беззвучно поцеловал руку, которая бесчисленное число раз переписала, глава за главой, бессмертные страницы «Войны и мира».

Взволнован был не только весь мир, но и шеф Отдельного корпуса жандармов, генерал Курлов.

В Министерстве внутренних дел не на шутку опасались, что похороны Толстого неизбежно превратятся в настоящую революцию. Железной логики в этих опасениях не было.

Но революции, как известно, управляются не логикой, и, как говорил Ницше, идеи, разрушающие вселенную, приходят походкой голубя.

Во всяком случае, меры были приняты и усиленный отряд казаков в полном боевом порядке был отправлен куда следует.

Но в особенности работал телеграф.

День и ночь из пяти частей света и изо всех концов России бежали по замерзшим проводам полные высокого смысла и значения, простые и высокопарные, закругленные и наивные, академически-торжественные и убого-провинциальные слова, мысли, отклики.

Было в этом разноязычном фольклоре и нечто невыносимое для слуха.

Но тот единственный и, вероятно, неповторимый душевный отзвук, который вызвала смерть Толстого, никакой словесный фольклор уже снизить и умалить не мог.

Случилось так, что автор настоящей хроники, рядовой свидетель истории, оказался в толпе яснополянских паломников.

Член Государственной Думы Д. С. Горшков, редактор кадетского «Голоса юга», прислал из Новограда срочную депешу с настоятельной просьбой добиться пропуска на похороны Толстого, — старый земец хорошо знал, что все это не так просто.

«Поезжайте заранее, телеграфируйте ежедневно все подробности. Одновременно прошу Сергея Ивановича Варшавского. Криво-Арбатский переулок. Уверен окажет содействие».

Все остальное произошло с кинематографической быстротой.

Юрисконсульт «Русского слова», приятный, голубоглазый, белокурый Сергей Иванович улыбнулся, подумал, сообразил, позвонил по телефону, быстро и неразборчиво написал одно письмо, и еще одно, и коротко объяснил:

— Бегите на Тверскую, в редакцию, на третий этаж, к Пономареву. Он все устроит. А когда приедете в Астапово, передайте этот конверт Орлову, который, хотя и не спит уже несколько ночей и вообще угрюм и неразговорчив, но с охотой поможет вам, я в этом твердо уверен.

Предположения Сергея Ивановича полностью оправдались. Пономарев познакомил с каким-то молодым человеком нездорового вида с увядшим желтоватым лицом и отвисшей нижней губой.

Молодой человек церемонно представился:

— Ракшанин.

— Очень приятно, всегда читаю ваши статьи в «Русском слове».

Желтоватое лицо сразу порозовело, уши оттопырились, нижняя губа еще более отвисла.

В узких саночках, по дороге на Курский вокзал, все выяснилось.

Ракшанин не только подражал Дорошевичу, на которого, впрочем, отдаленно был похож, но при всяком удобном и неудобном случае с таинственным видом сообщал, что он его, Власа Михайловича, незаконный сын и что если бы не эта... тут следовало звонкое существительное, актриса Миткевич, на которой знаменитый папаша на старости лет сдуру женился, то он, Ракшанин, мог бы быть помощником редактора, а не хроникером на затычку...

— Вот и сейчас посылает меня заменить Костю Орлова, который с ног сбился, а сам рябчиков с брусникой уплетает...

Рассказ был неожиданный, биография тоже.

Но по ходу действия, как говорит Зоценко, надо было верить, поддакивать и с искренним видом соглашаться.

Много лет спустя, когда читал я с немалым удовольствием «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, родословная героев, несмотря на смелость вымысла, казалась уже не только правдоподобной, но в какой-то мере традиционной и преемственно связанной с далеким прошлым.

Конечно, всякому овощу свое время, но от незаконного сына Дорошевича до детей лейтенанта Шмидта шла несомненно прямая линия...

С начальником движения на Курском вокзале Ракшанин держал себя в высокой степени независимо.

Презрительно оттопыривал губу, показывал какой-то открытый лист с печатями градоначальства, почему-то предлагал в случае сомнений позвонить генералу Дедюлину в Петербург, осторожно намекал на то, что имена железнодорожных деятелей, оказавших содействие, будут, само собой разумеется, с благодарностью упомянуты в печати, в отчете о погребении великого писателя, и в качестве последнего удара наклонился к самому уху начальника движения и доверительно шепнул:

— Ни я, ни Влас Михайлович услуг не забывают.

Скала не выдержала.

Через несколько минут синие пропуска для представителей печати были выданы, победоносный Ракшанин шел впереди, случайный корреспондент «Голоса юга», соблюдая дистанцию, следовал за ним, а окончательное сближение произошло в переполненном до отказа ночном поезде, — в бесчисленных ходатайствах о дополнительных поездных составах было твердо отказано.

По дороге Ракшанин уснул.

Надо было воспользоваться антрактом, собраться с мыслями.

Выйти на обледенелую площадку, подышать чистым морозным воздухом.

Опять это чувство железной дороги. Законная ассоциация идей.

Образ Вронского, пальто на красной подкладке; испуганный, молящий, счастливый взгляд Анны; снег, буря, метелица, искры паровоза, летящие в ночь; роман, перевернувший душу, прочитанный на заре юности; смерть Анны, смерть Толстого.

\* \* \*

Зимняя утренняя заря. Станция Астапово.

На боковом пути три вагона — синий, зеленый, товарный бурокоричневого цвета.

В товарном — дубовый гроб.

Тихо, пустынно, безмолвно.

Народу мало.

Толпу паломников высадили на предыдущей станции.

Поодаль, перебегая замерзшие рельсы, суетится кучка фотографов.

У Орлова вид непроницаемый, угрюмый, усы заиндевели, опущены вниз, есть какое-то сходство с Глазуновым, только Орлов куда выше ростом и массивнее.

Ракшанин что-то долго лепечет, а он на него никакого внимания, прочитал письмо Сергея Ивановича, что-то невнятно пробурчал и сразу повел к синему вагону.

— Ехать недолго, оставайтесь на площадке, внутри семья, не надо беспокоить.

Долго ждали, покуда подали маленький, старенький, почти игрушечный паровозик.

Прицепили вагоны — синий, зеленый, темно-коричневый товарный.

В зеленом приземистый, коренастый исправник; бородатые жандармы, все как на подбор, похожие на Александра Третьего; какие-то военной выправки люди в штатском.

Поезд тронулся.

Все было неправдоподобно, просто, чинно, бесшумно.

Самые яркие молнии рождаются безгромно.

Мысли, управляющие миром, приходят походкой голубя.

\* \* \*

За версту, другую до Козловой Засеки толпа, народ, мужики в рваных тулупах, бабы из окрестных деревень, люди всякого звания, студенты, конные казаки, курсистки с курсов Герье, безымянные башлыки, чуйки, шубы, — и чем ближе, тем больше, теснее, гуще, и вот уже от края до края одно только человеческое месиво и море, море голов.

Ракшанип вынул записную книжку и послушным карандашом отметил:

— Сотни тысяч.



По сведениям канцелярии Тульского губернатора оказалось на все про все — около семи тысяч человек, самое большое.

Надо полагать, что на этот раз истина была на стороне канцелярии.

\* \* \*

И вновь, и в последний раз, поезд остановился.

Толпа обнажила головы. Все, как надо.

Запечатлелась в памяти статная фигура младшего из сыновей, синеглазого Ильи Львовича.

Он первым вышел из вагона и, подав руку графине-матери, бережно помог ей сойти на землю.

У Софьи Андреевны было серое, одутловатое лицо с сильно выступающими скулами и мясистым подбородком.

За траурной вуалью глаз не было видно.

Она опиралась на какую-то странной формы палку с кожаным треугольником посередине.

— Это походная, складная скамеечка, принадлежавшая покойному, — тихо пояснил Орлов.

Вслед за графиней вышли Татьяна Львовна, Александра Львовна, Сергей Львович, больше всех похожий на отца, Андрей Львович, Михаил Львович.

Появился Чертков, которого легко было узнать по запомнившемуся портрету в «Ниве».

Из товарного вагона подняли гроб яснополянские мужики, и толпа послушно двинулась за ними по направлению к усадьбе.

Распоряжался всем, неизвестно кем поставленный и неизвестно кого представлявший, неизменный московский распорядитель Иван Иванович Попов, человек в золотых очках и с рыжей бородой, удивительно похожей на листовой табак, приклеенный к подбородку.

Был он членом Художественного кружка, может быть, и старшиной и одним из основателей, зла никому не делал, а знаменит был тем, что четко произносил только гласные, а негласные по-особенному и на свой манер.

Нисколько его этот речевой недостаток не смущал, и когда он говорил о «шенском теле», то все отлично понимали, что речь шла о «Женском деле», иллюстрированном еженедельнике дамских мод и передовых идей, редактором коего он состоял.

Но, очевидно, обладал он тем, что принято называть общественной жилкой, и считался, вероятно по заслугам, чуткой натурой, откликавшейся на все высокое и прекрасное.

Справедливость требует, однако, сказать, что, несмотря на некоторую суетливость, справлялся Иван Иванович со своей неожиданной и ответственной ролью весьма тактично, а в какой-то момент замешательства, когда надо было уломать или урезонить казачьего полковника Адрианова, командовавшего отрядом, оказался и совсем на высоте.

Шли долго, шли молча.

Все вокруг было бело, тихо, не по-театральному торжественно.

Ворота яснополянского парка раскрыты настежь, и меж двух колонн из красного кирпича открывалась широкая, длинная, уходившая вдаль липовая аллея.

Об этой аллее, о знаменитой на весь мир, — восемьсот десятин с лишним, — родовой усадьбе, об огромном, непомерно разросшемся вширь барском доме с террасами и пристройками, из которого три недели назад, в холодную октябрьскую ночь, ушел — в снег, в степь, в смерть — старый граф Лев Николаевич, — написано немало томов и монографий.

Писали Бунин, Чехов, Горький.

В меру положенного старались Чертков, Бирюков, Булгаков.

Грешили мемуарами родные и близкие.

Не в меру усердствовал шумный Сергеенко.

А о малых сих и говорить нечего.

И невольно приходили на ум дерзкие, не полагавшиеся по штату, по табели о рангах, мысли.

— И ведь все это писалось при жизни. Что ж будет теперь?!

Бутада напрашивалась сама собой:

— Если б мы знали все, что будут о нас говорить, когда нас не будет, — нас бы уже давно не было.

К самому дому никого не пускали.

Было сказано, что желающие поклониться праху усопшего будут допущены один за другим, по очереди, когда все будет устроено и налажено.

Студенты двойным кольцом окружили дом и с хмурым достоинством держали цепь.

Толпа терпеливо ждала, расходясь по аллеям, по дорожкам, разбивалась на кучки, переминалась с ноги на ногу, притоптывала, уминала валенками, сапогами хрустящий, подмерзавший снег, но постепенно уменьшалась, таяла, многим было невмоготу, люди замерзли, устали.

Многие, не дождавшись очереди, разъехались, разошлись, особенно крестьяне из окрестных деревень, пришедшие издалека, иногда за много верст.

Ракшанин пронюхал, что приехал скульптор Меркулов, будет маску снимать, но бояться, что поздно, надо было думать раньше.

Самое время, воспользовавшись перерывом, бегом бежать на станцию, отправить телеграмму Дмитрию Степановичу Горшкову, в «Голос юга».

Еще прошли какие-то часы.

Стало смеркаться.

В доме зажгли огни.

Иван Иванович Попов что-то шептал на ухо начальнику цепи, долговязому студенту в верблюжьем башлыке.

Цепь расступилась.

Угрюмый наш ангел-хранитель, все тот же Орлов, воистину от щедрот своих, проявлял отеческое попечение.

Растолкал кого нужно, взял за руку и повел.

Тяжелая дубовая крышка была снята.

В гробу лежал сухонький старичок, в просторной, казавшейся на взгляд жесткой, серой блузе; характерный, выпуклый, отполированный смертью лоб и сравнительно маленькое, уже восковое лицо, окаймленное не той могучей и изобильной, внушавшей священный страх и трепет, струящейся бородой жреца и пророка, как на знаменитом портрете Репина, а шелковой, редкой, почти прозрачной, тонковолосой, сужавшейся книзу, не бородой, а бородкой цвета потемневшего серебра или олова.

Выражение лица не суровое, скорее тихое, мирное, покойное.

Только брови, густые, темные, нависшие, еще как-то напоминали гиганта, иконоборца, громовержца.

Темные, запавшие, глубоко зияющие ноздри. Широкие, крепкие, не старческие руки плотно сжаты, соединены одна с другой, пониже груди, у самого пояса.

Ног не видно.

Стоять долго нельзя.

Взглянуть, запомнить, запечатлеть в душе, в сердце, в памяти, унести, сохранить навсегда — образ единственный, неповторимый.

Как всюду, как всегда, горят, оплывают свечи.

Ни молитв, ни обрядов не будет.

По указу Святейшего Правительствующего Синода отлученному от церкви — анафема во веки веков.

Прошла ночь. Утро. Полдень.

В глубине яснополянского парка, меж четырех дубов, на том самом месте, где, как сказано в «Детстве и отрочестве», по клятвенному уговору Муравьиных братьев, была зарыта зеленая палочка, открытая могила, длиной в три аршина.

Ибо — «Сколько же человеку земли нужно?»

Пополудни, в ранних сумерках, на большой поляне пред могилою, вплотную придвинувшись к четырем дубам, — все та же огромная безмолвная толпа.

А поодаль, на пригорке, на фоне высоких зеленых, заиндевельх

елей и сосен, полукольцом окружив полянку, молодцеватые, на конях, казаки.

Шинели, шапки, винтовки за плечом, шашки вдоль бедра, нагайки за поясом,— стена, власть, сила.

Стоят, не шелохнутся, только кони фыркают порой.

И ползут, густеют туманы зимние, и пахнет в воздухе хвоей, кожей, крепким лошадиным потом.

Идут,— расступитесь!

За гробом Софья Андреевна Толстая, дочери, сыновья, доктор Душан Петрович, остальные медленно шагают сбоку, чуть в стороне, а имен и лиц — нет, не упомнишь.

Дошли. Остановились.

Замерли все, сколько нас было.

И когда сырая, черная, холодная земля приняла в себя прах Толстого,— многотысячная толпа, как один человек, опустилась на колени и, обнажив головы, запела Вечную память.

Пели долго, стройно, взволнованно.

Не пели, а провозглашали.

Тени сгущались, росли, синели, синим туманом заволакивали мир, Россию, поляну.

И все, что было, казалось мифом, легендой, преданием.

И в душе была успокоенная буря, усталое, земное умиротворение.

— Ходите в свете, пока есть свет!..

\* \* \*

В крестьянских санях, выложенных соломой, вез нас к поезду, на Козлову Засеку, худой яснополянский мужик с косматой бородкой, с прозрачными, Врубелевскими, голубой воды глазами.

— Ну что, небось жалко графа? Такого второго, чай, больше не будет? — слащаво подделываясь под стиль и говор, старался выжать последнее интервью ненасытившийся Ракшанин.

— Ну, как сказать... Оно, конечно, того... всем помирать надо. А только, как сказать, тоже и нам обида большая вышла... потому обещалась графиня на упокой души по три рубля... как сказать, на душу, на человека выдать. А теперь, вишь, главный ихний приказчик созвал сход, злая рота, и по полтиннику на рыло так и растыкал и... как сказать... больше ни гроша не дал.

И мужик с досады даже сплюнул в сторону и ткнул кнутовищем рыжую свою клячу.

Ракшанин вынул записную книжку и опять стал что-то черкать и записывать.

В поезде встретили Орлова, и Ракшанин с нескрываемым возмущением рассказал о своем хождении в народ.

Орлов насупился, с минуту помолчал и угрюмо буркнул:

— А вы что ж думали? Тысячу лет подряд по горло в снегу си-

деть, кислой черной мякиной животы вздувать, и в один прекрасный день из курной избы так прямо, без пересадки, в серафимы выйти?!

И с неожиданной мягкостью и грустью добавил:

— Гению Толстого я поклонялся, но толстовцем никогда не был, и в скоропалительное мужицкое преображение тоже не верил. И вообще все это не так просто, и в одно «интервью» его не уложишь.

Колеса звякали, стучали, громыхали, катились по замерзшим рельсам, по русской широкой колее.

...Спустя несколько месяцев после смерти Толстого студенты Казанского университета вырыли в университетском парке березку и бережно пересадили ее на могилу Толстого.

Старик сторож очень этому сочувствовал, напутствовал молодых садоводов простыми словами:

— Хорошо придумали! Березка вырастет, станет шуршать листьями над могилою, а корнями к усопшему дотянется... Это упокойничку как мило!..

## XVII

Московский зимний сезон был в полном разгаре.

В Большом театре шла «Майская ночь» Римского-Корсакова.

«Рогнеда» и «Вражья сила» Серова.

Не сходил со сцены «Князь Игорь».

Носили на руках Нежданову.

Встречали овациями Шаляпина, Собинова, Дмитрия Смирнова.

Эмиль Купер в каком-то легендарном фраке, сшитом в Париже, блистал за дирижерским пультом, то морщился, то пыжился и в ответ на аплодисменты кланялся только в сторону пустой царской лужи.

Спектакли, оперы сменялись балетом.

«Лебединое озеро», «Жизель», «Коппелия», «Конек-Горбунок» — не сходили с афиш.

Екатерина Гельцер, про которую даже заядлые балетоманы умильно говорили, цитируя стихи Игоря Северянина:

«Она, увы! уже не молода.

Но как-то трогательно, странно — моложава», —

продолжала делать полные сборы, держала зал в восторге и волнении и со столь беспомощной грацией склонялась и падала на мускулистые руки молодых корифеев, то Жукова, то Новикова, что вызовам не было конца.

А когда танцевала русскую, чтоб не уступить Преображенской, поражавшей Петербург, то знатоки говорили:

— Вот видите, не хуже ее на пяточке танцует!

Пятачок был, разумеется, символом и означал, что настоящая балерина может всю гамму своего искусства развернуть и показать

на столь ничтожном пространстве, что его можно и на пяточке уместить.

Потрясали сердца Вера Коралли и сталелитейный, пружинистый Мордкин в «Жизели». И все же лавры Петербургского балета не давали спать московским примадоннам, и не им одним.

«Умирающий лебедь» в исполнении Павловой считался шедевром непревзойденным, а те, кто видел Кшесинскую в «Кошпелии», считали, что настоящим балетоманам место не в Москве, а в Петербурге.

Грызли ногти и молодые корифеи.

Уже творил чудеса Сергей Павлович Дягилев и всходила на не-вском небосклоне новая звезда — Вацлав Нижинский.

Свет ее был ослепителен, и сияния невиданного.

Но, волнуя сердца и ослепляя взоры, он и сам горел синим пламенем, беспощадным и испепеляющим.

В ореоле молодой славы, в воздушной легкости движений и полетов, в отрыве от земли, во всем этом безмерном вознесении — была какая-то мечта и обреченность.

Недаром сказано:

Не так ли я, сосуд скудельный,  
Дерзаю на запретный путь,  
Стихии чуждой, запредельной,  
Стремясь хоть каплю зачерпнуть?!

В словах Фета был не только эпиграф, в них была и эпитафия. «Дерзаю на запретный путь» — таково было предназначение Нижинского.

Бессмертные боги дерзания не прощают.

Красота есть вызов, совершенство есть посягательство.

Расплата придет позже, в расцвете лет, молодости, славы.

В швейцарском санатории, в доме для умалишенных.

Огненный Прометей, сырой, желтый, обрюзгший и ожиревший, вообразит, что он лошадь, великолепная, породистая, молодая лошадь, — и в квадрате больничной камеры, обитой войлоком, будет носиться в безудержном галопе, закусывать удила, скакать, лететь, брать барьеры и опрокидывать изгороди, и в полном изнеможении, с пеной у рта, припадать к железной оконной решетке, в бессознательной надежде, что холод железа успокоит воспаленный мозг.

Десять лет вдохновения, тридцать лет безумия.

Освободительница смерть, как всегда, опоздает.

Она придет в 1950-м году.

\* \* \*

Балашова, Гельцер.

Испивший эликсир молодости Горский.

Половецкие пляски. Павильон Армиды.

Языческий стан и классический мир.

Огни рампы.

Огни императорского балета.

Есть чем насытить взор, усладить душу горькой усладой.

Ибо «Поздно мелют мельницы богов», и бессмертные боги имеют обыкновение, чем сильнее хотят они наказать род человеческий за всяческие преступления его, тем дольше длят они безнаказанный праздник; чтобы из внезапной перемены вещей и обстоятельств еще страшнее и неожиданнее разразилась олимпийская кара.

А выгравировано это на латинской меди — в «Записках Цезаря о Галльской войне».

И с юных лет усвоено.

И на протяжении последующих десятилетий проверено и оправдано.

\* \* \*

В Малом театре царил Южин-Сумбатов.

«Измена». «Старый закал». «Соколы и Вороны». «Женитьба Белугина». «Свадьба Кречинского».

Старый, престарый, слегка уже молю траченный, но всегда себя оправдывавший репертуар.

И, конечно, Островский, Островский, Островский.

«Не в свои сани не садись».

«Бешеные деньги».

«Без вины виноватые». «Гроза». «Бесприданница».

И «Лес», «Лес», «Лес»!

С К. Н. Рыбаковым, игравшим Геннадия Демьяныча, с Осипом Андреевичем Правдиным в роли Аркашки, с Ольгой Осиповной Садовской — помещицей Гурмыжской, с первым любовником, молодым кумиром, стройным, как тросточка, В. В. Максимовым.

В Малом театре и чин, и лад.

И лад, и ладан.

Старина, причуды, предания.

Традиции и обычаи; ни раскола, ни своевольтва.

В фойе портреты в золотых рамах, а на них вязью написано:

— Рыбаков Николай Хрисанфович.

— Щепкин Михаил Семенович.

— Садовский Пров Михайлович.

А на сцене, в парче, в бархате, в чепцах с наколками, а то и в ситцевом, иль в кисеях с оборками, живые, настоящие, на пьедестале стоящие, к толпе снисходящие, дородные, благородные — Федотова, Ермолова, Лешковская, Яблочкина.

И в зале тоже не выскочки, не декаденты, не вчерашнего дня люди, а вся первая гильдия, московская и замоскворецкая, именитое купечество и чиновный мир, и уезд и губерния, и лицеист — раковая шейка — в мундирах, при шпагах, и из институтов для благородных девиц розовые барышни во всем крахмальном.

И даже в четвертом ярусе, и на галереях, и на боковках, — не жужжат, не галдят, а в четверть голоса разговаривают, друг дружке на

ушко шепчут, в кулачок хихикают, непрошенные слезы кружевным комочком, носовым платочком тихо утирают.

А в антрактах военные перед пустой царской ложей навтыжку стоят, ни за что ни один в кресло не сядет.

Что и говорить. Не ярмарка, не балаган, а храм искусства, прочная постройка, крепость не крепость, а все-таки цитадель.

\* \* \*

— В Большом были? И в Малом были? А у Незлобина не были? И у Зимины не были? И у Корша тоже? И Сабурова не видали?

Трудно провинциалу на московский размах сразу переключиться.

Не угонишься за всем, не поспеешь.

Вот у Зимины, в театре Солодовникова, в декорациях Сапунова «Чио-Чио-сан» идет.

Не опера, а дорогая безделушка, из архивов выкопанная, сам маэстро Пуччини во дни молодости написал.

Рецензенты с ума сходят, одни превозносят, другие язвят, а маэстро афишу пятый месяц держит, и все аншлаги, аншлаги, аншлаги.

У Незлобина тоже, за пятнадцать дней вперед все продано. Барышники шкуру дерут, а публика все равно валом валит.

Для Москвы новинка.

Никто раньше не додумался, а Федор Федорович Комиссаржевский додумался.

«Принцессу Турандот» Карло Гоцци так приспособил, так поновому освежил и поставил, таким легким дыханием согрел и оживил, что сам Петр Ярцев, самый злобный из театральных критиков, из Санкт-Петербурга на один вечер, на первое представление приехал, а потом целую неделю из театра не выходил, и всем руки жал — и Комиссаржевскому, и Рудницкому, и старику Незлобину, а пуще всех принцессе Турандот.

\* \* \*

Успех родит успех.

После «Турандот» — «Псиша» Беляева.

Которого почему-то называли Юрочка Беляев.

Хотя было ему сорок лет, и числились за ним и романы, и комедии, и «Сестры Шнейдер», и нашумевшая «Дама из Торжка», и многие другие «брызги пера», острого и неизменно-галантливого.

Играла «Псишу» В. Ф. Юренева, когда-то ранившая сердца молодых новороссийских студентов.

А. Р. Кугель писал однажды:

«Отчего таким особым и благородным блеском горят и переливаются обыкновенные поделки, стекляшки и побрякушки на бутафорском ожерелье актрисы?»



И сам же и пояснял:

«Оттого, что из тысячи устремленных на лицедейку глаз, из глубины расширенных, прищуренных, всепоглощающих зрачков, из всего этого многоокого, напряженного зрительного зала исходит такое марево, такая ненасытная, жадная и соборная теплота, что поддельные, бутафорские стекляшки вбирают ее в себя, и пьют ее, и выпивают и, загораюсь блеском драгоценных бриллиантов, возвращают этот блеск в темный театральный зал, и зал его взволнованно принимает, ибо и пьеса, и героиня, и ожерелье на шее — принадлежит ему».

И вновь, задевая волнами полукруглый выступ суфлерской будки, выходила на вызовы любимица богов и любовь поколения, окруженная венками и розами, оранжерейными розами, уже тронутыми московским снегом, и беспомощно, всегда беспомощно! разводя руками — отдаю вам все, что имею! — устремляла в рукоплещущее море свой мечтательный, затуманенный, увлажненный взгляд.

За Юрием Беляевым следовал Осип Дымов.

«Псишу» сменяла «Ню», петербургская драма, поставленная Мамонтовым в легких коричневых вуалях и шелках.

И все в этой драме было нарочито и стилизовано, и вуали, и интонации, и словесное кружево придушенных, затемненных реплик и монологов, в которых все было отвлеченно, анемично, надуманно, лишено жизни и страсти, но для обманутого слуха в каком-то неожиданном смысле ласкательно и приятно.

В течение скольких еще недель и месяцев, и сезонов с упоением повторяли потом снобы и эстеты, законодатели преходящих мод, эту загадочную, неживую, вычурную фразу, вложенную в уста томного героя и произносимую нараспев, и с нечеловеческими паузами:

«Я слышу, как проносятся крылья Времени... Время... Die Zeit... Le Temps...»

А между тем Дымов был человек одаренный, талантливый и в свое время немало обещавший.

Книга рассказов его, «Солнцеворот», несмотря на тот же вычур и погоню за фразой, была встречена как некоторый залог если и не преувеличенных, то все же немалых и милых надежд.

Знатоки и профессиональные критики утверждают, что надежды эти не оправдались.

Восторг перед собственной темой, лихорадочный, припадочный подход к задуманному, но еще не осуществленному, отнимал столько творческих сил, что на самое осуществление, создание, претворение — сил уже не хватало.

Толстой признавался, что писал не из головы, а из сердца.

Но когда писал, то чувствовал сердечный холодок.

Так или иначе, а с отъездом из России литературная карьера Дымова пошла зигзагами, и не по предсказанному ему пути.

Он и сам это чувствовал и понимал.

В 1922-м, 1923-м году, во время частых встреч с ним в Нью-Йорке, казалось, что он еще как-то бодрился, сам себя убеждал

и взвинчивал, уверял, что все эти драмы и мелодрамы, которые шли в это время во второстепенных американских театрах, хотя и с Аллой Назимовой и с Баратовым, что все это так, больше по необходимости и для денег, а то, что для души, то есть самое важное и главное — все это еще впереди, и мы еще повоюем, и я им еще докажу! И прочее...

Кому это — им, так и осталось невыясненным.

Потом сразу скисал, мрачно теребил густые, темные, не помпассановски подстриженные усы и, размякнув от нескольких глотков запрещенной, а посему подававшейся в кофейных чашках отвратительной самодельной водки, как бы стесняясь и стыдясь, и с неподдельной грустью в голосе спрашивал:

— А помните в Москве?.. Какой успех имела моя «Ню»!

И сейчас же расплывался в улыбке, услышав подсказанный сочувствием не то ответ, не то реплику:

— Как же не помнить?

«Я слышу, как проносятся крылья Времени... Время... Die Zeit... Le Temps...»

\* \* \*

В Каретном ряду еще театр, по тогдашней терминологии тоже передовой, «Свободный театр» Марджанова.

В репертуаре Стриндберг, Ибсен, Лопе де Вега, Кальдерон.

А попеременно, чтоб дать зрителю дух перевести, — «Весенний поток» и «Мечта любви» Косоротова.

И еще нашумевшая «Желтая кофта», и в ней, в главной роли Н. П. Асланов, перешедший от Незлобина, где в приспособленном для сцены «Идиоте» Достоевского играл он князя Мышкина, и так играл, что не только стяжал себе лавры неоспоримые, но и в весе ежевечерне терял фунт без малого.

Что, по уверению знаменитого московского психиатра Н. Н. Баженова, являлось настоящим вкладом в искусство.

— Какой же это вклад, когда человек худеет на глазах публики?

Но Баженов не сдавался:

— Худеет, потому что перевоплощается. В роль входит. Не играет, а переживает.

И в качестве примера и доказательства добавлял:

— Видали вы дервишей, факиров, флагеллянтов, индусских жрецов, заклинателей змей, колдунов, шаманов или, зачем далеко ходить, наших собственных хлыстов, российских кликуш, когда они впадают в транс, приходят в иступление и, синяя и зеленея, трясутся всем телом, в том самом состоянии священного ужаса, которое и есть самопожертвование, отказ, освобождение от бремени естества, выполнение миссии, то есть, иначе говоря, настоящее, подлинное вдохновение?!

Импровизированная лекция происходит в антракте, в театральном буфете.

На следующий день уже вся литературная и театральная Москва наизусть знает диагноз Баженова, и слава Н. П. Асланова утверждается навсегда.

Встреча с Николаем Петровичем произойдет позже, но уже не у Марджанова, и не в Москве, а в бродячем театрике Евелинова, в Берлинской «Карусели», на Kurfürstendamm...

В «Свободном театре» блистала Полевицкая. Н. М. Радин, один из сыновей Мариуса Мариусовича Петипа, актер большого класса и высокого дарования.

Начинала свою карьеру прелестная, женственная Наталия Лисенко.

И будущий халиф на час, идол и жертва театральных психопаток, герой европейского экрана, создавший ходульный, но привлекательный лубок «Мишеля Строгова», докатившийся до Холливуда и скончавшийся от туберкулеза, промотав небольшой талант, сумасшедший успех и сожженную алкоголем молодость, зеленоглазый, белокурый Иван Мозжухин.

\* \* \*

Из Каретного ряда на Большую Дмитровку в Богословский переулок, в театр Корша.

Ни изысков, ни стилизаций, ни упадочного типа бледнолицых девушек с губами вампиров и с челкой на лбу.

Ни томных, безгрудных, двояковогнутых молодых людей, не отбывавших воинской повинности, но всегда декламирующих и всегда нараспев, и непременно что-то заузное, сверхузное —

Пусть будет то, чего не бывает,  
Никогда не бывает!..

а если не из Гиппиус, то просто из Льва Никулина, который поставлял, бедняга, всей этой поджарой своре эротические поэмки без конца и начала, написанные в нетрезвом бреду, в «Алатре», пред самым рассветом.

Нет, все было как на ладони, честно, просто, отчетливо в стареньком театре в Богословском переулке.

У Федора Адамовича Корша, из московских немцев, обрусевших с незапамятных времен, пищеварение было отличное, мировоззрение ясное, рукопожатие осторожное.

К этому прибавить: пожилые, но розовые щеки; почтенную прилизанную плешь; и глазки острые и пронзающие.

Верил он в вечный репертуар, в вечные ценности, и в бенефис старого суфлера ставил «Велизария».

Столпом дела считал Андрея Иваныча Чарина, отличного актера старой школы, ведшего свою родословную от Геннадия Демьяныча Несчастливцева, от Судьбинина, от Орлова-Чужбинина.

Чарин обладал низким, грудным басом, значительные реплики подавал зловещим шепотом, а сдобную, молодую энженю Нину Валову так душил в объятиях и так швырял на пыльный ковер, что

в конце концов женился на ней, а посаженным отцом был сам Федор Адамович.

Жили они недалеко от Малой Козиhi, в Сытинском переулке, любили принимать, устраивали «четверги», и народу перебивало у них немало.

После знной рюмки Андрей Иванович доставал с этажерки номер «Русского слова» и начинал вслух читать фельетон Дорошевича, которого был усердным поклонником.

— Послушайте, как это сказано.

И низкой своей октавой продолжал:

«В Духов день земля именинница...»

Сказано было действительно хорошо, но нижний фельетон был на шесть колонок, а главное, его уже все читали.

Но Чарин не сдавался, требовал мертвой тишины и, когда надо было, а может и не надо, переходил на свой знаменитый зловещий шепот.

А еще любил он показывать свой гардероб и в особенности коллекцию жилетов, к которым питал настоящую и нескрываемую слабость.

— У актера должно быть тридцать жилетов, иначе это не актер, а прощелыга! А у меня, батюшка, пятьдесят семь, и то не хватает...

И с увлечением вытаскивал на середину комнаты какие-то неумные, старомодные, хлипкие чемоданы, и представление начиналось:

— Черный, атласный, пуговицы чистого перламутра, с опаловым переливом.

— Малинового бархата, на байке, стеганый.

— Парадный купеческий, зеленого плюша, с разводами.

— Белый муаровый, под кружевное жабо, для фрака.

— Канареечного цвета, чистый кастор, пуговицы настоящей бирюзы... Прошу потрогать.

И Андрей Иванович заливался таким милым, задушевым смехом, что ни у кого духу не хватало остановить этот великий показ, равнодушно пройти мимо этого изобилия цветов и красок, в котором своеобразно, но искренно сказывалась какая-то особая, языческая страсть к переодеванию, к зрелищу, ко всему тому, что с легкой руки Н. Н. Евреина стали называть:

— Театрализацией жизни.

\* \* \*

От Коршевского «Велизария» до опереточного Никитского театра, что и говорить, дистанция огромного размера.

У антрепренера Евелинова красно-лиловый нос, в груди не сердце, а динамо-машина, пальцы на пухлых руках короткие, проекты и желания грандиозные.

Приехал из провинции, чудом каким-то или напором в один год создал дело, звериным чутьем учуял будущую славу и из задорной, забавной, шаловливой Потопчиной, напевавшей песенки и танцевав-

шей качучу, создал, сотворил настоящую звезду, из ряда выдающуюся опереточную примадонну.

И пошла писать губерния!

Зазвонили «Корневильские колокола», защебетали «Птички певчие», а вслед за «Нищим студентом» и «Цыганским бароном» появилась «Веселая вдова» и «Сильва».

Потопчина превзошла самое себя, делала полные сборы, собирала всю Москву, притоптывала каблучками, танцевала венгерку, отделявала чардаш, уносила в вальсах, шелкала серебряными шпорами в «Мамзель Нитуш», заражала зал смехом и весельем в «Дочери мадам Анго» и насмешливо вторила жалобам тенора:

Сильва, ты меня не любишь,

Сильва, ты меня погубишь...

До рокового, 1914 года не покидала афиш «Веселая вдова».

Но так как Франц Легар по тщательном расследовании оказался подданным Франца Иосифа, то вдову с сожалением сняли с репертуара.

Зато все четыре года войны — истории не переделаешь и не поправишь! — прошли под знаком «Сильвы», которую при всех обстоятельствах распевал ошалелый тыл.

А кончилась ее карьера только тогда, когда на смену гнилой западной оперетке пришло из недр земли здоровое народное творчество и, несясь курносой, безмордой лавиной, хором запели революционные матросы:

Эх, яблочко, куда ты котишься,

На «Алмаз» попадешь, не воротишься...

\* \* \*

Провинциалы — народ крепкий и упрямый — носятся как угорелые из одного храма искусства в другой, стоят в очередях, на морозе мерзнут, афиши назубок знают и — год прошел, не оглянешься — чувствуют себя неотъемлемой, неотделимой частью великодержавной, древней Москвы.

А она, Москва, широко и не ревниво все объемлет, всех приемлет, меховой своей рукавицей снисходительно по плечу похлопывает — вали, брат, на Сенькин широкий двор, на Коломенскую дорогу, на Бородинское поле!

Татарскую орду и ту выдержала, шляхту польскую вон изрыгнула, от грошовой свечки под Бонапартом сгорела, — не положено ей уезд да провинцию за заставы гнать.

Столичные афиши были почти исчерпаны.

В Камерном, на Тверском бульваре, мистерия за мистерией.

Котурны, маски, жертвенники.

Все в хитонах, в туниках, а то и в саванах.

Алиса Коонен три акта Шарля ван Лерберга замогильным голосом на одной ноте декламирует, о законном браке слышать не хочет.

А Таиров все уговаривает да уговаривает, и все под музыку.

И так до конца — туники, саваны, духота, томление, безнадежность полная.

Ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно...

А театр набит битком.

И бледнолицые барышни и эстеты в страшном восторге, потрясены и аплодируют.

О. пусть будет то, чего не бывает,

Никогда не бывает...

\* \* \*

У Сабурова — ни туник, ни хитонов.

На занавесе написано:

«Лучше смех, чем слезы».

Каждый вечер французский фарс, в переводе Бинштока.

С самого начала все ясно.

Первый любовник в одних исподних, героиня в кружевном халате, и только счастливый супруг в хорошо сшитом фраке.

Супруг — член английского клуба и всю ночь напролет играет в баккара!

Но, забыв чековую книжку, невзначай возвращается домой и долго возится с ключом в замочной скважине.

Заслышав возню, господин в исподних срочно прячется в большой шкаф, а героиня делает страшные глаза и притворяется спящей.

Все было бы хорошо, если б любовник не кашлял.

Но либо он, черт, простужен, либо в шкафу нафталин.

Супруг в цилиндре входит на цыпочках, супруга спит, а тот кашляет.

Зал гогочет, фарс грозит превратится в трагедию, но положение спасает прехорошенькая горничная в кружевной наколке.

Барин, хотя и идиот, но пощекотать горничную не дурак.

Все кончается вполне благополучно, а Грановская, несмотря на вопиющую пошлость и пьесы и роли, совершенно бесподобна.

Умна, женственна, грациозна, лукава, и одному Богу известно, что ее, как птичку в золотой клетке, годами держит в Сабуровском фарсе?

Один из лучших знатоков театра, А. Р. Кугель, писал в «Театре и искусстве»:

«Грановская это жемчужина в навозной куче. Ей бы играть хозяйку гостиницы в пьесе Гольдони, или продавщицу цветов в «Пигмалионе» Шоу, или даже Розину в «Севильском цирюльнике», а ее, бедняжку, в корсет Поль-де-Кока тискают и дышать не дают...»

\* \* \*

Обозрение театров приближалось к концу.

Апофеоз был в Камергерском переулке.

Камергерский переулок — Художественный театр.

Театр Станиславского, театр Немировича-Данченко.

Об этом написаны трактаты, мемуары, воспоминания, фолианты.

Поколение, которое доживает век, еще до сих пор ничего не забыло.

И, когда за чашкой зарубежного чая, собираются вместе в тесный, с каждым годом редеющий кружок, где-нибудь в Париже, в Нью-Йорке, в Рио-де-Жанейро, у черта на рогах, то и дело слышишь:

— А помните в «Дяде Ване» удаляющуюся тройку и колокольчики за стеной?

— А как Артем на гитаре тренькал?

— А старика Фирса помните?

— А «На дне» Горького, помните, как говорил Барон, лежа на нарах,— в карете прошлого далеко не уедешь!

Как он это говорил!

— А кто играл Вершинина в «Трех сестрах»?

— Ну, Станиславский, конечно!

— Разве можно забыть, как он напевал вполголоса: «Любви все возрасты покорны...»

— А молодые поручики в белых кителях, Федотик и Родэ?.. Целовали ручки, шелкали фотографическим аппаратом и всех снимали, на память.

И полк уходил из города, и издали доносились звуки военного марша, и постепенно замирали, замирали...

— А помните, как играл Станиславский князя Обрезкова в «Живом трупe»?

— А Лилину помните?

— В большой гостиной, где диваны и кресла из карельской березы и все обито вялым лиловым шелком?

— А Москвин — Федя Протасов?

— Помните, как он лежал на тахте, закрыв лицо руками, а цыгане пели «Эх, не вечерняя, не вечерняя заря»?

— А как Качалов играл набоба Баста «У жизни в лапах»?

— А кто помнит Москвина в роли Федора Иоанновича? «Я царь, или не царь?!»

— А как он изображал Кота в «Синей птице»!

— В черных бархатных сапогах, и такой ласковый, ласковый, и голос сладкий и вкрадчивый, а как был загримирован?!

— Помните, усы? Три волоска, как в струну вытянуты, и длинные-предлинные, три с правой стороны, и три с левой!

— А «Miserege» помните? И музыку Ильи Саца?

— А в «Вишневом саду» декорации Добужипского?

— А «Месяц в деревне»?

— Зеленую лужайку, залитую солнцем. И легкие, белые занавески на окнах, которые от ветра колышались?

— А Вишневский в роли Бориса Годунова?

— А актрисы, актрисы? Книппер, Германова, Коренева?

— А Ликкиардопуло, непрменный грек, поэт, советчик, переводчик?

— А кто, господа, помнит, как чествовали Чехова?

— И как ему было стыдно и неловко. И как он, бедный, снимал пенсне, пожимал руки и покашливал?

— А как приезжал этот самый Гордон Крэг, и хотя и англичанин, а все время облизывался от восторга?

— А Сураварди? Верный индус Камергерского переулка? Который привозил живого Рабиндраната Тагора, прямо из Индии в Художественный кружок?

— А помните? Помните? Помните?

Чай давно простыл и, несмотря на сладость воспоминаний, чувствовалась потребность в эпилоге.

— Притворяться нечего, все равно это новое поколение, идущее на смену, начиная от ловчил и доставал, вышколенных комсомольской муштрой, и кончая ватагой новоиспеченных французов, американцев и иных иностранных подданных, все равно молодое поколение усмехнется, как полагается.

— Усмешкой горькою обманутого сына  
Над промотавшимся отцом...

Извиняться, однако, не будем, оправдываться не станем.

А в эпилоге воспоминаний были, всего-навсего, серые ботики Качалова...

Кто знал Москву описываемых лет, тот подтвердит и на суде покажет.

Так велико было поклонение, так неумеренно обожание, что толпой выходила молодежь, по преимуществу женская, в одиннадцатом часу утра на Кузнецкий мост и терпеливо ждала.

Ибо известно было, что утреннюю свою прогулку, от Петровки до Лубянки, вверх по Кузнецкому, и по правой стороне обязательно, Василий Иванович Качалов совершает в начале одиннадцатого, а потом по Петровке, мимо кондитерской Эйнема и большого цветочного магазина, сворачивает в Камергерский, на релетицию.

Ну, вот, и ждали.

И дождавшись, шли за ним.

За полубогом в меховой шапке, в серых ботиках, в отличной шубе.

На лошадях он не ездил, выпрягать было нечего.

Стало быть, ходить шаг за шагом, и хоть на приличном расстоянии, но все же в сиянии исходящих от полубога лучей, в ореоле немеркнувшей всероссийской славы.

Качалов все это знал, терпел и, как уверяли девушки, даже улыбался порой.

Пролетали сани, то вверх по Кузнецкому мосту, то вниз. Скрипел снег под ногами.

«Морозной пылью серебрится его бобровый воротник»...

И шагал он в серых своих ботиках, о которых на закате дней еще



до сих пор вспоминают со вздохом пожилые психопатки, а может быть, и не психопатки, а неисправимые, чудесные, русские дуры, вечные курсистки, сохранившие в душе ненужную молодость и благодарную любовь.

Каждой эпохе свой кумир.

Кому — Буденный, кому — Качалов.

Изменить не изменишь, а меняться не станем.

И, усмехнувшись иной усмешкой, повторим вслед за Игорем Северяниным:

Пусть это все — игрушки, пустяки.  
Ничемное, ненужное, пустое.  
Что до того! Дни были так легки.  
И в них таилось нечто дорогое...

\* \* \*

Москва жила полной жизнью.

Мостилась, строилась, разрасталась.

Тянулась к новому, невиданному, небывалому.

Но блистательной старины своей ни за что не отдавала и от прошлого отказаться никак не могла.

С любопытством глядела на редкие лакированные автомобили, припершие из-за границы.

А сама выезжала в просторных широкоместных каретах, неслась на тройках, на голубках, а особое пристрастие питала к лихачам у Страстного монастыря, против которых как устоишь, не поддашься соблазну?

— Пожа-пожалте, барин! С Дмитрием поезжайте! Во как прокачу, довольны будете!

И все, как на подбор, крепкие, рослые, молодцеватые, кудрявые, бороды лопатой, глаза искры мечут, на головных уборах павлиньи перышки радугой переливаются, а на синем армяке, на вате стеганном, в складках, в фалдах, серебряным набором в поясе перехваченном, такого нашито, намотано, наворочено, что только диву даешься и сразу уважение чувствуешь.

Мережковский и Гершензон уж на что друг друга терпеть не могли, а в этом определении без спору сошлись.

Вот именно так, и никак не иначе:

— Византийский зад московских кучеров!

После этого и все остальное яснее становится.

И Сандуновские бани в Неглинном проезде, где на третьей полке паром парят, крепким веником по бедрам хлопают и из деревянной шайки крутым кипятком поливают, и выводят агнца во столько-то пудов весом, под ручки придерживая, и кладут его на тахту, на льняные простыни, под перинки пухлые, и квасу с изюминкой целый жбан подносят, чтоб отпить изволили, охладилась малость, душу Господу невзначай не отдали.

И трактир Соловьева, яснее ясного, в Охотном ряду, с парой чаю

на чистой скатерти, с половыми в белых рубахах с косым воротом, красный поясок о двух кистях, узлом завязанный, а уж угождать мастера, ножкой шаркать, в пояс кланяться, никакое сердце не выдержит, последний подлец медяшки не пожалеет.

Долго, степенно, никуда не торопясь, не спеша бессмысленно, а в свое удовольствие пьют богатыри извозчики, лихачи и троечники, и тяжелые ломовики-грузчики.

Полотенчиком пот утирают и дальше пьют, из стакана в блюдечко наливают, всей растопыренной пятерней на весу держат, дуют, причмокивают, сладко кричат.

А в углу, под окном, фикус чахнет, и машина гудит, жалобно надывается.

— Восток? Византия? Третий Рим Мережковского?

Или Державинская ода из забытой хрестоматии:

Богopodobная царевна  
Киргиз-кайсацкия орды...

А от Соловьева рукой подать в «Метрополь» пройти, — от кайсацких орд только и осталось что бифштекс по-татарски, из сырого мяса с мелко нарубленным луком, черным перцем наперченный.

А все остальное Европа, Запад, фру-фру.

Лакеи в красных фраках, с золотыми эполетами; метрдотели, как один человек, в председатели совета министров просятся; во льду шампанское, с желтыми наклейками, прямо из Реймса, от Мозта и Шандона, от Мумма, от Редерера, от вдовы Клико, навеки вдовствующей.

А в оркестре уже танго играют.

Иван Алексеевич Бунин, насупив брови, мрачно прислушивается, пророчески на ходу роняет:

— Помяните мое слово, это добром не кончится!..

Через год-два так оно и будет.

Слишком хорошо жили.

И, как говорил Чехов:

— А как жили! А как ели! И какие были либералы!..

А покуда что, живи всюю, там видно будет.

Один сезон, другой сезон.

Круговорот. Смена.

Антрактов никаких.

В Благородном собрании музыка, музыка, каждый вечер концерт.

Из Петербурга приехал Ауэр.

Рояль фабрики Бехштейна. У рояля Есипова.

Играют Лядова, Метнера, Ляпунова.

К Чайковскому возвращаются, как к первой любви.

Клянутся не забыть, а тянутся к Рахманинову.

В большой моде романсы Глиэра.

Раздражает, но волнует Скрябин.

Знатный петербургский гость, солист Его Величества, дирижирует оркестром Зилоти.

Устраивает музыкальные выставки Дейша-Сионицкая.

Успехом для избранных пользуется «Дом песни» Олениной д'Альгейм.

Через пятнадцать лет избранные переедут в Париж, а студия Олениной д'Альгейм водворится в Passy, в маленьком особнячке, на улице Faustin-Hélie.

Театр, балет, музыка.

Художественные выставки, вернисажи.

Третьяковская галерея, Румянцевский музей, коллекции Щукина, — все это преодолено, отдано гостям, приедем, разинувшим рот провинциалам, коричневым епархиалкам, институтам благородных девиц под водительством непроницаемых наставниц в старомодных шляпках, с шифром на груди.

На смену пришел «Мир искусства», журнал и выставка молодых, новых, отважившихся, дерзнувших и дерзающих.

Вокруг них шум, спор, витии, «кипит словесная война».

Академические каноны опровергнуты.

Олимпу не по себе.

Новые созвездия на потрясенном небосклоне.

Рерих. Сомов. Стеллецкий. Сапунов.

Судейкин. Анисфельд. Арапов.

Петров-Водкин. Малютин.

Миллиоти. Машков. Кончаловский.

Наталья Гончарова. Юон. Ларионов.

Серов недавно умер, но обаяние его живо.

Есть поколения, которым непочтительность не к лицу.

Продолжают поклоняться Врубелю.

Похлопывают по плечу Константина Коровина.

Почитают Бенуа.

А еще больше Бакста.

Написанный им портрет Чехова уже принадлежит прошлому.

Теперь он живет в Париже; и в альманахах «Мира искусства» печатаются эскизы, декорации к «Пизанелле» Габриеле д'Аннунцио.

В постановке Мейерхольда, с Идой Рубинштейн в главной роли...

Чудак был Козьма Прутков, презрительно возгласив, что нельзя объять необъятное.

И не только необъятное можно объять, а и послесловие к нему.

Вроде возникших в пику уже не многоуважаемой Третьяковской галерее, а самому «Миру искусства» — футуристических выставок, где процветали братья Бурлюки, каждый с моноклем, и задиры страшные.

А Москва и это прощала.

Забавлялась недолго и добродушно забывала.

Назывались выставки звонко и без претензий.

«Пощечина общественному вкусу».

«Иду на вы».

И «Ослиный хвост».

Во всем этом шумном выступлении была, главным образом, ставка на скандал, откровенная реклама и немалое самолюбование.

Все остальное было безнадежной мазней, от которой и следа не осталось.

Но литературному футуризму выставки эти службу, однако, сослужили, явившись своего рода трамплином для будущих «свободных трибун», диспутов и публичных истерик.

Называли Бурлюков — братья-разбойники, но в арестантские роты своевременно не отдали, благодаря чему один из них благополучно эмигрировал в Нью-Йорк и в течение нескольких лет скучно лалял на страницах большевистского «Русского голоса», прославляя военный коммунизм и охаивая голодную эмиграцию.

Однако вернуться на советскую родину не пожелал, предпочитая носить свой революционный монокль в стране акул и свиных королей.

«Ослиный хвост» бесславно погиб.

Внимание москвичей на мгновение привлек приехавший из Швейцарии Жак Далькроза, выступивший с публичной лекцией по вопросу весьма насущному и для русской общественной жизни действительно неотложному.

«Ритмическое воспитание молодежи».

Лекция имела огромный успех, почему — до сих пор неизвестно. Тема была во всех смыслах актуальная.

Ибо российская молодежь была, как известно, всем избалована, привилегированные классы — теннисом и крикетом, и истрадавшиеся низы — стрельбой из рогатки и чехардой.

Но ритма, конечно, не хватало.

Устами Жака Далькроза античная Эллада заклинала Варварку и Якиманку скинуть тулупы и валенки и босиком, в легких древнегреческих хитонах, под звуки свирели, начать учиться плавным, музыкальным движениям, хоровому началу и танцу.

Все это было в высшей степени увлекательно и настолько заразительно и почтенно, что после отъезда швейцарского новатора в Москве и Петербурге и даже в глухой, далекой провинции возникла настоящая эпидемия ритмической гимнастики, и те самые светлые девушки, которые задумчиво стояли на распутье, не зная, куда им идти — на зубоврачебные курсы или на драматические, сразу все поняли и стремглав пошли в босоножки.

А тут, как будто все было условлено заранее, на крыльях европейской славы прилетела Айседора Дункан.

На мощный, мускулистый, англосаксонский торс наугад были накинуты кисейные покровы, дымчатая вуаль и облачко легкого газа.

Под звуки черного рояля поплыло облачко по театральному небу, понеслась величественная босоножка по московской сцене, то вздевая к солнцу молитвенно протянутые руки, то, припав на одно колено, натягивала невидимый глазу лук, то, угрожая погрузиться

в бездну, спасаясь от любово­страстных преследований самого Юпитера.

После греческой мифологии был вальс Шопена.

Потом траурный марш Бетховена.

Испанские танцы Мошковского сменили скерцо Брамса.

А за сюитой Грига последовал «Уми­рающий лебедь», по поводу которого сатирическая «Стрекоза» неуважительно писала:

«Артистка ограничилась одним лебедем, в то время как при ее темпераменте и телосложении она смело могла бы заполнить собой все Лебединое озеро целиком...»

Публика, однако, была потрясена.

Московский успех затмил все, до той поры виденное.

И хотя поклонники классических традиций кисло улы­бались, а присяжные балетоманы обиженно куксились и пожимали плечами, подавляющее, прилежное большинство пало ниц, и вернуть его к действительности было немыслимо.

Но все это было ничто, по сравнению с успехом петербургским.

Аким Волынский неистовствовал.

Андрей Левинсон разразился таким панегириком, что спустя несколько лет сам не решился включить его в свой сборник статей, посвященных танцу.

А трогательный горбун, целомудренный Горифельд, талантливый и очень сдержанный литературный критик, откровенно признавался на страницах «Речи», что искусство Айседоры Дункан настолько совершенно, что чуткому зрителю даже аплодировать непристойно, ибо только слезами умиления может выразить он свой беспредельный восторг...

Кто мог предвидеть, что через десять лет после первого российского триумфа последует второй? И что принимать и приветствовать Айседору будет народный комиссар Луначарский.

И не в слезах умиления, а в пьяном бреду склонится перед постаревшей босоножкой буйная, русая голова Сергея Есенина?

Сахарный паренек в голубенькой косоворотке увезет Ниобею за океан.

И после медового месяца в оплаченной Ниобеей «Астории» беспощадно изобьет ее и искалечит.

И не в состоянии объяснить свою нечеловеческую страсть и деревенскую любовь на высокомерном английском наречии, обложит ее непере­водимой русской балладой, потрянет кудрями русыми и поплывет назад, в колхоз, в глушь, в Саратов.

Недаром декламировал Бальмонт по этому ль, по другому ль поводу:

Не кляните, мудрые! Что вам до меня?

Я ведь только облачко, полное огня.

Я ведь только облачко... Видите — плыву.

И зову мечтателей. Вас я не зову...

Так оно и вышло, почти что по Бальмонту.

Прилетело облачко, налетел мечтатель.

А хохотал и скалил ослепительные зубы один Ветлугин, которого, остановившись в Берлине, Есенин пригласил на роль гида и переводчика на все время морганатического брака.

Хохотал потому, что автору «Записок мерзавца» вообще и всегда все было смешно.

А еще и потому, вероятно, что по-английски он и сам не смыслил, и значит опять надул, а доехать в каюте первого класса до недосягаемых берегов Америки, да за чужой счет, да еще в столь теплой, хотя и противоестественной компании,—это, сами согласитесь, не каждый день и не со всеми случается.

\* \* \*

Все, чем жила писательская, театральная и музыкальная Москва, находило немедленный отзвук, эхо и отражение в огромном раскидистом особняке купцов Востряковых, что на Большой Дмитровке, где помещался Литературно-художественный кружок, являвшийся тем несомненным магнитным полюсом, к которому восходили и от него же в разные стороны направлялись все центробежные и центростремительные силы, определяемые безвкусным стереотипом представителей, деятелей, жрецов искусства.

Кружком управлял совет старшин, скорее напоминавший Директорию.

Из недр этой директории и вышел первый консул, Валерий Брюсов.

Оказалось, что у первого консула есть не только имя, но и отчество, и что именуют его, как и всех смертных, то есть по имени-отчеству, то есть Валерий Яковлевич.

Для непосвященного уха звучало это каким-то оскорбительным упрощением, снижением.

Низведение с высот Парнаса на обыкновенный, дубовый, просто патертый полотерами паркет.

А как же сияние, ореол, аура, золотой лавровый венок вокруг мраморного чела?

И разве не ему, Валерию Брюсову, посвящены эти чеканные строки Вячеслава Иванова, который, хотя тоже оказался Вячеславом Ивановичем, но по крайней мере пребывание имел в башне из слоновой кости, где, окруженный толпою раскаявшихся весталок, так и начертал в своем знаменитом послании:

Мы два грозой зажженных ствола,  
Два пламени полуночного бора.  
Мы два в ночи летящих метеора,  
Одной судьбы двужалая стрела!

А на поверку оказывается, что Брюсовы хотя и ведут свой род от Брюса и Фаренгейта, но на самом-то деле старые москвичи, домовладельцы и купцы второй гильдии.

Вот тебе и двужалая стрела.

Одной убогой справкой больше, одной иллюзией меньше.

Пришлось помириться на том, что, по определению Бальмонта, у Брюсова все-таки не обыкновенное, а настоящее лицо нераскаившегося каторжника, надменно и в бледности своей обрамленное жесткой черной, слегка тронутой проседью, бородой; зато высокий лоб и красные, неестественно красные губы... вампира.

Вампир...— в этом все же была какая-то уступка романтическому максимализму, который во что бы то ни стало требовал творимой легенды, а не прозаической биографии.

А ведь вот от Ивана Алексеевича Бунина никто ничего не требовал.

Ни бледного мраморного чела, ни олимпийского сияния.

Проза его была целомудренна, горячей мыслью выношена, сердечным холодом охлаждена, беспощадным лезвием отточена.

Все воедино собрано, все лишнее отброшено, в жертву прекрасному принесено красивое, и вплоть до запятых — ни позы, ни лжи.

Не случайно, и не без горечи и зависти, уронил Куприн:

— Он как чистый спирт в девяносто градусов; его, чтоб пить, надо еще во как водой разбавить!

Но Брюсов, помилуйте! — Цевницы, гробницы, наложницы, няяды и сирены, козлоногие фавны, кентавры, отравительницы колодцев, суккубы, в каждой строке грехопадение, в каждом четверостишии свальный грех, — и все пифии, пифии, пифии...

А ведь какой успех, какое поклонение, какие толпы учеников, перипатетиков, обожателей, подражателей и молодых эротоманов, не говоря уже о вечных спутницах, об этих самых «молодых девушках, не лишенных дарования», писавших письма бисерным почерком и на четырех страницах, просивших принять, выслушать, посоветовать и, если можно, позволить принести тетрадку стихов о любви и самоубийстве...

Одна из самых талантливых, Наталья Львова, не только добилась совета и высокого покровительства, но, исчерпав всю гамму авторских надежд, которым в какой-то мере суждено было осуществиться, проникновенно и поздно поняла, что человеческие и женские иллюзии не осуществляются никогда.

Что-то было непоправимо оскорблено и попрано.

В расцвете лет она покончила с собой, книжка стихов, которая называлась «Вечная сказка», вышла вторым посмертным изданием.

О молодой жертве поговорили сначала шепотом, потом все громче и откровеннее.

Потом наступило молчание.

Потом пришло и забвение.

\* \* \*

Поклонение Брюсову было, однако, прочным и длительным.

Из поэтической школы его, где стихи чеканились, как монеты, а эмоции сердца считались признаком отсталости и архаизма и где священным лозунгом были презрительно брошенные строки:

Быть может, все есть только средство  
Для звонко певучих стихов!..

Из школы этой вышло немало манерных последователей и несколько несомненных, хотя и изуродованных дарований.

Скабичевского уже не было в живых, почтенный Стасюлевич тоже умер, не успев опубликовать своей папской буллы и предать анафеме шумных и посягнувших на традицию еретиков.

Львов-Рогачевский и Петр Коган, хотя и считались присяжными критиками и цензорами литературных мод в «Мире Божьем» и в «Русском богатстве», но в усердной преданности своей кто — марксизму, кто — «Народной воле», — до всего этого парнасского колдовства и волхования не снисходили, и от символистов, декадентов, акмеистов и имажинистов, кубистов и футуристов отгораживались высокой стеной.

И только умнейший, прозорливый и обладавший редким слухом Ю. И. Айхенвальд правды не боялся и так во всеуслышание и заявил:

— Не талант, а преодоление бездарности!

Формула относилась и к властителю дум, и к усердствовавшим ученикам.

Многие съезжились и постепенно стали отходить на старые пушкинские позиции.

А талантливый, бесцеремонный, чуть-чуть разухабистый Корней Чуковский и еще подлил масла в огонь.

«Конечно, нельзя отрицать, — писал он в «Свободных мыслях» Василевского (Не Буквы), — версификаторы дошли до точки и многие из них, как в Крыловском луке, достигли пределов изысканности и вычурного совершенства.

Но из лука уже стрелять нельзя, стоит натянуть тетиву, как весь он трещит и распадается на мелкие части.

А ужас в том и заключается, что кто ж теперь в этой необъятной России не пишет гладких стихов?!

От Белого моря до Черного — ни одной корявой строчки, хоть со свечой ищи, не найдешь.

Все правильно, и все по стандарту.

А поэзии и в помине нет».

\* \* \*

Как сейчас помнится:

У входа в большой зал, на площадке мраморной лестницы, опершись головой о дверной косяк, в застывшей, неудобной, упрямой позе, стоит властитель дум и, еле улыбаясь, принимает гостей.

В Литературно-художественном кружке большой вечер.

Из Парижа приехал Поль Фор, принц поэтов.

Все притворяются, что знают принца чуть не с колыбели.

На самом деле никто о нем понятия не имеет.



Ни князь А. И. Сумбатов-Южин, который, быстро пожав руку хозяину, виноватой походкой проходит прямо в игорный зал.

Ни молодой Найденов, скромно стоящий и счастливый: «Дети Ванюшина» в сотый раз подряд идут у Корша, и публика и критика захлебываются от восторга.

Семенит, шаркая ножками, со всеми здоровается, всех ласково приветствует милейший, добрейший, благосклоннейший, слегка пунцовый Юлий Алексеевич Бунин, брат Ивана Алексеевича, старшина клуба.

Массивный, светлоглазый, окруженный дамами, проходит Илья Сургучев, автор «Осенних скрипок», многозначительно поглаживает полумефистофельскую бородку и как улыбается, как улыбается!..

Дальше — больше.

Что ни человек, то толстый журнал, или альманах «Шиповника», или сборник «Знания» в зеленой обложке.

Арцыбашев, Телешов, Иван Рукавишников.

Алексей Толстой об руку с Наталией Крандиевской.

Сергей Кречетов с женой, актрисой Рындиной.

Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины.

Осип Андрейч Правдин, обязательный кружковский заседатель.

Рыжебородый Ив. Ив. Попов.

Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы — все это московское просвещенное купечество, на все откликающееся, щедро дающее когда угодно и на что угодно — на Художественный театр, на Румянцевский музей, на «Освобождение» Струве, на «Искру» Плеханова, на памятник Гоголю, на землетрясение в Мессине.

Молодая, краснощекая, пышущая здоровьем, еще только вступающая в жизнь и на Парнас, Марина Цветаева, которую величают Царь-Девица.

Летит сломя голову, в полинявшей визитке, в полосатых брючках, худосочный, подвижной, безобидный, болтливый, всех и все знающий наизусть близорукий, милый, застольный чтец-декламатор Владимир Евграфович Ермилов.

Непременный член присутствия Николай Николаевич Баженов, не успевший переодеться и так и приехавший со скачек в сером рендоноте и с серым котелком под мышкой.

Молодой, блестящий, в остроумии непревзойденный, про которого еще Дорошевич говорил, — расточитель богатств, — театральный рецензент «Русского слова» Александр Койранский.

Старый москвич и старый журналист В. Гиляровский, по прозвищу дядя Гиляй.

И за ними целая ватага молодых, начинающих, ревнующих, соревнующих, поэтов, литераторов, художников, актеров, а главным образом присяжных поверенных и бесчисленных надеющихся, нунывающих «помприсповов».

Декольтированные дамы, в мехах, в кружевах, в накидках, усердные посетительницы первых представлений балета, оперы, драмы,

комедии, не пропускающие ни одного вернисажа, ни одного благотворительного базара, ни одного литературного события, от юбилея до похорон включительно.

Но им и сам Бог велел принимать, чествовать приехавшего из Парижа, из города-светоча, из столицы мира — напомаженного, прилизанного, расчесанного на прибор, хлипкого, щуплого, неубедительного, но наверное гениального, ибо коронованного в Café des Lilas, принца поэтов Поля Фора.

Толпа проплыла, прошла, проследовала.

Брюсов покинул дверной косяк, медленно вошел в притихший зал, сел на председательское место, поднял колокольчик, звонить не стал, — и так поймут.

И глухим голосом, приятно картавя и, конечно, нараспев, как будто в сотый раз читал разинувшим рот ученикам:

Я раб, и был рабом покорным  
Прекраснейшей из всех цариц...

представил Москве высокого гостя.

Гость улыбался, хотя ничего не понимал.

Потом и сам стал читать.

И тоже картавя, но по-иному, по-своему.

Москва аплодировала, приветствовала, одобряла, хотя не столько слушала стихи, сколько разглядывала напомаженный пробор, черные усики и пуговицы на жилете.

Потом, когда первая часть была кончена и был объявлен антракт, все сразу задвигали стульями и искренно обрадовались, кроме самого Брюсова, который хмурился и смотрел куда-то вдаль, поверх толпы, поверх декольтированных дам и братьев-писателей.

После антракта толпа в зале сильно поредела, зато огромное помещение кружковского ресторана наполнилось до отказа.

«Пир» Платона длился, как известно, недолго.

Ужин в особняке на Большой Дмитровке продолжался до самого утра.

Хлопали пробки, в большом почете было красное вино удельного ведомства. Подавали на серебряных блюдах холодную осетрину под хреном; появился из игровой комнаты утомленный Сумбатов и стал вкусно и чинно закусывать.

О принце поэтов и думать забыли, и только один Баженов на жеманный вопрос какой-то декольтированной московской Венеры — как вам, Николай Николаевич, понравились стихи господина Фора? Правда, прелестно? — непринужденно ответил:

— Ну, что вам сказать, дорогая, божественная! Конечно, понравились. По этому поводу еще у Некрасова сказано:

А ситцы все французские,  
Собачьей кровью крашены...

Цитата имела большой успех, ибо метко определила не то что неуважение к знатному иностранцу или неодобрение к попытке «сближения между Востоком и Западом», а то манерное, нарочитое и на-

думанное, что сквозило во всей этой холодной, отвлеченной и не доходившей до внутреннего слуха и глаза, постановке, автором которой был не столько бедный Поль Фор, сколько самоуверенный и недоступный Каменный Гость, великолепнейший Валерий Брюсов.

\* \* \*

Кружились дни, летели месяцы, проходили годы.

О влиянии литературы на жизнь писались статьи, читались рефераты, устраивались дискуссии.

«Хождение по мукам» Алексея Толстого еще только вынашивалось и созревало в каких-то лабиринтах души, в путаных мозговых извилинах входившего в известность автора.

Роман, в котором, как в кривом зеркале, отразится обреченная эпоха предвоенных лет, будет написан много позже, то в лихорадочных вспышках раздраженного вдохновения, то с перерывами и вразвалку, между припадками мигреней, с ментоловыми компрессами вокруг знаменитой шевелюры, и отдохновительными антрактами на берегу океана, в Sables d'Olonne, где еще не ведая и не предвидя грядущей придворной славы и зернистой икры, ненасытное воображение питалось лишь скудными образами первой эмиграции, а неумный кишечник — общедоступными лангустами под холодным майонезом.

А эпоха, которой будет посвящена первая часть романа, развертывалась вовсю, — в великой путанице балов, театров, симфонических концертов и всего острее — в отравном, и ядовитом, и нездоровом дыхании литературных мод, изысков, помешательств и увлечений.

Десятилетия спустя, за редкими малыми, счастливыми исключениями, ничто не выдержит напора времени, беспощадного суда отрезавшего поколения, неизбежной переоценки ценностей и просто здравого смысла и честности с собой.

Кого соблазнят, увлекут, уведут за собой в волшебный бор, на зеленый луг, в блаженную страну за далью непогоды, — все эти Навьи Чары и Чавьи Нары, первозданные Лиллит, шуты, которых звали Экко, герцоги Лоренцо и из пальца высосанные Франчески, вся эта сологубовщина и андреевщина, увенчанная «Чертовой куклой» Зинаиды Гиппиус и задрапированной в плащ неизвестной фигурой, которая годы подряд стояла на пороге и пазывалась — Некто в сером?!

Кто будет прогуливать козу в лесную поросль для сладкого греха?

Капризно требовать, настаивать, твердить:

О, закрой свои бледные ноги...

Увлекаться Сергеевым-Ценским, спокойно уверявшим, что «у нее было лицо, как улица»?

Кто помнит рассказы Чулкова, стихи Балтрушайтиса, поэмы Маринетти, в переводе Давида Бурлюка?

А ведь все это было только цветочки, ягодки были впереди.

В Политехническом музее изо дня в день судили то «Катерину Ивановну», то «Анфису».

О «Василии Фивейском» спорили до хрипоты.

В мраморном дворце Рябушинского, который назывался «Черный лебедь», — только и всего! — выпито было море шампанского по случаю выхода в свет первого номера «Золотого руна».

А в «Руне» ввали в руны всего света, как четко выразился Влас Дорошевич.

Арцыбашевского «Санина» уже давно переболели, на очереди был новый роман — «У последней черты».

А за чертой двойным взводом стояли доценты, референты, критики, докладчики, дискуссия в полном ходу, слово принадлежит профессору Арабажину, а Арабажин и в ус не дует, разезжает из города в город, из Петербурга в Москву, из Москвы в Харьков, из Харькова в Курск, и все разрешает проблемы пола по Вейнингеру, по Фрейдю, по последним произведениям Михаила Петровича Арцыбашева.

Тут и «Бездна» Андреева, и «Слаще яда» Федора Сологуба, и «Двадцать шесть и одна» Максима Горького, вали все в кучу, там видно будет! А публика валом валит, друг другу в затылок дышит, смакует, переживает. Да здравствует свободный человек на свободной земле!..

Не успели отдышаться, является Иван Рукавишников, прямо с Волги.

Роман называется «Проклятый род».

Опять тех же щей, да пожиже лей.

Услада, сумасшествие, радость обреченности, предназначение, мойра, фатум, судьба.

Самолюбование, самоуничтожение, самосожжение, хованщина.

То было оскудение дворянское, теперь оскудение купеческое.

Все вымрут, все погибнут, и ты, и я, и весь Проклятый род, и все пятьдесят две губернии, до последней волости включительно!

И оттого так пьяно и весело, и, должно быть, пришлась по вкусу горькая услада, ибо опять дискуссии, опять захлебываются.

Кругом одни упадочники, утонченники, и все нараспев декламируют, профанируют, цитируют, растлевают.

То Андрея Белого, то Зиновьеву-Аннибал, а пуще всего «Незнакомку» и стихи о Прекрасной Даме, в которых еще и намек нет на грядущее послесловие, на заключительный аккорд, на последнюю поэму, которая будет называться:

«Двенадцать».

И напрасно в многоуважаемом Обществе любителей российской словесности старики Градовский, Грузинский, Батюшков, Венгеров и Хирьяков с Гольцевым и Ашешовым стараются спасти вечные ценности.

— Долой пожилую немощь, синедрион мудрецов, советы старейшин!

— Вывести из стойла Пегаса, застоявшегося коня, оседлать и взнестись на воздуши, к Бурлюкам, к бурлакам, к «Облаку в штанах»,

к желтой кофте Маяковского, к тому, что не бывает, никогда не бывает!

А тут еще в суматохе-неразберихе в придачу, заблудившись между Христом и Антихристом, великий красноречивый грешник с прозрачными глазами, прочитавший всю Публичную библиотеку и наизусть знающий и четьи-минеи, и полное собрание сочинений Баркова, второй год подряд печатает свой исторический роман — Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Роман называется «Александр I».

Все, как полагается: ангелы, архангелы, юродивые, скопцы, масоны, мистики, гвардейские офицеры, Антихрист-Буонапарте, а в следующем томе восстание декабристов, первая революция.

Есть разгуляться где на воле!

С Господом Богом обращение либеральное и гибкости непревзойденной. По началу сказано:

— Несть власти, аще не от Бога.

И Бог Мережковского благославляет самодержавие.

Сто страниц печатного текста корявым пальцем отслюнить, а на сто первой, не дальше, Господь благословляет восстание, революцию, анархию, баррикады.

«И смущенные народы не знают, что начать — ложиться спать или вставать».

В Религиозно-философском обществе смущение.

Путаница в умах, в облаках, в святцах.

И так будет еще тридцать лет подряд.

Вплоть до целования руки начальнику государства, Пилсудскому.

Потом — светлому дуче Бенито Муссолини.

И, наконец, гениальному фюреру, под самый занавес.

Соблазнитель малых сих, великий лжец и одаренный словоблуд, в одиночестве, в презрении, в забвении, дожив до глубокой опозоренной старости, умрет в Париже, в самый канун освобождения.

\* \* \*

Что же было еще? «В те баснословные года?»

Читали Чирикова.

Тепло и без дискуссий принимали Бориса Зайцева.

Иван Шмелев написал своего «Человека из ресторана».

Приветствовали, умилялись.

Тоже не знали, чем эта писательская карьера кончится.

Потом узнали...

Струей свежего воздуха потянуло от Бунинского «Суходола».

Появился «Хромой барин» Алексея Толстого.

Пользовался немалым успехом нарочито сентиментальный, чуть-чуть слащавый «Гранатовый браслет» Куприна.

Читали, перечитывали, учили наизусть стихи Анны Ахматовой.

Не мало спорили, переживали, обсуждали нашумевший роман В. Ропшина «То, чего не было».

На тему, становившуюся срочной, модной и неотложной:

— Революционное убийство и человеческая совесть.

В романе были захватывающего интереса, отлично написанные главы — московское вооруженное восстание, экспроприация в Фонарном переулке, баррикады на Пресне.

От Ропшина — опять к Андрееву, к «Сашке Жигулеву», к буйству, к лихости прославленного камаринского мужичка.

Прозреть еще никто не прозрел, но суровую, нелицеприятную правду сказал об Андрееве все тот же единственный, недавно покинувший мир, Лев Николаевич Толстой.

— Он пугает, а мне не страшно.

И от всего, что он написал, останется один небольшой рассказ, называется «Ангелочек».

— На которого, в обожании и в восторге, глядели во все глаза бедные прачкины дети.

А только беда была в том, что в прачечной стояла адова жара.

А ангелочек был из воска, и от жару и пару начал таять и таять.

И вот и вовсе исчез, растаял.

И дети до того убивались, до того горько плакали.

\* \* \*

Восторг, успех, слава, поклонение, обожание — все приходило и уходило, «за приливом — отлив, за отливом — прибой», как сказано было в стихах, скромно подписанных вынужденными инициалами — П. Я.

Из далекой ссылки приходили и печатались то в «Русском богатстве», то в общедоступном и любовно сделанном миролюбивском «Журнале для всех» его стихи и переводы из Сюлли-Прюдона и Бодлера.

Молодые люди брюсовской школы, декламировавшие нараспев, сразу наложили сектантский запрет и безапелляционно заявили, что поэт он никакой.

Спорить с ними никто не стал, но не было ни одной студенческой вечеринки, ни одного более или менее значительного эстрадного выступления, на которых стихи П. Я. не вызывали бы бури аплодисментов.

Благодарность поколения относилась не к чеканности и музыкальной форме, которых, может быть, и не хватало вдумчивому и искреннему автору, старому революционеру Якубовичу-Мельшину.

Но в том, что он писал, было столько не модной по тому времени честности, человечности и чистоты, что воспринималась эта редкая гамма не избалованным внешним слухом, а иным чутьем и иным, внутренним слухом еще не окончательно поработанных сердец.

Мы пройдем. И другие пройдут, вместо нас,

С кровью чистой и свежей, в которой не раз  
Благородная вспыхнет отвага.

Поколенья идут, как волна за волной,  
За приливом отлив, за отливом прибой,  
И в бессменном их беге — их благо.

Что и говорить, в «Золотом руне», в «Аполлоне», в «Весах», в альманахах «Шиповника» и в иных бесконечных журналах и сборниках, отмеченных штампом крайнего модернизма и украшенных концовками Судейкина и Сапунова, печатали, конечно, не Якубовича-Мельшина, а Михаила Кузмина, Николая Гумилева, Максимилиана Волошина, Сергея Кречетова, Бориса Садовского, Мариэтту Шагинян, Анну Ахматову и даже таких давно и, вероятно, навсегда забытых молодых поэтов, как Яков Годин, Эдуард Багрицкий, Дмитрий Цензор, Сергей Клычков, Семен Рубанович и иных, и прочих, имя им легион.

Ни в хрестоматию, ни в антологию они не вошли, а такого литературного департамента, в который можно было бы подать жалобу о несправедливом забвении, даже и в советской республике не придумали.

«Поколения идут, как волна за волной»...

Кто и когда будет перечитывать не то что стихи Дмитрия Цензора или прозу Сергеева-Ценского, а даже такое прилежное, солидное и многоуважаемое чистописанное, проникнутое общественным духом и передовыми идеями, как статьи, фельетоны, брошюры и многотомные сочинения, подписанные почтенными именами Николая Рубакина, Горбунова-Посадова, Богучарского, Ашешова, Григория Петрова?

«Опавшие листья» В. В. Розанова или «История славянофильства» М. Гершензона, может быть, и уцелеют перед натиском разрушительных десятилетий, из коих складывается век.

И, кто его знает, потомки Бурцева или правнуки Алданова чему-то возможно научатся и что-то поймут и почерпнут из пожелтевших томов, помеченных в каталоге Императорской Публичной библиотеки.

Но в эпохе, о которой идет речь, многописавшей и многострочившей, уже так ли много было Гершензонов и Розановых?

\* \* \*

Впрочем, недаром сказано:

— Нет большей бессмыслицы, нежели плющ благоразумия на зеленых ветках молодости.

Мудрость Екклезиаста постигается на склоне дней.

Переоценка ценностей приходит не сразу.

И как утверждали римляне:

— Поздно мелют мельницы богов.

В «Стоиле Пегаса» и в «Десятой музе», в прокуренном до отказа

ресторане «Риш» на Петровке, всюду, где собирались молодые таланты и начинающие бездарности, козырные двойки и всякая проходящая масть,—никакой мизантропии, само собой разумеется, и в помине не было, ни о каких переоценках и речи быть не могло.

В каждом мгновении была вечность.

Горацийев нерукотворный памятник воздвигался прижизненно.

Бессмертие обеспечивалось круговой порукой присутствующих.

За неожиданную рифму, за звонкое четверостишие, за любую удачную шутку—полагались лавры, признание, диплом, запись в золотую книгу кружка, ресторана, кафе Кадэ, Тримблэ, даже кондитерской Сиу на Кузнецком мосту.

Одним из таких закрытых собраний литературной богемы, где за стаканом вина и филипповской сайкой с изюмом происходило посвящение рыцарей и калифов на час, был небольшой, но шумный кружок, собиравшийся в Дегтярном переулке, в подвальной квартирке Брониславы Матвеевны Рунт.

Родом из обрусевшей чешской семьи, она была сестрой Жанны Матвеевны, жены Валерия Брюсова.

Столь близкое родство с властителем дум уже само по себе окружало некоторым ореолом одаренную, на редкость остроумную, хотя и не отличавшуюся избыточной красотой хозяйку дома.

Невзирая, однако, на столь удачное, хотя и случайное преимущество, блистать отраженным блеском миниатюрная, хрупкая Бронислава Матвеевна, или, как фамильярно ее называли, Броничка, не желала, справедливо претендуя на несомненное личное очарование и собственный, а не заемный блеск.

Надо сказать правду, что в этом самоутверждении личности Броничка бывала даже несколько беспощадна в отношении высокопоставленного деверя, и чем злее было удачное словечко, пущенное по адресу первого консула, или острее эпиграмма, тем преувеличеннее был ее восторг и откровеннее и естественнее веселый, взрывчатый смех, которым она на диво заливалась.

Бронислава Матвеевна писала милые, легкие, как дуновение, и без всякого «надрывчика» рассказы, новеллы и так называемые «письма женщин», на которые был тогда большой и нелепый спрос.

Литературный почерк ее называли японским, вероятно потому, что в нем было больше скольжений и касаний, чем претензии на глупину, чернозем и суглинок.

Кроме того, она славилась в качестве отличной переводчицы, обнаруживая при этом большой природный вкус и недюжинную добросовестность.

Но так как одной добросовестностью жив не будешь, то не для души, а для денег она скрепя сердце еще редактировала пустопорожный еженедельник «Женское дело», официальным редактором которого состоял Ив. Ив. Попов, сверкавший глазами, очками и, вероятно, какими-то неощутимыми, но несомненными добродетелями.

Издательницей журнала тоже официально значилась «мамаша



Крашенинникова», а за спиной ее стоял мамашин сын, великолепный, выхолненный присяжный поверенный Петр Иванович, адвокату-рой не занимавшийся и развивавший большую динамику в настоя-щем издательском подворье на Большой Дмитровке.

Календари, справочники, газеты-копейки,— главное быстро стряпать и с рук сбывать.

В квартире у Бронички все было мило, уютно, налажено.

Никакого художественного беспорядка, ни четок, кастаньет, ни одной репродукции Баллестриери на стенах, ни Льва Толстого боси-ком, ни Шаляпина с Горьким в ботфортах, ни засушенных цветов над фотографиями молодых людей в усиках.

— Если б я всех своих кавалеров на стенку вешала, да еще засу-шенными цветочками их убирала, то у меня уже давно был бы целый гербарииум. А уж сколько моли развелось бы, можете себе представи-ть! — с обезоруживающей откровенностью заявляла хозяйка дома.

По вторникам и средам, а может быть, это были четверги,— за давностью лет не упомнишь — во всяком случае поздно вечером на-чинался съезд, хотя все приходили пешком и расстоянием не стесня-лись.

Непременным завсегдатаем был знаменитый московский адво-кат Михаил Львович Мандельштам, седой, грузный, представитель-ный, губастый, с какой-то не то кистой, затвердевшей от времени, не то шишкой на пухлой щеке.

С этого и начиналось.

— А у алжирского бея под самым носом шишка выросла!..

Приветствие было освящено обычаем, в ответ на что следовала неизменная реплика:

— Вот и неправда! Не под носом, а куда правее!

После чего знаменитый адвокат смачно целовал ручки дамам и усаживался на диван.

По одну сторону Анакреона — так его не без ехидства, оправды-вавшегося мужской биографией, прозвала хозяйка дома,— усаживалась томная и бледная Анна Мар, только выпустившая свой новый роман под обещающим названием «Тебе Единому согреши-ла».

По другую сторону,— могий вместити, да вместит,— «дыша ду-хами и туманами», загадочно опускалась на тихим звенением от-кликавшиеся пружины молодая беллетристка Нина Заречная.

Колокольчик в прихожей не умолкал.

В длиннополом студенческом мундире, с черной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с желтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочито равнодушным взглядом умных темных глаз, прямой, не-правдоподобно худой, входил талантливый, только что начинавший пользоваться известностью Владислав Фелицианович Ходасевич.

Неизвестно почему, но всем как-то становилось не по себе.

— Муравьиный спирт,— говорил про него Бунин,— к чему ни прикоснется, все выедаст.

Даже Владимир Маяковский, увидя Ходасевича, слегка прищури-вал свои озорные и в то же время грустные глаза.

Веселая, блестящая, умница из умниц,— кого угодно за пояс заткнет,— с шумом, с хохотом, в сопровождении дежурного, «охраняющего входы», и несмотря на ранний час уже нетрезвого Володи Курносова, маленького журналиста типа проходящей масти, появлялась на пороге Е. В. Выставкина.

Разговор сейчас же завязывался, не разговор, а поединок между Екатериной Владимировной и Мандельштамом.

Да иначе и быть не могло.

Только на днях напечатана была в столичных газетах статья московского златоуста,—кстати сказать, златоуст изрядно шепелявил,— о коллективном помешательстве на женском равноправии и ответная статья Ек. Выставкиной, в которой Мандельштаму здорово досталось на орехи.

Адвокат отбивался, защитница равноправия нападала, парировала каждый удар, сыпала сарказмами, парадоксами, афоризмами, высмеивала, уничтожала, не давала опомниться, и все под дружный и явно одобрительный смех аудитории, и уже не обращая ни малейшего внимания ни на смуглого чертовски вежливого Семена Рубановича, застывшего в дверях, чтобы не мешать, ни на художника Георгия Якулова, чудесно улыбавшегося одними своими темными восточными глазами, ни на самого Вадима Шершеневича, вождя и возглавителя московских иماجинистов, со ртом до ушей, каплоухого и напудренного.

А когда появилась Маша Каллаш, в крахмальных манжетах, в крахмальных воротничках, в строгом жакете мужского покроя, с белой гвоздикой в петличке, с красивым вызывающим лицом,— пепельного цвета волосы барашком взбиты,— ну тут от златоуста, хотя он и хохотал всюю, и тряс животом, одно только воспоминание и оставалось.

Прекратил бой Маяковский.

Стукнул по обыкновению кулаком по хозяйскому столу, так что стаканы зазвенели, и крикнул зычным голосом:

Довольно этой толочи,  
Наворотили ком там...  
Замолчите, сволочи,  
Говорю вам экспромтом!

Экспромт имел бешеный успех.

Нина Заречная — пила вино и хохотала.

Анна Мар зябко куталась в шаль, но улыбалась.

Жорж Якулов, как молодой карабахский конек, громко ржал от радости. Хозяйка дома шептала на ухо Екатерине Выставкиной, подмигивая в сторону предводителя Бурлюков:

— Все-таки в нем что-то есть.

Рубанович теребил свои усики и утешал Шершеневича, подавленного чужим успехом.

И только один «Муравьиный спирт» угрюмо молчал и шурился. Зато неутомимый Мандельштам жал ручки дамам, то одной, то другой, прикладываясь мокрыми губами, под нависшими седыми усами, и, многозначительно выпив красного вина из бокала Нины Заречной, стал в позу и, неожиданно для всех, по собственному почину начал читать, шепелявя, но не без волнения в голосе:

В день сбирания винограда  
В дверь отворенного сада  
Мы на праздник Вакха шли.  
И любимца Купидона,  
Старика Анакрона  
На руках с собой несли.

\* \* \*

Много юношей нас было .  
Бодрых, смелых, каждый — с милой!  
Каждый бойкий на язык.  
Но — вино сверкнуло в чашах —  
Вдруг, глядим, красавиц наших  
Всех привлек к себе старик.

\* \* \*

Череп, гроздьями увитый,  
Старый, пьяный, весь разбитый,  
Чем он девушек пленил?!  
А они нам хором пели,  
Что любить мы не умеем,  
Как когда-то он любил!..

Все сразу захлопали в ладоши, зашумели, заговорили. Броня Рунт чокнулась с златоустом и так в упор и спросила: — Это что ж? Автобиография? Маяковский не удержался и буркнул: — Дело ясное, Мандельштам требует благодарности за прошлое!

Старый защитник и не пробовал защищаться. Воспользовавшись минутной паузой, он явно шел на реванш. — Вот вы, господа поэты, писатели, мастера слова, знатоки литературы, скажите мне, сиволапому, а чьи ж это, собственно говоря, стихи?

Эффект был полный.

Знаменитый адвокат крикнул, грузно опустился на диван и, торжественно обведя глазами не так уж чтоб очень, но все же смущенную аудиторию, произнес с несколько наигранной простотой:

— Аполлона Майкова, только и всего.

Маяковский, конечно, сказал, что ему на Майкова в высокой степени наплевать.

Имажинисты прибавили, что это не поэзия, а лимонад.

И только один Ходасевич не выдержал и, впервые за весь вечер разжав зубы, не сказал, а отрезал:

— Сослами спорить не стану, а скажу только одно: это и есть настоящая поэзия, и через пятьдесят лет ослы прозреют и поймут.

Толчок был дан, и шлюзы открылись.

Опять хлопали пробки, опять Бронислава Матвеевна протягивала, обращаясь то к одному, то к другому, свой опустошенный бокал и томно и в который раз повторяла одну и ту же ставшую сакраментальной строфу Пушкина:

Пьяной горечью Фалерна  
Ты наполни чашу, мальчик!

В ответ на что все чокались и хором отвечали:

Так Постумия велела,  
Председательница оргий.

До поздней ночи, до слабого утреннего рассвета кричали, шумели, спорили, превозносили Блока, развенчивали, защищали Брюсова, читали стихи Анны Ахматовой, Кузмина, Гумилева, говорили о «Железном перстне» Сергея Кречетова, глумились над Майковым, Меем, Апухтиным, Полонским.

Маяковский рычал, угрожал, что с понедельника начнет новую жизнь и напишет такую поэму, что мир содрогнется.

Ходасевич предлагал содрогнуться всем скопом и немедленно, лишь бы не томиться и не ждать.

Анна Мар поджимала свои тонкие губы и пыталась слабо улыбаться.

Рубанович снова теребил усики и вежливо, но настойчиво доказывал, что первым поэтом он считает Сергея Клычкова, и грозился продекламировать всего его наизусть.

\* \* \*

А в кабаках и ресторанах все чаще и чаще звенел, замирая, и снова звенел надрывный, навязчивый мотив танго.

Стремглав летели голубки и тройки, позвякивая бубенцами.

Расцвела и осыпалась сирень, приученная к позднему цветению.

Дворники, в белых холщевых фартуках, делали весну, за маем июнь,— Перловка, Малаховка, Удельная, Томилино,— в сосновый лес, в рощи еловые, на зеленые лужайки, на речные берега, на ладно срубленные дачи, на отдых, на покой, на лень великую...

И так как поздно мелют мельницы богов, и неизвестно будущее, то кто мог знать, предчувствовать, предвидеть, что «вшиско сконница дзвоном», как писал Мицкевич в «Пане Тадеуше», и что, жалобно прозвучав в последний раз, замрет и растает в нестеровских сумерках печальный звон?

Что Анна Мар, как описанная ею белошвейка, наполнит свой бокал обыкновенной серной кислотой и велит похоронить себя в подвенечном платье, а на небьющееся сердце положить портрет Дорошевича с засушенными цветами?

Что поэт с озорными глазами никакой поэмы, от которой содрогнется мир, никогда не напишет.

А, прождав годы и дождавшись своего, просто запечатает на серой бумаге по новой орфографии:

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздусим!

После чего будет разезжать в кремлевском автомобиле, расточать и уродовать свой неумный талант, насиловать себя и насиловать других, и, наконец, не выдержав, пустит себе пулю в лоб, оставив скандальную память и имя Маяковского на унылом речном баркасе.

Кто мог знать и предвидеть, что Жорж Якулов напишет портреты советских вождей и получит звание народного артиста, а Владислав Фелицианович Ходасевич, после голодных петербургских зим, купно с Горьким и Андреем Белым приобщится к казенному толстому журналу, но уже не в Питере, а в Берлине, потом спохватится, перекочет в белогвардейский русский Париж и в неуклюжем гукасовском «Возрождении», снова ненавидя и проклиная незадачливую судьбу, станет печатать свои злые, умные критические статьи, а по ночам, задыхаясь от астмы, перечитывать «Египетские ночи» и на обрывках и клочках бумаги то лихорадочно-торопливо, то мучительно-медленно писать своего «Державина»?

А милая наша насмешница Броня Рунт, «председательница оргий», могло ли ей прийти в шалую ее голову, замученную папильотками, обрамленную завитушками, что много, много лет спустя, где-то в угловом парижском кафе, на бульваре Мюра, два когдатошных аборигена, два усердных посетителя ее вторников или сред в Дегтярном переулке будут не без печали, смешанной с благодарностью — вспоминать далекое прошлое, и воспоминания опять закончатся стихами, и на экземпляре «Счастливого домика», подаренного поэтом Ходасевичем автору настоящей хроники, будут написаны последние, грустным юмором овеванные гексаметры?

Общезо Музою нашей была Бронислава когда-то.  
Помню остроты ее, и черты, к сожалению, помню.  
Что ж? Не по-братски ли мы сей девы дары поделили?  
Ты унаследовал смех, а мне досталось уродство.

## XVII

В шутовском наброске, пытаюсь восстановить фильм быстробегущих событий, Аркадий Аверченко то и дело обращался к своему воображаемому помощнику:

— Мишка, крути назад!

Мишка крутит, и кинематографическая лента послушно, но только в обратном порядке, сползает со своего ролика или валика, и на освещенном экране человеческой памяти встают дни, месяцы, годы, события, числа, даты, бывшее, минувшее, бывшее и давно прошедшее.

— Мишка, крути назад!

Конец июня, начало июля 14-го года.

В парижском театре Французской Комедии идет «Полиевкт».

Муннэ-Сюлли в заглавной роли.

На завтра объявлен «Прекрасный принц» Тристана Бернара.

Президент Республики Раймон Пуанкаре только что вернулся во Францию.

Петергоф, Царское Село, морской смотр в Кронштадте.

Все было исполнено невиданной роскоши и великолепия незабываемого.

Иллюминация, фейерверки, на много верст раскинувшиеся в зеленом поле летние лагеря.

Пехотные полки мерно отбивают шаг; кавалерия, артиллерия, конная гвардия, желтые кирасиры, синие кирасиры, казаки, осетины, черкесы в огромных папах; широкогрудые русские матросы, словно отлитые из бронзы.

Музыка гвардейского экипажа, парадный завтрак на яхте «Александра».

Голубые глаза русского императора.

Царица в кружевной мантилье, с кружевным зонтиком в царских руках.

Великие княжны, чуть-чуть угловатые, в нарядных летних шляпах с большими полями.

Маленький цесаревич на руках матроса Деревенько.

Великий князь Николай Николаевич, непомерно высокий, худощавый, статный, движения точные, рассчитанные, властные.

А кругом министры, камергеры, свитские генералы в орденах, в лентах, и все это залито золотом, золотом, золотом.

Оркестр играет Марсельезу, генералы под козырек, черкесы на вытяжку, Вивиани с Сазоновым друг от друга оторваться не могут, Извольский на седьмом небе, император крепко пожимает руку, подымает свой тост за прекрасную Францию, сам провожает к выходу; ливрейные лакеи, дворцовые гайдуки бережно, орлами, вензелями.

Море трехцветных флагов, желтый штандарт колышется на ветру, музыка ирает, играет, играет, в президентской душе птички поют.

Сила-то, сила какая! Богатыри, великаны!

Есть на кого опереться, крепкой верой понадеяться, как за каменной горой от беды укрыться.

В парижских газетах телеграммы, отчеты, описания.

Одно восторженнее другого, все учтено, подмечено, оценено по достоинству, спите спокойно, граждане-ситуайены!

\* \* \*

— Крути назад, Мишка!

Поля Дерулуда убили на дуэли, председателем Лиги Патриотов выбран Морис Баррес.

Нервное, вдохновенное лицо, пересохшие от волнения губы, худой, подвижной, смуглый, посмотреть ближе — глаза, как у бедуина в цилиндре.

А как говорит! Как пишет!

*La colline inspirée!*.. Даже по-русски не переведешь.

А лента бежит, бежит по экрану.

Что это за страна такая Босния-Герцеговина?! И где этот городок, местечко, Сараево? Телеграмма за телеграммой, чужие, непонятные, тревожные слова.

Кроат, серб, гимназист 19-ти лет убил эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австрийского престола.

И жена, герцогиня, тоже убита.

Не везет старому Францу Иосифу. Все траур, траур, траур.

То Майерлинг, то Сараево.

Дипломаты улыбаются, хмурятся, совещаются.

А тут, как назло, самый разгар сезона!..

На лоншанских скачках жеребец Сарданапал берет первый приз и, весь в мыле, пьет шампанское из серебряного ведра.

А вечером у княгини Жак-де-Брой бал бриллиантов, о котором еще за две недели до убийства герцога говорит весь Париж.

Бриллианты, сапфиры, рубины, изумруды, бирюза, жемчуга — белые, черные, серые, розовые; шелк, плюш, бархат и парча; токи, эгреты, страусовые перья; неслыханные туалеты, умопомрачительные декольте; послы, посланники, военные атташе в расшитых мундирах, золотая молодежь первого, второго, третьего разлива.

И опять музыка, музыка, музыка, — вальс, чардаш, аргентинское танго.

Разъезд поутру, навстречу возы с салатом, свеклой, спаржей, морковью, кудрявыми артишоками, со всякой всячиной, свежей зеленью, пахнущей землей и водою.

А когда солнце уже высоко в зените, где-то что-то начинают соображать.

Сарданапал в конюшне. Бал кончился. Выстрелом в упор убит Жорес.

\* \* \*

В Томилине, под Москвой, на даче Осипа Андреевича Правдина, тишь да гладь, да Божья благодать.

В аллеях гравий, камешек к камешку, от гвоздик и левкоев, от штамбовых роз чудесный, одуряющий запах.

Клумбы, грядки, боскеты, площадка для тенниса, в саду скамейки под высокими соснами, на террасе, на круглом столе, на белоснежной скатерти, чего только не наставлено! Сайки, булки, бублички с маком, пончики, цельное молоко в глиняных кувшинах, сметана, сливки, варенье разное, а посередине блеском сверкающий медный самовар с конфоркой, фабрики братьев Баташевых в Туле.

И все это — и сосны, и розы, и сад, и самовар, и майоликовый

фонтан с золотыми рыбками,— все залито высоким, утренним, июльским солнцем, пронизано голубизной, тишиной, блаженством, светом.

— Вот я с малинкой, с малинкой пришел... Ягода-малина, земляника свежая! — четким тенорком расхваливает товар парень за калиткой.

Глаза молодые, лукавые, веселые, картуз набекрень, в раскрытый ворот рубахи видна крепкая, загорелая грудь, идет от него сладкий мужицкий запах пота, курева, кумача.

Олеография? Опера? Пастораль?

Было? Не было? Привиделось, приснилось?

«Столица и усадьба», под редакцией Крымова?

Или так оно и есть, без стилизации, без обмана, как на полотне Сомова в Третьяковской галерее?..

В лесу грибами пахнет, на дачных барышнях светлые платья в горошину, а на тысячи верст кругом, на запад, на восток, на север, на юг, за горами, за долами, в степях, в полях, на реках, на озерах, от Белого моря до Черного моря,— все как тысячу лет назад! Жнут, вяжут, в снопы собирают, из кизяка с глиной избы лепят, соломой кроют, горькую пьют, Богу молятся, беспросветным трудом да своим горбом от сырой земли кормятся, в сырую землю возвращаются.

Мир, тишина, жизнь праведная, тьма непроходимая, жизнь несправедливая.

\* \* \*

18-го июля всеобщая мобилизация.

Правое плечо вперед, шагом м-арш!..

Германские войска двинулись к Франции, двинулись к России, перешли границу. Заняты Сосновицы. Занят Калиш.

Кончились происшествия. Начались события.

Не все они придут походкой голубя, чтобы управлять миром.

Бежит по экрану убийственная лента.

Царский манифест. Речь к народу. Балкон Зимнего Дворца. Патриотические манифестации. Воодушевление. Порыв.

Флаги. Знамена. Оркестры. Музыка.

От моря до моря, по широкой колее, по узкой колее, стучат колеса, гудят поезда, везут, везут российское воинство, солдат, новобранцев, ополченцев, ратников,— сегодня ты, а завтра я.

\* \* \*

...От реки потянуло ночной свежестью.

На даче Правдина потушены огни, приказ один для всех.

Сидим за калиткой, притаились, слушаем.

С короткими перерывами, один за другим, проносятся мимо, громяхают, лязгают ночные поезда.



Черно-красное пламя, дым паровозов; искры, летящие в ночь, в степь, на придорожные ели; длинная, бесконечная вереница темных товарных вагонов; и в неосвещенном зиянии отодвинутых в сторону не дверей, а деревянных щитов, перегородок и железных засовов еле видимые глаза, мелькающие человеческие фигуры, спущенные вниз, болтающиеся на весу ноги; и страшный, хриплый, раздирающий ночную тишину, не то стон, не то крик и рев сотен, тысяч пересохших гортаней:

— Урра! Урра! Урра!

Проносится поезд, в последний раз содрогаются потревоженные рельсы, затихает где-то в отдалении и становится все глуше и глуше, умолкает, замирает совсем страшный солдатский стон.

И не успеет освоиться ухо с наступившей на миг тишиной, как новая цепь, новая вереница вагонов, с огнедышащим чудовищем впереди, безудержно рвется вперед, летит навстречу судьбе, и все тот же нечеловеческий хрип и вой, идущий из нутра, застрявший в глотке и вырвавшийся наружу, сотрясает, гнетет, разрывает в клочья испуганную ночь, и душу.

— Урра! Урра! Урр-рр-ра!!

Горе мудрецам, пророкам и предсказателям, которые все предвидели, а этого не предвидели. Не угадали. И как было предвидеть и угадать, что новый мир пойдет от товарного вагона?

От вагона для перевозки скота?

От темной, расхлябанной, смрадной теплушки?!

\* \* \*

Через две недели утряслось.

Через месяц-другой все ко всему привыкли.

К новым словам, городам, рекам, названиям.

Жонглировали историей, географией.

На новеньких, свежих, только что отпечатанных для широкого потребления картах героически вкалывали булавки, ставили разноцветные флажки, внимательно следили за всеми фронтами.

От всего сердца радовались первым победам русского генерала фон Ренненкампфа.

Героическая Бельгия, прекрасная Франция, братская Сербия, двоюродная сестра Черногория! Любвеобильным сердцам — готовый штамп.

Научились читать сводки, сообщения из Ставки Верховного Главнокомандующего, и не только читать, а даже разбираться в них.

Сокрушались о взятии Намюра, Льежа, Лувэна.

Не говоря уже о потере французами Лилля, Арраса и Амьена.

О разрушении Реймского собора печатались такие статьи, стихи, и даже поэмы, что дух захватывало.

Илья Эренбург, писавший из Парижа в «Утро России», так потрясал, волновал, трогал, что если б теперь, — конечно, много, мно-

го лет спустя,— поднести ему этот и по сей день неувядаемый букет его военных корреспонденций, то он, хотя и лауреат, а просто ахнул бы от ужаса.

И было бы от чего.

Потому что за такое прошлое чего же можно ожидать в настоящем?

В лучшем случае, коротенького бюллетеня о героических, напрасных усилиях врачей.

А на следующий день, глядишь, взяли и зарыли талант в землю...

Во всяком случае, возвращаясь к тому, что принято называть психологией тыла, скажем простыми, совсем простыми словами, вышедшими из моды: невзирая на все, что в течение этих четырех страшных лет творилось, происходило в России, и с каждым годом все больше, непоправимее и страшнее,— патриотический подъем, воодушевление, готовность к жертвам и какая-то необъяснимая вера в слепое русское счастье не угасали в душах до последнего дня.

— Увы! — как любят восклицать взволнованные публицисты, — подтачивание, порча, бессильный внутренний бунт, постоянный комок в горле, оскорбленное чувство любви и порыва, при виде, как все это делалось и происходило, — вот это-то все постепенно и неуклонно и вело к разложению!..

Но разлагался тыл еще и потому, что гражданские добродетели, по щучьему велению, по княжьему хотению, в один волшебный миг, так вдруг, здорово живешь, тоже не обретаются.

Граждан была горсть, обывателей тьма-тьмушая, неисчислимая.

Сразу стали ловчиться, приспособливаться, нос по ветру держать, куда ветер дует, лишь бы жить, во что бы то ни стало! — посытнее, получше, понадежнее.

Вот и стали ко всему привыкать.

Сначала к словам, именам, названиям.

Луцк, Збруч. Ивангород. Золотая Липа. Рава-Русская.

Перемышль взяли. Перемышль отдали.

Санкт-Петербург простым указом в Петроград переделали.

Не думая, не гадая, что упрощать историю — процесс заразительный и дальнейшим углублениям весьма подверженный.

Но и с этим свыклись. Проглотили, не подавились.

А потом стали привыкать и к раненым, безногим, безруким, изувеченным.

Жалели, конечно, сочувствовали...

Сколько в Благородных собраниях одних мазурок оттанцевали.

— В пользу раненых!

Железными кружками на улицах, на площадях с каким усердием хлопали, собирали медяки на Красный Крест, на Зеленый Крест, на помощь увечным воинам — русским, черногорским, сербским, на призрение, на лазарет, на санитарный пункт, на санитарный поезд.

И сам Маяковский, из озорства и от испуга, не погнушался, милый, рифмовать во всеуслышание:

Пели немцы Über alles,  
С поля битвы убирались.

Или еще проще и незамысловатее:

Как хвачу его я, шельму,  
Оборву усы Вильгельму!

Не дорого, но, не правда ли, мило?..

Один шаг до Кузьмы Крючкова, дюжину врагов на пику наколовшего.

Дальше — больше.

Игорь Северянин, душка, кумир, любимец публики, делавший полные сборы в Политехническом музее, и, что бы там академики ни скулили, поэт несомненный, и при немалой жеманности и безвкусице, конечно, талантливый, — и тот, прямо из будуара, «где под пудрой молитвенник, а под ним Поль-де-Кок», вышел на эстраду, стал во фрунт и так через носоглотку, при всем честном народе, и завернул:

Когда отечество в войне,  
И нет воды — лей кровь, как воду!  
Благословение народу,  
Благословение войне!

На сей раз это была дань времени, моменту, медный пяточок в кружку на лазарет, в день Белой Ромашки.

Но так как аппетит приходит во время еды, то, как только на фронте стало совсем плохо, неунывающий Игорь быстро решил, что пришло время героических средств.

Поклонился безумствовавшим психопаткам и так и бабахнул:

Наступит день и час таинственный —  
Растопит солнце снег долины...  
Тогда ваш нежный, ваш единственный,  
Я поведу вас на Берлин!

После подобного манифеста о чем было беспокоиться?

В Эрмитаже Оливье, на Грубной площади, в белом колонном зале — банкеты за банкетами.

В отдельных кабинетах интендантские дамы, земгусары в полной походной форме, всю ночь звенят цыганские гитары; аршинные стерляди, расстегая, рябчики на канаве, под собственным наблюдением эрмитажного метрдотеля знаменитого Мариуса; зернистая икра в серебряных ведерках, покрытых морозным инеем; дорогое шампанское прямо из Реймса, из героической Франции; наполеоновский коньяк, засмоленный черным сургучом.

Смокинги, шелка, страусы, бриллианты, не хуже, чем год назад, на фестивале принцессы де-Брой.

Из Эрмитажа к Яру, в Стрельну, в Самарканд.

Лихачи, тройки, голубчики.

— Вас-сиясь, с Иваном! С Петром, с Платоном, Вась-сиясь. Пожалте — прокачу!

И несутся по снежным улицам тысячные рысаки.

— Па-берегись!.. Ми-лай!..

Как будто страх обуял весь этот сумасшедший разнузданный мир, страх — не успеть, насладиться вдоволь.

Недаром, во хмелю, в предрассветном, пьяном изнеможении, размякшие от винных паров эстеты в смокингах, нажившиеся на поставках, мрачно повторяли, уставившись затуманенным взором на соседнее декольте:

Земное счастье запоздало  
На тройке бешеной своей...

Очевидно, не только в башне из слоновой кости, у златокудрого Вячеслава Иванова, но и в иных удешевленных изданиях для расчувствовавшихся купцов и мышинных жеребчиков, распространялась, проникая в кровь, заразительная, упадочная, горькая услада Блоковских стихов, как будто в мерном чередовании их, в обреченности, в певучести, в облагороженном цыганском ритме — можно было бессознательно уловить, отыскать, найти не то объяснение, не то какое-то смутное оправдание ночному разгулу, линии наименьшего сопротивления, и всему этому бессмысленному, беспощадному расточительству жизни, захлестнувшему душу водовороту:

Я послал тебе черную розу в бокале  
Золотого, как небо, Аи!..

— Выдумка, бред, творимая легенда.

Ни черной розы, ни золотого неба, — зимнее небо в кровавом пороховом дыму.

В Мазурских болотах захлебнулась, потонула, погибла страшной смертью целая дивизия.

Генерал Самсонов пустил себе пулю в лоб.

В Карпатах, в Галиции — отступление по всему фронту.

Крупенские, Марковы, Шульгины воюют с ветряными мельницами.

Всюду мерещутся лазутчики, предатели, шпионы.

Это они приводят в движение мельницы в Царстве Польском, сигнализируя врагу.

— Вешать, вешать, вешать!

Неистовствуют князь Мещерский, Меньшиков, Карл-Амалия Скирмунт — в «Гражданине», в «Новом времени», в «Московских ведомостях».

А тут, как гром из ясного неба, — измена Мясоедова, военно-полевой суд, правительственное сообщение, написанное иероглифами, смущение в умах, смятение в сердцах, и первый змеинный шепот: чем хуже, тем лучше...

\* \* \*

Пятнадцатый год на исходе, будущее полно неизвестности, но встречу Нового года надо отпраздновать, как следует.

В Петрограде, в высшем обществе репетируют «Горе от ума», Карабчевский будет играть Чацкого, спектакль, разумеется, в пользу

раненых, дворцовый комендант Дедюлин сообщил по секрету, что Их Величества почтут спектакль своим присутствием.

В московской «Летучей мыши», в Гнездниковском переулке, в новом подвальном помещении, в доме Нирензее, готовится военная программа.

Н. Ф. Балиев хрипит, волнуется, терроризирует всех и вся, накидывается на Архангельского, композитора и дирижера, на огромного, явно раздражающего своим спокойствием Кареева, ответственного Санчо Пансы и главного администратора.

Достается актерам, музыкантам, декораторам, костюмерам.

Репетируют по два-три раза в день, до предельной усталости, до полного изнеможения.

Задолго до 31 декабря все столики записаны, переписаны, закуплены, перепроданы.

Даже в проходах, за столиками, обитыми красным шелком, каждый вершок высчитан, учтен, принят во внимание.

Съезд поздний, представление начинается в 10 часов.

В Гнездниковском переулке, на Тверском бульваре, ни пройти, ни проехать.

В гардеробной, или, как говорили театральные завсегдатаи, в раздевалке,— столпотворение вавилонское.

Свежий морозный воздух врывается в беспрестанно распахиваемые двери, и от этого еще чудеснее и острее пахнут надушенные «Гэрлэном» и «Убиганом» горностаевые, собольи, каракулевые меха.

А кругом все ботики, ботики, ботики, тающий на кожаной подошве снег, и отраженные в зеркалах Галатеи, Ниобеи, Венеры московские, и мундиры, и фраки, и четко выделяющиеся белоснежные накрахмаленные пластроны.

В театре триста мест, а присутствует вся Москва.

Балиева встречают длительными, дружными аплодисментами, шумными восклицаниями, приветствиями, улыбками,— публика считает, что он глубоко свой парень, а он считает, что она глубоко своя публика.

В какой-то мере это, вероятно, так и есть.

Никита Федорович, еще только несколько лет назад небольшой актер Московского Художественного театра, устроитель знаменитых капустников, сделал неслыханную карьеру.

Объяснял он этот успех по-своему:

— Дело не только в том, что я нашел совершенно новый жанр, у нас неизвестный, а в монмартрских кабаре процветающий чуть ли не со времени французской революции.

И не только нашел и приспособил, и передвинул его на язык родных осин.

А дело в том, что я никогда и ничем не доволен, ни сотрудниками моими, ни переводчиками, ни авторами, ни художниками, ни композиторами, ни машинистами, ни кассирами, а больше всего самим собой.

В признании этом была доля правды.

При всей своей прочно установившейся репутации одного из самых веселых и остроумных людей, Балиев был молчалив, задумчив, раздражителен, угрюм, темпераментом обладал холерическим и, по уверению все того же Н. Н. Баженова, всю жизнь блуждал меж трех сосен.

Одна сосна была Ипохондрия, другая Неврастения, а третья Истерия.

— Но,— хитро улыбаясь, добавлял московский психиатр,— блуждать-то он блуждал, а, как видите, все-таки не заблудился.

Справедливость, однако, требует сказать, что одной ипохондрией успеха и славы не добьешься.

Надо было обладать несомненным и недюжинным чутьем, вкусом и талантом, чтобы достичь той славы, которая увенчала карьеру Балиева.

Талант у него был по преимуществу режиссерский, и постановщик он был на редкость незаурядный.

Что касается вечного недовольства и неудовлетворенности, то и эти черты характера сослужили свою службу.

Круглые бездарности всегда от самих себя в восторге.

К этому надо прибавить еще одно: явление случайное, но чрезвычайно умно и необъяснимо использованное.

— Наружность, данную от Бога и от родителя, нахичеванского купца, торговавшего красным товаром.

Василий Иванович Шухаев, один из исключительно талантливых художников описываемого времени, вернувшийся из эмиграции в советскую Россию и, по слухам, расстрелянный, написал Балиева коричневой гуашью, изобразив его в виде круглого, улыбающегося полнолуния.

Этим полнолунием Балиев и промышлял.

В Москве, в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке, по всему белу свету прогуливая свою «Летучую мышь», высовывал он в прореху опущенного занавеса то нарочито хмурую, то обезоруживающе-добродушную нахичеванскую луну, передергивая ее какой-то непонятной, загадочной, но уморительной гримасой, и быстро задергивал занавес.

Лед был сломан в мгновение ока.

Зал покатывался со смеху.

И никто, и нигде, даже сам Баженов, не могли объяснить, почему, собственно говоря, все это так возбуждающе-благоприятно действовало на столь различную и в восприятиях своих столь неодинаковую и многообразную публику, каковой была публика московская, парижская, лондонская или нью-йоркская.

А между тем было это именно так, и уцелевшие зрители и слушатели, вероятно, охотно с этим согласятся.

Так, по установленному и освященному успехом ритуалу, и начался новогодний спектакль, о котором идет речь.

Нарядный зал притих, вспыхнули разноцветные огни рампы,

и между слегка раздвинутых складок занавеса появилась голова Балиева.

Брови нахмурены, переносица в трагических морщинах, как у Томазо Сальвини, удушающего Дездемону, глаза буравят и непроницаемые пластроны, и беззащитные декольте, — а зал гремит от аплодисментов и заразительно хохочет.

Образ луны немедленно появляется снова, она улыбается направо, и улыбается налево, как будто хочет сказать:

— В таком случае будем веселиться!

Занавес раздвигается, и Никита Балиев, всамделенный, живой, в безукоризненной фракной паре, с орхидеей в петлице, похолодевшей от волнения рукой дает знак Архангельскому:

— Прошу петь всех, и до директора Археологического института Александра Ивановича Успенского включительно! — властной и хриплой скороговоркой приглашает гостей хозяин.

Опять взрыв смеха, и все наперебой начинают искать глазами жертву вечернюю.

— Александр Иваныч, дорогой, потрудитесь подняться, будьте столь добры и любезны, всякому москвичу лестно поглядеть на вашу многоуважаемую бороду!

Зал гогочет и, быстро открыв, по предательски указанному признаку, единственную в зале непроходимую, темную, густую, чуть-чуть тронутую сединой профессорскую бороду, встает с мест и неистово аплодирует угловатому, смущенному, красному как рак директору Археологического института.

А Балиев не понимает.

— Боги жаждут! Сегодня или никогда!

И, войдя в раж и не обращая внимания на уже совершенно пунцовую жертву, от ужаса прикрывшую лицо руками, без пощады продолжает:

— Знаете ли вы, господа, что содеял наш Александр Иваныч два месяца тому назад в Петергофе, в кабинете Его Величества.

Зал напряженно ждет, градоначальник в первом ряду даже шпорой не звякнет.

И, выдержав паузу, Никита-Кожемяка, как назвал его Борис Садовской, торжественно объявляет:

— Быв весьма обласкан и удостоившись Высочайшего рукопожатия, вышел как ни в чем не бывало в приемную и еще хвастался:

— Как можно требовать от Государя, чтоб он все знал и все видел, когда вот я, грешный, забыв впопыхах воротничок и галстук надеть и дрожа от страха, прикрывал наготу свою бородой своей, а Его Величество так ни малейшего внимания и не изволили обратить!..

Сюжет, паузы, интонации, вся эта художественная балиевская постановка, ощущение сюрприза, неожиданности, а, может быть, и присутствие в зале этой самой вызывающей и виновной бороды, — все, вместе взятое, вызвало такой безудержный взрыв хохота, восторга и столь явно предвещало счастливый Новый год веселого на-

строения, что не только бурным аплодисментам не было конца, не только в порядке сознательной или инстинктивной фронды все бросились пожимать руки бедному, готовому провалиться сквозь землю Успенскому, но и сам свиты Его Величества генерал и московский градоначальник, оправившись от страха, приятно звякнул серебряными шпорами и милостиво улыбнулся...

Алеша Архангельский ударил по клавишам, и не прошло и секунды, как вся труппа на сцене и за нею публика в зале, беспрекословно повинаясь безголосому Балиеву, уже пели дружным, соединенным хором шутивную кантату, сочиненную Л. Г. Мунштейном, которого под именем Лоло знали не только в Москве и в Петербурге, но и в далекой театральной провинции.

После кантаты начался самый спектакль.

Инсценировки, скетчи, пародии, юморески, цыганские романсы в лицах, один номер за другим следовали быстрым, увлекательным, ни на миг не угасающим темпом.

Отдавая должное моменту, Балиев внушительно потребовал особой тишины и внимания, «ибо в том, что пройдет сейчас перед вами, речь идет не о нас — здесь, а о них — там!...»

Зал покорно переключился, и на сцене, освещенной далеким, багровым заревом, появились носилки, раненый солдатик, забинтованный марлей, и сестра милосердия с красным крестом на груди.

Солдатик был театрально бледен и безмолвен, а сестра милосердия, под сдержанный аккомпанемент рояля, вдохновенно декламировала стихи Д. Аминадо, не без пафоса швырнув в зал заключительную строфу:

Далеко, за пургой и метелью,  
Сколько милых в бою полегло...  
Расступитесь пред серой шинелью  
Вы, которым светло и тепло!

Какое-то декольте в ложе глубоко вздохнуло.

Публика аплодировала.

Туманова, изображавшая сестру милосердия, долго раскланивалась. Балиев был явно удовлетворен: дань моменту была отдана, хоть какое-то приличие было соблюдено.

За «Серой шинелью» следовала пародия того же автора, называлась она «Сон Вильгельма».

Германского кайзера играл Я. М. Волков, играл умно и сдержанно.

Кайзер, в халате и остроконечной каске, спал и бредил.

В просвете освещенного луной окна, одно за другим возникали снившиеся ему видения: Александр Македонский, Аттила, Фридрих Барбаросса, Наполеон.

Все они говорили что-то очень неприятное, и все стихами.

Вильгельм со сна отвечал что мог, но прозой.

Из которой ясно было, что все равно ему несдобровать.

После чего исполнители послушно выходили на вызов, Балиев



кланялся и, щуря правый глаз, клятвенно уверял, что автора в театре нет.

После военных номеров появилась пользовавшаяся сумасшедшим успехом «Катенька», которую действительно незабываемо играла и пела прелестная и кукольная Фехнер, и кружась, и танцуя, и выпучив свои пеморгающие, наивные, стеклянные глаза, и вся на невидимых пружинах, как чечетку отбивала, веселилась, отделявала все тот же навязчивый, заразительный речитатив:

Что танцуешь, Катенька?  
Польку, польку, маменька!  
С кем танцуешь, Катенька?  
С офицером, папенька!

А папенька с маменькой только грузно вздыхали, хлопали себя по ватым коленкам и укоризненно вторили под аккомпанемент машины:

Ишь ты, поди ж ты,  
Что ж ты говоришь ты!..

Температура подымалась.

Балиев был неисчерпаем.

«Музей восковых фигур». «Марш деревянных солдатиков».

Изысканный остроумный лубок Потемкина «Любовь по чинам».

Пронзительная, дьявольски-зажигательная Тамара Дейкарханова.

Алексеева-Месхиева, не женщина, а кахетинское вино! — как говорил Койранский.

Юлия Бекеффи, протанцевавшая такую венгерку, такой чардаш, явившая столь необычайный задор и молодой и своевольный блеск, что у самого В. А. Маклакова, по его собственному признанию, в зобу дыханье сперло.

Еще Виктор Хенкин в песенках кинто. И еще, и еще, всего не упомнишь.

А ровно в двенадцать часов — цыганский хор, «Чарочка», дрожащие в руках бокалы, поздравления, пожелания, троекратные лобызания, шум, гам, волнующееся море шелков, мехов, кружевных накидок, мундиров, фраков и, наконец, вершитель апофеозов, долгожданный московский любимец Б. С. Борисов, сам себе аккомпанирующий на гитаре и поющий почти без голоса, но с каким вдохновением, мастерством, с каким проникновенным умилением и какие слова, не блестящие чеканной рифмой, но полные вешего, рокового значения.

Время изменится,  
Все переменится,  
Правдой великою  
Русь возвеличится!..

Несбыточные надежды, «бессмысленные мечтания».

Но надо же за что-то уцепиться, во что-то верить, жить, мечтать, надеяться:

— В канун 16-го года, на третий год войны, когда в России се-

годня Горемыкин, а завтра Штюрмер, и в желтом петербургском тумане все огромное и неодолимее, как гоголевский Вий, вырастает, ширится, заслоняет фронт, страну, народ — неумная, зловещая, длиннополая тень сибирского зеленоглазого мужика, Григория Распутина...

\* \* \*

В газетах все то же.

Осторожные намеки, многоточия, восклицательные знаки, не пропущенные цензурой и потому зияющие пустопорожними провалами то там, то тут статьи, заметки, телеграммы от собственных корреспондентов, сведения с мест.

Длинные отчеты о заседаниях Государственной Думы.

Щегловитов, Сухомлинов, Протопопов.

Речь Родзянки, речь Шингарева.

Земский союз. Военно-промышленные комитеты.

Последние судороги, последние попытки — помочь, навестать, спасти.

— Война во что бы то ни стало! «Война до победного конца!»

Гальванический ток, порожденный отчаянием. Лозунг самовнушения. Крик с гибнущего корабля, в бурю, в ночь:

— Спасите наши души!

Шестнадцатый год его не услышит.

В семнадцатом — будет поздно.

...А покуда все идет своим чередом, изо дня в день, по заведенному порядку.

В «Русских ведомостях» исполненные истинного, высокого патриотизма, почтенные, достойные, длинные статьи.

Из тридцати ежедневных номеров можно сделать толстый журнал, многоуважаемый ежемесячник, под редакцией непреклонного, седобородого Розенберга, и читать его на покое, при уютной лампе под зеленым абажуром.

Но нетерпеливо ждать утренней, еще свежее пахнущей типографской краской газеты, накидываться на от века размеренные столбцы и нервно искать волнующего отклика для сердца, для души — найдешь ли?

Ни пульса, ни взлета, ни орфографической ошибки.

Все бесспорно, и все давным-давно известно.

Ни проблем, ни дилемм, одни аксиомы.

О которых говорил еще Чехов:

— Волга впадает в Каспийское море. Лошади едят сено.

Уважения бездна, а брожения, сыворотки — и в помине нет.

А ведь на «Русских ведомостях» выросли поколения, и в медвежьих углах то и дело прислушивались к почтовым бубенцам, только б скорей дождаться старого, испытанного друга!

Зато в «Русском слове» вот этой самой сыворотки и игры ума сколько хочешь.

Царит, управляет, всех и вся под себя гнет, орет и мордует Влас Дорошевич.

Шестидесятник он никакой, но редактор и журналист, Богом отмеченный. Сытинских денег не щадит, не жалеет.

В любом углу, в любом провинциальном захолустье корреспондент на корреспонденте сидит, корреспондентом погоняет.

На фронте Василий Иванович Немирович-Данченко, весь в папахах и в бакенбардах, невзирая на возраст, как угорелый носится и такое пишет, что печатать неловко.

Но, что поделаешь, любит читатель, чтоб его за жабры брали. Ну, и получай вдоволь.

Главное, чтоб скуки не было.

Подавать повкуснее, и в горячем виде.

В Петербургском отделении А. В. Руманов, вездесущий, как Фигаро. Все видит, все знает.

Раньше всех все пронюхает. Из министерских приемных не вылезает.

Днем ездит, ночью телефонирует.

На извозчиков состояние тратит.

А уж о московском составе и говорить не приходится.

Александр Александрович Яблоновский. А. Р. Кугель (Ното повус). А. В. Амфитеатров, Сергей Потресов. Григорий Петров. Н. Ашешов. Ив. Жилкин. Н. А. Тэффи. Профессор Метальников. Пантелеймон Пономарев. Константин Орлов. Юрий Сахновский. Ал. Койранский, Вилли (В. Е. Турок), Петр Потемкин, И. М. Троцкий, А. Коральник, Н. В. Калишевич.

А всех разве перечислишь?

В двенадцатые праздники, а также на Пасху и на Рождество академик Иван Алексеевич Бунин.

А в невралгическом пункте, на перепутье ветров, на перекрестке, забитом метранпажами, корректорами, наборщиками, телеграфистами, репортерами, запоздавшими театральными хроникерами и всякой нужной и ненужной, утомительной, кропотливой и изнуряющей мелочью, в гуденьи машин, в табачном дыму, сидит, как Гаспар из «Корневильских колоколов», мрачный, сосредоточенный, от рождения лысый, лицом похожий не то на петербургского Пассовера, не то на флорентинского Савонаролу, неистовый, влюбленный в свое ремесло, вечный ночной редактор Александр Абр. Поляков.

Знакомство с ним произойдет в Киеве при гетмане Скоропадском, а крепкая дружба на веки веков завяжется на улице Бюффо, в Париже, в «Последних новостях» П. Н. Милюкова.

Успех «Русского слова» был сказочный, тираж по тем временам неслыханный, а Дорошевичу всего было мало, сердился, хмурился, ногами топал и в минуты раздражения говорил Сытину:

— У вас в конторе даже построчных подсчитать не умеют. Вот посажу вам в бухгалтерию Малинина и Буренина, они вам, Иван Дмитрич, сразу порядок наведут!

В Ваганьковском переулке хиреет, чахнет «Голос Москвы», наследие Пастухова.

Направление захолустное, убогое, замоскворецкое.

Лампадное масло и нашатырный спирт.

Романы с продолжением, с ограблением, с несчастной любовью, смотринами, именинами, неравным браком.

Герой пьет горькую, мамаша липовый чай, а виновница торжества серную кислоту.

Покуда все они пили, читатели естественной смертью тоже выми- рали, а новое поколение чувствительностью не отличалось.

Тираж падал, газета дышала на ладан.

Оживить ее взялся Никандр Туркин, писавший в молодости ли- рические стихи, а в расцвете лет перешедший на прозу.

Стихи его быстро забылись, а прозу нельзя было забыть только потому, что никто ее не читал.

Призвали на помощь милого, рыхлого, одутловатого Анзими- рова, старого журналиста и вечного молодожена.

Анзиминова поддерживал Н. И. Гучков, бывший московский го- родской голова.

Газета стала заниматься высокой политикой, поддерживала ок- тябристов, давала длинные отчеты о заседаниях городской думы, не говоря уже о Государственной, много места уделяла коннозаводству и другим жгучим и неотложным вопросам.

Но возврата к прошлому уже не было.

Время было беспощадное, суровое, военное.

— Одним коннозаводством не проживешь, а издателей уму не научишь! — с тоской говорил бедный Анзиминов, изредка появляясь с бледной молодой женой в Художественном кружке.

Держалась газета до самой октябрьской революции, но так как новые октябристы опирались больше на Владимира Ильича, нежели на Николая Иваныча, то газету закрыли в первый раз за все время ее существования, но зато уже навсегда.

Большим, слегка бульварным успехом пользовались во время войны «Вечерние новости», которые издавал все тот же Крашенин-ников, а редактировал Борис Ивинский, петербургский журналист из окружения Василевского (Не-Буквы), в надежде славы и добра пере- селившийся в Москву.

Человек он был темпераментный, малограмотный, но одарен- ный, а на ролях редактора проявил способности пожалуй выше сред- него.

Пунктом помешательства была у него верстка.

— Первая страница должна пылать, вторая гореть, а все осталь- ные то там, то тут ярко вспыхивать.

Первое качество — поразить, ошарашить, ударить в лоб и по темени.

Все прочие качества — суть производные.

Появились новые шрифты, крупные заголовки, жирно набранные сенсации, коротенькие, но ударные передовички и три маленьких фельетона в каждом номере: военный, штатский и скаковой...

— Война и скачки! — кратко резюмировал, просматривая тиражную рапортичку, весьма удовлетворенный успехом своего детища Крашенинников.

Сотрудники были молодые, зеленые, начинающие.

— Быстров, Шальнев, Хохлов, Вержицкий.

Отдел скачек вел сам редактор, сильно этим спортом увлекавшийся.

А военные стихи, под псевдонимом Гидальго, писал сотрудник «Раннего утра» и суворинской «Нови» Д. Аминадо.

В четыре часа дня «Вечерка» бралась нарасхват, редактор уезжал на скачки, издатель подсчитывал барыши.

Тридцать лет спустя, — все эпилоги происходят тридцать лет спустя! — после трудной, жалкой и нетрезвой эмигрантской биографии Борис Иванович Ивинский, опускавшийся все ниже и ниже, закончил свою журнальную деятельность в «Парижском вестнике» Жеребкова, где так же неумеренно, как когда-то московских Галтиморов, славил немецких генералов, пресмыкался пред победителями и венчал на царство великого фюрера с бильярдной кличкой Адольф.

Умер он в страшной нищете и в еще более страшном одиночестве.

О смерти его узнали случайно, и с невольной грустью сказали:

— Конец Чертопханова.

\* \* \*

После неслыханного успеха петербургской «Руси», а в особенности после окончательного закрытия ее, за основателем и редактором ее Алексеем Алексеевичем Сувориным (А. Порошиным), блудным сыном «Нового времени», установилась прочная репутация бунтаря, безумца, конквистадора, порой народника, порой славянофила, во всяком случае бесспорного и горячего патриота — без примечаний и кавычек.

«Русь» расцвела в разгар японской войны, отцвела несколько лет спустя, но оставила по себе не бледнеющее от времени воспоминание, как о чем-то значительном, ярком и по смелости и независимости редком — в те жуткие конституционные времена — литературном и газетном событии.

Редактор был разорен, продал небольшое наследственное имение, уплатил долги и, после долгого и вынужденного безмолвия, нашел пайщиков, воспрянул духом и решил начать все сначала.

Знаменитого отца уже не было в живых.

«Новое время» продолжало гнуть свою нововременскую линию.

В Петербурге, переименованном в Петроград, пахивало мертвечинкой.

Алексей Порошин переехал в Москву и в самый разгар войны, и все на той же Большой Дмитровке, снова раздул кадило.

— Название должно быть короткое и по возможности односложное, газета будет называться «Новь»! — заявил он на первом редакционном собрании. — Предупреждаю, что газета эта будет особенная, ни на какую другую не похожая, и ни от каких банков и промышленных кругов не зависящая.

Надо сказать, что А. А. Суворин был натурой крайне неуравновешенной, с большими странностями и с совершенно невероятной путаницей либерализма, славянофильства, терпимости, отрицания, прозорливости и тупости.

Последним его увлечением были йоги, индийская мудрость, непротивление злу и, в то же время, резкая, властная, непреодолимая тяга к борьбе, беспощадности, презрению к несогласным, спорящим, инакомыслящим.

Сказались эти черты характера и на подборе сотрудников, образовавших столь пестрый и неожиданный веер вокруг маленькой сидящей редакторской головы, что им, конечно, можно было только обмахиваться для пушного развлечения, а не издавать газету, да еще «особенную».

Но Суворин нисколько не развлекался, а, сжав зубы, упорно преследовал свою навязчивую идею, да не одну, а несколько сразу.

Передовые статьи с большим изяществом и, пользуясь изысканной, далеко не всем доступной терминологией, писал эстетический анархист, доцент Московского университета, Алексей Алексеич Боровой.

На ролях домашнего философа и, так сказать, редакционного йога состоял некто Успенский, большой специалист по четвертому измерению.

В редакции по этому поводу не без опаски говорили:

— Лишь бы не было абстракции при уплате гонорара!

Но опасения эти были несправедливы и неосновательны.

В плане земном и материальном все было в порядке, — и бумага, и типография, и экспедиция, и гонорар.

Ничего не понимали только одни читатели.

Филипп Петрович Купчинский, высокий человек в зеленом френче и лакированных ботфортах, прославившийся еще в «Руси» своими душу раздирающими описаниями голутвинских расстрелов, учиненных семеновцами, состоял теперь военным корреспондентом и присылал с фронта такие картинки окопной жизни, что даже в искушенной редакции и то диву давались.

Оказывалось, что в окопах, когда наступало затишье, солдаты мирно беседовали о переселении душ и, хотя по штабным понятиям назывались стрелками, на самом деле были убежденными теософами, а Блаватскую чуть ли не считали шефом полка.

Прибавить к этому большие нижние фельетоны известного клоуна Владимира Дурова, под интригующим названием «Думающие лошади», которым талантливый клоун посвятил труды и дни в своем роскошном, знакомом всей Москве, особняке на Божедомке.

Да не забыть упомянуть о статьях самого Алексея Порошина из номера в номер — о лечении голодом... — и то трудно себе представить, какой отдых для души выпал на долю читателей и какой тираж — на долю газеты!

Эстетический анархизм, четвертое измерение, заклинание змей, теософы с винтовкой на прусском фронте, божедомские дневники, — и редакторская уступка темной толпе, — маленькие фельетоны Юрия Бочарова в прозе и Д. Аминадо в стихах, — какое надо было иметь пищеваренье, чтобы все это переварить, и какие деньги и упорство, чтобы все это продолжать.

В разговорах с Бочаровым, и даже с Боровым, мы часто себя спрашивали:

— Чего же хочет этот талантливый сумасброд, этот каким-то несомненным огнем перегорающий человек, какую цель он преследует, с какими ветряными мельницами он воюет, какой правды ищет и в каком нереальном мире в это страшное время, вне времени, живет?!

Ответить никто не мог.

Просуществовав больше года, «особенная» газета умерла естественной смертью.

Через двадцать лет, в Белграде, на тридцатый день добровольного голодания, превратившись в скелет, в мумию, испив полный глоток апельсинового соку и, может быть, познав истину, толпе недоступную, Алексей Порошин скончался.

\* \* \*

В «Утре России», на которую большие деньги бессчетно тратил В. П. Рябушинский, брат Черного лебедя, редактором состоял А. П. Алексинский, а на ролях городского сумасшедшего и настоящей души газеты был Савелий Семенович Раецкий, беспокойный человек и прирожденный журналист.

Газета считалась умеренно-оппозиционной, безусловно либеральной, но особой яркостью не отличалась и большого влияния на умы и настроения не имела.

Выделялся в «Утре России» Ал. Койранский, писавший о театре и перешедший потом в «Русское слово», к Дорошевичу.

Бурнопламенной лавой извергался и растекался будущий лауреат премии Сталина, Илья Эренбург.

А. П. Алексинский и Ф. П. Шипулинский делили между собой скуку передовых статей, один уныло поддерживал военно-промышленные комитеты, другой громил Штюрмера и нового министра внутренних дел Николая Алексеевича Маклакова, прославив-

шегося своим знаменитым прыжком влюбленной пантеры, развлечавшим Петербург и Царское Село.

Сергей Кречетов, поэт и основатель утонченного «Грифа», писал впечатления с фронта и отлично рассказывал, как, чудом уцелев в штыковом бою, вернулся в свою офицерскую палатку, смыл с себя ледяной водой окопную грязь, опрыскался тройным одеколоном и, чтоб не потерять образа человеческого, всю ночь напролет читал «Манфреда» Байрона.

Все это было очень свежо и неожиданно.

Тем более, что было это за год до Брест-Литовска.

\* \* \*

Фронт глухо ворочался, брюзжал, но терпел, крепился и держался.

Не знал удержу только один тыл.

В клубах сумасшедшая азартная игра.

Метали банк нажившиеся на поставках лубяньские молодцы, ненасытные делеги из Китай-Города, долго завтракавшие в «Славянском базаре», а по ночам проигрывавшие целые состояния в Английском, Купеческом, в Охотничьем, в особняке Востряковых на Большой Дмитровке.

Балы и вечера «в пользу раненых» превосходили по роскоши все до тех пор виденное.

Сначала — кесарево кесарю, — уделялся часок-другой военной поэзии и гражданской мелодекламации.

Любимец публики, артист Малого театра, Владимир Васильевич Максимов, слегка подрумяненный и напудренный, из вечера в вечер читал мои стихотворные грехи молодости, посвященные королю Альберту:

Наступит день. Он будет ярок!  
На именины короля  
Весь мир отдаст ему в подарок  
Его бельгийские поля!

Нарядные дамы были этим обещанием очень растроганы.

Из Петербурга приезжал Н. Н. Ходотов и весело декламировал под аккомпанемент рояля:

Счастлив лишь тот, кому в осень холодную  
Грезятся ласки весны.  
Счастлив, кто спит, кто про долю свободную  
В тесной тюрьме видит сны.

Горе проснувшимся... В ночь безысходную  
Им не сомкнуть своих глаз.

И, после многозначительной паузы, почти шепотом пояснял:

Сны беззаботные, сны мимолетные  
Снятся лишь раз...

Намек был понят, гром рукоплесканий, Ходотов привычным же-



стом откидывал непослушную прядь волос и кланялся так, как кланяются все баловни судьбы на театральных подмостках.

Автором этих пользовавшихся невероятным успехом строф был русский Catulle Mendès, Николай Максимович Минский, а положил их на музыку популярный в те времена Н. Вильбушевич.

Трафарет, однако, требовал продолжения: песни индийского гостя из оперы «Садко», хоровой удали «Вдоль да по речке, вдоль да по быстрой», и, в зависимости от аудитории, песни начинавшего входить в моду Вертинского.

О Вертинском можно было бы написать не рецензию, а целое исследование.

Но ученые социологи, разумеется, выше этого, а психиатры просто еще не додумались.

Между тем в эпоху упадка, предшествовавшего войне, и в период развала, за ней последовавшего, надрывные ритмы аргентинского танго и манерная сухая истерика столичного Арлекина являли собой два звена единой цепи,— начало конца и самый конец.

Погубили нас не одни только цыганские романсы, чайки и альбатросы, но и все эти подергивания, откровения и телодвижения, гавайские гитары, вздрагивания, сурдины и, конечно, притоны Сан-Франциско, где

Лиловый негр вам подает манто...

После всей этой литературной и вокальной мешанины начинался бал, танцы до утра, рябчики, буфет, пробки в потолок, и напрасен был, как глас вопиющего в пустыне, хриплый, полуприличный, как всегда нарочитый, но, быть может, и не совсем неискренний окрик Владимира Маяковского, который так и гаркнул на весь мир с окрестностями:

А вы, проводящие за оргией оргию,  
Влюбленные в ванную и теплый клозет,  
Как вам не стыдно о представленных к Георгию  
Узнавать равнодушно из свежих газет?

\* \* \*

Тучи на горизонте сгущались, как выражались провинциальные передовики, и становилось все чернее и чернее.

В темпе нараставших событий уже не хватало ни *adagio*, ни *allegro*.

Одно *presto*, одно *furioso*!

На Сухаревке, на Таганке, на толкучках, в знаменитой Ляпинке — студенческом общежитии, на Большой Козихе и на Малой, на университетских сходках, начинавшихся на Моховой и кончавшихся в Манеже, из трактира в лабаз, из Торговых рядов на улицу ползли, росли, клубком клубились слухи, шепоты, пересуды, «сведения из достоверных источников», сообщения, глухие, нехорошие разговоры.

Ходили по рукам записочки, лубки, загадочные картинки, воззвания, стихи, эпиграммы, неизвестных авторов поэмы, весь этот не то сумбур, не то своеобразный народный эпос, всегда предшествующий чему-то необыкновенному, роковому и неизбежному.

Среди многочисленных неизвестных авторов — теперь в порядке послесловия и эпилога целомудренные скобки можно раскрыть, — был и автор настоящей хроники, погрешивший анонимными и неуважительными виршами, посвященными сибирскому колдуну и петербургскому временщику.

Восстанавливать приходится по памяти, но так как своя рука владыка, то за неточности и запамятования просить прощения не у кого.

Была война, была Россия.  
И был салон графини И.,  
Где новоявленный Мессия  
Хлебал французское Аи.

Как хорошо дурманит деготь  
И нервы женские бодрит...  
— Скажите, можно вас потрогать? —  
Хозяйка дома говорит.

— Ну, что ж, — отвечает Григорий, —  
Не жалко. Трогай, коли хошь...  
А сам, поднявши очи горе,  
Одним глазком косит на брошь.

Не любит? Любит? Не обманет?  
Поймет? Оценит робкий жест?  
Ее на груздь, на ситный тянет...  
А он глазами брошку ест.

И даже бедному амуру  
Глядеть неловко с потолка  
На титулованную дуру,  
На бороденку мужика.

Княгини, фрейлины, графини  
Летят, как ведьмы на метле.  
И быстро падают твердыни  
В бесстыдной обморочной мгле.

А чародей, змея, мокрица,  
Святой прохвост и склизкий хам  
Все извивается, стремится  
К державе, к скипетру, к верхам.

...За что ж на смерть идут герои?  
Почто кровавый длится бой?  
Пляши, кликуша!.. Гибель Трои  
Приготовлена судьбой.

Война до победного конца!

Девиз все тот же. Лозунг остается в силе.

Верить во что бы то ни стало. Рассудку вопреки, наперекор стихиям.

А разбушевавшиеся стихии уже хлещут через борт.

1 ноября с трибуны Таврического дворца раздаются речи, которых топором не вырубишь.

Голос Милюкова прерывается от волнения.

С побелевших уст срываются слова, исполненные вещего, угрожающего, убийственного смысла.

— Что ж это, глупость? Или измена?!

Ответа не будет.

Его никто не ждет.

Ни от сильных мира, уже обессиленных.

Ни от притаившейся безмолвствующей страны, силы своей еще не осознавшей.

Все в мире повторяется. Так было, так будет.

Когда молодое вино цветет, старое уже бродит.

Лента на экране дрожит, мигает.

16-го декабря, во дворце князя Юсупова, графа Сумарокова-Эльстона, бесхребетной, зеленоглазой гадине придет конец.

Глухой ночью окровавленное тело будет сброшено в холодную, черную Неву.

А наутро Петербург, Россия, мир — узнают правду:

— Распутина нет в живых.

Остальное будет в учебниках истории.

Неучи Иловайского, ученики Ключевского, каждый расскажет ее по-своему.

Пребудут неизменными только числа и даты.

2-го марта на станции Дно в вагон царского поезда, стоящего на запасных путях, войдут тучный А. И. Гучков и остроконечный В. В. Шульгин.

Все произойдет с потрясающей простотой.

Никто не потеряет самообладания.

Ни барон Фредерикс, последний министр двора, ни худошавый, подвижной генерал Данилов, ни господа уполномоченные Государственной Думы.

Николай Второй, Самодержец Всероссийский, Царь Польский, Великий Князь Финляндский, подпишет акт отречения, напечатанный на пишущей машинке.

И не пройдет и нескольких дней, как во главе гвардейского экипажа, предшествуемый знаменосцем с красным знаменем, великий князь Кирилл Владимирович, будущий зарубежный монарх не Божьей милостью, а самотеком, одним из первых явится на поклон, присягать на верность новой власти.

Матросы Шекспира не читают, и монолог Гамлета им неизвестен.

«Еще и башмаков не износили...»

\* \* \*

Былина, сказ, легенда, предание, трехсотлетие Дома Романовых, все кончается, умирает и гаснет, как гаснут огни рампы, огни императорского балета.

В ночь с 3 на 4 марта в квартире князя Путятина на Миллионной улице, все еще не отказываясь от упрямой веры в конституционную, английскую! монархию... с несвойственной ему страстностью, почти умоляя, обращался к великому князю Михаилу Александровичу, взволнованный, измученный бессонницей, Милюков:

— Если вы откажетесь, ваше высочество, страна погибнет, Россия потеряет свою ось!..

Решение великого князя бесповоротно.

Руки беспомощно сжаты, ни кровинки в лице, виноватая, печальная, насильственная улыбка.

В гостиную входит высокая, красивая, молодая женщина, которой гадалки гадали, да не судила судьба.

Не быть ей русской царицей.

Дочь присяжного поверенного Шереметевского, разведенная офицерская жена, а ныне графиня Брасова, морганатическая супруга Михаила Александровича.

Что происходит в душе этой женщины? С какими честолюбивыми желаниями и мечтами борются чувства любви и страха за сына Александра Третьего?

Рассказывая о прошлом, Милюков утверждал, что московская красавица держала себя с огромным, сдержанным достоинством.

Жизнь ее была похожа на роман, но каждая глава его отмечена роком.

Безумно влюбленный великий князь, припавший к мраморным коленям Победы Самофракийской.

Короткое счастье, озаренное страшным заревом войны.

Отречение мужа, после отречения царя.

Вдовство и материнство в длительном, многолетнем изгнании, в отраженном блеске, в тускнеющем ореоле.

Гибель единственного сына, разбившегося на автомобильных гонках.

Одиночество, нищета и освободительница-смерть на койке парижского госпиталя.

На церковном дворе rue Dauphine, после торжественного богослужения, за которое платил какой-то меценат, в жалкой толпе стариков и старух, дряхлых современников, и газетных репортеров кто-то вспомнил слова давно забытого романса, который пел во времена она знаменитый Давыдов:

Она была мечтой поэта...

Подайте, Христа ради, сй...

Легенда кончилась, началась заварушка.

Одна длилась столетия, другой отсчитано восемь месяцев.

Избави нас Бог от жалких слов, любительских суждений, неосторожных осуждений.

А пуще всего — от безответственного наездничества и кавалерийского наскока.

Хихикать и подмигивать предоставим госпоже де Курдюковой, которую выдумал Мятлев, а воплотило в плоть и кровь все, что было худшего в зарубежье.

Начиная от сменовеховцев двадцатых годов и кончая нынешними шестидесятниками, кои, доехав до Минска при Гитлере, удалились под сень мюнхенских Biehalle для бредовых объединений и расторопных манифестов.

И все-таки надо сказать правду: заварушка превратилась в драму, драма — в трагедию, а Учредительное собрание разогнал матрос Железняк. Почему и как все это произошло объяснит история...

Которая, как известно, от времени до времени выносит свой «беспристрастный приговор».

Князь Львов был человек исключительной чистоты, правдивости и благородства.

Павел Николаевич Милюков был не только выдающимся человеком и великим патриотом, но и прирожденным государственным деятелем, самым Богом созданным для английского парламента и Британской энциклопедии.

А когда старая, убеленная сединами, возвратившаяся из сибирской каторги Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская взяла за руку и возвела на трибуну, и матерински облобызала, и на подвиг благословила молодого и напружиненного Александра Федоровича Керенского, — умилению, восторгу и энтузиазму не было границ.

— При мне крови не будет! — нервно и страстно крикнул Александр Федорович.

И слово свое сдержал.

Кровь была потом.

А покуда была заварушка.

И, вообще, все Временное правительство, с Шингаревым и с Кошкиным, с профессорами, гуманистами и присяжными поверенными, все это напоминало не ананасы в шампанском, как у Игоря Северянина, а ананасы в ханже, в разливанном море неочищенного денатурата, в сермяжной, темной, забитой и безграмотной России, на четвертый год изнурительной войны.

И вот и пошло.

Сначала разоружили бородатых, малиновых городских, и вел их по Тверской торжествующий и веселый Вася Чиликин, маленький репортер, но ходовой парень.

Через несколько лет он станет редактором харбинских, шанхайских и тьянь-тзинских листков и будет получать субсидии то в японских иенах, то в китайских долларах.

Вместо полиции, пришла милиция, вместо участков комиссариаты, вместо участков приставов присяжные поверенные, которые назывались комиссарами.

Примечание для любителей:

— Одним из них был и некий Вышинский, Андрей Январевич.

Вслед за милицией появилась красная гвардия.

И наконец, первые эмбрионы настоящей власти:

Советы рабочих и солдатских депутатов.

Естественные надежды не обмануло революционных надежд.

Из эмбрионов возникли куколки, из куколок мотыльки, с винтовкой за плечом, с маузером под крылышками.

Мотыльки стали разезжать на военных грузовиках, лущить семечки, устраивать митинги, требовать, угрожать, вообще говоря, — углублять революцию.

Керенский вступил в переговоры, сначала убеждал, умолял, потом тоже угрожал, но не очень.

Тем более, что ни убеждения, ни мольбы, ни угрозы не действовали.

Грузовиков становилось все больше и больше, солдатские депутаты приезжали с фронта пачками, матросы тоже не дремали.

А с театра военных действий приходили невеселые депеши.

От генерала Алексеева, от Брусилова, от Рузского, от Эверта.

В порыве последнего отчаяния, в предчувствии неизбежной катастрофы, Керенский метался, боролся, телеграфировал, часами говорил пламенные речи, выбивался из сил, готовил новые полки, проявлял чудовищную нечеловеческую энергию и, обессиленный, измочаленный, с припухшими веками, возвращался из ставки в тыл.

А в тылу шли митинги, партийные собрания, совещания, заседания, что ни день возникали новые комитеты, советы, ячейки, боевые отряды; и министр труда принимал депутацию за депутацией, и не просил, а умолял:

— По крайней мере не стучать кулаком по столу!

Но глава депутации не смущался, опрокидывал министерскую чернильницу царских времен и начинал зычным голосом:

— Мы, банщики нижегородских бань, требуем...

Продолжение следовало.

И на плакатах уличной демонстрации уже было ясно написано аршинными буквами:

— Товарищи, спасайте анархию! Анархия в опасности!..

В так называемых лучших кругах общества, начиная от пестрой по составу интеллигенции, еще так недавно исповедовавшей весьма левые, крайние убеждения, и до либеральной сочувствовавшей буржуазии, тайком почитывавшей приходившую из Штутгарта «Искру»

и «Освобождение», — царила полная растерянность, распад, нескрываемая горечь и уныние.

— Революция, как Сатурн, пожирает собственных детей!.. — мрачно повторял один из умнейших и просвещеннейших москвичей, Николай Николаевич Худяков, профессор Петровско-Разумовской академии, обращаясь к своему старому приятелю Якову Яковлевичу Никитинскому, написавшему энное количество томов по вопросу об азотном удобрении.

Никитинский, несмотря на почтенный возраст, был неисправимым оптимистом и в пику Худякову, который все ссылался на Карлейля, возражал ему с юношеской запальчивостью:

— Я, Николай Николаевич, из научных авторитетов признаю только один.

— А именно?

— А именно лакея Стивы Облонского. Великий был мудрец, хорошо сказал: увидите, образуется!

Через несколько недель скис и сам Яков Яковлевич.

За новым чаепитием, в уютной профессорской квартире на Малой Дмитровке, Худяков не удержался и, не глядя на начинавшего прозевать приятеля, бросил куда-то в пространство:

— А в общем, Никитинский был прав, действительно все в конце концов образуется.

Вот и образовалась опухоль, и не опухоль, а нарыв. И если его вовремя не вскрыть, произойдет заражение крови...

Интеллигентское чаепитие давно окончилось; нарыв, как известно, был вскрыт; а что вслед за вскрытием не только произошло заражение крови, но что продолжается оно и по сей день, — этого не мог предвидеть не только Худяков, но и все профессора всего мира, вместе взятые.

\* \* \*

По ночам ячейки заседали, одиночки грабили, балов не было, но в театре работали вовсю.

Газет развелось видимо-невидимо, и большинство из них призывали к сплочению, к единению, к объединению, к войне до победного конца.

Даже Владимир Маяковский, и тот призывал.

Взобравшись на памятник Скобелеву против дома генерал-губернатора, потный от воодушевления, он кричал истошным голосом:

— Теперь война не та! Теперь она наша! И я требую клятвы в верности! Требую от всех и сам ее даю! Даю и говорю — шелковым бельем венских кокоток вытереть кровь на наших саблях! Уррра! Уррра! Уррра!

А неподалеку от Скобелева, в «Музыкальной табакерке», на углу Петровки и Кузнецкого моста, какие-то новые дамы, искавшие заб-

вения, отрыва, ухода от прозы жизни, внимали Вертинскому, и Вертинский пел:

Ваши пальцы пахнут ладаном,  
А в ресницах спит печаль.

Возможно, что все это было очень кстати.

Но так как одним ладаном жив не будешь, то для душевного отдохновения читали «Сатирикон» и потом собственными словами рассказывали то, что написал Аверченко.

Каждый номер «Сатирикона» блистал настоящим блеском, была в нем и беспощадная сатира, и неподдельный юмор, и тот, что на миг веселит душу, и тот, что теребит сердце и называется юмором висельников, весьма созвучным эпохе.

Все это прошло, и быльем поросло.

Пожелтевшие страницы старых комплектов, журнальных и газетных, можно только перелистывать.

Читать их невозможно.

Все, что было написано и напечатано, все эти стихи, пародии, ядовитые фельетоны, правоучительные басни, желчные откровения и заостренные сатиры — отжило свой век, который длился день или месяц.

От былого огня остался дым, который уносится ветром.

И какой-то вкус горечи и холода, и перегара — от этой обреченной и проходящей славы.

Рыцари на час, баловни капризных промежутков, любимцы кратковременной судьбы, самые талантливые, блестящие и знаменитые журналисты расточают свой несомненный дар, швыряют его всепоглощающей мишуре и почивают на лаврах, которые превратятся в сор.

Сгореть, испепелиться, но горячо подать. Немедленно, сейчас.

Станки и лино типы не терпят и не ждут.

Пусть завтра будет и мрак и холод.

Сегодня сердце отдам лучу!..

Ни целомудренных зачатий, ни длительного материнства.

Фейерверк взлетит и ослепит на миг.

Обуглится — и все о нем забудут.

Вчера «Стрекоза». Сегодня «Будильник». Завтра «Сатирикон».

И потом — прах, пепел, забвение.

\* \* \*

Где-то там, в окопах, в траншеях, в Восточной Пруссии, на Карпатах, идут бои, везут раненых, хоронят убитых, едут в теплушках солдатские депутаты, похоже на то, что война продолжается.

Скоро придет Ленин в запломбированном вагоне.

На улицах появятся новые плакаты:

— Долой десять министров-капиталистов!

— Долой войну!

— Мир без аннексий и контрибуций.



Наступят прозрачные, золотые, сентябрьские дни.

В доме Перцова, у Храма Христа Спасителя, какие-то последние римляне будут читать друг другу какие-то последние стихи, допивать чай вприкуску, не в пример Петронию, и кто-то вспомнит пророчество Достоевского, что «все начнется с буквы ять», которую росчерком пера отменил профессор Мануйлов.

Появится приехавший из Петербурга А. И. Куприн, в сопровождении своего неизменного Санчо Пансы, алкоголика и поводыря, Маныча.

На столе появится реквизированная водка, и нездоровой, внезапной и надрывной веселостью оживится вечерняя беседа.

Куприн скажет, что большевизм надо вырвать с корнем, пока еще не поздно...

На тихий и почтительный вопрос Койранского: «А как именно, дорогой Александр Иванович, вы это мыслите и понимаете?» — Александр Иванович, слегка охмелев и размякнув, вместо ответа процитирует Гумилева, которого он обожает:

...Или бунт на борту обнаружив,  
Из-за пояса рвет пистолет,  
Так что сыплется золото с кружев  
Драгоценных брабантских манжет...

— Чувствуете вы, как это сказано? «Из-за пояса рвет пистолет!..» — продолжает смаковать и восторгаться Куприн.

Четырехугольный Маныч предлагает выпить за талант Гумилева и хриплым голосом затягивает «Аллаверды».

— Всем ясно, что борьба с большевизмом становится реальностью...

В кафе «Элит», на Петровских линиях, молодая, краснощекая, кровь с молоком, Марина Цветаева четко скандирует свою московскую поэму, где еще нет ни скорби, ни отчаяния, и только протест и вызов — хилым и немощным, слабым и сомневающимся.

Ее называют Царь-Девушка. Вся жизнь ее еще впереди, и скорбь и отчаяние тоже.

Кафе «Элит» — это кафе поэтесс.

На эстраде только Музы, Аполлоны курят и аплодируют.

Кузьмина-Караваева воспеваает Шарлотту Кордэ.

Еще никто не знает, кто будет российским Маратом, но она его предчувствует, и на подвиг готова.

Подвиг ее будет иной, и несказанной будет жертва вечерняя.

Не на русской плахе сложить ей буйную голову, а в неслыханных мучениях умирать и умереть медленной смертью в концентрационном немецком лагере в Равенсбрюке.

В антологии зарубежной поэзии останутся ее стихи, в истории русского изгнания — светлый образ матери Марии, настоящий, неприукрашенный образ отречения и подвижничества.

В галерее московских дагерротипов, побледневших от времени, была и Любовь Столица, талантливая поэтесса, выступавшая на той же эстраде в Петровских линиях.

Несмотря на шутливый вердикт Бунина —

А столица та была  
Недалеко от села...

— в стихах ее звучали высокие лирические ноты, и была у нее своя собственная, самостоятельная и по-особому правдивая интонация.

Умерла она совсем молодой — у себя на родине, в советской России.

Последним аккордом в этом состязании московских амазонок была жеманная поэзия Веры Инбер, воспевавшей несуществующий абсент, парижские таверны и каких-то выдуманных грумов, которых звали Джимми, Тэдди и Вилли.

На настоящий Парнас ее еще не пускали, и на большую дорогу она вышла позже, дождавшись новой аудитории, новых вождей и «новых песен на заре».

Никаких звездных путей она не искала, но, обладая несомненной одаренностью, писала манерные и не лишённые известной прелести стихи, в которых над всеми чувствами царили чувство юмора и чувство ритма.

Миниатюрная, хрупкая, внешне ни в какой мере неубедительная, — недоброжелатели называли ее рыжиком, поклонники — златокудрой, — она, помимо всего, обладала замечательной дикцией и знала толк в подчеркиваниях и ударениях.

Читая свои стихи, она слегка раскачивалась из стороны в сторону, сопровождая каждую цезуру притоптыванием маленькой ноги в лакированной туфельке.

В стихах чувствовались пружины, рессоры, покачивания шарабана, который назывался кебом.

Милый, милый Вилли! Милый Вилли!  
Расскажите мне без долгих дум  
Вы кого-нибудь когда-нибудь любили,  
Вилли-Грум?!

Вилли бросил вожжи.. Кочки. Кручи..  
Кеб перевернулся... сделал бум!  
Ах, какой вы скверный, скверный кучер,  
Вилли-Грум!

Не прошло и года, как Вера Инбер сразу повзрослела.

Побывав в Кремле у Льва Троцкого, вождя Красной Армии и любителя жеманных стихов, она так, одним взмахом послушного перышка, и написала:

Ни колебаний. Ни уклона.  
Одна лишь дума на челе.  
Четыре грозных телефона  
Пред ним сияют на столе...

Сентябрь на исходе.

Пришел Валентин Горянский, талантливый, уродливый, тщедушный.

Принес свою только что вышедшую книгу стихов «Крылом по земле».

Книга отличная, ни на какие другие стихи не похожая, а похвалить нельзя, неловко: книга посвящена мне; так на титульной странице и напечатано.

Он сияет, а жертва смущена.

Зато Горянский не унимается.

Говорит, что два раза подряд ходил в Камерный театр, где все еще продолжала идти моя трехактная пьеска «Весна семнадцатого года».

Неумеренно хвалит пьесу, обижается, что автор-шляпа назвал ее обозрением, превозносит постановку Азагарова, Татьяну Большакову в главной роли, и в восторге от публики, которая все время «реагирует»...

— Неужели так-таки все время?

Валентин Иванович не сдается, гнет свою линию, требует драм, романов, трилогий, говорит, что «строка тебя погубит»,— строка это значит работа на построчных, работа в газете.

Возражать ему трудно, остановить словесный поток невозможно.

Человек он страстный, искренний, невоздержанный.

В стихах целомудрен, в прилагательных и эпитетах расточительно щедр.

Ни один из собеседников не знает, не ведает, что, по прошествии многих лет и долгих десятилетий, Валентин Горянский будет писать в «Возрождении» вымученные пасквили, посвященные тому самому московскому другу, которому была посвящена прекрасная книга «Крылом по земле».

Никакой личной вражды в этом не было.

«Ряд волшебных изменений милого лица» объяснялся проще и прозаичнее: нужда толкнула поэта к эмигрантскому набобу, которого в стихах и прозе изводили «Последние новости».

— Война Белой и Алой Розы.

Набоб мечтал о мщении и приобрел поэта по сходной цене.

Коготок увяз, всей птичке пропасть.

Следующей и последней ступенью был «Парижский вестник», который на немецкие деньги издавал во время оккупации Жербов.

Потерявший зрение, почти слепой, голодный, дошедший до крайней степени нищеты и отчаяния, несчастный Горянский со страстью и талантом обливал припадочной желчью и бешеной слюной все, во что когда-то верил и что нежно и бескорыстно любил.

Незрячим глазам не суждено было увидеть вошедшие в Париж

дивизии Леклерка, развернутые знамена, обезумевшую от радости толпу.

В раскрытые окна вливались звуки «Марсельезы», звенела медь, и мерно и гулко отбивали марш не потерявшие веры батальоны, пришедшие с озера Чад.

Угасающее сердце встрепенулось, забилося в высохшей груди и угасло навсегда.

На весах справедливости перетягивает прошлое.

— Мир праху поэта.

\* \* \*

В октябре пошли дожди, первые утренние заморозки, последние декреты Временного правительства.

Путиловский завод поговорил с Сормовским, поговорил и договорился, работа на вооружение, на нужды войны прекратилась.

На фабриках митинги, на площадях митинги.

Заборы заклеены афишами, летучками, манифестами.

На каждом шагу красный флаг, плакат, воззвание.

И одно, из всех щелей, со всех сторон, отовсюду выпирающее, подавляющее, все сразу объясняющее, магическое слово:

— Долой!..

В Китай-городе еще сомневаются.

В Торговых рядах надеются.

На Хитровом рынке все знают наперед.

Долго ждать не придется.

Конспекты выработаны в Женеве, схемы в Циммервальде, инструкции на финляндской даче, планы военных действий — в Петербурге и в Москве.

Правительство бессильно, но власть лозунгов непоколебима.

— При мне крови не будет!..

В Московском градоначальстве принимают меры. Бразды правления взял на себя присяжный поверенный Вознесенский.

Адвокатуры занимается мало, все время посвящает своему любимому детищу «Вестнику права».

Милый человек, покладистый, благожелательный.

Быстро загорается и столь же быстро потухает.

Без конца курит трубку, набитую английским кнастером, и сопит.

Называют его Сопкой Маньчжурии, или просто Сопкой.

Совещаний и заседаний Александр Николаич терпеть не может, но, невзирая на это, только то и делает, что совещается.

Господа комиссары, инспектора, все высшие и средние чины милиции — все это присяжные поверенные, и без совещаний жить не могут.

Большой приемный зал в здании градоначальства превращен в бивуак.

В креслах, на диванах, обитых пунцовым шелком, а то и попр-

сту растянувшись на дорогах, полных пылью коврах, дремлют, сидят, стоят юнкера Алексеевского училища.

Все они беспомощно-очаровательны, преступно-молоды и безусы.

Обезоруживающе вежливы и серьезны.

За серьезностью чувствуется усталость, за усталостью сквозит безнадежность.

Каждый час смена караула, короткая команда, звяканье шпор, стук винтовок о деревянный паркет.

В соседнем зале, овальном кабинете с окнами на Тверской бульвар,— срочное совещание.

Вознесенский председательствует и сопит, комиссары докладывают и просят слова к порядку дня.

Порядок дня большой, а октябрьские сумерки надвигаются быстро.

Без конца звонит телефон.

Из участковых комиссариатов весть одна другой тревожнее.

На улицах баррикады, на Пресне пожар, университет Шанявского на Миуссах занят отрядом рабочих, милиция разбегается, на вокзалах сходки, поезда не ходят, на подъездных путях развинчены рельсы, всем распоряжается Викжель, или, еще короче, Всероссийский Исполнительный Комитет железнодорожный служащих.

С бульвара все чаще и чаще доносятся выстрелы.

Вознесенский приказывает погасить свет и лечь на пол.

В голосе его слышится неожиданный металл, и слова к порядку дня уже никто не просит.

Телефон звонит все реже и реже.

Стрельба учащается. Юнкера отстреливаются.

Есть раненые. Пробираясь ощупью, спотыкаясь в темноте, несут на носилках первую жертву.

Карабкаясь ползком, а то и на четвереньках, при свете оплывшего огарка, присутствующие узнают убитого наповал.

Фамилия его — Бессмертный.

Трагическая игра слов напрашивается сама собой, но никто и звука не проронит.

Белотелый, дородный, умница и душа нараспашку, отличный цивилист, Л. С. Бессмертный усердно занимался практикой, не вылезал из фрака, как принято было на сословном наречии определять удачливых и быстро шедших в гору адвокатов, любил жизнь, и первую, февральскую революцию принял как нечаянную радость, как редкий дар судьбы взыскующему поколению.

Ход событий радость эту немало омрачил, и по отношению к угрожающему, идущему на смену большевизму этот добродушный человек испытывал не просто ненависть и инстинктивное отталкивание, а настоящее, глубокое, доходившее до настоящей тошноты отвращение.

— Если это им удастся,— говорил он с неподдельной тоской

в голосе, — то живые души станут мертвыми, а мертвыми душами будет управлять гениальный осел или безмозглый диалектик!

Вспоминая прошлое, невольно ищешь какого-то запоздалого пояснения, утешительной поправки к незадачливой чужой биографии. И думаешь:

— Милый человек видал только пролог, только первые сумерки, предшествовавшие Вальпургиевой ночи. Ни Дзержинского, ни Менжинского, ни Ягоды, ни Ежова, ни Сталина, отца народов, он не видел, не знал, и может быть, и не предчувствовал.

И, как говорят французы:

— C'est déjà quelque chose<sup>1</sup>.

\* \* \*

Наутро 25 октября заговорили пушки.

Распропагандированные полки вышли из казарм.

На крышах вагонов прибыли с фронта накаленные добела дезертиры.

Уличный плакат стал золотой грамотой.

Из трехцветных флагов вырвали синее и вырвали белое, и с красными полотнищами, развевавшимися на ветру, прошли церемониальным маршем по вымершим, безмолвным московским улицам.

Защищались до конца юнкера Алексеевского училища.

Погибло их немало, и через несколько дней, в страшную непогоду, в стужу, в снежный вихрь, бесновавшийся над городом, — от Иверской и вверх по Тверской — бесконечной вереницей потянулись гробы за гробами, и шла за ними осмелившаяся, несметная, безоглядная Москва, последний орден русской интеллигенции.

На тротуарах стояли толпы народу и, не обращая внимания на морских стрелков с татуированной грудью и неопытных красногвардейцев, увешанных гранатами, долго и истово крестились.

\* \* \*

В феврале был пролог. В октябре — эпилог.

Представление кончилось. Представление начинается.

В учебнике истории появятся имена, наименования, которых не вычеркнешь пером, не вырубишь топором.

Горсть псевдонимов, сто восемьдесят миллионов анонимов.

Горсть будет управлять, анонимы — безмолвствовать.

Свет с Востока. Из Смольного — на весь мир!

Космос остается, космография меняется, меридианы короче.

От Института для благородных девиц до крепости Брест-Литовска рукой подать.

Несогласных — к стенке:

— Прапорщиков — из пулемета, штатских — в затылок.

<sup>1</sup> Это уже что-то...

Патронов не жалеть, холостых залпов не давать. Урок Дубасова не пропал даром.

Все повторяется, но масштаб другой.

В Петербурге — Гороховая, в Москве — Лубянка.

Мельницы богов мелют поздно.

Но перемол будет большой, и надолго.

На годы, на десятилетия.

Французская шпартгалка — неучам и приготовишкам, русская Вандея — для взрослых и возмужалых.

Корнилов, Деникин, Врангель, Колчак — все будет преодолено, расстреляно, залито кровью.

Рыть поглубже, хоронить гуртом.

Социальная революция в перчатках не нуждается.

На Западе ужаснутся. Потом протрут глаза.

Потом махнут рукой, и станут разговаривать.

О марганце, о нефти, о рудниках, о залежах.

Из Америки приедет Абель Арриман. За ним другие.

Сначала купцы, потом интуристы.

Герцогиня Астор, Бернард Шоу, Жорж Дюамель, Андре Жид.

Икра направо, икра налево, рябиновая посередине.

Сначала афоризмы, потом парадоксы, потом восхищение:

— Родильные приюты для туркменов, грамматика для камчадалов, «Лебединое озеро» для всех!..

Из Англии явится мисс Шеридан и увековечит в мраморе Надежду Крупскую.

Отмечено это будет даже за рубежом, в неисправимом гнезде белогвардейской эмиграции.

Как хорошо, что в творческом припадке,  
Под действием весеннего луча,  
Пришло на ум какой-то психопатке  
Изобразить супругу Ильича!

Ах, в этом есть языческое что-то...  
Кругом поля и тракторы древян,  
И на путях, как столб у поворота,  
Стоит большой и страшный истукан,

И смотрит в даль пронзительной лазури,  
На черную под паром целину...  
А бандурист играет на бандуре  
Стравинского «Священную весну»...

\* \* \*

А куда все это будет, надо жить. Под шум мотора под окном, под треск грузовика, нагруженного латышами.

Жить и надеяться.

На чудо, на спасение, на Мильерана, на Клемансо, на президента Соединенных Штатов.

Вообще говоря, на то, чем жили все рабы при всех фараонах:

— Через две недели большевики кончатся, выдохнутся, погибнут, разлетятся, как пух с одуванчиков!..

В ожидании пока все пойдет пухом и прахом, как предсказывали лучшие умы, не мешает, однако, подтянуть животы, стиснуть зубы, смахнуть с лица контрреволюционное выражение и через комиссара почт и телеграфов, Вадима Николаевича Подбельского, получить ордер на подлую машинку примус, без торжества которой никакая революция в мире немыслима.

Подбельский, бывший репортер «Русского слова» и бывший дорогой коллега, товарищ председателя Союза журналистов и писателей, хотя и большевик, но тоже глубоко свой парень.

Соображает, думает, мнется, неловко ему, не по себе бедному, потом — Эх! Где наша не пропадала! — закрывает двери на все запоры и пишет крупным почерком голубиное слово:

— Выдать...

Жизнь прекрасна! Все еще впереди! И военный коммунизм, и вобла, и вымирающее от голода Поволжье, и суд над адмиралом Щастным, и адмиральская пощечина генералиссимусу Троцкому, и электрификация облаков, и убийство в доме Ипатьева, и сифилис, и апокалипсис, и сочинения Радека, и титул почетного узбека Марселю Кашену.

17-й год на исходе.

Новых календарей не отпечатали, не успели, 31 декабря не отмечено.

Переключка нерасстрелянных состоится в доме Толмачева, в «Алатре» в ночь под Новый год.

Последние римляне в смокингх. Баженов во фраке, дамы в балльных платьях, на актрисе Рейзен умопомрачительная шаль, прямо из Гренады, из Севильи, из Саламанки.

Собинов, председатель «Алатра», отсутствует; но погреб еще не реквизирован, заветный ключ крепко держит в руках Попелло-Давыдов.

По знаку оперного дирижера Златина, на столах появляются водки, закуски, индейки, шампанское.

Охраняют входы Туржанский, будущий синеаст, и душка Берснев, актер Художественного театра.

Лоло-Мунштейн не расстается с моноклем, В. Н. Ильнарская не расстается с Лоло.

Называли их — Рампа и Жизнь.

В честь их театрального журнала и недавнего бракосочетания.

На маленькой эстраде Петр Лопухин тонким детским фальцетом рассказывает «веселенькую» историю, которую знает вся Москва.

Лев Никулин читает свою фривольную поэму, написанную вне времени и вне пространства.

М. С. Линский представляет собравшимся молоденькую Сильвию Дианину, будущую актрису «Летучей мыши».

Дианина поет, танцует, Линский на седьмом небе, это он ее отыскал в только что открывшемся кабаре под подозрительным по контрре-



волюции названием «Ко всем чертям» и предсказал ее актерскую судьбу.

В полночь появляется Борисов с гитарой, и весь «Алатр», стоя, и в последний раз поет —

Время изменится,  
Все переменится...

Тосты — один другого смелее и дерзости похвальной, но отчаянной.

Присяжный поверенный Якулов, сердцеед и душа общества, в потрясающей черкеске, перетянутой серебряным пояском на плотной талии, лихо танцует лезгинку с разбушевавшейся Потончиной.

В дверях какой-то подозрительный стук, шум, звяканье, настойчивые уговоры Туржанского.

Дамы в бальных платьях бледнеют.

Выхоленного Виленкина и усатого Меировича, явившихся в полной офицерской форме при четырех Георгиях, куда-то спешно уводят, прячут, те сопротивляются, суета, замешательство.

Актриса Рейзен решительно поднимается на помощь Туржанскому, и через несколько минут шум стихает.

Отряд особого назначения удаляется, и польщенный командир из бывших ефрейторов церемонно берет под козырек и обещает не беспокоить.

Н. Н. Баженов бережно ведет Рейзен обратно в зал, — овации, рукоплескания, восторги.

— Красота — это страшная сила! — стараясь перекричать всех уже не детским фальцетом, а собственным, честным баритоном, восклицает Петр Лопухин и смачно целует ручки победительницы.

Секрета ее еще никто не знает, ибо секрет Луначарского есть государственная тайна.

Пир во время чумы кончен.

Следующей переключки не будет.

## ХІХ

Время шло, не останавливаясь.

Каждый день приносил новое, страшное, непоправимое.

Обе столицы превращались в вотчины, но назывались коммуна-ми.

Петроградской коммуной правил Зиновьев, Московской — солдат Муралов.

Стены и заборы были заклеены стихотворным манифестом Василия Каменского, одного из вождей разбушевавшегося футуризма.

Манифест прославлял Стеньку Разина: в нарочито-хромых гекзаметрах должна была вдохновенно отразиться лапидарная проза Ильича.

— Грабь награбленное!

Декрету не хватало ореола. Марксистской логике — былинной поэзии. Указ должен был стать заповедью.

Придворная литература рождалась на улицах и мостовых.

Это только потом, много лет спустя, восторг неофитов и примитивы самоучек получили великодержавное оформление, в порядке советского престолонаследия и смены монархов.

Картуз Ильича превратился в корону Сталина.

И по сравнению с монументальным «Петром» Алексея Николаевича Толстого заскорюзлая поэма Василия Каменского показалась жалкой реликвией глинобитного века.

Жизнь, однако, продолжалась.

Чрезвычайная Следственная Комиссия — так церемонно называлась когда-то ЧК — еще не достигла высот последующего совершенства, оставались какие-то убогие щели и лазейки, чрез которые проникало порой незаконное дуновение свежего воздуха, и ничтожная, еще не расстрелянная горсть инакомыслящих и инаковерующих, упорствующих, раскольников, непримиримых и духоборов или, по новой терминологии, гнилых интеллигентов, в безнадежном отчаянии хваталась за каждый призрак, за каждый мираж, за все, что на один короткий миг казалось подавленному воображению еще возможным и, рассудку вопреки, осуществимым...

Свобода печати официально еще не была отменена.

За исключением «Русского слова», — редакция на Тверской и типография были немедленно реквизированы для «Известий Совета рабочих и крестьянских депутатов», — почти все московские газеты не только продолжали выходить, но, озираясь по сторонам и оглядываясь, даже позволяли себе не только целомудренные возражения и осторожную критику, но и некоторые субтильные вольности, за которыми, впрочем, следовало немедленное заушение, конфискация, и закрытие.

В нескромной памяти запечатлелся случай из жизни «Раннего утра».

Владелец газеты и официальный ее редактор Н. Л. Казецкий, человек темпераментный и несдержанный, ни за что не хотел уступить доводам и уговорам передовика и фактически заведующего редакцией, тишайшего и неизменно улыбающегося Э. И. Печерского, который умильно, но настойчиво возражал против напечатания в газете уж очень откровенных в смысле контрреволюции частушек.

— Вот увидите, Николай Львович, газету закроют...

— Ну, и закроют! На день раньше, на день позже, — какое это имеет значение?! По крайней мере, пропадать, так с музыкой! А что частушки эти будет завтра вся Москва повторять, за это, Эразм Иустиневич, я, старый волк, вам головой ручаюсь!..

Печерский только разводил руками и неуверенно улыбался.

— Хотите, может быть, плебисцит устроить? — язвительно предложил Казецкий.

Предложение вызвало дружный хохот всей редакции.

Недаром друзья называли Казецкого самодержцем, а враги самодуром.

Спорить с ним было бессмысленно, и только для Печерского, и то ввиду его особого в газете положения, допускалось иногда, в виде редкого исключения, это всеподданнейше высказанное собственное мнение.

Но Казецкий не сдавался и требовал «вотума».

Никто, разумеется, всерьез этого не принимал, репутация редактора была слишком хорошо известна, но время было сумбурное, оживление нездоровое, и нервы у всех не на шутку взвинчены.

А терять было действительно нечего.

Дамоклов меч, как великолепно выражался балетный хроникер Флееров, давно уже был занесен над всей «пишущей братией».

В конце концов, после недолгого, но веселого замешательства, милейший Муска, а в миру Федор Генрихович Мускатблит, раз в неделю военный обозреватель, а остальные шесть раз в неделю заведующий городской хроникой, загадочно переглянулся с окружавшими его сотрудниками и, быстро подсчитав не столько голоса, сколько красноречивое выражение каждой пары глаз, включая и косившего на один глаз Зурича,— выступил вперед и, блаженно оскалив всю свою худую, еле обтянутую кожей челюсть, так, не заикаясь, и отцедил:

— Вотум наш, Николай Львович, сами видите, вполне ясный и отчетливый,— на чем Господин Великий Новгород порешит, на том и пригороды станут...

Казецкий был доволен или делал вид, что доволен.

Почесал острыми, выхоленными ногтями свою отлично подстриженную жесткую с проседью бородку буланже и приказал Василию Шемякину,— так почему-то назывался его лакей и кучер, которого в действительности звали Мишей,— открыть несколько бутылок Абрау-Дюрсо, хранившихся в заповедном шкафу, в знаменитом, устланном персидскими коврами редакторском кабинете, куда вход был строжайше воспрещен и про который московские зоилы говорили: тайны Мадридского двора.

Впрочем, хроникер Флееров, который все знал, уверял, что никаких тайн там нету, а что в кабинете просто происходят очень деловые совещания частной балетной школы, которой Н. Л., сам большой и усердный балетоман, весьма сочувствовал, покровительствовал и поддерживал главным образом— в печати.

Как бы то ни было, Абрау-Дюрсо пришлось чрезвычайно кстати.

Все были в отменном состоянии духа, развеселились по настоящему, а непрменный член редакции, главный метранпаж Михаил Валерьянович, отведя в сторону молодого автора тогдашних частушек, шепнул ему таинственно, скороговоркой:

— Помяните мое слово, газета наша выйдет завтра в последний раз.

Так оно и случилось.

Напрасно бегали к Подбельскому, бывшему члену правления Союза журналистов, а ныне комиссару почт и телеграфов.

Ходили целой делегацией к В. Н. Фриче, бывшему председателю того же Союза, а ныне комиссару Московской Коммуны по иностранным делам.

Оба сановника только руками замахали,— отвяжись, нечистая сила!..

Не помогло и вмешательство прославленной балерины, бывшей солистки Его Величества, а в будущем заслуженной народной солистки.

Непроданные номера газеты были конфискованы, матрица Михаила Валерьяновича уничтожена, набор рассыпан, типография реквизирована для нужд «Красного Огонька», а «Раннее утро» закрыто. А из злополучных частушек, которых и сам автор не помнит, удержалась в памяти только одна, и то сказать, вполне безобидная:

Веры истинной оплот  
Укрепляет души:  
Очень ловко Центрофлот  
Держится на суше.

Состав преступления — оскорбление величества — был налицо.

\* \* \*

Впрочем, все это были только присказки, а сказка была впереди.

Погода, климат, выносливость, дух сопротивления — все это портилось.

Улучшались только рессоры и пружины советского режима, механизм участковой милиции, Всероссийская Чрезвычайная Комиссия, отряды китайцев и латышей и всей преторианской гвардии.

Феликс Эдмундович Дзержинский питался одной морковью, иногда свеклою, а трупную падаль только обонял, и тоже нервно почесывал свою мягкую шатеновую бородку, еще сам не зная и не ведая, что у него золотое сердце, которое, спустя недолгий срок, открыл великий сердцевед, Алексей Максимович Горький.

Но вообще говоря, все еще были молоды и не расстреляны, — и Зиновьев, и Каменев, и Рыков, и Бухарин, и Киров, и Троцкий, и Коссиор, и Чубарь.

А Маленкову и Жданову не было и тринадцати годов от роду.

Все было впереди, — и лучезарное будущее, и цинга, и голод, и «Двенадцать» Блока; и черный малахитовый мавзолей; и аннибалова клятва братьев писателей над гробом Ленина; и шествие маршалов, маршалов, маршалов; и прорытие каналов, каналов, каналов; и «подвиги, и доблести, и слава»...

А жизнь все-таки продолжалась. И как сказано в «Воскресении» Толстого:

«Как ни старались люди... изуродовать ту землю, на которой они

жались; как ни забивали ее камнями, чтобы ничего не росло на ней, как они ни счищали всякую пробивающуюся травку... весна была весною, солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, между плитами камней, и березы, тополя, черемуха распускали свои клейкие и пахучие листья... Даже на тюремном дворе был свежий, живительный воздух полей, принесенный ветром в город».

Аллегория, разумеется, была далеко не полная.

Но была тюрьма. И была весна — 18-го года.

Только что арестовали Сытина.

За дерзкую попытку обмануть рабоче-крестьянскую власть и получить продовольственные карточки для певчих церковного хора в своем подмосковном имении.

Посадили в одиночную камеру П. И. Крашенинникова.

За слишком большую предприимчивость по устройству сытинских дел.

И вообще за недавние грехи молодости.

За «Вечерку», — так сокращенно называлась шумная и не очень уважаемая, но имевшая большой тиражный успех, особенно в годы войны, ежедневная газетка «Вечерние новости».

За «Трудовую копейку», за «Женское дело», за целый ряд других листовок, календарей и альманахов, которыми кишмя кишело на Большой Дмитровке издательское подворье Петра Иваныча, краснощекого, черноглазого, чернобородого и белозубого присяжного поверенного, предпочитавшего полную неизвестностей, возможностей и неожиданностей недисциплинированную вольницу полулитературного рынка чинным регламентам и строгим уставам сословной адвокатуры.

Надо сказать, что при всем том, писателей и литераторов, профессиональных газетчиков и журналистов еще куда не трогали.

И не столько из соображений такта, или особого к ним уважения, или какого-то мистического целомудрия, а больше по тем же легендарным причинам, кои, как принято считать, всегда предшествуют образованию Космоса.

Ибо советский Космос, как и библейский Космос, возник из распутного и разнузданного Хаоса, из первобытного, бесформенного, безмордого месива солдатни и матросни, и сотворение ленинского мира хотя и произошло в один день, но такие высокоценные детали, как миропомазание Маяковского, раскаяние Эренбурга и удвоенные пайки для Серапионовых братьев, — все это появилось не сразу.

Ничего поэтому удивительного не было и в том, что так называемые труженики пера, попавшие в категорию первых беспризорных, оказались по полицейскому недосмотру в некоем неестественно-привилегированном положении и, разумеется, не преминули этой кратковременной привилегией воспользоваться.

Газеты рождались явочным порядком и, как однодневные мотыльки, бесследно исчезли по безапелляционному, с претензией на церемонную законность, постановлению Комиссариата по делам печати.

Одним из неутомимых пионеров «газеты во что бы то ни стало» был В. Е. Турок, сотрудник закрывшегося навсегда «Русского слова», талантливый журналист, писавший под псевдонимом Вилли.

Нарочитая несерьезность этой подписи, как и множества, если не большинства, других псевдонимов того времени, была, надо думать, «созвучна эпохе», только что отзвучавшей.

Отношение к цензуре, к цензурным комитетам, главным управлениям, особым присутствиям и прочим достижениям шефа жандармов Бенкендорфа и великого инквизитора Победоносцева было по преимуществу сугубо ироническим, не без намеренного верхоглядства — ты меня за бока, а я тебя свысока!..

И во всех этих кличках, прозвищах, псевдонимах была, конечно, какая-то непочтительная, инстинктивная ужимка, поза, гримаса.

Гримаса «человека, который смеется», и смехом этим защищается.

Даже нововременский Сыромятников назывался Сигма, и сам Буренин был Алексис Жасминов.

А о так называемой либеральной печати и говорить не приходится.

Все эти Альфы и Омеги, Пессимисты и Незнакомцы, Санчо Пансы и Дон Кихоты, провициальные Трубадуры, Лознгрины, Железные Маски, Офени, Иваны Колючие, Незнакомы, Бурсаки, Безродные, Непомнящие, Ивановы-Классики, Тарелкины, Чертопхановы, Страшноватенки и столичные Глоб-Троттэры, Пэнгсы и Домби, а имя им — легион, все они, кто умно, кто убого, кто с блеском и талантом, кто с потугами и тщетою, хуже, лучше, с искрой, без искры, с огоньком, без огонька, но каждый по-своему, и все купно, часто в бровь, но нередко и в самый глаз, как могли, как умели, кому как Бог на душу положил, а все же по большей части честно и неподкупно боролись, протестовали, намекали, доказывали, казнили презрением, многозначительно замалчивали, и как, не щадя живота, злоупотребляли цитатами, кавычками, восклицательными знаками, а пуше всего многоточием!..

Так вот этот самый Вилли, один из легиона, торжествующий и возбужденный, влетает однажды в столовую еще не закрытого, но бездействующего Союза журналистов в Столешниковом переулке и, как бомба, взрывается у нашего стола, уставленного чайными стаканами с морковным чаем и одним кружочком вялого лимона на всю братию.

— Владимир Евсеич, что с вами? Откуда? От следователя? От комиссара? Вызывали? Допрашивали? На вас лица нет!..

— Как это так лица нет?! — поднял голос Петр Потемкин, по уши влюбленный в заведующую буфетом Любовь Дмитриевну и поэтому находившийся всегда за стойкой и всегда в приподнятом состоянии духа, — да, посмотрите на него, — и П. П. стал преувеличенно театральным голосом декламировать:

— Лик его ужасен, движенья быстры, он прекрасен, он весь как Божия гроза!..

Надо думать, что Потемкин был прав, ибо все немедленно согласились, что, действительно, лик его ужасен и что случилось нечто гораздо более важное и необыкновенное, чем вызов к комиссару или следователю.

Вилли продолжал раздувать ноздри, тяжело дышал, сопел, отхлебнул принесенного Потемкинской Музой какого-то подозрительного квасу и, отдышавшись, торжественно объявил:

— Нашел издателя, только что выпущен из тюрьмы. Отличный мужик, имени сказать не имею права,— лицо, пожелавшее остаться неизвестным! Ездил с ним в типографию Мамонтова. Все согласны. Бумага есть. Газета на восемь страниц. Будет называться «Час». Выходит завтра!.. В крайнем случае, послезавтра!

Впечатление было ошеломляющее.

Кто-то неуместно спросил:

— А кто будет редактор?

Вилли уничтожающе посмотрел на вопрошающего и процедил сквозь зубы:

— Дураки уехали в Бразилию, так что вопрос исчерпан. Никакого редактора не будет, а будет редакционная коллегия.

И не без язвительности добавил:

— Желаящие могут становиться в очередь...

— Эх ты, Епиходов!— опять крикнул из-за стойки неунимавшийся Потемкин по адресу злополучного и красного, как рак, специалиста по молниеносным интервью.

Ртуть в термометре быстро поднималась. Все заговорили наперебой и сразу.

Выяснилось, что авансы будут выданы сегодня же, но после захода солнца; что новая газета будет типа вечерней, то есть в 12 часов пополудни, и никаких испанцев; и что называться она будет «Час» главным образом потому, что технически это гораздо удобнее, чем если бы она называлась «Век»...

— А впрочем,— закончил Вилли,— сами увидите и поймете. Ибо, как говорил Александр Федорович Керенский, управлять — это значит предвидеть...

Через сорок восемь часов после морковного чаепития, в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, в Российской Советской Социалистической Республике, в городе Москве, на Москве-реке, и не забудьте, что было это весной 18-го года, отпечатанный у Мамонтова, на Таганке, вышел в свет, свежий как бутон, хотя и пахнувший типографской краской, первый номер вечерней газеты «Час».

Направление газеты было неопределенное, но, как неприятно выразился впоследствии все тот же В. М. Фриче, весьма нахальное.

Вместо передовой была крайне несвоевременная историческая справка Виссариона Павлова на тему о восстании рабов под предводительством Спартака, и особенно о том, как это восстание было подавлено: со всеми подробностями, уточнениями и чуть ли не указаниями практического свойства.

Фельетон Вилли тоже носил характер вполне исторический, а именно: свобода печати в период Великой французской революции.

Выводов в фельетоне не было никаких, но, как принято было в те времена говорить, выводы напрашивались сами собой.

А. А. Елифанский дал захватывающего интереса очерк о Хитровом рынке, который после «тяжких десятилетий вопиющей нищеты и притеснений царской полиции» расцвел наконец махровым цветом и нашел свое настоящее призвание: торговлю стариной и роскошью, конфискованной во время обысков у проклятой буржуазии.

Молодая и жеманная поэтесса, в настоящее время кавалер ордена Красного Знамени, напечатала совершенно непозволительные стишки, вроде того, что —

Шакал, надевший шкуру Льва,  
Всегда останется шакалом...

Дальнейшие фиоритуры этого забытого произведения были настолько прозрачны, что создатель Красной Армии, так и не дождавшийся маршальского жезла, был не на шутку уязвлен.

Были еще статьи Ю. М. Бочарова, Григория Ландау, стихи Потемкина, Валентина Горянского, Дон-Аминадо, а главное, была первая глава коллективного романа «Черная молния».

Идея романа была взята у самого В. И. Ленина и касалась электрификации облаков, ни более и ни менее.

Подана была эта идея не просто, а как идея-фикс!..

Но зато с большим пафосом и с очень наглой претензией на научность.

В конце первой главы, как и полагалось, было напечатано курсивом и в скобках:

— Продолжение следует.

Никакого продолжения, впрочем, не последовало, ибо газета «Час» была в первый же день выхода закрыта со всем соответствующим церемониалом постановлений, конфискации и вызовов куда следует.

«Управлять — это значит предвидеть!»

Неугомонный Вилли все предвидел.

Начиная дело, через несколько подставных лиц, своевременно сделавших нужные заявки, он обеспечил «ход событий».

На следующий день после закрытия «Часа» вышел «Третий час», с пояснением в подзаголовке:

«Выходит ежедневно, в 3 часа дня по московскому времени».

На этот раз приказ по линии был определенный:

— На первой странице декреты и распоряжения правительства, и никаких комментариев.

На второй и третьей — литературная критика, библиография, война с футуристами, стихи о любви, новости медицины, биологии, черт в ступе.

Четвертая страница, и последняя, — шахматный отдел и конкурсы для читателей.

Два номера вышли благополучно.



Два дня мы были в перестрелке,  
Что толку в такой безделке!..  
Мы ждали третий день!

И недаром ждали.

На третьем номере газета была закрыта.

Вилли, однако, не унимался, и после нескольких изнурительных дней хлопот, просьб, хождений и унижений мировая печать обогатилась новым ежедневным (!) изданием — «Четвертый час».

Состав сотрудников был тот же, а передовая статья кончалась многозначительным восклицанием, неосмотрительно взятым напрокат из современного народного эпоса:

— Сенька, поддержи мои семечки, я ему морду набью!..

Правительство сразу догадалось — кому, и хотя в редакции царило непринужденное веселье, в своем роде пир во время чумы, — новая газета, скоропалительно прожившая свой однодневный век, была не только закрыта, но и сам Вилли, и анонимный издатель были посажены в Бутырскую тюрьму, из которой только что, после трехмесячного заключения, выпустили на свет Божий старика Сытина и П. И. Крашенинникова.

Члены знаменитой редакционной коллегии быстро смотали удочки и благоразумно переменили место жительства.

Ночевали в Томилине, в Малаховке, на станции Удельной, где Бог пошлет, и жили изо дня в день с опаскою, с оглядкою, милостью дворников и нескольких покладистых милицейских, высоко ценивших самодельный денатурат, который уже назывался не просто ханжой, а рыковкой.

И хотя в распоряжении очаровательной и всегда печальной Елены Митрофановны, жены В. Е. Турока, еще имелась очередная заявка на новую газету с весьма неожиданным, хотя по-своему вполне последовательным названием «Полночь», но шалый энтузиазм уже прошел и период импровизаций и партизанских набегов кончился.

Окончательно выяснилось, что солдат Муралов шуток не понимает.

Но в одиночной камере контакт с миром был, очевидно, потерян.

Из Бутырок от упорного редактора пришла почти вдохновенная записка с планами, советами и указаниями сделать все возможное, чтобы «Полночь» не только вышла, но еще и с тютчевским эпиграфом в подзаголовке:

«Я поздно встал, и на дороге  
Застигнут ночью Ряма был...»

Увы, тюремное вдохновение уже не нашло резонанса.

Каждый пошел в свою сторону.

Пульс страны бился на Лубянке.

Латыши ханжи не пили.

Двустволки заговорили ясным языком.

Стрельба в цель стала бытовым явлением.

Благодаря вмешательству красавицы Рейзен, бездарной актрисы Малого театра, перешедшей со вторых ролей на сцене на первые ро-

ли в жизни,— она уже в это время стала открыто появляться с одним из самых видных сановников нового режима, удалось с большим трудом устроить освобождение Вилли.

Жизнь его не пощадила.

Худой, замученный долгим тюремным заключением, с нездоровым, лихорадочным блеском в глазах, без кровинки в лице, он уже щедро и быстро платил свою дань «одной из самых счастливых эпох человечества».

Но уготованный судьбой напиток еще не был испит до конца.

Несколько месяцев спустя, бывший прапорщик запаса, снова надевший серую шинель, непримиримый Вилли, «золотопогонник» Добровольческой Армии, отбиваясь от окруживших город большевиков, на одной из главных улиц Ростова был зарублен шашками красных казаков.

И вновь, и в который раз обретали свой пророческий смысл бессмертные стихи Тютчева:

Я поздно встал, и на дороге  
Застигнут ночью Рима был...

Елена Митрофановна ушла в монастырь, похоронив мужа в братской могиле.

Русская биография была выдержана до конца.

\* \* \*

По распоряжению властей изменен был не только календарь, но и самое время.

Календарь ушел на тринадцать дней вперед, время — на четыре часа назад.

На городских циферблатах, спорить с которыми было бессмысленно, стрелки ясно показывали 3 часа дня, а по проклятому Гринвичу было 7 часов вечера.

Над Москвой-рекой стлались зеленые, синие, золотые сумерки.

В садах, на Большой Полянке, за Каменным мостом, поздним цветением цвела сирень, чирикали воробьи, играла шарманка.

Уездную русскую весну одним из первых открыл Левитан, московскую весну написал Нестеров.

Была в ней великая смутность, истома, неясность и какой-то целомудренный холодок отказа, смирения и покорности.

Если в тихий весенний вечер медленно идти от Никитских ворот до Малой Кисловки, и по Малой Кисловке дойти до двухэтажного дома, где жила Китти Щербацкая, то многое может человеческому сердцу открыться и стать простым и ясным.

Даже многоречивый и расточительный Бальмонт, преодолев изыски, вывихи и изломы, написал незабываемые по необыкновенной, щемящей простоте строки, посвященные северной весне.

И когда человек оглядывается назад, на прошлое, на давно прошедшее, и вспоминает этот неповторимый апрельский холод страшного 18-го года, то должен ли он оправдываться, объяснять и про-

сильного прощения у жестокой смены за этот запечатленный в сердце образ Китти, за пришедшие на память стихи?

Есть в русской природе усталая нежность,  
Безмолвная тишь, безглагольность покоя.  
Безвыходность горя. Безгласность. Безбрежность.  
Во всем утомление. Глухое. Немое.

... Взойди на рассвете на склон косогора.  
Над зябкой рекою дымится прохлада.  
Чернеет громада заснувшего бора.  
И сердцу так больно, и сердце не радо.

Как будто душа о желанном просила,  
А сделали ей незаслуженно больно.  
И сердце простило. Но сердце застыло.  
И плачет, и плачет, и плачет невольно.

Но мир так устроен, что не «всем, всем, всем» от Господа Бога наказано бродить по Никитскому бульвару, глядеть на распускающиеся почки и в бледно-зеленых сумерках, написанных Нестеровым, растерянно умиляясь, неслышно повторять про себя всю русскую хрестоматию.

Выпущенный на волю, маг и чародей Петр Иванович Крашенинников прищурил левый глаз, взял лихача у Страстного монастыря и поехал к Сытину.

— Свидание монархов в шхерах...— отшучивался П. И. в ответ на вопросы любопытных.

Так или иначе, а в результате этого исторического свидания, в угловом кабинете «Праги», у Тарарыкина, состоялся деловой завтрак.

Состав приглашенных был поистине неожиданный.

Времена, что и говорить, были сумасшедшие, но фантазия Петра Ивановича была тоже незаурядной.

По правую руку Сытина сидел приятный, голубоглазый, в золотом ореоле редющей профессорской шевелюры, тщательно выбритый и выхоленный, в черном шелковом галстуке, повязанном à la Lavalière, официально приват-доцент Московского университета, а неофициально эстетический анархист, Алексей Алексеевич Боровой.

Слева — сосредоточенный, смущенно улыбающийся, и, несмотря на пятнадцать лет сибирской каторги, из которой он только год тому назад вернулся, молодежавый, бодрый, и ни по возрасту, ни по проделанному в жизни стажу неправдоподобно доверчивый и почти наивный, никакой там не эстетический, а настоящий, всамделишный, чистейшей девяносто шестой пробы анархист Яков Новомирский.

Остальные были молодежь и техники, про которых Петр Иванович так и говорил:

— Народ безмолвствует и... ест.

А еда, невзирая на последние дни Помпеи, была первый сорт.

И семга, и икра, и холодная осетрина, и расстеган с вязигой, и поданная во льду казенная очищенная с белой головкой, не говоря уж

о рябиновой, смородиновой и перцовке, и обязательном коньяке за- вода Шустова.

Прислуживали половые в белоснежных — снег остался от старо- го режима — рубахах, подпоясанные малиновым шнуром; а распро- ряжался всем сам Тарарыкин, напомаженный, прилизанный и на миг воспрявший духом.

Пили много, в особенности техники.

Сытин водки не уважал, ел чинно и мало, и, вообще говоря, вид у него был задумчивый и озабоченный.

Зато всю старался Крашенинников, воодушевлял, шутил, одо- брял, сглаживал углы, обходил, скользил, соединял несоединимое и вообще творил легенду.

— *Allegro! Presto! Furioso!*

А легенда, впрочем, была приготовлена заранее, на каком-то очень тайном совещании, без участия пьющих техников и подавав- шей надежды молодежи.

И заключалась она в том, что: страна жаждет настоящей газеты; что газета будет, само собой разумеется, оппозиционной; но в том смысле, как это принято в Англии, ни более ни менее, то есть оппози- ция будет оппозицией его величества; а в применении к нынешним условиям, вполне анархической.

Коротко и ясно.

В этом было что-то заумное, потустороннее, бредовое, но, как своевременно, в минуту невольного замешательства, авторитетной ссылкой на Ницше пояснил Боровой, и в бреду есть своя, роковая, логика!..

Сытин виновато улыбался, Крашенинников торжествовал, Тара- рыкин суетился, на смену Шустову пришел Редерер, газета под ре- дакцией Якова Новомирского будет называться «Жизнь», а неглас- ным покровителем ее намечен некто Каржанский, про которого го- ворили, что он писатель, и хотя и не большевик, но старый друг Ильича, жил с ним в одной квартире у женевского сапожника, и вообще в любое время дня и ночи вхож в Кремль.

После чего решено было обсудить вопрос о формате, количестве страниц и другие технические вопросы.

Но техники были настолько навеселе, что обсуждение пришлось отложить на завтра.

Тем более, что деловой завтрак грозил превратиться в поздний ужин.

По выходе из «Праги», А. А. Боровой, с которым мы были давно знакомы, еще по быстро прошумевшей в годы войны «Нови» А. А. Суворина (Алексея Порошина), спросил меня, какое будет мое амплуа в новой газете.

— Опять «Соринки дня»? Или альбом пародий? Или фельетон в стихах? Эпиграммы? Вообще, кинжалы в спину революции?!

И сам развеселился, довольный собственной шуткой.

Услышав однако, что бывший фельетонист ни стихами, ни эпи- граммами и никакими иными сомнительными экспериментами под-

рывать оппозицию его величества не собирается, и что намеченная ему роль сведется всего-навсего к заведыванию судебной хроникой, Ал. Ал. выразил сначала недоумение, потом сожаление, но в конце концов дружески согласился, что в решении этом есть известная мудрость.

— Плетью обуха не перешибешь, и, пожалуй, вы правы; церемонии кончились; и в случае чего, по головке вас не погладят...

Боровой задумался, и куда мы молча шагали, свернув с Арбата на Поварскую, что-то про себя соображал и прикидывал.

Вероятно, и его, тонкого и душевного человека, и влюбленного парижанина, со всем его отвлеченным эстетическим анархизмом, насыщенных стихами Максимилиана Волошина и дворянской фрондой седобородого князя Кропоткина, вероятно, и его вся эта задуманная в «Праге» авантюра не слишком соблазняла и притягивала.

Становилось поздно, кое-где постреливали, и в быстро наступавшей темноте то и дело раздавались пронзительные свистки милицеских да с грохотом проезжал за очередными жертвами тяжелый военный грузовик.

— География определяет историю, мне еще до самого Смоленского рынка шагать придется,— все с той же милой улыбкой, обнажившей белые, редкой красоты зубы, сказал, прерывая молчание, Боровой,— а жалко... Хотелось бы о многом поговорить.

И вдруг что-то, очевидно, вспомнил и уже прощаясь добавил:

— Кстати, о судебной хронике. Вы, конечно, знаете, что на днях начинается в Кремле большой процесс, дело левых эсеров.

— Еще бы не знать! Новомировский на этот процесс очень рассчитывает, собирается раздуть большое кадило. Но вещь эта, конечно, деликатная, и надо ее подать вкусно и тонко, так чтобы комар носа не подточил.

— Так вот,— продолжал Боровой,— именно по этому поводу я и хотел вам рекомендовать одного из моих слушателей, исключительно талантливого, умного, можно даже сказать блестящего человека. Фамилия его Рындзюн, Владимир Рындзюн.

Все понимает, много знает и за внешней робостью и сдержанностью таит большую внутреннюю разнузданность и то, что принято называть греческим огнем.

Я ему часто говорю: сердца, Рындзюн, у вас нет, вместо сердца у вас какая-то субстанция холода, но холодом этим вы обжигаете. И, откровенно говоря, есть в нем что-то интеллектуально-преступное, какой-то душевный вывих, провал, цинизм, доходящий до грации.

Боровой посмотрел на часы,— было уже поздно,— и заторопился:

— Я вас задержал, простите, дружеская беседа затянулась далеко за полночь... Однако разрешите закончить, я хочу сказать, что, по моему искреннему убеждению, с этим кремлевским процессом протезе мой справится на ять!

Расстались мы на том, что Рындзюн завтра же придет в типографию, где отрезвевшие техники должны были собраться на совещание.

\* \* \*

В типографии было тесно, неуютно и накурено.

Кроме выпускающего, метранпажа и старших наборщиков, появились еще какие-то черногривые и огнедышащие молодые люди кавказского типа, как выяснилось потом, грузинские анархисты из окружения Новомирского.

Вид у них был восторженный, речь громкая, повадка боевая, а суетились они так, что протолкаться было немислимо.

Носитель греческого огня пришел точно, минута в минуту.

Застенчивый, не слишком разговорчивый, усики щетинкой, светлые зелено-водянистые глаза — слегка навывате, и из широко распахнутых отворотов белой сорочки для тенниса — безжизненно алебастровая, байроновская шея.

Впечатление от первой встречи неясно.

Впрочем, что и кому было вполне ясно в эти жуткие времена?

Чья визитная карточка? Чья фишка?

Текст был один для всех:

Мы дети страшных лет России...

Разговор о левых эсерах длился недолго.

Говорили больше о том, как добыть для него особый пропуск, билет для прессы.

Рындзюн уронил одну фразу, которая запомнилась, показалась правдивой.

— Большевики идут на все, и до конца. Поэтому и преуспевают. А левые эсеры жеманятся и сами не знают, чего хотят, ложиться спать или вставать. Все это нюансы и тонкости для галерки. Ставка неудачников, заранее обреченных.

На этом мы и расстались.

Советовать будущему судебному референту — быть кротким, как голубь, и мудрым, как змий, — казалось лишним.

За светлоокого циника ручался Боровой, а там видно будет.

\* \* \*

Через несколько дней «Жизнь» вышла в свет.

Анархисты напоминали о своих заслугах пред революцией, заявляли о своей лояльности, трижды подчеркивали свою независимость, производили осторожные вылазки и разведки, слегка критиковали и явно намекали на то, что место под солнцем принадлежит всем...

Крашенинников прочитал номер от строки до строки и облегченно вздохнул:

— Ночь в Крыму, все в дыму, ничего не видно... Если не сорвется, дело пойдет на лад.

Писатель Каржанский секретно сообщил, что пока что все обстоит благополучно.

Во втором номере появился первый отчет о знаменитом процессе.

Отчет, по существу, намеренно бесцветный, но с некоторыми не лишеными остроты подробностями, касательно великолепия убранства зала, а также внешней характеристики подсудимых.

Правда, пассаж о шевелюре Камкова был сделан с такой пронизательной беспощадностью, что за самую голову его даже защита уже не дорого дала бы.

Но в общем никакой запальчивости и раздражения, все на месте, придраться не к чему.

В последующих двух-трех номерах была довольно смелая статья Борового о роли личности в истории, нечто вроде вежливой, но открытой полемики с ортодоксальным марксизмом.

От Каржанского пришло первое предостережение:

— Осторожней на поворотах!

Крашенинников заволновался, кинулся к Новомирскому.

Но старый каторжанин, показавшийся уже не столь наивным, был непреклонен.

— Вы губите газету!..— умоляюще бубнил Петр Иваныч.

— Программа важнее газеты! — не уступал Новомирский.

— Какая программа?! — искренно удивился бывший присяжный поверенный, считавший, что завтраком у Тарарыкина все вопросы о программе были до конца определены и исчерпаны.

— А вот завтра увидите! — угрожающе стоял на своем прямолинейный и задетый за живое редактор.

Ночью, когда набирался номер, Крашенинникова в типографию не пустили.

На следующее утро газета вышла с напечатанным жирным шрифтом и на первой странице «Манифестом партии анархистов».

Всего содержания манифеста за давностью лет, конечно, не упомянуть, но кончался он безделушкой:

— Высшая форма насилия есть власть!

— Долой насилие! Долой власть!

— Да здравствует голый человек на голой земле!

— Да здравствует анархия!!!

Через два часа после выхода газеты Каржанский срочно телефонировал:

— Скажите Сытину, чтобы сейчас же ехал в деревню. Остальные как знают. Типография реквизирована. Газете — какую. Больше звонить не буду. Прощайте, может быть, навсегда!..

Говорят, что Сытин, когда ему обо всем этом сообщили, только беспомощно развел руками и с неподдельной грустью сказал:

— Торговали — веселились, подсчитали — прослезились.

И, перекрестясь, уехал в деревню.  
Остальные смылись с горизонта, и больше о них слышать уже не довелось.

\* \* \*

Июль на исходе.  
Жизнь бьет ключом, но больше по голове.  
Утром обыск. Пополудни допрос. Ночью пуля в затылок.  
В промежутках спектакли для народа в Каретном ряду, в Эрмитаже.  
И в бывшем Камерном, на Тверском.  
В Эрмитаже поет Шаляпин. В Камерном идет «Леда» Анатолия Каменского.  
На Леде золотые туфельки и никаких предрассудков.  
— Раскрепощение женщины, свободная любовь.

\* \* \*

Швейцар Алексей дает понять, что пора переменить адрес.  
— Приходили, спрашивали, интересовались.  
Человек он толковый, и на ветер слов не кидает.  
Выбора нет.  
Путь один — Ваганьковский переулок, к комиссару по иностранным делам Фриче.  
У Фриче борода под Ленина, ориентация крайняя, чувствительность средняя.  
— Пришел я, Владимир Максимилианович, насчет паспорта...  
— И ты, Брут?!  
— И я, Брут.  
Диалог короткий, процедура длинная.  
Бумажки, справки, подчистки, документики.  
От оспопрививания начиная и до отношения к советской власти включительно.  
Фриче поморщился, презрел, министерским почерком подмахнул и печать поставил:  
— Серп и молот, канун да ладан.  
Вышел на улицу, оглянулся по сторонам, читаю паспорт, глазам не верю:  
«Гражданин такой-то отправляется за границу...»

\* \* \*

Чрез много лет пронзительные строки Осипа Мандельштама озарятся новым и безнадежным смыслом:

Кто может знать при слове — расставаньё,  
Какая нам разлука предстоит...

Опыта не было, было предчувствие.



Отрыв. Отказ. Пути и перекрестки.

Направо пойдешь, налево пойдешь. Сердца не переделаешь.

«Что пройдет, то станет мило. А что мило, то пройдет».

Так было, так будет.

Только возврата не будет. Все останется позади.

Словами не скажешь. Но только то, что не сказано, и запомнится навсегда.

У каждого свое, и каждый по-своему.

А там видно будет.

\* \* \*

Поезд уходил с Брестского вокзала. До станции Орши, где начинается Европа:

— Немецкая вотчина. Украинское гетманство.

Вдоль вагонов шныряют какие-то наймиты, синие очки, наспех наклеенные бороды.

До совершенства еще не дошли. Дойдут.

В салон-вагоне турецкий посланник со свитой; обер-лейтенант с красной лакированной сумкой через плечо,— дипломатический курьер германского посольства в Денежном переулке; и весело настроенные румынские музыканты, отпиликавшие свой репертуар в закрывшихся ресторанах.

Вокруг — необычайная, сдержанная, придавленная страхом суэта.

Третий звонок.

Милые глаза, затуманенные слезой.

Опять Отрыв. И снова Отказ. От самих себя. И друг от друга.

И под стук колес, в душе, в уме — певучие, неспетые, несказанные слова:

Шаль с узорною каймою  
На груди узлом стяни...

\* \* \*

В русской Орше последний обыск.

Все, что было контрреволюционного, отобрали: мыло фабрики Раллз, папиросы фабрики «Лаферм», царские сторублевки с портретом Екатерины.

Распоряжался всем огненно-рыжий комиссар в новеньком френче, в широчайших галифе на невероятно худых, тонких ногах.

Огромный наган убедительно болтался сбоку, на желтом кожаном поясе.

Комиссарские глаза буравили, наган болтался, граждане путались в ответах и дрожали.

По щучьему веленью, добрую половину из поезда высадили и загнали неизвестно куда.

Балканские дипломаты, румынские скрипачи и счастливики, избежавшие последнего заушения, благополучно перебрались по дру-

гую сторону добра и зла, где лихо гарцевал есаул Коновалец, а проверял документы пожилой прусский офицер, убийственно-вежливый.

По дороге в Киев из салон-вагона доносились звуки вальса, скрипки и цимбалы сопровождали турецкое превосходительство, уставшее от шифрованных телеграмм и сложных международных отношений.

\* \* \*

... Киев нельзя было узнать.

Со времен половцев и печенегов не запомнит древний город такого набега, нашествия, многолюдства.

На улицах толпы народу. В кофейнях, на террасах не протолпиться.

Изголодавшиеся москвичи и отощавшие петербуржцы набросились на белый хлеб и пожирают его, стоя и сидя.

Все друг с другом раскланиваются и, попивая кофеек, рассказывают, как они вырвались, как бежали и что у них отняли и забрали.

Настроение идиотски-праздничное.

На клумбах в Купеческом саду расцветают августовские розы.

Золотая, южная осень ласкает, нежит, зачаровывает.

На площади перед городской Думой — медь, трубы, литавры, — немецкий духовой оркестр играет военные марши и элегии Мендельсона.

Катит по Крещатику черный лакированный экипаж, запряженный парой белых коней, окруженный кольцом скороспелых гайдуков и отрядом сорокалетнего ландштурма.

В экипаже ясновельможный гетман в полковничьем мундире, в белой бараньей шапке с переливающимся на солнце эгретом.

Постановка во вкусе берлинской оперы. Акт первый.

Второго не будет.

В подвале «Метрополя» «Подвал Кривого Джимми», кабаре Агнивцева с осколками «Кривого зеркала».

В городском театре тот же Балиев, и вся «Летучая мышь» в полном сборе.

Газет тьма-тьмушая.

«Киевская мысль». «Киевские отклики». «Киевлянин» профессора Пихно.

Кроме того, газета «Утро» и газета «Вечер».

Затея петербургская, деньги Протофимса.

Но наибольшим успехом, и на галерке и в бельэтаже, пользуется еженедельный листок Василевского (Не-Буквы) «Чертова перечница».

Листок официально — юмористический, не официально — центр коллективного помешательства.

Все неожиданно, хлестко, нахально и бесцеремонно.

Имен нет, одни псевдонимы, и то выдуманные в один миг, тут же на месте.

В заголовке сказано:

«Чертова перечница, орган старых шестидесятников, с номерами для приезжающих».

Шельмуют всех и каждого, начиная с Вудро Вильсона и кончая полковником Скоропадским.

Игорь Кистяковский, московская знаменитость, а теперь гетманский министр внутренних дел, еженедельно вызывает Василевского для объяснений и внушений.

Василевский нисколько не смущается и говорит:

— Вы, Игорь Александрович, дошли до министерства, мы до «Чертовой перечницы». Разница только в том, что у нас успех, а у вас никакого...

Кистяковский куксится, но все это ненадолго.

Скоро придет Петлюра.

«Время изменится, все переменится».

Скоропадского увезут в Берлин, министры сами разъедутся, немцы после отречения Вильгельма вернутся восвояси, а столичные печенег и половцы кинутся на станцию Бирзулу.

По одну сторону станции будут стоять петлюровцы, по другую французские зуавы и греческие гонимые в гетрах.

Из Москвы придет телеграмма о покушении на Ленина.

Советский террор достигнет пароксизма.

Дору Каплан повесят и забудут.

Забудут не только в Кремле и на Лубянке, но и в зарубежных «Асториях» и «Мажестиках»

Дело не в подвиге, а дело в консонансах...

Шарлотта Кордэ—это музыкально. Дора Каплан—убого и прозаично.

Свидетели истории избалованы. Элите нужен блеск и звук.

На жертву, на подвиг, на тяжелый кольт в худенькой руке—ей наплевать.

... Перед киевским разездом будет недолгое интермеццо.

Хома Брут покажется ангелом во плоти.

Архангелы Петлюры стесняться не будут.

Ни Бабефа, ни Прудона. Грабеж среди бела дня, в самостийном порядке.

Убивать на месте, но, убивая, орать—хай живе!..

Остальное—дело Истории, «которая вынесет свой властный приговор».

Вместо Кистяковского—Саликовский.

Тот самый. Александр Фомич. Старый журналист, редактор «Приазовского края».

Из Ростова-на-Дону в первопрестольный Киев, из радикального либерализма—в зоологическую гущу.

Пришли к нему целой делегацией, ходатайствовали, убеждали:

— Как же так, Александр Фомич? У вас свобода печати, а вы закрываете, штрафуете, грозите казнями египетскими...

Ответ краткий:

— По-российску не баю. По-москальску не розумию...  
Опять сматывать удочки. В Бирзулу, так в Бирзулу. К черту на рога, куда угодно.

Перед отъездом в одной из обреченных газет — последний привет, последнее четверостишие:

Не негодя, не кляня,  
Одно лишь слово! Но простое!  
— Пусть будет чуден без меня  
И Днепр, и многое другое...

\* \* \*

— Мишка, крути назад!

Опять фильм в обратном порядке.

Из Москвы — в Киев, из Киева — в Одессу.

На рейде — «Эрнест Ренан».

В прошлом философ, в настоящем броненосец.

Международный десант ведет жизнь веселую и сухопутную.

Марокканские стрелки, сенегальские негры, французские зуавы на рыжих кобылах, оливковые греки, итальянские моряки — проси, чего душа хочет!

Каждый развлекается, как может.

Большевики в ста верстах от города.

Блаженно-верующим и того довольно.

А что думает генерал Деникин, никто не знает.

Столичные печенегы прибывают пачками.

Обходят барьеры, рогатки, волчьи ямы, проволочные заграждения, берут препятствия, лезут напролом, идут, прут, валом валят.

Музыка играет, штандарт скачет, все как было, все на месте, фонтаны, лиманы, тенора, грузчики, ночные грабежи, «Свободные мысли» Василевского.

Вместо ненавистного Буна — Бун это бюро украинской печати — добровольный Осваг.

Газет как грибов после дождя.

В «Одесском листке» Сергей Федорович Штерн.

В «Современном слове» Дмитрий Николаевич Овсяннико-Куликовский, Борис Мирский (в миру Миркин-Гецевич), П. А. Нилус, А. М. Федоров, Вас. Регинин, бывший редактор петербургского «Аргуса», Алексей Толстой, он же и старшина игорного клуба; А. А. Койранский на ролях гастролера, Леонид Гросман, великий специалист по Бальзаку и по Достоевскому; молодой поэт Дитрихштейн, еще более молодой и тоже поэт Эдуард Багрицкий; Я. Б. Полонский, живой, способный, пронзительный, в шинели вольноопределяющегося; Д. Аминадо, тогда еще Дон, и в торжественных случаях почетный академик Иван Алексеевич Бунин.

«Одесскую почту» издает Некто в сером, по фамилии Финкель.

Газета бульварная, но во всем мире имеет собственных корреспондентов!..

Корреспонденты с Молдаванки не выезжают, но расстоянием не стесняются, и перышки у них бойкие.

«Почта» живет сенсациями, опровержениями, сведениями из достоверных источников.

Улица довольна, недовольны только пайщики, которых, как говорят, Финкель беззастенчиво грабит.

Вероятно, поэтому газетные мальчишки и орут во весь голос: — Требуйте свежий номер «Ограбленной почты»..

Кроме того, есть «Призыв», который издает Ал. Ксюнин, раскаявшийся нововременец.

Н. Н. Брепко-Брешковский в газетах не участвует, ходит вприпрыжку и самотеком пишет очередной роман под скромным названием «Царские бриллианты».

Театры переполнены, драма, опера, оперетка, всяческих кабаре хоть пруд пруди, а во главе опять «Летучая мышь» с неутомимым Никитой Балиевым.

Сытно, весело, благополучно, пампушки, пончики, булочки, большевики через две недели кончатся, «и на обломках самовластья напишут наши имена»...

Несогласных просят выйти вон.

Пейзаж, однако, быстро меняется.

Небо хмурится, сто верст, в которые уверовали блаженные, превращаются в шестьдесят, потом в сорок, потом в двадцать пять.

Ксюнин требует решительных мер,

Внемлет ему один Брепко-Брешковский, и на рыбацьем судне уплывает в Болгарию.

В городе паника. Примусов и в помине нет.

Податься некуда.

Ни направо не пойдешь, ни налево не пойдешь, впереди — море. Хоть садись на мраморные ступени, убегающие вниз, размышляй и думай:

— Ведь вот, сколько раз измывались над Горьким, сколько раз шпыняли его за олеографию, за «Мальву».

Никак не могли ему простить первородного греха, неуклюжей, стопудовой безвкусицы.

А ведь вышло по Горькому:

— Море смеялось.

\* \* \*

Смена власти произошла чрезвычайно просто.

Одни смылись, другие ворвались.

Впереди, верхом на лошади, ехал Мишка-Япончик, начальник штаба.

Незабываемую картину эту усердно воспел Эдуард Багрицкий:

Он долину озирает  
Командирским взглядом.  
Жеребец под ним играет  
Белым рафинадом.

Прибавить к этому уже было нечего.

За жеребцом, в открытой свадебной карете, мягко покачиваясь на поблекших от времени атласных подушках, следовал атаман Григорьев.

За атаманом шли победоносные войска.

Оркестр играл сначала «Интернационал», но по мере возраставшего народного энтузиазма быстро перешел на «Польку-птичку» и, не уставая, дул во весь дух в свои тромбоны и волторны.

За армией бегом бежала Молдаванка, смазчики, грузчики, корреспонденты развенчанного Финкеля, всякая коричневая рвань.

У памятника Екатерины церемониальный марш кончился.

Мишка-Япончик круто повернул коня и гаркнул, как гаркают все освободители.

Дисциплина была железная. Ни выстрела, ни вздоха.

Только слышно было, как дезертир-фельдфебель со зверским умилением повторял:

— Дай ножку. Ножку дай!

И ел глазами взвод за взводом, отбивая в такт:

— Ать, два. Ать, два. Ать... два...

\* \* \*

Жизнь сразу вошла в колею.

Колея была шириной в братскую могилу. Глубиной тоже.

Товарищ Северный, бледнолицый брюнет с горящими глазами, старался не за страх, а за совесть.

Расстреливали пачками, укладывали штабелями, засыпали землей, утрамбовывали.

Наутро все начиналось снова.

Шарили, обыскивали, предъявляли ордер с печатями, за подписью атамана, как принято во всех цивилизованных странах, где есть *Nabeas Cognus*<sup>1</sup> и прочие завоевания революций.

Атаман был человек просвещенный, но безграмотный, и ордера подписывал кратко, тремя буквами:

— Гри.

На большее его не хватало.

Да и время, надо сказать, было горячее, и все отлично понимали, что для уничтожения гидры трех букв тоже достаточно.

Все остальное было повторением пройденного и шло по заведенному порядку.

В городском продовольственном комитете, который ввиду отсутствия времени, переименовали в Горпродком, что было гораздо короче и понятнее, выдавали карточки, по которым выдавали сушеную тарань, а для привилегированных классов населения, то есть

<sup>1</sup> Конституционная гарантия против произвольного ареста.

для беззаветных сподвижников Миппки-Япончика, еще и длинные отрезки плюшевых драпировок из городской оперы.

— Хоть раз в жизни, но красиво! — как великолепно выразалась Гедда Габлер.

Стрелки на часах Городской Думы были передвинуты на несколько часов назад, и, когда по упрямому солнцу был полдень, стрелки показывали восемь вечера.

С циферблатами не спорят, с атаманами тем более.

На рейде, против Николаевского бульвара, вырисовывался все тот же безмолвный силуэт «Эрнеста Ренана», на который смотрели с надеждой и страхом, но всегда тайком.

Проходили дни, недели, месяцы, из Москвы сообщали, что Ильич выздоровел и рана зарубцевалась.

Все это было чрезвычайно утешительно, но в главном штабе Григорьева выражение лиц становилось все более и более нахмуренным.

История повторялась с математической точностью.

— Добровольческая армия в ста верстах от города, потом в сорока, потом в двадцати пяти.

Слышны были залпы орудий.

Созидатели новой эры отправились на фронт в плюшевых шароварах и больше не вернулись.

За боевым отрядом потянулись регулярные войска и грабили награбленное.

Созерцатели «Ренана» нагтели с каждым часом и являлись на бульвар с биноклями.

Тарань поддерживала силы, бинокли укрепляли дух.

Ранним осенним утром в город вошли первые эшелоны белой армии.

Обращение к населению было подписано генералом Шварцем.

\* \* \*

Недорезанные и нерасстрелянные стали вылезать из нор и щелей.

Появились арбузы и дыни, свежая скумбрия, Осваг.

Ксюнин возобновил «Призыв».

Открылись шлюзы, плотины, меняльные конторы.

В огромном зале Биржи пела Иза Кремер.

В другом зале пел Вертинский.

Поезда ходили не так уж чтоб очень далеко, но в порту уже грузили зерно, и пришли пароходы из Варны, из Константинополя, из Марселя.

Мальчишки на улицах кричали во весь голос:

— Портрет Веры Холодной в гробу, вместо рубля двадцать копеек...

Было совершенно ясно, что Матильда Серао ошиблась и жизнь начинается не завтра, а безусловно сегодня, немедленно и сейчас.

На основании чего образовали «группу литераторов и ученых» и,

со стариком Овсяннико-Куликовским во главе, отправились к французскому консулу Готье.

Консул обожал Россию, прожил в ней четверть века, читал Тургенева и очень гордился тем, что был лично знаком с Мельхиором де Вогюз.

Ходили к нему несколько раз, совещались, расспрашивали, тормошили, короче говоря, замучили милого человека окончательно.

В конце концов, на заграничных паспортах, которые с большой неохотой выдал полковник Ковтунович, начальник контрразведки, появилась волшебная печать, исполненная еще неосознанного, и только смутным предчувствием угаданного смысла.

Печать была четкая и бесспорная и, как говорится, *d'une clarté latine*<sup>1</sup>. Но смысл ее был роковой и непоправимый.

Не уступить. Не сдать. Не стерпеть.  
Свободным жить. Свободным умереть.  
Ценой изгнания все оплатить сполна.  
И в поздний час понять, уразуметь:  
Цена изгнания есть страшная цена.

\* \* \*

Начало января 20-го года.

На стоявшем в порту французском пароходе «Дюмон д'Юрвиль» произошел пожар.

Вся верхняя часть его обгорела, и на сильно пострадавшей палубе уныло торчали обуглившиеся мачты, а от раскрашенной полногрудой наяды, украшавшей нос корабля, уцелел один только деревянный торс, покрытый зеленым мохом и перламутровыми морскими ракушками.

Вся нижняя часть парохода осталась нетронутой, машинное отделение, трюм, деревянные нары для солдат, которых во время войны без конца перевозил «Дюмон д'Юрвиль», все было в полном порядке.

Что можно было починить, починили наспех и кое-как, и по приказу адмирала, командовавшего флотом, обгоревший пароход должен был идти в Босфор.

Группа литераторов и ученых быстро учла положение вещей.

Опять кинулись к консулу, консул к капитану, капитан потребовал паспорта, справки, свидетельства, коллективную расписку, что в случае аварии никаких исков и претензий к французскому правительству не будет, и в заключение заявил:

— Бесплатный проезд до Константинополя, включая паек для кочегаров и литр красного вина на душу.

Василевский в меховой шубе и в боярской шапке уже собирался кинуться капитану на шею и, само собой разумеется, задушить его в объятиях, но благосклонный француз так на него посмотрел свои-

<sup>1</sup> С латинской ясностью.



ми стальными глазами, что бедняга многовенно скис и что-то невнятно пробормотал не то из Вольтера, не то просто из самоучителя.

20 января 20-го года — есть даты, которые запоминаются навсегда, — корабль призраков, обугленный «Дюмон д'Юрвиль», снялся с якоря.

Кинематографическая лента в аппарате Аверченко кончилась. Никому не могло прийти в голову крикнуть, как бывало прежде: — Мишка, крути назад!

Все молчали. И те, кто оставался внизу, на шумной суетливой набережной.

И те, кто стоял наверху, на обгоревшей пароходной палубе. Каждый думал про свое, а горький смысл был один для всех:

Здесь обрывается Россия  
Над морем Черным и глухим.

\* \* \*

Группа была пестрая, случайная, соединенная стечением обстоятельств, но дружная и без всяких подразделений и фракций.

Старик Овсяннико-Куликовский в последнюю минуту передумал, махнул рукой, смахнул слезу и остался на родине.

С. П. Юрицын, бывший редактор «Сына отечества», наоборот, только в последнюю минуту и присоединился.

Был он мрачен, как туча, и держался в стороне.

Художник Ремизов, в «Сатириконе» Ре-Ми, еще за час до отплытия начал страдать морской болезнью.

Ни жене, ни сыну ни за что не хотел верить, что пароход еще стоит на месте и, стало быть, все это одно воображение.

— Grimасы большого города! — ядовито подсказал розовый, застенчивый, но всегда находчивый Полонский.

Намек на имевшие всероссийский успех знаменитые Ремизовские карикатуры оказал живительное действие, талантливый художник сразу выздоровел и на следующий день, несмотря на настоящую, а не выдуманную качку, не только держал себя молодцом, но даже написал портрет капитана Мерантье, что сразу подняло акции всей группы.

Капитан благодарил, консервные пайки были сразу удвоены.

Б. С. Мирский — мы всегда предпочитали этот легкий псевдоним его двойному ученому имени — казался моложе других, заразительно хохотал и рассказывал уморительные истории из жизни «Синего журнала» и других петербургских изданий того же типа, о которых теперь никто бы ему и напомнить не решился.

Ехал с нами и приятель Мирского, А. И. Ага, бывший секретарь бывшего министра А. И. Коновалова, почти доцент, но никогда не профессор.

Жена его и двухлетний сын Данилка, пользовавшийся всеобщим успехом, делили с нами и пищу кочегаров, и мертвую морскую зыбь.

Суетился, как всегда, один Василевский, которого прозвали Сумбур-Паша, без всякой, впрочем, задней мысли, касавшейся его сложного семейного положения.

Положение было действительно сложное, ибо вез он с собой двух жен, одну бывшую, с которой только развелся, и другую настоящую, на которой только что женился.

Вышел он, однако, из этой путаницы блестяще: одну устроил на корме, другую на носу.

И так, в течение всего пути, и бегал с кормы на нос, и с носа на корму, в боярской шапке и огромным кипящим чайником в руках, добродушно поставляя крутой кипяток на северный полюс и на южный.

Ехали долго: турецкие мины еще не все были выловлены.

Обгоревшая громадина тоже требовала немало забот и зоркой осмотрительности.

Кроме того, в одно прекрасное утро взбунтовались и негры-кочегары, ошалевшие от красного вина и раскаленных печей.

Скрестили черные руки на черной груди и потребовали капитана Мерантье в машинное отделение.

Василевский вызвался его сопровождать, но одного взгляда стальных глаз было достаточно, чтобы в корне задушить этот самоотверженный порыв.

Переговоры продолжались долго.

Группа ученых и литераторов не на шутку приуныла.

Ремизов взволновался и предлагал написать всех негров по очереди, да еще пастелью.

Большинством голосов пастель была отвергнута.

В ожидании событий кто-то предложил свой корабельный журнал, на страницах которого каждый из присутствующих должен был кратко ответить на один и тот же ребром поставленный вопрос:

— Когда мы вернемся в Россию?..

Корреспонденты с мест немедленно откликнулись. Один писал:

— Через два года, с пересадкой в Крыму.

Последующие прогнозы были еще точнее и категоричнее, но сроки в зависимости от темперамента и широты кругозора все удлинялись и удлинялись.

Заключительный аккорд был исполнен безнадежности.

Вместо скоропалительной риторики кто-то, кто был прозорливее других, привел стихи Блока:

И только высоко у царских врат,  
Причастный тайнам плакал ребенок  
О том, что никто не придет назад.

После полудня негры выдохлись.

Настроение пассажиров быстро поднялось.

Страшная кочегарка показала хижинкой дяди Тома.

Загудели машины, из покривившихся набок, пострадавших от пожара труб вырвались клубы черного дыма, и снова закружились неугомонные чайки над старым «Дюмон д'Юрвилем».

На шестые сутки — берега Анатолии.

Мирт, и лавр, и розы Кадикей.

Босфор, Буюк-Дере. Дворцы, мечети, высокие кипарисы.

Колонна Феодосия. Розовые купола Святой Ирины в синем византийском небе.

И над всем, над прошлым, над настоящим, сплошной довременный хаос, абсурд, бедлам, международный сумасшедший дом, который никакой прозой не запечатлеть, никаким высоким штилем не выразить.

О, бред проезжих беллетристов,  
Которым сам Токатлиан,  
Хозяин баров, друг артистов,  
Носил и кофий и кальян.

Он фимиам курил Фареру,  
Сулил бессмертие Лоти.  
И Клод Фарер, теряя меру,  
Сбивал читателей с пути.

А было просто... Что окурок,  
Под сточной брошенный трубой,  
Едва дымился бедный турок,  
Уже раздавленный судьбой.

И турка бедного призвали,  
И он пред судьями предстал.  
И золотым пером в Версали  
Взмахнул и что-то подписал...

Покончив с расой беспокойной  
И заглушив гортанный гул,  
Толпою жадной и нестройной  
Европа ринулась в Стамбул.

Менялы, гиды, шарлатаны,  
Парижских улиц мать и дочь,  
Французской службы капитаны,  
Британцы мрачные как ночь,

Кроаты в лентах, сербы в бантах,  
Какой-то Сир, какой-то Сэр,  
Поляки в адских аксельбантах  
И итальянский берсальер,

Малайцы, негры и ацтеки,  
Ковбой, идущий напролом,  
Темно-оливковые греки,  
Армяне с собственным послом!

И кучка русских с бывшим флагом  
И незатейливым Освагом...  
Таков был пестрый караван,  
Пришедший в лоно мусульман.

В земле ворочались предки,  
А над землей был стон и звон.

И сорок две контрразведки  
Венчали новый Вавилон.

Консервы, горы шоколада,  
Монбланы безопасных бритв  
И крик ослов...— и вот награда  
За годы сумасшедших битв!

А ночь придет — поют девицы,  
Гудит тимпан, дымит кальян.  
И в километре от столицы  
Хозары режут христиан.

Дрожит в воде, в воде Босфора,  
Резной и четкий минарет.  
И муэдзин поет, что скоро  
Придет, вернется Магомет.

Но, сын растерзанной России,  
Не верю я, Аллах, прости!  
Ни Магомету, ни Мессии,  
Ни Клод Фареру, ни Лоти...

Константинопольское житие было недолгим.

Встретили Койранского, обрадовались, наперебой друг друга  
расспрашивали, вспоминали:

— Дом Перцова, Чистые Пруды, Большую Молчановку, Моск-  
ву, бывшее, прошлое, недавнее, стародавнее.

Накупили предметов первой необходимости — розового масла  
в замысловатой склянке, какую-то чудовищную трубку с длинным  
чубуком и замечательные сандаловые четки.

Поклонились Ай-Софии, съездили на Принцезы острова, посети-  
ли Порай-Хлебовского, бывшего советника русского посольства, ко-  
торый долго рассказывал про Чарыкова, наводившего панику на  
блистательную Порту.

— Как что, так сейчас приказывает запрячь свою знаменитую  
четверку серых в яблоках и мчится прямо к Абдул-Гамиду, без  
всяких церемоний и протоколов.

У султана уже и подбородок трясется, и глаза на лоб вылезают,  
а Чарыков все не успокаивается, — пока не подпишешь, не уйду! А не  
подпишешь, весь твой Ильдыз-Киоск с броненосца разнесу!..

Ну, конечно, тот на все что угодно соглашается; Чарыков, торже-  
ствуя, возвращается в посольство.

А через неделю-другую — новый армянский погром и греческая  
резня...

Но престиж... огромный!

И Порай-Хлебовский только вздыхает и усердно советует ехать  
дальше — ибо тут, в этом проклятом логовище, устроиться нельзя,  
немыслимо.

...Пересадка кончилась, сандаловыми четками жив не будешь.

Как говорят турки: йок! — и все становится ясно и понятно.

Константинополь — йок; вплавь через Геллеспонт, как лорд  
Байрон, мы не собираемся; стало быть, прямым рейсом до Марселя

на игрушечном парходике компании Пакэ, а оттуда в Париж, без планов, без программ, но по четвертому классу.

Арль. Тараскон. Лион. Дижон.

Сочинения Альфонса Доде в переводе Журавской?

История французской революции в пяти томах? Черт? Дьявол?

Ассоциация идей?

Направо пойдешь, налево пойдешь?

И, одолевая все, сон, усталость, мысли и ощущения, мешанину, путаницу, душевную неприкаянность, — опять та же строка, как ведущая нить, старомодная строчка Апухтина:

«Курьерским поездом летя, Бог весть куда...»

\* \* \*

Вышли сдохлыми нашими чемоданами на парижскую вокзальную площадь, подумали, не подумали, и так сразу в самую гущу и кинулись.

Одурели от шума, от движения, от бесконечного мелькания, от прозрачной голубизны воздуха, от всей этой нарядной, праздничной парижской весны, украшавшей наш путь фиалками.

Не ты ли сердце отогрешь  
И, обольтив, не оттолкнешь?  
Ты легким дымом голубеешь,  
И ты живешь и не живешь...

Шли по площадям, по улицам, останавливались, оглядывались, не оглянешься — задавят.

Как правильно говорил Лоло, предусмотрительно опираясь на жену и на палочку:

— Улицу перейти — жизнь пережить!

Долго стояли перед витринами больших магазинов, жадно смотрели на какие-то кожаные портфели, несессеры, портмоне, на шелковые галстуки, на хрустальные флаконы, на розовые окорока у Феликса Потэна, на бриллиантовые ожерелья в зеркальных окнах Картье.

До Люксембурга, до Лувра, до Венеры Милосской еще не дошли.

А пошли насчет паспорта, насчет вида на жительство на улицу Греннель, в посольство, в консульство, к Кандаурову, к Кугушеву, долго им рассказывали о том, что глаза наши видели, они слушали и говорили, что ушам своим не верят.

Так мы по-хорошему и объяснились.

Узнали, что В. А. Маклаков в посольстве бывает редко и вообще держится выжидательно и в стороне.

Зато профессор Сватиков, все еще комиссар, и все еще Временного правительства, приходит ежедневно, и хотя очень страдает от одышки, но интересуется решительно всем.

Из консульства — к Бурцеву на бульвар Сэн-Мишель, где помещалась редакция «Общего дела».

В редакции гам, шум, бестолковщина, кавардак со стихиями.

Главный редактор мил, близорук, беспомощен.

Добрые глаза, козлиная бородка, указательный палец желт от курева, рукава на кургузом пиджачке короткие, штаны страшные, а штилеты такие, что наводят панику на окрестности.

Всю свою жизнь прожил на левом берегу, на Монмартре, на Монпарнасе, на улице Муфтар.

Выпил в «Ротонде» немало черного кофе с Лениным и Троцким, которых ненавидит тихо и упорно.

Открыл вопиющее дело Азефа, но говорить об этом не любит, отмахивается, отмалчивается.

Во время войны, в конце 14-го года, вернулся в Россию, говорят, что у него были слезы на глазах.

После Октябрьской революции получил звание наемника Антанты и общественного врага номер первый, и в последнюю минуту вырвался в Париж, на Монмартр, на Монпарнас, на улицу Муфтар.

Слез уже не было.

Осталось упрямство, упорство, близорукое долбление в одну точку.

На этих трех китах и держалось «Общее дело», по-французски «La Cause Commune», на раннем эмигрантском жаргоне «Козья коммуна».

Бурцев обласкал, обнадежил, заказал «Впечатления очевидца» и дал сто франков в виде аванса.

Впечатлений набралось немало, строк еще больше, но скоро после этого возникли «Последние новости», и сотрудничество в «Общем деле» ограничилось короткой гастролью.

\* \* \*

Н. А. Тэффи приехала на месяц раньше, чувствовала себя старой парижанкой, и в небольшом номере гостиницы, неподалеку от церкви Мадлэн, устроила первый литературный салон, смотр новоприбывшим, объединение разрозненных.

Встречи, объяснения, цветы, чай, пирожные от Фошона.

— Когда? Откуда? Какими судьбами?

— Из Финляндии? Из Румынии? Шхеры? Днестр? Из Орши? Из Варны? Из Крыма? Из Галлиполи?

Расспросам не было конца, ответам тем более.

Граф Игнатъев, бывший военный атташе, приятно картавил, грассировал, целовал дамам ручки, рассказывал про годы войны, проведенные в Париже, многозначительно намекал на то, что в самом недалеком будущем надо ожидать нового десанта союзников на Черноморском побережье, вероятно, в Крыму, а может быть, близ Кавказа, Мильеран горячий сторонник интервенции, все будет отлично, через месяц-два от большевиков воспоминания не останутся...

Все это было чрезвычайно важно, интересно и казалось настолько бесспорным и неизбежным, что Саломея Андреева, петербургская

богиня, которой в течение целого десятилетия посвящались стихи всего столичного Парнаса, не в силах была удержать нахлынувшего потока чувств, надежд и обещаний и так и кинулась нервным прыжком к военному атташе и с неподражаемой грацией и непринужденностью светской женщины расцеловала его в обе щеки.

Восторгу присутствующих не было границ.

Игнатъев сиял, картавил, скалил свои белые зубы, щетинил рыжеватые, безукоризненно подстриженные усы и пил черный, душистый портвейн — за дам, за родину, за хозяйку дома, за все высокое и прекрасное.

Больше всех шумел, толкался, зычно хохотал во все горло Алексей Николаевич Толстой, рассказывавший о том, как он в течение двух часов подряд стоял перед витриной известного магазина Рауля на бульваре Капуцинов и мысленно выбирал себе лакированные туфли...

— Вот получу аванс от «Грядущей России» и куплю себе шесть пар, не менее! Чем я хуже Поля Валери, который переодевается по три раза в день, а туфли чуть ли не каждые полчаса меняет?! Ха-ха-ха!..

И привычным жестом откидывал назад свою знаменитую копну волос, полукругом, как у русских кучеров, подстриженных на затылке.

— А вот и Тихон, что с неба спихан, — неожиданной скороговоркой и, повернувшись в сторону так, чтобы жертва не слышала, под общий, чуть-чуть смущенный и придушенный смех швырнул свою черноземную шутку неунимавшийся Толстой.

В комнату уже входил Тихон Иванович Полнер, почтенный земский деятель и зачинатель первого зарубежного книгоиздательства «Русской Земли», на которое ожидали денег от бывшего посла в Вашингтоне Бахметьева.

То ли застегнутый на все пуговицы старомодный, длиннополый сюртук Тихона Ивановича, то ли аккуратно расчесанная седоватая бородка его и положительная, негромкая речь, — но настроение как-то сразу изменилось, стихло, и положение спас все тот же неиссякаемый, блестящий расточитель щедрот А. А. Койранский.

Выдумал ли он его недавно или тут же на месте и сочинил, но короткий рассказ его не только сразу поднял температуру на много градусов, вызвал всеобщий и искренний восторг, но в известной степени вошел в литературу и остался настоящей зарубкой, пометкой, памяткой для целого поколения.

— Приехал, говорит, старый отставной генерал в Париж, стал у Луксорского обелиска на площади Согласия, внимательно поглядел вокруг, на площадь, на уходившую вверх — до самой Этуали — неповторимую перспективу Елисейских полей, вздохнул, развел руками и сказал:

— Все это хорошо... очень даже хорошо... но Que faire? Фер-то ке?!

Тут уже сама Тэффи, сразу, верхним чутьем учуявшая тему, сю-

жет, внутренним зрением разглядевшая драгоценный камушек-самоцвет, бросилась к Койранскому и в предельном восхищении воскликнула:

— Миленький, подарите!..

Александр Арнольдович, как электрический ток, включился немедленно и, трясая всей своей темно-рыжей, четырехугольной бородкой, удивительно напомилавшей прессованный листовый табак, ответил со всей горячностью и свойственной ему великой простотой:

— Дорогая, божественная... За честь почту! И генерала берите и сердце в придачу!..

Тэффи от радости захлопала в ладоши — будущий рассказ, который войдет в обиход, в поговорку, в постоянный рефрен эмигрантской жизни, уже намечался и созрел в уме, в душе, в этом темном и непостижимом мире искания и преодоления, который называют творчеством.

— Зачатие произошло на глазах публики! — с уморительной гримасой заявила Екатерина Нерсесовна Дживилегова, жена известного московского профессора и львица большого света... с общественным уклоном.

Ртуть в термометре подымалась.

В. П. Носович, прокурор Сената и блестящий юрист, нашел, что дружеское это чаепитие необходимо увековечить.

— Помилуйте, господа! Ведь это и есть увертюра, предисловие, первая глава зарубежного быта...

— На весь фэйфоклок меня, пожалуй, не хватит, но виновницу торжества, быть может, и удастся изобразить... — неожиданно откликнулся на предложение Носовича изящный, холодный, выхолонный Александр Евгеньевич Яковлев, про которого говорили, что он слишком талантлив, чтобы быть гениальным.

— Надежда Александровна! — обратился он к Тэффи. — Карандаш со мной, слово за вами, согласны?

— Ну еще бы не согласна, — с неподдельным юмором ответила хозяйка дома, — благодаря вам я, кто его знает, может быть, и в Лувр попаду!..

— Рядом с Джокондой красоваться будете! — не удержался восторженный Мустафа Чокаев, представлявший независимый Туркестан на всех фэйфоклоках.

Все принимали самое живое участие в обсуждении предстоящего сеанса, — как надо Тэффи усадить, — с букетом, с книгой в руках? Или, может быть, стоя, у окна?

Но у художника был свой замысел, и спорить с ним никто не решился.

— Буду писать вас в профиль, с лисой на плечах.

— А лисью мордочку тоже в профиль, вот так, под самым подбородком! — сдержанно, но властно показывал и распоряжался Яковлев, усаживая свою модель в кресло.

— Гениально задумано! — авторитетно поддержал приятеля похожий на кобчика в монокле Сергей Судейкин.



— А вы, господа, занимайтесь своим делом! — сделав свирепое лицо, наставительно заявил Толстой.

И, набросившись на пти-фуры, добавил, жуя и захлебываясь:

Пока не требует поэта  
К священной жертве Аполлон...

И поза, и цитата были неподражаемы.

Взрыв смеха, черные слезы на глазах Татьяны Павловой, талантливой актрисы, про которую втихомолку острили, что у нее голос Яворской, плечи Гзовской, а игра Садовской.

«В стороне от веселых подруг», как выразился ее собственный сиятельный муж, сидела на диване, дышавшая какой-то особой прелестью и очарованием, Наталия Крандиевская, только недавно написавшая эти, так поразившие Алданова, и не его одного, целомудренно-пронзительные, обнаженно-правдивые стихи:

Высокомерная молодость,  
Я о тебе не жалею.  
Полное снега и холода  
Сердце беречь для кого?..

Крандиевская перелистывала убористый том «Грядущей России», первого толстого журнала, только что вышедшего в Париже.

Барон Нольде, с обезоруживающей вежливостью, и Сергей Александрович Балавинский, с обезоруживающим восхищением, исполняли роль чичисбеев и вполголоса поддерживали разговор, касавшийся литературного эмигрантского детища.

Журнал редактировали старый революционер, представительный, седобородый Н. В. Чайковский, русский француз В. А. Анри, Алексей Толстой, напечатавший в журнале первые главы своего «Хождения по мукам», и М. А. Алданов, который в те баснословные годы еще только вынашивал свои будущие романы, а куда писал о «Проблемах научной философии».

В книге были статьи Нольде, М. В. Вишняка, Дионео, воспоминания П. Д. Боборыкина, «Наши задачи» кн. Евгения Львовича Львова и стихи Л. Н. Вилькиной, посвященные парижскому метро.

...По бело-серым коридорам  
Вдоль черно-желтых Дюбоннэ,  
Покачиваясь в такт рессорам,  
Мы в гулкой мчимся глубине.

По этому поводу Балавинский, сжигая папиросу за папиросой, рассказал, что Зинаида Гиппиус, прочитав эти в конце концов безобидные строчки, пришла в такую ярость, что тут же разразилась по адресу бедной супруги Н. М. Минского весьма недружелюбным экспромтом:

Прочитав сие морсо,  
Не могу и я молчать:  
Где найти мне колесо,  
Чтоб ее колесовать?..

— Пристрастная и злая! — тихо промолвила Наталья Васильевна, утопая в табачном дыму своего кавалера справа.

— А вот и стихи Тэффи, я их очень люблю, хотя они чуть-чуть нарочиты и театральны, как будто написаны под рояль, для эстрады, для мелодекламации.

Но в них есть настоящая острота, то, что французы называют *vin triste*, печальное вино...

— Графинюшка, ради Бога, прочитайте вслух...— собравшись в тысячу морщин, умолял Балавинский.

— Сергей Александрович, если вы меня еще раз назовете графинюшкой, я с вами разговаривать не стану! — с не свойственной ей резкостью осадил старого чичисбея жена Толстого.

Но потом смилостивилась, чудесно улыбнулась и под шум расплзавшегося по углам муравейника стала тихо, без подчеркиваний и ударений, читать:

Он ночью приплывет на черных парусах,  
Серебряный корабль с пурпурною каймою.  
Но люди не поймут, что он приплыл за мною,  
И скажут: «Вот, луна играет на волнах...»

Как черный серафим три парные крыла,  
Он вскинет паруса над звездной тишиною.  
Но люди не поймут, что он уплыл со мною,  
И скажут: «Вот, она сегодня умерла.»

Через тридцать лет с лишним, измученный болезнью, прикованный к постели, Иван Алексеевич Бунин, расспрашивая о том, как было на *que Dag*, хорошо ли пели и кто еще был на похоронах Надежды Александровны, с трогательной нежностью, и поражая своей изумительной памятью, вспомнит и чуть-чуть глухим голосом, прерываемым приступами удушья, по-своему прочтет забытые стихи, впервые услышанные на улице *Vignon*, когда все, что было, было только предисловием, вступлением, увертюрой, как говорил сенатор Носович.

Но три десятилетия были еще впереди...

Генерал Игнатъев еще не уехал с Наташей Трухановой в Россию, чтоб верой и правдой служить советской власти.

Алексей Николаевич Толстой, уничтожавший Тэффины птифуры, тоже еще был далек от Аннибаловой клятвы над гробом Лена.

А с прелестных уст Наталии Крандиевской еще не сорвались роковые, находчиво подоженные под обстоятельства времени и места слова, которые я услышал в Берлине, прощаясь с ней на *Augsburgerstrasse* и в последний раз целуя ее руку:

— Еду сораспинаться с Россией!

...Яковлев уложил карандаши, но показать набросок ни за что не соглашался.

Тэффи облегченно вздохнула и вернулась к гостям.

Было уже поздно. В открытые окна доносилась музыка из соседнего ресторана.

Все почему-то сразу заторопились, шумно благодарили хозяйку,

давали друг другу адреса, телефоны, условились о встречах, о свиданиях.

Смотр, объединение, начало содружества, прием, файф-оклок — все удалось на славу.

\* \* \*

Через несколько дней, на rue Washington близ Елисейских полей, небольшая группа новых парижан обсуждала вопрос об издании русской газеты.

Потребность в ней чувствовалась уже с первых дней, волна эмиграции росла непрерывно, и после разгрома добровольческих армий Юденича, Колчака, Деникина человеческий поток все углублялся, ширился, бил через край и принимал размеры более чем внушительные.

Ни в читателях, ни в писателях недостатка не будет.

Оставалось найти издателей.

Профессионального опыта от них не требовалось.

Нужны были иные качества, склонности, свойства.

Легкий характер, легкие деньги и в крайнем случае готовность на самоубийство.

Известный петербургский адвокат М. Л. Гольдштейн, которого широкая публика упорно именовала защитником князя Огинского, оказался и удачливым соблазнителем одного из малых сих.

Звали его Залшупин, особых знаков отличия за ним не числилось, но дензнаков было у него, очевидно, много, и большого сопротивления он тоже не проявил.

Кто палку взял, тот и капрал, — редактором оказался сам инициатор, присяжный поверенный Гольдштейн.

Программа-минимум:

— Ни платформы, ни установки, а наипаче увлечений.

— Не направлять, а осведомлять! — коротко сформулировал новый редактор.

Было совершенно ясно, что скромный человек на роль Герцена не претендовал, Плеханову не завидовал и Петру Струве подражать не собирался.

Ни «Колокола», ни «Искры», ни «Освобождения» не будет.

А будут «Последние новости», Quotidien russe, без запальчивости и раздражения.

Первый номер вышел 27 апреля 1920 года.

Просуществовала газета двадцать лет с лишним, первого издателя разорила, первого редактора не прославила, а в истории русской эмиграции сыграла роль огромную и выдающуюся.

В первом номере — теперь это библиографическая редкость — была сдержанная, но, как всегда, содержательная статья Нольде о «Заграничной России»; профессорский этюд С. О. Загорского, который назывался «Погоня за Россией», — заглавие запомнилось, содержание в памяти не удержалось; длинный судебный отчет о про-

цессе Кайо; стихи Д. Аминадо, посвященные Парижу; и тот самый ударный рассказ Тэффи «Кэ-Фэр», про который не раз было сказано и пересказано:

«Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля... и откуда русская земля стала есть».

А ровно через год, после долгих переговоров, колебаний и убеждений, незадачливые любители издательского искусства с огорченным достоинством удалились под сень струй, и на площадь Палэ-Бурбон приехал П. Н. Милюков со всем своим генеральным штабом.

Осведомительный нейтралитет был немедленно сдан в архив, газета получила определенный облик, а то совсем пустячное обстоятельство, что сразу установленное республиканско-демократическое направление настроениям и вкусам большинства зарубежной массы далеко не соответствовало, нисколько нового редактора не смутило.

Генеральная линия была начертана раз навсегда и до последнего номера, вышедшего 11 июня 1940 года, никаких уклонений и ответвлений ни вправо, ни влево допущено не будет.

Победителей не судят.

Но ненавидят.

Число поклонников росло постепенно, число врагов увеличивалось с каждым днем, а количество читателей достигало поистине легендарных — для эмиграции — цифр.

Ненавидели, но запоем и от строки до строки читали.

Объяснения этому дадут будущие профессора в будущих своих тэюдах.

\* \* \*

Лето, как настоящие шуаны, провели в Вандее, в Олонецких пещерах.

Так окрестил Sables d'Ologne, чудесную приморскую деревушку на берегу Атлантического океана все тот же Алексей Николаевич.

С Толстым были дети, старший Фефа, сын Натальи Васильевны от первого брака ее с петербургским криминалистом Волкенштейном, и младший Никита, белокурый, белокожий, четырехлетний крохотун с великолепными темными глазами, которого называли Шарманкин.

На что он неизменно и обиженно-дерзко отвечал:

— Я не Шарманкин, я граф Толстой!

Это ему, Никите, трогательно писала из Москвы бабушка Крандиевская, автор когда-то популярной в России повести «То было раннюю весной»:

«Здравствуй, сокол мой прекрасный! Здравствуй, принц далеких стран!»

На открытке, отправленной в Хлебный переулок, в Москву, крупным четким почерком самого Толстого был дан следующий ответ:

«Дорогая бабуля, срочно сообщаю вам, что мои дети такие же безграмотные болваны, как и их многочисленные отцы.

По этой причине нещадно бью их тяжелыми предметами, а еще кланяюсь деду Василию Афанасьевичу, прабабушке их Поварской, и всем трем переулкам — Хлебному, Скатертному и Столовому».

— Все это было придумано для увеселения публики, — Алеша обожает валять дурака! — снисходительно объясняла Наталия Васильевна.

И на самом деле Никиту Толстой просто обожал, но внешне никак этого не проявлял и не высказывал.

А всяких нежностей и прозвищ, ласкательных и уменьшительных, и совсем терпеть не мог.

И чтоб лишний раз подразнить жену, не упускал случая, чтоб с напускной торжественностью не сказать:

— А вот к Фефе я отношусь с большим уважением. И хотя он, черт, шепелявит, как Волкенштейн, — кстати сказать, Волкенштейн славился своей отличной петербургской дикцией, — но я твердо знаю, что из него выйдет гениальный архитектор и что он мне поставит гробницу Фараона, с высоты которой я буду плевать на всех!..

\* \* \*

Жили мы хорошо и уютно.

Взасос читали романы Лидии Крестовской, которая поселилась тут же, рядом.

А как только она уходила на прогулку со своей детской колонией, в коей состояла мониторшей, так мы немедленно роман захлопывали и занимались каждый своим делом.

Вдыхали, писали письма в Россию, катались на лодке и часто ездили верхом на унылых прокатных клячах под предводительством стройного красавца, Henri Dumaу, который редактировал какой-то бесцветный радикальный еженедельник «Progrès Civique» и со скучной настойчивостью подготавливал падение Мильерана и приход к власти Эдуарда Эррио.

Толстой то и дело менял ментоловые компрессы и продолжал писать «Хождение по мукам».

По поводу компрессов у него была тоже свой теория.

— Шиллер писал «Орлеанскую деву», держа ноги в ледяной воде и попивая крепкий черный кофе. Все это чепуха и обман публики. Я верю только в ментол, или по-нашему — мяту, потому что мята холодит мозги... у кого они есть. И освежает.

Есть еще другой способ, но утомительный:

Грызть карандаши Фабера до самого грифеля.

Огрызки выплевывать, а грифель глотать.

Потому что грифель действует на молекулы и на серое вещество.

А без серого вещества — ни романсов, ни авансов!.. Поняли?!

И вдруг без всякой связи с предыдущим зычным голосом затягивал:

После чего — компресс на голову, и уходил писать.

По временам все это казалось сном, выдумкой, неправдоподобной летней сказкой у самого синего моря, прелестной комедией, тургеневским «Месяцем в деревне».

Толстой обожал сниматься, и обязательный редактор «*Progrès Civique*», проглядевший все глаза на *Comtesse moscovite*, считал своим долгом без конца щелкать аппаратом, лишь бы сделать приятное знаменитому писателю.

Тем более что писатель объяснялся главным образом знаками и умоляюще вопил:

— Наташа, объясни ему, что я говорю по-французски, как испанская корова!

Наташа переводила, любезный француз, само собой разумеется, возражал и, прикладывая руку к сердцу, уверял, что наоборот, у графа отличный акцент и очень большой словарь.

В ответ на что Толстой угрюмо бурчал:

— Пусть Бога благодарит, что он по-русски не смыслит. А то я бы ему сказал три слова из моего словаря!

Наталья Васильевна безнадежно махала рукой, а *monsieur Dumau* начинал щелкать.

Сюжет для снимков выдумывал, конечно, Алексей Николаевич.

— Ты, — обращался он ко мне, — будешь изображать циркового борца легкого веса, потому что не признаешь лангуст и худ, как церковная мышь. Надень на себя твое купальное трико и нацепи единственную медаль, самую малюсенькую, и то, так сказать, для красоты слога!

Называть ты будешь Джон Пульман, и приехал ты только что из Ирландии. А я нацеплю одиннадцать медалей, золотых и серебряных. Никита, носи медали, незаконнорожденный! — и буду называться борец тяжелого веса Иван Дуголомов, чемпион мира и Калужской губернии, поняли? Ничего не поняли!.. Скажи француз, чтоб пленку переменил!

Борцы отправлялись в полотняную кабинку, которую то и дело трепал и срывал с места морской ветер, и через несколько минут выходили на арену.

Публику изображали Наталья Васильевна, неистовствовавший от восторга Никита, будущий архитектор Фефа, автор «Иностранного легиона» Лидия Крестовская, какая-то приبلудная мамаша из детской колонии, какая-то красивая, высокая Нина, вышедшая замуж за рейтерского корреспондента Вильямса и потому законно называвшаяся Ниной Вильямс, и еще одна курносенькая русская барышня по имени Лёля, а по прозвищу, данному графиней Толстой, — Вишенка.

По ходу действия мы должны были изобразить предельный мо-

мент борьбы, Иван Дуголомов пыхтел, сопел, надувался и железным кольцом обхватывал борца легкого веса.

По данному знаку фотограф примерялся, щурил глаз, нацеливался и щелкал.

— Дирекция благодарит почтеннейшую публику за посещение! — торжественно провозглашал Толстой и, почувствовав внезапный острый голод, требовал лангуст, устриц, белого вина — благо все это стоило грош медный, — и с нескрываемой жадностью, обсылая косточки, презрительно швырял в сторону не обладавших столь бешеным аппетитом созерцателей:

Вам, гагарам, недоступно  
Наслаждение битвой жизни!  
Гром ударов вас пугает...

Гагары хохотали, как ни одни гагары в мире не хохочут, а гордый Буревестник, выпятив увешанную медалями грудь борца и кормилицы, церемонно тряс руку monsieur Dumay и улыбался слащавой, наигранной улыбкой, которую почему-то сам называл:

— Улыбка номер семнадцатый!..

По вечерам сидели в темноте, на лавочке, у самого ржаного поля, напоминавшего Россию.

Дышали запахом морских сосен, соображали, как удешевить жизнь, устраивали экзамен на Чехова — какой породы была собака в рассказе «Дама с собачкой»? Как звали буфетчика из «Жалобной книги»? Где это сказано — «Эх вы! женихи!.. поручики!..»

И так без конца, до поздней ночи.

В один из таких вечеров — пришлось к случаю, к разговору, — поделился с Толстым своей давно уже назревавшей мыслью об издании журнала для детей.

— Без кислых нравоучений и сладеньких леденцов, без Лухмановой, без Желиховской и Самокиш-Судковской.

С настоящими авторами, не подделывающимися под стиль сюсюкающих писателей для детей, и с настоящими художниками.

Толстой воспламенился, загорелся, сел на своего конька и понесся во весь опор:

— Журнал будет в четыре краски, на дорогой веленовой бумаге, начистоту, всерьез, чтоб все от зависти подавились!.. А я тебе напишу роман с продолжением, из номера в номер, на целый год, но, конечно, гонорар вперед, потому что пока не будет у меня лакированных туфель, я ни одной строчки не смогу из своего серого вещества извлечь!

Наталию Васильевну мысль о журнале тоже увлекла, но остановить буйно помешанного, как она в таких случаях шутливо называла мужа, было немислимо.

Надо было терпеливо ждать, пока он сам собой выдохнется.

Разошлись поздно. Высоко в небе вспыхнула и погасла падучая звезда. От ржаного поля потянуло ночной свежестью.

Август был на исходе.

Через несколько дней Вандейское сидение кончилось.

Пора возвращаться «домой», в Париж, с новым сувениром в про-  
давленном чемодане,— фотографическим снимком чемпионата борь-  
бы, перечеркнутым надписью:

«Вы жертвою пали в борьбе роковой... падайте дальше! Дорого-  
му такому-то его счастливый соперник. Иван Дуголомов».

\* \* \*

В октябре 1920 года вышел первый номер двухнедельного  
журнала для детей.

Назывался он «Зеленая палочка».

Обложку, в четыре краски, как было задумано летом, сделал Ре-  
Ми. На первой странице — чтобы объяснить, почему именно так на-  
звали журнал,— был воспроизведен отрывок из детских воспомина-  
ний Льва Николаевича Толстого.

«О том, как старший брат его, Николенька, объявил, что у него  
есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сде-  
лаются счастливыми и все будут любить друг друга.

Тайна эта, говорил нам брат Николенька, написана на зеленой  
палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага, в яснопо-  
лянском парке...

Единая задача «Зеленой палочки», стало быть, одна для всех:

— Всем вместе искать простую и важную тайну, посредством ко-  
торой можно сделать всех людей на свете счастливыми».

Новая затея была встречена весьма сочувственно, и благодаря  
стараниям О. С. Бернштейна, московского адвоката и знаменитого  
шахматиста, средства для издания с величайшей готовностью отва-  
лил некто Р., по образованию доктор философии, по склонностям  
игрок в теннис, по профессии зернопромышленник, по щучьему веле-  
нию меценат.

Общество издательского дела называлось «Север», главным ак-  
ционером является сам мистер Р., который поставил одно условие:

— Никакого публичного оказательства, никакой рекламы...

— Таким людям надо при жизни памятник ставить,— восторжен-  
но заявил А. В. Руманов, принимавший участие в предварительных  
совещаниях, заседаниях, переговорах.

Эмигрантская ли судьба, судьба ли просто, распорядилась по-  
своему.

Через несколько лет, когда бывший зернопромышленник от  
сердечного припадка скоропостижно скончался, денег не было не  
только на памятник, но и на скромное погребение.

На похороны пришлось собирать среди добровольных даваль-  
цев.



Первый номер решено было подать в порядке ударном.

— Стихи Бунина. Рассказ Куприна. Сказка Алексея Толстого. Обращение к детям кн. Г. Е. Львова. Иллюстрации Судейкина. Рисунки Ре-Ми. Поэма Саши Черного. Колыбельная песня Нат. Крандиевской. Постоянный отдел «Крепко помни о России». Еще один постоянный отдел «Произведения молодых авторов», где дочь поэта Мирра Бальмонт, 13-ти лет от роду, писала с величайшей и многообещающей простотой:

Сказку белых венчальных цветов  
Я искал для невесты моей.  
Но ишел я лишь черный тюльпан,  
Не ишел я цветка ей белей...

После этого «черного тюльпана» редакция стала смотреть в оба, и уже никакие просьбы и ходатайства отцов и матерей не могли поколебать принятого за правило решения.

Были, конечно, и неизбежные конкурсы — географические, исторические, литературные.

— Укажите самое короткое название реки в России.

— Самое длинное.

— В каком году произошло покорение Казани?

— Когда родился Сергей Тимофеевич Аксаков?

Очень скоро выяснилось, что на вопросы отвечали дети, но подсказывали им родители.

С этим тоже пришлось бороться, ибо бескорыстная задача развивать детскую любознательность стала сводиться к непосильному удовлетворению корысти взрослых.

Ибо за правильное, быстрое разрешение конкурса полагалась премия.

Родителей и опекунов развелась тьма-тьмуца, а детский журнал был один-одинешенек.

И никаких зерен зернопромышленника на все эти премии хватить не могло.

Пришлось и в этом смысле навести порядок.

Несмотря, однако, на все эти и многие другие, более серьезные и труднее преодолимые препятствия и закорючки, журнал становился на ноги, не увлекаясь ни дружбой, ни родством, ни ожиданием выгод.

С каждым новым выпуском количество подписчиков и читателей возрастало, и требования на «Зеленую палочку» приходили из Англии, из Америки, из Бессарабии, из Латвии, из Финляндии, из Югославии, из Эстонии.

В смысле приобретения литературного материала дирекция, как говорил Балиев, не останавливалась ни перед какими растратами.

Ал. Толстой брал авансы, как взрослый, но слово свое сдержал и дал большую повесть «Детство Никиты», с продолжением в каждом номере.

Большим успехом пользовались «Приключения Коли Шишмарева», которые аккуратно доставлял Александр Яблоновский.

Вперемежку печатались рассказы кн. В. В. Барятинского, Бориса Лазаревского, еще не опороченного в те времена Ивана Наживина, стихи К. Бальмонта, Мих. Струве, Сергея Кречетова и даже Игоря Северянина.

Воспоминания и рисунки Георгия Лукомского, посвященные исчезавшему быту старой России, научные очерки Николая Рубакина и «Остров сокровищ» Стивенсона в блестящем переводе Койранского дополняли литературный инвентарь детского журнала.

Попытка привлечь европейские имена ограничилась поездкой в Juvisy к самому Камиллю Фламариону.

В качестве очередной секретарши была мобилизована та самая Вишенка со вздернутым носиком, о которой шла речь в Олонецких песках.

Написали адски вежливое письмо, приложили — для убедительности — номер «Зеленой палочки» с портретом Льва Толстого и получили весьма любезное приглашение приехать в назначенный день и час.

Приняла нас супруга великого человека и попросила подождать: — Сейчас Maître, к сожалению, занят, у него очень важный спиритический сеанс... Maître вызвал дух Птолемея, и с минуты на минуту ждут, что дух будет реагировать...

Редакция и глазом не моргнула. Но какой-то комок в горле все-таки застрял.

Сколько мы так сидели на увитой плющом террасе, сейчас не вспомнить. Но, очевидно, долго.

Наконец послышался какой-то шум, движение стульев, шарканье ног, и в дверях показались какие-то стародревние, безжалостно накрашенные дамы, в шляпках с птичками; пожилые, и почему-то все худощавые, мужчины в высоких, упирившихся в подбородок воротничках и в черных послеобеденных рединготах; и, замыкая шествие, сам хозяин, живой Камиль Фламарион.

Все остальное произошло молниеносно-быстро.

Оказалось, что сеанс не кончен и что это только перерыв.

Как реагировал дух Птолемея Александрийского, мы так и не узнали, но перерывом надо было воспользоваться немедленно, не теряя ни одной минуты.

Борода у Фламариона была седая и почтенная, шевелюра белая, как лунь, пышная и взволнованная, глаза водянистые, выцветшие, когда-то в первом воплощении голубые, и выражение их было странное, неуловимое, скорее отсутствующее и равнодушное.

У вас глаза морского цвета,

У вас неверные глаза...

Но переводить стихи Бальмонта на французский язык мы не стали.

И сразу приступили к делу.

Вишенка выучила шпаргалку наизусть и бойко объяснила «наши

цели и задачи» и то, с каким нетерпением ждут читатели «Зеленой палочки» подробного описания, как живет и работает великий астроном.

Астроном, это было совершенно очевидно, все мимо ушей пропустил, но с Вишенки глаз не спускал и только фыркал, как старый морж.

Жестом пригласил следовать за ним и по крутой, узкой и все время вьющейся зигзагами лесенке повел на самый верх, на вышку, в обсерваторию.

Тыкал нас по очереди в подзорную трубу, объяснял, что Кассиопеи еще не видно, но спутников ее, если смотреть внимательно, можно различить.

Вишенка так старалась, что вымазала губной помадой все медное отверстие трубы, и со слезами на глазах уверяла, что ясно видела всех спутников.

Продолжалось это интермеццо несколько минут, после чего старик ни на один из наших вопросов, столь тщательно обдуманых и заранее приготовленных, ни звука не ответил, но фотографию свою дал и подписал:

«Aux lecteurs de la Selēnaja Palotschka. Ad veritatem per scientiam. Camille Frammarion. Observatoire de Juvisy»<sup>1</sup>.

\* \* \*

Рассказать маленьким читателям, как все это было в действительности, являлось задачей поистине непосильной.

Пришлось прибегнуть к старой, классической формуле, которая называется:

— В обработке для детей и юношества.

Делать было нечего, обработали детей, как могли, и очередной номер журнала вышел с портретом Фламариона, с автографом, с объяснительной заметкой, лживой, как дух Птолемея из Александрии.

Просуществовала «Зеленая палочка» год и, за отсутствием средств, закрылась.

Похоронных объявлений, на которых строится всякое печатное дело «в этом мире борьбы и наживы», в детский журнал никто, разумеется, не давал.

Эпидемия авансов тоже в немалой мере истощила кассу.

Кроме того, большие суммы были истрачены почтенным обществом издательского дела на целый ряд выпущенных «Севером» книг:

«Песни о Гайавате» в переводе Бунина. «Избранных рассказов для детей» А. И. Куприна. «Азбуки» Льва Николаевича Толстого.

Кроме того, вне детской серии, по настоянию господина Р., был

<sup>1</sup> Читателям «Зеленой палочки». К правде через науку. Камилл Фламарион.

издан объемистый очерк русской революции Петра Рысса под названием «Русский опыт» и, при дружеском попустительстве остальных сотрудников и участников этого своеобразного предприятия, вышла в свет еще одна книга «Авантюристы гражданской войны».

Автором ее был некто Ветлугин.

Появлению его на парижском горизонте предшествовало полученное мной письмо, которое А. И. Куприн справедливо назвал человеческим документом.

Конверт, в котором пришло письмо, был с турецкой маркой, а исповедь авантюриста гражданской войны гласила следующее:

Константинополь, 21 августа 1920 года.

«Я не знаю, помните ли Вы меня: перед каждым из нас с тех пор промелькнул такой калейдоскоп испорченных репутаций, неотомщенных невинностей, безнаказанных пороков.

В покойной московской «Жизни» я был на ролях *enfant terrible*, а в период второй империи мы с Вами встречались в Киеве, под знаком Протофиса, октябрьской Вены, ноябрьского Берлина.

Тогда не дождавшись Петлюры и не сумев вторично уехать в лучшие края, я почти пешком ушел в Харьков, оттуда на Дон, и тут-то начались страшные сны.

С Добрармией мы очищали Кубань. С Добрармией брали Царицын, Харьков, Курск.

С Добрармией, в страшный предкрещенский мороз, под Новый 1920 год, уходили из Ростова, по колено в снегу, с душой, замерзшей среди слишком чугунных генералов и слишком хрупких патриотов.

В этот период: апрель 19-го — январь 20-го, я заведовал редакцией уже другой, ростовской, добровольческой «Жизни», где под именем Денисова (в этой маске меня, вероятно, помнят проживающие теперь в Париже Сергей Кречетов и А. Дроздов) с восторженной беспринципностью воспевал и «блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой» в статьях, замечательных единственно тем, что во всякую погоду писались они с тем же неумирающим ужасом русского дезертира, давшего Аннибалу клятву никогда больше не служить нигде и никому.

Потеряв и оставив в Ростове все, вплоть до белья и русского паспорта, минуя Новороссийск, через Армавир, Туапсе, я направился в Батум, где пытался заниматься убийствами или торговлей, это все равно, и откуда совершал рейды или, если хотите, набеги, на Тифлис, Баку, Энзели.

У грузин жилось хорошо, все они стали настоящими иностранцами, вывесили грузинские вывески на вокзалах и магазинах, и в заседаниях своего Учредительного собрания говорили только... по-русски.

Впрочем, произошли и другие коренные реформы: шашлык стал называться кибаб, чурек — леван, керенки — боны, чека — особый отряд.

В Баку били фонтаны, татары армян, большевики — муссоват

(партия, а не кушанье), и кандидат прав Петербургского университета Гайдар Баммат доказывал изумленным итальянцам прелести в ековой дагестанской культуры.

Потом настала очередь Персии.

И в мае месяце, в те благоуханные ночи, когда при свете двурогой луны длиннобородые сторожа стреляют солью в мальчишек, крадущих лимоны, приблизительно в двадцатых числах, вместе с остальными поклонниками советского режима, через Джульфу и Нахичевань, более под верблюдом, чем на нем, я бежал в Тифлис.

Здесь уже жил советский посол Киров и с балкона дома на Ртищевской просвещал грузин, закостеневших в меньшевизме.

Помогали ему в этом святом деле, по морской части — граф Бенкендорф, назначенный сюда морским агентом ввиду большой судоходности Куры, по сухопутной — взрывы мостов и разборка шпал — генерал Сытин.

Послушав Кирова и отпраздновав 26-го мая вторую годовщину грузинской республики, волею особого отряда, вылавливавшего «деникинских черных генералов», на собственные средства я был отправлен в Батум.

Круг снова замыкался, и становилось скучно, и уже снова вялыми показались мне слова моей пятичленной молитвы, составленной в Ростове в мае 19-го года:

«Господи, избави меня от эвакуации, мобилизации, доноса, ареста и реквизиции, а со спекуляцией я справлюсь сам!..»

Но в этот момент англичане, не получая нефти, заскучали в свой черед, смотали удочки, спрятали фунты и, под лязг аджарских ножей, передали русский Сан-Франциско грузинам.

Я посмотрел, подумал, почесал затылок и вместе с «резвакуируемыми» (о, великий русский язык...) отправился в Крым, запасшись для убедительности белым билетом и румынским паспортом.

Пустынная Феодосия, судорожно напряженный Севастополь, притаившаяся Ялта, и над всем полуостровом опаляющее дыхание борьбы со смертью, последний поединок с мировым драконом.

С Перекопа дул соленый, насыщенный трупным запахом ветер.

Ни дышать, ни жить здесь было нельзя.

И даже мне, закостеневшему в опытах Земсоюза и Освага, стало ясно, что либо нужно взять винтовку и со слащевским десантом пойти туда, где снова от Суджи и Кизляра до Ростова и Юзовки шевелились казачьи станицы, гремели дедовские берданки и на сотни верст подымалось зарево сожженных совдепов и сметенных округов, или ехать в Константинополь — для позорных дел и голодных забвений.

Для первого не хватило — чего? Не знаю! Может быть, чувства элементарного долга, которому можно научиться в ускоренной школе прапорщиков и который не мог я усвоить в самой длительной редакции...

Для второго — еще оставались крохи денег.

И вот я в Константинополе.

Гордо развеваются русские флаги на... пиках танцоров в Petits

Стампы; ползут пароходы по Босфору, сплетней и мелкой интригой клубятся Принцезы острова; на Пере и Галате видения былых величий, сплошные тени одиннадцати столетий, плюмажей, шпаг, фабрик, усадеб; Рюрикович под руку со спекулянтom из Житомира идут продавать последнее кольцо, подаренное одним жене другого.

Я очень чувствую, что мое письмо, быть может, и смешно, и неуместно, и назойливо.

Но я так изголодался по беседе, что, помня Ваше доброе отношение ко мне, решился написать Вам. И знаете еще почему?

Потому что мне всегда казалось, вы считали меня большевиком и думали, что я состою у них на службе.

Увы! При всей моей беспринципности я оказался по эту сторону добра и зла, по ту остался принципиальный Соболев, который,— помните,— не пожелал участвовать в «Жизни», когда я написал, что вопреки логике и по силе и течению событий Советы становятся стражем национальной независимости.

Сами большевики поняли это лишь через два года и пригласили Брусилова...

Быть может, Вы не откажете написать мне в свободную минуту, не возможно ли мне присылать изредка статьи и корреспонденции либо в «Последние новости», либо в какую-либо другую газету.

Не приходится говорить, как я мечтал ехать в Париж и как для этого не оказалось ни визы, ни денег.

Жму Вашу руку.

*Ваш В. Р—ъ».*

\* \* \*

На вечеринке, которую устроил Василевский по случаю выхода «Свободных мыслей» в Париже, константинопольское письмо было прочитано вслух и вызвало немало разговоров.

Сумасбродный и скоропалительный редактор сейчас же объявил, что в следующем номере еженедельника письмо будет полностью напечатано...

Его быстро успокоили, объяснив, что автор письма еще покуда жив и под категорию знаменитых покойников не подходит.

И что лучше помочь человеку выбраться из турецкого плена, а там видно будет.

Куприн, на которого человеческий документ произвел особое впечатление, сказал, что завтра же пойдет к Великому Визирю— так называли одного влиятельного француза, без конца хлопотавшего за бесправных беженцев,— и уверен, что виза будет дана.

Через месяц Рындзюн был уже в Париже, и на страницах «Общего дела» появились подписанные именем Ветлугина его первые очерки, посвященные эпизодам гражданской войны.

Все, что он писал, было бойко, безответственно и талантливо. Но успех ему сопутствовал, и хлесткая фраза многих сбивала с толку.

Безошибочно угадал его один только Бунин.

По поводу «Авантюристов гражданской войны», вышедших в издании «Север», Бунин так и писал:

«Ветлугин — дитя своего времени.

Ужасную молодость дал Бог тем, что росли, мужали и остались живы за последние годы.

Какую противоестественную выдумку, какое разочарование во всем, какое неприятное спокойствие приобрели они!

Сколь много они видели, и сколько грязи, крови. И как ожесточились.

И нынешний Ветлугин смотрит на мир ледяными глазами и всем говорит:

— Все вы черт знает что, и все идите к черту!

Недостаток это? Большое несчастье, болезнь? Что будет с Ветлугиным? Изживет он свою болезнь или нет?

Ведь нужно, необходимо, чтобы хоть иногда, невзначай, и на ледяные глаза навертывались слезы...»

Тест был сделан, диагноз поставлен, логическое продолжение не замедлило прийти.

Через год с лишним в тех же русских Пассях — так называли первые пионеры парижский квартал Passy — молодой, но уже издерганный Ю. В. Ключников, петербургский доцент и нетерпеливый политик, читал свою пьесу «Единый куст».

Среди приглашенных были Бунин, Куприн, Толстой, Алданов, Илья Эренбург, недавно бежавший из Крыма, Ветлугин и автор настоящей хроники.

Пьеса, по выражению Куприна, была скучна, как солдатское сукно.

А неглубокая мысль ее заключалась в том, что родина есть единый куст, и все ветви его, даже те, которые растут вбок или в сторону, питаются одними и теми же живыми соками, и надо их вовремя направить и воссоединить, чтобы куст цвел пышно и оставался единым.

Присутствовавшие допили чай и разошлись.

Настоящий обмен мнениями, больше, впрочем, походивший на нарушение общественной тишины и порядка, имел место уже на улице Ренуар против знаменитого дома 48-бис, где проживало в то время большинство именитых русских писателей.

Больше всех кипятился и волновался Алексей Толстой, который доказывал, что Ключников совершенно прав, что дело не в пьесе, которая сама по себе бездарна, как ржавый гвоздь, а дело в идее, в руководящей мысли.

Ибо пора подумать, орал он на всю улицу, что так дальше жить нельзя, и что даже Бальмонт, который только что приехал из России, уверяет, что там веет суровым духом отказа и тяжкого, в муках рождающегося строительства, а здесь, на Западе, одна гниль, безнадежный, узколобый материализм и полное разложение...

Бунин, побледневший, как полотно, только и успел крикнуть в предельном бешенстве:

— Молчи, скотина! Тебя удавить мало!..

И, ни с кем не попрощавшись, быстро зашагал по пустынной мостовой.

Куприн только улыбнулся недоброй улыбкой и тоже засеменял своими мелкими шажками, опираясь на руку Елизаветы Маврикиевны.

Алданов молчал и ежился, ему, как это часто с ним бывало, и на этот раз было не по себе.

Беседа оборвалась.

Больше она не возобновлялась.

\* \* \*

Непокорные ветви продолжали расти вбок, в сторону.

Толстые уехали в Берлин.

Ветлугин что-то невнятное промямлил, не то хотел объяснить, не то оправдаться, и последовал за Толстыми.

На прощание сказал, что любят отечество не одни только ретрограды и мракобесы и что любовь — это дар Божий...

— А вы,— закончил он, ища слов и как будто замявшись,— вы еще хуже других, ибо расточаете свой дар исключительно на то, чтоб мракобесие это поэтизировать и, соблазняя, соблазнить, как говорил Сологуб. И все-таки, несмотря на все, я вас люблю... можете верить или не верить, мне это в высокой степени безразлично.

В доказательство непрощеной любви, спустя несколько месяцев, пришло последнее письмо из Берлина.

Помечено оно было февралем 22-го года.

«...хотя вы и считаете меня гнусным перебежчиком и планетарным хамом, но упорно не отвечать на письма еще не значит быть новым Чаадаевым и полнокровным европейцем.

Хочу, чтоб вы знали, что и в моем испепеленном сердце цветут незабудки.

Посылаю вам целый букет.

Издательское бешенство все возрастает.

«Слово» открыло отделение в Москве, на Петровке!..

И, кроме того, переходит на новую орфографию, которую вы так страстно ненавидите.

А. С. Ефрон возвращается на родину, где ему возвращена типография. Хлопотал об этом Алексей Максимович Пешков, он же Горький.

«Грани» — издательство проблематичное, настроение правое, но с деньгами у них слабо.

Продаются, однако, и они хорошо, и альманах «Граней» допущен в Россию.

Незабудка номер два: в «Доме искусств» в очередную пятницу были Гессен и... Красин.

После этого А. А. Яблоновский и Саша Черный кажутся ультра-зубрами.



Тема дня — приезд двух советских знаменитостей, поэта Кусикова и беллетриста Бориса Пильняка.

Оба очень славные ребята, таланты недоказанные, но пить с ними весело, рассказывают много такого, о чем мы и понятия не имеем.

С ними, с Ященком, Толстым и Соколовым-Микитовым много и часто пьянствуем.

Воображаю ваше презрение.

Толстой вернулся из Риги в отличном настроении.

Имел огромный успех, сам играл Желтухина в своей «Касатке».

Но дело не в этом, а в том, что Рига — аванпост, а также и трамплин.

Все переговоры ведутся в Риге, а, судя по советской «Летописи литераторов» и по преувеличенному ухаживанью Пильняка, — Толстой по-прежнему любимец публики.

Так что будьте уверены, что продолжение последует...

Я живу одиноко, ни на какую родину не поеду, а если куда и поеду, то на родину Генри Форда, в Америку.

В ожидании чего пишу памфлеты и романы и продаю на корню.

Содержание их неважное, а названия первый сорт.

Судите сами:

«Записки мерзавца».

«Лицо, пожелавшее остаться неизвестным».

И «Иерихонские трубачи».

В последний раз жду от вас ответа и жму руку.

Вами забытый и Вас любящий А. Ветлугин».

Этим последним и в некотором роде тоже человеческим документом четырехлетний роман был исчерпан.

\* \* \*

Большевизанство Ветлугина было так же наиграно, как и все остальное в его путаной биографии.

На последний шаг он не решился.

Пить водку с Кусиковым это одно, а регистрироваться на вечное поселение, — совсем иное.

Расчет был сделан, сальдо в пользу Америки оказалось бесспорным.

Уехали Толстые. Уехал Илья Эренбург.

А единый куст расцвел в Праге и по новой ботанике назывался «Смена вех».

В предисловии, написанном Ключниковым, были приведены цитаты из Бердяева, из статьи его в знаменитых «Вехах» 1909 года.

Цитата была выдернута умелой рукой и приспособлена к требованиям момента:

«В данный час истории интеллигенция нуждается не в самовосхвалении, а в самокритике...»

За предпосылкой следовала посылка из Александра Блока.

«Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию!»

Смерть поэта от голодной цинги стройности силлогизмов не нарушила.

Оставалось найти заключение.

Принадлежало оно уже самому Ключникову:

«В Ленине старая русская интеллигенция без остатка исчерпывает и изживает самое себя.

Ленин — это та цена, которой куплена новая Россия, а с нею и новая русская интеллигенция.

И только благодаря Ленину — превращение интеллигенции в мещанство становится исторически невозможным».

Камертон был дан, чуткий отклик профессора Устрялова последовал немедленно.

Оправдание оппортунизма, знаменитой передышки и всего вытекавшего из нее нэпа было подано горячо и на совесть.

«Великий утопист, но и великий приспособленец может пожертвовать коммунизмом, чтобы спасти Советы!..

Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер.

Он понял, что от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности нужен спуск на тормозах.

Когда спуск будет завершен, тормоза станут лишними.

Но горе тем, кто из жалких эмигрантских конур попытается мешать Великой Русской Революции в ее стремлении спастись, освободиться от собственных излишеств».

Отсюда вывод и предостережение всем, всем, всем.

Провозгласит его Бобрищев-Пушкин:

«Третьей революции не будет.

Придя из России, Вторая и последняя, Великая Октябрьская Революция захватит Европу, и только глухие не слышат уже происходящих обвалов и подземных глухих раскатов.

Может быть, Европе и будет дана отсрочка на десять, пятнадцать, двадцать пять лет, но эта отсрочка имеет значение только для нас, смертных, а не для всего человечества.

Ибо что значит жизнь одного поколения для истории всего мира!»

После такого манифеста что оставалось делать целому поколению, как не воспользоваться отсрочкой.

Хорошо пророкам и ясновидящим.

Горе мещанам, которые не способны предвидеть, предчувствовать, угадать.

Ни прогрессивного паралича, коим кончаются биографии гениальных диалектиков.

Ни восхождения новых созвездий на необъятной советской планисфере.

Ни тяжкого булыжника, которым где-то в Мексике раскалывают череп вождя Красной Армии.

Ни братской могилы, в которую прокурор Вышинский уложит целый эшелон других вождей.

Ни вечной и бессмертной славы действительно единственного в мире Отца народов, которого через три недели после кровоизлияния в мозг беспощадная история, как корова языком, слижет.

Ах! Мещане, мещане! Вечные мещане!

Живите полной жизнью, пока вас не повесили и не расстреляли, или просто не выкинули за борт истории, написанной Ключниковым и Устряловым, Бобрщевым-Пушкиным и Лукьяновым в старом городе Праге, тридцать лет назад.

— Keep smiling! — говорят невозмутимые англичане.

И кто его знает, может, они и правы.

«Старайтесь улыбаться». Смейтесь.

Благо, есть над чем.

\* \* \*

Смех был у всякого свой, но хор звучал дружно.

Саша Черный, который с возрастом упразднил петербургского Сашу и стал просто А. Черный, завел себе фокстерьера, у которого тоже был псевдоним: назывался он Микки.

Собачку свою Александр Михайлович отлично выдрессировал, и когда намечал очередную жертву для стихотворной сатиры, то сам скромно удалялся под густолиственную сень, а с фокса снимал ошейник и, как говорится, спускал с цепи.

Чутье у этого шустрого Микки было дьявольское, и на любой избранный автором сюжет кидался он радостно и беззаветно.

Но сам автор отходил от сатиры все больше и больше.

Тянуло его к зеленым лугам, к детям, к простым и вечным сияниям еще не постигших, не прозревших, невинно открытых миру сердец и глаз, ко всему, что он так удачно и без вычуров и изысков назвал «Детским островом».

Александр Александрович Яблоновский оставался все тем же, каким его знала читающая Россия.

«Родные картинки», перенесенные за границу, почти не изменились по содержанию.

Тем было сколько угодно.

Голубь, переночевавший в конюшне, не превратился наутро в лошадь.

Подход и трактовка, тонкий и беззлобный юмор и только невзначай заслуженные розги удивительно уживались с тихой, укоризненной улыбкой, за которой следовал добродушный отеческий выговор по адресу пестрой эмигрантской голубятни.

Петр Потемкин, к великому огорчению друзей и почитателей, даже и улыбнуться не успел.

Смерть унесла его рано, слишком рано, и на могилу его мы принесли розовую герань, которую он так любил и так проникновенно воспел, как бы в ответ на вызов, утверждая право на счастье, на по-

доконники, на герань за ситцевыми занавесками, на все то, что Бобрищев-Пушкин считал мещанским и обреченным, а поэты и Дон Кихоты — обреченным, но человеческим.

Впрочем, и то сказать, не так уж много было цветов герани на эмигрантских подоконниках, и ни уютom, ни избытком, ни обеспеченным пайком не могли похвастаться случайные жильцы шоферских мансард и захудалых мебелирашек.

Но был «Покой и воля» и отдых на крапиве, как говорил Аверченко.

Но все же отдых и передышка.

Бытовую сторону отдыха на крапиве отлично уловил Вл. А. Азов, присяжный фельетонист петербургской «Речи», постоянный сотрудник «Нового Сатирикона», автор «Четырех туров вальса» в «Кривом зеркале» и просто остроумный и даровитый журналист, обладавший каким-то особым, спокойным, Джеромовским юмором старой английской школы.

Его русские пословицы в вольном переводе с нижегородского на французский имели немалый и заслуженный успех.

— Малэр арривэ, кордон сильвуплэ! — это могло служить подходящим эпиграфом к любой зарубежной биографии.

— Пришла беда, отворяй ворота...

Михаил Андреич Осоргин юмористом себя не считал, из журналистов перешел в беллетристы, писал повести и романы, писал с увлечением, и читали его тоже с увлечением, и славу он имел быструю и значительную.

«Сивцев Вражек» и «Там, где был счастлив» были большими этапами его большого литературного успеха.

Но тянуло его к юмору инстинктивно и неудержимо, и считался он великим насмешником, а заостренные шутки его были метки и безошибочны.

В «Последних новостях» нередко появлялись его полулирические, полуиронические повествования о том, как надо сесть на землю, разводить огород, сеять русский уроп и нежинские огурцы, и что может из всего этого выйти разумного, доброго и вечного, если даже укроп пропадет, а огурцы не примутся.

Все это было легко, мило, воздушно и насмешливо.

Казались тяжеловесными только его философские вставки и примечания, которыми он то и дело приправлял и укроп, и огурчики.

А происходило это оттого, что этот изящный, светловолосый и темноглазый человек отравлен был не только никотином, коего поглощал невероятное количество, но еще и какой-то удивительной помесью неповиновения, раскольничества, особого мнения и безначалия.

И не только потому, что он мыслил по-своему, а потому, чтобы, не дай Бог, не мыслить так, как мыслят другие.

В этом была раз навсегда усвоенная поза, ставшая второй натурой.

Как-то на балу писателей, завидев одетого с иголки и окружен-

ного дамами Осоргина, А. А. Яблоновский не выдержал и с вечным своим добродушием, но не без доли ядовитости, так ему экспромтом и преподнес:

— Ну какой же вы анархист, Михаил Андреевич? Вы просто-напросто уездный предводитель дворянства, и вам бы с супругой губернатора мазурку танцевать, а не Кропоткина по ночам мусолить!

Осоргин шутку не только проглотил легко, но и оценил ее по достоинству.

Но, что и говорить, главенствующая роль принадлежала, конечно, Тэффи, и по неотъемлемому ее таланту, и по раз навсегда установленной табели о рангах.

Писать она терпеть не могла, за перо бралась с таким видом, словно ее на каторжные работы ссылали, но писала много, усердно, и все, что она написала, было почти всегда блестяще.

Эмигрантский быт был темой неисчерпаемой, и если не все в этом быту подлежало высмеиванию и осмеянию, то смягчающим вину обстоятельством — относилось это и ко всем остальным присяжным юмористам — могло послужить старое, и не одной земской давностью освященное двустишие:

Смеяться, право, не грешно  
Над тем, что кажется смешно.

И, может быть, Тэффи была и права.

И смешным могло ей искренно казаться все без исключения.

Ее «Городок» — это настоящая летопись, по которой можно безошибочно восстановить беженскую эпопею.

«Городок был русский, и протекала через него речка, которая называлась Сеной.

Поэтому жители городка так и говорили:

— Живем худо, как собаки на Сене...

Молодежь занималась извозом, люди зрелого возраста служили в трактирах: брюнеты в качестве цыган и кавказцев, блондины — малороссами.

Женщины шили друг другу платья и делали шляпки, мужчины делали друг у друга долги.

Остальную часть населения составляли министры и генералы.

Все они писали мемуары; разница между ними заключалась в том, что одни мемуары писались от руки, другие на пишущей машинке.

Со столицей мира жители городка не сливались, в музеи и галереи не заглядывали и плодами чужой культуры пользоваться не хотели...»

Когда-нибудь из книг Тэффи будет сделана антология, и — со скидкой на время, на эпоху, на географию — антология эта будет верным и веселым спутником, руководством и путеводителем для будущих поколений, которые, когда придет их час, тоже, по всей вероятности, будут бежать в неизвестном направлении, но, во всяком случае, не в гости, а живот спасая.

Ибо велика мудрость Экклезиаста, и не напрасно гласит она, что все в мире повторяется, и возвращается ветер на круги своя.

Pro domo sua принято писать кратко.

Правило глупое, но достойное.

Поэтому ничего не скажу про Колю Сыроежкина, «Дым без отечества», «Нашу маленькую жизнь» и «Нескучный сад».

Об этом писали другие, именитые и знаменитые.

И Бунин, и Куприн, и Алданов, и Адамович, и Зинаида Гиппиус, и Марина Цветаева, и евразийский князь Святополк-Мирский.

С меня хватит.

Единственно, что в архиве сохранилось, что, вероятно, мало кому известно и о чем, ввиду отсутствия за рубежом многих советских комплектов, может быть, и стоит упомянуть, это именно о том, что тоже называлось «За рубежом», но в кавычках.

Название это принадлежало советскому еженедельнику, посвященному эмигрантской литературе.

Редактировал еженедельник Максим Горький.

Посвятил он мне следующие строки:

«Д. Аминадо является одним из наиболее даровитых, уцелевших в эмиграции поэтов. В стихотворениях этого белого барда отражаются настроения безысходного отчаяния гибнущих остатков российской белоэмигрантской буржуазии и дворянства... Приводим несколько последних произведений поэта контрреволюционного стана».

После чего под заголовком «Поэзия белой эмиграции», — нижним фельетоном, в разворот на две страницы, как выражаются русские метранпажи, — одно за другим следуют шесть длинейших стихотворений, которые — спорить и прекословить не станем — были явно написаны не подозревавшим себя «дворянином», но в коих было столько же безысходной тоски и отчаяния, сколько почасовой платы получил за московскую перепечатку белогвардейский бард контрреволюционного стана...

\* \* \*

Не все было весело в русском городке, через который протекала Сена.

Но смешного, чудовищно-нелепого было немало.

Короновался на царство и вступил на осиротевший российский престол великий князь Кирилл Владимирович, объявивший себя Императором.

Царскосельские скачки были перенесены в Сен-Брийак, куда переехали на жительство оставшиеся в живых шуаны, камергеры с ключами и весь двор.

Городок был объявлен столицей, а в гостинице «Мажестик» на Av. Kléber состоялся Зарубежный съезд, устроенный на шальные деньги А. О. Гукасова, мечтавшего на белом коне и лихим галопом вернуться в Россию.

Богатый нефтепромышленник, получивший баснословные сум-

мы от сумасшедших англичан за ту самую нефть, которая осталась на Кавказе и которую эти самые англичане после падения большевиков — «большевики кончатся через две недели!» — собирались эксплуатировать, — Гукасов развлекался, как мог.

Издавал орган национальной мысли, который назывался «Возрождение», и устраивал собственную палату депутатов, которая именовалась Зарубежным съездом.

«Возрождение» вначале редактировал бывший редактор «Освобождения», известный экономист и ученый Петр Бегардович Струве, а впоследствии Семенов.

От «Освобождения» до «Возрождения» расстояние большое.

Во всяком случае, куда больше, чем от Штутгарта до Парижа.

Но великие люди расстоянием не стесняются, а эволюция государственных идей совершается хотя и медленно, но верно.

Ничего окончательного в этом мире нет, — окончание в следующем номере употребляется только для красоты слога.

Нечего и говорить, что между «Возрождением» и «Последними новостями» сразу установились дружеские и добрососедские отношения, а между Струве и Милюковым немедленно началась интимная «Переписка из двух углов».

На переписку Вячеслава Иванова с Гершензоном походил этот ежедневный обмен любезностями весьма мало, но литературные традиции были соблюдены.

Так или иначе, а вся эта пища богов заключала в себе немало живительных калорий, благодаря чему духовные интересы эмиграции были обеспечены на многие годы.

Появилась даже своя собственная зарубежная азбука, которая, по имени нового императора Кирилла Владимировича, получила название Кириллицы.

Весь этот русский Амбир подавлял изобретательностью, роскошью, игрой воображения, оригинальностью, новизной, пробуждал умы и веселил души.

Ничего подобного история Европы до сих пор не видела.

Никакой параллели между французской эмиграцией, бежавшей в Россию, и русской эмиграцией, наводнившей Францию, конечно, не было.

Французы шли в гувернеры, в приживалы, в любовники, в крайнем случае в губернаторы, как Арман де Ришелье или Ланжерон и де Рибас.

А русские скопом уходили в политику, в философию, а главным образом в литературу.

Были страны, которые чрезвычайно это поощряли и не только выдавали ренты и субсидии, но особых идеалистов награждали еще медалями и орденами.

Так, например, король сербский Александр пригласил к себе во дворец Зинаиду Николаевну Гиппиус и Дмитрия Сергеевича Мережковского и, под стройные звуки балалаечного оркестра, соб-

стенноручно приколот им орден Св. Саввы первой степени, с мечами и бантом.

И действительно было за что.

У Мережковского было не только большое литературное имя, но еще и особенная, недюжинная, почти патологическая страсть к раболепству и преклонению.

Великие мира сего: короли, халифы, военачальники и диктаторы — ослепляли его, околдовывали, превращали в лепешку.

В конце концов, какое имеет значение, за что именно удостоен был Мережковский королевской милости: за литературу, за пресмыкательство, за «Трилогию» или патологию?

Триумфальное возвращение из Белграда, ленты, ренты, сплетни, стихи, — «шепот, робкое дыханье», «трели соловья»...

А в городке не умолкает газетный шум, кипит словесная война.

Все пишут, все печатают, все издают.

Графоманы, скифы, младороссы, скауты, калмыки, монархисты, волчата, дети лейтенанта Шмидта, суворинские сыновья, — валяй, кто хочешь на Сенькин широкий двор.

Толчея, головокружение, полная свобода печати.

«Наш путь». «Наша правда». «Наш значок». «Стяг». «Флаг». «Знамя». «Знаменосец».

«Вестник хуторян». «Вестник союза русских дворян». «Нация». «Держава». «Русский сокол». «Русский витязь».

«Имперская мысль». «Эриванская летопись». Орган калмыцкой группы Хальмак «Ковыль».

А о количестве «Огоньков» и говорить не приходится.

И так, без перебоя, двадцать пять лет подряд, до «Советского патриота» включительно.

И все больше младороссы, младороссы, младороссы.

То есть, попросту говоря, молодые люди, не доросшие до России.

А наряду с этим роман генерала Краснова «От двуглавого орла к красному знамени».

Роман Брешко-Брешковского «На белом коне».

Роман Анны Кашиной «Жажда зачатия».

И роман госпожи Бакуниной «Твое тело принадлежит мне...»

Отдых на крапиве продолжается. Музыка играет, штандарт скачет.

\* \* \*

«Иллюстрированная Россия», еженедельник Миронова, дает ежегодный бал с танцами до утра.

Ни пройти, ни протесниться. Толпы несметные.

Туалеты не от Ляминой, а от самих себя, но все же умопомрачительные.

В программе все, что полагается:

Песня индийского гостя из оперы «Садко». Половецкие пляски.

Плевицкая в кокошнике, поет, закрыв глаза:



«Замело тебя снегом, Россия!..»

Зал неистовствует.

Лакей в ливрее несет букет белых роз, перевязанных атласной лентой.

Не хватает только кареты, чтоб выпрячь лошадей и везти любимицу собственными силами.

Через несколько лет за женой генерала Скоблина приедет карета из тюрьмы Сэн-Лазар, кокошник будет снят, и удалую жизнь свою любимица, простоволосая и в арестантском халате, кончит в одиночной камере.

Похищение генерала Миллера, председателя Воинского союза, останется государственной тайной, предателей, на случай внезапного раскаяния, расстреляют, мавр сделал свое дело, мавра — к стенке.

В неведении будущего бал продолжается.

В центре программы — конкурс красавиц, выборы королевы русской колонии.

Вспышки магия, радость родителей и светлая вера в то, что наступит же некогда день и погибнет высокая Троя, и возрожденная Россия соединится с Иллюстрированной, и танцы будут длиться всю ночь, до самой зари, до утра.

При особом мнении остаются основатели другого еженедельника, где никаких иллюстраций, никаких обывателей, никаких мещан, одни скифы:

— Карсавин, Трубецкой, Святополк-Мирский, Вернадский, одержимый В. Н. Ильин и человек с актерской фамилией Малевский-Малевич.

В подзаголовке никаких точек с запятыми, никаких многоточий, ничего недоговоренного.

«Россия нашего времени вершит судьбы Европы и Азии.

Она, шестая часть света, Евразия — узел и начало новой мировой культуры.

Возврата к прошлому нет.

И то, что совершено революцией, — неизгладимо и неустранимо».

Вдохновенные строки Блока обрамляют евразийскую прозу, после чего никаких надежд на продолжительный отдых не остается.

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль...

Тираж, однако, небольшой. Жития еженедельнику несколько месяцев. Надгробных речей никаких.

Если не считать непочтительных стихов, посвященных парижским скифам.

Уже у стен священного Геджаса

Гудит тимпан.

И все желтее делается раса

У египтян.

Паломники, бредущие из Мекки,

Упали ниц.

Верхом садятся темные узбеки  
На кобылиц.

Плен пирамид покинувшие мумьи  
Глядят с тоской.  
И скачет в мыле, в пене и в безумьи  
Князь Трубецкой.

И вот уже, развсичан, но державен,  
К своей звезде  
Стремится Лев Платонович Карсавин  
Весь в бороде...

На следующий день Карсавин звонил в «Последние новости», восхищался, хвалил, благодарил, но упрекнул в поэтической вольности:

— Вы мне прицепили бороду, а я бреюсь безопасной бритвой, и совершенно начисто...

— Хотите опровержение? Тем же шрифтом и на том же месте?..

— Нет, ради Бога, не надо!..

На этом отношения с Евразией благополучно окончились.

Остальное— дело Истории.

Которая, как всегда, вынесет свой беспристрастный приговор.

\* \* \*

Не все, однако, в смысле печатного слова, измерялось и ограничивалось «Вестником хуторян» и «Эриванской летописью».

Были неоднократные попытки издания почтенных толстых журналов и альманахов,— в Париже «Новый град», «Числа», «Окно», «Версты» под редакцией Сувчинского и Льва Шестова, в Праге— «Воля России».

Был неперемный «Русский инвалид» и отличное издание, посвященное библиографии, графике, истории словесности и русским книгохранилищам,— «Временник русской книги», который издавал и редактировал Я. Б. Полонский.

Во «Временнике» печатались статьи Милюкова, Лозинского, А. Н. Бенуа, Осоргина, Унгебауна, Кизеветтера, Кульмана, А. М. Ремизова и целого ряда других знатоков, библиофилов и просто усердных любителей и собирателей русских литературных ценностей.

Исследование Милюкова о первопечатнике Иване Федорове; статья переводчика А. Монго о рукописях Пушкина, найденных в Авиньоне; этюд Кизеветтера о московских букинистах; письма Пушкина об авторском праве и, исполненные высокого интереса и упорного труда, замечательные исследования Я. Б. Полонского, посвященные архивам кн. Волконской в Риме, В. С. Гагарина и книгохранилищам русских иезуитов в Европе,— все это сослужило и еще сослужит службу будущим историкам, языковедам и тем немногим и избран-

ным, кто, как М. А. Алданов, дышит полной грудью только в спертom воздухе библиотек, среди пыльных фолиантов и монографий.

Не всем же выбирать королев русской колонии, менять веки на веки, играть в бирюльки на зарубежных съездах или просто пить горькую от тоски по родине и плакать пьяными слезами под маринoванный рыжик и цыганский романс.

Но, конечно, первую и бесспорную роль в зарубежной литературе играли «Современные записки».

Почти двадцать лет существования, шестьдесят томов подлинного толстого журнала, огромное количество отдельных изданий — все это представляло не только героический, невообразимый в эмигрантских условиях труд, но, выражаясь языком банальных аксиом, являлось и настоящим, драгоценнейшим вкладом в историю русской культуры.

Теперь это уже не вклад, а памятник, своего рода Луксорский обелиск, в священных иероглифах которого окончательно разберутся не пристрастные и, как всегда, близорукие современники, а охлажденные чередой грядущих десятилетий, беспристрастные и равнодушные потомки.

В деле издания «Современных записок» героями труда были четверо могокан, четверо последних римлян:

Н. Д. Авксентьев, И. И. Бунаков, И. В. Вишняк, В. В. Руднев.

Воображаемые их портреты должны были бы написать художники различных школ.

Николая Дмитриевича Авксентьева — Васнецов.

Илью Буакова — Рерих.

Вадима Викторовича Руднева — Врубель.

А что касается единственного оставшегося в живых Вишняка, то ему вместо портрета я всегда предлагал нашумевшего во времена она Винниченко.

И не столько самого писателя, сколько название его романа: «Честность с собой».

Ибо никакая иная формула не могла бы со столь поразительной краткостью выразить Вишняковскую сущность.

— Честность с собой — честность с другими.

Все четыре редактора вышли из одной и той же школы старого русского идеализма, все принадлежали к одному и тому же Ордену Интеллигенции, но характеры и темпераменты у них были разные, и соединявшая их крепкая и до гробовой доски ненарушимая дружба основана была не на взаимной гармонии мыслей и согласованности идей, а на вечных спорах, схватках и противоречиях...

Крайности сходятся даже тогда, когда их не две, а четыре.

Авксентьев был благосклонен, благожелателен и добродушен.

Любил открывать заседания, давать слово, председательствовать на банкетах и приятным баритоном произносить речи и спичи.

Несмотря на официальное эсерство, тянуло его вправо, и скорее к Маклакову, чем к Милюкову.

Бунаков был бурнопламенный, горел, пылал, перегорал, испепелялся.

В качестве комиссара Временного правительства один боролся со всем Черноморским флотом, требовавшим углубления революции.

В полном изнеможении вернулся в Петроград и, подобно многим, только в самую последнюю минуту покинул советский застенок, посвятив все годы своего невольного изгнания беззаветному и страстному служению родине.

На первом месте были для него «Пути России» — ряд продуманных, выстраданных и не на легком ходу написанных им статей и очерков, посвященных русскому прошлому и настоящему.

Но превыше всех путей был для него путь религиозного устремления, путь поздно обретенной веры, тяжкое и мучительное восхождение на гору Фаворскую, вершины которой открылись ему уже в концентрационном лагере Компьена и в предсмертном бреду в немецкой газовой камере.

Бывший городской голова Москвы, земский врач и тоже правый эсер В. В. Руднев сжигал себя по-иному, и хованщина его была больше сектантской, раскольничьей, чужому глазу невидимой и недоступной.

Двигатель внутреннего сгорания работал бесшумно, но безостановочно.

Религиозный уклон требовал жертвы и отказа, а языческая сущность влекла к утехам, радостям, к короткому земному счастью.

Обвиняющий слышался голос,  
И звучали в ответ оправданья.  
И бессильная воля боролась  
С возрастающей бурей желанья.

Бурю сломила смерть. В сорок первом году, в Марселе, незадолго до устроенного друзьями отъезда за океан, в Соединенные Штаты Америки.

Остался один душеприказчик, последний спорщик, последний иконоклав, несогласный, непримиримый, никаким уклонам не подверженный, всегда при особом мнении, всегда в меньшинстве, недовольный собой, недовольный другими, правдивый забияка, прямой и самовзрывчатый, из последних римлян самый последний, Марк Вениаминович Вишняк.

Трудно писать о живых недругах, еще труднее о живых друзьях.

В семьдесят лет он еще юноша, доживем до восьмидесятилетия, — тогда и поговорим.

В «Современных записках» было собрано все, что было выдающегося в современной русской литературе.

— Бунин, Куприн, Алексей Толстой, Алданов, Борис Зайцев, Ремизов, Ходасевич, Гиппиус, Мережковский, Павел Муратов и Осоргин.

Долго печатался сибирский роман Георгия Гребенщикова «Чураевы».

Нечаянной радостью прозвучала «Нена» В. М. Зензинова.

Страстные споры вызвало появление молодого писателя Вл. Сирина.

Культурные дамы запоем читали его «Приглашение на казнь» и клялись со слезами на глазах, что все поняли и все постигли.

А не верить слезам и клятвам — великий грех.

Печатались в журнале стихи Бальмонта, Марины Цветаевой, Крандиевской, «Римские сонеты» Вячеслава Иванова и целой плеяды начинающих поэтов из «Зеленой лампы», из «Перекрестка», из «Цеха поэтов».

А что касается многоуважаемых отделов, посвященных искусству, философии, науке, политике и экономическим и социальным вопросам, то и в этой высокой и отвлеченной стратосфере сияли созвездия первой величины: проф. Ростовцев, Лосский, Чупров, Шетов, Маклаков, Милуков, Бердяев, Гершензон, Федотов, Ф. А. Степун, Мельгунов, Керенский, Вл. Жаботинский, Вейдле, Нольде и музыкальный критик Б. Ф. Шлецер, который во французских изданиях называл себя просто де Шлецер.

Особое место занимали «Воспоминания» Александры Львовны Толстой и исполненные блеска, горячности и непоследовательности, боевые и всегда вызывавшие нескончаемый спор незаурядные статьи Екатерины Дмитриевны Кусковой, которую в шутовском послании ко дню ее восьмидесятилетия я назвал Марфой-Посадницей.

Последняя книжка «Современных записок» вышла в 1937 году, и уже пятнадцать лет спустя полные комплекты журнала стали редкостью.

\* \* \*

Из далекой Советчины доносились придушенные голоса Серапионовых братьев; дошел и читался нарасхват роман Федина «Города и годы»; привлек внимание молодой Леонов; внимательно и без нарочитой предвзятости читали и перечитывали «Тихий Дон» Шолохова.

Восторгался стихами Есенина упорствовавший Осоргин и, где только мог, повторял, закрывая глаза, есенинскую строчку «Отговорила роща золотая...»

Близким и понятным показался Валентин Катаев.

Каким-то чужим, отвратным, но волнующим ритмом задевала за живое «Конармия» Бабеля.

И только когда много лет спустя появился на парижской эстраде так называемой хор Красной Армии, и, отбивая такт удаляющейся кавалерии с такой изумительной, ни на одно мгновение не обманывавшей напряженный слух, правдивой и музыкальной точностью, что, казалось, топот лошадиных копыт замирал уже совсем близко, где-то здесь, рядом, за неподвижными колоннами концертного зала, а высокий тенор пронзительно и чисто выводил этот щемивший душу рефрен — «Полюшко, поле»... — тут даже сумасшедший Бабель

стал ближе, и на какой-то короткий миг все чуждое и нарочитое показалось, рассудку вопреки, родным и милым.

Впрочем, от непрощеной тоски быстро вылечил чувствительные сердца Илья Эренбург, от произведений которого исходила непревзойденная ложь и сладкая тошнота.

Да еще исполненный на заказ сумбурный роман Ал. Толстого «Черное золото», где придворный неофит бесстыдно карикатурил своих недавних меценатов, поивших его шампанским в отеле «Мажестик» и широко раскрывавших буржуазную мощь на неумеренно роскошное издание толстовской рукописи «Любовь — книга золотая».

«Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости оттенок благородства!»

Впрочем, все это были только цветочки, ягодки были впереди: «Петр Великий» еще только медленно отслаивался в графских мозговых извилинах, и обожествления Сталина, наряженного в голландский кафтан Петра, не предвидел ни чудесный грузин, ни смущенный Госиздат.

Зато на славу развлекли и повеселили «Двенадцать стульев» Ильфа и Петрова, и первое, по праву, место занял всеми завладевший сердцами и умами неизвестный советский гражданин, которого звали Зощенко.

О чудотворном таланте его, который востину, как нечаянная радость, осветил и озарил все, что творилось и копошилось в темном тридевятиом царстве, в тридесятиом государстве, на улицах и в переулках, в домах и застенках, на всей этой загнанной в тупичок всероссийской жилплощади, о чудодейственном таланте его еще будут написаны книги и монографии.

В литературный абзац его не вместишь, и, стало быть, покуда будут эти книги написаны, одно только и остается: отвесить утешителью дней низкий земной поклон.

После Зощенко кто мог читать Демьяна Бедного, Ефима Зозулю и прочих казенно-коштных старателей и юмористов.

А ведь кроме комсомольских увеселителей были якобы и всамделишные писатели из народа, поэты от сохи, от подпочвы, которых подавала «Молодая гвардия», одергивала за уклон «Литературная газета» и производила в лауреаты Академия наук.

Где они? Кто они? Какое наследие оставили они не то что надменному веку, а хоть одной покладистой пятилетке?

Имя им — легион, произведения их — пыль.

Помнится, невзначай указал мне Адамович на одного из легиона, и тоже от сохи, некоего Мих. Светлова.

Издание «Молодой гвардии», сборник стихов «Ночные встречи».

Не приведи, Господи, встретить такого ночью!..

Но все же, для памяти, записал в записной книжке.

Четыре строчки из стихотворения «На море».

Там под ветра тяжелый свист  
Ждет меня молодой марксист.

Окатила его сполна  
Несознательная волна...

Да! Этот не то что от сохи, а от самых земных пластов, от суглинка, от рыхлого чернозема.

Такая мощь и сила в нем,  
Что, прочитав его творенья,  
Не только чуешь чернозем,  
Но даже запах удобренья.

\* \* \*

С зарубежной поэзией дело обстояло проще.

В знаменитом Тэффином «Городке», который лежал, как собака на Сене, было все что угодно, но Академии наук не было.

Лауреатов венчали в угловых кафе, но за кофе платили они сами. Все было чинно и скромно.

Молодые поэты читали стихи друг другу, а добившись славы, выступали на вечерах «Зеленой лампы», и лорнировала их в лорнет Зинаида Гиппиус, которую за несносный нрав называли Зинаидой Гепе-ус, да еще тонким фальцетом учил уму-разуму Мережковский.

Была у них и своя собственная «Поэтическая ассоциация», и «Палата поэтов», и «Перекресток», и «Объединение», и покровительствовали им и поощряли и Адамович, и Ходасевич, и В. В. Вейдле, и в торжественных случаях И. А. Бунин.

Никто их не мордовал, не затирал и никаких социальных заказов не заказывал.

Росли они, как в поле цветы, настоящие цветы жизни, хотя писали главным образом о смерти, о распаде, о тлении.

Георгий Викторович Адамович давал о них лестные отзывы и потом с виноватой улыбкой оправдывался:

— Литература проходит, а отношения остаются... Надо быть снисходительным.

Среди молодых поэтов были и старые, которые тоже считались молодыми, и когда перечитываешь «Якорь», антологию зарубежной поэзии, составленную Адамовичем и М. Л. Кантором, то просто диву даешься.

Кому нужны были эти метрические записи, справки о днях рождения и тезоименинства, все эти точные сведения о первой и второй молодости?

Но ничего не поделаешь, очевидно, в хорошем обществе так принято — за чайным столом о возрасте не говорить, но в случае антологии требовать и стихи, и паспорт.

Впрочем, от неизбежного забвения не спасает и антология.

А войти в хрестоматию не каждому суждено.

А ведь были среди молодых поэтов по-настоящему талантливые люди.

Их было немного, дипломов никто им не выдавал, но имена запомнились, стихи запечатлелись.

Дов. Кнут, Ант. Ладинский, Мих. Струве, И. Голенищев-Кутузов, Лидия Червинская, Алла Головина, Леонид Зуров, скорее, впрочем, прозаик, чем поэт.

Выделялся из них, особняком стоял один Анатолий Штейгер.

Умер он совсем молодым, в Швейцарии, в санатории для туберкулезных.

Оставил по себе милую память, легкую тень, и небольшую, тоненькую тетрадь стихов, под неожиданным названием «Неблагодарность».

Фактура стиха — дело профессиональных критиков и специалистов.

Простым смертным дано только воспринимать и чувствовать.

Испытывать невольное волнение или не испытывать ничего, равнодушно пройти мимо.

К стихам Анатолия Штейгера равнодушие неприложимо.

Никто, как в детстве, нас не ждет внизу,  
Не переводит нас через дорогу.  
Про злого муравья и стрекозу  
Не говорит. Не учит верить Богу.

До нас теперь нет дела никому —  
У всех довольно собственного дела.  
И надо жить, как все, — но самому...  
Беспомощно, нечестно, неумело.

Вспоминая бледного, хрупкого, темноглазого поэта, так рано покинувшего мир, совершенно невольно, словно повинувшись какому-то внутреннему, произвольному автоматизму, вспоминаешь и сказанную нездешними словами строку Лермонтова.

Если бы на свете были настоящие меценаты, знающие, на что надо тратить деньги, то на могиле Анатолия Штейгера уже давно стоял бы невысокий памятник из мрамора Каррары, а на памятнике было бы написано:

«По небу полуночи Ангел летел...»

Ничего не поделаешь. На свете есть много хороших и отзывчивых людей, но все они вечно торопятся, потому что страшно заняты.

\* \* \*

Редким и, может быть, единственным исключением в импровизированном хаосе зарубежных начинаний являлись «Последние новости».

Возникли они из небытия, но оформление их произошло быстро, и бытие оказалось прочным, крепким и на долгие годы обеспеченным.

Ни тарелочного сбора, ни меценатских щедрот.



Все шло самотеком, издателям на утешение, заграничному отечеству на пользу.

Тираж рос, подписчиков хоть отбавляй, отдел объявлений работал до отказа, и в пятом часу утра уже на всех парижских вокзалах грузились кипы свежих, вкусно пахнувших типографской краской номеров, с заманчивой бандеролью:

Лион, Марсель, Гренобль, Нью-Йорк, Белград, Вена, София, Истамбул, Англия, Швейцария, Испания, Алжир... полный курс географии, до Гонолулу включительно.

«Дубовый листок оторвался от ветки родимой», и судьба раскидала людей по всему лицу земли.

Отсюда и география.

В директорском кабинете одиноко заседал бывший член Государственной Думы, по убеждениям кадет, по образованию агроном, Николай Константинович Волков.

Заседал он двадцать лет без малого, и все подсчитывал строчки.

Коммерческую часть держал крепко, при слове аванс покрывался легкой испариной, в издательском деле ровным счетом ничего не смыслил, но общественное добро берег как зеницу ока.

На заседаниях правления Волков долго и обстоятельно докладывал, а председательствовал Александр Иванович Коновалов, бывший московский миллионер, член Временного правительства, старый либерал и общественный деятель.

Ал. Ив. скучал, хмыкал, что-то такое жевал, выпячивал нижнюю губу и явно томился.

Был у него широкий размах, привычка к большим делам и, по сравнению с «Товариществом мануфактур Ивана Коновалова с сыном», микрокосм заграничной газеты казался ему чем-то бесконечно малым.

В соседних комнатах на улице Тюрбиго, над кофейней Дюпона, работала контора, принималась подписка, пожертвования в пользу больных, неимущих, инвалидов, а по субботам выдавались гонорары, вычитывались авансы, и заведовавшая буфетом Любовь Дмитриевна, вдова Потемкина, отпускала в кредит сладкие пирожки собственного изделия и кузьмичевский чай в стаканах.

Но самое священнодействие происходило на другом конце огромного, занимавшего целый этаж редакционного помещения.

В четыре часа дня, летом в жару, зимой в холод, с регулярностью человека, до конца исполняющего свой долг, появлялся П. Н. Миллюков.

Неумный, широкоплечий, охраняющий входы Н. В. Борисов, за которым впоследствии так навсегда и установилось звание «папин мамелюк», вытягивался во весь свой рост и в узком коридоре первым встречал Павла Николаевича.

Папаша — так заочно именовали главного редактора — немедленно следовал во внутренние покои и сейчас же принимался за чтение рукописей, которые раньше всех и с немалым остервенен-

нием уже зорко просмотрел Ал. Аб. Поляков и для проформы пере-листал И. П. Демидов.

Милюков читал долго, упорно и добросовестно. От строки и до строки.

Несмотря на всю свою благожелательность, подход к авторам у него был заранее подозрительный.

Всюду чувствовались крамола, контрабанда, отступление от «генеральной линии».

Надо сказать правду, что подозрительность его имела основания, ибо в смысле политических убеждений, склонностей и симпатий — состав сотрудников «Последних новостей» единого целого далеко собой не являл.

Старика Мякотина упорно тянуло к народным социалистам. Ст. Иванович (Талин) был закоренелый марксист. М. А. Осоргина, вообще говоря, пленяло всякое безначалие, голый человек на голой земле! живи, как хочешь! и прочие дерзостные уклоны и выпады. А Николай Викторович Калишевич, подписывавший свои нижние фельетоны, или, как их еще называли, подвалы, именем Р. Слоцова, был, попросту говоря, человеком правых убеждений.

Неисправимой правизной страдал и ближайший помощник редактора И. П. Демидов, и загадочный и молчаливый Конст. Конст. Парчевский, и кн. В. В. Барятинский, и любимец публики капитан Лукин, и бывший начальник главной императорской квартиры, а впоследствии военный обозреватель, генерал Данилов, и дававший то, что принято называть большой хроникой, Н. П. Вакар, и не занимавшаяся политикой, но слегка косившая вправо Надежда Александровна Тэффи.

Да я и сам, что греха таить, не единожды подвергался редакторским обвинениям в нарушении линии.

Помню, как на заре этих уже далеких дней влетело мне по первое число за несколько невинных строк в стихотворном послании, называвшемся «Писаная торба».

Могу ли ждать от тучных генералов.  
Чтоб каждый раз в пороховом дыму  
Они своих гражданских идеалов  
Являли блеск и в Омске, и в Крыму?

Когда в поход уходит полк казацкий,  
Могу ль желать, чтоб каждый на коне  
Припоминал, что думал Златовратский  
О пользе грамоты в безграмотной стране?

Ах милые! Вам надо до зарезу,  
Я говорю об этом, не смеясь,  
Чтоб даже лошадь ржала Марсельезу,  
В кавалерийскую атаку уносясь...

Всецело преданным папашиным заветам и директивам оставались, пожалуй, немногие.

А среди немногих — заведовавший иностранной хроникой М. Д. Бенедиктов, молодой, мечтавший о политической карьере,

республиканский буквоед и фаворит А. Ф. Ступницкий; и талантливый и неуравновешенный петербургский доцент Александр Михайлович Кулишер, в литературе Юниус, а по прозвищу, придуманному беспощадным Абрамычем (А. А. Поляковым), — сумасшедший мулла.

Сумасшедший мулла был человеком в высоком смысле образованным, написал немало объемистых томов по социологии, государствоведению и философии истории.

Но, как говорили многочисленные завистники и недоброжелатели, был он не столько историк, сколько истерик.

Павла Николаевича он утомлял, но и околдовывал.

Зато от генеральной линии не оступал ни на шаг и в смысле чистоты риз был хотя и нелеп, но умилителен.

Конец его был страшен: во время немецкого владычества за какую-то провинность, а может быть и просто нелепость, сумасшедшего мулла забили лагерной плетью, и забили насмерть.

\* \* \*

Невзирая, однако, на разнокалиберность состава и на неодинаковость склонностей и убеждений, жили мы на редкость дружно, тесно, а порою и весело.

Душой газеты и настоящим, неполитическим ее редактором был, разумеется, все тот же А. А. Поляков.

Миляков возглавлял, Поляков правил.

Альбатрос парил в поднебесье, рулевой стоял у руля.

Стоял и наводил панику на окрестности.

Сокращал Минцлова, укрощал многострочного Вакара, доказывал Павлу Павловичу Гронскому, что Милюков статьи его все равно не пропустит, и красным карандашом, краснее которого не было на свете, перечеркивал опасные места, советуя их исправить заранее.

Потом, завидев Полякова-Литовцева, хватался за голову и затыкал уши, ибо наперед знал, что Литовцев не только развернется на два полных подвала, но еще будет читать всю свою многоверстную статью вслух и после каждого абзаца захлебываться и требовать шумного и немедленного одобрения.

А специальностью Абрамыча было все, что угодно, но во всяком случае не восхищение и не угождение.

Андрей Седых, которого все любили за веселый нрав и несомненное остроумие, говорил по этому поводу, что в России было три слюваря — один Грота, другой Даля и третий Ал. Абр. Полякова.

На что Поляков неизменно отвечал ему одной и той же тирадой, выдернутой на этот случай из какого-то моего давнишнего альбома пародий.

— Эй вы, Седых, чертова кукла, идите-ка сюда и послушайте!

Седых, не подымаясь с места, сейчас же и весьма непринужденно парировал:

— Лучше быть чертовой куклой, чем очковой змеей.

Прозвище было придумано все тем же своевольным Андреем и заключало в себе весьма прозрачный намек на знаменитые Абрамычевы очки, через стекла которых сверкал и пронзал очередную жертву неумолимый взгляд когда-то голубых глаз.

Поляков терпеливо и угрожающе ждал, пока Седых, под непрерывный стук пишущих машинок, не выговорит весь свой репертуар.

— Красноречивей слов иных очков немые разговоры!..— продолжал подливать масла в огонь неуминавшийся король репортажа.

Наконец, когда уже все реплики были очевидно исчерпаны, Седых без всякого энтузиазма подходил к столу Саванароллы — еще одно из многих прозвищ Абрамыча — и с невинным видом спрашивал:

— Вы мне, кажется, хотите сказать что-то приятное?

Поляков наклонялся через весь стол и с убийственной отчетностью произносил свою излюбленную фразу:

— Я вам хотел сказать, молодой человек, то, что вам хорошо известно...

— А именно?— продолжая криво улыбаться и уже заранее трясаясь от душившего его смеха, наигранной октавой спрашивал Седых.

Все четыре машинки во мгновение ока останавливались, и Поляков, комкая отчет о заседании Палаты, только что отстуканный королем репортажа, уже в полном бешенстве выражался вовсю:

— Известно ли вам, молодой человек, что заседания Палаты депутатов происходят в Париже, а не в Феодосии? И что то, что вы переводите с французского, предпочтительно переводить на русский, а не на крымско-татарский?

— А именно?— продолжал уже менее независимо вопрошать уроженец Феодосии Седых.

В ответ на что Саванаролла шумно отодвигал свой расшатанный, с просиженным сиденьем, стул и, тыкая изуродованную красным карандашом рукопись под самый подбородок ошарашенного референта, уже не орал, а гремел:

— А именно... Вы еще смеете спрашивать. А именно то, что, как выразился один из наших сотрудников:

И при Гроте, и при Дале  
Вам бы просто в морду дали  
За подобные слова!

Чтоб заглушить хохот, все четыре машинистки сразу ударяли по всем своим клавишам, и под стук четырех «ундервудов» исторический диалог замирал.

Повторялись эти дружеские перебранки не только ежедневно, но и по нескольку раз в день.

В отношении работы Поляков был нетерпим и спуска не давал никому.

Попадало Швырову за перевранное сообщение из Лондона; попадало Шальневу за такое неслыханное преступление, как то, что бего-

вая лошадь взяла первый приз на скачках, когда нужно было сказать на бегах; гром и молнии обрушивались на голову бедного Сумского, который позволил себе информационную заметку о присуждении Нобелевской премии неожиданно закончить латинским изречением — *Saveant consules!* — явно намекая на то, что он, Сумский, с мнением жюри не согласен.

— А кто вас спрашивает, согласны вы или нет? И вообще куда вы лезете, и причем тут латынь?

Вслед за чем следовало несколько избранных выражений, которых, как правильно говорил Седых, нельзя было найти ни у Грота, ни у Даля.

Но в особенный раж приводили его пишущие дамы, как называл их Чехов, приносившие «небольшой рассказ».

Борисов, дежуривший у телефона, приходил и спрашивал:

— Звонила госпожа Беляева, просит сказать, когда будет напечатан ее рассказ «Любовь до гроба».

— Пошлите ее...

Борисов, однако, продолжал настаивать:

— Но что же ей все-таки сказать?

— Скажите ей, пусть повесится!

Папин мамелюк больше не настаивал, и уже только из коридора слышно было, как он, пытаясь сгладить шероховатости, вежливо и нагло сообщал:

— Редактор сейчас очень занят... будь добры позвонить завтра и спросите моего коллегу Шарапова... завтра его очередь дежурить у телефона, он вам обязательно все скажет!

Несмотря на крутой нрав и постоянные выходы и заушения, Полякову все прощали за его необыкновенную преданность газете, за его недюжинный профессиональный опыт, добросовестность, честность, прямоту, а в особенности за это на редкость безошибочное чутье старого воробья, которого ни на какой мякине не проведешь.

Кроме всего прочего, то есть чтения рукописей и редакторской правки, газету надо было сочинять, изобретать, выдумывать, а не так просто, здорово живешь, помечать шрифты и сдавать в набор.

Павел Николаевич Милюков был искренно убежден, что главное в газете — это передовая.

Коммерческий директор, ученый агроном Волков, тоже не менее искренно полагал, что главное в газете — это объявления, и по преимуществу похоронные.

Ибо тариф для покойников был самый высокий.

И конечно — что и говорить! — понимал и творил газету один Поляков.

Работал он до четырех часов утра, курил крепчайший табак, который сам называл антрацитом, сам верстал все восемь страниц, не доверяя ни метранпажам, ни наборщикам, а после всех корректоров сам держал последнюю корректуру.

Уходил из типографии вконец измочаленный, всегда недовольный и собой и другими, и, только выйдя на чистый воздух, жадно за-

тягивался энной папирсой и сам про себя повторял вслух, не то по привычке, не то из какого-то неосознанного суеверия:

— О, Господи, Господи! Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его!

А в половине второго дня сидел уже за редакционным столом и «сочинял» завтрашний номер.

— Заказать военный обзор полковнику Шумскому; послать Вакара в Медон по делу об убийстве, а Андрея Седых к митрополиту Евлогию; напомнить Адамовичу дать статью по случаю столетия со дня рождения или со дня смерти,— значения не имеет; дернуть Я. Я. Кобецкого насчет его биржевых заметок; приструнить Иноземцева за обзор печати,— большую себе волю забрал, много комментирует, мало цитирует; уломать Волкова насчет поездки Парчевского в Парагвай; сказать этому черту, Петришеву, чтобы прекратил свое неуместное заигрывание с «искренними коммунистами»; вдвое сократить милейшего князя Сергея Михайловича Волконского, который так растекся мыслью по древу, словно дело идет не о «Помолвке в Галерной гавани», а о трагедии Эврипида.

А еще что? Ах, да! Прочитать, наконец, рассказ Даманской,— третий месяц в ящике лежит, а Августа Филипповна, конечно, скупает.

Обо всех этих думах, заботах, тревогах и треволнениях, о вечной и упорной борьбе с рекламой, пошлостью, разгильдяйством, наездничеством, а часто и с вопиющей безграмотностью, знали все, кроме самого Павла Николаевича Милюкова.

И так случилось, что только под занавес, после того, как «Последних новостей» уже и след простыл, во время оккупации, в горах Савойи, в Aix-les-Bains привела судьба встретиться с Милюковым — в иных условиях, в иной обстановке, в номере «Международной гостиницы», где на убогом письменном столе, между склянок с лекарствами, разбросаны были мелко исписанные листки последней рукописи, которая называлась «Московский дневник — университетские годы».

Милюков и болел, и умирал, как тургеневский Базаров, любимый его герой.

Никогда не жаловался, ни о чем не просил, никого не затруднял, не тревожил.

— Не откажите в пустяке, согласитесь быть моим душеприказчиком...

Печально было это слушать, и неожиданно.

Мне всегда казалось, что Милюков меня скорее терпел, как в некотором роде необходимое зло в газете, и вдруг такой необычайный, ничем как будто не оправданный переход к близости, доверию, почти к совсем дружескому, милому отношению.

Отказаться было нельзя. Нотариус требовал душеприказчика на месте, остальные были в Париже и в Лондоне.

Пришлось согласиться. Павел Николаевич был искренне дово-

лен, благодарил и крепким Базаровским рукопожатием подчеркнул свою трогательную признательность.

Встречались мы с ним часто почти в течение года с лишним, и закат его был высокий, ясный, Олимпийский.

Рассказывал он о многом, о пережитом, о прошлом, и в голосе его звучали ноты, исполненные чарующей мягкости.

Открытие, познание человеческой души приходит всегда слишком поздно.

Чужой печали верьте, верьте!..  
Непрочно пламя в хрупком теле.  
Ведь только после нашей смерти  
Нас любит так, как мы хотели.

Из савойских разговоров особенно запомнился один.

П. Н. сидел в кресле, укутав ноги пледом, и долго смотрел на карту Европы, висевшую напротив, на стене.

Карта была утыкана разноцветными бумажными флажками, точно определявшими линию русского фронта.

— Глядите, наши наступают с двух сторон и продвигаются вперед почти безостановочно...

Глаза его светились каким-то особым, необычным блеском.

Он сразу оживлялся и повторял с явным, подчеркнутым удовлетворением:

— Наш фронт... наша армия... наши войска...

В устах этого старого непримиримого ненавистника большевиков слово «наши» приобретало иной, возвышенный смысл.

В самые тяжкие и, казалось, безнадежные моменты он ни на один миг не переставал верить в победу союзников, в победу русского оружия.

До окончательного триумфа он так и не дожил.

...Разговор, как это часто бывало, опять перешел на прошлое.

— Скажите, — спросил он со свойственной ему прямоотой, улыбаясь и глядя в глаза собеседнику. — Правда ли, что меня в редакции называли Альбатросом, и что это, собственно говоря, значит?

Уклониться от ответа было невозможно, да может быть, и ненужно.

— Да, это правда, Павел Николаевич. Есть такое стихотворение французского поэта Бодлера в вольном переводе Якубовича, П. Я.

В стихотворении этом поэт описывает горделивый полет альбатроса, мощно расправившего свои белые крылья, высоко парящего в небе, в недостигаемых облаках, над синим морским простором.

Нет ему равного на свете, белому альбатросу! Только бы и парить, взлетать все выше и выше, властвовать над горизонтами, подыматься над самую стратосферой.

Но стоит ему опуститься на палубу проходящего корабля, как не узнать гордой птицы!

Опустив могучие крылья, неуклюже ступает он, переваливаясь с боку на бок, по скользкому настилу, и пьяный матрос забавы ради

сует ему кнастер в клювы, и всякая проходящая масть куролесит и измывается над одиноким царем просторов...

Ответственный редактор только улыбнулся, не то загадочно, не то с каким-то неуловимым оттенком грусти.

Сравнение с бодлеровским персонажем было, очевидно, и лестно, и огорчительно.

Отступать было поздно, Базаров требовал уточнений.

— Идея государства, философия, культура, история русской интеллигенции, Британская энциклопедия — все это, если хотите, принадлежит вам неотъемлемо, все это есть ваш мир, ваша стратосфера! Но стоит вам столкнуться с грубой каждодневной действительностью, с обыкновенными людьми, с обыкновенной житейской прозой...

— Продолжайте, продолжайте, — уловив мое невольное смущение, настаивал Милюков, — все это более чем интересно, а главное... неожиданно.

Шлюзы были открыты, пришлось продолжать.

— Вспомните, Павел Николаевич, ваше недавнее окружение, ваши мнения, оценки людей, отношение к отдельным лицам и сотрудникам.

Вашей правой рукой и ближайшим помощником считался И. П. Демидов. Он вам длинно докладывал, вы терпеливо слушали.

Все ваши распоряжения, внушения и редакционные требования передавались через него, как говорится, к руководству и к исполнению.

Демидов усердно поддакивал, никогда не спорил, со всем соглашался, и, выйдя из вашего кабинета, в полном отчаянии воздевал руки к небу, и, дав волю желчи и раздражению, неизменно раздражался одной и той же тирадой:

— Клянусь вам, господа, что старик меня с ума сведет!

А происходило это оттого, что мир Демидова был не ваш мир, и мировоззрение его было не ваше, и вкусы его, и склонности, и тяга вправо, а не влево — все было диаметрально противоположно тому, во что вы сами верили и в чем были раз и навсегда убеждены.

Так шли годы, а вы всего этого не видели, не чувствовали, не замечали и были трогательно уверены, что вокруг вас царит тишь да гладь да Божья благодать и что все в высшей степени благополучно в королевстве датском! Очевидно, политическое прозрение — это одно, а обыкновенная человеческая зоркость — совсем другое... И выходило так, что жрецы не столько поклонялись и слепо верили, сколько терпели и приспособлялись.

А вот, например, Ал. Абр. Полякова, который, по совести говоря, был единственной душой дела и являлся действительным, а не политическим редактором «Последних новостей», вы раз и навсегда произвели в техники и искренно считали его полезным элементом, ночным выпускающим, чем-то вроде главного метрапжа.

Но так как этот городской сумасшедший и неистовый Роланд никаких ни чинов, ни орденов, а наипаче, лавров никогда не доби-



вался и не искал, то так оно по раз заведенному ритуалу и продолжалось: Милюков возглавлял, а Поляков претворял в действительность и облакал возглавление плотью и кровью!

Павел Николаевич только беспомощно развел руками и почти торжественно, но тихо сказал:

— Да, да... Может быть, это и так... Может быть, вы правы.

И сейчас же добавил:

— Однако продолжайте, продолжайте. Никогда не поздно познать истину!

Разговор коснулся знаменитой делегации южноамериканских коммунистов, пришедших якобы поклониться, покаяться и испросить политических указаний на будущее...

Милюкова неоднократно предупреждали, что все это блеф, выдумка и главным образом скороспелый и неуклюжий шантаж.

Но Павел Николаевич стоял на своем, по тем временам покаяние и невозвращенство было еще новостью и, кто его знает, может быть, чревато важными и неожиданными последствиями.

В плане разговора о человеческой зоркости воспоминание о приеме делегации оказалось чрезвычайно кстати.

Бывший министр иностранных дел трогательно сознался, что на этот раз он действительно дал маху, и продолжал настаивать на продолжении начатого:

— Очевидно, «ошибка молодости» числится за мной немало...

Пришлось к слову, вспомнили Николая Викторовича Калишевича-Словцова, которого ответственный редактор неизменно подозревал чуть ли не в саботаже, в намеренном искажении генеральной линии и в упорном противодействии будущему республиканско-демократическому строю...

Между тем не кто иной, как Калишевич, в каждое свое дежурство в качестве ночного редактора, с поразительной честностью и истинным сознанием долга, далеким от всякого приспособленчества, прочитывал от строки до строки все так называемые руководящие статьи и переделывал и, заметив малейшее уклонение от великодержавной программы, беспощадно откладывал в сторону и Юниуса, и Петрищева, и Е. Д. Кускову, и Дионео, и самого П. Н. Милюкова.

На следующий день происходило соответствующее объяснение, и Павел Николаевич должен был неоднократно соглашаться, что состав преступления, порой даже в его собственных статьях, был налицо и что ночной редактор был совершенно прав.

— А вы, Павел Николаевич, считали Словцова, несколько не скрывавшего своей так называемой правизны, чуть ли не врагом и уж, во всяком случае, явным недругом!

Павел Николаевич сосредоточенно слушал и молчал, как молчал бы все тот же Базаров, в присутствии которого кто-то другой скальпелем вскрывал очередную лягушку.

От Словцова перешли к Волкову и папашиному фавориту Ступницкому.

И тот и другой были несомненно прямолинейные и по-своему честные люди.

Но у каждого из них прямая линия неизбежно упиралась в тупик, а честность в убогую узколобость.

Волков верил в Бога, в сибирское землячество и в доктора Манухина.

В газете ровным счетом не смыслил ничего.

Несмотря на это, Милюков считал его достойным себе наследником и преемником и, вероятно, искренно думал, что дело «Последних новостей» находится в крепких и надежных руках.

Арсений Федорович Ступницкий был на ролях любимого ученика, перипатетика и дофина.

Республиканско-демократическую азбуку знал назубок, и в идеях государственного порядка смыслил столько же, сколько Николай Константинович Волков в издании газеты.

Так оно впоследствии и оказалось.

В разговоре, который происходил в номере «Международной гостиницы», ни сам Малюков, ни случайный его собеседник предвидеть то, что случится, разумеется, не могли.

Ибо и Фома неверующий, и любой самый мрачный и последовательный мизантроп были бы бессильны, положила руку на сердце, предсказать, в какой эволюционный тупик зайдут достойные и надежные наследники Милюковских заветов и традиций...

«Русские новости» 45-го года, бесцеремонно провозгласившие себя идейными продолжателями «Последних новостей», поклонившиеся до земли, распластавшиеся, расплющившиеся в лепешку перед гениальным Сталиным, наводнившие столбцы безоговорочно советского листка статьями возрожденского молодца и немецкого наймита Льва Любимова и фельетонами ухаря-перебежчика Николая Рощина,— и все это под редакцией Ступницкого, и при директоре-распорядителе ученом агрономе Волкове, да при благосклонном участии,— правда только поначалу, потом сообразили и одумались,— многих иных, именитых и знаменитых... до всего этого, благодарение судьбе, Милюков не дожил.

Ибо горько и невыносимо было бы горделивому альбатросу, покинув заоблачную лазурь, в последний раз спуститься на скользкую корабельную палубу, где вприсядку плясала оголтелая матросня.

\* \* \*

— Ну, что ж, альбатрос так альбатрос!.. По-моему, это даже лестно,— прервал внезапно наступившую паузу и все с той же милой и полусмущенной улыбкой подвел черту Милюков.

Но отпустить собеседника не отпускал, чувствовалось, что одинок он, предоставлен самому себе и что ворошить прошлое не скучно ему, а скорее даже приятно, лишь бы было с кем...

Стали перебирать всякие пустяки.

Вспомнили и знаменитый единственный эмигрантский фильм, показанный на писательском балу, в «Лютеции».

— А помните, как вы меня загримировали Фритьюфом Нансеном?

— Как же не помнить! А помните вы, Павел Николаевич, как мы вас усадили за шахматной доской с Петром Струве, а Алехин изображал арбитра, и с какой поразительной самоотверженностью вы отдавали себя на полное растерзание художникам, техникам, поставщикам, и в особенности главному режиссеру Н. Н. Евреину?

— Да, все это было чрезвычайно удачно задумано и сделано, а главное, все были моложе, моложе...

Какая-то спокойная грусть опять прозвучала в его голосе.

Надо было что-то придумать, как-нибудь отвлечь, развлечь старика.

— А известен ли вам такой случай, Павел Николаевич, из нашей редакционной жизни?

— Про что именно?

— А про то, как пришел в редакцию какой-то почтенный, но сурового вида господин и заявил, что желает видеть Милюкова.

— А как доложить? — спрашивает Шарпов.

А он этаким страшным басом и на самой низкой октаве и отвечает:

— Скажите, что я муж Георгия Пескова!

П. Н. до того развеселился, разразился таким милым, почти юношеским смехом, что у него даже очки запотели от невольно набежавших слез.

Пояснений никаких не требовалось, старый редактор сразу вспомнил, что Георгий Песков был псевдоним одной из многоуважаемых дам, обогащавших газету длинными рассказами с продолжением в следующем номере.

Разговор явно затянулся, вид у П. Н. был утомленный, я стал прощаться, а он все благодарил и благодарил, долго тряс руку и, с трудом встав с кресла, уж у самых дверей вспомнил и даже наизусть процитировал несколько запомнившихся ему строк из моего юбилейного посвящения на приснопамятном банкете, у Феликса Потэна.

Вышел я от Милюкова с огорченным сердцем, но от какой-то большой тяжести освобожденным.

— Сказал — и облегчил душу.

А восьмидесятилетнего старика было по-настоящему жаль.

Не так уж много Милюковых на белом свете.

Много за его долгую жизнь копошилось вокруг него всякой человеческой скверности и мрази, завистливой и убогой посредственности, тупости, глупости и безответственного бахвальства, а наипаче всего пошлости.

А в этот страшный сорок второй год, когда сделки с совестью совершались не ежедневно, а ежеминутно, и все эти бесчисленные Роцины, Любимовы, Лоллии Львовы, Жеребковы, графини Черныше-

вы и Солоневичи бесстыдно лизали немецкие ботфорты и ездили в полоненные русские города издавать газеты и просвещать «освобожденный» народ, а Дмитрий Сергеевич Мережковский истошным голосом вопил и кликушествовал во все микрофоны германского штаба,— одно сознание, что Милюков жив, было отдохновением, успокоением для души, одной из немногих надежд, одной из немногих точек опоры.

Не про него ли это было сказано, не к нему ли была воистину приложима исполненная высокой грусти, вдохновенная, проникновенная строка?

— Белеет парус одинокий..

\* \* \*

— Мишка, крути назад!

1 марта 1931 года.

Никакой заслуги в том, что дата эта приводится со столь разительной точностью, нет.

Ибо, несмотря на бурную деятельность немецких гауляйтеров, очищавших и по приказу повешенного впоследствии Розенберга вывозивших в Германию все, что имело хоть какое-нибудь отношение к политической или бытовой истории русской эмиграции, в архиве автора, нетронутым предшественниками канцлера Аденауэра, случайно уцелело и ниже приводимое посвящение П. Н. Милюкову по случаю десятилетия его редакторской деятельности в «Последних новостях».

Чествование, или банкет, скорее, семейный праздник в слегка расширенном по такому случаю кругу сотрудников и ближайших единомышленников П. Н., происходил в ресторане Félix Potin'a, помещавшемся на первом этаже (обычно ресторан предназначался только для деловых завтраков и вечером был закрыт), как раз над гастрономическим магазином того же, славившегося своим бакалейным товаром парижского épicerie.

Поэтому все участники этого эмигрантского торжества и приглашенные, а было их около ста человек, собравшись к 8-ми часам вечера, после закрытия магазина, должны были, чтобы попасть на банкет, пройти чрез длинные анфилады внушительных холодильников, прилавков, стоек, полок, столов, уставленных розовой ветчиной, страсбургскими паштетами, миланскими колбасами, всякими остропахнущими добротными сырами, копченьями, соленьями, бочками маслин, сельдей и прочей грешной и аппетитной снеди, вызывавшей, как у Павловских собак, немедленные условные рефлексы.

Все это было настолько неожиданно и... оригинально, что покойный Г. М. Арнольди, «председатель русско-демократического объединения», обладавший вкусом и злым языком, не выдержал и так и буркнул одному из главных растяп и устроителей:

— Чехова хоронить привезли в вагоне от устриц, а чествовать Милюкова будут в бакалейной лавке...

Несмотря, впрочем, на эту действительно неосмотрительную нелепость — распорядителем был один из бывших министров Временного правительства,— сам юбиляр, как и следовало ожидать, не обратил на холодильники ни малейшего внимания и с обычной своей несколько смущенной, столь знакомой всем улыбкой торжественно проследовал меж рокфоров и лимбургских сыров, прямой и слегка розовый, ведя под руку незабываемую Анну Сергеевну, седую, вечную курсистку, а на склоне лет председательницу общества университетских женщин.

Местничества и табели о рангах в этом своеобразном мире почти и не существовало, но все же само собой, а вышло как-то так, что главный штаб фатально очутился поблизости к своему редактору, а остальные уселись как попало.

Сразу стало шумно, непонятно, уютно и весело.

Заговорили все сразу, прямо через столы и по диагонали, сбоку и наискосок, так что обносившие блюда французские лакеи только растерянно улыбались и смущенно переглядывались с непроницаемыми метрдотелями.

Речи начались рано и кончились поздно.

Вспоминали прошлое, пили за будущее, «подымали свой бокал», кто-то, конечно, расчувствовался и так и сказал, что слезы мешают ему говорить, после каждой речи следовали бурные аплодисменты и троекратные лобызания юбиляра, который, как и все в жизни, и это перенес стоически.

Во всем этом было много теплоты, немало искренности, но немало и умолчаний и опасных уклончиков от генеральной милюковской линии, как ядовито пояснял Мих. Андр. Осоргин.

— Ну, а теперь, после ужина горчица, и, стало быть, очередь за вами,—ласково, но не без редакторской повелительности обратился к автору настоящих воспоминаний ставший под конец совсем пунцовым Павел Николаевич.

Приветствие было в стихах, и, конечно, не только заранее написано, но по просьбе А. И. Коновалова отпечатано на правах рукописи в количестве 60-ти экземпляров под нейтральным заглавием «Всем сестрам по серьгам» и с пометкой даты: 1 марта 1921—1 марта 1931.

На расстоянии лет, десятилетий даже, все так переменялось, поблекло, безвозвратно ушло, навсегда умолкли когда-то бодрые, молодые голоса, а от многочисленных и шумных участников банкета,—или, как говорил все тот же Арнольди, «Пир» Платона у Потэна,—осталась в живых только малая горсть, и то рассеянная по всему лицу нерусской земли.

Но если, рассказывая о том, что было, не следует увлекаться ни дружбой, ни родством, ни ожиданием выгод, то, может быть, тем более неуместно поддаваться гамлетовским сомнениям и задавать самому себе все равно нерешенный и неразрешимый вопрос: стоит ли ворошить прошлое?..

После предисловий и реверансов и, разумеется, с некоторыми не-

избежными пропусками и сокращениями — ведь у каждой эпохи есть своя акустика,— вот это покрытое земской давностью юбилейное посвящение, последние экземпляры которого исчезли, как и весь Пражский архив, в котором они находились.

Горит восток зарею новой...  
Уже на Пляс Палэ-Бурбон  
Седой, решительный, пунцовый,  
Свои стопы направил он.

Вокруг — сотрудников шпалеры.  
Ползет молва из-за кулис.  
В кустах рассыпались эсеры.  
Гудят грузины. Брызжет Рысс.

Сквозь огонь окопов прет Изгоев.  
На левом фланге — сам Чернов.  
На правом в качестве героев  
Застыли Марков и Краснов.

Отрядов пестрых Мельгунова  
«Нависли хладные штыки».  
Вдали мелькают вежи Львова.  
Заходят в тыл меньшевики.

Тогда не свыше вдохновенный,  
На то он слишком атеист,  
А точный, ясный, неизменный.  
И, как всегда, позитивист,

Одной и той же предан думе,  
И, не витая в небесах,  
Все в том же сереньком костюме,  
Давно протертом на локтях,

«Идет, Ему коня подводят...»  
Но таково его утро —  
Он лошадь роскошью находит  
И опускается в метро.

И, путь вторым проделав классом,  
Слегка смущенный, весь в пыли,  
К верхам, к низам, к эрдекам, к массам  
Выходит вновь из-под земли.

В его руках — передовая.  
На пальцах — кляксы от пера.  
«И се, равнину оглашая,  
Далече грянуло ура.

И он промчался пред полками»,  
Простой, решительный, седой,  
Сверкая круглыми очками...  
«За ним вослед неслись толпой»

Гнезда папаши Милокова  
Достопочтенные птенцы,  
Его редакторского слова,

Как выражается Кускова,  
Издревле верные жрецы:

Демидов, ласковый и смуглый,  
И Волков, твердый, как булат.  
И Коновалов, с виду круглый,  
А по характеру — квадрат.

Маститый Неманов-Женсвский,  
Борисов, папин мамелюк,  
Научный двигатель Делевский,  
И просто двигатель — Зелюк.

И все проделавший этапы  
Столь многочисленных карьер,  
И посвященный буллой папы  
В чин кардинала Кулишер.

И хмурый Марков, вождь казацкий,  
Дитя землячеств и станиц.  
И, наконец, профессор Шацкий,  
«Одно из славных русских лиц»...

И, с анархического флаига,  
Немного буйный Осоргин.  
И капитан второго ранга  
Отшвартовавшийся Лукин.

Князя — Бяратинский, Волконский,  
Князь Оболенский, Павел Гронский,  
И Зуров, Бунинский тиун.  
Последний римлянин Лозинский,  
Всегда обиженный Ладинский,  
И Сумский, он же и Каплун.

И Адамович ядовитый,  
Чей яд опаснее боа,  
И сей, действительно маститый  
И знаменитый Бенуа.

И рядом маленький Унковский,  
И Дионео, он же Шкловский, —  
Полу-Эйнштейн, полу-Бергсон.  
И Шальнев, харьковский иль тульский,  
И пронизательный Мочульский,  
И тьма министров и персон.

И, с виду дож венецианский,  
Не граф, но все-таки Сперанский,  
И Мад, и вдумчивый Цетлин,  
И Абациев, горный сын,  
Наш Богом даниый осетин.

И Оцуп, выдумавший «Числа».  
И Мейснер, спирт и скипидар.  
И на строку глядевший кисло  
Братоубийственный Вакар.

И, по обычаю Прокруста, —  
Рукой Абрамыча-отца

Усекновенная Августа  
Без предисловья и конца.

И он, осолнечен, олуен,  
Пред ликом чьим лишь ниц падешь,  
О ком сказал директор: — Бунин  
Уж очень дорог, но хорош!

И дважды крупный Калишевич,  
Как таковой, и как Слозцов.  
И Мирский, он же и Гецевич,  
Из оперившихся птенцов.

И Кузнецова — дочь курганов,  
И сам блистательный Алданов,  
И Вера Муромцева, и —  
Усердный Зноско, чьи статьи  
Почище всяческих романов.

И Азов, старый сибарит.  
И Поляков из объявлений.  
И наш Ступницкий, наш Арсений,  
Папашин новый фаворит.

И указательный, как палец,  
Мякотин, местный иерей.  
И Жаботинский, друг-скиталец  
И друг «Последних новостей».

И Бенедиктов благородный,  
И Метцлей, выводок дородный,  
Зажатый Волковым в кулак.  
И счастья баловень безродный  
Андрей Мойсеевич Цвибак.

И он, чей череп пребывает  
В жестоковыйном декольте,  
Кто культам всем предпочитает  
Российский культ maternité.  
Кто сам и ось, и винт, и смазчик,  
Кто рвет, и мечет, и клянет,  
И прячет рукописи в ящик  
И в тот же ящик и плюет.  
Чей нрав, крутой и бесшабашный,  
Приемлет даже Милюков,  
Кто Поляков, но самый страшный,  
И самый главный Поляков...

...И с ними в бешеном галопе  
Под черной сотни стон и крик  
Промчался бурей по Европе  
Сей поразительный старик.

Вокруг чернил бурлили реки,  
Был пуст и мрачен горизонт.  
Но плотным строем шли зрдеки  
И вширь выравнивали фронт.

Ротационные машины  
Гудели грозно... И во мрак



Уходит Струве сквозь теснины,  
Сдается пламенный Вишняк.

По швам, по золоту лампасов,  
Трещит светлейший Горчаков.  
Ногою дрыгает Гукасов,  
Рукою машет Маклаков.

Слюну в засохшие чернила  
Семенов в судорогах льет.  
Взбесясь, киргизская кобыла  
В обрыв Карсавина несет.  
И Мережковский Атлантиду  
И рвет и мечет по частям,  
И посылает Зинаиду...  
На мировую к «Новостям».

...Но годы мчатся. Наступает  
Тот день, когда средь мирных стен  
«Как пахарь битва отдыхает»  
И смелых чувствует Potin.

И от работы ежедневной  
Освободясь на миг один,  
С женою, с Анною Сергевой,  
Сверкая холодом седин,

Слегка взволнованный, смущенный,  
Друзей вниманием польщенный.  
Старик пирует...

\* \* \*

Лобызания. Аплодисменты. Весь ритуал. Все, как полагается.  
Холодильники остались на месте. Банкет кончился.

\* \* \*

А через несколько дней пришла открытка из Грасса,  
высочайший рескрипт за подписью Бунина:

— Придворный льстец,  
Но молодец!

## XXI

Автор к автору летит,  
Автор автору кричит:  
Как бы нам с тобой дознаться,  
Как бы нам с тобой издаться?

Отвечает им Зелюк:  
Всем, писаки, вам каюк!  
Отвечает им Гукасов:  
Не терплю вас, лоботрясов!

Отвечает Имка: Мы  
Издаем одни псалмы!

Шутливая пародия эта, написанная не присяжным юмористом, а самим Ив. Ал. Буниным, метко отражала положение книжного дела в эмиграции.

Меценаты выдыхались, профессиональные издатели кончали банкротством, типографы печатали календари.

И вдруг — среди бела дня — сцена заклинания духов.

Словно из-под земли вырастает дух Корнфельда, который в Петербурге издавал первый «Сатирикон».

Дух тщательно выбрит, тонзура, как у католического прелата, глаза играют, галстук бабочкой, одышки никакой.

Время — деньги, разговор вплотную, ни вздохов, ни придаточных предложений.

— Решил возобновить «Сатирикон», хотите быть редактором?

— Идея гениальная, а редактором будете вы сами.

— Почему же не вы?

— Потому что дорожу отношениями и не хочу их портить.

Корнфельд опешил.

— Помилуйте, какой же я редактор? В издательском деле, в книжном, в художественной части, в обрамлении я, можно сказать, собаку съел. Но взять на себя редактирование, нет, не чувствую себя в силах...

— Скромность подобна плющу, который опутывает ветки молодости... А так как вы уже не молоды, то скромность ваша ни к селу, ни к городу. Кроме того, вспомните, что сказал наш общий друг Ленин: «И любая кухарка может управлять государством».

А редактировать журнал тем более!

— Спасибо за кухарку! — обиженно протянул в нос прелат с бабочкой, но после третьей рюмки Мартелля — три звездочки, *modus vivendi*, или, как переводили бурсаки из Квитко-Основьяненко, мода на жизнь, была установлена: редактором-издателем будет Корнфельд, то есть портить отношения с братьями-писателями и художниками — его дело, а внутренняя работа будет лежать на мне.

Состав сотрудников блистал всеми цветами радуги.

Чтоб не портить отношений, были привлечены академики, лауреаты, переводчики, беллетристы, поэты, и даже земские статистики, и приват-доценты, которые за границей сами произвели себя в профессора.

Из старых сатириконцев оказались налицо всего трое — Влад. Азов, Валентин Горянский и Саша Черный.

Остальные тоже сами произвели себя в юмористы.

Художники и рисовальщики откликнулись с величайшей живостью.

А. Н. Бенуа, И. Я. Билибин, Добужинский, Стеллецкий, Шухаев, Ал. Яковлев, Терешкович, Пикельный, Серебряков и главный застрельщик, талантливый, блестящий Икс, который свои литератур-

ные произведения подписывал именем Тимирязева, а под рисунками и карикатурами ставил другой псевдоним.

— Шарый.

Настоящая фамилия его была куда звучнее, и слава была прочной, а наличие псевдонимов объяснялось иными соображениями...

Была весна. Апрель. На больших бульварах одурявший запах золотых мимоз, привезенных из Ниццы, парижских фиалок, розовых гвоздик.

Первая страница первого номера посвящена безвременно ушедшим Петру Потемкину и Аркадию Аверченко.

Разве мог он знать и чаять,  
Что за молодостью дерзкой  
Грянет страшная гроза —  
Годы темного разгула,  
Годы горького скитанья,  
И что все засыплет пепел —  
И улыбку и глаза.

Стихи были посвящены покойному Аверченко. Написал их Саша Черный. А через короткое время хоронили его самого.

\* \* \*

На долю «Сатирикона», третьего по счету, выпал большой и заслуженный успех.

Так выражались не только рецензенты, но и вся именитая и знаменитая литературная табель о рангах и просто обыкновенные смертные, платившие три франка золотом за отпечатанный на отличной бумаге номер.

Рисунки Бенуа, Шухаева, Добужинского, старый Петербург, стихи Агнивцева — «Подайте Троицкому мосту, подайте Зимнему Дворцу...» — русская ностальгия неизбежно врывается в веселый, не совсем, впрочем, беззаветный смех.

Графическая сатира таинственного Шарого была и просто замечательна.

Его портреты вождей, матроса Дыбенко, Троянский конь, Яблочко, школа дипломатии, эмигрантский вариант дяди Вани, Чарли Чаплина у подножия Сфинкса, с пояснением — «Великие Немые» — все это, конечно, войдет в маленькую историю, в большую хрестоматию подлинного не смеха, а юмора.

Много остроты и верного чутья было в неожиданных по теме и трактовке рисунках Гросса и Пикельного.

Много прозы, как всегда занятой, но уже дышавшей раздражением и усталостью, аккуратно поставлял из своего итальянского убежища А. В. Амфитеатров.

Отлично писал в манере Гофмана Валентин Горянский.

Как всегда, мудрил и мудрствовал А. М. Ремизов.

И упорно подражал самому себе Вл. Азов.

Стихов была бездна, все они были, вероятно, совершенно гениальны, так как на следующий день их уже никто не помнил.

Пытался грешить пером Никита Балиев.

Так называемые юморески, весьма, впрочем, милые, давал Н. Н. Евреинов.

Грешил стихами и прозой и я сам, подписывая прозу неизвестно почему К. Страшноватенко.

Очевидно, удачны, потому что запомнились, были анонимные пояснения под некоторыми карикатурами и рисунками.

Под анонимом следует разуметь плод коллективного творчества. Помню чудесный фотомонтаж Шарого, изображавший С. В. Рахманинова в ореоле славы, и подпись к нему:

Руками громы извлекаю,  
Ногой педали нажимаю.  
Я — Рах! Я — Ма! Я — Ни! Я — Нов!

На другом рисунке похоронная процессия, за гробом идут две равнодушные фигуры, и одна другую спрашивает:

— Как вы думаете, попадет он в царствие небесное?

— Не думаю... для этого он слишком застенчив.

Или вот еще замечательная карикатура того же Шарого:

«К уразумению смысла русской эмиграции». Сидит в кресле Илья Ильич Обломов. На коленях у него уцелевший экземпляр «Столицы и усадьбы», а в руках похожая на свастику большая буква Ять.

По лицу текут слезы. А пояснение такое:

О славном прошлом вздыхает  
И Ять слезами обливает...

Или еще. Рисунок Шварца — современная Клеопатра.

Голая, жирная, розовая, глаза прищурены, в ателье пусто и неуютно. Под рисунком подпись:

«Какая тоска... Ни Цезаря, ни Антония — одни художники!»

Всего, конечно, не вспомнишь, а и вспомнишь — не перескажешь.

Но бился в этом третьем «Сатириконе» живой пульс, и отличное было у него кровообращение, и мог бы он жить и жить, а вот что-то около года просуществовал и потом взял и помер.

Друзья говорили — денег не хватило, враги говорили — юмор был, а юмористов как кот наплакал.

Плакал он, очевидно, недолго, и сдается мне, что на этот раз враги были правы.

\* \* \*

А тут подошел май месяц, но уже другого — 1932 года.

Холодный был май и неуютный.

Только и было радости и пищи для души, что все, как помешанные, запоем читали «Любовника леди Чаттэрлей» и потом рассказывали друг другу своими словами.

6 мая, в третьем, четвертом часу дня, экстренные выпуски газет, аршинные заголовки, обычный призыв к населению соблюдать спо-

койствие и самообладание и краткое официальное сообщение о покушении на убийство президента Республики Польша Думера.

Состояние раненого тяжелое, почти безнадежное.

Убийца арестован. Русский. По фамилии Горгулов.

Эмигрантский городок в панике. Спешно закрывают двери, ставни. Шепчутся, сообщают из самых достоверных источников, что убийцу расстреляют, а всех остальных повесят.

Ночью президент республики, не приходя в сознание, умирает.

Горгулов в тюрьме. Его допрашивают.

Ответы его нелепые, бессмысленные, несуразные.

...Бездушная машина задавила фиалку... Отмщение машине. Мир должен быть освобожден. Добро победит Зло. Правда восторжествует. Президент ни при чем. Он есть символ. Символ уничтожен. Очередь за сущностью. Зеленая программа будет выполнена до конца...

Сумасшедший? Одержимый? Симулянт? Советский агент? Прокуратор?

Французские газеты теряются в догадках.

Знает истину только одно «Возрождение».

«Большевик чистой воды. Подослан Дзержинским, подослан Менжинским».

Дзержинского уже давно нет в живых. Никакого значения, все равно подослан.

С какой целью? И вы еще спрашиваете? Взорвать эмиграцию, Францию, Европу, континент, Америку, все пять частей света, всю географию, глобус, весь земной шар!

«Последние новости» держатся выжидательно.

Вакар гонит строку. Андрей Седых интервьюирует министров, депутатов.

Президенту — национальные похороны. Республиканская гвардия. Военный оркестр. Марш Шопена. Марш Бетховена. Несметные толпы народу.

Спектакли пражской группы, в знак траура, тоже отменены...

Проходит несколько недель. Суд. Три защитника по назначению. Психиатрическая экспертиза. Речи. Приговор. Машина доктора Гильотэна. Голова Горгулова падает в корзину. Пьеса кончена.

Эмиграцию не расстреляли, не повесили, никуда не выслали.

Из достоверных источников, однако, сообщают, что, случись все это у немцев, от русской эмиграции осталось бы мокрое пятно, а может быть, даже и пятна не осталось бы.

Все, стало быть, к лучшему в этом лучшем из миров.

Надо, однако, признать, что сумбур в умах преступление Горгулова породило огромный.

Глупостей и нелепостей по этому поводу было высказано столько, что хватило бы их не на одно, а на два, на три поколения.

Единственным светлым моментом на этом безнадежном фоне была умная, тонкая, беспощадная статья Ходасевича.

По иронии судьбы напечатана она была все в том же «Возрожде-

нии», и трактовалось в ней не о самом Горгулове, а о горгуловщине вообще.

Выдержки из нее объясняли и еще объяснят многое и многим.

Даже и по сей день не потеряла эта замечательная статья своей остроты и актуальности.

«Среди бредовых брошюр, стихов и романов, собрания диких нелепых книжек, изданных в эмиграции, среди коллекции всех видов литературной бессмыслицы, тощая брошюрка Горгулова ничем особым от тысячи других ей подобных не отличается.

Называется она «Тайна жизни скифов», могла бы называться и иначе, как угодно.

К несчастью, творцы этой сумасшедшей литературы суть люди психически здоровые.

Как и в Горгулове, в них поражена не психическая, а, если можно так выразиться, идейная организация.

Нормальные психически, они болеют, так сказать, расстройством идейной системы.

И хуже всего и прискорбнее, что это отнюдь не их индивидуальное несчастье.

Точнее, что в этом несчастье с особой силой сказался некий недуг нашей культуры.

Уже с середины прошлого века, всколыхнувшего новые слои русского общества, слои в культурном отношении средние и низкие, так называемые «главные вопросы» — церковь, власть, народ, интеллигенция — проникли в самую толщу и подверглись бурному обсуждению, редко основанному на действительном понимании обсуждаемого».

И дальше:

«Две войны и две революции сделали самого темного, самого малограмотного человека прямым участником величайших событий».

Почувствовав себя мелким, но необходимым винтиком в огромной исторической мясорубке, кромсавшей его самого, пожелал он и лично во всем разобраться — и в результате сложнейшие проблемы религии, философии, истории стали обсуждаться на площадях, на митингах...

Идейная голь занялась переоценкой идейных ценностей.

С митингов и из трактиров повальное философствование перекинулось в литературу.

На проклятые вопросы в изобилии посыпались проклятые ответы.

И вот и вышло, что горгуловщина родилась раньше Горгулова. От литературы она унаследовала лишь одно, но зато самое опасное:

— О предметах первейшей важности судить по прозрению, по наитию...

Кретин и хам получили право публичного кликушествования.

За Хлебниковым, Маяковским и им подобными страшными горланами шли другие помельче.

Очутились они и в эмиграции.

Для этих людей их собственное невежество является как бы гарантией против шествования «избитыми путями».

И еще дальше:

«В какой-то степени, в каком-то отдаленном, непережеванном плане горгуловская идея вышла из блоковских «Скифов».

И если бы Блок дожил до Горгулова, он, может быть, заболел бы от стыда и горя...

А между тем Горгуловых вокруг и всюду — тьма.

Об одном маленьком Горгулове некий прославленный писатель с восторгом воскликнул:

— У него в голове священная каша!

С этой мечтой о каше надо покончить раз и навсегда.

Оболваненных и самовлюбленных скифов надо толкать не в новый мистический град Китеж, а научить их вести себя по-человечески в старом граде, к примеру сказать, в Париже».

Мережковский, прочитав эту статью, пришел в бешенство.

Ведь он-то и был тот самый прославленный писатель, который с высоты своей башни с цветными стеклами уронил столь заумное и вещее слово насчет священной каши.

Так или иначе, а горгуловщине нанесен был меткий и, может быть, роковой удар.

Правдивое слово было сказано четко, без всяких обиняков.

\* \* \*

Преувеличивать, однако, не следует.

Не каждый же день творились безумства и совершались преступления.

Были в эмиграции и монотонные будни, обыкновенные, серые, тянувшиеся изо дня в день, как во всяком благоустроенном человеческом обществе.

Конечно, не без того, чтоб укокошили гетмана Петлюру, которого некоторые особенно бойкие французские газеты именовали сыном Скоропадского, племянником полковника Бискупского и вообще говоря — прямым потомком Рюриковичей.

Но все это больше для красоты слова и особого влияния на умы не имело.

Зато, к примеру сказать, атамана Махно и пальцем никто не трогал.

И жил он тихо и мирно, писал мемуары, ходил на лекции Степуна, никогда ни на каких тачанках не ездил, а всегда брал такси и даже добивался свидания с Алдановым, чтоб получить от него предисловие к мемуарам.

Но Алданов, хотя никому ни в чем отказать не мог, от предисловия все же уклонился.

Кроме того, большим утешением в жизни было так называемое чистое искусство.

Музыка, живопись, литература, не говоря уже о балете, о Лифаре, «о подвигах, о доблести, о славе».

Приезжал Рахманинов, блистал Стравинский, играл на двух роялях Прокофьев.

Ходил городок на выставки своих собственных художников, умилялся, хотя ничего не понимал, пред картинами Гончаровой; еще больше умилялся, хотя совсем ничего не понимал, глядя на этюды Ларионова; притворялся, что ценит Анненкова; искренно восхищался Яковлевым и предсказывал большое будущее Шагалу, у которого, впрочем, уже было большое прошлое.

О литературе и говорить нечего.

Несмотря на твердо укоренившееся мнение, что дубовый листок, оторвавшийся от ветки родимой, должен непременно засохнуть и превратиться в пыль, равно как обречен на гибель и разложение каждый покинувший родную почву и подпочвенные пласты честный писатель,— кстати сказать, о Тургеневе, написавшем большинство своих произведений в Буживале под Парижем, почему-то забывали,— несмотря на все эти мрачные предпосылки и предсказания, литература в эмиграции расцвела пышным цветом.

«Жизнь Арсеньева», «Митину любовь», «Последнее свиданье» и «Солнечный удар», не говоря уже о целом ряде других книг рассказов, стихов и воспоминаний, Бунин написал на берегу Средиземного моря, в Грассе, в Приморских Альпах, на берегу Атлантического океана, в Париже, а не на Волге, не в Москве и не в Елецком уезде Орловской губернии.

Куприн написал своих «Юнкеров», «Елань», книгу «Храбрые беглецы», рассказы для детей, не выезжая с улицы Жака Оффенбаха, и, конечно, задолго до того страшного дня, когда бессильного, немощного, полупарализованного, полуживого, и уже бывшего, а не сущего, везли его в отдельном купе на советскую родину, на подпочвенные пласты, на осиротевшую дачу в Гатчине.

Все вещи Алданова, начиная от «Св. Елены» и «Девятого Термидора» и кончая «Ключом», «Бегством», «Истоками»,— блестящий перечень их в несколько строк не уложишь,— задуманы и созданы в эмиграции, за границей, за рубежом.

Рассказы, романы, повести Бориса Зайцева— «Анна», «Дом в Пасси», его «Тургенев», «Жуковский»— все это плоды трудов и дней невольного и длительного изгнания.

Свою замечательную книгу «После России» Марина Цветаева написала тоже здесь, а не там.

Там была только одиночная камера, и в одиночной камере смерть.

То же самое, и в полной мере, относилось и к Осоргину, и к Адамовичу, и к Ходасевичу, и к Мочульскому, и к многочисленным молодым беллетристам и поэтам, чуть ли возникшим и окрепшим уже в эмиграции.



А об историках, философах и ученых и говорить не приходится. Бердяев, Лев Шестов, Ростовцев, Лосский, Степун — вся эта Большая, а не Малая медведица расточала свой звездный блеск тоже не на русские, а на иностранные горизонты.

И вот оказывалось, что о любви к отечеству и о народной гордости можно было с полным правом декламировать вслух не только на Ленинском шоссе или на площади Урицкого, но и где-то у черта на рогах, на левом берегу Сены, в стареньком помещении Тургеневской библиотеки, неожиданно пополнившейся томами и томами новых изгнанников, на которых, продолжая желтеть от времени, глядели старомодные портреты Герцена и Огарева, не убоившихся легкокрылого афоризма, что, мол, на подошвах сапог нельзя унести с собой родину...

Оказалось, что можно и что история повторяется.

И что даже их советские превосходительства, полпреды и торгпреды, притаившиеся в глубине лож, чтоб тайком взглянуть и услышать живого Шаляпина на сцене Парижской Оперы, и те не могли сдержать контрреволюционных восторгов и роняли невзначай неосторожное слово:

— Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...

Да и как могло быть иначе, когда шаляпинская легенда творилась на глазах публики, на глазах всего мира, и голос его звучал в сердцах и увековечивался на дисках, а аплодировал ему и Старый свет, и Новый свет.

А он как одержимый носился по всему земному шару, с материка на материк, с континента на континент, пересекал моря и океаны, из Сан-Франциско в Токио, из Шанхая в Массачусетс, и, утомленный, упоенный, счастливый, возвращался «домой», в Париж, в собственный многоэтажный дом на Avenue d'Eylau, где ждали его многочисленные дети и неотложные дела — знаменитые завтраки с друзьями.

\* \* \*

В горнице Бориса Годунова, прямо против входных дверей, сразу бросалась в глаза «Широкая масленица» Кустодиева, та самая, с Шаляпиным в шубе, в бобровой шапке, над Москвой, над метелицей, над качелями и каруселями.

А в открытое окно — как на ладони, Эйфелева башня, вся в тонких стропилах, перехватах, антеннах и кружевах.

Первым делом — портвейн, черный-черный, густой и, как говорит сам Федор Иванович, неслыханного аромата.

Потом разговор о всякой всячине, разговор так вообще.

Разговор в частности придет в свое время.

— Хотите, дорогой, излюбленный ваш диск послушать?

— Ну, еще бы! Сколько раз подряд готов слушать...

Хозяину и самому диск по душе.

Грамофон, конечно, первый сорт, американской марки, последнее слово техники.

Кресла мягкие, глубокие, портвейн действительно неслыханного аромата, а из волшебного ящика волшебный голос, и какая четкость, и какие слова!

Жили двенадцать разбойничков,  
Жил Кудеяр-атаман.  
Много разбойнички пролили  
Крови честных христиан.

Шаляпин самому себе вполголоса подпевает, а хор Афонского, словно литургию служит, на церковный лад, торжественно и настойчиво, на низких регистрах подхватывает:

— Господу Богу помолимся!..

Все неслыханно, все неправдоподобно: и черный портвейн, и Кудеяр-атаман, и русское пение, и византийский рефрен, и степной богатырь в европейских манжетах, и антенны Эйфелевой башни, и «Широкая масленица» Кустодиева.

Потом все станет пьянее и понятнее.

За огромным длинным столом в столовой — моложавая, дородная, нарядная Мария Валентиновна, сыновья Борис и Федор, и дочери, она другой краше, Стэлла, Лидия, Марфа, Марианна и последняя, отцовская любимица, Дассия.

На столе графины, графины, графины.

Зубровка, перцовка, рябиновая, сливовица, польская запеканка и настоящая русская смировка с белой головкой, с двуглавыми орлами на зеленой наклейке.

И все это не столько для питья, сколько для глаза, для радости тревоугодного созерцания.

Завтрак длится долго. Весело, но чинно.

Федор Иванович оживлен, шутит, дразнит поочередно то одного, то другого, и только маленькой Дассии с трогательной белокурой косичкой, перевязанной розовой ленточкой, то и дело посылает воздушные поцелуи.

Дассия краснеет, а папаша не унимается.

Для апофеоза — гурьевская каша, пылающая синим ромовым огнем, подает сам повар, весь в серых штанах в клетку, в фартуках, в колпаках, глаза лукавые, почтительная улыбка во весь рот.

Коньяк и кофе в царской горнице, разговор вдвоем, разговор в частности.

— Со сцены, дорогой мой, надо уйти вовремя. В расцвете сил, и, как поется в старинном романсе, глядя на луч пурпурного заката.

А не то, что когда солнце уже зашло и в зале начинают сморкаться и покашливать.

Так вот, есть у меня давнишняя, на совесть продуманная, под самым сердцем выношенная идея...

Хочу поставить «Алеко» Рахманинова!

Это его первая опера, написанная по классу композиции при окончании Московской консерватории.

Оперу эту никогда нигде не ставили, и ее почти никто не знает. Свежесть и сила в ней необычайные.

— Задумал я ее поставить для последнего своего прощального спектакля, и спеть и сыграть самого Алеко, загримировавшись под Пушкина, потому что Алеко это сам Пушкин, влюбленный в Земфиру! — и так далее, и так далее, вы сами небось все уже давно поняли и сообразили.

Федор Иванович увлекся и, не давая опомниться, продолжал:

— И нужна мне, милый друг, ваша помощь... Да, да, да! Сейчас вы окончательно все поймете. Необходимо мне, чтобы вы написали либретто!.. то есть приспособили пушкинский текст...

И, видя на моем лице ужас и изумление, вскочил с места, достал из ящика заветную партитуру, отпечатанную в Москве у Гутхейля, потом уселся рядышком и начал, словно в лихорадке, перелистывать страницу за страницей, восклицать, шептать, объяснять, и остановить его не было уже никакой возможности.

Резоны, просьбы, возражения Шаляпин парировал одним словом:

— Умоляю!..

Вид умоляющего Шаляпина, может быть, и был достоин кисти Кустодиева, но я держался твердо и клятвенно уверял распалившегося и вошедшего в раж хозяина, что я не неуважай-корыто, что к Пушкину, как и все грамотные люди, питаю благоговение, и калечить и приспособлять пушкинский текст ни за что в мире не соглашусь!

Дружеская беседа, как говорили в России, затянулась далеко за полночь, коньяку и крепкого кофе было выпито немало, накурились мы тоже вдоволь, и, чтобы хоть как-нибудь выйти из нелепого и безнадёжного тупика, в который загнал меня, раба Божьего, не привыкший к отказам царь Борис, сказал, что соображу, размыслю, подумаю и через несколько дней зайду, чтоб окончательно поговорить.

Троекратное лобызание, еще одна, «последняя, прощальная» рюмка коньяку, бурное рукопожатие с вывихом суставов и очаровательная, совершенно очаровательная, обезоруживающая улыбка, о которой особенно грустно было вспоминать несколько месяцев спустя.

После непродолжительной, но тяжелой болезни Шаляпина не стало.

Среди многотысячной толпы — все движение на площади было остановлено — перед зданием Большой Оперы, стоя на ступеньках, лицом к катафалку, утопавшему в лаврах и розах, еще раз, в последний раз, пел все тот же хор Афонского, и французы, которые никакой родины не покидали, плакали так, как будто они были настоящими русскими, у которых уже не было ни родины, ни молодости, а только одни воспоминания о том, что было и невозвратно прошло.

Хронику одного поколения можно было бы продолжать и продолжать.

Ведь были еще страшные годы 1939—1945!

И вслед за ними — сумасшедшее послесловие, бредовой эпилог, которому и поныне конца не видно.

Но... соблазну продолжения есть великий противовес.

— Не все сказать. Не договорить. Вовремя опустить занавес.

И только под занавес, «глядя на луч пурпурного заката», дописать, не уступив соблазну, заключительные строки к роману Матильды Серао, роману нашей жизни.

Бури. Дерзання. Тревоги.  
Смысла искать — не найти.  
Чувство железной дороги...  
Поезд на третьем пути!

<1954>

Предлагаемый читателю сборник включает избранные сочинения Дон-Аминадо. Он рассчитан на первое знакомство нашего читателя с одним из самых крупных сатирических поэтов первой половины XX века и не претендует на исчерпывающую полноту (состав поэтических и прозаических книг не воспроизводится в полном виде). Все произведения печатаются по последним прижизненным редакциям. Если стихотворения печатаются по текстам сборников, то это обстоятельство, кроме особых случаев, специально не оговаривается.

Составитель сохранил авторское расположение стихотворений, рассказов и фельетонов, принятое в книгах Дон-Аминадо. Произведения же, не включенные в книги, помещены в хронологическом порядке, и под каждым текстом указана дата его создания.

Орфография и пунктуация, где это возможно, приближены к современным.

## СТИХОТВОРЕНИЯ

### *Стихотворения, вошедшие в сборники*

#### Из сборника «ПЕСНИ ВОЙНЫ»

Сборник «Песни войны» вышел двумя изданиями: «Дон-Аминадо. Песни войны», СПб., 1914 (в дальнейшем ПВ 14); «Аминад. Песни войны». М., 1915 (в дальнейшем ПВ 15) с эпиграфом:

О, если мир — божественная тайна,  
Он каждый миг клеветает на себя!

*К. Бальмонт.*

Все стихотворения, кроме оговоренных, печатаются по изданию ПВ 15.

Франции (С. 52) — *Осанна!* — хвалебный возглас в христианстве и древнеиудейском богослужении; *петь осанну* — превозносить, восхвалять. *Распни!* — возглас первосвященников, требовавших у Понтия Пилата казни Иисуса Христа; *распять* — пригвоздить руки и ноги к кресту (древний способ казни). Здесь слова «осанна!» и «распни!» употреблены в переносном значении. *Позабитый рассказ Монассана...* — Возможно, имеется в виду рассказ «Пышка». *О жестокой минувшей войне!* — Речь идет о франко-прусской войне 1870—1871 гг., закончившейся победой Пруссии и унизительным для Франции мирным соглашением. *Гуины* — кочевой иврод, достигший наибольшего могущества при Аттиле в середине V века и совершавший опустошительные набеги на европейские страны. *Швабы* — название немецких племен в период раннего средневековья.

Реймский собор (С. 54) — *Реймский собор* — собор в городе Реймсе, архи-

тектурный памятник французской готики; его отличают гармоничность композиции и богатейшее скульптурное убранство. *Венчала здесь на царство короля*...— Речь идет о Жанне д'Арк, Орлеанской деве (ок. 1412—1431), которая приняла участие в короновании (1422) французского короля Карла VII (1403—1461) в Реймсе. *Простая девушка — легенда Орлеана*...— Жанна д'Арк происходила из крестьянской семьи; в 1429 г. в период Столетней войны она освободила Орлеан от осады. *Марна* — река на севере Франции, правый приток Сены; с 5 по 12 сентября 1914 года произошло Марнское сражение, в ходе которого французские войска остановили наступление немцев, а затем вынудили их к отходу. *У ног Мадонн*...— Имеются в виду многочисленные скульптурные изображения в Реймском соборе.

Германии (С. 58)— Печ. по изд. ПВ 14. *Цепелин* — дирижабль; по имени немецкого конструктора, организатора производства и серийного выпуска дирижаблей генерала графа Фердинанда Цепелина (1838—1917). *Тевтон* — здесь: немец, германец; прозвание германских племен со II века до н.э.

### Из сборника «ДЫМ БЕЗ ОТЕЧЕСТВА»

Сборник «Дым без отечества» вышел в Париже в 1921 г.; название восходит к выражению Грибоедова «И дым Отечества нам сладок и приятен» («Горе от ума»), в свою очередь заимствованному из стихотворения Державина «Арфа» («Отечества и дым нам сладок и приятен»).

Константинополь (С. 60) — Впервые: ПН, 30 апреля, 1920. С. 2 с заглавием «Из путевой тетради. Константинополь». Печ.: от стиха «Мне говорили: все промчится» и включая стих «Селим, довольно. Перестань» — по тексту сб. «Дым без отечества». С. 15—16; от стиха «О, бред проезжих беллетристов...» и до конца стихотворения — по тексту изд. «Д. Аминадо. Поезд на третьем пути». Нью-Йорк, 1954. С. 251—252. *Наргиле* — восточный (персидский) курительный прибор, имеющий в отличие от кальяна длинный рукав вместо трубки. *Намаз* — мусульманский религиозный обряд (ежедневное пятикратное богослужение, чтение отрывков из Корана, восхваляющих Аллаха); каждой молитве предшествует омовение. *Кальян* — прибор для курения у восточных народов, в котором табачный дым очищается, проходя через сосуд с водой. *Фарер* — Клод Фарер (наст. имя — Фредерик Баргон; 1876—1957), моряк и романист. *Лоти* — Пьер Лоти (наст. имя — Жюльен Вио; 1850—1923), морской офицер и французский писатель-романист, привлек внимание своими импрессионистическими пейзажами и изображением экзотических стран. *И золотым пером в Версале Взмахнул и что-то подписал*. — В первую мировую войну Турция выступила на стороне Германии и потерпела поражение, капитулировав 30 октября 1918 г.; на Парижской мирной конференции (1919—1920) был подписан Версальский мирный договор (1919), а впоследствии отдельно с Турцией — Севрский мирный договор (1920); после этих договоров перестала существовать Османская империя, и Турция лишилась части своей территории. *Кроаты* — хорваты. *Берсальер* — итальянский пехотинец, натренированный в меткой стрельбе и форсированных маршах. *Ацтеки* — здесь: мексиканцы; по имени индейского народа Мексики. *Армяне с собственным послом*. — С ноября 1917 и до 1920 г. власть в Армении захватили дашиаки; в Армению пришли англоторецкие войска; до 1920 г. Армения имела своих послов в иностранных государствах. *Осваг* — «Осведомительское агентство» (1918—1920). *Новый Вавилон* — здесь: Константинополь (Стамбул); имеется в виду библейский миф, согласно которому Бог, разгневанный дерзостью людей, хотевших после всемирного потопа построить г. Вавилон и башню до небес, «смешал их языки» и рассеял людей по всей земле; в переносном смысле — суэта, беспорядок. См. характеристику Константинополя тех лет в воспоминаниях «Поезд на третьем пути». *Монбланы* — здесь в переносном смысле: горы, кучи, множество. Монблан — самая высокая вершина Альпийских гор. *Тимпан* — музыкальный инструмент; в древности — ударный музыкальный инструмент, литавры. *Муэдзин* (муэдзин) — служитель мечети, призывающий мусульман на молитву. *Магомет* — Мухаммед (Мохаммед; ок. 570—632), основатель ислама; почитается как пророк. *Мессия* — буквально: помазанный; в иудаизме и христианстве — ниспосланный Богом Спаситель, должностующий навечно установить свое царство.

Свершители (С. 62) — Впервые: «Свободные мысли», под заглавием «Сор», 1920. 20 сентября. С. 2. *Искали Незнакомок*. — Намек на стихотворение А. Блока «Не-

знакомка» (1906); с тем же заглавием и в том же году написана драма А. Блока. *Иосафат* — упоминаемый в Библии царь Иудейский (4 книга Царств, 3, 7—14); *долина Иосафатова* — библейский образ, означающий конец жизни. *Гарнье* — фамилия основателей французской издательской фирмы; Огюст Гарнье (1810—1887), Ипполит Гарнье (1835—1911).

Вселенские хлопоты (С. 63) — Впервые: ПН, 11 мая, 1920. С. 3. Под заглавием «Богоискатели» и с эпиграфом «Слышу божественный звук Умолкнувшей эллинской речи». Пушкин. *Кааба* — здесь: райское место на земле; Кааба — мусульманский храм в Мекке, в стену которого вделан «черный камень», якобы упавший с неба; святилище и место паломничества мусульман. *Лувэн* — город в Бельгии, известный своим университетом, монументальными постройками средневековья и эпохи классицизма; во время первой мировой войны Бельгия была оккупирована немецкими войсками. *Дорогу Гладстонам*. — Т. е. твердым политическим деятелям; Уильям Юарт Гладстон (1809—1898) — премьер-министр Великобритании, проводивший жесткую внешнюю политику. ...*стены Коммунаров*. — Имеется в виду «Стена коммунаров», памятник, воздвигнутый в 1899 г. близ кладбища Пер-Лашез, места последних боев коммунаров с версальцами в мае 1871 г.

Эдем (С. 63) — Впервые: ПН, 25 июня, 1920. С. 3. Под заглавием «Задуманное слово». Стихотворение связано с посещением РСФСР двумя английскими журналистами и их впечатлениями. *Эдем* — здесь: иронически — райская страна; Эдем, по библейской легенде, — земной рай, местопребывание человека до грехопадения; благодатный уголок земли.

Честность с собой (С. 64) — Впервые: ПН, 30 июля, 1920. С. 3. Под заглавием «Манифест для желающих». О названии стихотворения («Честность с собой» — роман украинского писателя В. К. Винниченко) см.: «Поезд на третьем пути». С. 301. Эпиграф — неточные слова Вершинина из драмы Чехова «Три сестры» (первое действие): «Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной». *Золотой империл* — русская золотая монета; с 1755 по 1897 г. чеканилась номиналом 10 руб., с 1897-го — 15 руб.

Писаная торба (С. 65) — Впервые: «Дым без отечества». С. 33—34. Первая редакция, по-видимому, была отвергнута П. Н. Милюковым. См.: «Поезд на третьем пути». С. 312. *Златовратский* — Н. Н. Златовратский (1845—1911), русский писатель, близкий к народничеству, почетный академик.

После всего (С. 67) — Впервые: ПН, 18 ноября, 1920. С. 3. Под заглавием «Конец первой части». *Талейраны* — здесь: иронически — дипломаты, ведущие тонкую политическую игру, интриганы, обманывающие, однако, только себя; Талейран — Шарль Морис Талейран-Перигор (1754—1838), французский дипломат, служивший при Директории, при Наполеоне I, при Людовике XVIII. ...*за смутную тень полуострова*... — Имеется в виду Крымский полуостров, где в гражданскую войну до эвакуации в 1920 г. располагались части белой Русской армии под командованием генерала П. Н. Врангеля.

Библейский случай (С. 68) — Впервые: ПН, 6 ноября, 1920. С. 3. Под заглавием «Из будущей летописи». *Весы* — каламбур: прибор для измерения тяжести и зодиакальное созвездие. *Эдисон* — Томас Алва Эдисон (1847—1931), американский изобретатель и предприниматель; ему принадлежит свыше тысячи изобретений в различных областях электротехники. *Вильсон* — Томас Вудро Вильсон (1856—1924), президент США в 1913—1921 гг. *Латгалцы* — так назывались латыши, жившие на Латгальской возвышенности, в восточной части Латвии. *Злой осел*. — Осел — эмблема демократической партии США; тогдашний президент США Вильсон — демократ; он выдвинул мирную программу «Четырнадцать пунктов», одной из целей которой было упрочение на Востоке, в частности в Армении и Турции, стран Антанты и установление гегемонии США в международных делах; программа была отвергнута. ...*пал под глас Демьяновой свирели*. — Здесь иронически: Демьян Бедный всячески «разоблачал» Вильсона и его политику в своих стихах.

«Возвращается ветер...» (С. 70) — Впервые: ПН, 3 декабря, 1920. С. 3. Под заглавием «О греках, пожелавших короля». В сб. «Дым без отечества» напечатано под заглавием «Философические строки». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 116. «*Возвращается ветер*» — название заимствовано из Библии (Ветхий Завет, Книга Екклесиаста, или Проповедника, 1, 6): «Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои». Конкретным пово-

дом написания послужило сообщение о плебисците в Греции: в нем говорилось, что большинство населения высказалось за королевскую монархию.

Все течет (С. 70) — Впервые: ПН, 12 июня, 1920. С. 3. Под названием «Без заглавия», с эпитафией «В смерти моей прошу винить Ллойд Джорджа». Поводом для написания стихотворения, как следует из первой редакции, послужило известие о прибытии в Лондон в начале августа 1920 г. Л. Б. Каменева. Вину за изменение политики стран Антанты в отношении Советской России эмигранты возложили на Ллойд Джорджа (1863—1945; премьер-министр Великобритании), который заявил, что большевистская Россия предпочтительнее обанкротившейся Англии. *Гераклит* — Гераклит Эфесский (конец VI — начало V вв. до н. э.), древнегреческий философ, высказавший идею непрерывного изменения; заглавие стихотворения — изречение философа.

П а р и ж (С. 70) — Впервые: ПН, 27 апреля, 1920. С. 3. *В мехах московских утопала...* — По поводу этого стиха Л. Е. Белозерская-Булгакова в «Воспоминаниях» писала: «Помню, как за глаза Василевский (И. М. Василевский, псевд. Не-Буква, издатель газеты «Свободные мысли», фельетонист. — В. К.) критиковал выражение «московские меха». «Что это за меха такие?» — говорил он» (*Белозерская-Булгакова Л. Е. Воспоминания. М.: «Художественная литература», 1989. С. 39. И нежность всех воспоминаний... Резного Сенского моста.* — По поводу этих строк, процитированных, кстати, неточно, критик «Последних новостей» П. Р. писал в рецензии на сб. «Дым без отечества»: «Прекрасно выписаны у автора лирические стихи («Париж» и «Колыбельная»). Это уже не язвительные строки для газет, но подлинно поэтические произведения, навеянные тоской по родине и чувством одиночества здесь, в прекрасном, но далеком для нас городе». Приведя далее стихи Дон-Аминадо, он продолжал: «Читая эти строки, думаешь, что, быть может, призвание Дон-Аминадо не в легкой и злой сатире, а в лирике. В Париже есть нечто от скорбной семитической грусти, иронизирующей над собой же. И потому это стихотворение таит в себе кое-что от Гейне». (ПН, 16 июня, 1921. С. 3). *Латинский город* — имеется в виду Латинский квартал Парижа; Париж вырос на месте Лютетии. *Кираса* — имеются в виду пешие и конные статуи воинов в латах. *Канотье* — здесь: статуи штатских, а не военных лиц; канотье — род шляпы. *Жан Мореас* — Жан Мореас (наст. имя — Янис Пападнамандопулос; 1856—1910), французский поэт; ему принадлежит сб. «Стансы» в семи книгах (1—6—1899—1901 и 7—1920). *Возникли в сумерках Готье*. — Дон-Аминадо считал, что символизм Жана Мореаса возник под влиянием позднего творчества Теофиля Готье (1811—1872). *Линия* — итальянская сосна.

1920 (С. 72) — Впервые: «Дым без отечества». С. 55—56. Под заглавием «Поэма о галстуках». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 35—36. *Орканья* — Андреа Орканья (наст. имя — ди Чоне; ?—1368), итальянский живописец и скульптор. *Мараскин* — ликер, сладкая водка на горьких вишнях. *Кампанья* — область в Южной Италии. *...святая Справедливость* — здесь: смерть. *Вандея* — здесь: место мятежа, бунта, беспорядка; Вандея — департамент на западе Франции, центр роялистских мятежей в период Великой французской революции и Директории.

Колыбельная (С. 73) — Впервые: ПН, 18 мая, 1920. С. 3. Эпитафия — неточная цитата из стихотворения Саши Черного «Колыбельная». *Sainte Vierge* — Святая Дева, Богоматерь.

Непобедимое (С. 74) — Впервые: «Дым без отечества». С. 61—62. *...безнравственным богом.* — Т. е. перед статуей бога любви Эроса. *Monsieur Клемансо* — господин Клемансо (Жорж Клемансо, 1841—1929), премьер-министр Франции в 1917—1920 гг.

Застигнутые ночью (С. 75) — Впервые: ПН, 26 января, 1921. С. 3. Под заглавием «После диспута». Эпитафия — из стихотворения Тютчева «Цицерон». *Passy* — Пасси, район на окраине Парижа, где жило много русских эмигрантов (см., например, «Дом в Пасси» Б. Зайцева). *Ламартин* — Альфонс Мари Луи де Ламартин (1790—1869), французский поэт, публицист и политический деятель.

Республиканские восторги (С. 77) — Впервые: ПН, 1 октября, 1920. С. 3. Под заглавием «Res publica» («Республика»). Вошло в раздел «Бескрылые дни». *Фамм-де-шамбры* — горничные. *Демиввержи* — полудевственницы; намек на роман Марселя Прево «Полудевы». *Вылетают президенты В полосатых пижамах?!* — Речь идет о Поле Дешанеле (1855—1922), в 1920 г. — президенте Франции; во время ночного пожара он вынужден был выпрыгнуть из поезда; другую версию см. в кн.: Алек-



савдр Вергинский. Дорогой длиною... М., Правда, 1991. С. 371—372: «Однажды утром поезд президента республики подходил к дебаркадеру какой-то небольшой станции. Президент стоял у окна, высунувшись из него до пояса. По-видимому, машинист поезда неудачно затормозил состав, и... президент вылетел на платформу как был — в полном «дезабиле», т. е. в одних подштанниках, — прямо на руки ожидавших его приезда депутатов»; в качестве откликов на это событие А. Вергинский приводит стихи Дон-Аминадо. С. 202 и 372. *Создавал Наполеон.* — Имеется в виду «Французский гражданский кодекс 1804 года» («Кодекс Наполеона»), действующий и в настоящее время.

О, Madelon! (С. 79) — Впервые: ПН, 11 ноября, 1920. С. 3. Под заглавием «Размышления у Триумфальной арки». *О, Madelon!* — О, Мадлон! (песня была сочинена в Париже в 1914 году и пользовалась популярностью в первую мировую войну). *Гамбетта* — Леон Гамбетта (1838—1882), лидер левых республиканцев, премьер-министр и министр иностранных дел Франции в 1881—1882 гг.; его прах покоится в Пантеоне. *Кашен* — Марсель Кашен (1869—1958), французский коммунист. *Оливы аркадийской* — здесь в переносном значении: благодатные плоды. *Аркадийский сон* — здесь в переносном значении: блаженный, безмятежный сон; Аркадия — область в Греции, изображалась в античной литературе и позднее райской страной с патриархальной простотой нравов. *Ветреница в шапочке фригийской* — изображение девушки во фригийской шапочке (головном уборе древних фригийцев, послужившем моделью для шапок участников Великой французской революции) стало символом Франции.

Труженики моря (С. 83) — Впервые: ПН, 2 сентября, 1920. С. 3. Под заглавием «На лоне природы». «*Уж небо осенью дышало*» — строка из романа А. С. Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 4, строфы X, стих 5). *Парис* — здесь: актер-любовник; Парис — троянский царевич, отличавшийся необыкновенной красотой и силой; из-за него началась Троянская война (греч. миф.).

Семнадцатое сентября (С. 84) — Впервые: «Дым без отечества». С. 94—96. *Семнадцатое сентября* — именины (по старому стилю) Веры, Надежды, Любви и Софии. В начальных стихах иронически использованы вопросительные конструкции, примененные Пушкиным в «Пире Петра Первого». *Каратыгин* — вероятно, имеются в виду либо В. А. Каратыгин (1802—1853), ведущий трагик Петербургского театра, либо его брат, П. А. Каратыгин (1805—1878), актер и драматург-водевиллист.

### Из сборника «НАКИНУВ ПЛАЩ»

Сборник стихов «Накинув плащ» вышел в Париже в 1928 г.

Накинув плащ (С. 86) — Впервые: ПН, 1 января, 1928. С. 3. Стихотворению Дон-Аминадо придавал программный характер (им открыт и назван сборник). «*Накинув плащ, с гитарой под полой!*» — Начальный стих из популярного городского романа, в котором первая строка — песенный вариант; песня была создана на слова стихотворения «Серенада» В. А. Соллогуба, в котором первый стих читался: «Закинув плащ с гитарой под рукою...»

Бродяга (С. 88) — Впервые: ПН, 28 октября, 1927. С. 3. Под названием «Без заглавия». *Редингот* — длинный сюртук особого покроя. *Пластрон* — туго накрахмаленная грудь мужской верхней сорочки (под открытым жилетом при фраке или смокинге: в данном случае — при рединготе). *С пестрой ленточкой в петлице.* — Имеется в виду орден Почетного Легиона: кавалеры ордена носят трехцветную ленточку в петлице. *За заслуги перед троном.* — Владелец ордена мог получить его в таком случае не позднее 1870 года, когда во Франции была установлена 3-я республика; здесь содержится намек на роуляристское прошлое владельца.

Города и годы (С. 89) — Впервые: ПН, 11 ноября, 1927. Под заглавием «Из записной книжки». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 37. Пахнет муляжи. — Т. е. раковинами, содержащими съедобных моллюсков. *Вербена* — вербена, тропическое и субтропическое растение; некоторые сорта разводятся для получения эфирного масла.

Сентябрьские розы (С. 90) — Впервые: «Накинув плащ». С. 17. Под заглавием «Сентябрь». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 101.

Ветер с пустыни (С. 91) — Впервые: ПН, 3 мая, 1926. С. 2. Под заглавием

«Лирические вольности». *Стихи Екклезиаста*.— Имеется в виду «Книга Екклезиаста, или Проповедника» (Библия, Ветхий Завет).

Уличный певец (С. 92)— Впервые: ПН, 20 февраля, 1927. С. 3. Под названием «Без заглавия». *Мифологический Эол*— повелитель ветров (греч. миф.); по его имени назван музыкальный инструмент, звучащий от дуновения ветра,— золава арфа.

Воображаемое путешествие (С. 92)— Впервые: ПН, 1 марта, 1927. С. 3. Под заглавием «Перед витриной Кука». *Кук и сын*— английская туристическая фирма; организовывала морские путешествия; один из ее филиалов находился во Франции. *Мессина*— порт в Италии, на острове Сицилия.

Мадригал (С. 95)— Впервые: ПН, 3 июля, 1927. С. 2. Под заглавием «Полулирический антракт». *Не надо ангелов, ни неба, ни алмазов*.— Имеются в виду слова Сони из последней сцены пьесы Чехова «Дядя Ваня» («Мы услышим ангелов, мы увидим все небо в алмазах...»). *Из свадьбы Бомарше*.— Речь идет о комедии Бомарше «Женитьба Фигаро».

Гроза (С. 97)— Впервые: ПН, 12 июля, 1927. С. 2. Под заглавием «Из записных книжек». *Гелиотрон*— кустарник, содержащий вещество, употребляемое в парфюмерии.

Пролог (С. 99)— Впервые: ПН, 1 мая, 1927. С. 2. Под заглавием «Пикник». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 70. *Венецианские безумства*— здесь: роскошные пиры. *Цезура*— постоянный словораздел в стихе, совпадающий с границей стоп и являющийся сильной интонационной паузой.

Арбатские голуби (С. 102)— Впервые: ПН, 26 августа, 1926. С. 3. Под заглавием «Про корыто и прочее». В стихотворении иронически обыграны образы «Сказки о рыбаке и рыбке» Пушкина.

Серебряные коньки (С. 103)— Впервые: ПН, 15 декабря, 1927. С. 4. Под заглавием «Зимний антракт». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 68.

Татьянин день (С. 103)— Впервые: ПН, 24 января, 1926. С. 3. Под заглавием «Ты помнишь ли?». *Ключевский*— В. О. Ключевский (1841—1911), русский историк, академик (1900) и почетный академик (1908) Петербургской Академии Наук. *Ковалевский*— М. М. Ковалевский (1851—1916), русский историк, юрист, социолог, академик (1914) Петербургской Академии Наук.

Признание (С. 105)— Впервые: ПН, 3 ноября, 1926. С. 3. Под заглавием «О так называемых злобах дня». *О, доколе, Катилина*...— Иронически использованные слова Цицерона из его речей, обращенных к римскому претору Катилине (ок. 108—62 до н. э.), пытавшемуся захватить власть; заговор Катилины был раскрыт Цицероном.

Призы к бодрости (С. 107)— Впервые: ПН, 11 декабря, 1926. С. 2. Под заглавием «Манифест бодрости (из полного собрания манифестов)». «*Еще Польша не сгнила*».— Строка из патриотической польской песни. *Панглосс*— доктор философии, учитель Кандида в повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм», с которым приключались всевозможные беды, но который упорно держался следующего убеждения: «Все это неизбежно... Отдельные несчастья создают общее благо, так что, чем больше таких несчастий, тем лучше».

В альбом (С. 108)— Впервые: ПН, 29 октября, 1926. С. 3. Под заглавием «В женский альбом». *Сильфида*— здесь: кокетливая и далекая от мирских забот женщина; сильфида— по учению средневековых алхимиков, дух воздуха. *Нектар олимпийский*— здесь: иронически; нектар— пища олимпийских богов (греч. миф.).

Простые слова (С. 110)— Впервые: ПН, 8 мая, 1927. С. 2. Под заглавием «Мелкобуржуазные мечты». *Жалейка*— русский духовой язычковый инструмент— деревянная или камышовая трубочка с раструбом из рога или бересты. *Приключения Казановы*.— Вероятно, имеются в виду «Мемуары» итальянского писателя Джованни Джакомо Казанова (1725—1798), в которых запечатлены его многочисленные любовные и авантурные приключения.

Ба бье лето (С. 111)— Впервые: ПН, 29 августа, 1926. С. 3. Под заглавием «Четыре времени года». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 75.

Тост (С. 111)— Впервые: ПН, 14 января, 1927. С. 3. Под заглавием «Новогодний тост или повторение пройденного». *Россинант*— лошадь Дон Кихота. *Огоньки*— намек на одноименный рассказ Короленко. *Альма-матер*— университет. *Луч света в царстве мрака*.— Намек на статью Добролюбова «Луч света в темном царстве». *За Сидора и за козу*.— Ироническое обыгрывание выражения «драть (пороть, сечь) как

сидрову козу», т. е. жестоко, беспощадно. *Исстрадавшиеся низы.*— Расхожий штамп послереволюционной газетной публицистики. *На Онуфрия и на Антона.*— Имеются в виду слова купцов из комедии Гоголя «Ревизор» о городничем: «Именины его бываю на Антона, и уж кажись всего нанесешь, ни в чем не нуждается. Нет, ему еще подавай: говорит, и на Онуфрия его именины. Что делать? и на Онуфрия несешь»; о бесстыдном вымогательстве по любому случаю.

Тяга па землю (С. 114)— Впервые: ПН, 7 августа, 1926. С. 3. Под заглавием «Натюр-морт». *Пейзаж*— иронически: крестьяне. *На натюры да на морты.*— Ироническое разложение слова «натюрморт» (буквально: «мертвая природа»), обозначающего изображение неодушевленных предметов.

Подражание Беранже (С. 116)— Впервые: ПН, 3 декабря, 1926. С. 3. Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 62. *Беранже*— Пьер Жан Беранже (1780—1857), французский поэт-сатирик. «*Мой старый фрак, не покидай меня...*»— Рефрен в стихотворении Беранже «Мой фрак» (пер. Д. Т. Ленского); стихотворение Дон-Аминадо— подражание этой песне Беранже. *Шартрез*— сорт ликера.

В Булонском лесу (С. 119)— Впервые: ПН, 29 марта 1927. С. 2. Под заглавием «Парижские прогулки». Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 99.

Двенадцать (С. 119).— Впервые: ПН, 11 марта, 1926. С. 4. Под заглавием «Карнавал». *Как хорошо не помнить Блока...*— Имеется в виду поэма Блока «Двенадцать». *Ми-Карем*— старинный традиционный праздник-карнавал. В ПН, 11 марта 1926, на с. 2 сообщалось, что на празднике ожидается процессия королев во главе с «королевой королев» мадемуазель Изюмбар, в Опере состоится большой бал парижских студентов, где будут присутствовать все королевы; в автомобиле «Иллюстрированной России» займут места «королева Русской колонии в Париже» Лариса Попова и королева парижских студентов Симон Жюлиа. *Мистангэт*— Жанна Буржоа (1875—1956), французская актриса мюзик-холла.

Вариант (С. 121)— Впервые: ПН, 22 сентября, 1926. С. 3. Под заглавием— «Элегия», с эпиграфом: «Вянет лист. Проходит лето. Иней серебрится. Юнкер Шмидт из пистолета Хочет застрелиться». Козьма Прутков. В изд. «Накинув плащ». С. 131—132. С эпиграфом, в составе пяти строф. Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 54. Использована стиховая форма пародии Козьмы Пруткова «Юнкер Шмидт».

Дневник неврастеника (С. 121)— Впервые: ПН, 18 июля, 1927. С. 3. Под заглавием «Светопреставление». *Честь имею доложить...*— Зачин, использованный Дон-Аминадо во многих стихотворениях. *И потоки многих вод.*— В стихотворении иронически обыгран библейский рассказ о всемирном потопе. *Ной*— в Библии— праведник, спасшийся вместе с семьей на построенном по велению Бога ковчеге во время всемирного потопа; Ной взял с собой в ковчег животных.

«Мыс Доброй Надежды» (С. 122)— Впервые: ПН, 21 мая, 1926. С. 3. Под заглавием «Новости сезона», с эпиграфом: «Революция кончается, когда души созревают для добровольного повиновения» и т. п. И. А. Ильин «О покорности». Стихотворение, как явствует из первопечатной публикации, написано в полемике с И. А. Ильиным (1882—1954), философом и публицистом монархического толка, апологетом «белой идеи» (см.: «Не мир, но меч», «О сопротивлении злу силой»); Дон-Аминадо никогда не соглашался с мыслью И. А. Ильина о приведении народа к покорности с помощью силы.

Любовь от сохи (С. 123)— Впервые: «Накинув плащ». С. 142. Стихотворение построено на ироническом использовании штампов тогдашних советских газет («в ударном порядке», «девушка-тип», «товарищ Анюта», «смычки простой», «крестьянского типа мозоль»). *Пильняк*— Б. А. Пильняк (наст. фамилия— Вогау; 1894—1941), советский писатель; Дон-Аминадо, как и многие эмигранты, отрицательно относился к его творчеству.

«Ход коня» (С. 124)— Впервые: ПН, 21 марта, 1926. С. 3. Под заглавием «Дашь коняку!» *Ход коня.*— Ироническая перефразировка выражения «ход конем», т. е. неожиданно удачный. *Галтимор, Крепыш*— знаменитые русские рысаки, бравшие первые призы. *Крестьянин торжествуя.*— Цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин» (гл. 5, строфа II, стих 1). *Ординар*— одна ставка при игре на деньги на скачках и бегах. *Двойной*— две ставки при той же игре.

Сб. «Нескучный сад» вышел в Париже в 1935 г.

Наша маленькая жизнь (С. 125) — Впервые: ПН, 5 мая, 1927. С. 4. *Три романа Вики-Баум* — Баум-Вики (1880—1960), австрийский писатель; именуются в виду его произведения «О нем говорят», «Театральный дворец», «Гранд-Отель».

Труды и дни (С. 126) — Впервые: ПН, 7 февраля, 1933. С. 3 и ПН. 28 марта, 1933. С. 3. Под заглавием «Наша маленькая жизнь». Впервые в полном составе: «Нескучный сад». С. 53—56. *Клиши* — улица в Париже; на ней расположена тюрьма того же названия. *Ищут тихого злодея...* и сл. — Иронически воспроизведена фабула романа Достоевского «Преступление и наказание». «*Вырыта заступом яма глубокая...*» — первая строка из стихотворения Никитина.

Подражание Игорю Северянину (С. 129) — Впервые: ПН, 26 февраля, 1931. С. 2. С эпиграфом: «Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском! Из Москвы — в Нагасаки! Из Нью-Йорка — на Марс! Игорь Северянин». В сб. «Нескучный сад». С. 59—60. В той же редакции, без эпиграфа. Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 53. Пародия на стихотворение Игоря Северянина (наст. имя — Игорь Васильевич Лотарев; 1887—1941) «Увертюра», первая фраза которого («Ананасы в шампанском») дала название сборнику стихотворений. *Поэза* — так И. Северянин называл некоторые свои стихотворения.

Творимая легенда (С. 129) — Впервые: ПН, 15 июня, 1933. С. 7. Под заглавием «*Saison gusse*» («Русский сезон»). *Творимая легенда*. — Название романа Ф. Сологуба. «*Бедность не порок*» — пьеса А. Н. Островского. *Кончак* — действующее лицо оперы «Князь Игорь». *Психея* — здесь: невинная и чистая девушка; олицетворение человеческой души; обычно изображалась в виде бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки (греч. миф.). *Huissier* — судебный исполнитель.

Вершки и корешки (С. 130) — Впервые: ПН, 2 июля, 1933. С. 3. В иной редакции — сб. «Нескучный сад». С. 63—64. Печ. по тексту «В те баснословные года». С. 58. Написано в стиле «Камаринской», часто встречающемся у Дон-Аминадо. *Бакалавр* — первая ученая степень во многих зарубежных университетах; во Франции присваивается окончившим среднюю школу и дает право на поступление в университет. *Кентавр* — здесь иронически: многознающий, как демон; кентавры — мифические существа, лесные или горные демоны, полулошади, полулюди (греч. миф.). *Меримэ* — Проспер Мериме.

Из Генриха Гейне (С. 131) — Впервые: ПН, 5 июля, 1934. С. 3. Под заглавием «Маленькие рассказы». В стихотворении Дон-Аминадо воспроизвел интонационную манеру и стих Г. Гейне. *Сомье* — род дивана или кресла. *Юнгфрау* — каламбур: девушка и название горы.

«Манящая даль» (С. 133) — Впервые: ПН, 6 июля, 1933. С. 69. *Гвадалquivир* — река в Испании. *Инфант* — здесь: дитя; в Испании и Португалии — титул принцев королевского дома. *Пампелун* — французское название испанского рода Памплон, расположенного в гористой местности, в провинции Наварра, в районе Пиренеев; столица Наварры. *Аранжуэц* — французское название испанского города Аранхус, бывшей королевской резиденции. *Алькасар* — Алькасар, замок-дворец мавританских государей в Толедо (Испания).

Последние римляне (С. 133) — Впервые: ПН, 15 октября, 1933. С. 3. Под заглавием «И был Октябрь...». *Пневматик* — имеется в виду пневматическая почта, транспорт для перемещения по трубопроводам потоком воздуха документов, писем, срочных сообщений, вложенных в патроны (капсулы); действует в пределах здания или города. *Тэрм* — квартирная плата за определенный срок.

Вечеринка (С. 134) — Впервые: ПН, 19 ноября, 1933. С. 3. В иной редакции — «Нескучный сад». С. 72—73. Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 56.

От ворот поворот (С. 135) — Впервые: «Нескучный сад». С. 81—82. *Маруся Спиридонова* — М. А. Спиридонова (1884—1941), лидер левых эсеров. *Аксаков* — кто именно из семьи Аксаковых имеется в виду, неясно; два брата Аксаковых — Константин Сергеевич (1817—1860) и Иван Сергеевич (1823—1886) — были публицистами, славянофилами. *Киреевского с братом*. — Речь идет об И. В. Киреевском (1806—1856), религиозном философе, славянофиле, критике и публицисте, и о его брате, П. В. Киреевском (1808—1856), фольклористе, археографе, публицисте. *Хомя-*

ков — А. С. Хомяков (1804—1860), религиозный философский писатель, поэт, публицист, славянофил. *Леонтьев* — К. Н. Леонтьев (1831—1891), писатель, публицист, критик. *Федотов* — Г. П. Федотов (1886—1951), публицист. *Домострой* — здесь: патриархальный строй, быт; «Домострой» — произведение русской литературы XVI в., свод житейских правил и наставлений; защищал патриархальный быт и деспотическую власть главы семьи.

**Жизнь графини де Петрушки** (С. 136) — Впервые: ПН, 10 июля, 1934. С. 3. Под заглавием «Петербургская повесть», с эпиграфом: «В «Гренгуаре», в повести, где фигурируют русские, героиня носит имя графини де Петрушки». В сб. «Нескучный сад». С. 83—84. Под заглавием «*Ame slave*» («Славянская душа»). Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 45—46. *Грандюшесса* — великая герцогиня. *Дюк* — герцог. *Принс* — принц, князь. *Толстовского жена*. — Ироническое образование от фамилий Толстой и Достоевский. *Егермейстер* — придворный чин; изначально — один из организаторов государевой охоты. *Де Смирновки*. — Здесь иронически: о водке; калька с французского. *Грандюк* — великий герцог. *Дюшесса* — герцогиня.

**Крик души** (С. 137.) — Впервые: ПН, 13 марта, 1930. С. 2. Под заглавием «Философические строки». *Солнце всходит и заходит...* — Песня в пьесе М. Горького «На дне». *Леон Блом* (1872—1950) — лидер и теоретик французской социалистической партии; ввиду его левых взглядов русская эмиграция относилась к нему в целом отрицательно.

**Паноптикум** (С. 138) — Впервые: ПН, 9 сентября, 1934. С. 3. *Калигари* — имеется в виду фильм «Кабинет доктора Калигари» (сценарий Ганса Яновица и Карла Майера, режиссер Роберт Вине), выдержанный в стиле немецкого экспрессионизма. *Фауст* — здесь: человек, вступивший в союз с дьяволом; герой немецких народных легенд, имевший связь с Мефистофелем. *Гebbельс Йозеф* (1897—1945) — один из руководителей немецкого фашизма; признан военным преступником. *Вагнер* — Рихард Вагнер (1813—1883), немецкий композитор, творчество которого использовали в идеологических целях немецкие национал-социалисты. *Кукла из желтого воска*. — Имеется в виду Адольф Гитлер (наст. фам. — Шicklgruber; 1889—1945), главарь немецкого фашизма; главный военный преступник.

**«Священная весна»** (С. 138) — Впервые: ПН, 1 апреля, 1932. С. 3. С эпиграфом: «Находящаяся в Москве американская скульпторша Розенгауз лепит бюст Н. К. Крупской». В новой редакция — «Нескучный сад». С. 121—122. Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 17—18. *«Священная весна»* — «Весна священная», балет И. Ф. Стравинского (1882—1971), русского композитора и дирижера. *Какая-то восторженная дура...* — Имеется в виду Мэри Розенгауз (см. эпиграф в первой публикации). В «Поезде на третьем пути» Дон-Аминадо неправильно указал имя другой скульпторши — англичанки Клэр Шеридан (1885—1970), которая приезжала в Москву в 1920 г. и также делала портрет Н. К. Крупской; о своих впечатлениях она написала в книгах «Русские портреты» и «Обнаженная правда».

**Стоянка человека** (С. 139) — Впервые: ПН, 30 августа, 1931. С. 2. Под названием «Без заглавия», с эпиграфом: «На реке Соже обнаружена стоянка первобытного человека. С небольшими изменениями — «Нескучный сад». С. 127—128. Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 25—26. *Неолитических эпох* — эпох нового каменного века (ок. 8—3 тыс. до н. э.). *Тризна* — часть погребального обряда у славян после похорон (поминки). *Сож* — река, левый приток Днепра. *Анахорет* — пустыжник, отшельник.

**Родная сторона** (С. 140) — Впервые: ПН, 23 ноября, 1926. С. 3. Под заглавием «Жизнь старостка», с эпиграфом: «Фонарики-сударики Горят себе горят, Что видели, что слышали О том не говорят». Мятлев». Новая редакция — ПН, 23 января, 1931. С. 2. Под заглавием «Рассказ приезжего». Интонационно-ритмический строй стиха заимствован у русского поэта И. П. Мятлева (стихотворение «Фонарики»).

**Поэт** (С. 141) — Впервые: ПН, 3 мая, 1932. С. 2. Под названием «Без заглавия» и с эпиграфом: «„Прежде всего я член партии! А стихотворец потом...“ Манифест Безыменского». Безыменский А. И. (1898—1973) — советский комсомольский поэт.

**Романс** (С. 142) — Впервые: ПН, 15 мая 1934. С. 3. Под заглавием: «Московский альбом». *Две гитары за стеной...* — неточная цитата из стих. А. А. Григорьева «Цыганская венгерка».

**Познай себя. Басня** (С. 143) — Впервые: «Нескучный сад». С. 146—147. Под заглавием «Познай себя! Басня», в иной редакции. Печ. по тексту сб. «В те басно-

словные года». С. 127—128. Название стихотворения — греческое крылатое выражение, употребляемое в латинской форме — *Nosce te ipsum*. *Сократ* (470/469—399 до н.э.) — древнегреческий философ; цель философии, по учению Сократа, — самопознание как путь к постижению истинного блага; сократово начало — девиз «Познай самого себя!»

Гороскоп (С. 144.) — Впервые: ПН, 8 декабря, 1933. С. 3. *Сандрильона* — Золушка, героиня сказки французского писателя Шарля Перро. *Клико* — марка шампанского.

*Primavera* (С. 144) — Впервые: ПН, 18 марта, 1934. С. 3. Под заглавием «Весенняя хрестоматия». *Primavera* — весна. *Была прелестная пора...* — Наверяно, вероятно, стихом Н. П. Огарева «Была чудесная весна...» («Обыкновенная повесть»). *Боттичелли* — Сандро Боттичелли (наст. имя — Александр Филиппини; 1445—1510), итальянский живописец; тонкий колорист. *Кружились первые грачи, Как на картинах Ярошенко* — Н. А. Ярошенко (1846—1898), русский художник-передвижник; вероятно, имеется в виду картина «Всюду жизнь». *Левитан* — И. И. Левитан (1860—1900), русский художник-передвижник, создатель «пейзажа настроения».

Уездная сирень (С. 145) — Впервые: ПН, 30 апреля, 1929. С. 2. Под названием «Без заглавия». Перепечатано с изменениями — ПН, 5 апреля, 1931. С. 3. Под заглавием «Лирический антракт». В новой редакции — «Нескучный сад». С. 175—176. Печ. по тексту сб.: «В те баснословные года». С. 71.

Вторая молодость (С. 147) — Впервые: ПН, 1931, 22 марта. С. 3, с названием «Без заглавия», в иной редакции. *Калигула* — Калигула (12—41), римский император; по преданию, недовольный сенаторами и высказывая им презрение, въехал на лошади в здание Сената и произвел лошадь в сенаторы. *Пегас* — крылатый конь; символ поэтического вдохновения (греч. миф.). *Курия* — общество, связанное профессиональными или каким-либо иным интересом; сенат.

Август (С. 148) — Впервые: ПН, 16 июня, 1931. С. 2. Печ. по тексту сб. «В те баснословные года». С. 96.

Из альбома пародий (С. 149) — Впервые: ПН, 1 августа, 1929. С. 2, с тем же названием. В иной редакции — под заглавием «Лирический антракт» — ПН, 12 апреля, 1931. С. 2. *Фуляр* — легкая мягкая шелковая ткань, из которой в XVIII в. делали носовые и шейные платки. *Пистолет свой геттингенский.* — Иронический намек на Владимира Ленского, героя романа «Евгений Онегин» Пушкина («С душою прямо Геттингенской»).

Сон в зимнюю ночь (С. 151) — Впервые: ПН, 19 декабря, 1933. С. 3. Название стихотворения — измененное заглавие комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь». Эпиграф — из романа Пушкина «Евгений Онегин». *Башо* — школьный экзамен на степень бакалавра. *Таскай хоть в Лувр ее, к Венерам...* — В музее Лувр (Париж) находится статуя Венеры Милосской. *Редерер* — сорт шампанского. *Поль Валери* (1871—1945) — французский поэт. *...пылью серебрился Его брововый воротник!...* — Цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин».

Как рассказать... (С. 152) — Впервые: ПН, 3 декабря, 1929. С. 3. Под заглавием «Декабрьские этюды», с эпиграфом: «Зима. Крестьянин, торжествуя, На дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, Плетется рысю, как-нибудь». Пушкин». Новая редакция — «Нескучный сад». С. 193. Печ. по тексту сб.: «В те баснословные года». С. 83.

### Из сборника «В ТЕ БАСНОСЛОВНЫЕ ГОДА»

Сб. «Д. Аминадо. В те баснословные года» (Париж, 1951) имеет два эпиграфа: «Я знал ее еще тогда, В те баснословные года. Тютчев». И «De la gravité dans le frivole. Baudlaïn». («Серьезность в легкомыслии. Бодлер»).

«Пролегомены» (С. 152) — Впервые: ПН, 13 мая, 1932. С. 2. Под заглавием «Конспект». *Пролегомены* — предисловие, введение, предварительное рассуждение. *Альманахи в зеленой обложке.* — Имеются в виду сборники книгоиздательского товарищества «Знание» (1898—1913; с 1902 г. возглавлял М. Горький), выходившие в обложках зеленого цвета. *Андреев* — Л. Н. Андреев (1871—1919), русский писатель, некоторое время жил в местечке Куоккала (ныне — пос. Репино Санкт-Петербургской обл.). *Дайте нам басяка.* — Имеются в виду рассказы А. М. Горького о босяках.

«Я» — имеется в виду так называемое «ячество» В. Маяковского. *Верхарн* — Эмиль Верхарн (1855—1916), бельгийский поэт и драматург. *Санин* — имеется в виду роман «Санин» М. П. Арцыбашева (1878—1927), русского писателя. *Цевница* — свирель. *Ходотов* — Н. Н. Ходотов (1878—1932), русский актер; выступал на эстраде в жанре мелодекламации.

Беловежская пуца (С. 154) — Впервые: ПН, 16 января, 1938. С. 3. Под заглавием «Верховный Совет». *Два Кагановича*. — Речь идет о партийных и государственных лицах — Л. М. Кагановиче (1893—1991) и, вероятно, М. М. Кагановиче, зам. наркомтяжпрома.

Голубь мвра (С. 155) — Впервые: ПН, 19 июля, 1936. С. 3. С эпиграфом: «В печати обсуждается кандидатура Литвинова на Нобелевскую премию». *Кашн* — в Библии старший сын Адама и Евы, убивший своего брата Авеля.

Идиллия (С. 157) — Впервые: ПН, 28 февраля, 1936. С. 3. *Жюль Ромэн* (наст. имя — Лун Фаригуль; 1885—1972) — французский писатель, автор многотомных романов.

В картине Кустодиева (С. 157) — Впервые: «В те баснословные года». С. 69. *В картине Кустодиева*. — Возможно, имеется в виду одно из полотен серии «Ярмарки».

Свой угол (С. 158) — Впервые: ПН, 8 мая, 1936. С. 3. Под названием «Из альбома пародий». Перепечатывалось: ПН, 25 января, 1938. С. 3. Под заглавием «Западный Диван» и ПН, 9 февраля, 1939. С. 4. Под заглавием «Подражание древним». *Блажен, кто вовремя постиг...* — В стихотворении отразилось влияние Пушкина (ср. «Блажен, кто во время был молод, Блажен, кто во время созрел» («Евгений Онегин», гл. 8, строфа 1, ст. 1—2). ...*жизнь не храм, а мастерская*. — Неточная цитата («Природа не храм, а мастерская, и человек в ней работник») из романа Тургенева «Отцы и дети» (слова Базарова). *Старых циников труды*. — Речь идет об одной из греческих сократических школ киников (лат. название — циники), выдвинувшей идеал безграничной духовной свободы индивида и с пренебрежением относившейся ко всяким социальным связям, обычаям и культурным традициям.

Ато-атаге (С. 158) — Перевод заглавия: Любить — любили.

Заключение (С. 164) — Впервые: «В те баснословные года». С. 133. *Дахау* — первый концентрационный лагерь в фашистской Германии, близ Мюнхена; создан в 1933 г. *Нарым* — место политической ссылки в царской России и в советские годы.

### Стихотворения, не вошедшие в сборники

Три измерения (С. 166) — «Красный смех», 1915, № 3, с. 3. *Мейн шецхен* — мое сокровище. *Лаур* — здесь: возлюбленных; *Лаура* — возлюбленная итальянского поэта Франческо Петрарки, воспетая им в лирике.

«Будет радость!» (С. 168) — ПН, 2 июня, 1920, С. 3. *Хивинский хан низвергнут с пьедестала*. — Хивинский хан был низложен 2 февраля 1920 г. *Карахан* — Л. М. Карахан (Караханян; 1889—1937), советский государственный деятель, зам. наркома иностранных дел. *Раджи с магараджами* — княжеские титулы в Индии. *Книги Ведды* — книги, сочиненные древнейшими обитателями Шри-Ланки, буддистами и индуистами. *Богдыхан* — так называли императоров Китая в русских грамотах 16—17-м вв. *Нирвана* — понятие, означающее высшее состояние, цель человеческих стремлений; абсолют; состояние души, освобожденной от оков материи, бесконечной игры рождений и смертей. *Лига Наций* — международная организация; учреждена в 1919 г., формально распущена в 1946 г. *И будет Тред и будет Унион*. — Ироническое использование слова «тред-юнион», названия профсоюзов в Великобритании; тред — профессия, унион — союз.

Стхи, написанные во время дождя (С. 169) — ПН, 14 июня, 1920, С. 3. Эпиграф — из стихотворения «Пыль Москвы» Lolo (Л. Г. Мунштейна), русского поэта-сатирика; его сб. стихотворений назван «Пыль Москвы». *Марфа и Мария* — уподобление России Марфе и Марии связано с евангельским сюжетом о двух сестрах Лазаря, в доме которых однажды остановился Христос. В то время как Марфа заботилась об угощении Христа, Мария села у ног Иисуса и внимала его слову. Марфа обратилась к Христу с просьбой, чтобы сестра помогла ей. И тогда Христос ответил: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно; Мария

же избрала благую часть, которая не отнимается у нее» (Евангелие от Луки, 10, 38—42). Россия в этом свете выглядит вместилищем двух начал — материального и духовного, обращенных и к мирской суете, и к Богу. Эти начала ведут нескончаемый и непримиримый спор. *Гайт* — имеется в виду Гайд-парк как символ Англии. *Сна* — город в Бельгии, в северных предгорьях Арденн. *Терсит побеждает Патрокла*... — реминисценция из баллады Жуковского «Торжество победителей»: «Нет великого Патрокла, Жив презрительный Терсит»; *Терсит* — самый безобразный среди греческих персонажей в «Илиаде» Гомера; *Патрокл* — греческий герой, участник Троянской войны, друг Ахилла, убитый Гектором (греч. миф.).

Частушки (С. 170) — ПН, 18 июня, 1920. С. 3. *Лот* — мера веса. *Петлюра* — С. В. Петлюра (1879—1926), украинский националист, организатор Центральной Рады и глава Директории; эмигрант, убит в Париже. *К Тегерану пушки*. — Напряженные отношения с Ираном возникли после 1917 г., в 1920 г. были установлены дипломатические отношения, а в 1921 г. заключен советско-иранский договор. *Файфоклоки* — чаепития между ленчем и обедом, принятые в Англии и в США.

Покаяние (С. 171) — ПН, 25 августа, 1920. С. 3. *Аполлон* — бог поэзии (греч. миф.). *Конфреры*. — Имеется в виду «Братство по Страсти», которое считало своих членов поверенными мистических тайн.

«Каждый в юности что-то лелеял...» (С. 172) — ПН, 31 августа, 1920. С. 3. Эпиграф — из стихотворения В. Курочкина «Безумцы» (перевод стихотворения Беранже). *Монтень* — Мишель де Монтень (1533—1592), французский философ, считающийся, что сомнение — один из двигателей знания.

*La donna e mobile* (С. 173) — ПН, 17 сентября 1920, С. 3. *La donna e mobile* — непостоянная женщина, непостоянная госпожа; слова из песенки Герцога (опера Д. Верди «Риголетто»). В стихотворении высмеяны отношения между Италией, Францией и Англией. Эпиграф — из стихотворения Апухтина «С курьерским поездом». *Люцерн* — город-курорт в Швейцарии. *Poste-restaurant* — до востребования. *Лло* — имеется в виду Ллойд Джордж. *Экс-ле-Бэн* — бальнеологический курорт во Франции; местечко в Савойе, на берегу озера Бурже. *Мими* — Мильеран (1859—1943; президент Франции). *Атадэ* — отставка. Л. Д. — Ллойд Джордж.

Причина всех причин (С. 175) — ПН, 8 октября, 1920. С. 3. Эпиграф — неточная цитата из рассказа Чехова «Палата № 6» («А как пили! Как ели! А какие были отчаянные либералы!»). *Иго-Игоря* — Игоря Северянина. *Слаще сладостной магнези* — здесь: иронически — окись магнезия горькая на вкус. *Маис* — кукуруза. *Царица Маб* — королева Маб, персонаж английских волшебных сказок; Шекспир изобразил ее прекрасной обольстительницей в трагедии «Ромео и Джульетта».

Космос вприкуску (С. 176) — ПН, 26 октября, 1920. С. 2. *И над Цезарем — Брут!* — Гай Юлий Цезарь (102 или 100—44 до н. э.), римский диктатор; Марк Юний Брут (85—42 до н. э.), республиканец — заговорщик, нанес Цезарю удар кинжалом; в результате заговора Цезарь был убит.

Исполненное чудо (С. 179) — ПН, 3 ноября, 1920. С. 3. *Бинасик* — М. С. Бинасик (наст. фамилия — Новоседский; 1883—1938), социал-демократ, председатель коалиционного кабинета министров во Владивостоке. *Горит восток зарею трижды новой!*... — Перефразировка стиха Пушкина («Горит восток зарею новой...») из поэмы «Полтава». *Как аргонавт, принять руно готовый!*... — Имеется в виду миф об аргонантах, героях, совершивших поход в Колхиду за золотым руном (шерстью) волшебного овна (барана); плыли на корабле «Аргон».

Федерация так федерация (С. 180) — ПН, 24 ноября, 1920. С. 3. Стихотворение посвящено образованию Закавказской демократической федеративной республики. *Геоργия Великая держава* — имеется в виду Грузия; по имени, вероятно, Георгия XII (1746—1800), последнего царя Картли-Кахети. Георги — грузины, как наследники царя Георгия. *Чхеидзе* — Н. С. Чхеидзе (1864—1926), меньшевик, председатель Петросовета, ВЦИК, с 1918 г. — председатель Закавказского сейма, Учредительного собрания Грузин, с 1921 г. — эмигрант. *Скобелев* — М. И. Скобелев (1855—1938), меньшевик, министр труда Временного правительства.

Созвездие Конституанты (С. 182) — ПН, 19 января 1921. С. 3. *Конституанта* — здесь: Учредительное собрание в России, заседание которого происходило в Таврическом дворце в Петрограде 5 (18) января 1918 г.; по имени Конституанты — Учредительного собрания во время Великой французской революции (1789—1791).



«Есть упоение в бою...» — Слова из песни Вальсингама в «Пире во время чумы» Пушкина. «Открылась бездна, звезд полна...» — Стихи Ломоносова из стихотворения «Вечернее размышление о Божием величестве по случаю великого северного сияния».

В дни Мессни (С. 183) — ПН, 13 февраля, 1926. С. 3. *Ании Безант* (1847—1933) — мистически настроенная англичанка, участница национально-освободительного движения в Индии. Дон-Аминадо отрицательно относился ко всевозможным мистическим откровениям и пророчаниям. «Я пришел к тебе с приветом...» — Первая строка из стихотворения Фета. Бомбей — город в Индии. *Галилей* — Галилео Галилей (1564—1642), итальянский ученый, один из основателей точного знания. *Кришнамурти* — Джидду Кришнамурти (1895 или 1897—?), индийский религиозный мыслитель и поэт; объявлен теософами новым учителем мира, но затем порвал с ними. *Мадрас* — город в Индии. *Атлантида* — по древнегреческому преданию, некогда существовавший огромный остров в Атлантическом океане. *Остров с гордом Опочкой* — Остров — игра слов: остров как часть суши, окруженная со всех сторон водой, и город в Псковской губернии на реке Великая; *Опочка* — город в Псковской губернии на реке Великая. *Венизелос* — Элефтернос Венизелос (1864—1936), греческий политический деятель, занимавший в разные годы пост премьер-министра Греции. *Палеолог* — имеется в виду С. Н. Палолог, монархист, глава секции «Братства русской правды» в Белграде.

Шутливые строчки (С. 185) — ПН, 19 февраля, 1926. С. 3. *Каприччио* — здесь: буквально — каприз; каприччио — виртуозная инструментальная музыкальная пьеса импровизационного склада. *Пангалос* — Ф. Пангалос, греческий генерал, совершивший государственнй переворот в 1925 г. *Папа-Анастасий*. — Имеется в виду Папанастасий, лидер партии «Республиканский союз». *Кассий* (? — 42 до н. э.) — Один из организаторов убийства Цезаря. *Садуль* — Жак Садуль (1881—1951), французский политический деятель; 7 ноября 1918 г. выступил в Москве на открытии памятника Жоресу и был заочно приговорен к смертной казни; в 1924 г. вернулся во Францию и предан военному суду, однако оправдан. *Ситуаен* — гражданин.

«Моралитэ» (С. 188) — ПН, 7 марта, 1926. С. 3. *Моралитэ* — здесь: иронически — сценка в жанре аллегорической назидательности. ...*голая Ева К. прабабушке их подошла...* — Имеется в виду библейский сюжет об искушении Евы — первой женщины и праматери — змеем; вкусив «запретный плод с древа познания добра и зла», Ева навлекла проклятие на весь род человеческий и была изгнана из рая. *Рантье* — лицо, живущее на проценты с отданного в ссуду капитала или с ценных бумаг. *Начальник пробирной палатки* — коллективный литературный псевдоним Козьма Прутков; сатирический образ поэта и чиновника; ему принадлежит девиз «Бди!»

Вальс гиппопотама (С. 189) — ПН, 6 апреля, 1926. С. 3. *Н. Е. Марков Н-ой* — Николай Евгеньевич Марков (1866—?), один из лидеров «Союза русского народа». «Союза Михаила Архангела», монархист, крупный помещик. *Просто бы мыслью по древу потечь.* — Выражение, восходящее к «Слову о полку Игореве». *Зерцал* — т. е. законов и нравоучительных наставлений; зеркало — произведения нравоучительного толка; эмблема «законности» в царской России (треугольная призма, увенчанная двуглавым орлом; по граням ее были наклеены экземпляры петровских указов; ставилась на стол в государственных и судебных учреждениях). *Мандрилла* — обезьяна из рода узконосых. *Мажестиковый* — величественный.

Как провести лето? (С. 191) — ПН, 1 июня, 1926. С. 3. *Трувиль* — морской курорт во Франции. *Кельке шоз* — нечто.

Робкое подражание (С. 192) — ПН, 9 июня, 1926. С. 3. Эпиграф — цитата из статьи В. Маяковского «Как делать стихи». *Кафе-натюр* — натуральный, черный кофе. *Эйфелев Тур* — Эйфелева башня.

Записки неврастеника (С. 195) — ПН, 7 июля, 1926. С. 3. Перепечатано — ПН, 1938, 6 декабря, с. 3. Эпиграф — из стихотворения американского поэта Эдгара По «Ворон». *Nevermore* — больше никогда. *Франко-русских конференций*. — Речь идет о переговорах между Францией и СССР по поводу долгов царского правительства, которые велись в течение длительного времени.

Размышления о великом (С. 196) — ПН, 10 июля, 1926. С. 3. Эпиграф — неточная цитата из стихотворения П. И. Вейнберга «Он был титулярный советник...». *На склоне бальзаковских лет* — т. е. около 40 лет; Бальзак любил изображать женщин 35—36 лет. *Титулярный советник* — по табели о рангах гражданский чин 9-го класса, соответствующий чину капитана или эсаула.

Припадочные (С. 198)—ПН, 14 июля, 1926. С. 2. Прудон—Пьер Жозеф Прудон (1809—1865), французский социалист, теоретик анархизма. *Не ваш ли чудотворствовавший Будда, Кривой, эпилептический Тарзан*—здесь: В. И. Ленин. *Награбленное грабь*—«Грабь награбленное!»—слова В. И. Ленина. *Древле*—в давние времена, встарь, в старину. *Вели на несгораемые кассы...*—Имеются в виду так называемые «эксы» (до Октябрьской революции—налеты боевиков на банковские и иные учреждения с целью насильственного изъятия денег для пополнения партийной кассы: одна из форм «экспроприации экспроприаторов»).

«Сильным и достойным» (С. 199)—ПН, 15 октября, 1926. С. 3. «Русская Правда»—эмигрантская газета. ...*будущих Малют*.—Т. е. палачей; по имени Малюты (прозвище Г. Л. Скуратова-Бельского; ?—1573), думного дворянина, приближенного Ивана IV Грозного, главы опричного террора, *Бармы*—драгоценные оплечья, украшенные изображениями религиозного характера; бармы одевали во время коронации и торжественных выходов. *Епанча*—старинная русская одежда; длинный широкий парадный (или дорожный) плащ. *Вампука*—имеется в виду опера-пародия, высмеивающая условности и обветшалые традиции в оперных спектаклях; поставлена в Петербурге в 1909 г.; синоним всего искусственного, ходульного в театральных постановках.

Эмигрантская жалобная (С. 200)—ПН, 19 ноября, 1926. С. 3. *Наansenовский паспорт*—временное удостоверение личности, введенное Лигой Наций по инициативе норвежского исследователя Арктики Фритьофа Нансена (1861—1930); такие паспорта были выданы лишенным отечества (апатридам) и беженцам; их получили и русские эмигранты.

Без заглавия («Люблю давно забытые романсы...») (С. 202)—ПН, 18 декабря, 1926. С. 2. «*Не говори, что молодость сгубила!*»—Строка из стихотворения Некрасова «Тяжелый крест достался ей на долю...» *Орлянка и Орел*.—Намек на призыв восстановить силой монархию в России; герб России—двуглавый орел. *Аскольдова могила*.—Имеется в виду место на правом берегу Днепра в Киеве, где, по преданию, похоронен убитый Олегом древнерусский князь Аскольд (?—882), павший в Киеве; опера А. Н. Верстовского. *Пардессю*—пальто. *Сменив вехи*.—Имеется в виду «сменовеховство», т. е. перемена отношения к советской власти, принятие ее; к этому были склонны печатные органы (например, «Новый Град»), в которых публиковался Юрий Владимирович Мандельштам (1908—1943), поэт и литературный критик, погибший в гитлеровском лагере; идеи «сменовеховства» коснулись и самого Ю. В. Мандельштама, который раньше был противником СССР. *Роцям евразийским*.—Намек на «евразийство»; идеи «евразийства» были изложены в сборнике «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев». Сб. содержал статьи П. Н. Савицкого, П. П. Сувичинского, князя Н. С. Трубецкого и Г. В. Флоровского. Смысл идеи «евразийства» состоял в том, что западный мир обречен, у него нет будущего. Россия же—страна европейская и азиатская; в великом подвиге труда она раскроет миру некую общечеловеческую правду. «Евразийцы» принимали Октябрьскую революцию как неизбежность, «смирялись» перед ней как перед стихийной катастрофой и проклинали лишь то, что было отмечено печатью злой воли. Принимая революцию, они, таким образом, отрицали большевизм; отвергая социализм, утверждали Бога и Церковь. Впоследствии у первых «евразийцев» появилось много единомышленников, в том числе Л. П. Карсавин (1882—1952). *Харон*—перевозчик в царстве мертвых, переправляющий на челноке души умерших через реки подземного царства (греч. миф.). *До лет Мафусаила*.—Т. е. почти до тысячелетия (Мафусаил, дед Ноя, прожил 969 лет; библ. миф.).

Ваня, дитя эмигрантское (С. 203)—ПН, 22 декабря, 1926. С. 3. *А через двести—триста лет*.—Намек на Чехова. *Ажан*—полицейский. *Бриош*—сдобная булочка. *Спич*—краткая речь.

Натюрморт (С. 204)—ПН, 26 декабря, 1926. С. 3. «*Духовной жаждою томим*».—Строка из стихотворения Пушкина «Пророк». *Серафим*—ангел. *Шоффаж централь*—центральное отопление. *Иерей*—священник. *Бисиклетка* (бициклетка)—велосипед для двух ездоков. «*И жало мудрая змея*», «*И горних ангелов полет*».—Строки из стихотворения Пушкина «Пророк».

Эмигрантские частушки (С. 206)—ПН, 4 января, 1927. С. 3. *Руж*—здесь: краски и румяны; руж—красный, алый, ярко-рыжий. *Французик из Бордо*.—Выражение из комедии Грибоедова «Горе от ума».

Человеческое и кошачье (С. 208)—ПН, 6 января, 1927. С. 2. *Норд*—северный ветер. *Ост*—восточный ветер. *Троглодит*—первобытный пещерный человек; в переносном смысле—некультурный человек, невежа.

Роман пишущих машинок (С. 209)—ПН, 29 января, 1927. С. 3. *Страшный суд*.—Здесь—иронически: до последнего дня жизни; «последнее» судилище, которое должно определить судьбы «грешников» и «праведников». *Столоначальник*—заведующий канцелярским столом, казенными письменными делами. *Рококо*—здесь; иронически—неоправданное прихотливое смешение; стилевое направление в европейском искусстве, в котором господствует грациозный орнаментальный ритм и изысканная декоративность асимметричных композиций.

Гармонический порядок (С. 210)—ПН, 10 февраля, 1927. С. 3. *Геллеспонт*—древнегреческое название пролива Дарданеллы. *Феб*—одно из прозвищ Аполлона, бога поэзии (греч. миф.).

Сон клерка (С. 212)—Впервые—ПН, 13 февраля, 1927. С. 3. Под заглавием «Сон помощника бухгалтерии». Печ. по тексту: «Сатирикон», 1931, № 15. С. 12. *Пернамбуко*—Пернамбуку (Ресифи), город и порт в Бразилии. *Креолка*—потомок испанских или португальских завоевателей; дети от смешанных браков; европейцев с жителями местных племен. *Про Фоли и про Бержеры*.—Разложение слова «Фоли-Бержер», так называется театр в Париже, где даются эстрадные представления, ревью, рассчитанные на невзыскательную публику. *Молох*—божество; для того, чтобы умилостивить его, сжигали малолетних детей (библ. миф.); в переносном смысле—страшная, ненасытная сила, требующая человеческих жертв. *Диана*—здесь: красавица; богиня-девственница, богиня луны, охоты, доторожения (римск. миф.).

Финансовое самообозрение (С. 216)—ПН, 8 марта, 1927. С. 3. *Боны*—краткосрочные долговые обязательства казначейства, муниципальных органов и отдельных фирм. Заменяют разменные монеты. *Пезеты*—здесь: деньги; песета—разменная монета в Испании. *Вотшировать*—голосовать «за». *Вотум*—здесь—иронически: мое мнение, за которое я же проголосовал; мнение, выраженное голосованием.

Аллегретто (С. 217)—ПН, 16 марта, 1927. С. 2. ПН от 4 марта 1927 г. поместила статью под ироническим заглавием «Последнее достижение», в которой сообщалось об организации русской школы фашизма. *Аллегретто*—в быстром темпе. *Шульгин*—Василий Витальевич Шульгин (1878—1976), политический деятель, публицист; на некоторое время примкнул к итальянским фашистам; в 1944 году был возвращен из Югославии в СССР, арестован, освобожден в 1956 году. *Фашио Россико звива*.—Да здравствует русский фашизм. *Фашио Россико ававити!*—Русский фашизм, вперед! *Базилко Шульгиничи*.—Ироническая переделка на итальянский лад имени и фамилии Василия Шульгина. *Гранде монаркиста*—великий монархист. *Манифесто дель фашиста*—манифест фашистов. *Гавдеамус*—будем радоваться. *Фортиссимо направо*.—Т.е. громкие заявления о решительном повороте вправо. *Диттаторе*—диктатор. *Дуче*—глава, вождь. *Тутти-фрутти*—пряильно: тутти-фрутти—всякая всячина. *Елико*—поскольку, так как. *Пейзанино бородато*—иронически: бородатый крестьянин. *Грандиоза*—пребольшая. *Крещендо*—здесь: в переносном смысле—с возрастающей силой.

Три души (С. 218)—Впервые: ПН, 1927, 19 марта. С. 3. Эпиграф—неточная цитата из стихотворения «Три души» поэта С. Г. Фруга (1860—1916).

Египетские ночи Шульгина (С. 220)—ПН, 20 марта, 1927. С. 2. «*Чертог сиял. Гремели хором*».—Строка стиха Пушкина из «Египетских ночей». Клеопатра (69—30 до н.э.), последняя царица Египта; на сюжет из жизни Клеопатры в «Египетских ночах» сочинял стихи импровизатор. «*И ужас всех объемлет*».—Цитата из повести Пушкина «Египетские ночи». *Плотник-царь*—Петр I. *Екатерина*—Екатерина II. *Не вскормила нас волчица*...—По преданию, основатели Рима Ромул и Рем (VIII в. до н.э.) были вскормлены волчицей; Ромул был первым царем Рима.

Весенний бал (С. 221)—ПН, 23 марта, 1927. С. 3. Стихотворение написано за несколько дней до бала, состоявшегося в зале «Лютетия». Конферировал М. Осоргин. В кабриолет впряглись Тэффи, Б. Зайцев, В. Зеелер, М. Осоргин, Дон-Аминадо. Гречанинов пел свои «Детские песенки» (ПН, 26 марта. 1927). *В наслоених декад*—здесь: в наслоении десятилетий.

Домашнее (С. 227)—ПН, 9 апреля, 1927. С. 3. *Петрарка*—Франческо Петрарка (1304—1374), итальянский поэт, воспевавший свою возлюбленную Лауру. *Ав-*

гур — здесь: мудрец; авгуры — коллегия жрецов в Древнем Риме, толковавшая волю божества.

Невинные прогулки (С. 232) — ПН, 21 мая, 1927. С. 3. Перепечатано небольшими изменениями (в связи с изменившейся политической ситуацией) в ПН, 27 февраля, 1931. С. 3. Под заглавием «Овощи». В стихотворении высмеяны различные политические направления в белой эмиграции — монархисты, «сменовеховцы», «евразийцы», «нспримиренцы», «возвращенцы», фашисты. *И выходит, что редиска...* — Намек на статью идеолога «сменовеховцев» Н. Устрялова «Редиска» (Н. Устрялов. Под знаком революции. Сборник статей. Харбин, 1927), где содержалось утверждение, что Советская Россия — «извне — красная, внутри — белая». Отсюда следовало мнение, будто большевики (так считал и В. В. Шульгин) осуществили «белую идею».

Без заглавия («Не шей ты мне, матушка...») (С. 235) — ПН, 21 июня, 1927. С. 3. Стихотворение написано в связи с лишением Ф. И. Шалапина советского гражданства. *Не шей ты мне, матушка, Красный сарафан!* — Неточная цитата из стихотворения Н. Г. Цыганова «Не шей ты мне, матушка...». *Ходить ходором* — здесь: славословить, ходить на поклон; расходиться, ходить козырем, кричать, браниться, хохориться.

Политический обзор (С. 238) — Впервые: ПН, 20 сентября, 1927. С. 2. Крыленко — Крыленко Н. В. (1885—1938), председатель Верховного трибунала при ВЦИК, государственный обвинитель на политических процессах до 1931 г., затем нарком юстиции. *Юстиниан* — здесь: иронически — законодатель-реформатор; византийский император Юстиниан I (482 или 483—565) кодифицировал римское право. *Дыбенко* — Дыбенко П. Е. (1889—1938), матрос, председатель Центробалта, впоследствии советский военный деятель. *Стучка* — Стучка П. И. (1865—1932), нарком юстиции в 1917—1918 гг., затем Председатель Верховного Суда РСФСР. *Мусагет* — одно из имен Аполлона; иронический намек на писательство Луначарского.

Эмигрантская ода (С. 239) — Впервые — ПН, 24 сентября, 1927. С. 3. Название «Без заглавия». Перепечатано в новой редакции — ПН, 30 мая, 1930. С. 3. Под заглавием «Дни нашей жизни», а под заглавием «Pro domo nostra» («О наших делах») — «Сатирикон», 1931, № 16. С. 2. Печ. по тексту: «Иллюстрированная Россия», 1933, № 49 (447). С. II. Под общим заголовком «Оды и поэмы». «*О, ты, что в горести напрасно*». — Строка из «Оды», выбранной из Иова, главы 38, 39, 40 и 41, Ломоносова, в комических целях была использована С. Н. Марнним в «Пародии на оду 9-ю Ломоносова, выбранную из Иова». Дон-Аминадо следовал этой традиции. *В час столпотворенья, Кровосмешенья языков...* — Здесь: события первой мировой войны, революции, эмиграции; по аналогии с Вавилонским столпотворением и смешеньем языков.

Клюква, соус пикан, или манифест русских фашистов (С. 241) — ПН, 13 октября, 1927. С. 3. Направлено против В. В. Шульгина и русских фашистов, основавших школу в Чехословакии. *Раввин* — здесь: талмудист; учитель, жрец, священник у иудеев. *Эллина и иудей*. — В «Послании к римлянам святого апостола Павла» (Новый Завет; 10, 12) сказано, что «нет различия между Иудеем и Еллином», ибо Бог один, и Он не отвергает ни того, ни другого. *Аррондисман* — округ.

Без заглавия. («Все идет своим порядком...») (С. 243) — ПН, 20 октября, 1927. С. 4. *Что посла и целовека Унесло в родную даль*. — Имеется в виду отъезд советского посла Х. Г. Раковского из Парижа по требованию Франции; Х. Г. Раковский (1873—1941), партийный деятель, с 1923 г. — на дипломатической работе в Англии и Франции.

Чеховский генерал на советской свадьбе (С. 246) — ПН, 8 ноября, 1927. С. 2. Написано в связи с ответом французского писателя Ромена Роллана на приглашение в СССР по случаю 10-й годовщины Октябрьской революции. Заглавие восходит к рассказу Чехова «Свадьба с генералом». Эпиграф — заключительные слова Р. Роллана в «Ответе на приглашение ВОКСА присутствовать на праздновании десятой годовщины Октябрьской революции». *Чубаровская публика*. — Здесь: заговорщиков и уголовных преступников; по имени С. Ф. Чубарова (1845—1879), революционного народника, члена кружка «южных бунтарей», организатора ряда побегов.

С красной головкой (С. 247) — Впервые: ПН, 25 ноября, 1927. С. 3. *Кадавр* — труп человека или животного; мертвец.

А. А. Алехину (С. 248) — ПН, 1 декабря, 1927. С. 4. Стихотворение написано в связи с шахматным матчем на первенство мира между Алехиным и Капабланкой в 1927 г. Алехин выиграл матч и стал чемпионом мира. А. А. Алехин (1892—

1946) — русский шахматист, неоднократный чемпион мира. «Гром победы раздавайся». — Строка из стихотворения Г. Р. Державина, которое поет Хор; стихотворение вошло в «Описание торжества в доме князя Потемкина по случаю взятия Измаила». *Буэнос* — Буэнос-Айрес, столица Аргентины, где проходил шахматный матч Алехин — Капабланка.

Ползком (С. 249) — Впервые: ПН, 12 декабря, 1927. С. 3. *Растворите мне темницу...* — Неточная цитата из стихотворения Лермонтова «Узник».

Татьянин день (С. 251) — ПН, 25 января, 1928. С. 2. Написано в день именин Татьяны, который стал праздником студентов. *Вальс* — «Невозвратное время» — армянский вальс, аранжировка В. Н. Чекрыгина. *Франзюли* — французские булочки; новороссийское и одесское название французского крупитчатого хлеба. *Князь Щербацкий С дочерью своей, Китти*. — Персонажи романа Л. Толстого «Анна Каренина». *Епархиялки* — девушки, учившиеся в средних женских учебных заведениях, которые открывались в епархиях для дочерей православного духовенства и находились в ведении Синода; так же называлась их форменная одежда.

В ложноклассическом духе (С. 252) — Впервые: ПН, 19 февраля, 1928. С. 3. *Меркурий* — бог торговли; покровитель искусств и ремесел; вестник богов (римск. миф.).

Карнавал (С. 253) — ПН, 22 февраля, 1928. С. 3. *Коломбина* — традиционный персонаж итальянской комедии дель арте (служанка, участвующая в интриге госпожи). *Пьеретта, Пьеро* — традиционные персонажи французского народного театра. *Ланиты* — щеки.

Любовь по эпохам (С. 255) — ПН, 11 марта, 1928. С. 3. «Я не помню, когда это было...» — Слова из романа «Это было давно... Я не помню, когда это было...» (слова С. А. Сафонова, муз. В. А. Золотарева и др. композиторов). *Пастораль* — художественное произведение (опера, балет) из идеализированной пастушеской жизни. *Скоропадский* — П. П. Скоропадский (1873—1945), генерал-лейтенант, гетман «Украинской державы», в эмиграции с 1918 г., сотрудничал с немецкими фашистами.

Песенка (С. 258) — ПН, 28 июня, 1928. С. 2. *Бретань* — провинция на северо-западе Франции, морской курорт. *Цугом* — здесь: друг за другом. *На траву и на борсэ* — на работу и на каторгу; разложение сочетания «travaux forcés» — каторжные работы.

На темы дня (С. 259) — ПН, 30 июня, 1928. С. 3. 29 июня 1928 г. «Последние новости» напечатали сообщение о том, что Зиновьев, Каменев и еще 32 человека возвращены в партию после отмежевания их от платформы троцкистов. *Зиновьев* — Г. Е. Зиновьев (наст. фамилия — Радомысльский; 1883—1936), советский партийный и государственный деятель. *Каменев* — Л. Б. Каменев (наст. имя — Лев Розенфельд; 1883—1936), советский партийный и государственный деятель. *Нуниций* — здесь: исполнитель сталинской воли; постоянный дипломатический представитель папы римского в иностранных государствах. «И счастья баловень безродный» — строка из поэмы Пушкина «Полтава». *Евдокимов* — В. П. Евдокимов, входил в Центробалт, активный участник Октябрьской революции. *Беленький* — о ком именно идет речь, неясно; возможно, имеется в виду либо А. Я. Беленький (1883—1941), зав. типографией ЦК РСДРП(б), затем сотрудник ВЧК-ОГПУ, либо Г. Я. Беленький (1885—1938), бывший секретарь Краснопресненского райкома партии. *И от опытного вельможы Оттроцковавшихся птенцов...* — Зиновьев и Каменев вместе со своими сторонниками поддержали Сталина в его борьбе против Троцкого. «Для вдохновений и молитв». — Неточная цитата («Мы рождены для вдохновенья, Для звуков сладких и молитв») из стихотворения Пушкина «Поэт и толпа». *Иза Кремер* — И. Я. Кремер (ок. 1890—1956), певица, исполнявшая песни по-еврейски и по-русски.

Земное (С. 263) — Впервые — ПН, 7 июля, 1928. С. 2. Помещаем весь цикл; последнее стихотворение вошло в сб. «В те баснословные года».

Из летнего репертуара (С. 264) — Впервые — ПН, 5 августа, 1928. С. 2. Печ. по тексту: ПН, 24 июня, 1930. С. 3. *Набоб* — нарицательное название быстро разбогатевшего человека, выскочки. *Геральдические вещи* — имеются в виду гербы и другие знаки дворянского достоинства.

Только не сжата... (С. 267) — ПН, 8 сентября, 1928. С. 2. Заглавие — неоконченная строка из стихотворения Некрасова «Несжатая полоса», — в дальнейшем цитируется это стихотворение. *Бухарин* — Н. И. Бухарин (1888—1938), советский политический деятель, теоретик коммунизма. *Сосновский* — Л. С. Сосновский (1886—

1937), партийный деятель, журналист. *Сапронов* — Т. В. Сапронов (Сопронов; 1887—1939), после Октябрьской революции председатель Московского губисполкома, секретарь Уральского ЦК. *Смилга* — И. Т. Смилга (1892—1938), партийный деятель, сторонник Троцкого. *Троцкий* — Л. Д. Троцкий (наст. фамилия — Бронштейн, 1879—1940), советский и государственный деятель; выслан из СССР в 1929 г.; до этого (1928) был сослан в Алма-Ату. *Радек* — К. Б. Радек (наст. фамилия — Собельсон; 1885—1939), партийный деятель, журналист. *Микоян* — А. И. Микоян (1895—1978), советский политический и государственный деятель. *Литвинов* — М. М. Литвинов (наст. имя и фамилия — Валлах Макс; 1876—1951), советский государственный и партийный деятель; с 1921 по 1930 гг. — зам. наркома иностранных дел.

«В Москву! В Москву! В Москву!» (С. 269) — ПН, 18 октября, 1928. С. 2. Заглавие — из пьесы Чехова «Три сестры». «Эх, кабы матушка-Волга...» — Неточная цитата («Ой, кабы Волга-матушка да вспать побежала») из баллады А. К. Толстого. *Столбцы* — город в Минской области, первая железнодорожная станция на бывшей русской границе при переезде через Неман. *В вагонах зеленых...* — Т. е. в вагонах третьего класса.

«Экзерсис» (С. 272) — ПН, 2 января, 1929. С. 2. *Экзерсис* — упражнение. Эпиграф — из стихотворения А. Н. Апухтина, начинающегося этой строкой. *Примо-Риверами*. — Т. е. диктаторами; Мигель Примо де Ривера и Орбанейя, маркиз де Эстелья (1870—1930), генерал; после государственного переворота в сентябре 1923 г. — глава правительства и фактический диктатор Испании (до января 1930 г.). *Амперами* — здесь: иронически — любовными силами; ампер — единица силы электрического тока (названа по имени Андре Мари Ампера (1775—1836), французского ученого, построившего первую теорию магнетизма). *Мегера* — злая, сварливая женщина; по имени Мегеры — одной из трех богинь-мстительниц; олицетворение гнева и зависти (греч. миф.). *Мизер* — нищета, бедность, нужда, беда, невзгоды. *Солитер* — крупный бриллиант, заключенный в оправу отдельно, без других камней. *Цитеры* — красавицы; Цитера — одно из прозвищ богини любви Афродиты по месту ее культа, острову Кифера (Цитера) (греч. миф.). *Гетера* — здесь: проститутка; подруга, любовница; незамужняя женщина, ведущая свободный, независимый образ жизни. *Шаптеклер* — петух; так называлась пьеса французского драматурга Э. Ростана.

То, чего не будет (С. 274) — Впервые: ПН, 13 января, 1929. С. 3. Заглавие — намек на роман В. Ропшина (Б. В. Савинкова; 1879—1925) «То, чего не было» (1914). *Аманулла* — Аманулла-Хан (1892—1960), афганский король в 1919—1929 гг. *Эфрон*, *Карсавинский баскак* — Эфрон С. Я. (1893—1940), прозаик, муж М. И. Цветаевой, разделял «евразийские» убеждения Л. П. Карсавина. *Бажанов* — Бажанов Б. Г., помощник Сталина, в 1928 г. бежал за границу. *Младший брат Литвинов* — речь идет о брате М. М. Литвинова Савелии, против которого было возбуждено уголовное дело в связи с его махинациями с векселями и за что он был посажен в парижскую тюрьму; тогдашние газеты уделили много внимания делу С. Литвинова. *Князь Святополк* — Святополк-Мирский (1890—1939), литературовед, «евразиец», вернувшийся в СССР и через несколько времени репрессированный.

Ряд волшебных изменений (С. 276) — ПН, 16 марта, 1929. С. 2. Название — строка из стихотворения Фета «Шепот, робкое дыханье...». Написано в связи с высылкой Троцкого из СССР. «*И слабым манием руки*». — Строка из поэмы Пушкина «Полтава» (о Карле XII). *Передвигать свои когорты*. — Троцкий был главкомом Красной Армии в гражданскую войну. «*Во глубине сибирских руд*». — Строка из стихотворения Пушкина. *Меншиков* — А. Д. Меншиков (1673—1729), сподвижник Петра I; сослан Петром II в Березов. *Дахтило* — машинистка. *Воспоминаньями своими...* — Попросив политического убежища в Германии, Троцкий заявил, что хочет лечиться и заняться литературным трудом, готовить к печати историю русской революции и автобиографию; в эмиграции Троцкий издал мемуары «Моя жизнь», эмигрантская пресса отмечала их выпященный, цветистый слог.

Вешние воды (С. 278) — ПН, 21 мая, 1929. С. 3. «*Дождались мы светлого мая*». — Намек на романс «Дождь я светлого мая...» (слова М. Л. Михайлова); муз. сочиняли Ребиков В. И., Кюи Ц. А. и др. композиторы. *Семейный бурлит купорос*. — Т. е. вся семья сердится. Су — здесь: 5 саитимов; старое название разменной французской монеты, которая чеканилась до 1793 г., заменена в 1799 г. и изъята из обращения в 1947.

Отрывки из истории мира (С. 280) — ПН, 11 июля, 1929. С. 2. *Геродо-*

*ты* — здесь: историки; Геродот (между 490 и 480—ок. 425 до н. э.) — древнегреческий историк, прозван «отцом историн». *Трубадуры* — провансальские певцы-поэты в средние века, которые в изысканных лирических стихах воспевали рыцарскую любовь и радости жизни.

Ода на уход А. В. Луначарского (С. 282) — Впервые: ПН, 13 сентября, 1929. С. 2. Написано в связи с назначением Луначарского, как писали газеты, председателем комитета при ЦИКЕ по руководству научными учреждениями.

*Дафнэ* — Дафна, нимфа, которую преследовал влюбившийся в нее Аполлон; для ее спасения была обращена в лавровое дерево (греч. миф.).

На мотивы кадрили (С. 284) — ПН, 1 октября, 1929. С. 2. В газете «Последние новости» (29 сентября 1929 г. С. 1) опубликовано сообщение из Москвы «6 неделя в месяце. Реформа календаря в СССР», из которого следовало, что Академия Наук в связи с введением непрерывной недели одобрила проект реформы календаря. Неделя будет состоять из пяти дней, начинаться в понедельник и кончаться в пятницу. Суббота и воскресенье исключаются из календаря. Число месяцев остается без перемен, но каждый месяц делится на 6 недель. 31-е число упраздняется. Год будет, таким образом, насчитывать 360 дней. Пять дней революционных праздников не входят в число дней месяца. 29 февраля (в високосные годы) также не входит в дни месяца и является днем индустриализации. Проект академии был представлен на утверждение советского правительства. *Октябрьша* — здесь: своеобразный символ эпохи; одно из имен, появившихся во второй половине 20-х гг., когда наступила мода на революционные имена и началась отчаянная борьба с религией; в загсах вывешивались инструкторно-рекомендательные списки с именами. *По твердыням юлианским.* — Имеется в виду юлианский календарь (старый стиль), существовавший в России до 14 февраля 1918 г., когда его сменил грегорианский календарь. Таким образом, советское правительство редактировало не юлианский, а грегорианский календарь, который через несколько времени был восстановлен.

Аты! Два!.. (С. 285) — ПН, 26 ноября, 1929. С. 2. *Бубнов* — А. С. Бубнов (1884—1940), советский государственный и партийный деятель; с 1924 г. — начальник Политуправления РККА; с 1929 г. — нарком просвещения РСФСР. *Наследник Дидерота* — здесь: иронически — наследник философии Просвещения; Дени Дидро (1713—1784), философ-просветитель, писатель, основатель и редактор «Энциклопедии», как Толкового словаря наук, искусств и ремесел. *Бебель* — Август Бебель (1840—1913), один из основателей германской социал-демократии, страстный борец против войны и за эмансипацию женщин. *Наши Брокгауз, наши Ефрон...* — Здесь: иронически, имея в виду Энциклопедический словарь, выпущенный акционерным издательским обществом Ф. А. Брокгауз — И. А. Ефрон (СПб., 1890—1907).

«Гамлет, принц Вятский...» (С. 286) — ПН, 14 марта, 1930. С. 3. В стихотворении сомнения Гамлета («Быть или не быть?») отнесены к крестьянам и повернуты комической стороной. *А гиблый дух Шекспировских цитат?..* — Имеются в виду сомнения Гамлета. *«А если сон виденья посетят?»* — Цитата из монолога Гамлета (д. 3, явл. 1. Перевод А. Кроненберга). *Мономах* — Владимир II Мономах (1053—1125), великий князь киевский. *Тяжела ты, шапка...* — ироническое переосмысление крылатого выражения о шапке Мономаха как тяжести государственной власти; в шапке Мономаха было около одного килограмма весу.

Советский альбом (С. 288) — ПН, 23 марта, 1930. С. 3. 1. *Стагны* — площади. *Шипка* — перевал в Болгарии, где в 1877 году русские и болгарские войска отразили атаки турецких войск. 2. Стихотворение связано с появившимся в «Последних новостях» (14 марта 1930 г.) сообщением о том, что наркомторг Микоян издал приказ и разослал циркуляр, согласно которому советские служащие за границей не должны подражать «буржуазному миру» в отношении одежды. Их долг, говорилось в заметке, одеваться скромно, дабы этим подчеркнуть свою принадлежность к пролетариату. *Робеспьеров и Маратов.* — Т. е. революционеров; Максимилиан Робеспьер (1758—1794) и Жан-Поль Марат (1743—1793) — деятели Великой французской революции, якобинцы. *«В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов».* — Слова Фамусова из комедии Грибоедова «Горе от ума».

Весенний ералаш (С. 289) — ПН, 28 марта, 1930. С. 3. Написано в ритме «камаринской». *Пантеизм* — здесь: причастность к природе, растворение в ней; пантеизм — философское течение, утверждающее тождественность Бога и природы.

Без заглавия («Сколько приятно из далека...») (С. 290) — ПН, 20 мая, 1930.

С. 3. Стихотворение вызвано заметкой «Музыка и социалистическое наступление» (ПН, 18 мая, 1930. С. 3), в которой сообщалось, что некто Блюм (В. И. Блюм — заведующий театрально-музыкальной секцией Главреперткома — работник Главлита) глубокомысленно высказался в газете «Вечерняя Москва» на острую тему о социалистическом наступлении на музыкальном фронте: «Пора покончить с тем беспардонным меньшевизмом, какой господствует в практике нашего музыковедения. В этот заброшенный угол в первую очередь надо направить острый луч марксизма и диалектики». *Содом* — здесь: беспорядок; *Содом и Гоморра* — два города, жители которых погрязли в распутстве и за это были испелены посланным с небес огнем (библ. миф.).

Оскомина (С. 292) — ПН, 15 июня, 1930. С. 3. *Менжинский* — В. Р. Менжинский (1874—1934), советский государственный и партийный деятель, с 1926 г. председатель ОГПУ. *Цельзий* — здесь: термометр.

На кошачьей выставке (С. 293) — Впервые: ПН, 3 апреля, 1932. С. 3. *Брама* — Брахма; в индуистской мифологии высшее существо, творец мира. *Брокен* — вершина холма в горах Гарц (Германия), с которой связывались легенды о шабаше ведьм в Вальпургиеву ночь.

Поэма бодрости (С. 295) — Впервые — в одном составе — «Иллюстрированная Россия», 1933, № 49 (447). Вторая часть — «Играйте в гольф! Одолевайте старость...» — ПН, 1928. С. 2. Под заглавием «Воззвание». Навеяна сообщением о том, что государственный секретарь США Фрэнк Биллингс Келлог в свои 72 года любит играть в гольф.

Песни изгнания (С. 297) — Впервые — в одном составе — «Иллюстрированная Россия», 1933, № 52 (450). С. 10. Печ. по этому тексту. Золотой сон. — Впервые: ПН, 8 декабря, 1932. С. 2. Название «Без заглавия». Эпиграф. — См. С. 183; у Дон-Аминадо ошибка: автор перевода не С. Надсон, а В. Курочкин. *Chanson à boire* — Застольная песня. — Впервые: ПН, 1 января, 1933. С. 3. Под заглавием «Приглашение на кадрили». Из альбома пародий. Анютины глазки. — Впервые: ПН, 27 марта, 1932. С. 2.

Поэмы бодрости (С. 300) — «Иллюстрированная Россия», 1934, № 5. С. 5. — Первое стихотворение: ПН, 17 апреля, 1932. С. 3. Под заглавием «Quasi una fantasia» («Как будто фантазия»); с новыми именами — ПН, 24 июня, 1937. С. 4. Под заглавием «Из альбома пародий». Месть рака. — *Спартак* (? — 71 до н. э.) — предводитель восстания рабов против Рима. *Коллонтай* — А. М. Коллонтай (1872—1952), советский государственный и партийный деятель; с 1920 г. заведовала женотделом в ЦК партии; с 1929 г. — на дипломатической работе. ...*ирландский де-Валера*. — Имон Де-Валера (1882—1975), один из руководителей ирландского восстания в 1916 г. и руководитель республиканских войск в 1922—1923 гг.; впоследствии — в разные годы глава правительства Ирландии, начиная с 1932 г.; президент Ирландии в 1959—1973 гг. *Леон Додэ* (1867—1942) — сын писателя Альфонса Додэ, писатель и журналист. *Вильгельм второй* — Вильгельм II Гогенцоллерн (1859—1941), германский император и прусский король; свергнут в 1918 г. Самовнушение. *Действо Дионисово* — здесь: разрушение, революция, анархия; Дионис (Вахх) — бог виноградарства и виноделия (греч. миф.); был популярен у плебса; празднества в его честь, носившие характер мистерий, превращались в неистовые оргии, освобождая человека от обычных запретов. *Дух-эспри* — дух рассудка, светлого ума. *Зевс* — здесь: бог как воплощение верховного разума; Зевс — верховный бог грехов, царь и отец богов и людей (греч. миф.); Зевс был любвеобилен и имел детей не только от жены Геры, но и от других богинь; ходило также много сказаний о любовных связях Зевса со смертными женщинами.

«Дождь был. Слякоть. Гололедица...» (С. 303) — Впервые: ПН, 11 февраля, 1937. С. 3. В стихотворении описан день памяти Пушкина (100 лет со дня смерти), торжественно отмеченный эмигрантами.

## ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАМФЛЕТ

Весна семнадцатого года (С. 307) — Отдельное издание. М., 1917. Пьеса поставлена (май 1917 г.) в Новом театре П. В. Кохмановского и встречена сочувственно. «У Дон-Аминадо... вышла великолепная гримаса, в стиле шаржей Ре-Ми



(псевдоним художника-карактуриста «Сатирикона» — Н. В. Ремизова-Васильева — В. К.)... Местами... персонажи окутаны дымкою свойственного Дон-Ами-надо «неоромантизма», что делает их и особенно выпуклыми, и особенно забавными...» («Кулисы», 1917, № 20. С. 6). *Абдул-Гамид* — Абдул-Ха-мид II (1842—1918), турецкий султан в 1876—1909 гг.; низложен после Младотурецкой революции 1908 г. *Магомет-Али* — Мохаммед-Али-Шах (1872—1925), персидский пах. *Ампир* — ампир (стиль в искусстве). *Людювк XVI* (1754—1793) — французский король (1774—1792); свергнут, осужден Конвентом и казнен. *Мануэль* — Мануэль II (1889—1932), король Португалии с 1908 по 1910 г. «*Король веселится*» — драма Виктора Гюго; легла в основу оперы Верди «Риголетто» и одноименной оперетты («Король веселится») Рудольфа Нельсона. *Трианон* — имеется в виду Большой Трианон или Малый Трианон — дворцы в Версале. *Пикет* — карточная игра. *Бигос* — кушанье. *Аи* — марка шампанского. *Людор* — французская золотая монета; чеканилась в 1640—1795 гг.; названа по имени короля Людовика XIII. «*Но странною любовью...*» — Строка из стихотворения Лермонтова «Родина». *Гурии* — здесь: красавицы; фантастические девы, услаждающие, по Корану, праведников в раю. *Аллах-Керим!* — Да благослаит тебя Бог! *Пускает ему гусара.* — Шекотать сонного в носу свернутой бумагой. *Marche militaire* — Военный марш; здесь — маршевая поступь войск. *Оливер Кромвель* (1599—1658) — деятель английской буржуазной революции; создал парламентскую армию, одержавшую победы над королевскими войсками в 2-х гражданских войнах. *Ружье де Лиль* — Клод Жозеф Ружье де Лиль (1760—1836), французский военный инженер, поэт и композитор, автор гимна Великой французской революции «Марсельеза», ставшего национальным гимном Франции. *Тюльери* — Тюильри, дворец в Париже, одна из резиденций французских королей; здесь имеются в виду, вероятно, события 1870—1871 гг., когда большая часть дворца Тюильри сгорела. *Гарibaldiйцы* — итальянские революционеры; по имени Джузеппе Гарibaldi (1807—1882), народного героя Италии, участника итальянской революции и освободительных войн против Австрии. *Схима* — здесь: обещание, клятва; торжественный обет православных монахов соблюдать особо строгие аскетические правила. *Вериги* — здесь: духовные цепи; тяжелые железные цепи, обручи, носимые на голом теле. «*Коль славен наш Господь в Сионе*» — масонская песня (слова М. М. Хераскова, музыка — Д. С. Бортнянского). — *Эспри* — здесь: украшение на женской шляпке «*Бедные овечки*» — оперетка (1895) французского композитора Луи Варнея. *Дортуар* — здесь: иронически — общая спальня в публичном доме; общая спальня в закрытом учебном заведении. *Dessous* — нижнее белье. *Ламбрекен* — выпуклый орнамент лепного украшения. *Адмирал Нилов* — К. Д. Нилов (1856—?) *Протопопов* — А. Д. Протопопов (1866—1917/1918) министр внутренних дел России (сент. 1916—февраль 1917). *Фредерикс* — В. Б. Фредерикс (1838—1927), русский государственный деятель, генерал от кавалерии, граф, министр императорского двора; после 1917 г. в эмиграции. *Воейков* — В. Н. Воейков (1868—?), генерал, дворцовый комендант, доверенное лицо Николая II. *Горемыкин* — И. Л. Горемыкин (1839—1917), русский государственный деятель, министр внутренних дел, а затем председатель совета министров. *Щегловитов* — И. Г. Щегловитов (1861—1919), министр юстиции, председатель Государственного Совета России. *Коптелия* — героиня одноименного балета-пантомимы, музыка Делиба. *Нерон* (37—68) — римский император, необычайно жестокий, самовлюбленный и развратный. *Петроний* — Гай Петроний (?—66 н. э.), римский писатель, автор романа «Сатирикон», в котором в комическом плане предстали нравы римского общества. *Григорий Ефимович* — Распутин (наст. фамилия — Новых; 1872—1916); в качестве «провидца» и «исцелителя» приобрел неограниченное влияние на царскую семью, вмешивался в государственные дела; ставленником Распутина был Горемыкин. *Рейн* — Г. Е. Рейн (1854—?), член Государственного Совета, управляющий здравоохранением. *Belle femme* — прекрасная женщина. *Цирцея* — здесь: иносказательно: обольстительница; Циркея (Кирка) — волшебница с острова Эя, обольстила Одиссея, удерживая его целый год на своем острове, а его спутников превратила в свиней (греч. миф.). *Молодечно* — город в Белоруссии, где шли кровопролитные бои с немцами во время первой мировой войны. *Камергерский ключ* — камергеры (придворные старшего ранга) носили ключ на голубой ленте. *Мизерабильный* — несчастный. *Mop Die!* — Мой Бог! «*Как хороши... как свежи... были розы...*» — Строка из стихотворения Мятлева «Розы», послужившая началом стихотворения в прозе И. С. Тургенева. *Любимцем Думы* — Протопопов

входил в так называемый «Прогрессивный блок». *Меня хватают и... в тюрьму...*— Протопопов пытался вооруженным путем подавить Феральскую революцию и был арестован. *Эсдек— социал-демократ. Charpeau du Monotack?*— Шапка Мономаха? *quand ... la couronne tombe avec la tête!*— когда... корона падает вместе с головой! «*Выставляется первая рама.*»— Слова из стихотворения А. Н. Майкова «Весна! выставляется первая рама. *C'est epaant!*»— Это потрясающе!

## ПРОЗА

### «НАША МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ»

Произведения, вошедшие в эту книгу, печатаются по изданию: Дон-Аминадо. *Наша маленькая жизнь.* Париж, 1927.

Уроки русской истории (С. 339)— *Се— повести временных лет...*— Ироническое воспроизведение начала древнерусского сочинения «Повести временных лет». *Рябушане, скаржане, треповичи, носовичи, трегубовичи, гревеничи и билимовичи*— прозвища славянских племен образованы от фамилий: П. П. Рябушинского (1871—1924), русского промышленника и банкира; Дон-Аминадо сотрудничал в его газете «Утро России»; П. В. Скаржинского, монархиста, политического деятеля; А. Ф. Трепова (1862—1928), председателя совета министров России в 1916 г.; В. П. Носовича, сенатора, прокурора Синода; Трегубова С. Н. (1866—?), сенатора, консультанта по военно-судебным вопросам; Гревеничей— дворян русских и польских родов; А. Д. Билимовича (1876—1973), экономиста. В книге П. Н. Миллюкова «Эмиграция на перепутье» (Париж, 1926. С. 39) встречаем сходный взгляд. О крайних монархистах сказано: «Это те люди, которые в свое время помешали той самой династии, которую теперь защищают, сделать необходимые уступки народу, чтобы сохранить свое существование. Это они— Треповы, Крупенские, Скаржинские, Палеологи и т. д.— своим упорством довели Россию до революции». *Зарубежная земля наша велика и обильна...*— Ироническая перифразировка слов, будто бы сказанных ильменскими славянами, призывавшими Рюрика, Синеуса и Трувора княжить в Новгороде. *Мудрый Палеолог, призванный за свои подвиги Вещим.*— Князь Олег (?—912), правил в Новгороде и в Киеве; совершил поход в Византию и заключил с ней договор. Иронический намек на С. Н. Палеолога. *Во главе которых стоял главный... орган*— Высший Монархический Совет. *Нейдгарт*— Д. Б. Нейдгардт (1861—?), сенатор, член Государственного совета. *Ольденбург*— вероятно, С. С. Ольденбург (187—1940), историк, сын академика. *Гримм*— Д. Д. Гримм (1864—1941), экономист, проф. права Петербургского университета, член Государственного совета, сотрудник «Русской мысли», писавший о значении Белого движения. *Удельному князю Кириллу, сидевшему на земле Кобургской.*— Великий князь Кирилл Владимирович (1876—1938). 31 августа 1924 г. в Кобурге (Германия) провозгласил себя «императором всероссийским». *Тиун.*— здесь: управляющий, наместник; *Крупенский*— П. Н. Крупенский (р. в 1863), помещик, основатель партии националистов и лидер партии Центра в IV Государственной Думе. *Гриди* (гриди)— здесь: кадеты; дружинники, жившие в дворцовых помещениях (гридницах). «*Русская зарубежная Правда*», составленная *болярином Треповым.*— Имеется в виду газета «Русская правда», издававшаяся за границей А. Ф. Треповым. *Князь Щербатов*— Н. Б. Щербатов (р. в 1868), помещик, в 1915 г. министр внутренних дел.

Электрoфикация мозговых полушарий (С. 341)— *Последний день Помпеи.*— Ироническое употребление названия картины К. П. Брюллова. *Генерал Дитятин*— вымышленный рассказчик, от лица которого написаны некоторые сочинения писателя И. Ф. Горбунова. *...во времена Ампир или даже Рококо.*— Т. е. в начале XIX или в первой половине XVIII в. *А, ну-ка, мудрый Эдип, отвечай!*— Неточная цитата из стихотворения Пушкина, обращенного к Дельвигу, «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы?» *Иван Калита*— Иван Данилович Калита (?—1340), князь московский, великий князь владимирский; *калита*— сумка для денег в Древней Руси; программа Ивана Калиты—здесь: иронически; *Иван Калита* добился права самостоятельно собирать монгольскую дань на Руси. *Юсы большой и малый*— буквы кириллического алфавита, обозначающие особые носовые гласные— «о» носовое и «е»

носвое. *Тринадцать альфонсов* — среди королей Испании со времен средневековья и до XX века было тринадцать Альфонсов (последний низложен в 1931 г.).

Чем ночь темней (С. 345) — *От Руслана и Людмилы* — т. е. со сказочных времен; Руслан и Людмила — герои поэмы Пушкина «Руслан и Людмила». *Потомок Бахчисарайского фонтана*. — Здесь: иронически — потомок хана Гирея, героя поэмы Пушкина «Бахчисарайский фонтан». *Ляпис-лазурь* — здесь: синий цвет, ультрамарин; лазурит, ценный поделочный камень синего цвета. *Латифундии* — здесь: иронически — место на кладбище; латифундии — крупные помещичьи земельладения. «Союз объединенных Митрофанов» — здесь: ироническое название по имени Митрофана, героя комедии Фонвизина «Недоросль».

О чистоте языка (С. 347) — *Са-депант* — в зависимости. *Кондорд* — возможно, опечатка: Конкорд. Шатлз — поместье недалеко от Парижа. *Дуглас Фербенкс* — Дуглас Фэрбенкс (наст. имя и фам. — Дуглас Элтон Томас Ульман; 1883—1939), американский киноактер и продюсер. *Мэри Пикфорд* (наст. имя и фам. — Глэдис Мэри Смит; 1893—1979) — американская киноактриса, жена Дугласа Фэрбенкса.

№ 4. 711 (С. 349) — № 4.711 — один из российских одоколонов; здесь — запах древности. *Тутанхамон* — Тутанхамон, египетский фараон ок. 1400—1392 до н. э.; раскопки гробницы произведены в 1922 г. *Кирилл и Мефодий* — здесь намек на монархистов, в частности, на местоблюстителя российского престола Кирилла Владимировича. *Князь Пожарский* — Д. М. Пожарский (1578—1642), русский полководец, руководивший военными действиями против польских интервентов. *Картоидантизм* — удостоверение личности, вид на жительство.

Всеобщая перепись (С. 351) — *Модэс* — мода. *Робэс* — платье. *Фамм-де-менаж* — приходящая домашняя работница. «От двуглавого орла к красному знамени и обратно». — Иронический намек на многотомный роман П. Н. Краснова «От Двуглавого Орла к красному знамени» (Берлин, 1921—1922).

Нечаянные таланты (С. 352) — *Фотоженик* — фотогеничный. *Далькроз* — Эмиль Жак-Далькроз (наст. фамилия — Жак; 1856—1950), швейцарский композитор и педагог, создавший систему музыкально-ритмического воспитания (ритмической гимнастики). *Лимитрофный* — пограничный; лимитрофная дама — дама, которую можно принять и за порядочную женщину, и за проститутку. «*Отцвели уж давно хризантемы в саду*». — Популярный романс (слова В. Д. Шумского; музыка Н. И. Жарито; исполняла В. В. Панина). «*Песнь торжествующей любви*» — название рассказа И. С. Тургенева.

Акажу и прочее (С. 354) — *Акажу* — красное дерево. *Окажон* — случай. *Горький хлеб изгнания*. — Выражение, взятое из «Божественной комедии» Данте. *Стиль Директории*. — Намек на две Директории: во Франции (1795—1799) и в России во главе с А. Ф. Керенским (сентябрь 1917); стиль Директории — стиль республики. *Нувориши* — богачи-выскочки; люди, внезапно разбогатевшие на спекуляциях. «*Маркизом можешь ты не быть...*» — Ироническая перефразировка строк Некрасова из стихотворения «Поэт и гражданин». *Адриенна Лекуверер* (1692—1730) — французская актриса.

Фильм из русской жизни (С. 356) — *Блиндированный* — бронированный, обшитый сталью, железом, досками.

Зарубежный письмовник (С. 358) — *Иных уж нет, а те далече*. — Слова Пушкина из романа «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа I, стих 3). *Впереди огоньки*. — Намек на рассказ Короленко «Огоньки». *Вaal* (Баал) — древнее общесемитское божество плодородия, вод, войны. *Фейкс* — сказочная птица, которая, по представлениям древних, в старости сжигала себя и являлась из пепла молодой и обновленной.

Наука стихосложения (С. 360) — *И, в гроб сходя, благословить*. — Ироническое использование строки Пушкина из романа «Евгений Онегин» (гл. 8, строфа II, стих 4). *Пегас* — крылатый конь, от удара его копыта на горе Геликон возник источник Иппокрена, из которого поэты черпали вдохновение (греч. миф.). «*Триоли и Триолеты*». — Вероятно, намек на некоторые названия стихотворений И. Северянина. «*Лес шумит*». — Намек на название рассказа В. Г. Короленко.

Открытое письмо доктору Нансену (С. 362) — *Архиепископ Кентерберийский* — примаас англиканской церкви. *Гергардт Гауптман* (1862—1946) — немецкий писатель. *Чарлз Диккенс* (1812—1870) — английский писатель. *Форд* — Генри Форд (1863—1947), американский промышленник. *Далай-лама* — титул первосвященника ламанской церкви в Тибете. *Веласкес* — Родригес де Сильва Веласкес (1599—1660), испанский живописец. *Пикассо* — Пабло Пикассо (наст. фамилия Руис; 1881—1973),

испанец по происхождению, французский художник. *Мы ленивы и любопытны.* — Слова Пушкина из «Путешествия в Арзрум».

Самовнушения (С. 363) — Куэ — Эмиль Куэ (1857 — 1926), французский фармацевт и психотерапевт, автор метода исцеления путем самовнушения.

Коля Сыроежкин (С. 365) — В стихах и в прозе Дон-Аминадо создал образ эмигрантского мальчика, который из русского постепенно превращается во француза.

Анкета (С. 367) — *Гутэ э компарэ!* — Попробуйте и сравните! *Ксенофобия* — навязчивый страх перед незнакомыми лицами.

Трудная публика (С. 369) — «*Иллюстрасьон*» — французская газета. *Пурбуар* — чайные. *Бока* — бокалы. *Дему* — половина (содержимого бокала). *Картье* — карточный притон. *Бенедиктин* — сорт ликера. *Кюрасо* — ликер. *Комильфо* — приличный, порядочный. *Оранжед пур мадам* — апельсиновый напиток для мадам. *О-жамбон* — с ветчиной. *Фон-де-коммерс* — торговое предприятие. *Мои Дье!* — Мой Бог!

Жажда общения. (С. 371) — *С шаржами* — с кладовкой. «*Обычай — деспот меж людей.*» — Строка Пушкина из романа «Евгений Онегин» (гл. I, строфа XXV, стих 4). *Пти-фурка* — печенюшка; *птифур* — печень. *Мебель рюстик* — простая, обыкновенная мебель, сельская, деревенская.

Письма обиженных людей (С. 373) — *Теософ* — ученый-мистик, претендующий на раскрытые особых божественных тайн. *Мадам де Курдюкова*. — Комический персонаж сатиры и т. п. Мятлева «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей дан л'этранже». *Немезида* — Немесида, богиня возмездия (греч. миф).

Крик души (С. 379) — *Эписьерка* — бакалейная лавочка; лавчонка. *Кутюр* — швейная мастерская. *Шикоре* — цикорий. *Калькюль* — здесь: математика; вычисление, исчисление; расчет. *Василий Шибанов*. — Имеется в виду баллада А. К. Толстого «Василий Шибанов». *Компле* — полностью, вместе. *Помпье* — пьянчуга. *За одну советскую с могилой Ленина дают три новых Гваделупы...* — Т. е. за одну советскую марку дают три марки с изображением французского владения в Вест-Индии — острова Гваделупа. «*Иллюстрированная Россия*» — журнал, выходивший в Париже. *Вергюль* — запятая. *Мо круазе* — кроссворд.

Отрывки из дневника разочарованного (С. 380) — А. А. Поляков — Александр Абрамович Поляков (1879—1971), писатель, один из главных сотрудников газеты «Последние новости». *Гугеноты*, *Варфоломеевская ночь*. — В ночь на 24 августа (день святого Варфоломея) 1572 г. в Париже католики устроили массовую резню гугенотов (сторонников кальвинизма). *Зноско-Боровский* — Е. А. Зноско-Боровский (1884—1954), историк театра, литературный критик, шахматист, сотрудник «Последних новостей». *Сосьете Аноним* — Анонимное общество. *Андре Ситроен* (1878—1935) — французский инженер и промышленник, основатель автомобильной компании. *Мария Антуанетта* (1755—1793) — французская королева, жена Людовика XVI; казнена якобинцами. *Судьбу Абиссинии* — Абиссиния (Эфиопия) подвергалась угрозам со стороны Италии. *Ту ле Монд э-парти*. — Все ушли. *Аристид Бриан* (1862—1932) — французский государственный деятель, занимавший посты премьер-министра и министра иностранных дел. *Чичерин* — Г. В. Чичерин (1872—1936), народный комиссар иностранных дел РСФСР, СССР. *Хорти* — Миклош Хорти (1868—1957) — фашистский диктатор Венгрии, контр-адмирал. «*Прощай, свободная стихия...*» — Строка из стихотворения Пушкина «К морю». *Фатум* — судьба, рок. *Рубикон* — здесь: решение принято; в 49 г. до н. э. Цезарь с войском перешел реку Рубикон и начал гражданскую войну.

Переписка с начинающими (С. 386) — *Сафо* — ироническое использование имени древнегреческой поэтессы Сафо (Сапфо; VII—VI вв. до н. э.). *Априори* — до опыта; суждение заранее, до опыта принимаемое как факт. *Билжур* — город во Франции, недалеко от Парижа, где проживало много русских эмигрантов.

Летом (С. 388) — *Пари* — отверженные, бесправные люди. *Вертиж* — головокружение. *Биарриц* — город-курорт во Франции на берегу Бискайского залива.

Несколько полезных сведений об Америке (С. 391) — *Шифскарта* — морская карта. *Духоборы* — секта духовных христиан, отвергающая православные обряды и таинства, отказывается от военной службы, обожает руководителей своих общин. *Джон Вашингтон* — ошибка: Джордж Вашингтон (1732—1799) — первый президент США. *Эйч* — буква «Н».

По Германии. Доктор Пауль Рорбах (С. 397)—«Киевская мысль», 25 (12) октября, 1918. С. 1—2 с подписью: «Ам. Шполянский». *Пауль Рорбах* (р. 1869)—немецкий публицист, сторонник пангерманизма; русофоб и славянофоб. «*Autor der Ukraine*»—«Автор Украины». *Курляндия*—Курземе, область в западной Латвии. «*Прусский ежегодник*»—«*Preussische Jahrbücher*», издавался в Берлине в 1858—1937 гг. *Витте*.—С. Ю. Витте (1849—1915), граф, русский государственный деятель, министр путей сообщения, затем министр финансов, осуществил денежную реформу и разработал основные положения аграрной реформы, известной под названием «стопыпинской». *Гутировать*—подчеркивать, преувеличивать.

Эн плюс единица (С. 402)—ПН, 21 мая, 1920. С. 3. «*Роллс-ройс*»—марка легкового автомобиля. *Вергилий*—Марон Публий (70—19 до н. э.)—римский поэт; а «Божественной комедии» Данте Вергилий—спутник поэта по кругам ада. *Ариадна*—здесь: иронически—кассира в метро; царевна Ариадна помогла Тесею выйти из лабиринта, снабдив его клубком ниток, конец которых был прикреплен у входа (греч. миф.). *Vincennes*—Венсен, станция метро в Париже; городок к востоку от Парижа, где находился охотничий замок королей и впоследствии тюрьма для государственных преступников. *Maillot*—Майо, станция метро в Париже. *Эклеранс*—освещение. *Пансион де-фамий*—семейный пансион. *Консомэ*—крепкий бульон. *Pour-boir 'y*—часовых. «*Matin*»—«Матэн», французская газета. *Ça va bien*—это хорошо.

Дом с мезонином (С. 403)—ПН, 5 июня, 1920. С. 3. *Дом с мезонином*—намеки на рассказ Чехова. *Русские женщины*—намеки на поэму Некрасова. *Холодный гелиотроп*—цветы *Ирины*.—Имеется в виду одна из героинь пьесы Чехова «Три сестры». *Катерина*.—Речь идет о героине пьесы Островского «Гроза». *Мисюся, где ты?*—Этим вопросом заканчивается рассказ Чехова «Дом с мезонином». *Аматери*—здесь: иронически—прощельги, любители, дилетанты. *Принкипо*.—Имеется в виду группа островов (Сан-Томе, Принсипи и др.) у берегов Западной Африки.

Перед булонской встречей (С. 404)—ПН, 23 июня, 1920. С. 3. *Антоний*—Марк Антоний (ок. 83—30 до н. э.), римский полководец; сторонник Цезаря; сблизился с египетской царицей Клеопатрой, но после объявления Сенатом войны Клеопатре и поражения египетского флота покончил жизнь самоубийством. *Cloches de la paix*—Колокола мира. *Патэк*—министр иностранных дел Польши в 1919—1920 гг. *Бенеш*—Эдуард Бенеш (1884—1948), государственный и политический деятель, президент Чехословакии. *Гектор с Андромахой*—супруги Гектор и Андромаха нежно любили друг друга; Гектор пал в Троянской войне (греч. миф.).

Парижские заметки. Сентиментальные прогулки. (С. 405)—ПН, 30 июня, 1920. С. 3. Под рубрикой «Парижские заметки». *Бэдэкер*—путеводитель, по имени немецкого издателя Карла Бедкера (1801—1859), основавшего издательство путеводителей по различным странам. *Guide Vieux*—путеводитель. *Pont de Clichy*—мост Клиши в Париже. *Беклин*—Арнольд Бёклин (1827—1901), швейцарский живописец, сочетал натуралистическую достоверность с фантастикой. *Плутон*—владыка подземного царства (римск. миф.) *Cocotte*—кокотка.

Парижские заметки. Хозяйка пансиона. (С. 407)—ПН, 8 июля, 1920. С. 3. Под рубрикой «Парижские заметки». *Гольдони*—Карло Гольдони (1707—1793), итальянский драматург, автор комедии «Трактирщица». *Церера*—богиня плодородия (римск. миф.). *Олимп*—местопребывание богов (греч. миф.). *Нептун*—бог морей (римск. миф.); согласно одному из мифов, вступил в любовный союз с Церерой, а медуза Горгона родила ему волшебного коня Пегаса. *Арион*—греческий поэт и музыкант (VII—VI вв. до н. э.). *Диксионер*—словарь. *Baisse*—понижение (цен). *Hausse*—повышение (цен, спроса). *Vert-jade*—зеленого нефрита.

Бесполозная красота (С. 409)—ПН, 16 июля, 1920. С. 3. *Люксембургский сад*—большой публичный сад в Париже у Люксембургского дворца. *Нереида*—одна из нимф моря и дочерей морского бога Нерея (греч. миф.). *Тритон*—морской демон (греч. миф.); изображался вместе с nereидами.

«Шарлотта Кордэ» (С. 410)—ПН, 28 июля, 1920. С. 2. Шарлотта Корде

д'Арон (1768—1793) — французская дворянка, убившая Марата. *Валтасар* — сын последнего царя Вавилона; когда Валтасар пировал, на стене появилось пророчество, предвещавшее его гибель; погиб при взятии Вавилона персами. *Императрица Августа* — Августа Виктория, принцесса Шлезвиг-Зонденбург-Августенбург (1858—1921), с 1881 императрица. *Кронпринцесса Луиза* — принцесса, дочь Вильгельма II. *Король баварский* — либо Людвиг III Виттельсбах (ум. в 1921), свергнут в 1918 г., либо Альфонс Баварский (1862—1933). *Хорунжий* — начальный офицерский чин в казачьих войсках русской армии. *Сотник* — офицерский чин в казачьих войсках, соответствующий чину поручика в регулярной армии. *Кафе Семадэни* — Б. А. Семадэни, хозяин ресторана и кафе. *Гренадин* — сироп. *Ландвер* — военнотобязанные третьей очереди. *Фанконы* — владелец кофейни в Одессе. *Пелопоннесские гвардейцы* — т. е. греческие гвардейцы. *Туркосы* — турецкие войска. *Зуавы* — вид легкой пехоты во французских колониальных войсках, которые формировались из французов и арабов. *Траллер* — тралщик. «*Вьдь на Волгу, чей стон раздается над широкою русской рекой*» — неточная цитата из стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда». *Grand rue de Pera!* — Большая улица Пера! *Пера* — квартал в Стамбуле. *Клио* — муза истории (греч. миф.) *Сан-Ремо* — город в Италии. *Армистис* — перемирие. *Грев* — прививка. *Марон-гляссе* — маринированные каштаны в сахаре. «*Я имени ее не знаю*» — арнозо Германна из оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама».

Театр для себя (С. 413) — ПН, 31 июля, 1920. С. 2. *Эйнем* — владелец кондитерской (см.: «Поезд на третьем пути».) *Rue de l'Annonciation* — улица Благовещения в Париже.

Новейший самоучитель (С. 415) — ПН, 20 августа, 1920. С. 3. *Sapientia* — мудрому достаточно. *Хотели бы вы жить и умереть в Париже?* — Вероятно, именно «Новейший самоучитель французского языка» издания 1920 г. держал в руках В. В. Маяковский во время поездки во Францию (ср. «Я хотел бы жить и умереть в Париже, Если б не было такой страны — Москва»). *Нотр-Дам... Парижская* — буквальный перевод: наша Дама; *Нотр-Дам* — собор Парижской богородицы. *Бордо* — Анри Бордо (1870—1963), французский писатель, в нравоучительных произведениях которого эксплуатировались темы домашних трагедий.

Фнакр, который умирает (С. 417) — ПН, 17 августа, 1920. С. 3. *Три года скачи, не объедеши*. — Неточная цитата из комедии Гоголя «Ревизор» (д. 1, явл. 1). *Буланже* — коротко остриженная бородка, сросшая с усами, названа по имени французского генерала Жоржа Буланже. *Шарль Бовари* — герой романа Г. Флобера «Мадам Бовари». *Жорж Дюруа* — герой романа Г. Мопассана «Милый друг». *Человек, который умел приказывать...* — Речь идет о французском маршале Фердинанде Фоше (1851—1929). *Марс* — бог войны (римск. миф.). *Купидон* — бог любви (римск. миф.).

Своя жизнь (С. 419) — ПН, 14 сентября, 1920. С. 2. *Rue de Vaugirard* — улица Вожирар в Париже. *Балмашев* — С. В. Балмашев (1881—1902), студент, эсер, застрелил министра внутренних дел Д. С. Сипягина (1853—1902) и был повешен. *Каляев* — И. П. Каляев (1874—1905), эсер, убил московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича (1857—1905) и был повешен. «*Какой простор*» — картина И. Е. Репина. *Каульбаховская Мадонна со слезой*. — Речь идет о картине Вильгельма фон Каульбаха (1805—1874), немецкого живописца и рисовальщика. *Карл Каутский* (1854—1938) — немецкий социалист. «*Христос*» Антокольского. — Имеется в виду скульптура М. М. Антокольского (1843—1902). *Шаляпиним в роли Ивана Грозного*. — Речь идет об открытках с изображением сцены из оперы «Псковитянка» Н. А. Римского-Корсакова. *Баллестриери* — Лионелло Баллестриери (1872—1958), итальянский художник. *Толстой босиком*. — Имеется в виду репродукция с известного портрета Л. Н. Толстого работы И. Е. Репина. *Герцх Ибсен* (1828—1906) — норвежский драматург. *Коммиссаржевская* — В. Ф. Комиссаржевская (1864—1910), русская актриса, основательница театра в Петербурге. *Фердинанд Штук* — правильно: Франц фон Штук (1863—1928), немецкий живописец и скульптор, находившийся под влиянием Ф. Ницше. *Жан Жорес* (1859—1914) — французский социалист. *Кузьма Крючков* — русский солдат, ставший первым Георгиевским кавалером в первую мировую войну; герой романа П. Н. Краснова «От Двуглавого Орла к красному знамени». *Альберт I, король Бельгийский* (1879—1934) — во время первой мировой войны верховный главнокомандующий бельгийской армией. *Александр Федорович Керенский* (1881—1970) — русский политический деятель, министр-председатель Временного правительства и верховный главнокомандующий.

Последние римляне (С. 421) — ПН, 7 декабря, 1920. С. 3. *Лейг* — Ф. Лейг, глава французского кабинета министров в 1920—1921 гг. *Фроссар* — Людовик Оскар Фроссар (1889—1946), французский политический деятель, журналист. *Шарбон* — уголь. *Иоффе* — А. А. Иоффе (1883—1927), советский государственный и партийный деятель; в 1920-е годы — полпред в Берлине, в Китае, в Австрии. *Rue de Grenell* — улица в Париже, где помещалось советское посольство. *Корк* — порт в Ирландии. «*Воля Британши*» — по аналогии с русской эмигрантской газетой («Воля России»).

Стихотворение в прозе (С. 422). — ПН, 1 января, 1921. С. 3. *Учредительное собрание* — Имеется в виду Учредительное собрание в России. *Кшесинская* — М. Ф. Кшесинская (1872—1971), балерина, фаворитка Николая II; с балкона особняка Кшесинской 3 (16) апреля 1917 г. выступил В. И. Ленин, возвратившийся из-за границы. *Брешко-Брешковская* — Е. К. Брешко-Брешковская (1844—1934), одна из организаторов и лидер партии левых эсеров.

*Victor* (С. 423) — ПН, 12 января, 1921. С. 3. *Victor* — ироническая игра слов: имя и буквальный перевод — победитель. *Апулей* (ок. 124 н.э. — ?) — римский писатель, автор романа «Золотой осел». *Виктор Чернов* (1873—1952) — один из основателей партии эсеров, ее теоретик. *Attalea princeps* — игра слов: одна из разновидностей пальм; рассказ В. М. Гаршина. *Victoria Regia* — виктория регия; стихотворение И. Северянина. *Veronese* — вероятно, опечатка; *berceuse* — колыбельная песнь. *Эразм Роттердамский*, *Дезидерий* (1469—1536) — гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель. «*Пусть роза сорвана, она еще цветет...*» — Иронически использованные стихи С. Я. Надсона. *Одиссея* — здесь: странствия, скитания; по названию поэмы Гомера «Одиссея», в которой повествовалось о странствиях Одиссея. *Синяя птица* — здесь: прекрасная мечта; по названию пьесы М. Метерлинка. *Колчак* — А. В. Колчак (1874—1920), адмирал, руководитель белого движения в Сибири.

Кому на Руси жить хорошо (С. 424) — ПН, 15 января, 1921. С. 3. Название — заглавие поэмы Некрасова. *Мария Федоровна* — М. Ф. Андреева (наст. фамилия — Юрковская; 1868—1953), русская актриса. *Соколовский* — возможно, В. А. Соколовский (1898—1964), актер. *Малиновская* — возможно, З. А. Малиновская (1857—?), актриса. *Лаиса* — здесь: иронический намек на любовные отношения М. Ф. Андреевой с Горьким; *Лаиса* — поэтическое имя возлюбленной. *Маркиза Помпадур* — Жанна Антуанетта Пуассон, маркиза де Помпадур (1721—1764), фаворитка Людовика XV. *Гулливер* — здесь: огромный детина; герой романа Дж. Свифта «Путешествие Гулливера». *Братья Бурлюки* — Д. Д. Бурлюк (1882—1967), поэт и художник; Н. Д. Бурлюк (1890—1920), поэт, прозаик, теоретик искусства; В. Д. Бурлюк (1886—1917?), художник. В. Шкловский позднее писал: «Явилось сразу много Бурлюков — Давид, Владимир, Николай, Людмила... И все разные». (Шкловский В. Поиски оптимизма. М., 1931. С. 91). «*Синий журнал*» — бульварное издание поэта и беллетриста Н. Г. Шебуева (псевд. Благер; 1874—1937). «*Центрофуга*» — «Центрифуга», одна из группировок футуристов. *Екатерина Ивановна* — героиня одноименной пьесы Л. Н. Андреева. «*Тогда-то свыше вдохновенный*». — Строка из поэмы Пушкина «Полтава». *Габсбурги* — династия, правившая в Австрии. «*Небывалей...*» — Отрывок из стихотворения Маяковского «Потрясающие факты».

Последний ответ Узлсу (С. 426) — ПН, 21 января, 1921. С. 3. *Масарик* — Томаш Масарик (1850—1937), президент Чехословакии в 1918—1935 гг. *Галле* — город в Германии. *Тур* — город во Франции. *Дублин* — столица Ирландии. *Анжелика Балабанова* — А. И. Балабанова (р. в 1878 г.) — социал-демократ, деятельница итальянского коммунистического движения, участвовала в работе первого Конгресса Коминтерна. *Роза Блох* — участница женского движения в Швейцарии. *Британский музей* — один из крупнейших музеев мира; находится в Лондоне. *Вице-король Индии* — наместник английской короны, управлявший Индией.

Записи нежелательного иностранца (С. 427) — ПН, 17 февраля, 1921. С. 3. «*Летучая мышь*» — русский театр миниатюр, возникший в 1908—1920 гг. в Москве под руководством Н. Ф. Балиева; после 1920 г. продолжил выступления в Париже. *Съешь я свою голову, как говорит один Диккенсовский персонаж...* — Имеется в виду мистер Тудль из романа Диккенса «Домби и сын». *Потеряв последний полуостров*. — Имеется в виду Крымский полуостров. *Рейхштадский герой* — Наполеон II (1811—1832), Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт — сын Наполеона I.

Записки нежелательного иностранца (С. 429) — ПН, 24 февраля, 1921. С. 3. *Загреб* — столица Хорватии. *Салоники* — город и порт в Греции. *Лемнос* —

Греческий остров в Эгейском море. *Халка* — историческое название территории Северной Монголии. *Губи ближнего своего, как самого себя!* — Ироническое переосмысление библейской (евангельской) заповеди. *Филлиповский калач* — по имени купца Филлипова, торговавшего хлебом и другими мучными продуктами. *Блаженные Августины* — по имени Августина Блаженного Аврелия (354—430), христианского теолога и церковного деятеля. *Лукьяновского типа* — т. е. уголовников; по названию тюрьмы в предместье Киева — Лукьяновцах.

Что же нам все-таки делать?! (С. 430) — Сполохи, 1921, № 2, С. 20—22. Эпиграф — «*Но не фер? Фер-то ке?!*» — Неточная цитата из рассказа Н. А. Тэффи «Ке фер?» (Игра слов: «что делать?» в значении: что мне делать? и как жить среди красоты без работы, без денег?). *Что есть истина?* — вопрос Понтия Пилата, римского наместника Иудеи в 26—36 гг., обращенный к Христу. *В небесах, как полагается, торжественно и чудно...* — Цитата из стихотворения Лермонтова «Выхожу один я на на дорогу...» «*Von pour se rendre*» — Удачный момент, чтобы отправиться (на берег). *Rendre* — отправиться. *Von* — хорошо, удачно. *Айя-София* — византийский храм Св. Софии. *Все образуется...* — Слова Матвея, слуги Стивы Облонского, из романа Л. Толстого «Анна Каренина». *Висбаден* — город в Германии. «*Где ж душе искать спасения?*» — Стихи Дон-Аминадо. *Garçon-la-chemise* — мальчик-рубашка (бессмысленное для французского языка сочетание).

Иянтервью (С. 435) — ПН, 14 января, 1926. С. 3. *Порто-франко* — режим, устанавливающий свободу внешней торговли. *Даус* — Чарльз Гейтс Даус (1865—1951), американский банкир, вице-президент США, предложил репарационный план для Германии, утвержденный 16 августа 1924 г. на Лондонской конференции.

Квартирология (С. 437) — ПН, 21 января, 1926. С. 3. *Экспорасьон* — экспорт, вывоз. *Эмпортасьон* — импорт, ввоз. «*Ай, да тройка, снег пушиста-ай...*» — Песня на слова А. М. Ушаковой, муз. В. К. Давингоф. *Квартира с реприз* — квартира с добавкой. *Бай* — аренда, арендный договор. *Maïs, c'est pas mal, voyons!* — Ну, это неплохо, что вы! *Агришина Младшая* (16—59) — римская принцесса, мать Нерона, отличалась крайним честолюбием. *Pour rien* — даром. *Камр* — четыре.

Записная книжка (С. 439) — ПН, 27 января, 1926. С. 3. *Голландскому профессионалу...* — Парижские газеты писали о некоем человеке, который заключил себя в клетку и не хотел выходить оттуда, пока ему не выплатят солидное вознаграждение. Он же потешал публику тем, что курил одновременно более ста папирос. *Франц Иосиф* — Франц Иосиф I (1830—1916), император Австрии и король Венгрии; носил длинные усы и пышные бакенбарды. «*Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать!*» — стихи Пушкина из «Элегии» («Безумных лет угасшее веселье...»). *Будем, как солнце!* — название стихотворения К. Д. Бальмонта. *Доктор Воронов* — возможно, С. А. Воронов, доктор, предложивший рецепт омоложения путем пересадки половых желез; о его проекте с иронией писали ПН. *Род веча* — выражение, взятое из комедии Грибоедова «Горе от ума». *Вестизр* — гардеробная, раздевальня.

Открытое письмо Муссолини (С. 440) — ПН, 11 февраля, 1926. С. 4. *Габриэль д'Аннуцио...* — Габриеле Д'Аннуцио (1863—1938), итальянский писатель и политический деятель. *Вентиченто* — Двадцатый век. *Автор «Джоконды»* — Имеется в виду трагедия «Джоконда» Габриеле Д'Аннуцио. *Будущее Италии — в Сахаре!* — Имеется в виду притязания Муссолини в Африке. *Будущее Италии — в Тироле!* — Речь идет о притязаниях Италии на часть Австрии. *Романизация* — насильственное подчинение Италии других народов.

О всякой всячине (С. 442) — ПН, 18 февраля, 1926. С. 4. *Тютюнник* — Ю. О. Тютюнник, петлюровский атаман, начальник штаба атамана Григорьева. *Тьер* — Адольф Тьер (1797—1877), французский государственный деятель, историк, автор «Истории Французской революции».

Жизнь знаменитых людей (С. 444) — ПН, 20 февраля, 1926. С. 3. *Палеолог* — здесь: собирательное лицо монархиста, приближенного к тому или иному претенденту на российский престол. *Княгиня Бебутова* — княгиня Ольга Михайловна (Георгиевна) Бебутова (1879—1952), писательница, актриса.

По белу свету (С. 446) — ПН, 24 февраля, 1926. С. 3. *Изабелла* (1451—1504) — королева Кастилии. *День 12 октября 1492.* — В этот день Колумб достиг острова Сан-Сальвадор; считается официальной датой открытия Америки. *Бонвиван* — кутила. *Индора* — штат в центре Индии.

Народный солист (С. 448) — ПН, 5 мая, 1926. С. 3. *Престидижетор* —



правильно: пресстидигитатор — ловкач. *Гамэн* — мальчишка, сорванец, проказник. *Роланд* — здесь: иронически — предприимчивый делец; Роланд — герой рыцарской поэмы Лудовика Ариосто «Неистовый Роланд». *Суперматизм* — правильно: супрематизм, течение в живописи начала XX в., комбинирующее цветные геометрические фигуры или объемные формы. *Сомнамбула* — лунатик. *Бог Саваоф* — одно из имен бога Яхве (иудаизм). *Царица Савская* — в Библии правительница страны савеев на юге Аравии. *Серационовы братья* — литературная группа писателей (Вс. Иванов, М. Зошенко, В. Каверин, Н. Тихонов, М. Слонимский), возникшая в 1921 г. в Петрограде; по названию книги немецкого романтика Э. Т. А. Гофмана. «*Революционный держите шаг!*» — Призыв в поэме Блока «Двенадцать».

*Au bonheur des dames*. (С. 449) — ПН, 9 мая, 1926. С. 3. *Au bonheur des dames*. — Дамское счастье, намек на роман того же названия. *Гольштрёмом* и *Мальштрёмом* — Гольфстрим (теплое течение), Мальштрём (легендарный водорот в северных морях; фарватер Норвежского моря). *Третья Республика* — Третья Республика во Франции существовала в 1871—1932 гг. *Трэ паризевин* — очень по-парижски. *Фис-де-кошон трэ крю* — блюдо из поросенка. *Кармен* — намек на занятие Кармен, героини одноименной оперы французского композитора Бизе. *Легитимисты* — здесь: монархисты; приверженцы свергнутых монархий. *Бюро де-э-обже труэз* — бюро найденных вещей. «*Сметит не раз младая дева*». — Цитата из романа Пупкина «Евгений Онегин» (гл. 4, строфы XVI, ст. 6).

*ЦОРН* (С. 451) — ПН, 27 мая, 1926. С. 4. *Недотыкомка* — то, до кого или чего нельзя дотронуться; образ из стихотворения Ф. Сологуба «Недотыкомка серая...», см. также статью А. Горифльда «Недотыкомка» о романе Ф. Сологуба «Мелкий бес»; рисунок М. В. Добужинского «Недотыкомка» висел за стеклом шкафа у Сологуба. *Сан-Марино* — государство на Апенинском полуострове, в окружении территории Италии. *Идет прямо навстречу Солнцу*. — Намек на стихи К. Бальмонта. *Уап-степ* — танец с подчеркнутым ритмом. «*Крутится, вертится шар голубой...*» — Популярная песня (слова народные, муз. обработка А. П. Копосова).

До первого метро (С. 453) — ПН, 2 января, 1927. С. 3. Под рубрикой: «Маленький фельетон». *Роль-мопсы* — маленькие бутерброды с соленой рыбой; селедка в винном соусе. *Ординер* — обыкновенный, обычный. *Эшатион* — образец, образец. *Марилан* — сорт табака. *Руж* — здесь: губная помада. *Фелиситэ* — высшее счастье, блаженство, довольство. *Робинэ* — кран. *Партир* — уходить.

Дневник Коли Сыроежкина (С. 458) — ПН, 23 января, 1927. С. 3. *Третья Россия* — т. е. Россия, не примкнувшая ни к большевикам, ни к противникам советского режима. *Буры* — африканеры, народ в ЮАР, потомки голландцев, немецких и французских колонистов; в 1899—1902 гг. буры отстаивали от англичан независимость своих республик — Оранжевого Свободного государства и Трансвааля. *Тургеневская библиотека* — основанная эмигрантами библиотека русских книг в Париже. *Эн жиффл* — пощечина.

Кафе-натюр (С. 460) — ПН, 27 января, 1927. С. 4. *Каймак* — сливки с топленого молока. *Анкор дэ* — еще две. *Не хамю-дюруа* — т. е. не наглцы, подобные Дюруа. *Нецыганские баритоны* — намек на оперетту «Цыганский барон».

Предпраздничный блокнот (С. 462). — «Иллюстрированная Россия», 1927, № 52 (137). С. 24. *Антид-Отто* — имя, образованное от слова «антидот» (противоядие); один из псевдонимов Троцкого. *Алданов* — М. А. Алданов — (наст. фамилия — Ландау; 1883—1957), писатель; автор исторических сочинений, в том числе романа «Девятое термидора». *Мишле* — Жюль Мишле (1798—1874), французский историк, автор сочинения «История французской революции». *Олар* — Альфонс Олар (1849—1928), французский историк; главные труды — по истории Великой французской революции. *Мария Башкирцева* — М. К. Башкирцева (1860—1884), художница, автор «Дневника» «АРА» — «Американская администрация помощи» (1919—1923), создана для оказания помощи европейским странам, пострадавшим в первой мировой войне; в 1921 г. в связи с голодом в Поволжье действовала на территории РСФСР. *Сантиман* — чувство, ощущение. *Гаварни* — Поль Гаварни (наст. имя и фамилия — Сюльпис Гийом Шевалье; 1804—1866), французский график; его литографии из жизни бедноты, городской буржуазии и богемы полны юмора и необычайно выразительны. *Минидетки* — парижанки, служившие в модных ателье и в обеденный перерыв заполнявшие улицы и кафе, чтобы выпить кофе и перекусить; Французская Академия не

признала жаргонное слово «минидетки», и тогда «минидетки» и студенты вышли на демонстрацию, сопровождавшуюся сожжением чучела «академика».

## АФОРИЗМЫ

Афоризмы и меткие выражения Дон-Аминадо включал в свои книги («Нескучный сад», «В те баснословные года») и помещал в «Последних новостях» и других изданиях. Отдельный сборник был выпущен им на французском языке. Иногда он давал разделам афоризмов какое-нибудь общее название: например, «Новый Козьма Прутков». Внутри отдела афоризмы были сгруппированы по рубрикам, которые воспроизводятся в настоящем издании. При этом один и тот же афоризм не занимал какого-либо определенного места, а нередко перекочевывал из одной рубрики в другую. В этой книге они помещены согласно воле, выраженной в двух книгах — «Нескучный сад» и «В те баснословные года». Некоторые афоризмы, а также «русские пословицы» и «русские крестословицы», вошедшие в сб. «Нескучный сад», исключены из сб. «В те баснословные года»; в таком случае они возвращены на то место, которое занимали в сб. «Нескучный сад». В «Последних новостях» и других изданиях Дон-Аминадо обычно помещал афоризмы, остроты, пословицы, крестословицы и пр. под названиями: «Новый Козьма Прутков», «Из Махатма-Ганди», «Из записной книжки», «Тьмы низких истин», «О детях», «Неделя доброты» и пр. В настоящем издании сначала помещены афоризмы, включенные автором в сб. «Нескучный сад» и «В те баснословные года», а затем не вошедшие в них.

Похвала глупости (С. 464) — *Министр Геббельс исключил Генриха Гейне...* — Сочинения Гейне были запрещены в фашистской Германии. *По сиамской конституции...* — Ср. выражение «сиамские близнецы» (Чанг и Энг, родившиеся сращенными). *Хованщина* — здесь: анархия, беспорядок. *Диктатура без коннозаводства немислима*. — Намек на конные полки Красной Армии под командованием Буденного и увлечение последнего коннозаводством. *Вожжи стоят на балконе...* — Намек на выступление Ленина с балкона особняка Кшесинской.

Российские крестословицы (С. 468) — *Сказание о граде Китеже*. — Имеется в виду опера Н. А. Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже...», Китеж — по фольклорным представлениям, счастливая страна. *Рассказ об острове Сахалине* — намек на очерки В. Дорошевича и Чехова; остров Сахалин — место ссылки.

Философия каждого дня (С. 470) — *Молчите, проклятые струны* — строки из стихотворения А. Майкова «Менестрель». *Из искры возгорится пламя...* — Цитата из стихотворения А. И. Одоевского «Струн вещей пламенные звуки...»; намек на девиз газеты «Искра». *В начале бе слово* — Евангелие от Иоанна, 1, 1.

*Savoir vivre* (С. 476) — *Savoir vivre* — знание света. *Авель, Каин* — два брата; Каин убил Авеля из зависти (библ. миф.); на этот сюжет известна мистерия Байрона «Каин» и др. произведения. *Фрейд* — Зигмунд Фрейд (1856—1939), австрийский врач-психиатр и психолог.

М. и Ж. (С. 478) — *Дон Жуан* — созданный средневековой легендой образ рыцаря-сластолюбца, нарушителя моральных и религиозных норм. *Морган* — Джон Морган (1837—1913), американский финансист и промышленник, основатель компании. *Диоген* — Диоген Синопский (ок. 400 — ок. 325 до н. э.), древнегреческий философ, герой многочисленных анекдотов; по преданию, жил в бочке.

Валерьяновые капли (С. 481) — *Лета* — река забвения в царстве мертвых (греч. миф.). *Принц и нищий* — намек на название романа американского писателя Марка Твена.

Летние аксиомы (С. 485) — *Виши* — каламбур: город во Франции, где обосновалось правительство Петена; название коллаборационистского режима во время немецкой оккупации Франции (1940—1944); минеральная вода.

## ВОСПОМИНАНИЯ

Поезд на третьем пути (С. 487). — Печ. по тексту издания: Д.-Аминадо. Поезд на третьем пути. Нью-Йорк, 1954. С. 3—351.

Эпиграф — из драмы-сказки «Потонувший колокол» Гергардта Гауптмана, *Ин-*

гул — Великий Ингул, река на юге Украины, впадает в Южный Буг. *Потерянный, невозвращенный рай!* — Выражение, связанное с названиями двух поэм английского поэта Джона Мильтона (1608—1674) — «Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671). *Жан-Поль Сартр* (1905—1980) — французский писатель, философ и публицист, *Avenues и Street'y* — авеню и стриты. «*Coeur de Jeannette*» — «Сердце Жанетты». *Вагоны шли привычной линией...* — цитата из стихотворения Блока «На железной дороге». *Дюк Арман де Ришелье* (1766—1822) — герцог, эмигрировал в Россию во время Великой французской революции; в 1805—1814 гг. — генерал-губернатор Новороссии. *Николаевских времен* — т. е. времен императора Николая I (1796—1855). *Акцизные чиновники* — чиновники, ведающие налогами. *Гарус* — шерстяная пряжа для вышивания. *Смирновский* — П. В. Смирновский, составитель хрестоматии по русской словесности. *Иловайский* — Д. И. Иловайский (1832—1920), историк, публицист; автор пятитомной «Истории России», учебников по русской и всеобщей истории. *Малинин и Буренин* — А. Ф. Малинин и К. П. Буренин, авторы учебника по арифметике. *Елпатьевский* — С. Н. Елпатьевский, автор учебника по географии и других сочинений на географические темы. *Евтушевский* — В. А. Евтушевский (1836—1888), педагог. *Киселев* — А. П. Киселев (1852—1940), автор учебника по геометрии для гимназий. *Краевич* — К. Д. Краевич (1833—1892), преподаватель, автор учебника физики для гимназий, выдержавшего 13 изданий. *Ходобай* — Ю. Ю. Ходобай, автор учебника по латинской грамматике. *Поспишил* — А. О. Поспишил, автор пояснений к сочинению Цезаря «Записки о Галльской войне». «*Метаморфозы*» *Овидия Назона* — «Метаморфозы», сочинение римского поэта Публия Овидия Назона (43 до н. э.—ок. 18 н. э.). *Авенариус* — Н. П. Авенариус (1834—1903), педагог и археолог. *Энеида* — «Энеида», поэма Вергилия. *Поэзия должна быть глуповата...* — неточная цитата из письма Пушкина к Вяземскому (вторая половина мая 1826 г.). *Крюгер* — Паулус Крюгер (1825—1904), президент бурской республики Трансвааль в 1883—1902 гг. *Китченер* — Гораций Герберт Китченер (1850—1916), граф, английский фельдмаршал; в 1883—1902 гг. командовал войсками в англо-бурской войне; впоследствии — военный министр. *Вперед без страха и сомнений...* — неточная цитата из стихотворения А. Н. Плещеева. *Майн Рид* — Томас Майн Рид (1818—1883), английский писатель. *Габорио* — Эмиль Габорио — (1832—1873), французский писатель. *Фенимор Купер* — Джеймс Фенимор Купер (1789—1851), американский писатель. *Баштан* — бахча. *Команчи* — индейские племена на юго-западе Северной Америки. *Взвейтесь, соколы, орлами!* — военная песня. «*Старшины Вильбайской школы*» — сочинение (так называемая «школьная повесть») Тальбота Рида. *Уинстон Черчилль* — Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874—1965); неоднократно был премьер-министром Великобритании. *Мачтет* — Г. А. Мачтет (1852—1901), писатель-народник. *Марлитт* — Евгения Марлитт (1825—1887), немецкая писательница. *Ауэрбах* — Бертольд Ауэрбах (1812—1882), немецкий писатель, автор «Дачи на Рейне» (1869). *Фридрих Шпильгаген* — (1829—1911), немецкий писатель, автор романов «Один в поле не воин», «О чем щебетали ласточки». «*Хижина дяди Тома*» — роман американской писательницы Гарриет Бичер-Стоу (1811—1896). *Шеллер-Михайлов* — А. К. Шеллер-Михайлов (псевдоним — Михайлов; 1838—1900), писатель. *Данилевский* — Г. П. Данилевский (1829—1890), русский и украинский писатель, автор исторических романов. *Алексей Толстой* — имеется в виду А. К. Толстой (1817—1875), поэт, автор исторического романа «Князь Серебряный». *Лажечников* — И. И. Лажечников (1792—1869), писатель, автор исторических романов. *Уличная плясунья (Эсмеральда)*, *Квзимодо* — герои романа В. Гюго «Собор Парижской Богоматери». *И свеча жизни, при которой...* — неточная цитата из романа Л. Толстого «Анна Каренина». *Леди Макбет* — имеется в виду трагедия В. Шекспира «Макбет». *Его, как первую любовь...* — неточная цитата из стихотворения Тютчева «29-е января 1837». *Баденвейлер* — город в южной Германии, где умер А. П. Чехов. *Осип Дымов* — О. И. Дымов (наст. фамилия Перельман; 1878—1934), писатель. *Тьмы низких истин...* — цитата из стихотворения Пушкина «Герой». «*Кин, или Гений и беспутство*» — пьеса Дюма-отца. «*Нана*» — роман Эмиля Золя. «*Заза*» — пьеса П. Бертоне и Ш. Симона (пер. Ф. Н. Латерьера; пер. В. В. Барятинского). «*Цыганка Аза*» — возможно, «Цыганка Занда», драма Л. Лангофера и И. М. Бросниера (пер. с немецкого М. В. Ватсон и В. А. Крылова). «*Казнь*» *Николая Николаевича Ге* — ошибка; имеется в виду пьеса «Казнь» Григория Григорьевича Ге (1868—1942), драматурга и актера, племянника Н. Н. Ге; пьеса имела успех. «*Губернер*» — комедия В. А. Дьяченко. «*Первая муха*» — комедия В. А. Крылова (Александрова). «*Сумасше-*

стве от любви» — драма М. Томайо-и-Бауса (пер. В. И. Ростиславского и О. О. Новицкого). «Блуждающие огни» — драма Л. Н. Антропова. «Ограбленная почта» — «Лионский курьер», драма Моро, Сирадэна и Делакруа (пер. М. Искра). «Измена», «Старый закал», «Соколы и Вороны» — пьесы актера, драматурга, театрального деятеля А. И. Южина (Сумбатова; 1857—1927; «Соколы и Вороны» — совместно с Вл. И. Немировичем-Данченко). «Сестра Тереза, или За монастырской стеной» — драма Л. Камолетти (пер. Н. С. Курочкина) (1824—1895). «Мадам Сан-Жэн» — пьеса П.-Э. Кормона (пер. Шестакова, Н. И. Куликова, есть также переводы Э. Маттерна, П. Н. Юркевича, А. А. Черепанова). «Огни Ивановой ночи» и «Да здравствует жизнь» Зудермана — пьесы немецкого писателя Германа Зудермана (1857—1928). «Дама с камелиями» — пьеса Александра Дюма-сына (1824—1895). «Мадам Сан-Жэн» — пьеса французского драматурга Викторена Сарду (1831—1908). «Монна-Ванна» Метерлинка — пьеса «Монна-Ванна» (1902) бельгийского драматурга и поэта Мориса Метерлинка (1862—1949). «Дети Ванюшина» — пьеса (1901) С. А. Найденова (Алексеева; 1868—1922). Пьеса за здоровье тех матерей... — читата из пьесы «Без вины виноватые». Служители Мельпомены! — Актеры; Мельпомена — одна из 9 муз, покровительница трагедии (греч. миф.). Судьбинин — И. И. Судьбинин (1866—1919), драматический актер; играл в провинции, в театре Корна, в петербургских театрах Неметти, Литературно-художественного общества, с 1909 г. — в труппе Александринского театра. Орлов-Чужбинин — Я. В. Орлов-Чужбинин (наст. фамилия — Орлов; 1876—1940), драматический актер. Черман-Запольская — провинциальная актриса, выступала в Елизаветграде (сезон 1894—1895 гг.), входила в товарищество Ю. Л. Славиной (Сильвиной). Роль гран-кокетт — роль первой кокетки, первой любовницы. Два брата Адельгейм — Роберт Львович (1860—1934) и Рафаил Львович (1861—1938) Адельгеймы, актеры, народные артисты РСФСР; выступали в классическом репертуаре во многих городах. Стрелкова — вероятно, А. И. Стрелкова (ок. 1833—1902), драматическая актриса. Скарская — Н. Ф. Скарская (1869—1958), драматическая актриса, театральный деятель, педагог; сестра В. Ф. Комиссаржевской; возглавляла вместе с П. П. Гайдебуровым «Первый передвижной драматический театр». Дариал — А. В. Дариал, артистка Ростовского театра. Кольцова-Бронская — В. В. Кольцова, артистка оперетты, выступала в Киеве у антрепренера Н. Н. Савина (театр Бергонье), впоследствии — в Александринском и петербургском Малом театрах. Анчаров-Эльстон — А. В. Анчаров-Эльстон (наст. фамилия Дубровский; 1867—1901), драматический актер. Мурский — А. А. Мурский, актер Нового театра. Пал Палыч Гайдебуров (1877—1960) — актер, режиссер, педагог, народный артист РСФСР, организатор и руководитель (совместно с Н. Ф. Скарской) Общедоступного театра в Петербурге, Первого передвижного драматического театра. Любимов — кто имеется в виду, неясно: либо Е. О. Любимов-Ланской (1883—1943), режиссер и актер, либо В. Н. Любимов (1852—1902), режиссер и антрепренер крупнейших столичных и провинциальных театров. Любич — кто имеется в виду, неясно; известны А. И. Лозинский (псевд. Любич) и Н. А. Любич-Кошуров. Любин — Д. Р. Любин (1880—1951), драматический актер. Любозаров — возможно, трагик А. К. Любский (Интасаров). Михайлов-Дольский — М. М. Михайлович-Дольский, актер театра Незлобина. Строева-Сокольская — С. Т. Строева-Сокольская, провинциальная актриса, прославилась в саратовском театре в антрепризе М. М. Бородая. Сарра Бернар — Сара Бернар (1844—1923), французская актриса; выступала в «Комеди Франсез» и возглавляла «Театр Сарры Бернар» в Париже. Вера Леонидовна Юреньева (1876—1962) — актриса. Пишибышевский — Станислав Пишибышевский (1868—1927), польский прозаик и драматург. Шницлер — Артур Шницлер (1862—1931), австрийский драматург и прозаик. Жулавский — Ю. Жулавский, автор драматической поэмы «Эрос и Психея». А. С. Вознесенский (1880—1939) — наст. фамилия Бродский. поэт, драматург, переводчик, театральный деятель; муж актрисы В. Л. Юрсневой; под именем Александра Френкеля перевел поэму Ю. Жулавского (Киев, 1906), Психея, Эрос. — Психея — олицетворение человеческой души (греч. миф.); Эрос — любовь как начало, лежащее в основании мира (греч. миф.); имеется в виду пьеса Ю. Жулавского в пер. А. Вознесенского. Я Эрос, да! Я той любви создатель... — стихи из заключительного монолога Эроса в последнем, седьмом, действии. Жен-премьер — первый любовник. Пусть жертвенник разбит... — Цитата из стихотворения С. Я. Надсона «Не говорите мне «он умер». Он живет...» «Голос юга» под редакцией Димитрия Степановича Горшкова — газета «Голос юга» издавалась в Елизаветграде. «Новоградские новости» Лapidуса — т. е. газета «Елизаветградские новости». Зоил — придиричивый, недоброжелательный и язвительный критик; Зоил (IV в. до н. э.) — древнегреческий философ и ритор, критик гомеров-

ского текста. *«Денщик подвел»* — комедия в одном действии С. И. Турбина. *Коньч* — вероятно, имеется в виду И. К. Лисенко-Коньч, актер и драматург. *Афина Паллада* — богиня войны, победы и мудрости (греч. миф.). *Юпитер Громовержец* — верховный бог (римск. миф.) *Брокер, Раллз, Номер 4711* — названия одеколонов; см. фельетон «№ 4711». *«Принцесса Греза» Ростана в стихотворном переводе Щепкиной-Куперник* — пьеса французского поэта и драматурга Эдмона Ростана (1868—1918) в пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник (1874—1952), писательницы и переводчицы. *Любовь это сон упоительный...* — цитата из пьесы Ростана в пер. Щепкиной-Куперник. *Князь В. В. Барятинский* (1874—1941) — писатель. *Лидия Борисовна Яворская* (1871—1921) — драматическая актриса. *«Орленок»* — пьеса Ростана. *Цусима и Ляоян* — имеются в виду Цусимское сражение в мае 1905 г. у острова Цусима и Ляоянское сражение около г. Ляоян в Северо-Восточном Китае в августе-сентябре 1904 г. (события русско-японской войны). *«Нива»* — еженедельный иллюстрированный журнал, издававшийся в Петербурге в 1870—1918 гг. *Генерал Куропаткин* — А. Н. Куропаткин (1848—1925), генерал от инфантерии; в русско-японскую войну потерпел поражение под Ляояном и Мукденом. *Генерал Стессель* — А. М. Стессель (1848—1915), генерал-лейтенант; в русско-японскую войну был начальником укрепленного района в Порт-Артуре, но сдал крепость противнику; приговорен военным судом к смертной казни, однако помилован царем. *Адмирал Макаров* — С. О. Макаров (1848/1849—1904), вице-адмирал, океанограф; в русско-японскую войну командовал Тихоокеанской эскадрой; погиб на броненосце «Петропавловск», подорвавшись на mine. *Битва на Ялу* — сражение на реке Ялу. *Мукден* — имеется в виду Мукденское сражение (февраль 1905 г.) около г. Мукден (Шэньян). *Порт-Артур* — речь идет об обороне г. Порт-Артур в 1904—1905 гг. *Гибель эскадры Рождественского* — имеется в виду гибель 2-й Тихоокеанской эскадры в Цусимском сражении; виновником ее был вице-адмирал З. П. Рождественский (1848—1909). *И вещи буквы огнем на стене...* — Неточная цитата из «Похоронного марша» («Вы жертвою пали в борьбе роковой...»); песенный вариант возник на основе стихотворения А. Архангельского (Аммосова) «В дороге» и стихотворения неизвестного автора «Вы жертвою пали»; муз. обработка Н. Н. Иконникова. *«Портсмутский мир»* — подписан в 1905 г. С. Ю. Витте; согласно ему, Россия уступила Японии Сахалин, Порт-Артур, Дальний и признала Корею сферой влияния Японии. *«Сын отечества» С. П. Юрицын* — ежедневная газета либерального и либерально-демократического направления; редактор — Сергей Петрович Юрицын, писатель. *«Пулемет» Шебуева, «Сигнал» Корнея Чуковского, «Жупел» Гржебина, «Маски» Чехонина, «Зритель», «Серый волк»* — сатирические журналы Н. Г. Шебуева, К. И. Чуковского (наст. имя и фамилия Николай Васильевич Корнейчук; 1882—1969), З. И. Гржебина (1869—1929), С. В. Чехонина (1878—1936) и др. *Василий Алексеевич Маклаков* (1869—1957) — один из лидеров кадетов, адвокат; в 1917 г. посол во Франции; мемуарист. *Один Гучков — А. И. Гучков* (1862—1936), лидер октябристов, военный и морской министр Временного правительства. *Другой Гучков* — Н. И. Гучков, фабрикант, московский городской голова (1906—1913), брат А. И. Гучкова. *Доктор Дубровин* — А. И. Дубровин (1855—1918), врач, один из лидеров «Союза русского народа»; расстрелян. *А деспот пирует в роскошном дворце* — цитата из «Похоронного марша». *«Бездна» Андреева* — рассказ Л. Н. Андреева. *По предугаданному рецепту Соллогуба* — имеются в виду слова писателя Ф. К. Соллогуба (наст. фамилия Тетерников; 1863—1927) из романа «Навыи чары» («Творимая легенда»): «Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт. Косней во тьме, тусклая, бытовая, или бушуй яростным пожаром — над тобою, жизнь, я, поэт, воздвигну творимую мною легенду об очаровательном и прекрасном». *Менялось подлежащее, оставалось сказуемое.* — См. раздел «Афоризмы». *Вся жизнь моя была залогом...* — цитата из романа Пушкина «Евгений Онегин». *Делянов* — И. Д. Делянов (1818—1897), граф, государственный деятель; с 1882 г. министр народного просвещения. *Грот* — Я. К. Грот (1812—1893), филолог, академик. *Даль* — В. И. Даль (1801—1872), писатель, лексикограф, этнограф; создатель «Толкового словаря живого великорусского языка». *Платон* (428 или 427 — 348 или 347 до н. э.) — древнегреческий философ; Дон-Аминадо намекает на изречение: Платон мне друг, но истина дороже. *Труци* — семья цирковых артистов, итальянцев по происхождению; наиболее известен Вильямс Жижеттович (1889—1931), наездник, дрессировщик, режиссер. *Иван Поддубный* — И. М. Поддубный (1871—1949), спортсмен-борец. *Галоп Контского «Пробуждение льва»* — имеется в ви-

ду фортепьянная пьеса «Пробуждение льва», исполнявшаяся польским пианистом-виртуозом Антоном Контским (1817—1899). *Эзеты* — торчащее вверх перо (или пучок перьев), украшающее голову лошади или женский головной убор и прическу. *Венявский* — Генрик Венявский (1835—1880), польский скрипач и композитор. *Сине море — священный Байкал...* — песенный вариант стихотворения Д. П. Давыдова «Дума беглеца на Байкале» (муз. Арнольди). *«Записки из Мертвого дома»* — сочинение Ф. М. Достоевского. *Плеве* — В. К. Плеве (1846—1904), министр внутренних дел, шеф отдельного корпуса жандармов (1902—1904); убит эсером Е. С. Сазоновым. *А. Ф. Кони* (1844—1927) — юрист, общественный деятель, член Государственного совета; суд под его председательством вынес оправдательный приговор по делу В. И. Засулич. *Ледницкий* — А. Р. Ледницкий (1866—1934), юрист, член Совета присяжных поверенных. *Куперник* — Л. А. Куперник (1845—1905), криминалист, публицист. *Плевако* — Ф. Н. Плевако (1842—1908/1909), юрист, адвокат; выступал защитником на крупных политических процессах. *Пассовер* — А. Я. Пассовер (1840—1910), юрист. *Карабчевский* — Н. П. Карабчевский (1851—1925), юрист, адвокат. *Андреевский* — о ком идет речь, неясно: известны два крупных юриста — И. Е. Андреевский (1831—1891), профессор и ректор Петербургского университета, главный редактор «Энциклопедического словаря Брокгауза—Ефрона», и С. А. Андреевский (1847—1918), адвокат, поэт и критик. *Кн. Эрнстов* — А. М. Эрнстов, юрист. *Тесленко* — Н. В. Тесленко (1870—1942), присяжный поверенный, член партии кадетов, депутат II и III Государственных Дум. *Слиозберг* — Г. Б. Слиозберг (1863—1937), присяжный поверенный, член партии кадетов. *Альфонса* — настоящее имя героини в романе М. Сервантеса «Дон Кихот»; Дон Кихот называл ее — «Дульсинья Тобосская». *Железнов* — В. Я. Железнов (1869—1933), экономист; выступал за проведение социальных реформ, сочувствовал марксизму. *Шпаков* — А. Я. Шпаков, юрист. *Владимирский-Буданов* — М. Ф. Владимирский-Буданов (1838—1916), историк, профессор Киевского университета. *Дядя Ваня* — герой одноименной пьесы Чехова. *Шепот, робкое дыханье...* — начальная строка стихотворения Фета. *Арабажин* — К. И. Арабажин (1866—1929), критик, журналист, литературовед. *Вейнинггер* — Отто Вейнинггер (1880—1903), немецкий ученый и писатель. *Генерал Толмачев* — И. Н. Толмачев (р. в 1863), в 1907—1911 гг. — градоначальник Одессы. *«Дни нашей жизни»* — сочинение Л. Н. Андреева. *Айвазовский* — И. К. Айвазовский (1817—1900), живописец-маринист. *Сергей Андреевич Муромский* (1850—1910) — юрист, публицист, земский деятель, профессор Московского университета; председатель I Государственной Думы. *Князь Трубецкой* — С. Н. Трубецкой (1862—1905), философ, публицист, профессор и первый выборный ректор Московского университета; член I Государственной Думы. *Де ла Барт* — Ф. Г. Де ла Барт (1870—1915), историк литературы. *Шершеневич* — Г. Ф. Шершеневич (1863—1912), юрист, профессор Московского университета, депутат I Государственной Думы. *Комаровский* — Л. А. Комаровский (1846—1912), юрист, член-корреспондент Петербургской АН, профессор Московского университета, *Момзен* — Теодор Момзен (1817—1903), немецкий историк; основные труды по истории Древнего Рима и по римскому праву. *Йелинек* — Георг Йелинек (1851—1911), немецкий теоретик права и государствовед. *Когда будете, дети, студентами...* — см. стих. «Экзерсис». *Дигесты* — часть кодификации Юстиниана (Свода гражданского права). *Глоссы* — заметки, в которых собраны непонятные слова и выражения; итальянские юристы комментировали римское право путем составления заметок на полях текстов римских кодексов и законов. *Николаевский бульвар, Александровский парк, Большой и Малый фонтаны, Аркадия, Хаджибеевский и Куяльницкий лиманы* — места Одессы. *Де Рибас* — Хосе де Рибас (Осип Михайлович Дерибас; 1749—1800), испанец по происхождению, адмирал русской службы; руководил строительством порта и г. Одесса. *Ланжерон* — А. Ф. Ланжерон (1763—1831), граф, генерал от инфантерии, принимал деятельное участие в обустройстве Новороссии. *Сантарелли* — итальянский певец. *Джура-льдини* — о ком идет речь, неясно: в Одессе гастролировал итальянский певец Л. Джиральдини; известен также Эугенио Джиральдини, певец (драматический тенор); отличился в партии Скарпия в опере «Тоска» (Опера Ла Скала). *Тито Руффо* — Титта Руффо (1877—1953), итальянский певец (баритон). *Ансельми* — Джузеппе Ансельми (1876—1929), итальянский певец (тенор). *Марио Самарко* — Марио Саммарко, певец (баритон) оперы Ла Скала. *«Сельская честь»* — опера П. Масканьи либретто Дж. Тарджисонн-Тоццетти и Г. Менаши; в России шла с 1891 г. *Viva il vino spute gigante...* — Да здравствует шипучее вино... *Граф Воронцов* — М. С. Воронцов (1782—1856), госу-

дарственный деятель, граф, позднее — светлейший князь, генерал-фельдмаршал; в бытность Пушкина в Одессе — новороссийский и бессарабский генерал-губернатор. *Амалия Ризнич* (1803—1825), дочь венского банкира, жена негоцианта, одесская знакомая Пушкина. *«Князь Игорь»* — опера А. П. Бородина. *«Рогнеда»* — опера А. Н. Серова. *Половецкие танцы* — сцены из оперы «Князь Игорь». *Слабосильных герцогов* — имеется в виду опера Верди «Риголетто». *Плебейских цирюльничков* — речь идет об опере Россини «Севильский цирюльник». *Санчо Панса* — спутник Дон Кихота. *П. А. Нилус* (1869—1943) — художник и писатель. *А. М. Федоров* (1868—1949) — поэт, прозаик и драматург; друг И. А. Бунина. *«Комедия брака» Юшкевича* — пьеса С. С. Юшкевича (1868—1927), прозаика и драматурга. *Два Аякса* — здесь: близкие друзья; имена двух греческих героев Аякса Большого и Аякса Малого, которых связывала нерушимая дружба (греч. миф.). *Сергея Уточкин* — С. И. Уточкин (1876—1915/1916), один из первых русских летчиков. *Качалов* — В. И. Качалов (наст. фамилия Шверубович, 1875—1948), актер МХАТ, народный артист. *Тараскон* — город во Франции, откуда был родом хвастливый герой трилогии Альфонса Додэ (1840—1897) «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона». *Крикет* — спортивная командная игра с мячом и битами; зародилась в середине века в Англии. *«Одесские новости»* — газета. *С. Ф. Сарматов* — псевдоним Оленьковского Станислава Францевича, куплетиста. *«Одесский листок»* — газета. *«Южное обозрение»* — газета. *Эрманс* — А. С. Эрманс, журналист. *Исакович* — редактор газеты «Южное обозрение». *И. Н. Навроцкий* — редактор газеты «Одесский листок». *Влас Михайлович Дорошевич* (1864—1922) — журналист, театральный критик. *Иван Дмитриевич Сытин* (1851—1934) — издатель-просветитель. *«Русское слово»* — газета (1895—1918), которую с 1897 г. в Москве издавал И. Д. Сытин. *Зоценко* — М. М. Зоценко (1895—1958), писатель. *Л. Д. Леонидов* (р. в 1885) — антрепренер, организатор зарубежных гастролей МХТ. *«Made in USSR»* — «Сделано в СССР». *А. Л. Фовицкий* — Алексей Леонидович Фовицкий (псевдоним «Альфа»), журналист. *Латыши и китайцы преторианской гвардии* — здесь: наемные войска (латышские стрелки и китайские добровольцы), служившие в ЧК и ВОХР (Военная охрана Республики); в Древнем Риме первоначально охрана полководцев, а затем императорская гвардия. *Ольга Миткевич* — О. Н. Миткевич, актриса театров Корша, Незлобина; жена В. М. Дорошевича. *Но та, что всех больше терзала...* — цитата из стихотворения Г. Гейне «Они меня терзали много...» в пер. П. И. Вейнберга. *Четырь миинеи (чтения ежемесечные)* — сборники житий святых в соответствии с днями чествования церковью каждого святого. *Жития святых* — биографии духовных и светских лиц, канонизированных христианской церковью. *Николая Васильевича Гоголя святочный рассказ* — имеется в виду «Ночь перед Рождеством». *И. М. Хейфец* — театральный критик и журналист, редактор «Одесских новостей». *Лемке* — М. К. Лемке (1872—1923), историк, публицист, писавший об истории русского революционного движения, общественной мысли и цензуры. *Каменный гость* — здесь: знак неумолимой судьбы; Каменный Гость — статуя Командора в одноименной трагедии Пушкина. *Бедный Йорик* — выражение, взятое из трагедии Шекспира «Гамлет». *К. В. Мочульский* (1892—1950), литературовед. *Петр Пильский* — П. М. Пильский (псевдоним А. Хрушев; 1876—1942), очеркист. *О. А. Инбер* — Осип Абрамович Инбер (псевдоним Кин), публицист, сотрудник одесских изданий. *С. Соколовский (Седой)* — Илья Львович Соколовский, одесский журналист. *Петр Титыч Герцо-Виноградский* — журналист. *Гаев* — персонаж пьесы Чехова «Вишневый сад». *Михайловский* — Н. К. Михайловский (1842—1904), народник, социолог, критик, публицист. *Владимир Соловьев* — В. С. Соловьев (1853—1900), философ, поэт; публицист. *Как сердце высказат себя?* — Цитата из стихотворения Тютчева «Silentium» («Молчание»). *Развернулось предо мною...* — неточная цитата из стихотворения П. И. Вейнберга «Бесконечной пеленою...» *Лознгрин* — псевдоним П. Т. Герцо-Виноградского. *Барон Икс* — псевдоним С. Т. Герцо-Виноградского, журналиста. *Железная маска* — кто именно имеется в виду, ясно; псевдонимом пользовались А. А. Агеевский, Г. П. Альтерсон, Е. А. Вернер, А. П. Сухов, А. П. Хлопов. *Незнакомец* — вероятно, имеется в виду А. С. Суворин. *Старый театрал* — из хорошо известных Дон-Аминадо литераторов псевдоним принадлежал П. П. Гнедичу, И. М. Хейфецу, А. С. Суворину. *Седой* — вероятно, имеется в виду И. Л. Соколовский; кроме него, в числе многих, этим псевдонимом пользовались Мамин-Сибиряк и Чехов. *Некто в сером* — вероятно, этот псевдоним назван Дон-Аминадо не с целью иаемека на какое-либо конкретное лицо; под псевдонимом печатались М. Д. Артамонов, Н. Е. Ворон-

цов. *Иван Непомнящий* — этот псевдоним также не содержит намека на конкретное лицо; им подписывались Д. А. Иваненко и Н. К. Михайловский. *Иван Колочий* — наиболее вероятно, имеется в виду Яков Михайлович Гордин, сотрудник газеты «Раннее утро» и газет Елизаветграда и Одессы. *О. Л. d'Or* — И. Л. Оршер (1878—1942), сотрудник «Сатирикона». *Турист* — под псевдонимом Турист из знакомых Дон-Аминадо печатались В. Я. Брюсов, Н. А. Лихманова, Вас. И. Немирович-Данченко. *Иванов-Классик* — А. Ф. Иванов-Классик (1841—1894), поэт. *Буква-Василевский* — И. Ф. Василевский (наст. имя Ипполит-Петр Фердинандович; псевдоним — Буква; 1849 — после 1918), фельетонист, публицист. *Василевский-Не-Буква* — И. М. Василевский (Не-Буква; 1882/3—1938), фельетонист, издатель «Свободных мыслей». *Ленский* — вероятно, В. Я. Абрамович (псевдоним Владимир Ленский; 1877—1926), поэт и беллетрист. *Линский* — М. С. Линский (наст. фамилия Шлезингер; псевдоним — Де-Линь), журналист, художник. *Ядов* — Я. П. Давыдов, писатель и журналист. *Леонид Гросман* — Л. П. Гроссман (1888—1965), писатель, литературовед. *Ал. Биск* — А. А. Биск (1883—1973), поэт, переводчик. *Горелик* — И. А. Горелик, журналист, отсылавший корреспонденции из Белгорода и Одессы. *Уолтер Патер* (Пейтер; 1839—1894), английский писатель, создавал литературные образы в духе культуры Возрождения (роман «Марий-эпикурец»); критик. «*Призраки*» («*Привидения*») — драма Г. Ибсена. *С. М. Ратов* — наст. фамилия Муратов (?—1924), актер, режиссер, театральный деятель. *Виктор Петипа* — В. М. Петипа (1879—1939), драматический актер. *Южный* — Я. Д. Южный, содержатель, актер и режиссер «Театра Южного»; в эмиграции владелец театра миниатюр «Синяя птица». *А. И. Долинов* (1869—1945) — драматический артист и режиссер в труппе Александринского театра. *Савина* — М. Г. Савина (1854—1915), актриса сначала провинциальных театров, а с 1874 г. Александринского театра. *М. Ф. Багров* — наст. фамилия Тонор (1864—?), актер и антрепренер. *Бульвардые* — бульварный завсегда, гуляка; театр. *Ты прежде прицем был де-Линь...* — намек на псевдоним М. С. Линского; принц де-Линь — известный остролов при дворе Екатерины II. *Жеребков* — Ю. С. Жеребков; возглавил во Франции во время оккупации управление по делам русской эмиграции, редактировал «Парижский вестник»; внук одного из генерал-адъютантов Николая II; до второй мировой войны — профессиональный танцор. «*Норма*» — опера итальянского композитора Виаченцо Беллини (1801—1835). *Звучала музыка в саду...* — неточная цитата из стихотворения А. А. Ахматовой «Вечером». *Герман Фадеич Блюменфельд* (1861—?) — юрист, известный цивилист. *Скэтинг-ринг* (скейтинг-ринк) — здесь: иронически — лысина; площадка со специальным покрытием для фигурного катания и хоккея на роликовых коньках. *Бенарес* — Варанаси, город в Северной Индии; культурно-исторический центр и место паломничества индусов и буддистов; там находится Золотой храм Шивы, дворец Ман Мандир и другие величественные памятники. *Удинцев* — Б. Д. Удинцев (1891—?), юрист. *Блажен, кто во время постиг...* — автоцитата (см. стихотворение «Свой угол»). *Кузмин* — М. А. Кузмин (1875—1936), поэт, композитор. *Орженцкий* — Р. М. Орженцкий (1863—1923), профессор, впоследствии ректор Варшавского университета. *Здесь обрывается Россия...* — неточная цитата из стихотворения «Не веря воскресенья чуду...» О. Э. Мандельштама (1891—1938). *Никакой треуголки, ни растрепанного тома Парни...* — имеются в виду строки «Здесь лежала его треуголка И растрепанный том Парни» из стихотворения А. А. Ахматовой «Смуглый отрок бродил по аллеям...» «*Освобождение*» *Струве* — журнал, издававшийся П. Г. Струве в Штутгарте—Париже в 1902—1905 гг. *Мамин-Сибиряк* — Д. Н. Мамин-Сибиряк (наст. фамилия Мамин; 1852—1912), писатель; «*Черты из жизни Пепко*» (1894) — роман Мамина-Сибиряка. *Гарин-Михайловский* — Н. Г. Гарин-Михайловский (1852—1906), писатель; «*Студенты*» (1859) — третья часть тетралогии («*Детство Темы*», «*Гимназисты*», «*Студенты*», «*Инженеры*»). *Будущий Козьма Прутков* — т. е. Дон-Аминадо, публиковавший афоризмы под общим заглавием «*Новый Козьма Прутков*» (см. раздел «*Афоризмы*»). *Отрясти прах от ног своих* — ироническое использование стихов из «*Новой песни*» П. Л. Лаврова. *Матильда Серао* (1856—1927) — итальянская писательница. *Стрелецкий бунт* (стрелецкое восстание 1698 г. против Петра I; стрельцы были разбиты под Новоиерусалимским монастырем; около 2000 стрельцов было казнено и сослано; следствия и казни продолжались до 1707 г. *Порфиросную вдову* — т. е. Москву; см. «*Медный всадник*» Пушкина. *О, закрой свои бледные ноги!* — моностих В. Я. Брюсова. *Кондуктор отобрал с достоинством билеты. Вот фабрики пошли. Теперь уж не*



заснуть. — Неточная цитата из стихотворения Апухтина «С курьерским поездом». *Не поймет и не оценит...* — неточная цитата из стихотворения Тютчева «Эти бедные селенья...» «Живой труп» — пьеса Л. Н. Толстого. *Варя Панина* — В. В. Панина (1872—1911), эстрадная певица (контральто), исполнительница бытовых романсов, цыганских песен. *Настя Полякова* — популярная певица. *Надя Плевицкая* — Н. В. Плевицкая (1884—1941), эстрадная певица (меццо-сопрано), исполнительница русских народных и городских песен. *Барон Клодт* — П. К. Клодт (1805—1867), скульптор. *Мое! сказал Евгений грозно...* — цитата из романа «Евгений Онегин». *И мертвые души и бесы.* — Имеются в виду персонажи поэмы «Мертвые души» Гоголя и романа «Бесы» Достоевского. *Крутится, вертится шар голубой...* — популярная песня (слова народные, муз. обработка А. П. Копосова). *Дело игуменьи Митрофании* — слушалось в Московском окружном суде в октябре 1874 г.; игуменья Митрофания обвинялась в подлогах, мошенничестве и в присвоении чужого имущества; при этом (Митрофания — в миру баронесса П. Г. Розен — была близка к жене в. кн. Николая Николаевича «старшего») прикрывала порок благочестием, утверждая, что действовала во имя Бога. На процессе в качестве поверенного гражданского истца от имени потерпевших выступил Ф. Н. Плевако, разоблачивший лицемерие обвиняемой. Игуменья Митрофания была приговорена к ссылке. *Лейкин* — Н. А. Лейкин (1841—1906), писатель-юморист. *Катюша Маслова* — героиня романа Л. Н. Толстого «Воскресение»; иллюстрировал роман Л. О. Пастернак (1862—1945). *Муравьев* — Н. В. Муравьев (1850—1908), юрист. *Н. П. Шубинский* (р. в 1853) — помещик, присяжный поверенный, член партии октябристов, депутат III и IV Государственных Дум. *Кистяковский* — вероятно, Б. А. Кистяковский (1869—1920), социолог, юрист, публицист; известен также И. А. Кистяковский, преподававший римское право в Киеве. *Измайлов* — А. А. Измайлов (1873—1921), критик, пародист. *Малаянович* — П. Н. Малаянович (1870—1939), адвокат; в последнем составе Временного правительства министр юстиции. *Князь А. И. Урусов* (1843—1900) — юрист, адвокат, общественный деятель, театральный критик. *Гольдовский* — О. Б. Гольдовский, известный московский адвокат. *Его призвали всеблагие...* — цитата из стихотворения «Цицерон» Тютчева. *Андрэ Морюа* (наст. имя Эмиль Эрзог; 1885—1967) — французский писатель; ему принадлежит книга «Байрон» (1930). *Бьернстэрнэ-Бьернсон* — Бьернстьерне Мартиниус Бьернсон (1832—1910), норвежский писатель, общественный и театральный деятель. *Наоб Баст* — персонаж пьесы К. Гамсуна «У жизни в лапах». *Гамсуи* — Кнут Гамсуи (наст. фамилия Педерсен; 1859—1952), норвежский писатель; лейтенант Глан — герой романа К. Гамсуна «Пан» — охотник, одиноко живущий в лесной хижне. *Доброхотов* — А. П. Доброхотов, юрист. *Цивилист* — специалист по гражданскому праву. *Ломброзо* — Чезаре Ломброзо (1835—1909), итальянский психиатр и криминалист; выдвинул мысль о существовании особого типа человека, predisposed к совершению преступлений в силу определенных биологических признаков. *И песен небес заменить не могли Ей скучные песни земли.* — Неточная цитата из стихотворения «Ангел» Лермонтова. *Илья Британ* — И. А. Британ (1885—1942), поэт. *Иннокентий Анненский* — И. Ф. Анненский (1855—1909), поэт, переводчик. *Монтескье* — Шарль Луи Монтескье (1689—1755), французский просветитель, правовед, философ; обосновал принцип «разделения властей». *Касаться скрипки столько лет...* — цитата из стихотворения «Смычок и струны» И. Анненского. *Boulevard Murat* — Бульвар Мюрата. *Графиня Толстая* — А. Л. Толстая (1884—1979), младшая дочь Л. Н. Толстого. «*Русские ведомости*» — газета, издававшаяся в Москве в 1863—1918 гг. *Чертков* — В. Г. Чертков (1854—1936), общественный деятель, издатель, друг Л. Н. Толстого. *Булгаков* — В. Ф. Булгаков (1886—1966), секретарь Л. Н. Толстого в 1910 г. *Душан Петрович Макавицкий* (1866—1921) — врач Л. Н. Толстого. *Конст. Орлов* — К. М. Орлов, корреспондент «Русского слова». *Озолин* — И. И. Озолин (1872—1913), начальник станции Астапово Рязано-Уральской железной дороги. *Генерал Курлов* — П. Г. Курлов (1860—1923), минский губернатор, впоследствии (1909—1911) товарищ министра внутренних дел и командир отдельного корпуса жандармов. *Сергей Иванович Варшавский* (1879—?) — журналист. *Ракшанин* — С. Н. Ракшанин (псевдоним Солянин), сотрудник «Русского слова». *Дети лейтенанта Шмидта* — мелкие обманщики, упоминаемые в романе «Двенадцать стульев» И. Ильфа и Е. Петрова. *Генерал Дедюлин* — В. А. Дедюлин (1858—1913), генерал-адъютант, дворцовый комендант, принадлежал к ближайшему окружению Николая II. *Глазунов* — А. Г. Глазунов (1865—1936), ком-

позитор, дирижер. *Александр Третий* (1845—1894) — российский император. *Герье* — В. И. Герье (1837—1919) — историк, организатор Высших женских курсов в Москве. *Илья Львович* — И. Л. Толстой (1866—1933), сын Л. Н. Толстого. *Татьяна Львовна* — Т. Л. Сухотина (урожд. Толстая; 1864—1950). *Сергей Львович* — С. Л. Толстой (1863—1947). *Андрей Львович* — А. Л. Толстой (1877—1916). *Михаил Львович* — М. Л. Толстой (1879—1944). *Иван Иванович Попов* (1862—1942) — журналист, публицист. *Казачий полковник Адрианов* — возможно, А. А. Адрианов, московский градоначальник с 1909 по 1915 г. *Бирюков* — П. И. Бирюков (1860—1931), издатель, общественный деятель; автор сочинения «Биография Льва Николаевича Толстого» (тт. 1—4, 1922—1923). *Сергеенко* — П. А. Сергеенко (1834—1930), автор сочинений о Л. Н. Толстом. *Бутиада* — устная фраза, сказанная с раздражением; выходка. *Врубель* — М. А. Врубель (1856—1910), живописец. «*Майская ночь*» — опера Н. А. Римского-Корсакова (1844—1908). «*Вражья сила*» — опера А. Н. Серова. *Нежданова* — А. В. Нежданова (1873—1950), певица (лирико-колоратурное сопрано). *Собинов* — Л. В. Собинов (1872—1934), певец (лирический тенор). *Дмитрий Смирнов* — Д. А. Смирнов, артист оперы (лирический тенор). *Эмиль Купер* — Э. А. Купер (1877—1960), дирижер (1910—1919 — Большого театра; 1919—1920 — Петроградского академического театра оперы и балета, Мариинского театра). «*Лебединое озеро*» — балет; музыка П. И. Чайковского. «*Жизель*» — балет; музыка французского композитора Адольфа Адана (1803—1856). «*Конек-Горбунок*» — «Конек-Горбунок, или Царь-Девница», балет Ц. Пуни, либретто Сен-Леона (по сказке П. П. Ершова); в 1901 г. осуществлена новая постановка со вставными номерами других композиторов, либретто Сен-Леона и Горского; в 1912 г. — на сцене Мариинского театра, балетмейстер Горский, художник Коровин, дирижер Драго. *Екатерина Гельцер* — Е. В. Гельцер (1876—1962), балерина. *Она, увя! уже не молодая...* — перефразировка стихов. «Быть может оттого, что ты не молодая, Но как-то трогательнее-больше молчалива...» из стихотворения «В очарованьи» И. Северянина. *Жуков* — Л. А. Жуков (1890—1951), артист балета. *Новиков* — Л. Л. Новиков (1888—1956), артист балета. *Преображенская* — О. И. Преображенская (1870—1962), артистка балета. *Вера Коралли* — В. А. Коралли (р. в 1889), артистка балета; снималась в кино. *Мордкин* — М. М. Мордкин (1881—1944), артист балета, балетмейстер, педагог. *Павлова* — Анна Павловна (Матвеевна) Павлова (1881—1931), балерина; прославилась в хореографическом зтуде «Умиравший лебедь» на музыку К. Сен-Санса. *Сергей Павлович Дягилев* — (1872—1929) — театральный и художественный деятель, соредактор журнала «Мир искусства»; за рубежом создал труппу Русский балет С. П. Дягилева (1911—1929). *Вацлав Нижинский* — В. Ф. Нижинский (1889—1950), артист балета, балетмейстер. *Не так ли я, сосуд скудельный...* — цитата из стихотворения «Ласточки» Фета. *Прометей* — здесь: титан духом; Прометей — титан, похитивший у богов с Олимпа огонь и передавший его людям; за это по велению Зевса он был наказан (греч. миф.). *Горский* — А. А. Горский (1871—1924), артист балета, балетмейстер. *Павильон Армиды* — балет Н. Черепнина, декорации А. Н. Бенуа. *Поздно мелют мельницы богов* — латинская поговорка. «*Женитьба Белугина*» — пьеса А. Н. Островского и Н. Я. Соловьева. «*Свадьба Кречинского*» — комедия А. В. Сухова-Кобылина (1817—1903). *К. Н. Рыбаков* (1856—1916) — актер Малого театра. *Геннадий Демьяныч* — Несчастливцев, герой пьесы А. Н. Островского «Лес». *Осип Андреевич Правдин* (1847—1921) — актер Малого театра. *Аркашка* — Аркадий Счастливцев, персонаж пьесы «Лес». *Ольга Осиповна Садовская* (1849—1919), артистка Малого театра. *Помещица Гурмыжская* — персонаж пьесы «Лес». *В. В. Максимов* (1878—1937) — актер Малого театра. *Рыбаков Николай Хрисанфович* (1811—1876), актер, отец К. Н. Рыбакова. *Щенкин Михаил Семенович* (1788—1863), актер; с 1824 г. — в Малом театре. *Садовский Пров Михайлович* — вероятно, имеется в виду П. М. Садовский-старший (1818—1872), актер Малого театра с 1839 г., родоначальник актерской семьи. *Федотова* — Г. Н. Федотова (1846—1925), артистка Малого театра. *Ермолова* — М. Н. Ермолова (1853—1928), артистка Малого театра. *Лешковская* — Е. К. Лешковская (1864—1925), артистка Малого театра. *Яблочкина* — А. А. Яблочкина (1866—1964), артистка Малого театра. *Незлобин* — К. Н. Незлобин (наст. фамилия Алябьев; 1857—1930), артист и режиссер, владелец драматического театра в Москве (с 1909 по 1918). *Зимин* — С. И. Зимин (1875—1942), театральный деятель, организатор «Оперного театра С. И. Зимина». *Корш* — Ф. А. Корш (1852—1924), предприниматель, основавший театр в Москве с сильной труппой. *Сабуров* — С. Ф. Сабуров (1868—1929), театральный деятель, актер и антрепренер; был управ-

ляющим труппой московского театра «Эрмитаж», одним из организаторов петербургского театра «Фарс» и владельцем петербургского театра «Пассаж» (впоследствии — «Комедия»). *Солодовников* — богатейший московский купец и меценат; содержатель театра («Театр Солодовникова»). *Сапунов* — Н. Н. Сапунов (1880—1912), живописец, член «Голубой розы». *Чио-Чио-сан* — опера итальянского композитора Пуччини (1858—1924). *Федор Федорович Комиссаржевский* (1882—1954) — режиссер, педагог, теоретик театра; организатор студии, Театра им. В. Ф. Комиссаржевской, студийного Нового театра. *Карло Гоцци* (1720—1806) — итальянский драматург; автор комедии «Турандот» и др. произведений. *Петр Ярецв* — П. М. Ярецв (1871—1930), театральный критик, режиссер и драматург. *Рудницкий* — А. В. Рудницкий (наст. фамилия Остевич; 1879—1919), актер. *Принцесса Турандот* — имеется в виду актриса, исполнявшая эту роль; в постановке Комиссаржевского Турандот играли Е. Н. Лилина и Б. И. Руктовская. *«Психа» Беляева* — мелодрама из жизни крепостных актеров екатерининской эпохи драматурга, театрального критика, журналиста Ю. Д. Беляева (1876—1917). *«Сестры Шнейдер»*, *«Дама из Торжка»* — пьесы Ю. Д. Беляева. *В. Ф. Юренева* — ошибка: В. Л. Юренева; ранее — правильно. *А. Р. Кугель* (1864—1928) — литературный и театральный критик, драматург, режиссер; редактор (1897—1918) журнала «Театр и искусство»; основатель и руководитель театра «Кривое зеркало». «Ню» — пьеса О. Дымова («трагедия каждого дня в 4 действиях и 10 картинах»). *Мамонтов* — С. И. Мамонтов (1841—1918), промышленник и меценат; основал (1885) Московскую частную оперу. *Die Zeit... Le Temps...* — неточно цитируемые слова («Время... Время...») персонажа «Он» из пьесы О. Дымова «Ню» (I д.). *«Солнцеворот»* — книга рассказов О. Дымова, включающая разделы «Весна», «Лето», «Осень», «Зима». *Алла Назимова* — актриса театра «Орион», трагически погибшая в Париже. *Баратов* — П. Г. Баратов; состоял в труппе МХТ с 1898 по 1901 г., позднее играл в театре «Орион» и в провинции. *Марджанов* — К. А. Марджанишвили (1872—1933), режиссер, основатель «Свободного театра». *Стриндберг* — Август-Юхан Стриндберг (1849—1912), шведский прозаик и драматург. *Lope de Vega* (1562—1635) — испанский драматург. *Кальдерон* — Педро Кальдерон де ла Барка (1600—1681), испанский драматург. *Косоротов* — А. И. Косоротов (1868—1912), драматург. *«Желтая кофта»* — пьеса Хезельтона-Фюрста; спектакль поставлен А. Я. Таировым в «Свободном театре» (1913). *Н. П. Асланов* (1877—1944) — драматический актер. *Н. Н. Баженов* (1857—1923) — психиатр, директор Литературно-художественного кружка. *Флазелланты* (флагелланты) — религиозные аскеты-фанатики, преповедывавшие публичное самобичевание ради искупления грехов. *Хлысты* — секта духовных христиан, считающих возможным прямое общение со Святым Духом и воплощение Бога в праведных сектантах — «христах» и «богородицах»; на рдениях доводят себя до экстаза. *Евелинов* — владелец театра. *Kurfürstendamm* — Курфюрстендам, улица в Берлине. *Полевичкая* — Е. А. Полевичкая (р. в 1881), драматическая актриса. *Н. М. Радии* (1872—1935) — актер; играл в театре Корша, с 1932 г. — в Малом театре; сын М. М. Петипа. *Наталья Лисенко* — Н. А. Лисенко (р. в 1884), ученица школы МХТ, артистка. *«Мишель Строгов»* — кинофильм с участием И. И. Мозжухина (1888—1939). *Пусть будет то, чего не бывает...* — цитата из стихотворения З. Н. Гиппиус «Песня» («Окно мое высоко над землею...»). *Зинаида Гиппиус* — З. Н. Гиппиус (1869—1945), писательница. *Лев Никулин* — Л. В. Никулин (1891—1967), писатель. *«Алатра»* — эстрадный театр; в нем выступали А. Н. Вертинский, Ю. Э. Озаровский, А. И. Чарин, Н. В. Валова, М. Я. Муратов и др. *«Велизарий»* — драма Э. Шенка в пер. П. Г. Ободовского. *Андрей Иванович Чарин* — актер театра Корша, а затем Малого театра; в журнале «Кулисы» (1917, № 5, с. 8) Дон-Аминадо напечатал о нем статью («Московские силуэты. А. И. Чарин»). *Энжеио* — инженеру; ампула актрисы, исполняющей роль простушки. *Нина Валова* — Н. В. Валова (Валовая), актриса театра Корша. *Н. Н. Евреинов* (1879—1953) — драматург и режиссер. *Никитский театр* — «Парадиз», «Интернациональный театр», находившийся на Б. Никитской в Москве. *Потопчина* — Е. В. Потопчина (р. в 1882), артистка оперетты. *«Корневильские колокола»* — опера Р. Планкета, либретто Клервиля и Ш. Габе. *«Птички певчие»* — «Перикола», оперетта Ж. Оффенбаха, либретто А. Мельяка и Л. Галеви (в переводе В. А. Крылова — «Птички певчие»). *«Нищий студент»* — оперетта К. Миллэкера, либретто Ф. Целля и Р. Жене. *«Цыганский барон»* — оперетта австрийского композитора Иоаганна Штрауса-сына (1825—1899). *«Веселая вдова»* — оперетта венгерского композитора Ференца (Франца) Легара (1870—1948). *«Сильва»* — оперетта венгер-

ского композитора Имре Кальмана (1882—1953). *«Мамзель Нитуш»* — оперетта Ф. Эрве, либретто А. Мельяка и А. М. Мийо (русский клиavier под названием «Лиса Патрикесвна»), пер. В. Александрова (Крылова). *«Дочь мадам Анго»* — оперетта Ш. Леккока, либретто Клервиля, П. Сиродена и В. Конинга. *Алиса Коонен* — А. Г. Коонен (1889—1974), актриса МХТ (с 1905) и Камерного театра (1914—1949). *Шарль ван-Лерберг* (1861—1907) — бельгийский поэт и драматург; его пьеса «Мадемуазель Коси-Сено, или Синяя паучиха» была поставлена в Передвижном театре П. П. Гайдебурова в 1915 г. *Таиров* — А. Я. Таиров (1885—1950), режиссер, основатель и руководитель Камерного театра. *Бишток* — В. Л. Бишток, журналист, драматург, переводчик. *Баккара* — азартная карточная игра. *Грановская* — Е. М. Грановская (1877—1968), драматическая актриса, была занята в театре Сабурова. *Продавица цветов в «Пигмалионе»* — Элиза Дулитл; комедия «Пигмалион» принадлежит английскому драматургу Джорджу Бернарду Шоу (1856—1950). *Розина в «Севильском цирюльнике»* — героиня комедии «Севильский цирюльник» французского драматурга Пьера Огюста Бомарше (1732—1799). *Поль де Кок* (1793—1871) — французский писатель. *Артем* — А. Р. Артем (наст. фамилия Артемьев; 1842—1914), с 1898 г. в МХТ. *Любви все возрасты покорны...* — ария Гремина в опере П. И. Чайковского «Евгений Онегин». *Родэ* — возможно, А. С. Родэ (ум. в 1930), директор петроградского Дома ученых. *Лилина* — М. П. Лилина (1866—1943), актриса; жена К. С. Станиславского; с 1898 г. в МХТ. *Москвин* — И. М. Москвин (1874—1946), актер; с 1898 г. в МХТ. *Роль Федора Иоанновича* — имеется в виду пьеса А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович». *Кот в «Синей птице»* — действующее лицо в пьесе «Синяя птица» М. Метерлинка. *«Miserere»* — пьеса С. Юшкевича; *miserere* — католический гимн. *Илья Сац* — И. А. Сац (1875—1912), композитор. *Добужинский* — М. В. Добужинский (1875—1957), график и театральный художник; член «Мира искусства». *«Месяц в деревне»* — пьеса И. С. Тургенева. *Вишневецкий* — А. Л. Вишневецкий (наст. фамилия Вишневецкий; 1861—1943), драматический артист. *Книппер* — О. Л. Книппер-Чехова (1868—1959), актриса; жена А. П. Чехова; с 1898 г. в МХТ. *Германова* — М. Н. Германова (наст. фамилия Красовская; 1884—1940), актриса МХТ с 1902 по 1919 г. *Коренева* — Л. М. Коренева (1885—1982), актриса в труппе МХТ. *Ликкиардопуло* — М. Ф. Ликкиардопуло (1883—1925), переводчик, критик, секретарь редакции журнала «Весь». *Гордон Крэг* — Генри Эдуард Гордон Крэг (1872—1966), английский режиссер, теоретик театра. *Рабиндранат Тагор* (Тхакур; 1861—1941) — индийский писатель и общественный деятель. *Усмешкой горькою обманутого сына...* — цитата из стихотворения «Дума» Лермонтова. *Мережковский* — Д. С. Мережковский (1866—1941), писатель. *Гершензон* — М. О. Гершензон (1869—1925), историк литературы и общественной мысли. *Византийский зад московских кучеров* — см. стихотворение «Мыс Доброй Надежды». *Третий Рим Мережковского* — возможно, имеется в виду книга Мережковского «Тайна Трех. Египет и Вавилон» (Прага, 1925). *Богородица царевна...* — цитата из оды «Фелица» Г. Р. Державина. *Ауэр* — Л. С. Ауэр (1845—1930), скрипач, дирижер. *Есипова* — А. Н. Есипова (1851—1914), пианистка. *Лядов* — А. К. Лядов (1855—1914), композитор, дирижер. *Метнер* — Н. К. Метнер (1879/1880—1951), композитор и пианист. *Ляпунов* — С. М. Ляпунов (1859—1924), композитор, пианист, дирижер. *Глиэр* — Р. М. Глиэр (1874/1875—1956), композитор, музыковед. *Скрябин* — А. Н. Скрябин (1871/1872—1915), композитор и пианист. *Зилоти* — А. И. Зилоти (1863—1945), пианист и дирижер. *Дейша-Сионицкая* — М. А. Дейша-Сионицкая (1859—1932), певица (драматическое сопрано); организатор концертов «Музыкальные выставки». *Оленина-д'Альгейм* — М. А. Оленина-д'Альгейм (1869—1970), камерная певица (меццо-сопрано), организатор «Дома песни» (М., 1908). *Судья Олениной — д'Альгейм* — т. е. Дон-Аминадо. *Faustin-Hélie* — Фостен Эли, улица в районе Пасси в Париже; названа в честь президента, а затем императора Гаити. *Шукин* — С. И. Шукин (1854—1936), московский купец, собиратель произведений искусства. *«Мир искусств»* — художественное объединение «Мир искусств» (1898—1924), созданное в Петербурге С. П. Дягилевым и А. Н. Бенуа; так же назывался издаваемый объединением ежемесячный иллюстрированный литературно-художественный журнал (1899—1904). *Кипит словесная война...* — цитата из стихотворения «В столицах шум, гремят витии...» Н. А. Некрасова. *Олимп* — здесь: Императорская Академия художеств в Петербурге. *Рерих* — Н. К. Рерих (1874—1947), живописец, театральный художник, археолог; писатель; член «Мира искусства». *Сомов* — К. А. Сомов (1869—1939), живописец и график;

член «Мира искусства». *Стеллецкий* — Д. С. Стеллецкий (1875—1947), художник. *Судейкин* — С. Ю. Судейкин (1882—1946), художник. *Анисфельд* — Б. И. Анисфельд (р. в 1879), живописец, график, театральный художник. *Арапов* — А. А. Арапов (1876—1949), художник. *Петров-Водкин* — К. С. Петров-Водкин (1878—1939), живописец. *Малютин* — С. В. Малютин (1859—1937), живописец и график. *Миллиотти* — В. Д. Милиоти (1875—1943) и Н. Д. Милиоти (1874—1950), художники. *Машков* — И. И. Машков (1881—1944), живописец; один из основателей «Бубиового валета». *Кончаловский* — П. П. Кончаловский (1876—1956), живописец; один из основателей «Бубиового валета». *Наталья Гончарова* — Н. С. Гончарова (1881—1962), живописец. *Юон* — К. Ф. Юон (1875—1958), живописец и театральный художник. *Ларионов* — М. Ф. Ларионов (1881—1964), живописец. *Константин Коровин* — К. А. Коровин (1861—1939), живописец. *Бенуа* — А. Н. Бенуа (1870—1960), художник, историк искусства и художественный критик; один из основателей «Мира искусства»; художественный руководитель «Русских сезонов» в Париже; мемуарист. *Бакст* — Л. С. Бакст (ист. фамилия Розенберг; 1866—1924), живописец, график, театральный художник; член «Мира искусства»; декоратор «Русских сезонов». *«Пизанелла»* — мистерия Г. Д'Аниунцио (1913). *Ида Рубинштейн* — И. Л. Рубинштейн (1885—1960), балерина. *«Поощения общественному вкусу»; «Иду на вы»* — сборники футуристов. *«Ослиный хвост»* — выставка модернистов; открылась 8 апреля 1912 г.; устроители Н. С. Гончарова и М. Ф. Ларионов, *Айседора Дуикан* (1877—1927) — американская таицовщица; использовала древнегреческую пластику, балетный костюм заменила хитоном, танцевала без обуви. *Испанские танцы Мошковского* — произведения польского композитора, пианиста и педагога Маурыцы (Морица) Мошковского (1854—1925). *Скерцо Брамса* — произведение немецкого композитора Иоганнеса Брамса (1833—1897). *«Стрекоза»* — еженедельный художественно-юмористический журнал, издававшийся в Петербурге в 1875—1908 г. *Аким Волынский* — А. Л. Волынский (ист. имя и фамилия Хаим Лейбович Флексер; 1861—1926), литературный и балетный критик; историк и теоретик искусства. *Андрей Левинсон* — А. Я. Левинсон (1887—1933), художественный и театральный критик. *Горифельд* — А. Г. Горифельд (1867—1941), литературовед, критик, переводчик. *«Речь»* — ежедневная газета, орган партии кадетов; издавалась в Петербурге в 1906—1917 г. *Второй триумф* — Айседора Дуикан второй раз присхала в Россию в 1921 г. и пробыла до 1924 г. *И после медового месяца...* — Об этой и других стычках между А. Дуикан и С. А. Есениным существуют многочисленные свидетельства. *Не кланите, мудрые! Что вам до меня?* и сл. — Цитата из стихотворения «Я не знаю мудрости» К. Д. Бальмонта. *Ветлугин* — А. Ветлугин (псевдоним В. И. Рындзюна); сопровождал С. А. Есенина в заграничной поездке. *Валерий Брюсов* — В. Я. Брюсов (1873—1924), поэт. *Вячеслав Иванов* — В. И. Иванов (1866—1949), поэт. *И разве не ему, Валерию Брюсову, посвящены эти чеканные строки Вячеслава Иванова <...> Мы два грозой зажженные ствола...* — иточно цитируемые Дон-Аминадо стихи В. И. Иванова («Любовь» из книги «Жормчие звезды») посвящены памяти второй жены В. И. Иванова — Л. Д. Зиновьевой-Аннибал (1872—1907). *От Брюсова и Фаренгейта* — ирония: Дон-Аминадо имеет в виду «Чернокиижию» Я. В. Брюса (1670—1735), сподвижника Петра I, президента Берг- и Мануфактур-коллегия, а также температуру шкалу, предложенную немецким физиком Габриэлем Даниэлем Фаренгейтом (1686—1736); и то и другое поставлено в связь с поэзией Брюсова. *Цевница* — свирель; *наяды* — нимфы вод; *сирены* — полуптицы, полуженщины, завораживающие волшебным пением мореходов, которые затем становятся их добычей; *фавны* — римские боги, обитавшие в лесах, им приносились в жертву козлы; *суккубы* — злые демоны женского рода; *свадьный грех* — против седьмой заповеди, прелюбодеяние; *лифции* — прорицательницы. *Перипатетиков* — здесь: учеников; по имени философской школы в Афинах, основанной Аристотелем. *Наталья Львова* — ошибка: речь идет о поэтессе Надежде Григорьевне Львовой (1891—1913) и о ее книге «Старая сказка» (М., 1913); Н. Г. Львова находилась в близких отношениях с В. Я. Брюсовым. После кончины Н. Г. Львовой Брюсов написал заметку «Правда о смерти Н. Г. Львовой (Моя исповедь)». На книгу Н. Г. Львовой откликнулась также А. А. Ахматова. *Быть может, все есть только средство...* — Цитата из стихотворения «Поэту» Брюсова. *Скабичевский* — А. М. Скабичевский (1838—1910/1911), критик, публицист. *Стасюлевич* — М. М. Стасюлевич (1826—1911), журналист, публицист, историк. *Львов-Рогачевский* — псевдоним В. Л. Рогачевского (1873—1930), критика и литературоведа. *Петр Коган* — П. С. Коган (1872—1932), критик, литературовед. *«Мир Божий»* —

ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал; издавался в Петербурге в 1892—августе 1906 г. «Русское богатство» — ежемесячный литературный, научный и политический журнал; основан в Москве, издавался в Петербурге; с 1880 г. стал органом народников. *Ю. И. Айхенвальд* (1872—1928) — литературный критик. *Поль Фор* (1872—1960) — французский поэт; был избран «королем поэтов». *Юлий Алексеевич Бунин* (1857—1921) — литератор; публицист; брат И. А. Бунина. *Илья Сургучов* (1881—1956) — писатель. «Шиповник» — издательство; основано в 1906 г. в Петербурге; в 1917—1922 г. — в Москве; в числе других книг выпускало альманахи. *Телешов* — Н. Д. Телешов (1867—1957), писатель. *Иван Рукавишников* — И. С. Рукавишников (1877—1930), писатель. *Наталья Крандиевская* — Н. В. Крандиевская (1888—1965), поэтесса, мемуаристка. *Сергей Кречетов* — С. А. Кречетов (наст. фамилия Соколов; 1878—1936), прозаик, юрист. *Рындина* — Л. Д. Рындина (1882—после 1940), драматическая актриса и драматург. *Вера Николаевна Бунина* — В. Н. Муромцева-Бунина (1881—1961), писательница, жена И. А. Бунина. *Морозовы* — семья текстильных фабрикантов; С. Т. Морозов (1862—1905) — меценат МХТ. *Бахрушины* — семья поставщиков кожи и сукна; А. А. Бахрушин (1865—1929) — театральный деятель, создатель литературно-театрального музея (1894). *Тарасовы* — семья московских фабрикантов; Н. Л. Тарасов субсидировал театр «Летучая мышь», находившийся в подвале нарядного дома-сазкия Перцова близ храма Христа Спасителя. «Искра» *Плеханова* — общерусская марксистская нелегальная газета (1900—1905); в редакцию при основании входили: Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, П. Б. Аксельрод, В. И. Засулич, Л. Мартов, А. Н. Потресов. *Марина Цветаева*, которую венчают *Царь-Девница* — М. И. Цветаева (1892—1941), поэт; автор поэмы-сказки «Царь-Девница». *Владимир Евграфович Ермилов* (1859—1918) — педагог и журналист; подвизался и на актерском поприще. *Александр Койранский* — А. А. Койранский (1884—1968), поэт, художник, литературный, художественный и театральный критик. *Гиляровский* — В. А. Гиляровский (1853—1935), писатель. *Помприснов* — помощник присяжного поверенного. *Café de Lilas* — кафе де Лиля. *Я раб, и был рабом покорным...* — Цитата из баллады «Раб» Брюсова. «Пир» *Платона* — небольшое по объему произведение древнегреческого философа Платона. *Венера* — здесь: красавица. *А ситцы все французские, Собачьей кровью крашены...* — Неточная цитата из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Н. А. Некрасова. *Sables d'Olonne* — Сабль д'Олонь, курорт на берегу Атлантического океана, в Вандее. *Лиллит* — «волшебница Лиллит» (мечта) из стихотворения «Я был один в мосм раю...» Ф. Соллогуба. *Франчески* — имеется в виду пьеса Г. Д'Аннунцио «Франческа де-Римши»; ее постановка в Малом театре не имела успеха. «*Чертова кукла*» — роман З. Гиппиус, отрицательно оцененный общественностью и критикой. *Сергеев-Ценский* — С. Н. Сергеев-Ценский (наст. фамилия Сергеев; 1875—1958), писатель. *Чулков* — Г. И. Чулков (1879—1939), писатель. *Балтрушайтис* — Юргис Балтрушайтис (1873—1944), русский и литовский поэт. *Маринетти* — Филиппо Томмазо Маринетти (1876—1944), итальянский писатель-футурист. «*Анфиса*» — пьеса Л. Андреева. «*Василий Фивейский*» — повесть Л. Андреева «Жизнь Василия Фивейского». «*Золотое руно*» — ежемесячный художественный и литературно-художественный журнал символистов (Москва, 1906—1909); редактор-издатель П. П. Рябушинский. «*У последней черты*» — роман М. П. Арцыбашева. «*Двадцать шесть и одна*» — рассказ М. Горького. «*Проклятый род*» — роман И. Рукавишникова. *Мойра* — одна из богинь человеческой судьбы (греч. миф.). *Андрей Белый* (наст. имя и фамилия Борис Николаевич Бугасв; 1880—1934) — поэт. *Градковский* — Г. К. Градковский (1842—1915), публицист. *Грузинский* — А. Е. Грузинский (1858—1930), литературовед, педагог; с 1909 г. председатель Общества любителей российской словесности. *Батюшков* — Ф. Д. Батюшков (1857—1920), историк русской и западноевропейской литературы, критик. *Венгеров* — С. А. Венгеров (1855—1920), историк литературы, библиограф. *Хирьяков* — А. М. Хирьяков (1863—?), критик, публицист и поэт. *Гольцев* — В. А. Гольцев (1850—1906), публицист, общественный деятель; ведущий сотрудник газеты «Русские ведомости», журнала «Вестник Европы», фактический редактор журнала «Русская мысль» (с 1885 г.). *Ашешов* — И. П. Ашешов (1866—1923), критик, журналист. «*Облако в штанах*» — поэма В. В. Маяковского. *Заблудившись между Христом и Антихристом* — имеется в виду трилогия «Христос и Антихрист» Д. С. Мережковского. *Барков* — И. С. Барков (1732—1768), поэт-сатирик, автор пародийно-фривольных произведений. *Исторический роман* — речь идет о романах Д. С. Мережковского «Александр I»

и «14 декабря». И смущенные народы не знают, что начать — ложиться спать или вставать — ироническое переосмысление выражения Пушкина «смущенные народы» из стихотворения «Была пора: наш праздник молодой...»). *Пилсудский* — Юзеф Пилсудский (1867—1935), маршал, фактический диктатор Польши, впоследствии премьер-министр; спасение от большевизма Мережковский видел в интервенции и делал ставку на Пилсудского, завязав с ним близкие отношения и получив аудиенцию; он принял участие в формировании русских отрядов при польских войсках (1920); позднее Мережковский говорил о своей «обманутой вере в Польшу». Он писал: «Я верил в душу, сердце и разум братского польского народа. Я и теперь верю в его душу, если эта душа — бессмертный польский мессианизм. Но ослепленный разум Польши закрыл ее душу и сердце. Мир, который она подписала с большевиками, — уничтожил или отдалил на долгие годы мир ее с Россией, такой насыщенно-необходимым обеим соседним странам» («Царство Антихриста», Мюнхен, 1922, с. 5). В ноябре 1920 г. Мережковские покинули Варшаву. *Потом* — *Светлому дуче Бенито Муссолини* — в середине 1920-х-1930-е гг. Мережковский тяготел к итальянскому фашизму, и это переросло в своего рода культ Бенито Муссолини. В 1930 г. Мережковский совершил поездку в Италию. В дальнейшем он разочаровался и в Муссолини. И, *наконец, гениальному фюреру...* — Так как Мережковский считал, что сокрушить большевизм можно лишь, как писала З. Н. Гиппиус, «при неременном условии участия и опоры на регулярную армию другого самостоятельно воюющего государства» («Дмитрий Мережковский», Париж, 1951, с. 198), то это привело писателя к поддержке Гитлера в его войне против СССР; тем самым Мережковский запятнал себя связью с фашистским режимом; к этим его актам отрицательно отнеслось большинство русских эмигрантов. *Чириков* — Е. Н. Чириков (1864—1932), писатель. *Борис Зайцев* — Б. К. Зайцев (1881—1972), писатель. *Иван Шмелев* — И. С. Шмелев (1873—1950), писатель; «Человек из ресторана» — повесть Шмелева. «*Сашка Жигулев*» — роман Л. Андреева. *За приливом — отлив, за отливом — прибой...* — строка из стихотворения «Не хотели меня вы понять... У меня...», приписанного Ф. Боденштедтом Лермонтову, с немецкого стихотворения было переведено народником и писателем П. Ф. Якубовичем (1860—1911; псевдонимы Л. Мельшин, Матвей Рамшев, П. Я.). Дон-Аминадо неточно процитировал перевод. *Миролубовский «Журнал для всех»* — ежесемесный иллюстрированный научно-популярный и литературный журнал (Петербург, 1896—1906); издавался В. С. Миролубовым (1860—1939). *Переводы из Сюлли-Прюдодма и Бодлера* — переводы П. Ф. Якубовича из французских поэтов Сюлли Прюдодма (псевдоним Рене Франсуа Армана Прюдодма; 1839—1907) и Шарля Бодлера (1821—1867) пользовались заслуженным успехом. «*Аполлон*» — литературно-художественный журнал символистов, а затем акмеистов (Петербург, 1909—1917). «*Весы*» — литературный и критический ежесемесный журнал символистов (Москва, изд. «Скорпион», 1904—1909). *Николай Гумилев* — Н. С. Гумилев (1886—1921), поэт. *Максимилан Волошин* — М. А. Волошин (наст. фамилия Кириенко-Волошин; 1877—1932), поэт. *Борис Садовской* — Б. А. Садовской (1881—1952), писатель, мемуарист, критик, историк литературы. *Мариэтта Шагинян* — М. С. Шагинян (1888—1982), писательница. *Анна Ахматова* — А. А. Ахматова (наст. фамилия Горенко; 1889—1966), поэт. *Яков Годин* — Я. В. Годин (1887—1954), поэт. *Эдуард Багрицкий* — Э. Г. Багрицкий (наст. фамилия Дзюбин; 1895—1934), поэт. *Димитрий Цензор* — Д. М. Цензор (1877—1947), поэт. *Сергей Клычков* — С. А. Клычков (наст. фамилия Лешенков; 1889—1940), писатель. *Семен Рубанович* — С. Я. Рубанович (ум. в 1932), поэт, переводчик. *Николай Рубакин* — Н. А. Рубакин (1862—1946), книговед, библиограф, писатель. *Горбунов-Посадов* — И. И. Горбунов-Посадов (наст. фамилия Горбунов; 1864—1940), педагог, писатель, издатель. *Богучарский* — В. Я. Богучарский (1861—1915), историк, редактор-издатель журнала «Былое». *Григорий Петров* — Г. С. Петров (1868—1925), публицист, бывший священник; депутат II Государственной Думы. «*Опавшие листья*» *Розанова* — сочинение («Опавшие листья», СПб., 1913 и «Опавшие листья: Короб второй и последний», Пг., 1915) писателя, публициста, религиозного мыслителя В. В. Розанова (1856—1914). «*История славянофильства*» *Гершензона* — имеется в виду работа М. О. Гершензона «Исторические записки (о русском обществе)», — М., 1910. *Бурцев* — В. Л. Бурцев (1862—1942), публицист, издатель журнала «Былое»; разоблачил многих провокаторов. *Бронислава Матвеевна Рунт* — секретарь (1905) журнала «Весы», сестра И. М. Брюсовой. *Жанна (Иоанна) Матвеевна Брюсова* (1876—1965) — переводчица, жена В. Я. Брюсова. «*Мамаша Крашенинникова*» —

Е. С. Крашенинникова, издатель журнала «Женское дело». *Шалопит с Горьким в ботфортах* — фотография. *Михаил Львович Мандельштам* — присяжный поверенный, кадет, член Московского литературно-художественного кружка. *Анакреон* — здесь: иронически — бабник: Анакреон (Анакреонт; ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт-лирик, воспевал чувственные наслаждения, радости жизни при ощущении старости и в предчувствии смерти. *Анна Мар* — наст. фамилия А. Я. Ленишина (ум. в 1917), писательница; «Тебе Единому согрешила» — роман А. Мар. *Дыша духами и туманами...* — цитата из стихотворения «Незнакомка» Блока. *Нина Заречная* — именем чеховской героини названа беллетристика и драматург Софья Заречная (псевдоним С. А. Качановской). *Владислав Фелицианович Ходасевич* (1886—1939) — поэт, критик, мемуарист. *Е. В. Выставкина* — журналистка, сотрудница изданий, предназначенных для семьи, женщин и детей; ей принадлежит рецензия на роман А. Мар («Женское дело», 1915, № 11, с. 8—9). *Златоуст* — М. Л. Мандельштам. *Георгий Якулов* — Г. Б. Якулов (1884—1928), художник. *Вадим Шершеневич* — В. Г. Шершисевич (1893—1942), поэт. *Маша Каллаш* — М. А. Каллаш (псевдоним Гаррис), критик газет («Путь», «Утро России»; ей принадлежит книга «Уголок Пушкина»). *В день сбирания винограда...* — неточная цитата из стихотворения «Анакреон» А. Н. Майкова (1821—1897). *Пьяной горечью Фалерия...* — цитата из стихотворения «Мальчику» Пушкина. *Мей* — Л. А. Мей (1822—1862), поэт. *Полонский* — Я. П. Полонский (1819—1898), поэт. *Вишско скончица дзволон* — все окончатся звоном, т. е. впустию. *Мицкевич* — Адам Мицкевич (1798—1855), польский поэт; «Пан Тадеуш» — поэма Мицкевича. *Мы на горе всем буржуям Мировой пожар раздуем!* — Эти стихи принадлежат не Маяковскому, а Блоку (поэма «Двенадцать»). *Ходасевич... купно с Горьким и Андреем Белым приближается к казенному толстому журналу...* — Ходасевич вместе с Горьким и Андреем Белым редактировал в Берлине журнал «Беседа», предзнаменовавший для СССР, но тогда не допущенный. *Потом спохватится <...> в неуклюжем гукасовском «Возрождении»...* — Ходасевич переселился в Париж в 1924 г. и стал ведущим критиком газеты «Возрождение», издававшейся на деньги А. О. Гукасова (1872—1969). *«Державин»* — сочинение Ходасевича. *«Счастливый домик»* — книга стихотворений Ходасевича. *Аркадий Аверченко* — А. Т. Аверченко (1881—1925), писатель. *Мишка, крути назад!* — Цитата из фельетона Аверченко «Фокус немого кино» (в оригинале — «Митька»). *Театр Французской комедии* — «Комеди Франсез», основан в 1680 г. в Париже. *Полиевкт* — «Мученик Полиевкт», трагедия французского драматурга Пьера Корнеля (1606—1684). *Муннэ-Сюлли* — наст. имя Жан Сюлли Муне (1841—1916), французский актер. *«Прекрасный принц»* — пьеса французского драматурга Тристана (наст. имя Поль) Бернара (1866—1947). *Раймон Пуанкаре* (1860—1934), французский адвокат и политик, в 1913—1920 гг. президент Французской республики. *Маленький цесаревич* — Алексей Николаевич (1904—1918), великий князь, сын Николая II. *Николай Николаевич* (1856—1929) — великий князь. *Вивиапи* — Рене Вивиапи (1863—1925), политический деятель Франции, социалист. *Сазонов* — С. Д. Сазонов (1860—1927), министр иностранных дел (1910—1916) в русском правительстве. *Извольский* — А. П. Извольский (1856—1919), посол в Париже (1910—1917). *Поль Дерулед* (1846—1914) — французский писатель и политический деятель, председатель Лиги Патриотов. *Морис Баррес* (1862—1923) — французский писатель. *А как говорит! Как пишет!* — выражение, восходящее к комедии «Горе от ума». *La colline inspirée!* — Пробуждает высокое; вдохновляется возвышенным. *Серб... убил...* — Гаврило Принцип (1894—1918) в 1914 г. в Сараеве убил эрцгерцога Франца Фердинанда (1863—1914), наследника австрийского престола. *Майерлинг* — место в 40 км. к югу от Вены, где был убит сын Франца Иосифа австрийский эрцгерцог Рудольф (1858—1889). *Братья Баташевы* — крупные промышленники, владевшие суконными мануфактурами и металлургическими предприятиями; из тульских оружейников. *«Столица и усадьба»*, под редакцией Крымова — журнал, редактором которого был писатель В. П. Крымов (1878—1968). *Илья Эренбург* — И. Г. Эренбург (1891—1967), писатель. *Где под пудрой молитвенник, а под ним Поль де-Кок...* — неточная цитата из стихотворения «Нелли» И. Северянина. *Когда отечество в войне...* — неточная цитата из стихотворения «Поэза благословения» Северянина. *Наступит день и час таинственный...* — неточная цитата из стихотворения «Мой ответ» Северянина. *Земное счастье запоздало...* — цитата из стихотворения «Она, как прежде, захотела...» Блока. *Я послал тебе черную розу в бокале...* — цитата из стихотворения «В ресторане» Блока. *Мазурские болота* — группа озер на северо-



востоке Польши. *Генерал Самсонов* — А. В. Самсонов (1859—1914); в первую мировую войну командовал армией, потерпевшей поражение в Восточно-Прусской операции; покончил жизнь самоубийством. *Крупенские* — имеются в виду А. Н., В. Н. и П. Н. Крупенские, помещики. *Марковы* — см. «Вальс гиппопотама». *Князь Мещерский* — В. П. Мещерский (1839—1914): публицист; издатель газеты-журнала «Гражданин»; отстаивал сословные привилегии и незыблемость самодержавия. *Меньшиков* — М. О. Меньшиков (1859—1919), сотрудник газеты «Новое время». *Карл-Амалия Скурмутт* — имеется в виду В. А. Грингмут (1851—1907), журналист, редактор газеты «Московские ведомости», родом из прибалтийских немцев; в либерально-демократической печати за ним закрепилась издевательская кличка «Карл-Амалия». «*Новое время*» — газета, с 1905 г. орден черносотенцев; издавалась в Петербурге с 1868 по 1917 г. «*Московские ведомости*» — газета, с 1863 г. орган реакционеров; издавалась с 1756 по 1917 гг. *Мясоедов* — Сергей Мясоедов, жандармский офицер, впоследствии полковник, служивший в штабе генерала В. А. Сухомлинова и обвиненный в шпионаже в пользу Германии; казнен. *И первый змеиный шепот: чем хуже, тем лучше...* — намек на стихотворение «Борьба» (1913) Саши Черного, который точно подметил «огарочное» настроение среди части интеллигенции: «Сползаются тучи все гуще, Все острее мечет о заре. А они повторяют: «Чем хуже, тем лучше» — И идут... в кабере». *Архангельский* — автор музыкальных произведений, исполнившихся в театре «Летучая мышь». *Кареев* — Н. И. Кареев (1850—1931), историк, профессор, член партии кадетов, депутат II Государственной Думы. *Галатеи* — здесь: красавицы; возлюбленная легендарного скульптора Пигмалиона, влюбившегося в созданную им статую, которая была воскрешена Афродитой (греч. миф.). *На язык родных осин* — цитата из эпиграммы «Кетчеру» Тургенева. *Василий Иванович Шухаев* (1887—1973) — художник. *Томазо Сальвини* (1829—1915) — итальянский актер; прославился в ролях Отелло («Отелло» Шекспира; см. далее — Дездемона) и Саула («Саул» В. Альфьери). *Александр Иванович Успенский* — возможно, ошибка: речь идет о Федоре Ивановиче Успенском (1845—1928), историке, основателе и директоре Русского археологического института в Константинополе (1894—1914). *Далеко, за пургой и метелью...* — автоцитата (стихотворение «Серая шинель» из сб. «Песни войны»). *Туманова* — артистка «Летучей мыши». *Я. М. Волков* — актер «Летучей мыши». *Фридрих Барбаросса* — Фридрих I Барбаросса (ок. 1125—1190), германский король и император «Священной Римской империи». «*Катенька*» — театральная миниатюра, сочиненная П. П. Потемкиным. *Фехнер* — А. К. Фехтнер, артистка «Летучей мыши». «*Музей восковых фигур*» — драматический эскиз Г. Беgezэ (Б. Глаголина, Б. С. Гусева и С. П. Спира) в постановке Балиева. «*Мари деревянных солдатиков*» — драматическая сценка, поставленная в театре «Летучая мышь». *Тамара Дейкарханова* — Т. Х. Дейкарханова, артистка МХТ (1907—1911), играла в театре «Летучая мышь». *Алексеева-Месхиева* — Н. В. Алексеева-Месхиева, артистка оперетты; играла в театре Зон, а затем в театре «Летучая мышь». *Юлия Бекеффи* — одна из сестер Бекеффи, балерина; выступала в театре Бекеффи (электротheater Люкс), в театре Южно-го и в «Летучей мыши». *Виктор Хенкин* — артист театра «Летучая мышь». *Кинто* — уличный торговец-разносчик в старом Тбилиси; отличался своеобразной одеждой и острословием. «*Чарочка*» — возможно, песня «Чарочка моя» (муз. А. А. Оленина). *Б. С. Борисов* (1873—1939) — наст. фамилия Гурович; драматический артист, эстрадный актер, исполнитель музыкально-вокальных пародий, рассказчик и чтец. *Штюрмер* — Б. В. Штюрмер (1848—1917), председатель Совета министров, министр внутренних и иностранных дел в 1916 г.; ставленник Г. Е. Распутина и императрицы Александры Федоровны. *Вий* — демоническое лицо в повести Гоголя. *Сухомлинов* — В. А. Сухомлинов (1848—1926), генерал, военный министр, приговорен в 1917 г. к пожизненному заключению за неподготовленность армии к первой мировой войне. *Родзянко* — М. В. Родзянко (1859—1924), лидер октябристов, председатель III и IV Государственных Дум; в 1917 г. — председатель временного комитета Государственной Думы. *Шингарев* — А. И. Шингарев (1869—1918), земский деятель, врач и публицист, один из лидеров кадетов; в 1917 г. — министр Временного правительства; убит анархистами. *Розенберг* — В. А. Розенберг (1860—1932), публицист, один из редакторов газеты «Русские ведомости». *Василий Иванович Немирович-Данченко* (1848/1849—1936), писатель. В первую мировую войну фронтовой корреспондент. *А. В. Руманов* (1878—1960), журналист, заведующий петербургским отделением газеты «Русское слово». *Александр Александрович Яблоновский* (1870—1934) — журналист. *А. В. Амфитеатров*

(1862—1938) — писатель, журналист. *Сергей Потресов* — С. В. Потресов (псевдоним Яблоновский; 1870—1954), литературный критик, фельетонист, сотрудник газеты «Русское слово». *Ив. Жилкин* — И. В. Жилкин (1874—1958), журналист, депутат I Государственной Думы. *Н. А. Тэффи* (наст. фамилия Лохвицкая; в замужестве Бучинская; 1872—1952) — писательница. *Юрий Сахновский* — Ю. С. Сахновский (1866—1930), композитор и музыкальный критик. *Вилли (В. Е. Турок)* — В. Е. Турок (псевдоним Вилли; ум. в 1918), журналист, редактор-издатель сатирического журнала «Сигналы», а также редактор «Буревала». *И. М. Троицкий* — журналист, переводчик. *А. Коральник* — А. Д. Коральник, историк. *Н. В. Калишевич* (псевдоним Р. Словоцов; ?—1941) — журналист. *Гаспар из «Корневильских колоколов»* — персонаж. *Савонаролла* — Джироламо Савонаролла (1452—1498), итальянский религиозно-политический деятель, проповедник. «*Голос Москвы*» — ежедневная газета партии октябристов (Москва, 1906—1915; издатель и редактор А. И. Гучков). *Пастухов* — В. Л. Пастухов, редактор газеты «Голос Москвы»; впоследствии редактор-издатель журнала «Числа». *Никандр Туркин* — Н. В. Туркин (1863—1919), журналист. *Анзимиров* — В. А. Анзимиров (1859—ок. 1920), журналист, литературно-общественный деятель. «*Вечерние новости*» — газета. *Борис Ивинский* — Б. И. Ивинский (р. в 1881), журналист и писатель. *В надежде славы и добра...* — выражение, заимствованное из стихотворения «Стансы» Пушкина. *Быстров, Шальнев, Вержбицкий, Хохлов* — журналисты. «*Раннее утро*» — газета. *Суворинская «Новь»* — газета, издававшаяся в Москве в 1914—1915 гг. А. А. Порошиным (псевдоним А. А. Суворина; 1862—1937). *Конец Чертопханова* — название рассказа Тургенева из «Записок охотника». «*Русь*» — газета (1903—1908). *Блудный сын «Нового времени»* — А. Порошин (А. А. Суворин) был сыном А. С. Сувориной, редактора газеты «Новое время». *Алексей Алексеевич Боровой* (1875—1935) — экономист. *Успенский* — вероятно, В. В. Успенский, профессор Петербургской духовной академии; член Религиозно-философского общества в Петербурге. *Голутвинские расстрелы* — после подавления Семеновским полком Декабрьского вооруженного восстания в Москве (1905) начались массовые расстрелы участников, перевезенных в Голутвин. *Владимир Дуров* — В. Л. Дуров (1863—1934), артист цирка, клоун, дрессировщик; исполнял сатирические монологи. *Теософы* — здесь: мистики. *Юрий Бочаров* — Ю. М. Бочаров (псевдоним Литль Бой), журналист. «*Утро России*» — ежедневная газета, орган торгово-промышленных кругов (Москва, 1907—1918). *В. П. Рябушинский* — член правления «Тов-ва мануфактур П. П. Рябушинского с С-ми». *А. П. Алексинский* — вероятно, А. П. Алексеевский, журналист, член редакции «Утро России». *Савелий Семенович Раецкий* — журналист. *Николай Алексеевич Маклаков* (1871—1918) — министр внутренних дел в 1912—1915 гг. «*Гриф*» — издательство (1903—1913); выпускало альманах «Гриф». «*Манфред*» — драматическая поэма Байрона. *За год до Брест-Литовска* — имеется в виду Брестский мир, заключенный в Брест-Литовске (1918). *Наступит день. Он будет ярок!* — Автоцитата (стихотворение «Бельгии» из сб. «Песни войны»). *Счастливы лишь тот, кому в осень холодную...* — цитата из стихотворения Н. М. Минского (наст. фамилия Виленкин; 1856—1937). *Catulle Mendès* — Катулл Менде (1841—1909), французский писатель. *Н. Вильбушевич* — имеется в виду композитор Е. Б. Вильбушевич. «*Садко*» — опера Римского-Корсакова. *Вертинский* — А. Н. Вертинский (1889—1957), актер и поэт. *Погубили нас не одни только цыганские романсы, чайки и альбатросы...* — тема, намеченная в фельетоне «О птицах» («Дым отечества», Париж, 1921). *Лиловый негр вам подает манто...* — романс на слова А. Н. Вертинского «Лиловый негр». *А вы, проводящие за оргией оргию...* — неточная цитата из стихотворения Маяковского «Вам!» *Adagio; allegro; presto; furioso* — медленно, тихо; весело, быстро; очень быстро; бурно. *Рассюдук! вопреки, наперекор стихиям* — выражение, взятое из комедии «Горе от ума». *Князь Юсупов* — князь Ф. Ф. Юсупов, граф Сумароков-Эльстон (1887—1967), генерал-адъютант, участник убийства Г. Е. Распутина. *Генерал Данилов* — Г. Н. Данилов (1866—?), генерал, начальник штаба Северного фронта. «*Еще и башмаков не изнаси...*» — слова Гамлета. *Князь Путятин* — М. С. Путятин (р. в 1861), генерал, офицер для поручений при министерстве императорского двора (1900—1911), начальник дворцового управления. *Великий князь Михаил Александрович* (1878—1918) — брат Николая II; в 1917 г. после отречения Николая II отказался от прав на престол. *Графиня Брасова* — дочь присяжного поверенного Шереметевского, жена в. кн. М. А. Романова. *Сын Александра III* — Михаил Александрович. *Победа Самофракийская* — Нике (Ника) Самофракийская, статуя победы; олицетворение победы в сражениях

и состязаниях; изображалась в виде спускающейся с небес вестницы богов (греч. миф.). *Rue Dari* — улица Дарю. *Давыдав* — А. Д. Давыдов (наст. имя и фамилия Карапетян Александр Давидович; 1850—1911). *Она была мечтай поэта* — цитата из песни «Нищая» Беранже. *Bierhalle* — пивные. *Железняк* — А. Г. Железняков (1895—1919), матрос Балтийского флота, анархист. *Князь Львов* — Г. Е. Львов (1861—1925), помещик, член партии кадетов, депутат I Государственной Думы, председатель Всероссийского земского союза, затем Объединенного союза земств и городов, председатель Совета министров и министр внутренних дел Временного правительства. *Какашкин* — Ф. Ф. Кокоскин (1871—1918), юрист, публицист, член партии кадетов. *Вышинский Андрей Януарьевич* (1883—1954) — бывший присяжный поверенный; государственный обвинитель на политических процессах в СССР. *Генерал Алексеев* — М. В. Алексеев (1857—1918), в марте 1917 — главнокомандующий. *Брусилов* — А. А. Брусилов (1853—1926), генерал, в мае—июле 1917 г. — верховный главнокомандующий. *Рузский* — Н. В. Рузский (1854—1918), генерал, в первую мировую войну командовал Северо-Западным и Северным фронтами. *Эверт* — А. Е. Эверт (1857—1926), генерал, в первую мировую войну командовал Западным фронтом. *Сатурн* — бог, отождествляющийся с доолимпийским божеством Кроном; проглатывал родившихся детей из-за боязни быть извергнутым одним из них (греч. и римск. миф.). *Николай Николаевич Худяков* (1866—1927) — бактериолог, профессор Тимирязевской сельскохозяйственной академии. *Яков Яковлевич Никитинский* (ок. 1855—1924) — автор работ по химической технологии. *Карлейль* — Томас Карлейль (1795—1881), английский публицист, историк и философ. *Ваши пальцы пахнут ладаном...* — название и первая строка песенки Вертинского. *Пусть завтра будет мрак и холод* — цитата из стихотворения «Хочу» Балмонта. *«Будильник»* — сатирический журнал (Петербург, 1865—1871; Москва, 1873—1917). *Мануйлов* — А. А. Мануйлов (1861—1929), экономист; ректор Московского университета; в 1917 г. министр просвещения Временного правительства; после революции преподавал в вузах. *Буква «ять»* — была исключена из алфавита орфографической реформы 1917—1918 гг. *Маныч* — П. Д. Маныч (ум. в 1918), литератор, журналист. *Или бунт на борту обнуаржив...* — точная цитата из стихотворения «Капитаны» Н. С. Гумилева. *Московская поэма* — имеется в виду цикл стихотворений М. И. Цветаевой «Стихи о Москве». *Кузьмина-Караваева* — мать Мария (в миру — Пиленко Елизавета Юрьевна; в первом замужестве Кузьмина-Караваева, во втором Скобцова; 1891—1943), поэтесса. *Любовь Сталица* — Л. Н. Столица (1884—1934), поэтесса. *Вера Инбер* — В. М. Инбер (1890—1972), поэтесса. *Абсент* — спиртной напиток; настойка на полыни. *Милый, милый Вилли! Милый Вилли!* — Неточная цитата из стихотворения В. Инбер «Маленький и нежный рот у Вилли...» (сб. «Бренные слова», Одесса, 1922, с. 65—66). *Ни калобаний. Ни уклана.* — Неточная цитата из стихотворения В. Инбер «При свете лампы — зеленом свете...» («Цель и путь», М., б. г., с. 12). *Валентин Горянский* — В. И. Горянский (наст. фамилия Иванов; 1888—1944), поэт-«сатириконец». *Пастановка Азагарова* — пьеса Дон-Аминадо была поставлена в Новом театре П. В. Кохмаиовского. *Татьяна Большакова* — актриса Нового театра; в пьесе Дон-Аминадо «Весна семнадцатого года» исполняла Весну. *Ряд вальшебных изменений милого лица* — цитата из стихотворения Фета «Шепот, робкое дыханье...» *Эмигрантский набоб* — А. О. Гукасов. *Война Белай и Алай Розы* — имеется в виду длительная вражда между двумя эмигрантскими газетами — «Последними новостями» и «Возрождением». *Леклерк* — Филипп Мари Леклерк (наст. фамилия де Отлок; 1902—1947), маршал Франции; его бронетанковые дивизии первыми вошли в Париж. *Приведшие с азера Чад* — Леклерк командовал войсками «Сражающейся Франции» в Экваториальной Африке. *Вознесенский* — юрист, журналист. *«Вестник права»* — журнал; издавался в 1908—1917 гг. *Бессмертный* — Л. С. Бессмертный, юрист. *Вальпургиева ночь* — здесь: Октябрьская революция; ночь на 1 мая у древних германцев — праздник весны, праздник ведьм («великий шабаш»); совпадал с днем памяти католической святой Вальпургии. *Ягода* — Г. Г. Ягода (1891—1938), нарком внутренних дел. *Ежов* — Н. И. Ежов, нарком внутренних дел. *Дубасов* — Ф. В. Дубасов (1845—1912), адмирал; в 1905—1906 гг. московский генерал-губернатор; организатор разгрома Декабрьского вооруженного восстания. *Вандея* — здесь: контрреволюция; Октябрьская революция осмыслена как контрреволюционный мятеж, направленный против Февральской революции. *Карнилав* — Л. Г. Корнилов (1870—1918), генерал, один из организаторов Добровольческой армии, затем главнокомандующий «Вооруженными силами юга России». *Врангель* — П. Н. Врангель (1878—1928), генерал, главноком.

ской армии, организатор «Русского общевоинского союза». *Абель Арриман* — Аверелл Гарриман, дипломат, финансист, в 1943—1946 гг. посол США в СССР. *Астор* — вероятно, герцогиня Нэзис Астор (1879—?). *Жорж Дюамель* (1884—1966) — французский писатель. *Андре Жид* (1869—1951) — французский писатель. *Как хорошо, что в творческом припадке...* — см. стихотворение «Священная весна». *Вадим Николаевич Подбельский* (1887—1920) — нарком почт и телеграфов (1918—1920). *Убийство в доме Ипатьева* — в доме Ипатьева в Екатеринбурге были расстреляны Николай II и его семья. *Рейзен* — М. Р. Рейзен (1892—1969), балерина. *Попелло-Давыдов* — М. М. Попелло-Давыдов, сотрудник театральных изданий. *Туржанский* — Л. В. Туржанский (1875—1945), живописец. *Минест* — здесь: художник кино; кинорежиссер или работник кино. *Берснев* — И. Н. Берснев (1899—1951), режиссер и актер; в 1924—1936 гг. — во 2-ом МХАТе. *В. Н. Ильинская* — актриса, издательница журнала «Рампа и жизнь»; жена Л. Г. Мунштейна (Лоло). *Муралов* — А. И. Муралов (1886—1937), государственный и партийный деятель. *Василий Каменский* — В. В. Каменский (1884—1961), поэт-футурист. *Манифест прославлял Стеньку Разина* — имеется в виду поэма Каменского «Стенька Разин» (1912—1920). *«Петр» Алексея Толстого* — роман «Петр I». *Духоборы* — здесь: духовные борцы с режимом. *Н. Л. Казецкий* (1878—?) — журналист, редактор-издатель «Русского листка» и «Раннего утра». *Э. И. Печерский* — псевдоним Э. И. Павчинского (1876—?), журналиста, сотрудника «Раннего утра». *Федор Генрихович Мускатблит* (1878—1947) — журналист (псевдонимы «Южный Ф.» «Musca»). *В. М. Фриче* (1870—1929) — литературовед, искусствовед. *Рыков* — А. И. Рыков (1881—1938) — председатель Совнаркома. *Кассиор* — С. В. Косиор (1889—1939) — занимал партийные и государственные посты. *Чубарь* — В. Я. Чубарь (1891—1939), с 1920 г. председатель Президиума ВСНХ УССР, а затем председатель СНК УССР. *Маленков* — Г. М. Маленков занимал крупные государственные и партийные посты. *Жданов* — А. А. Жданов (1896—1948), занимал крупные партийные посты. *Подвиги, и доблести, и слава* — выражение, взятое из стихотворения Блока «О подвигах, о доблести, о славе...» «Трудовая копейка» — газета. *Бенкендорф* — А. Х. Бенкендорф (1783—1844), граф, генерал, с 1826 г. шеф жандармов и главный начальник III отделения. *Победоносцев* — К. П. Победоносцев (1827—1907), юрист, обер-прокурор Синода. *«Человек, который смеется»* — название романа В. Гюго. *Сыромятников* — С. Н. Сыромятников (псевдоним «Сигма»; р. в 1864), писатель и публицист, сотрудник «Нового времени» и других газет. *Буренин* — В. П. Буренин (1841—1926), писатель; один из псевдонимов — Алексис Жасминов. *Все эти...* — здесь перечислены псевдонимы журналистов и писателей. *Лик его ужасен...* — цитата из поэмы «Полтава» Пушкина. *Епиходов* — персонаж пьесы Чехова «Вишневый сад». *А. А. Епифанский* — псевдоним А. А. Тетерева, публициста. *Григорий Ландау* — Г. А. Ландау (1877—1940?), философ. *По распоряжению властей был изменен не только календарь, но и самое время.* — Новый календарь (грегорианский) был введен 8 февраля 1918 г. *Два дня мы были в перестрелке...* — цитата из стихотворения «Бородино» Лермонтова. *Нестеров* — М. В. Нестеров (1862—1942), живописец. *Есть в русской природе усталая нежность...* — Неточная цитата из стихотворения «Безглагольность» Бальмонта. *À la Lavalère* — как у Лавальер, т. е. бантом; Луиза де ла Бом ле Бланк, герцогиня де Лавальер (1644—1710) — фаворитка Людовика XIV. *Яков Новомирский* — анархист. *Народ безмолвствует* — ироническое использование заключительной ремарки в «Борисе Годунове» Пушкина. *Шустов* — крупный винозаводчик и виноторговец. *Ницше* — Фридрих Ницше (1844—1900), немецкий философ. *«Соринки дня»* — фельетоны Дон-Аминадо, помещаемые в печатных изданиях под рубрикой «Соринки дня». *Книжки в спину революции* — вероятно, ходячее выражение, использованное затем в названии книжки А. Т. Аверченко «Дюжина ножей в спину революции» (1921). *Князь Кропоткин* — П. А. Кропоткин (1842—1921), теоретик анархизма, географ и геолог. *Большой процесс, дело левых эсеров* — процесс левых эсеров состоялся в сентябре 1918 г.; революционный трибунал приговорил к расстрелу 12 рядовых солдат и заместителя Дзержинского эсера Александровича; руководители эсеров получили символические сроки и были позднее помилованы. *Владимир Рындзюн* — см. А. Ветлугин. *Мы дети страшных лет России* — цитата из стихотворения «Рожденные в года глухие...» Блока. *Камков* — Б. Д. Камков (наст. фамилия Кац; 1885—1938), один из лидеров левых эсеров. *«Леда» Анатолия Каменского* — пьеса писателя А. П. Каменского (1876—1941). *Владимир Максимилианович* — ошибка: Максимович. *И ты, Брут?!* — по преданию, слова

Цезаря, обращенные к его убийце Марку Юнию Бруту (*Кто может знать при слове — расставанье* — цитата из стихотворения «Tristia» («Грусть»)) О. Э. Мандельштама. *Что пройдет, то будет мило. А что мило, то пройдет.* — Цитата из стихотворения «Если жизнь тебя обманет...» Пушкина; второго предложения у Пушкина нет. *Шаль с узорною каймою...* — неточная цитата из стихотворения «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит...») Я. П. Полонского. *Есаул Коновалец* — Евгений Коновалец, впоследствии полковник. *Мендельсон* — Якоб Людвиг Феликс Мендельсон (Мендельсон-Бартольди; 1809—1847), немецкий композитор, дирижер, пианист и органист. *Агнивцев* — Н. Я. Агнивцев (1887—1932), поэт. «*Киевская мысль*» — газета. «*Киевские отклики*» — газета. «*Киевлянин*» — газета, издававшаяся в 1864—1919 г.; в разное время ее редактировали В. Я. Шульгин, Д. И. Пихно, В. В. Шульгин. *Пихно* — Д. И. Пихно (1853—1913), экономист, профессор Киевского университета, редактор (1879—1908) газеты «Киевлянин». «*Утро*» — газета. «*Вечер*» — газета. *Игорь Кистяковский* — И. А. Кистяковский (1872—1940), юрист, приват-доцент Киевского, а затем Московского университета. *Дора Каплан* — ошибка: Фанни Каплан. *Повесят* — ошибка: Каплан была расстреляна комендантом Кремля П. Мальковым без суда, по постановлению ВЧК 5 сентября 1918 г. *Хома Брут* — персонаж повести «Вий» Гоголя. *Бабеф* — Грах Бабеф (наст. имя Франсуа Нозль; 1760—1797), французский коммунист-утопист. *Саликовский* — А. Ф. Саликовский (1866—?), журналист и публицист. «*Приазовский край*» — газета. *Не негодуй, не кляня...* — автоцитата. «*Свободные мысли*» *Василевского* — газета. «*Одесский листок*» — газета. *Сергей Федорович Штерн* — журналист, печатался в «Одесском листке». «*Современное слово*» — газета. *Дмитрий Жукович Овсяннико-Куликовский* (1853—1920), литературовед и языковед. *Борис Мирский* — Б. С. Миркин-Гецевич (р. в 1892), журналист. *Вас. Регилин* — псевдоним В. А. Раппопорта (1881—1952), журналиста; печатался в киевских газетах, «Синем журнале» и др. изданиях; в 1913—1917 г. редактировал «Аргус». *Я. Б. Полонский* (р. в 1892) — журналист, литературовед, библиограф. «*Одесская почта*» — газета. «*Призыв*» — газета. *Ал. Ксюнин* — А. И. Ксюнин (ок. 1880—?), журналист (псевдоним «Альфа»). *Н. Н. Брешко-Брешковский* (1874—1933) — писатель. *И на обломках самовластья...* — цитата из послания «К Чаадаеву» Пушкина. «*Мальва*» — рассказ М. Горького. *Море смеялось* — выражение из рассказа «Мальва». *Он долину озирает* — неточная цитата из поэмы Э. Г. Багрицкого «Дума про Опанаса»; речь в ней идет не о Мишке-Япончике, а о Г. И. Котовском. *Атаман Григорьев* — Н. А. Григорьев (1894—1919), бывший штабс-капитан. *Северный* — возможно, С. Н. Дурылин (1877—1954), писатель, литературовед, искусствовед и театровед. *Гедда Габлер* — героиня одноименной драмы Г. Ибсена. *Шварц* — возможно, А. В. Шварц, один из редакторов «Военной энциклопедии». *Вера Холодная* — В. В. Холодная (1893—1919), киноактриса. *Мельхиор де Воюэ* — Эжен Мельхиор де Воюэ (1848—1910), французский писатель, историк литературы, автор сб. рассказов «Русские сердца» и книги «Русский роман». *Не уступить. Не сдасться. Не стерпеть.* — Автоцитата. *Ремизов* — Н. В. Ремизов-Васильев (псевд. Ре-Ми), художник. *Гримасы большого города!* — намек на карикатуру Ре-Ми («Сатирикон», 1908, № 14. С. 9). *Полонский* — Я. Б. Полонский, редактор «Временника друзей русской книги». *А. И. Коновалов* (1875—1948) — текстильный фабрикант, лидер партии прогрессистов, министр торговли и промышленности во Временном правительстве. «*И только высоко у царских врат...*» — цитата из стихотворения Блока «Девушка пела в церковном хоре...» *Анатолия* — название азиатской части Турции. *Кадикей* — местечко близ Константинополя; театр. *Буюк-Дере* — селение близ Константинополя, место отдыха горожан. *Колонна Феодосия* — Имеется в виду обелиск Феодосия Великого, сооруженный в 390 г. и. э. *Кунола святой Ирины* — храм в честь императрицы Востока (Византии) Ирины (797—803), канонизированной церковью. *Прищевы острова* — Кызыладалар; 9 островов в Мраморном море близ Стамбула. *Чарыков* — Н. В. Чарыков (р. в 1855), деятель народного образования. *Ильдиз-киоск* — Йилдиз-киоск, утопающий в зелени городок с небольшими изящными павильонами и домиками для гарема, слуг и охраны султана, окруженный парком с прудами и оранжереями. *Фок* — нет. *Геллеспонт* — древнегреческое название пролива Дарданеллы. *Как лорд Байрон* — английский поэт Байрон (1788—1824) переплыл Дарданеллы. *Журавская* — Е. М. Журавская (1895—1953), поэтесса и переводчица. *Кандауров* — К. В. Кандауров (1865—1930), художник. *Кугушев* — В. А. Кугушев (1863—1944), князь, был близок к социал-демократическим кругам. *Сватиков* — С. Г. Сватиков (1880—?), профессор, журналист, писатель.

**Азеф** — Е. Ф. Азеф (1869—1918), один из организаторов партии эсеров; с 1892 г. — секретный сотрудник департамента полиции; в 1908 г. разоблачен В. Л. Бурцевым. **Граф Игнатев** — А. А. Игнатев (1870—1954), дипломат, русский военный агент во Франции (1912—1917), автор воспоминаний «Пятьдесят лет в строю». **Саломея Андреева** — княгиня Саломея Андроникова (по мужу — Андреева; потом — Гальперн; 1889—1982). **«Грядущая Россия»** — литературный журнал русской эмиграции; основан в Париже в 1920 году; редакторы — М. А. Алданов, В. А. Анри, А. Н. Толстой и Н. В. Чайковский. **Тихон Иванович Полнер** (1864—1935), основатель книгоиздательства «Русская Земля», редактор журнала «Голос Минувшего на Чужой стороне» (совместно с С. П. Мельгуновым). **Бахметьев** — Б. А. Бахметев — русский посол в Вашингтоне. **Луксорский обелиск** — обелиск Луксор на площади Конкорд (Согласия) в Париже был воздвигнут в 1835 г. Que faire? — Что делать? **Александр Евгеньевич Яковлев** (1887—1938) — художник. **Мустафа Чокаев** — Мустафа Чокай-Оглы, публицист, печатался в «Современных записках»; автор книги «Туркестан под властью Советов. К характеристике диктатуры пролетариата». **Пока не требует поэта...** — Цитата из стихотворения Пушкина «Поэт». **Татьяна Павлова** — Т. Н. Павлова (1896—1975), актриса. **Гзовская** — О. В. Гзовская (1884—1963), драматическая актриса. **Садовская** — кто именно имеется в виду, неясно; известны своей превосходной игрой Ольга Осиповна и Елизавета Михайловна (1872—1934) Садовские. **«В стороне от веселых подруг»** — цитата из стихотворения Некрасова «Тройка». **Высокомерная молодость...** — Неточная цитата из стихотворения Н. Крандиевской «Высокомерная молодость...» **Барон Нольде** — Б. Э. Нольде (1876—1949), юрист, историк. **Сергей Александрович Балавинский** — член «Союза городов» (Земского союза), одно время Крандиевская с сыном жили в имении Маронье, которым управлял Балавинский. **Чичисбей** — постоянный спутник состоятельной замужней женщины, сопровождающий ее на прогулках и увеселениях. **М. В. Вишняк** (1883—1977) — публицист. **Дионео** — псевдоним И. В. Шкловского (1865—1935), журналиста. **Л. Н. Вилькина** (1873—1920) — поэтесса, первая жена поэта Н. М. Минского. **Дюбоннэ**. — здесь реклама вина (вишневого аперитива). **Vin triste** — вино грусти; грустное похмелье. **Он ночью приплывет на черных парусах...** — Стихотворение Н. А. Тэффи. **Vignon** — улица Виньон в Париже. **Наташа Труханова** — Н. В. Труханова (1885—1956), актриса. **Augsburgerstrasse** — Аугсбургерштрассе — улица в Берлине. **Rue Washington** — улица Вашингтон в Париже. **М. Л. Гольдштейн** (ум. 1932) — адвокат, основатель и редактор газеты «Последние новости». **Заллушин** — С. Заллупин, художник; писал портреты писателей-эмигрантов. **Петр Струве** — П. Б. Струве (1870—1944), экономист, политик, писатель, редактор газеты «Возрождение». **«Колокол»** — газета А. И. Герцена и Н. П. Огарева; издавалась в Лондоне (1857—1865) и Женеве (1865—1867). **«Искра»** — издавалась в 1900—1903 гг. в Лейпциге, Мюнхене, Лондоне и Женеве. **Quotidien russe** — Русские будни. **С. О. Загорский** — Семен Осипович Загорский, экономист, публицист. **Процесс Кайо**. — Имеется в виду процесс Жозефа Кайо (1863—1944), французского политического деятеля, радикала, выступавшего в первую мировую войну за мир с немцами; в 1917 г. по требованию Ж. Б. Клемансо он был лишен депутатской неприкосновенности., в 1918 г. арестован и в 1920 г. предан суду. **Палэ-Бурбон** — площадь в Париже, где размещалась редакция «Последних новостей». **Шуаны** — мятежники, противники Великой французской революции; их центр — северо-запад Франции (Вандея). **Sables d'Olonne** — слово «Sables» — пески, песчаные; отсюда шутовское название местечка — Олонедские пески; намек на стихотворение Н. Крандиевской «Так суждено преданьем, чтобы...», где есть строки:

И мне раскрылись колыбелью  
 Глухой Олонии снега —  
 В краю, где сумрачно елюю  
 Озер синеют берега.

**Алексей Николаевич** — А. Н. Толстой. **Волкенштейн** — вероятно, М. Ф. Волкенштейн (1861—1934), присяжный поверенный, друг и личный адвокат Ф. И. Шаляпина. **Бабушка Крандиевская**, автор когда-то популярной в России повести «То было раннею весной» — Анастасия Романовна Крандиевская; роман «То было раннею весной» вышел в Москве (1900). **Василий Афанасьевич**. — Имеется в виду Большой Афанасьевский переулок в Москве. **Прабабушка... Поварская**. — Речь идет об улице в Москве. **Лидия Крестовская** — Л. А. Крестовская (1889—?), писательница. **Мониторша** — помощник

учителя; репетитор. *Henri Dumey* — Анри Дюмей. «*Progrès Civique*» — «Гражданский прогресс». *Эдуард Эррио* (1872—1957) — лидер французской партии радикалов, занимавший посты министра и премьер-министра. *Шиллер* писал «*Орлеанскую деву...*» — «Орлеанская дева», трагедия Ф. Шиллера. *Кто раз любил, тот понимает...* — Строка из романса «Ах, да пускай свет осуждает», с большим успехом исполнявшийся А. Д. Вьяльцевой. *Comtesse moscovite* — московская графиня. *Monsieur Dumey* — господин Дюмей. *Рейтерского корреспондента* — т. е. корреспондента английского агентства Рейтер. «*Эх вы! женихи!.. поручики!..*» — Неточная цитата из рассказа Чехова «Тина». *Лухманова* — Н. А. Лухманова (1840—1907), писательница, переводчица. *Желиховская* — В. П. Желиховская (1835—1896), детская писательница. *Самокиш-Судковская* — Е. П. Самокиш-Судковская, художница, иллюстратор книг для детей. «*Вы жертвою пали в борьбе роковой...*» — «Похоронный марш». *О. С. Бернштейн* (1882—1962) — шахматист. *Р.* — неустановленное лицо. *Мирра Бальмонт* — дочь поэта К. Д. Бальмонта. *Покорение Казани* — Казань была покорена Иваном IV Грозным в 1552 г. *Борис Лазаревский* — Б. А. Лазаревский (1871—1936), писатель. *Иван Наживин* — И. Ф. Наживин (1874—1940), писатель; бывший толстовец, автор длинного романа о Распутине. *Мих. Струве* — М. А. Струве (1890—1938?), поэт. *Георгий Лукомский* — Г. К. Лукомский (1884—1954), художник, искусствовед. *Yuvisy* — Жувизи, замок близ Парижа. *Камиль Фламарион* (1842—1926) — французский астроном и поэт, автор научно-популярных книг. *Птолемей* — Клавдий Птолемей (ок. 90 — ок. 160), древнегреческий астроном, создатель геоцентрической системы мира. *У вас глаза морского цвета...* — Неточная цитата из стихотворения К. Бальмонта «Морская душа». *Кассиопей* — созвездие Северного полушария. *Петр Рысс* — П. Я. Рысс (ум. ок. 1948), писатель, мемуарист. *Ветлугин А.* — В газете «Общее дело» (27 июля, 1921. С. 2.) И. А. Бунин поместил рецензию «Дым без отечества», в которой сравнил две книги: А. Ветлугина «Авантюристы гражданской войны» и Дон-Аминадо «Дым без отечества», отдав предпочтение Дон-Аминадо: «дым нашего пепелища» «ест» ему «глаза, иногда до слез», тогда как Ветлугин — «дитя своего времени», и его «несчастия, болезнь» состоят в том, что он «больше приобвык к дыму (не слишком ли?)», а надо, «чтоб иногда на ледяные глаза навертывались слезы». «*Жизнь*» — газета, издававшаяся в Москве в 1908—1909 гг. *Enfant terrible* — сорванец. *Дроздов* — А. М. Дроздов (1896—1963), беллетрист. «*И блеск Алябьевой, и прелесть Гончаровой*». — Цитата из стихотворения Пушкина «К вельможе». *Мусават* — «Мусават» («Равенство»), одна из партий в Азербайджане в 1911—1920 гг. *Русский Сан-Франциско* — Батуми. *Слащев* — Я. А. Слащов (1885—1929), генерал; служил в армиях Деникина и Врангеля; впоследствии вернулся в Россию. *Petits Champs* — «маленькие поля», место гуляний жителей Стамбула (Константинополя). Рюрикович — т. е. потомок князя Рюрика. *Брусилев* — А. А. Брусилев в 1920 г. приглашен на службу в Красную Армию; в 1923—1924 гг. — инспектор кавалерии. *Елизавета Маврикиевна* — ошибка: Елизавета Морицовна Куприна (1882—1942), вторая жена А. И. Куприна. *И соблазняя, соблазнить* — последняя строка из стихотворения Ф. Сологуба «Когда я в бурном море плавал...» «*Слово*» — вероятно, издательство в Берлине. *А. М. Ефрон* — владелец издательства. «*Грани*» — название зарубежного издательства и периодического альманаха на русском языке. *Гессен* — вероятно, И. В. Гессен (1863—1943), редактор-издатель; вместе с П. Н. Милюковым издавал кадетскую «Речь»; известны также сыновья И. В. Гессена — В. И. Гессен (1901—?), писатель, мемуарист; С. И. Гессен (1887—1950), философ; и внуки — А. В. Гессен (1900—1925), поэт; и Е. С. Гессен, поэт; кроме того, был В. М. Гессен, юрист. *Кусиков* — А. Б. Кусиков (1896—1977), поэт-имажинист. *Яценко* — А. С. Яценко (1877—1934), редактор критико-библиографических журналов «Русская книга» и «Новая русская книга». *Соколов-Микитов* — И. С. Соколов-Микитов (1892—1975), русский писатель; в СССР вернулся в 1922 г. *Желтухин* — действующее лицо пьесы А. Н. Толстого «Касатка». *Бердяев* — Н. А. Бердяев (1874—1948), русский философ, основатель религиозно-философского журнала «Путь» (Париж, 1925—1940). «*Вехи*» — Сборник статей о русской интеллигенции (М., 1909); в нем помещена статья Н. А. Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда». «*В данный час истории...*» — Цитата из статьи Бердяева «Философская истина и интеллигентская правда» (указ. соч. С. 7—8). «*Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте революцию!*» — Этими словами заканчивается статья А. Блока «Интеллигенция и революция». «*В Ленине старая русская интеллигенция...*» — Цитата из предисловия Ю. В. Ключникова «Смена веков» в сб. «Смена

вех». (Прага, 1921. С. 42.) *Бобрищев-Пушкин* — А. В. Бобрищев-Пушкин, «сменовеховец». *Третьей революции не будет...* — Первая фраза из статьи А. В. Бобрищева-Пушкина «Новая вера» в сб. «Смена вех» (Прага, 1921. С. 78). *Ни тяжкого бульжника, которым где-то в Мексике раскалывают череп вождя Красной Армии.* — Речь идет о Л. Д. Троцком; он убит, однако, не бульжником, а ледорубом. *Отец народов* — И. В. Сталин. *Лукьянов* — С. С. Лукьянов, «сменовеховец». *Keep smiling!* — Сохраняйте улыбку! *Саша Черный, который с возрастом упразднил... Сашу, и стал просто А. Черный.* По воспоминаниям Андрея Седых («Мосты», 1961. № 7), Саша Черный, прийдя в редакцию «Последних новостей», однажды сказал: «Какой же я теперь Саша? Уже подросток... И так всякий олух при встрече мне говорит: здравствуйте, Саша! Буду называться Александром Черным». *Микки* — пес, который не только жил у Саши Черного, но и стал «персонажем» его произведений для детей («Щенок», «Фокс-воришка», «Дневник фокса Микки», переведенный на французский язык). «*Детский остров*» — книга стихотворений для детей Саши Черного. «*Родные картинки*» — очерки и зарисовки, которые сочинял А. А. Яблоновский и печатал в разных изданиях. *Петр Потемкин* — П. П. Потемкин (1886—1926), поэт, автор «Сатирикона» и «Нового Сатирикона». *Розовая герань, которую он так любил и так проникновенно воспел.* — Имеется в виду сб. стихотворений П. Потемкина «Герань». *Вл. А. Азов* — наст. имя и фамилия В. А. Ашкинази (1873—1941), журналист, фельетонист, переводчик. «*Кривое зеркало*» — театр миниатюр в Петербурге в 1908—1931 гг. *Малэр арривэ, кордон сильвуэплэ!* — Буквально: пришел несчастный случай, отворите, пожалуйста! *Михаил Андреевич Осоргин* (наст. имя — Михаил Андреевич Ильин; 1878—1943), писатель. *Кропоткин* — «*За рубежом*» — Дон-Аминадо имеет в виду журнал «За рубежом», где (1934, № 6 (39). С. 10) помещена подборка его стихотворений со врезкой от редакции «Поэзия белой эмиграции». *Сэн-Брийак* — местечко на северо-западе Франции, на берегу Атлантического океана. *Ав. Клебер* — авеню Клебер (улица в Париже) в честь генерала Клебера; там расположена гостиница «Мажестик» («Величие»), где состоялся зарубежный съезд. *А. О. Гукасов* — Дон-Аминадо высмеял его претензии в нескольких стихотворениях. *Чем от Штутгарта до Парижа* — иаек на то, что «Освобождение» издавалось в Штутгарте и Париже, а «Возрождение» — в Париже. *Переписка Вячеслава Иванова с Гершензоном.* — Имеется в виду книга: Иванов Вячеслав и Гершензон М. О. Переписка из двух углов. СПб., 1921. *Король сербский Александр* — Александр I Карагеоргиевич (1888—1934). «*Трилогия*» — имеется в виду «Христос и Антихрист» (1895—1905) Д. С. Мережковского. «*Наш путь*» и сл. — Дон-Аминадо перечисляет названия периодических изданий, которые то внезапно появлялись, то бесследно исчезали. *Брешко-Брешковский* — кроме романа «На белом коне», ему принадлежат романы «Белые и красные», «Царские бриллианты» и др., выдержанные в столь же бульварном духе; вздорные идеи Н. Н. Брешко-Брешковского высмеяны Дон-Аминадо в ряде стихотворений. *Анна Кашина* — А. А. Кашина-Евреинова (1899—?), писательница. *Бакунина* — Е. В. Бакунина, писательница. «*Замело тебя снегом, Россия!*...» — Песня, которая была в репертуаре Н. В. Плевичкой. *Генерал Скоблин* — Н. В. Скоблин, муж Н. В. Плевичкой, обвинялся в причастности к исчезновению генерала Е. К. Миллера, но скрылся. По тому же подозрению в похищении генерала Е. К. Миллера была в 1937 г. арестована Н. В. Плевичкая. На следствии и суде певица отрицала предъявленное обвинение. Русские эмигранты не были единодушны в признании ее вины. В «Иллюстрированной России» поддержали обвинение, а в «Последних новостях» отрицали его («...нет ни одного документа, уличающего Скоблина или Плевичкую в том, что они были советскими агентами» — ПН, 14 декабря, 1939). Суд приговорил Н. В. Плевичкую к 20 годам каторжной тюрьмы с последующей высылкой за пределы Франции. Свои последние дни певица провела в тюрьме Эльзас-Лотарингии, где, по дошедшим сведениям, умерла в 1941 г. *Сэн-Лазар* — бывший лазарет в Париже, лепрозорий, переданный в тюрьму. *Миллер* — Е. К. Миллер (1867—1937?), генерал, с 1930 г. председатель «Российского общевойскового союза» (РОВС); исчез из Парижа при неясных обстоятельствах. *Троя* — здесь: советская Россия; Троя — древний город в Малой Азии, широко известный по античному эпосу. *Возрожденная Россия соединится с Иллюстрированной.* — Намек на газету «Возрождение» и еженедельник «Иллюстрированная Россия». *Трубецкой* — имеется в виду, вероятно, Н. С. Трубецкой; кроме него известны: Г. Н. Трубецкой (1873—1929), князь дипломат, церковный деятель; Е. Н. Трубецкой (1863—



1920), князь, философ. *Вернадский* — Г. В. Вернадский (1887—1973), историк, сын акад. В. И. Вернадского. *В. Н. Ильин* (1890—1974) — богослов. *Малевич-Малевич* — П. Н. Малевич-Малевич, «евразист», муж З. А. Шаховской. «*Летит, летит, степная кобылица...*» — Цитата из стихотворения Блока «На поле Куликовом». «*Новый Град*» — журнал, издававшийся в Париже в 1931—1939 гг.; редакторы — И. И. Бунаков, Ф. А. Степун, Г. П. Федотов. «*Числа*» — журнал (сборники) в Париже, выходил с 1930 по 1934; редактор Н. А. Оцуп. «*Окно*» — парижский трехмесячник, издавался в 1923 г.; редакторы М. С. и М. О. Цетлинны. «*Версты*» — парижский журнал, издававшийся в 1926—1928 гг.; редакторы — Д. П. Святополк-Мирский, П. Н. Сувчинский (р. в 1892), музыковед, С. Я. Эфрон. *Лев Шестов* — Л. Шестов (наст. имя — Лев Исаакович Шварцман; 1866—1938), философ; формально не являлся редактором «Верст», но был объявлен ближайшим сотрудником. «*Воля России*» — сначала пражская газета, а затем, в 1922—1932 гг. еженедельник; издатель — Е. Е. Лазарев; редакторы — В. И. Лебедев, О. С. Минор, впоследствии — В. И. Лебедев, М. Л. Слоним, В. В. Сухомлин; с 1924 г. к ним присоединился Е. А. Сталинский. «*Временник русской книги*». — Имеется в виду «Временник друзей русской книги», издававшийся в Париже в 1925—1938 гг. *Лозинский* — Г. Л. Лозинский (1889—1942), литературовед. *Унбегаун* — Б. Г. Унбегаун (1898?—?), библиограф. *Кизеветтер* — А. А. Кизеветтер (1866—1933), историк. *Кульман* — Н. К. Кульман (1871—1940), филолог. *А. Монго* — Анри Монго, переводчик, пушкинист. *Рукописи Пушкина, найденные в Авиньоне*. — Во «Временнике общества друзей русской книги» (IV, Париж, 1938), опубликована статья Анри Монго «История находки и комментарий». В ней рассказано о находке в Авиньоне автографа стихотворения Пушкина «Гусар». *Исследования Я. Б. Полонского, посвященные архивам кн. Волконской в Риме...* — Имеется в виду статья «Литературный архив и усадьба кн. Зинаиды Волконской в Риме» («Временник друзей русской книги», IV, Париж, 1938). «*Современные записки*» — парижский журнал (1920—1940); редакторы — М. В. Вишняк, А. И. Гуковский, В. В. Руднев; впоследствии к ним присоединились Н. Д. Авксентьев и И. И. Фондаминский (псевдоним — И. Бунаков). *Васнецов* — кто из Васнецовых имеется в виду, неясно: А. М. Васнецов (1856—1933), живописец и график, или В. М. Васнецов (1848—1926), живописец, передвижник. *Рерих* — вероятно, Н. К. Рерих. *Гора Фаворская* — здесь: вершина милости, расположения судьбы, высшая точка нравственности. *В концентрационном лагере Компьена*. — Речь идет о событиях 2-й мировой войны; *И. И. Фондаминский* (И. Бунаков) погиб в 1942 г. *Иконокласт* — здесь: стойкий защитник созданного им дела. *Павел Муратов* — П. П. Муратов (1881—1951), писатель, искусствовед. *Георгий Гребенщиков* — Г. Д. Гребенщиков (1883—1964), прозаик. *В. М. Зензинов* (1880—1953) — публицист. *Вл. Сириш* — псевдоним В. В. Набокова (1899—1977), писателя. «*Зеленая лампа*», «*Перекресток*», «*Цех поэтов*» — литературные объединения молодых эмигрантских поэтов. *Проф. Ростовцев* — М. И. Ростовцев (1870—1952), историк. *Лосский* — Н. О. Лосский (1870—1965), философ. *Чупров* — А. А. Чупров (1874—1926), известный ученый-статистик, применявший математические методы. *Ф. А. Степун* (1884—1965) — мыслитель, беллетрист. *Мельгунов* — С. П. Мельгунов (1873—1956), историк. *Вл. Жаботинский* — В. Е. Жаботинский (1880—1940; псевдоним Altalena), поэт, переводчик, общественный деятель. *Вейдле* — В. В. Вейдле (1895—1979), критик, публицист. *Б. Ф. Шлецер* (1883—1970) — музыкальный и литературный критик. *Екатерина Дмитриевна Кускова* (1870—1958) — публицистка. *Марфа-Посадница* — здесь: иронически; вдова новгородского посадника И. А. Борецкого, возглавившая антимосковски настроенное новгородское боярство. «*Полюшко, поле...*» — Песня Л. Книппера на слова В. Гусева. «*Льстецы, льстецы, старайтесь сохранить и в подлости оттенки благородства!*» — Неточная цитата из стихотворения Пушкина «Сказали раз царю, что наконец...» *Ефим Зозуля* — Е. Д. Зозуля (1891—1941), советский писатель. *Мих. Светлов* — М. А. Светлов (1903—1964), советский поэт, драматург. «*Ночные встречи*» — книга стихотворений М. Светлова (М.: «Молодая гвардия», 1927). «*Такая мощь и сила в нем...*» — Автоцитата из книги «Нескучный сад» (раздел «Винные ягоды», 12). *Георгий Викторович Адамович* (1894—1972) — поэт, критик, редактор. «*Якорь*» — Антология зарубежной поэзии. Составили Г. В. Адамович и М. Л. Кантор (1889—1910; литературный критик, редактор), Петрополис, Берлин, 1936. *Дов. Кнут* — Довид Кнут (наст. имя — Давид Миронович Фихман; 1900—1965), поэт, прозаик.

И. Голенищев-Кутузов — И. Н. Голенищев-Кутузов (1904—1969), поэт, переводчик, литературовед. *Лидия Червинская* — Л. Д. Червинская (1907—1988), поэтесса. *Алла Головина* — А. С. Головина (ур. бар. Штейгер, сестра А. С. Штейгера; р. 1911), поэтесса. *Леонид Зуров* — Л. И. Зуров (1902—1971), прозаик. *Анатолий Штейгер* — А. С. Штейгер (1907—1944), барон, поэт. «Неблогодарность». — Париж, 1936. *Никто, как в детстве, нас не ждет внизу.* — Стихотворение А. Штейгера, начинающееся этим стихом. *Карра-ра* — местность в Италии, славящаяся своим белым мрамором. «По небу полуночи Ангел летел». — Цитата из стихотворения Лермонтова «Ангел». «Дубовый листок оторвался от ветки родимой». — Цитата из стихотворения Лермонтова «Листок». *Николай Константинович Волков* — бывший член ЦК кадетской партии; в эмиграции — директор-издатель газеты «Последние новости». *Кузьмичевский чай* — чай с добавлением кузьмичевой травы (кустарник из семейства эфедровых — хвойниковых); возможно также по имени Кузмичова («сахар Кузмичова»). *И. П. Демидов (1873—1947)* — журналист, внук В. И. Даля; член IV Государственной Думы, сотрудничал в ПН. *Мякотин* — В. А. Мякотин (1867—1937), историк, публицист, член редакции «Русское богатство». *Ст. Иванович (Талин)* — Ст. Иванович, В. И. Талин — псевдонимы С. И. Португейса (1881—1944), журналиста, публициста, социал-демократа. *Конст. Парчевский* — историк. *Капитан Лукин* — А. П. Лукин, автор произведений о моряках. *Н. П. Вакар* — Николай Платонович Вакар, профессор; один из руководителей «Центра действия». *М. Ю. Бенедиктов (1855—?)* — публицист. *А. Ф. Стуницкий (1893—1951)* — юрист, журналист. *Александр Михайлович Кулишер* (псевд. — Юниус; 1890—1942) — журналист. *Мицлов* — С. Р. Мицлов (1870—1953), писатель. *Павел Павлович Гронский (1883—1937)* — политический деятель. *Поляков-Литовцев* — С. Л. Поляков-Литовцев (1875—1945), журналист. *Андрей Седых* — псевдоним Я. М. Цвибака (1902—?), писателя-очеркиста. *Грот* — имеется в виду Я. К. Грот. «Красноречивей слов иных очков немые разговоры!» — Неточная цитата из стихотворения К. Р. «Уж гасли в комнатах огни...» *Сиванаролла* — здесь: А. А. Поляков. *Швыров, Шальнев* — сотрудники «Последних новостей». *Сумский* — Каплун (Каплун-Сумский; ум. в 1940 г.), владелец берлинского издательства «Эпоха», сотрудник «Последних новостей». *Caveant consules!* — Берегитесь консулов! *Медон* — город в окрестностях Парижа. *Митрополит Евлогий* — в миру В. С. Георгиевский (1868—1946), глава Западноевропейской православной церкви. *Петрищев* — А. Б. Петрищев (?—1938?), писатель. *Князь Сергей Михайлович Волконский (1860—1937)* — писатель. *Эврипид* (ок. 480—406 до н.э.) — древнегреческий трагик. *Августа Филипповна Даманская (1886—1959)* — писательница. *Кнастер* — здесь: трубка, сорт крепкого табака. «*Британская энциклопедия*» — «Британника», универсальная энциклопедия, основана в Эдинбурге, выходит с 1768 г. *Неустойный Роланд* — намек на героя рыцарской поэмы Лудовико Ариосто, совершавшего бескорыстные подвиги. *Бывший министр иностранных дел* — П. Н. Милюков занимал пост министра иностранных дел во Временном правительстве. *Доктор Манухин* — И. И. Манухин (р. 1882), врач, бывший сотрудник Чрезвычайной следственной комиссии. *Перипатетика и дофина* — здесь: ученика и наследника редактора. «*Русские новости*» — эмигрантская газета. *Лев Любимов* — Л. Д. Любимов (1902—1976), писатель, мемуарист. *Николай Рошун* (наст. имя — Николай Яковлевич Федоров) — прозаик, фельетонист. «*Лютециш*» — зал в Париже, в котором русские эмигранты устраивали балы, праздники и вечера. *Георгий Песков* — псевдоним Е. А. Дейши-Сионицкой (1898?—1977), писательницы. *Феликс Потэн* — владелец ресторана в Париже, где состоялся банкет по случаю 10-летия газеты «Последние новости». *Лоллий Львов* — имеется в виду Лоллий Иванович Львов (1888—1962?), поэт. *Солоневич* — И. Л. Солоневич (1891—1954), публицист. «*Белеет парус одинокий*». — Цитата из стихотворения Лермонтова «Парус», *Розенберг* — Альфред Розенберг (1893—1946), идеолог фашизма, с 1941 г. — министр оккупированных восточных территорий; повешен по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге. *Аденауэр* — Конрад Аденауэр (1876—1967), федеральный канцлер ФРГ в 1946—1966 гг. *Félix Potin'a* — Феликс Потэна. *Epicier* — бакалейщик, лавочник; переносное — обыватель, мещанин. *Павловские собаки* — подопытные собаки физиолога И. П. Павлова (1849—1936). *Анна Сергеевна* — жена П. Н. Милюкова. «*Всем сестрам по серьгам*» — «Юбилейная шутка» Дон-Аминадо. Париж, 1931. Он — П. Н. Милюков. *Изгоев* — А. С. Изгоев (наст. имя — Ланде; 1872—1935), публицист. *Чернов* — В. М. Чернов (1873—1949), политический деятель, мемуарист. «*Нависли*

*хладные шытки*.— Цитата из поэмы Пушкина «Полтава». *Львов*— вероятно, В. Н. Львов (1872—19?), обер-прокурор Св. Синода при Временном правительстве; участник сб. «Смена век», заявивший, однако, в № 5 о своем отходе от идей «сменовеховцев». *Тогда, не свыше вдохновенный*.— Ироническая перефразировка стиха из поэмы «Полтава» Пушкина *Идет, Ему коня подводят...*— Цитата из поэмы «Полтава» Пушкина. *И, нуть вторым проделав классом...*— Во французском метре сохраняется разделение вагонов на классы. *И се, равнину оглашая...*— Здесь и далее цитаты из поэмы Пушкина «Полтава». *Неманов-Женевский*— Л. М. Немаиов (р. 1873), юрист, публицист. *Делевский*— Ю. Делевский (наст. имя и фамилия— Яков Лазаревич Юделевский), публицист. *Зелюк*— О. Г. Зелюк, издатель, сотрудник «Последних новостей». *Булла*— документ с печатью; печать, удостоверяющая акт римского папы или название самого акта. *Профессор Шацкий*— возможно, Б. Е. Шацкий, крупный юрист, входил в Союз международных торговых товариществ. *«Одно из славных русских лиц...»*— Строка из поэмы М. Ю. Лермонтова «Тамбовская казначейша» (строфа XIV). *Князь Оболенский*— В. А. Оболенский (1869—1951), общественный деятель, мемуарист. *Бунинский тиун*— т. е. бунинский слуга; Л. Зуров был секретарем И. А. Бунина. *Унковский*— возможно, В. Н. Унковский (1888—?), писатель, критик, мемуарист; известны также: С. И. Унковский, И. С. Унковский, М. С. Унковский (М. Ауэр), *Полу-Эйнштейн, полу-Бергсон*— т. е. полу-физик, полу-философ; Эйнштейн Альфред (1879—1955), физик-теоретик, Бергсон Анри (1859—1941), философ. *Сперанский*— возможно, Михаил Сперанский (1863—1938), литературовед, медиевист; известен также В. Н. Сперанский, историк философии, писатель, мемуарист, критик. *Цетлин*— М. О. Цетлин (псевд.—Амарик; 1882—1946), писатель. *Оцун*— Н. А. Оцун (1880—1948), поэт, критик; редактировал сборники «Числа». *Мейснер*— Д. И. Мейснер, мемуарист. *Прокруст*— великан-разбойник, насильно укладывавший путников на ложе; обычно тела путников были либо коротки, либо длинны (греч. миф.); в переносном смысле «прокрустово ложе»—искусственная мерка. *Кузнецова*— Г. Н. Кузнецова (1902—1976), писательница, мемуаристка. *Поляков из объявлений*— вероятно, И. Л. Поляков. *Мякотин*— В. А. Мякотин (1867—1937), историк. *Метцлей выводок дорожный*.— Имеется в виду акционерное общество семьи Метцль (Дмитрий Львович, ум. в 1936, и др.). *Матернité*— игра слов: материнство и мат. *Уходит Струве, сквозь теснины. Сдается пламенный Вишняк*.— Ироническое использование стихов Пушкина из поэмы «Полтава». *Горчаков*— Н. А. Горчаков (1901—?), писатель, театровед. *И Мережковский Атлантиду*.— Имеется в виду произведение Д. С. Мережковского «Атлантида—Европа». *Зинаида*— Зинаида Николаевна Гиппиус, жена Мережковского. *Ротин*— Потэн. *Грасс*— местечко в приморских Альпах. *Автор к автору летит...*— Иронически использована форма пушкинского стихотворения «Ворон к ворону летит...» *Имка*— издательство «Имка-Пресс». *Корнфельд*— М. Г. Корнфельд, издатель «Сатирикона». *Тонзура*— выбритое место на макушке, знак принадлежности к католическому духовенству. *Мартелль*— марка коньяка *Modus vivendi*— модус вивенди; образ жизни, способ существования; временное соглашение в расчете на окончательное решение; фактическое состояние, признаваемое заинтересованными сторонами. *Квитко-Основьяненко*— Г. Ф. Квитко-Основьяненко (наст. фамилия—Квитка), украинский писатель. *И. Я. Билибин* (1876—1942)—художник. *Терешкович*— К. А. Терешкович (1907—196?), художник. *Пикельный*— Р. Пикельный, художественный критик, прозаик. *Серебряков*— художник. *Тимирязев* (правильно: Борис Темиряев), *Шарый*— псевдоним Ю. П. Аинеикова (1889—1974), художника, прозаика, мемуариста. *«Разве мог он знать и чаять...»*— Цитата из стихотворения Саши Черного. *Стихи Агнищева*—«*Подайте Троицкому мстугу, подайте Зимнему Дворцу...*»—«*Когда голодает гранит...*» (сб. «Блистательный Санкт-Петербург». Берлин, 1923. С. 55) поэт Н. Я. Агнищева. *Троянский копь, Яблочко и пр.*— Юмористические рисунки Анненкова. *Гросс*—художник. *Шварц*—художник. *«Любовник леди Чаттэрлей»*—«*Любовник леди Чаттэрли*», роман Давида Герберта Лоуренса. *Поль Думер* (1857—1932)— президент Франции в 1931—1932 гг; смертельно раиен русским эмигрантом Горгуловым. *Машина доктора Гильюпина*— гильюпина; орудие для обезглавливания осужденных на казнь, введенное во время Великой французской революции по предложению врача Ж. Гийотена. *Статья Ходасевича*.— Имеется в виду статья В. Ф. Ходасевича «О горгуловщине», «Возрождение», 1932, № 2627. С. 3—4). *Полковник Бискупский*— В. В. Бискупский, впоследствии генерал, руководитель общества «Aufbau» («Строительство») в Берлине; муж певицы А. Д. Вяльцевой. *Атаман Махно*—

Н. И. Махно (1889—1934), анархист; ему принадлежат мемуары: «Русская революция на Украине», «Под ударами контрреволюции», «Украинская революция». *Лифарь* — С. М. Лифарь (1905—1986), хореограф, писатель. *Елецкий уезд Орловской губернии.* — Бунин провел там детские годы. *Гатчина* — место под Петербургом. *Avenue d'Eu-lai* — авеню Эйлау. *Борис Годунов* — здесь: Ф. И. Шаляпин, прославившийся исполнением роли и партии Бориса Годунова. «*Жили двенадцать разбойничков...*» — Переделка песни «О двух великих грешниках» из поэмы «Кому на Руси жить хорошо» Некрасова. *Хор Афонского* — церковный хор в Париже, руководимый Н. П. Афонским. *Мария Валентиновна, Борис и Федор, Стелла, Лидия, Марфа, Марианна, Дассия.* — Мария Валентиновна — вторая жена Шаляпина; Борис, Федор, Ирина, Стелла, Лидия — дети Шаляпина от первого брака; Марфа, Марина, Дасия — дети Шаляпина от второго брака. *Глядя на луч пурпурного заката.* — Романс «Забыли вы» (слова П. А. Козлова, муз. А. А. Опеля). «*Алеко*» *Рахманинова* — опера «Алеко» была создана Рахманиновым в 18-летнем возрасте на сюжет поэмы Пушкина «Цыганы». *Гутхейль* — К. А. Гутхейль (р. в 1851), владелец музыкально-издательской фирмы в Москве. *Бури. Дерзанья. Тревоги.* — Автоцитата.

*В. И. Коровин*

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>Коровин В.</i> «Наиболее даровитый поэт» эмигрант . . . . .	3
СТИХОТВОРЕНИЯ . . . . .	39
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ПАМФЛЕТ . . . . .	305
ПРОЗА . . . . .	337
ВОСПОМИНАНИЯ . . . . .	487
Комментарии . . . . .	712

## Дон-Аминадо НАША МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ

Редактор *В. Коровин*  
Художественный редактор *И. Сайко*  
Технический редактор *Г. Шитоева*  
Корректор *Т. Соловьева*

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Сдано в набор 17.06.93. Подписано к печати 14.12.93. Формат 60 × 90<sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 48,0. Уч.-изд. л. 48,5. Тираж 10000. Заказ 561.

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате Министерства печати и информации Российской Федерации. 143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.